

"Люди, годы, жизнь" Книга 6

- [И. Эренбург](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [Глаза зеленые весны.](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [Вере не верю я.](#)
- [33](#)
- [34](#)

- [35](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [Глаза зеленые весны.](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [Вере не верю я.](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [2](#)

- 3
 - 4
 - Глаза зеленые весны.
-

И. Эренбург

"Люди, годы, жизнь", книга VI

Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.

А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лавалю, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас - что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно - он сыграл слишком видную роль в уничтожении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия.

Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX века, чем Хиросима, нельзя было придумать.

Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война - держались, а только спало напряжение - многие слепли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.

В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные

деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа - жили трудно, многие впроголодь, работали через силу, и все же не опускали рук.

В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи - забыл, начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат...» Я подумал, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется,- у него ведь второй аттестат, вторая зрелость... Мы слишком хороню помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали - и про себя и вслух.

Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался - не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно...» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж - тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллинн - там демобилизовался, а на дороге зашел ко мне «отвести душу».

Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились...» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бурю» только в январе 1946-го - долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться - мы все ею отравлены.

Прежде я мечтал: кончится - отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.

В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы - а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество - отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят в городской пейзаж.) Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом - то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины.

Люди шутя говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть - люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.

Девятого июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал: «Это что, пустяки! Вот когда с Вороньей горы стреляли...»

В букинистических магазинах лежали груды редких книг - библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока; не знаю, у кого была книга до войны - у старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения.

Я увидел афишу: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом; надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо не понимая, почему на нее смотрят,- ведь она делала только то, что делали люди, и отделалась легко - одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать - маленькие, отощавшие дворняжки; их держали хозяйки - тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком.

(Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках - «барские причуды». Я вспомнил, читая его письмо, не только о Каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю: моя книга - сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества; с таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке; то и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю об исландцах.)

На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей Урса и Куса: они принадлежали И. А. Груздеву, биографу Горького, одному из «серапионов». В начале блокады жена Груздева принесла хлеб - паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься.

В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи - здесь забавлялись наемники из «голубой дивизии». Вероятно, думали, что не сегодня завтра пройдут по улицам Ленинграда... Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в царскосельском парке:

Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни...

Статую Пушкина нашли в земле - ее успели закопать: нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки:

О, дайте вечность мне,- и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Нет, мена не может состояться, и не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид.

В Петергофе дворец был разрушен; говорили: «Отстроим»; я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубали три тысячи старых деревьев.

Восьмого июля в город вошли его защитники - Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно.

Вечером Л. А. Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать:

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

Помолчав, он добавил: «Народ поумнел, это бесспорно...»

Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том, о сем. Берии присвоили маршальское звание. О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему, не может...» Ольга Федоровна рассмеялась: «А голос у вас неуверенный...»

Ко мне пришла девушка, сказала: «Вы, наверно, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне - для меня это память...» Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими: столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза, умер Васильев, умерла Надя, умерла сестра... Потом мое внимание привлекли записи: «Вчера всю ночь - «Анну Каренину», «Ночь напролет «Госпожа Бовари»...» Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил: «Как вы ухитрились читать ночью? Ведь света не было».- «Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью...» Я знаю мало слов, которые на меня сильнее действовали, много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства - в них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу; героиня вела два списка: в один заносила то, что называла «преступлениями» революции, в другой - ее «благodeяния». О первом списке в последние годы немало говорили, только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается «благodeяний», то они действительно связаны с ее природой. Если память мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии, училась в педагогическом институте, в начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению, связано с сущностью

советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты.

Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с нею легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя; умиляешься, пробуешь подтрунить над собой, нежность мешается с горечью.

Я вернулся в Москву, и сразу же захотелось уехать. Пришел П. И. Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского (в одной поэме Маяковского есть о нем: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут...»). Павел Ильич предложил устроить вечера, спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах, некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось.

Кострома мне понравилась - большие площади, Гостиный двор. Табачные ряды. Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. (Лавут умилился.) Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени - кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале. Директор даже руками всплеснул: «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма».

После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился: «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая, по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал, начал во Львове, ходил в разведку, четыре ранения, последний раз под Будапештом, про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, это виноват он, он мне сам говорил, что нет толя, значит - нечего торопиться, но что скажешь: он тебе и генерал, и маршал, и господь

бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не называйте - он меня в порошок сотрет, и про Кострому лучше не пишите, просто интересный факт человеческого устройства...»

В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью; на одном изразце под двумя деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость.

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину.
Не знаю, мало ль было сил.
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.

Писал о мужестве:
Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту -
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту...

Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать:

...Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, визы.
То не ландшафт, не фон и не убранство,
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду - они останутся на страже,
Я начал говорить - они доскажут.

Стихи я писал, наверно, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет; они были напечатаны и журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией.

Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. Ничего не скажешь - моя молодость меня искала...

Ядвига работала в педагогическом институте, с нею жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась - и голос такой же, и глаза. Дочь, жених... Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверно, старость всех настигает врасплох.

Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу: дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали: «Скоро ли капитулирует Япония?», «Чей будет Триест - югославский или итальянский?», «Как вы относитесь к статье Александрова?», «Почему никто из писателей не написал «Войну и мир»?» На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад.

Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской - вот здесь стоял дом, где я родился,- груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война, звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал: скоро сяду за книгу,- значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, и сердце. Побывал у Тычины, Бажаиа, Голованивского, А. Кагана. На Подоле просидел вечер у офицера - он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра, колбасу и долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну и не вернулись. «Почему их убили, а не меня?... Жена застряла в Киеве. В Бабьем Яру...» Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю - не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал.

В Москве ко мне пришел незнакомый человек, сказал: «Простите, что нагрязнул, к вам трудно дозвониться. Я болгарский коммунист

Коларов»... У нас не работал лифт, и первое, что я подумал: ведь ему под семьдесят, как он взбирался? А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию, написать об этой стране. «Вас читают и на Западе...» Я сразу согласился.

Несколько дней спустя мне позвонил Г. Ф. Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей...» Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо, но я понимал, что это ни к чему, - ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию (это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия). Георгий Федорович ответил: «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету: «Вы ведь старый известинец...» Я зачем-то подумал вслух: «Конечно. Но я скорее собака, чем кошка, привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал в «Известиях», не осталось... Впрочем, это безразлично, в «Известия», так в «Известия»...» Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку.

В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я (не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию). Я услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать, продаст там материю, купит муку, сало. Она студентка текстильного института, муж тоже студент - филолог. «Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то, что я крепкая, а у него открытый процесс, ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный...» И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой, неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по благу. Денег у нее мало - только на носильщика, могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она

отказалась; я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жуёт. Пересадка у нее была ночью; прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо, вы - писатель, должны понять... А может быть, не стоит брать носильщика?...» (Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка: «Помните?...» Я сразу вспомнил. «Ну как - взяли носильщика?» Она засмеялась: «Нет, сама дотащила».)

Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. «Мы ее подобрали возле Барановичей, родителей немцы убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась. А жена пишет: «Привези». Жена у меня больная, ее четыре раза резали. Детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат - руку повредило. Ну, ничего как-нибудь устроюсь. Проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два... Девочка-то хорошая. Жена обрадуется»... Девочка стеснялась, не раскрыла рта.

Я побродил по Одессе, она была печальной: много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе, она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном запущенном доме - во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен: вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра.

Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады. Придется диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверно, снова не додумаю...

Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумья, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад:

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом...

Вот это правда, слишком часто говорил о другом - не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выгляжу, скорее, мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать... Прежде мне казалось, что старость легка, естественна - постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы.

На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени - железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку (снова я чего-то не додумал, не дописал!). Я увидел на аэродроме огромную толпу: встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы.

Ко мне подошли секретарь посольства С. А. Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии, сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад, и теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и горбатого действительно исправит только могила.

Я был прав в своих опасениях: замелькали лица, города, страны. Для того, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое,- за четыре месяца я побывал в семи странах: Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете, ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед...» Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать - о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымалывал выходной день или, как школьник, убегал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как десять лет назад; но тогда все для меня было внове, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки.

Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина - его законная жена, а литература - любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой. Потом?... Потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как сотнями миллионов других людей, и походило это не на упреки ревливой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя.

Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По Библии, бог, приступив к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы, что касается

тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идиллично. На открытии французского Учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торез. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден «Победы»; Георгиу Деж был всего-навсего министром путей сообщения.

Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-демократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер Дома писателей, «тузы и шишки»; большинство их быстро сошло со сцены - одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое.

Были и в 1945 году на Балканах партии или группы, открыто нападавшие на коалиционные правительства - в Румынии сторонники Маниу, и Болгарии - Петкова, в Югославии - Грола. Я встречался с некоторыми из них и понял, что они рассчитывают на обострение отношений между Советским Союзом и западными державами; им хотелось, чтобы твердь поскорее отделилась от хляби (или наоборот), и они не понимали, что мечтают о своей гибели.

Для того чтобы разъяснить положение читателям газеты, мне приходилось многое изучать, встречаться с румынскими помещиками, с болгарскими экспортёрами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят «джебел» это самый дорогой табак; американцы его примешивают к «Виргинии». Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар «джебел», поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На Московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация: пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт.

Министров болгары нашли, только и они не пришлись по вкусу американцам. «Джебел» лежал непроданный.

За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастораль. Бирнс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умильные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за «вечную дружбу».

Я был в румынской деревне Кошерени; разговаривал с крестьянами; они не знали, радоваться ли им аграрной реформе, боялись, что помещик КонстантINESКУ отберет землю назад, да еще выпорот за захват чужого добра. Я пошел к помещику; он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще неясное...» Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб.

В Будапеште в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил пятнадцать тысяч пенго, а средний заработок служащих составлял сто пятьдесят тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!...»

О войне трудно было забыть: она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединивший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомысленным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить: Буда, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спаса-Нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша, но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя возратить никакими планами. Я видел развалины Плоешти, Софии, Задара, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом

немецких городов. Бог ты мой, как разбитые дома похожи один на другой! Нужно было сосредоточиться, чтобы понять: это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск.

Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых, тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил, увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было четыреста тысяч, погибло восемьдесят пять тысяч.

Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран: «Подсвечники (свечей нет), масленки (нет масла), бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок (люди ходят в драной обуви, встречал босых)». В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила двести пятьдесят пенго. В Болгарии не было молока; прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали; местные власти говорили, что нет грузовиков - нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о «черном рынке», о баснословных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку - кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки (у нас их прозвали «авоськами»), кокетливо обшитые орденовыми ленточками - кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение.

Одни жили в оцепенении, выходя на улицу - пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло.

В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русс. Меня подняли и долго несли на руках: таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе: для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом, они раз десять обегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали.

В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на «Трубадура» и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Димо Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал, я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел, усталый, из машины после рытвин, ухабов - и сразу меня втокнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, театр был набит. На сцене танцевали; один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке, все начали аплодировать, кричать, я тоже зааплодировал, потом оказалось, что аплодируют мне, я уж не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный; мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам, и сейчас же начался очередной митинг.

Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей, понять характер стран, непохожих одна на другую.

Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранялся былой лоск, а в двухстах километрах от столицы, в угольном бассейне Жиу, многие жили, как звери,- в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка: навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканой одежде, волы задерживали министерский «кадиллак». Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотреамона, Бретона, Джойса. А в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице; крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха; 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына; они не понимали, почему была война, говорили: «Угнали в Россию, потом сказали, что убит...»

Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая согласно обычаю притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом. Пили цуйку - сливовую водку, пили из плоских деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов: про меня знали только, что я - русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость - это на счастье...»

В Румынии было много одаренных художников. Я запомнил полотна Изера, Паллады, Топицы. Один министр поспешно сказал мне: «Это, знаете, продукция прошлого, влияние Сезанна и других формалистов. У нас художники издавна были искалечены французской живописью...» Услышав, что холсты мне нравятся, он просиял: «Мне тоже нравится я ведь люблю живопись».

Красная Армия освободила многие страны, советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь «культом личности», сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргеzi. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе; потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было шестьдесят пять лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились: «декадент», «западник», «индивидуалист». Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргеzi; а когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргеzi!...»

Я познакомился с Михаилом Садовяну, мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе, вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на десять лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца сороковых годов;

люди, не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну - вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что, казалось, ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргеги и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты; любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили -слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному,- кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мещанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей... Вторичный расцвет искусства придет лет через двадцать - тридцать, когда вырастут другие люди, с другими нормами. Но я не ропщу - хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта. Значит, придет время и для искусства...» Садовяну был членом Комитета по премиям «За укрепление мира». Каждый год он приезжал в Москву, и хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году, в возрасте восьмидесяти лет.

Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный - никакой «души нараспашку», страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел «читалище» библиотеку; крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые - даже стихи.

На софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Мате Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский, с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли: война началась задано до наступления Красной Армии.

Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей

Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мною откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Абрешков, и молодой художник Альших - племянник Паскина. На любви к Илие Бешкову сходились все: для людей, опасавшихся искусства, он был полезен - рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал; умел выпить; играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа, не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству.

Среди старшего поколения писателей я запомнил Елина Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту, и если не завязнешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней, это не проза, газета...» Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мною сидел рядом чиновник, приставленный к литературе, он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно. Вроде вашей Ахматовой...» Это было в 1945-м, а не в 1946-м, и я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младеном Исаевым.

Я поехал в Бояну - посмотреть фрески XIII века. Историки искусств долго не замечали славянского Возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Бояны или Охрида так же отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады; у южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а, скорее, почтальоном.

(В конце сороковых годов, когда, по указанию Сталина, у нас культивировалась «самобытность», вспомнили даже князя Юрия Долгорукого, но не великого живописца начала XV века Андрея Рублева. Однажды на приеме я разговаривал с К. Е. Ворошиловым. К нему подошел художник, чьи полотна (или копии полотен) висели тогда во всех официальных местах, и, услышав, что я назвал Рублева, усмехнулся: «Он иконки любит...»)

Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопле я увидел фрески XI - XIII веков. Эта живопись на сто - двести лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского Возрождения было только раннее утро - в конце XIV столетия турки захватили Болгарию и Сербию.

Югославия в ту осень переживала гордость освобождения; люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своеобразную страну или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, в соперницу Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую, нарядную Любляну, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию? Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты.

Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Луберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским; порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков; в Словении с ее высоким культурным уровнем книга была окружена заботой.

С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо, молчал или пытался смягчить тон спора, курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства: не на лаве - на горе. Мы с ним погодки, и я всегда с восхищением, даже завистью думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира; встретились как друзья; потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском побережье.

Другой крупный писатель Югославии - Крлежа. Я увидел знакомое: о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно.

В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке: «Не узнаете?...» Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца: судьба занесла его в Дубровник, он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко.

Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XVI веке: каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить семьдесят пять оливковых деревьев,- олива живет долго, триста - четыреста лет,- и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не рая в моих мыслях я возвращался к этому закону.

Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома.

Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали:

Этот мир - тиран даже для тирана.

И он вдвойне тяжек для благородных сердец.

Море воюет с берегом, зной с морозом.

Ветер с ветром, зверь со зверем,

Народ с народом, человек с человеком...

Я трясся в машине и повторял горькие слова: война не хотела оставить меня в покое.

В Братиславе, потом в Праге я встретил старых друзей; многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лацо Новомеский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое - «Деветсил» и «Дав», шутили, пили вино...

Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил: «Что с Мейерхольдом?» Я ответил: «Плохо...» Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты» - у меня в голове все путалось: пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народне дивадло», увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарска. Копецкий вздыхал: «Формализм», а потом он подарил мне натюрморт Филлы; Незвал неистовствовал: «Это не формализм, это революция!...» Галас печально улыбался. Сейферт молчал.

В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие «формалистические», что я удивился - отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.

Меня повезли в замок Добрит, который отдали писателям. Все было парадно и натянуто. Назвал шепнул: «В «Куманове» было веселее. Ничего не поделаешь чехам не к лицу роскошь. А писателям не к лицу почет...»

Был прием в Граде; я увидел Бенеша, он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого...»

Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти - Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились - их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать.

Мы поехали в Терезин, где погибли сто пятьдесят тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась...

Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий»: «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился и потому, что хотел повидать суд, и потому, что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. (Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к

этому чувству примешивалось другое - отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности.)

В Белграде дули холодные ветры. Я подумал, что еду на север - декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто, они иронически улыбались: может быть, думали, что возьму и не заплачу. (Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед.) А может быть, и вправду пальто не было, мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники - в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной лавчонке я разговорился, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной - уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Эренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто...» Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски; все жестикулировали, кричали. Я наконец спросил, о чем они говорят. «Очень просто: мы говорим, что Илья Эренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя если начать читать список убитых, то на это потребуется десять лет. Он говорит, что пальто нигде нет. То есть у какого-нибудь министра, наверно, два пальто, но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит, но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей...»

Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны: развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно - дорога была забита: американские части уходили из Западной Чехии.

А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе: он не только разрушил города, убил миллионы людей, он отравил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я

вспомнил, как дрались два старика - венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что оплатят за все «проклятым венграм». В Скопле все улицы были пол номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопле небольшой город; прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивые, Гитлер вас проморгал!...» Я видел на руках судебных немцев белые повязки - знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации: «Плюнули в душу.»

Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга; никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги...» Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять... Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался: «Дурак стоит на дороге и стреляет...» Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили.

Развалины - не скажешь, что город. «А куда нам ехать?...» Я задумался: ночь, никого не найдешь... Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?...» Он улыбнулся: «Вы здорово воевали», - и, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать, он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет...» Мы с чехом выкурили полпачки. Наконец стало невтерпех, хотелось спать. Мы встали. Американец снова улыбнулся: «Майор немного опоздал... Но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу: «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся - майор скоро придет...» Солдат зевнул и сказал: «Пошли! А майор не придет, он в гостинице в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем, неинтересно. Интересно другое - когда меня наконец-то отправят домой?... Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора...»

В большом холле нюрнбергского «Гранд-отеля» толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В баре подавали коктейли; певица с большим декольте пела американские песни (слышался немецкий акцент); танцевали. Бар был, а крыши не было; лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже, я взбирался наверх то по стремянке, то по доскам.

Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками; пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки; прошел трамвай, город жил, но какой-то ирреальной, растерянной жизнью. На уцелевшем заводе изготавливали портсигары с надписью «На память о Международном трибунале»: американские солдаты обожали сувениры.

Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран; большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в «Гранд-отеле» и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде; каждый брал поднос, и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба.

Трибунал заседал в здании окружного суда; на стене была роспись - Адам, Ева, змий. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров; но в коридорах отопление не действовало. Шел снег; все кашляли, чихали.

Я как-то стал вспоминать: что у меня связано с Нюрнбергом? Прежде всего пряники: когда мы еще жили на Хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге; денег у меня не было, я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре, но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня

пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал - стоял часами, плядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, «Железную деву»; сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба:

Но путь науки строгой
Я в юности отверг
И вольною дорогой
Пришел я в Нюрнберг...
Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча!

Прошло еще двадцать пять лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги: на ветру бился паук свастики; фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, и вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге...

Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды. А в то время читали документы: убиты в застенках триста тысяч, шестьсот тысяч, шесть миллионов...

По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным; в его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом - все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но Кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных рассказал, что Геринг меня узнал; оказалось, что они меня разглядывали, как я их.

Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия; целое заседание

было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слова и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон.

Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану - не хотел смотреть; другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел: Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой - понял, что его ждет?

Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями: присоединение Австрии «планом Отто», захват Чехословакии - «зеленым планом», захват Югославии - «Маритой», уничтожение Польши - «делом Гиммлера», предполагавшееся нападение на Гибралтар - «предприятием Феликс», вторжение в Советский Союз - «планом Барбароссы». Около пятидесяти миллионов убитых и двадцать заурядных злодеев - нет, это не умещалось в сознании!

Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного и у него ослабела память, но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона, я таких видал не раз, на все отвечал, как рядовой вермахта: «Выполнял приказ»; а когда опасили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами: «Это досадное недоразумение». Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что он занимался исключительно «переселением»: «Я был всего-навсего административным карликом». Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом; канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул,

что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь,- я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знаток считал себя Альфред Розенберг, он собирал редкие русские книги; был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами, отдал, например, приказ «за три часа или два до акции (так назывались массовые убийства) вырывать у евреев золотые зубы».

Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любит красоту; перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: «Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами...» Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину...»

Я глядел на них и видел одно - страх. Одно дело - убить миллион людей, это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт; другое - чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя - Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре - Зейсс-Инкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права, другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний, третьи валили на соседа по скамье, и все - на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на

других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали.

«Вы человек современный, то есть хладнокровный»,- сказал Гитлер Нейрату. Пожалуй, эти слова многое объясняют. На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне «современно» - и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр, предприятие, если угодно, гигантский трест.

Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал - мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?...» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться: состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли.

Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных, отчаявшихся крестьян, вспоминал «синюю бороду» Ландрю, сумасшедшего Горгулова - там мы видели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге,- кровавая бухгалтерия, и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал: они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается «достоевщина» и начинается ужасающий мир роботов.

Полночи я проговорил с Андре Виоллис, умной и благородной женщиной. Виоллис рассказывала о печали Франции - ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле - в комнатах было очень холодно; шумел джаз. А я спрашивал: «Что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен, задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают...» Виоллис отвечала: «Я об этом часто думала еще до войны... Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная

структура Франка ничем не отличается от самого жестокого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей - сатрап не обладал газовыми камерами».

Процесс длился долго - десять месяцев; очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее - до процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову, но и это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой - от несоизмеримости преступлений и преступников.

Я не раз думал, сидя в нюрнбергском зале: до чего это страшно! Ведь весь мир знал: есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество, и вместе с тем он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильини - он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев «Ротонды». Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели: «Гитлер сказал...» «Геринг не согласен...» «Риббентроп предлагает...»? От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчур, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников!...

В холле «Гранд-отеля» американский журналист (забыл его фамилию) говорил мне: «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства...» Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что, будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и

конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки.

Обо всем этом я думал, возвращаясь в «виллисе» домой - мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелищ Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал:

И долго буду тем любезен я народу.

Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Я вспомнил статью Марины Цветаевой - рассказ о Дантесе. Вначале он не чувствовал никакого раскаяния: убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь - победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим.

Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали; было это в разрушенной Орше. Я поглядел на них - и на душе стало как-то спокойней.

В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело, с друзьями. Война не хотела меня отпускать, о ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским; подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды», Гехман, позвал меня на свадьбу; собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались, Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетие Кончаловского; Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля, в годовщину смерти Толстого, Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху; все вокруг напоминало об Алексее Николаевиче, и даже горе било живым, теплым.

Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе то в Политехническом, то на заводах, то у военных.

Однажды я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлехс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре местечек. Костюмы сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу, Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми, и вдруг мне стало страшно - вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи «Фрейлехс». Михоэлс и Зускин выходили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре один будет убит на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?...

Как-то пришел ко мне еврейский поэт А. Г. Суцкевер. (С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал оттуда, партизанил; его вывезли на «Большую землю».) Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей.

Я продолжал встречаться с иностранцами - в записной книжке пометки: завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андворда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не

сразу понял, что все переменялось. Мне запомнился сметной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии, он был литератором и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал; там был накрыт стол для ужина - колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое - Ф. Кельин, испанский писатель Арконада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов в десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех.

В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля, впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально: газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английский и американский обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше: вспоминать прошедшее или думать о будущем.

Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы: путевые очерки «Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». (Два года спустя книжку изъяли из библиотек - в ней четыре раза упоминалось имя маршала Тито.) А стихи смущали издательство: «Чересчур пессимистично...» (Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал: «Лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово - очень уж мрачно...») «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло.

В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали «За доблестный труд», среди награжденных был и Б. Л. Пастернак; он сказал мне, что скоро в Политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал М. М. Зощенко. В начале апреля в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна

была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого не люблю... А главное, у нас этого не любят...»

Я стал ее успокаивать - теперь не тридцать седьмой... Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики.

В самом начале января я сел за «Бурю» и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все не решался написать первую страницу. А писал я не отрываясь и до апреля успел написать треть романа - две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это - кануны войны; писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев - честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео - было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы: рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца.

Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы; кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части - случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж: «Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет...» (слово «скрипучих» убрали). Лео говорит Осипу: «Вы и живете для будущего...» После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали» - это зачеркнули... В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете - у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого...», выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой...» О каких «неприятностях» идет речь - стало непонятным. Прерываю список «опечаток».

Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым - на конференцию редакторов газет. Я сказал В. М. Молотову, что начал писать роман, частично его действие протекает во Франции и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже; он ответил: «Не имею возражений».

Я хочу в этой главе досказать о «Буре», и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомним о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей.

Это было в конце августа во французском городке Вуврэ, близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля Башеллери, где долго жил Анатолий Франс; повез нас туда внук писателя, Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом - я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино вуврэ. Питом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба - прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение: «Из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко». Я взволновался и все же цеплялся за надежду - может быть, это очередная газетная утка? (Люба потом долго издевалась над моей наивностью.)

В Париже я прежде всего побежал в посольство, попросил газеты и увидел, что телеграмма французского агентства была не выдумкой. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, я узнал подробности. На этот раз гром грянул среди ясного неба: в конце июня утвердили новую редакционную коллегия журнала «Звезда», включили в нее М. М. Зощенко; в июльском номере журнала «Знамя» была помещена вполне благожелательная статья о поэзии Анны Ахматовой. А в середине августа опубликовали постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое на восемь лет определили судьбы нашей литературы.

Н. С. Тихонов рассказывал, как Сталин вызвал руководителей Союза и заявил, что Ахматова и Зощенко - «враги». А. А. Жданов выступил в Ленинграде перед писателями. Он говорил о М. М. Зощенко: «пошляк», «пакостничество и ерничество», «пасквилянт», «бессовестный литературный хулиган»; об А. А. Ахматовой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». Удивительно было многое. Жданов, например, сказал: «Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки», - что от них осталось в нашей родной русской, советской

литературе?» Видимо, никто не решился ему объяснить, что «бубновый валет» объединял не писателей, а художников, среди которых был будущий академик Кончаловский, что за месяц до доклада Жданова все газеты умиленно говорили о поэзии Блока (исполнилось двадцать пять лет со дня его смерти) и что Блок, как и Брюсов, причислили себя к символистам, что «желтую кофту» придумал и воспел не кто иной, как Маяковский, объявленный Сталиным «лучшим, талантливейшим поэтом эпохи». (Одну ошибку Жданов все же успел исправить - доклад напечатали полтора месяца спустя. В напечатанном тексте есть такая фраза: «И у акмеистов и у «серапионовых братьев» общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма». В своем выступлении Жданов принял за одно лицо знаменитого немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которого любил Маркс и который скончался в 1822 году, и мало кому известного эпигона Бальмонта, русского поэта Виктора Гофмана, родившегося в 1844 году.) После доклада Жданова Анну Ахматову и М. М. Зощенко исключили из Союза писателей.

Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться, а все напоминало прежнее - собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами: обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л. И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова.

Начала выходить газета «Культура и жизнь», ее статьи выглядели как обвинительные заключения. Зощенко и Ахматова изображались главными врагами, о них говорили и писали куда резче, чем о Черчилле, призывавшем показать русским военную мощь англосаксов, или чем о некоторых американских сенаторах, уже поговаривавших о «превентивной войне».

Тогда же и в докладе Жданова, и в статьях, ему посвященных, впервые была объявлена «борьба с низкопоклонством перед Западом».

А. А. Жданова я помнил по Первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству - и еще в 1934 году поручил направить писателей на путь истинный, но тогда

мы слушали и не пугались. Снова я увидел Жданова в 1947 году - он пригласил пять или шесть литераторов, среди них и меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания - Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что в связи с очередным постановлением на этот раз о музыке - Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное - это мелодия, которую можно напевать. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. А. А. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение - умер Жданов! Сойдите вниз, мы в ресторане...»

С М. М. Зощенко я встречался очень редко; как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды, в начале пятидесятых годов, я его встретил на Пушкинском бульваре; он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда печальная и величественная; читала Горация. Несчастья рушились на нее, как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость восторжествовала: Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить Международную премию, и в Оксфорд, где ей дали «докторскую мантию».

Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач - меня окружили видения военных лет, я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного, вероятно, события были чересчур свежи, и я не все смог осмыслить. Однако некоторые герои романа - Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей - мне дороги. Я кончил роман в июне 1947 года.

О книге было много споров. Некоторые читатели обижались: почему французы выглядят героичнее, чем советские люди? Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда

освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи - был разгар кампании против «низкопоклонства». Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»: «...Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Эренбург... Просто либеральные буржуа не понимают и клеветуют на советский строй. Они видели в нашей стране только альперов и лабазовых, дилетантов влаховых и земских деятелей крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть... Но ведь тов. Эренбург - не либеральный буржуа... При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские... Да и полно! Русский ли Сергей Влахов? И Советский ли Союз его родина?...»

Таких критиков сердило описание первых месяцев войны, хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным...» А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера.

Роман печатался в «Новом мире»; редактировал его тогда К. М. Симонов; он мне писал: «Тревог нет. По-моему, все в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее исступленных обличителей «низкопоклонства».

Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по Сталинским премиям, домалывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. «Сталин спросил, почему «Бурю» выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом, нет настоящих героев. Сталин возразил: «А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом, так в жизни бывает... А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем, обыкновенные люди становятся героями...» Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить», - и громко засмеялся.

Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть В. Пановой «Кружилиха», ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я - нет...» Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм: помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной, польской гражданки, которая писала, как над нею издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть...

Из книг, вышедших в свет с 1946-го по 1954-й, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных славословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника.

Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Для писателя это были годы запечатанных уст, и я хорошо понимаю К. Г. Паустовского, который недавно возмущался людьми, утверждающими, что «культ личности» никак не ущемил нашей литературы.

Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного «юга»:

Да разве им хоть так, хоть вкратце.

Хоть на минуту, хоть во сне,

Хоть ненароком догадаться,

Что значит думать о весне,

Что значит в мартовские стужи.

Когда отчаянье берет,

Все ждать и ждать, как неуклюже

Зашевелится грузный лед.

А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены.
Мы видели, уже не видя.

Глаза зеленые весны.

А «Буря» остается для меня слабым, приглушенным эхом суровых, но чистых лет.

Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым; Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись - мотор оказался неисправным, в Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Бидл Смита - «холодная война» еще не успела стать бытом.

Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмещались в гармонию, и Магдебург казался холстом «ташиста» - беспорядочные мазки. М. Р. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения: «Сейчас налетят журналисты. Вам легко - вы привыкли, а и никогда не разговаривал с иностранцами...»

На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день; цвели каштаны; мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест: рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас - на этом перекрестке прошла моя молодость! Я хотел грустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли Муссиаки; я жадно слушал их рассказы о голах оккупации, о Сопротивлении, об общих друзьях.

Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим - и квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу, нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал

взволнованный Фотинекий, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат: русские - победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цадкииа, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое; даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал: «Неужели это было всего шесть лет назад?...»

Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине - до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня... А я часто думала, как вам в России?...» Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками: «Бедный мосье Эренбург, вы не знаете, что у нас делается! Ничего нельзя найти...» Все же она приготовила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в вине, на устрицы он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал: «Я немного прогуляюсь и вернусь через четверть часа...» Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии.

Посол Богомоллов устроил пресс-конференцию: я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал: Арагон, Эльза Триоле, Шамсои, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блек, Марсель Кашен, Эмиль Бюре.

Мы должны были уехать семнадцатого, но нас вернули с аэродрома: зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался: еще один день в Париже! Генерал волновался: завтра должна начаться конференция, опаздываем.

Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи - вот чего мне не хватало: серой воды на холсте, толики искусства!

На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость: мы сделали две посадки. В Северной Ирландии было зелено, нам дали ужин, я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей, и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали; я поглядел на

часы в ресторане - по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая - американская.

Когда рассвело, я увидел большой город - Бостон. Небоскребы рвались к самолету; я понял, что мы действительно перелетели через океан.

Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих (Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «вундефул» и «ай лав Америка»). Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные...»

Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста - владельцы и редакторы различных газет; на каждом была бирка с фамилией и названием газеты. М. Р. Галактионов представлял «Правду», К. М. Симонов - «Красную звезду», я «Известия».

У меня сохранилось удостоверение: «Предъявитель сего Эренбург Илья Григорьевич является членом редколлегии газеты «Известия Советов Депутатов трудящихся СССР» (читатель легко догадается, насколько это соответствовало истине). Хоть за редактора меня не выдали, и на том спасибо!... Впрочем, в перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?»

Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы, тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной; а теперь ограничили передвижение и цензура неистовствует. Мне пришлось отвечать, я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался: почему русские долго тянут с визами? Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне: «Я не выдаю виз. Я давал бы всем - мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не

поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой (он походил на буржуа с плаката) встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне; я увидел на его лице ужас: «Отвечайте! Вы привыкли...» Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки»... Американцам понравилась прямота ответа, и на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне «смесь цинизма и откровенности». Мы зашли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!...»

Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер, окончательно измученный, и хотел открыть окно, но не смог; я нажимал различные кнопки - шли струи холодного воздуха, вспыхивал и гас свет, кричало радио, а окно не открывалось. Наконец, я свалился, измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решался - подумают: ну и дикари эти русские! Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. «Пора на заседание». Я ответил: «Нет, вы откройте окно...» Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, обменяла: «Окно не открывается - на улице пыль, чистый воздух поступает по трубе». Секретарю это понравилось: «Техника у них замечательная!...» А мне стало неудобно - даже окна нельзя открыть, наверно, таким будет новый век...

Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в Новом Свете. Симонов наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман - бестселлер, и тем, что ему тридцать лет. О том, что происходило с М. Р. Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брюзги, смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления, разговоры. Я писал в одной статье: «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов - легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью

техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой - настоящая человеческая сложность».

С некоторыми американцами мне удалось подружиться; и все же признаюсь: отдыхал и с европейцами, будь то мои старые друзья - Тувим, Шагал, Стефа Херасси, Роман Якобсон, люди, с которыми я встречался прежде, Ле Корбюзье, де ля Пуап, или те, которых я увидел впервые,- Эйнштейн, Кусевицкий, Шолом Аш, Оскар Ланге. А когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я, счастливый, заулыбался.

В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. Пять лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен, и реже прибегал к европейскому метру или аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно - начальной школы. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях.

Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе; все чрезмерно - зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-президент США Уоллес вывез из Советского Союза кустики «русской клубники» (фрагария моската) - невзрачной, мелкой, с зелеными пятнами, удивительно ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород, и я не сразу узнал мою землячку - ягоды был и втрое больше, но запах исчез.

Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на восемнадцатом этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог - рядом горланили пьяные, по комнате носились отсветы реклам. Полночи я простоял у окна; небо над Бродвеем пылало, высились макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие отары. Это было прекрасно и невыносимо.

Я как-то обедал с Ле Корбюзье в маленьком французском ресторане Сорок второй улицы. Он расспрашивал меня о войне, о том, что стало с нашими городами, говорил об архитектуре. Он был необычайным человеком. Он тогда с усмешкой сказал: «Скоро мне стукнет шестьдесят, а я еще очень мало построил не дают. Я - человек поражений...» Как всякий новатор, Ле Корбюзье создавал эссенцию, а люди хотят такого искусства, где эссенция разбавлена. Теперь идеи Ле Корбюзье побеждают повсюду, побеждают архитекторы, которые у него учились, ему подражали, и вместе с тем трезво подходят к делу. А Ле Корбюзье думал не о заказчиках, но о стиле эпохи. Он строил здания-манифесты - в Марселе и в Рио-де-Жанейро, в Лионе и в Боготе, в Нью-Йорке и в Пенджабе, огромные небоскребы и поселки из небольших домов, воевал с улицами, защищал деревья и человеческие нервы, требовал свободы для солнца. Он умер, узнав всеобщее признание. При первой встрече в Америке я ему сказал, что восхищен и подавлен архитектурой Нью-Йорка. Он улыбнулся: «Вы

всегда были романтиком, даже когда защищали конструктивизм. Знаете, что такое Нью-Йорк? Это катастрофическая феерия».

Самое опасное составить себе представление о человеке или о стране, которых недостаточно знаешь, а потом объяснять все намеченной заранее схемой. Я знал Америку по книгам американских писателей, по рассказам друзей, видел в Европе то, что мы называем «американизацией», и у меня было условное представление о Новом Свете. Все оказалось правильным и вместе с тем неправильным - порой поверхностным, порой односторонним и, следовательно, несправедливым. Конечно, люди торопились, но, приглядевшись, я увидел, что это, скорее, форма жизни, чем ее содержание. Я увидел вдоволь и бестолочи, и бюрократизма, и нерасчесанных человеческих страстей.

На улице толкались; журналисты садились на мою кровать; люди жестикулировали не только руками, но и ногами; когда звали в гости, я знал, что кто-нибудь сядет на пол, а девушка скинет туфли; ругались; дружески хлопали по плечу; вели себя нецеремонно, порой, на мой европейский аршин, и бесцеремонно. Я слышал рассказы, как быстро делаются карьеры, как соперники топчут друг друга, вчерашний миллионер становится бедняком, а вчерашний босяк мчится в «кадиллаке». Все это было связано не столько с корыстью или с прирожденной грубостью, сколько с молодостью общества.

В течение моей жизни я видел не раз детей, низвергавших отцов, и отцов, возмущенных неблагодарностью, невоспитанностью, невежеством детей; это, кажется, вечная история. Многие достоинства и пороки Америки связаны с ее возрастом. До чего они молоды! - говорил я себе то в умилении, то в раздражении. Люди со всего света пришли на богатые малозаселенные просторы, пришли, наверно, отчаянные головы, энергичные неудачники, неунывающие ловкачи, неисправимые фантазеры, те, что первыми вырываются из театра, охваченного пожаром, и последними покидают игорный притон. Шолом-Алейхем писал: «В Америке люди не живут, в Америке люди спасаются». Народ образовался из «спасавшихся». Приезжали англичане, итальянцы, евреи, ирландцы, поляки, украинцы, сербы, немцы, скандинавы. Все это быстро перемешалось. Люди привозили с собой смену белья и волю к жизни; что касается вековых традиций, то их не погрузишь ни на какое судно. Иммигранты

начинали с азов. Так родилась нация, которой суждено в будущем выйти на авансцену истории.

В Нью-Орлеане меня повели в старый трактир - американцы его посещают как достопримечательность. Дому почти сто лет. Был знойный день с той горячей сыростью, которая изматывает европейца, да и американцы обливались потом; они пили ледяные коктейли у большого пылающего камина - камин, дрова, это ведь нечто невиданное, глубокая древность, Помпея!

С возрастом связан и полукочевой образ жизни. После Америки Европа мне показалась обжитым, непроветренным домом. Американцы часто меняют квартиру, люди среднего достатка бросают при этом мебель - дороже перевезти, чем купить новую, а европейской привязанности к старому семейному хламу нет. Переезжают из города в город, из штата в штат.

Я почти не видел малолитражек: рабочие покупали большие машины, когда-то бывшие дорогими, но прошедшие сотни тысяч миль. Нет работы? Человек грузит семью, скарб и едет за счастьем (у нас в тридцатые годы говорили: за «длинным рублем»). Один американец решил меня покатать; подошел час ленча; он остановился возле ресторана, погудел. Принесли подносики с мясом, пивом, кофе. Есть пришлось в машине, а мы никуда не спешили, просто носились по чудесным дорогам мимо одноэтажных домиков, похожих один на другой. Я видел загон: автомобили въезжали туда, а на экране показывали кинокартину. Ночью в большом парке Нью-Йорка много темных машин. Друзья мне рассказали, что для парочек автомобиль заменяет комнату гостиницы; иногда полиция устраивает облавы.

В универсальных магазинах я видел, как человек, покупая костюм, бросал старый. Мой друг Гилмор, который возил меня на Юг, чуть ли не каждый день покупал рубашку, говорил, что это проще, чем отдавать в стирку.

В Америку и приехал не из древней Эллады, не из Италии или Испании, и все же меня поразила необычайная стандартизация. Города походили один на другой. Я видел те же улицы, те же дома, те же вывески, те же галстуки в Детройте и в Джексоне. Статейка хлесткого журналиста печаталась одновременно в пятидесяти газетах; повторялись сплетни, анекдоты, проповеди.

Казалось бы, выводы напрашивались, вставал классический образ мистера Бэббита. Но и не торопился с выводами, говорил себе: все это так и не так.

Меня смешили объявления в газетах о воскресных богослужениях - зазывали, как в балаган; одна церковь обещала цветной фильм на библейскую тему, другая соблазняла хорошим буфетом. Американцам такие рекламы, видимо, не казались кощунством. В Алабаме мы заехали к профессору; нас оставили пообедать; все сели за стол; профессор встал и прочитал импровизированную молитву - просил господина о мире между двумя великими народами; по лицам домочадцев было видно, что они действительно молятся. Я был на обеде, устроенном издателем «Нью-Йорк тайме», возле каждого прибора лежала карточка, я подумал, что это меню; оказалось - на одной стороне реклама газеты, на другой молитва, но здесь уже никто не молился...

Вскоре после нашего приезда в Америку Симонова и меня пригласили на ужин, устроенный одной из еврейских организаций. Консул сказал, что мы обязательно должны быть эта организация собрала свыше двух миллионов долларов на детские дома в Советском Союзе. Народу пришло много, хотели послушать «красных» - так нас называли в газетах. Мы обедали на эстраде, а гости - внизу за маленькими столиками. Профессионал по сбору денег (не раввин, а пастор) выполнял работу конферансье и ловко выкачивал доллары. Люди давали сто двести долларов. Некоторые выписали чеки на тысячу, пастор их прочувствованно благодарил, и зал аплодировал. Мне нужно было выступить, а меня от всего подташнивало. В своей речи я напомнил, что собравшиеся в большом долгу перед советским народом и что, когда выплачивают крохотную часть задолженности, этим не гордятся, этому не аплодируют, сказал также, что у нас люди отдавали свою жизнь скромнее, чем здесь дают доллары. Один из организаторов ужина принес мне таблетки - решил, что резкость моих суждений объясняется болезненным состоянием.

Нового, конечно, Синклер Льюис, ничего не выдумал, и я сам услышал в Бирмингеме комплимент: «Вы выпядите на сто тысяч долларов». Конечно, культ доллара был весьма распространен. Но я встретил в Америке немало бескорыстных идеалистов. В Нашвилле жил скромный адвокат Фармер. Он уверовал в идею «мирового

правительства». Потом эта идея была использована политиками для целей отнюдь не гуманных. Но Фармер был убежден, что мировое правительство спасет человечество от войны. Он превратился в проповедника. Он повез меня на ферму к своему отцу; там мы обедали, и сын пытался обратить отца в новую веру. В Нью-Орлеане я встретил инженера, который до войны сконструировал машину для механизации уборки хлопка; ему предложили за патент крупную сумму, а он после разговора с приятелем-экономистом уничтожил свое изобретение боялся, что машина лишит хлеба десятки тысяч сельских рабочих. Я видел белых энтузиастов, выступавших в Миссисипи против притеснения негров, видел первую демонстрацию против атомной бомбы. В конце сороковых годов в Движении сторонников мира работал американский пастор Джон Дарр. Он записывал в тетрадку разговоры, казавшиеся ему значительными: хотел понять все тонкости марксистского толкования событий. Делегацию сторонников мира пригласили в Китай. Пастор Дарр, разумеется, и там записывал мудрые и немудрые изречения своих собеседников. Хотя сами китайцы аккуратно записывали все, что рассказывал я и другие гости, любовь американца к записям показалась им подозрительной, и они сообщили об этом в Москву. Наивный и честнейший Дарр стал пугалом. Он это понял и вернулся в Америку и там продолжал выступать за мир, хотя это было связано для него со всяческими неприятностями. Летом 1965 года на конгрессе в Хельсинки было много американцев-пацифистов: священники, квакеры, сторонники всеобщего разоружения, женщины, возмущенные войной во Вьетнаме, люди смелые и бескорыстные.

Как все это понять? Вот над чем в 1946 году я ломал себе голову. В Париже дома примерно одного роста - шесть-семь этажей, а в американских провинциальных городах дома одноэтажные, но в центре обязательно несколько небоскребов. В Америке столько контрастов, что теряешь голову. Между двумя войнами мы восхищались американской литературой - Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбском, Колдуэллом. Приехав в Америку, я увидел, что вокруг них пустота. В штате Миссисипи люди интеллигентных профессий не знали даже имени Фолкнера, хотя он жил рядом - в городке Оксфорде. Поразило меня отсутствие средней литературы: Хемингуэй или «дайджест», Фолкнер или дурацкие «комиксы», Я видел прекрасные

фильмы Форда, Уайлера, Уэллса, а Мамуляна, а в соседних кинотеатрах показывали плоские фарсы, свирепые мелодрамы, патоку и пакость.

Я давно хотел поглядеть на собрание членов «Клуба львов» - этот клуб имеет разветвления во всех городах. Как раз на Юге, неподалеку от города, где жил Фолкнер, я попал на обед «львов». Председатель постучал деревянным молотком по столу, и члены клуба, главным образом коммерсанты, дружно зарычали «ууу!». Это было до того нелепо, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Обед кончился, «львы» вернулись к своим делам, а я шел по длинной Мэн-стрит и думал: хорошо, но откуда у них Фолкнер?...

В Нью-Йорке я пошел к Джону Стейнбеку. Еще до войны в Париже я восхищался его повестью «Мыши и люди». Он жил в центре Нью-Йорка в одноэтажном доме - это было роскошью: в Голливуде сделали несколько фильмов по его романам; он ругал эти фильмы, ругал многое другое и пил виски со льдом. Мы сидели в большой мастерской (жена Стейнбека художница). Он сказал мне: «Если плюнуть в пасть льва, лев станет ручным...» (Эти слова я потом не раз вспоминал - они верны по отношению ко львам различных мастей.) Несколько лет спустя Стейнбек приехал в Советский Союз. Я был с ним в Загорске, он захотел там посмотреть мастеров, которые вырезают из дерева зверушек. Прежде они работали хорошо, но под влиянием тяги к натурализму стали изготавливать соответствующий товар. Когда мастер сделал общую форму медведя, Стейнбек попросил продать ему неоконченную игрушку. Мастер обиделся: «Хочет, чтобы в Америке над нами посмеялись...» А Стейнбек восхищался: «Вот это искусство!...» И добавил: «Когда пишешь роман, тоже нужно вовремя остановиться...»

Прошло еще пятнадцать лет, и недавно я снова увидел Стейнбека. Он много с тех пор написал, узнал и годы неудач, и славу. Он сидел у меня, большой, крепкий, и я все время думал: до чего он связан с Америкой! Молодая страна, люди в ней не стареют - живут, потом падают. Не знаю, умеет ли Стейнбек вовремя остановиться, когда пишет роман; я его не стал об этом спрашивать, - кажется, нет на свете автора, который знал бы самого себя: писатели заняты своими героями, им недосуг задуматься над собой. Конечно, Стейнбек стал как-то спокойнее, я почувствовал тяжесть и снисходительность

седьмого десятка, все же он остался громким, неумным, похожим на свою страну.

Теперь я несколько лучше понимаю американцев. А в 1946 году я спрашивал себя: чем живет Стейнбек? Чем живет Америка? Это были не праздные вопросы, не любопытство туриста, не работа этнографа - я видел, что после войны многое на свете изменилось. Все зависит от того, по какому пути пойдет эта богатая, чрезвычайно цивилизованная и вместе с тем полудикая страна.

Сотни американцев пытались мне доказать, что американцы самые свободные люди и что это объясняется частной инициативой, психикой пионеров, значением личности. Слушая такие разговоры, можно было подумать, что передо мной испанские анархисты и что Трумэн - ученик Мигеля Бакунина. Действительно, я побывал в городах, где частные компании отпускали не только электричество и газ, но даже воду; на дорогах несколько раз нашу машину останавливали и брали деньги за проезд, - оказывалось, дорога принадлежит бизнесмену или плантатору; мост через Миссисипи эксплуатировался акционерным обществом. В 1946 году правительство проводило кампанию против расточительства. Я видел повсюду рекламы: «Не забывайте, что на свете пятьсот миллионов человек голодают. Гейнц - пятьдесят семь соусов». Я спросил председателя торговой палаты в городе Джексон, почему фирма Гейнца рекламирует свои соусы с помощью гуманных фраз. Председатель покачал головой: «Напротив, фирма Гейнца старается помочь правительству. Официальным декларациям не верят, а у Гейнца большой авторитет...» Вместе с тем власти преспокойно вмешивались в частную жизнь американцев. В Нью-Йорке, в гостинице на Бродвее, где я прожил неделю, ночью была облава; арестовали провинциалов-молодоженов - у них не было при себе удостоверения о браке. Имелись штаты, где венчали без волокиты, а штат Невада разбогател потому, что там легко развестись. В вагоне-ресторане официант забрал стакан с виски: «Мы проезжаем через сухой штат...»

Я был у крупного ученого Зворыкина, изобретателя иконоскопа. Он жил возле Филадельфии в чудесном доме. Он долго рассказывал, как быстро развивается в Америке наука. Я знал, что Эйнштейн и Ферми обязаны многим Соединенным Штатам. Роман Якобсон ночь

напролет говорил мне о будущем новой науки - изобретены «мыслящие машины». В Принстоне я видел замечательные аудитории, лаборатории, библиотеки.

В Джексоне, в Ноксвилле я с трудом разыскал книжный магазин.

Разноречивые впечатления я изложил в очерках. Конечно, в них было много случайного, были, наверно, и ошибки - трудно за короткий срок понять чужую жизнь. Однако я не поддался соблазну отделаться памфлетом. В 1946 году «холодная война» быстро разгоралась, и те американцы, которые ее раздували, радовались некоторым статьям или фельетонам, напечатанным в наших газетах. Журнал «Харперс мэгезин», участвовавший в антисоветской кампании, опубликовал перевод моих очерков, но в своих комментариях признал: «Важны не отдельные детали, а общее впечатление, которое получит от этих статей советский читатель. Трудно себе представить, что он увидит в них Америку грубым, жадным, механизированным и бездушным чудовищем, каким ее изображали в прошлом европейские спиритуалисты, например, Андре Зигфрид... Статьи мистера Эренбурга появлялись в «Известиях» с июня по сентябрь - во время ныне знаменитой «культурной чистки», от которой пострадали многие писатели и кинорежиссеры... «Известия» писали в передовой: «Чему же могут учиться лучшие люди советского общества, творцы его культуры у «модных» деятелей современного Запада и Америки, выразителей морального распада и гниения капиталистического строи?» Читая это, мы в испуге вспомнили одно место в четвертой статье мистера Эренбурга: «Мы можем многому научиться и у американских писателей, и у американских архитекторов, и даже (несмотря на потрясающую пошлость средней продукции) у американских кинорежиссеров». Возникает тревожное чувство, что благодаря этим статьям мистер Эренбург повис на суке. Мы надеемся, что он принял меры предосторожности и снял с себя галстук». (Антисоветские журналисты надеялись, что меня уничтожат, и до сих пор не могут мне простить, что я остался в живых.)

Однако мои очерки были продиктованы не только желанием погасить огонь «холодной войны». Я понимал, что европейцы начинают походить на американцев - в пристрастии к комфорту, в некотором упрощении эмоциональной жизни, в культе техники и спорта. Мне хотелось приободрить себя, и, думая о новой

интеллигенции, представителей которой я встречал в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Орлеане, я доказывал, что многие американцы начинают походить на европейцев: «Америка не застывший мир, она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастениками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов читают «Ньюйорксер», высмеивающий «американизм». Вообще, так издеваться над Америкой, как это делают сами американцы, никогда не сможет ни один европеец; и в этом тоже залог роста. Я убежден, что американцы, проклиная Америку, на самом деле страстные патриоты. Они - новые пионеры, их тоже трясет лихорадка, но не «золотая»: они ищут духовные ценности; им мало высоких домов, и если они смеются над этими домами, то не потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств».

Вероятно, все это правильно, но «быстро сказка сказывается», а история петляет. Прогресс естественных наук стал повсеместным. Американцы растерялись, увидев в некоторых областях превосходство советской техники; однако это было связано, скорее, с выкладками политиков и военных, чем с поисками «высоких дум и высоких чувств».

В годы, называемые теперь годами «культы личности», кибернетику у нас называли шарлатанством. Впервые Большая советская энциклопедия заговорила о ней в дополнительном томе. Наши специалисты по кибернетике с возмущением вспоминают прошлое: один из них обиду перенес на искусство, как будто в походе на новую науку повинно «анахроничное увлечение Бахом или Блоком». Между тем люди, запрещавшие кибернетику, с опаской поглядывали на искусство. Я продолжал и продолжаю спорить не столько с Америкой, сколько с «американизмом». С увлечением я прочитал книгу Винера (хотя не все в ней понял); я слышал электронную музыку, охотно верю, что машины, сочиняющие стихи, делают это быстрее и не хуже многих членов Союза писателей. Баха или Блока машины, однако, не заменяют, да и не могут заменить.

Может быть, в недалеком будущем межпланетные ракеты будут предоставлять парочкам, лишенным свидетельства о браке, большой комфорт, чем теперешние «кадиллаки» или «бьюики»; не нужно много фантазии, чтобы это себе представить. Но я хочу думать, что люди грядущего будут обладать той культурой эмоций, которая

отличает любовь героев Шекспира, Гете или Льва Толстого от случки питекантропов.

Древние изображали богиню мудрости с совой, и Гегель говорил, что сова взлетает, когда опускаются сумерки. Обидно, что о многом начинаешь задумываться к вечеру жизни.

Наш приезд в Америку рассматривался как «ответный визит» - в 1945 году три американских журналиста побывали в Советском Союзе. «Холодная война» только начиналась. Американцы вели переговоры с Советским правительством об увеличении тиража журнала «Америка», выходившего на русском языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю. Все газеты сообщили: «Трое красных журналистов приглашены познакомиться с Америкой. Они будут свободно разъезжать по стране за счет правительства Соединенных Штатов». От денег мы отказались, а разрешением свободно передвигаться решили воспользоваться. Галактионов предпочитал остаться в Нью-Йорке, где было много советских работников, но, посоветовавшись с послом, решил, что поедет на несколько дней в Чикаго, и, когда нас пригласил заместитель Бирнса Бентон, Михаил Романович объяснил, что намерен познакомиться с работой крупных чикагских газет. Симонов сказал, что выбрал Западное побережье - Голливуд. Пришел мой черед: «Я хотел бы поехать в Южные штаты». Бентон попытался меня отговорить: далеко, воздушная связь плохая, да и не повсюду имеются хорошие гостиницы. Я возразил: от Москвы до Вашингтона еще дальше, я могу поехать поездом, а комфортом мы не избалованы. Бентон повторил, что мы свободны в выборе.

Один из вашингтонских комментаторов, или, как в Америке говорят, «колумнистов», статьи которых печатают одновременно десятки газет, Марквиз Чайлдс, писал: «Совершенно ясно, почему Эренбург - самый яркий и агрессивный из трех - выбрал «Табачную дорогу». В жизни Юга он цинично ищет подходящих для него историй...» (Говоря о «Табачной дороге», журналист, конечно, имел в виду не мою страсть к куренью, а книгу Колдуэлла.)

Признаться, я меньше всего думал и о Колдуэлле, и о материале для газетных очерков; мне хотелось понять то, что с давних пор оставалось для меня загадочным: положение негров в Америке. В молодости я считал, что прогресс неминуемо освобождает людей от

суеверий и нетерпимости. Я знал, что Южные штаты Америки далеко отстали от Северных, что там мало промышленности, есть неграмотные, и этим объяснял живучесть предрассудков. Только когда расизм восторжествовал не далеко за океаном, а в хорошо мне знакомой Германии, я понял, насколько был наивен. Судьба американских негров перестала быть исключительным явлением; расизм вошел в быт века. Решив поехать в Южные штаты, я думал не о газетных статьях, а только что закончившейся, еще не отошедшей от меня войне, думал о многом темпом, с чем мне пришлось в жизни столкнуться, искал разгадку, пробовал осмыслить противоречивую эпоху.

В первые же дни моего пребывания в Нью-Йорке я понял, что Новый Свет забит хламом старых предрассудков.

В киосках можно было увидеть десятки газет, выходивших в Америке на различных языках - итальянском, польском, еврейском, немецком, испанском, греческом, армянском, украинском, сербском и Других. Я попал в итальянский квартал; там сушилось на веревках белье, в тратториях люди накручивали на вилку длинные макароны, кто-то пел, мне показалось, что я в Генуе или в Неаполе. В еврейском квартале торговали солеными огурцами, халвой, водкой, были вывески и русские и польские; старик, похожий на героя Бабеля, пил на улице чай и рассуждал: «Сульцбергер пишет, что он любит бога, если не еврейского, то американского, но, наверно, этот бог с таким вниманием читал «Тайме», что даже не заметил, как сожгли варшавское гетто...»

Названия городов напоминают, что люди пришли сюда отовсюду: Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Манчестер, Амстердам, Пекин, Париж, Одесса, Толедо, Франкфурт, Кантон, Кембридж, Москва, Берлин, Рим, Оксфорд, Кордова... В любой отрасли науки встречаешь имена, которые ясно говорят, что если не сам ученый, то его дед родился - кто в Ирландии, кто в Польше, кто в Германии, кто в России. Я хотел понять, почему же в стране, где перемешались все расы, все национальности, все языки, расцвели и расизм, и своеобразная национальная иерархия.

Аристократия знала родовую иерархию: потомственный дворянин глядел свысока на личного дворянина, а этот последний презирал мещанина; во Франции выше всего стояли принцы, за ними

шли герцоги, потом маркизы, графы, виконты, бароны, наконец - обыкновенные дворяне, у которых перед фамилией значилось «де». Считалось, что в жилах аристократов течет «голубая кровь». Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот, загадочным для меня образом, создалась своя иерархия крови: выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, ирландских, скандинавских, голландских; несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, порториканцы, и всех ниже негры, Есть клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один словоохотливый американец: «С ними обедают, но не ужинают»,- обед - это деловая встреча в ресторане без жен,- с евреями можно делать дела, но не якшаться. Мне показывали гостиницы, куда не пускают евреев; обычно это на курортах, у моря или у озера.

Через несколько дней после моего приезда в Нью-Йорк друзья повезли меня в негритянский квартал Гарлем; там я познакомился с журналистами, писателями, актерами, музыкантами; с некоторыми из них я подружился.

Теоретически негры в Нью-Йорке пользовались всеми правами. Но квартир в домах, где жили белые, неграм не сдавали. Они жили в Гарлеме, и что ни говори - это гетто. Как-то я возвращался из Гарлема поздно ночью. Шофер такси довез меня до границы гетто, объяснил, что дальше ему ехать не стоит- не найдет назад пассажиров, окликнул такси с белым шофером, и и пересел. Конечно, были богатые негры, были даже занимавшие государственные посты (таких было мало, и посты были некрупными, но видимость соблюдалась); однако большинство черных выполняло черную работу: носильщики, мусорщики, сторожа, лифтеры, судомойки, прачки. В Гарлеме я видел «госпиталь рубашек» так называлась мастерская, где на месте латали рубашку, клиент сидел полуголый и ждал: у него была всего одна рубашка.

Если негр заходил в ресторан, который содержал американец, ему вежливо говорили, что все столики заказаны. Если он пробовал найти работу почище, ему любезно сообщали, что вакансия уже занята. Я хотел позвать к себе друзей-негров. Меня предупредили, что их не

подымут вверх - я жил на шестнадцатом этаже, скажут, что лифт не работает.

Американцам нравилась негритянская музыка, черные певцы, актеры. Негритянские труппы часто играли на Бродвее. В партере сидели белые, они аплодировали. Но если актеры захотели бы после спектакля поужинать, они должны были найти французский, итальянский или еврейский ресторан - в американском им сказали бы, что все столики заняты...

Расизм заразил даже тех, которые от него терпели: и встречал негров-антисемитов. А обиженный кем-то еврей кричал: «Почему вы со мной так разговариваете? Я, кажется, еще не негр!...» Мулат в Вашингтоне рассказывал о своей беде - его дочь влюбилась в негра.

Я начал готовиться к путешествию. Друзья сказали, что они пришлют ко мне одного прогрессивного южанина, который посоветует, куда поехать. Дэниэл Гилмор был южанином, сыном адмирала; до войны издавал левый литературный журнал «Пятница» (под таким же названием выходил еженедельник в Париже, его редактировали Жан-Ришар Блок и Шамсон). Он сказал, что повезет меня в своей машине. Это было нечаянной удачей - никогда бы я не разыскал тех захолуствий, куда меня повез мой новый друг.

Госдепартамент сообщил мне, что меня будет сопровождать редактор журнала «Америка», выходящего на русском языке. Нельсон был сыном выходца из России и превосходно говорил по-русски. Он показал себя тактичным, и между нами установились добрые отношения.

Нельсон обращался к местным властям; меня приглашали на официальные обеды - то председатель торговой палаты, то издатель крупной газеты, то чиновник, занятый делами культуры. Гилмор знал многих, возил меня в редакции негритянских газет, в заштатные городки, на хлопковые плантации. Я разговаривал с сотнями разных людей - с профессорами и плантаторами, с пасторами и с профсоюзниками, с художниками и с рабочими.

Мы были в Алабаме, когда Гилмор рассказал, что «колумнист» Сэм Графтон хочет описать поездку советского писателя по Югу и просит разрешения присоединиться к нам. Дальше мы колесили уже четвером в утомленном, но поместительном «бьюике».

Почему-то моим спутникам понравился русский обычай называть человека по имени и отчеству. И вот со мной ездили Дэниэл Горацевич Гилмор, Билл Бенедиктович Нельсон и Сэм Ноэмович Графтон. Мы подружились, и южане не раз принимали нас всех за «красных». Мы останавливались на ночь то в больших гостиницах, то в «мотелях», то в комнатах, которые жители городишек сдавали проезжим. Южане оказались гостеприимными, приглашали пообедать или поужинать с ними. Мне повезло - я ездил как американский турист.

В Нашвилле я провел день в частном негритянском университете Фиск. Там училось около семисот юношей и девушек, они готовились стать врачами, педагогами, адвокатами, но знали, что смогут лечить, учить, защищать только «цветных». Среди профессоров был крупный химик Брэди. Он рассказал, в каких условиях ему приходится работать. В университете для белых прекрасно оборудованные лаборатории, но туда он не имеет права войти, не может он пользоваться и университетской библиотекой: когда ему нужна справка, белый юноша идет вместо него в библиотеку и выписывает. А на международные конгрессы профессора Брэди посылают: для Нашвилла - он негр, для заграницы - видный американский ученый.

(Я прочитал статью известного зоолога Лилли, профессора Чикагского университета, посвященную умершему в начале войны биологу Дзосту: «Трагизмом отмечена вся научная деятельность Дзоста - он был негром в Соединенных Штатах... В Европе его принимали дружески, и легко понять, почему он себя обрек на добровольное изгнание, но глубоко обидно, что его знания, беззаветная преданность науке не смогли найти приложения на его родине...»)

Среди студентов Нашвилла я увидел рыжеватую девушку с веснушками, она заговорила со мной по-русски. Оказалось, отец ее негр, а мать одесситка, звали ее Лилиан Вальтфильд. По виду ее никак нельзя было принять за негритянку, но в паспорте значилось: «цветная».

Мы осматривали плотину Теннесси - огромное строительство, осуществленное Рузвельтом. Электростанция изменила экономику шести южных штатов. Я восхищался дорогами, домами, парками, но повсюду я видел надписи «Для цветных» и угрюмо думал: да бог с

ней, с этой диковинной техникой, если она может сочетаться с оплевыванием человека!...

Когда мы ехали на Юг, Билл Бенедиктович мне рассказывал, как хорошо поставлено в Америке народное образование и какие суммы расходуются на здравоохранение. В Миссисипи я увидел, как живут негры, арендующие клочок земли, или сельские рабочие. В темных лачугах копошились огромные семьи, спали на иолу. Мы встречали много неграмотных - школ для негров не хватало, встречали людей, никогда в жизни не выдавших доктора: врачу нужно заплатить столько, сколько целая семья вырабатывает в три месяца.

А радушный хозяин большой плантации, угощавший нас яствами Юга, говорил: «Неграм у меня хорошо. Я их даже в церковь отпускаю...»

Войдя в одну злосчастную хижину, Сэм Графтон вышел потрясенный никогда прежде он не бывал на Юге. Я ему сказал: «Видите, и я пригодился - благодаря мне дядя Сэм познакомился с дядей Томом...» Нельсон тоже впервые увидел Южные штаты и был подавлен; больше он не заговаривал ни о медицинском обслуживании, ни о народном образовании.

Я вспоминаю большую ярко-желтую реку Миссисипи, старые усадьбы, где жили опоэтизированные герои Митчелл, уют, комфорт, который не снился нашей Салтычихе, и темные, зловонные хижины, едкое человеческое горе голод в краю изобилия, работу через силу и ко всему ежечасное надругательство: «Куда лезешь, грязный негр!...» (Эти слова я услышал на трамвайной остановке - вагоны, где имели право ездить только белые, проходили почти пустые, а на площадке места не было.)

Трудно видеть чужое горе, нужду, нищету,- это я не раз чувствовал и дома, и в Испании, и в Индии. Но только раз в жизни я очутился среди чужого унижения. Однажды в Нью-Орлеане я сидел в милом доме у хороших и просвещенных людей - знакомых Гилмора. Один из гостей, высокий, светловолосый, оказался архитектором. Мы говорили сначала об урбанизме, о Ле Корбюзье, потом о живописи. Меня мучила жажда - было нестерпимо жарко. Я предложил пойти в соседний бар и там продолжить беседу. Никто меня не поддержал. Полчаса спустя я попросил стакан воды. Архитектор встал: ему пора домой. Когда он вышел, хозяйка объяснила, что он по паспорту

«цветной» и не может войти в бар - его в городе знают. Мне стало стыдно: ведь я его поставил в трудное положение. Больше не хотелось пить и, если говорить откровенно, не хотелось жить.

Другой раз я испытал нестерпимый стыд, когда очень светлая мулатка рассказала мне, как носильщик, не догадавшись, что она «цветная», посадил ее в вагон для белых; поезд тронулся, она не успела выйти. Один белый подозвал проводника и сказал, чтобы он выкинул «цветную». Девушка никак не походила на мулатку; проводник оказался сердобольным и шепнул заподозренной: «Я ему объяснил, что вы еврейка, поэтому у вас черные волосы...» Девушка смеясь добавила: «А я так испугалась, что двинуться не могла...» Вот тогда впервые в жизни мне стало стыдно, что я еврей, хотелось стать черным евреем.

Сторонники «расового разделения» или, говоря проще, расисты, разговаривая со мной, пробовали обосновать южные порядки: есть естественное неравенство рас, нужны века, чтобы негры доросли до белых; теперь с ними общаться трудно, их следует учить, создавать для них сносные условия и давать ту работу, которую они в силах выполнить. Это я слышал много раз. Это сказал мне и один юрист, у которого мы ужинали. Его молодая жена добавила, что хорошо это или плохо, но каждый американец чувствует к неграм физическое отвращение. (Я почувствовал отвращение к молодой хорошенькой женщине, но, будучи гостем, промолчал.) Мы встали, и хозяйка сказала, что покажет нам своего первенца - он родился ровно месяц назад. Младенца принесла огромная толстая негритянка, сверкавшая белыми зубами,- она кормила грудью сына хозяев...

В промышленном Бирмингеме много негров работало на металлургических заводах. Мы зашли к одному из них; он жил бедно, но чисто, в маленькой комнате помещались пять человек. Разговорились о работе, о квартирах. Потом я спросил, какие у него отношения с белыми товарищами. «На работе хорошие».- «Бываете вы у кого-нибудь из них?» - «Нет». «А к вам приходят?» - «Никогда. Вы - первый белый, который зашел в этот дом...»

В Нью-Орлеане я пошел в профсоюз моряков. Секретарь показал мне клуб, сказал, что их профсоюз называют «красным»: у них негры присутствуют на общих собраниях, в других профсоюзах для «цветных» имеются особые секции. «Вот места для негров»,- сказал

секретарь. Скамейки были не хуже других, но негров все же сажали отдельно.

Помню долгий откровенный разговор с адвокатом Робертсоном. Он был хороший человек, которого возмущала расовая дискриминация, он старался, как мог, помочь неграм. Он рассказывал мне о чудовищных приговорах. Одна женщина увлеклась негром, которого звали Вилли Меги, он был шофером грузовика. Она затаскивала его к себе в дом. Соседки об этом судачили. Однажды муж вернулся не вовремя. Женщина закричала: «Помогите, меня насилуют!...» Все, включая судей, знали, что женщина лжет, но никто на суде об этом не сказал. Напрасно адвокат пытался спасти Вилли Меги - его приговорили к смертной казни. В городке Олбезилл шестеро белых изнасиловали негритянку; все знали, что они виновны, но их оправдали. Робертсон вспомнил и другие судебные дела в штате Миссисипи. Я спросил его, почему расизм оказался настолько живучим. Он ответил: «Мне неприятно вам признаться, но это в нас с детства, мы все отравлены этой пакостью. У нас домашняя работница негритянка. Мы с женой к ней хорошо относимся. Недавно она рожала. Позвали врача. Я зашел поглядеть на ребенка и поймал себя на мысли- живое существо, а все-таки не белый... Я сам себе неприятен...»

Я понял, что дело не только в страшной эпопее Гитлера. Конечно, в Америке не было ни Освенцима, ни Трешлинка. Случаи линчевания становились все большей редкостью. В 1946 году в Южных штатах существовали законы, весьма напоминавшие те, над которыми трудился Глобке (еще недавно он занимал в Западной Германии весьма почетное место). Но и рабовладельцы Юга не были новаторами. Семь параграфов закона, опубликованного в XIII веке испанским королем Альфонсом X, которого прозвали Мудрым и который действительно покровительствовал астрономии и другим наукам, гласили о разделении в жизни христиан и евреев и устанавливали ограничения для евреев, весьма схожие с теми, которые существовали в середине XX века в Южных штатах для негров.

Я знаю, что теперь многое изменилось. Даже американские реакционеры поняли, что Африка проснулась и что гонение на негров в Соединенных Штатах исключает возможность добрых отношений с новорожденными государствами Африки. Да и внутри самой Америки

наблюдаются сдвиги сознания. Конечно, хорошо, что ровно сто лет спустя после победы Севера над рабовладельцами-расистами принят закон о предоставлении избирательных прав неграм Юга. Но это событие совпало с кровью на улицах Лос-Анджелеса, с выстрелами в Алабаме и Миссисипи, с накопившейся ненавистью угнетенных к угнетателям и с затаенной неприязнью либеральных «освободителей» к освобождаемым.

Дело не только в уничтожении отвратительных законов, дело в изменении душевного мира людей: мы слишком хорошо знали, что никакое, даже самое передовое, законодательство не может вытравить из сознания древних предрассудков; они норой прячутся, камуфлируются, ищут новых, более приспособленных к современной жизни обоснований и вдруг показываются во всей своей отвратительной наготе.

О поездке на Юг я рассказал не для того, чтобы осудить американцев, эта книга - не сборник политических статей. Я задумываюсь над тем, что увидел и пережил, мне хочется найти выход. Кажется, я был прав в молодости, когда думал, что свет изгоняет тьму, только и те далекие годы я принимал образование за воспитание, а знания за совесть. Выход, наверно, в гармоничном развитии человека, что требует много душевных сил, много разума, да и много времени; но если люди сейчас же не возьмутся за это, то они погибнут смертью, недостойной человека,- от превосходства ядерного оружия над хрупкостью немыслящего тростника, и погибнут они независимо от цвета кожи или от формы носа.

Мне казалось, что я потерял возможность изумления; перелетел океан, побывал в разных странах, встречался со знаменитыми, порой великими людьми, пережил три войны, революцию, тридцать седьмой, фашизм, Победу, и вот неожиданно 14 мая 1946 года я пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы,- меня повезли в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном. Я провел у него всего несколько часов, но эти часы мне запомнились лучше, чем некоторые крупные события моей жизни, можно забыть радости, напасти, а изумление не забывается, оно врезается в память.

Конечно, я видел фотографии Эйнштейна, кто их не видел, но выглядел он иначе, может быть, потому, что снимки были давнишними, может быть, потому, что фотообъектив не глаз. Эйнштейну, когда я его увидел, было шестьдесят семь лет; очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными, и вдруг они начинали задорно смеяться, скажу, не страшась слова, по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад, стоило его глазам весело поиздеваться,- как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы, он сам ее выразил брошенной мимоходом фразой: «Живу и недоумеваю, все время хочу понять...»

В «Хулио Хуренито», написанном в 1921 году, я рассказывал, что читаю о теории относительности в популярном изложении. Во многих областях науки я чрезвычайно невежествен (к счастью, я это понимаю) - сказывается «незаконченное среднее». Популярное изложение я одолел, но даже в нем не все понял, о некоторых вещах, скорее, догадывался. По дороге из Нью-Йорка в Принстон я

волновался: о чем я смогу говорить с великим ученым - я ведь неуч?... О своих страхах я рассказал еврейскому литератору Брайнину, который повез меня в Принстон. Он ответил, что Эйнштейн человек простой, он меня пригласил потому, что интересуется Россией, угрозой новой мировой войны. Это меня не успокоило. Но стоило Эйнштейну заговорить, как страх исчез. Конечно, я отвечал на его вопросы, что-то рассказывал, но теперь мне кажется, что говорил только он, а я слушал, и если раскрывал рот, то от изумления.

Все меня изумляло - и его внешность, и биография, и мудрость, и задор, а больше всего то, что я сижу, пью кофе, а со мной разговаривает Эйнштейн.

(Как-то я сидел рядом с Жолио-Кюри на заседании Всемирного Совета Мира. Ораторы один за другим повторяли общеизвестные истины. А Жолио, наклонившись к моему уху, говорил о судьбе физиков. (Видно, какая-то фраза навела его на эти мысли.) «Физики похожи на поэтов, они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теорию бета-распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год, Дирак - в двадцать шесть. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? Двадцать шесть!» Глаза Жолио лукаво заблестели, вдруг он насупился: «Нужно послушать, что он говорит...» А я записал слова Жолио на проекте очередной резолюции.)

Конечно, мое волнение, когда я ехал в Принстон, было связано с масштабом человека. Я вспомнил, как в 1934 году Ланжевен мне говорил: «Эйнштейн перевернул все естественные науки. Физикам до него казалось, что все известно, а он доказал, что есть другое познание. С него начинается современная физика, да и не только физика - новая наука...»

Он разбивал старые представления о кабинетном ученом, замкнутом в пределах своей специальности. Я знал, что он дружил с Роменом Ролланом, в 1915 году выступал против войны, знал о его борьбе против фашизма, и человек, которого я увидел, помог мне многое понять в нашей противоречивой эпохе.

(Много позднее я прочитал его «Автобиографические наброски», воспоминания его друзей и увидел, что мое изумление было

естественным. Его жизнь напоминала бурную горную реку. Начну с паспорта: он был немецким подданным, потом швейцарским гражданином и, наконец, американским. Когда он сделал свое гениальное открытие, он числился «экспертом третьего ранга в бернском бюро патентов». Три года спустя, когда об открытии Эйнштейна говорили все передовые ученые мира, он читал лекции в Бернском университете, и на этих лекциях бывали всего два студента. Вскоре о нем начали говорить не только на ученых заседаниях, но и в трамваях. Он читал курсы лекций в Цюрихе, в Праге, в Берлине, в Лейдене, в Пасадене, в Принстоне; побывал во многих странах Европы; ездил в Индию, в Палестину, в Японию. С кем только не встречался он в жизни, не вел душевных бесед! Я не говорю об ученых, естественно, что со многими из них его связывала дружба, но перечислю некоторые неожиданные встречи, о которых он писал или упоминал в разговоре: Ромен Роллан и лорд Бертран Рассел, Кафка и Чарли Чаплин, Рабиндранат Тагор и наркомнидел Чичерин, историк хасидизма Бубер и Бернад Шюу, бельгийский король Альберт и негритянская певица Андерсон, Рузвельт и Неру. Он терпеть не мог приемов, аплодисментов, фимиама, чрезвычайно редко выступал публично, обожал играть на скрипке, увлекался садоводством, отдавался парусному спорту (даже написал статью «Вопросы управления парусной яхтой»), и вместе с тем не было события, на которое он не реагировал бы страстно, самоотверженно. В годы первой мировой войны, узнав, что Ромен Роллан выступает против националистического ослепления, он поехал к нему в Швейцарию, выступил против мировой бойни. Он мужественно приветствовал Октябрьскую революцию, клеймил немецкий милитаризм. Фашизм нашел в нем непримиримого врага. Он не был националистом ни немецким, ни еврейским, ни американским. Собирая деньги на устройство еврейского университета в Палестине, он говорил: «Я видел, как в Германии высмеивали евреев, и мое сердце обливалось кровью. Я видел, как были мобилизованы школа, юмористические журналы, всяческие другие способы пропаганды, чтобы подавить в моих братьях евреях веру в себя...» Он сделал все, что мог, для Испании, отстаивавшей свое достоинство. Он участвовал во многих организациях, боровшихся против угрозы новой мировой войны. Он вышел из культурного отдела Лиги Наций, заявив, что она

потворствует сильным и поощряет агрессоров. Он публично заявил в Америке, что он сторонник социализма и друг Советского Союза. Он писал о дискриминации негров: «Это темное пятно на совести каждого американца». В годы второй мировой войны он помогал сбору средств для помощи Советскому Союзу. Он осудил атомное оружие, предал анафеме «холодную войну», настаивал на всеобщем разоружении и за месяц до смерти сидел над текстом обращения, которое должно было быть подписано им, Бертраном Расселом и Жолио-Кюри.

У него было много врагов. Некоторые ученые долго пытались отрицать его открытия, которые, как им казалось, подрывают их небольшую, заработанную всеми правдами и неправдами, репутацию. Его ненавидели немецкие фашисты: для них он был прежде всего евреем. Была образована организация «АнтиЭйнштейн», куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты. Эта организация занялась травлей Эйнштейна - срывали лекции, печатали псевдонаучные пасквилы, листовки. В 1922 году «королевские молодчики», узнав, что Эйнштейн приезжает в Париж, устроили враждебную демонстрацию. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн был приговорен заочно к смертной казни, за его голову обещали крупное вознаграждение. В 1933 году мракобесы требовали, чтобы Эйнштейну запретили въезд в Соединенные Штаты. В 1945 году конгрессмен Ренкин в палате представителей предложил правительству «покарать агитатора, некоего Эйнштейна», осмелившегося выступить против режима Франко. Пять лет спустя тот же Ренкин говорил: «Старый шарлатан, некий Эйнштейн, который называет себя ученым, а в действительности является участником коммунистического лагеря...» Эйнштейном занялась знаменитая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности.)

В записной книжке и нашел некоторые фразы Эйнштейна - записал сразу, вернувшись из Принстона в Нью-Йорк. Вот что он говорил об американцах: «Это дети, иногда милые, иногда распущенные. Нехорошо, когда дети начинают играть со спичками. Лучше бы играли с кубиками... Я не думаю, что средний американец читает меньше, чем европейец, но он читает другое и, главное, читает иначе. Я спросил одного студента, читал ли он такую-то книгу, он ответил: «Кажется, да, не помню. Но ведь эта книга вышла несколько

лет назад, наверное, она устарела...» Такому интересно только новое... Здесь умеют быстро забывать. В годы войны у среднего американца при слове «Сталинград» был рефлекс - снять с руки часы и послать красноармейцу. Михоэлс и Фефер это видели. Теперь при том же слове у многих совсем другой рефлекс: показать русским, что у нас атомная бомба. Конечно, это результат газетной кампании... В Центральной Африке существовало небольшое племя - говорю «существовало» потому, что читал о нем давно. Люди этого племени давали детям имена Гора, Пальма, Заря, Ястреб. Когда человек умирал, его имя становилось запретным (табу), и приходилось подыскивать новые слова для горы или ястреба. Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд, следовательно, оно не могло развиваться чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы напоминают людей этого племени... Я прочитал в журнале «Ньюйоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону сто экземпляров журнала и роздал моим студентам. Один потом поблагодарил меня, в восторге сказал: «Бомба чудесная!...» Конечно, есть и другие. Но все это очень тяжело... Я выступал осенью. Кажется, скоро снова придется...»

Он еще вернулся в разговоре к бомбе: «Видите ли, самое опасное рассчитывать на логику. Вы убеждены, что дважды два - четыре? Я нет... Несчастье, что умер Рузвельт,- он не допустил бы...»

(Опять-таки позднее я узнал о том, что называют «драмой Эйнштейна». За месяц до начала второй мировой войны некоторые друзья Эйнштейна, физики, сообщили ему, что в Германии работают над созданием атомной бомбы. Захватив Чехословакию, гитлеровцы располагают ураном. Друзья уговорили Эйнштейна написать об этом Рузвельту. В апреле 1945 года, когда стало ясно, что гитлеровцы не успели создать атомную бомбу, узнав, что такая бомба уже имеется у американцев, Эйнштейн вторично написал Рузвельту - умолял не прибегать к ужасающему оружию. Рузвельт умер до того, как получил письмо. А новым президентом Трумэн несколько месяцев спустя отдал приказ сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки.)

Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием «Черной книги». Я привез некоторые опубликованные материалы, фотографии. Эйнштейн внимательно глядел, потом поднял глаза, я увидел в них

скорбь, его губы чуть вздрагивали. Он сказал: «Не раз в моей жизни я говорил, что возможности познания безграничны и безгранично то, что мы должны узнать. Сейчас я думаю о том, что у низости и жестокости тоже нет границ...»

Он спросил, куда и собираюсь поехать. Я ответил, что послезавтра уезжаю на Юг - хочу поглядеть, как живут негры. Он сказал: «Живут они ужасно. Постыдно! Действия правительства Южных штатов подпадают под некоторые пункты обвинительного акта Нюрнбергского процесса...» Через несколько минут, когда мы спустились в сад и нас там мучил фотограф, он рассказал, как давно одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему распространенный в Америке вопрос: «Что вы сказали бы, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке?» Я ей ответил: «Не знаю. Захотел бы познакомиться с невестой. А вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверно, лишился бы сна и аппетита». (В его глазах загорелся задорный огонек.)

Он меня расспрашивал о Советском Союзе. Потом сказал: «Я верю, что вы быстро восстановите экономику. Я вообще верю в Россию. Скажите, вы часто встречаетесь со Сталиным?» Я ответил, что ни разу с ним не разговаривал. «Жалко - мне хотелось бы узнать о нем как о человеке. Один коммунист мне говорил, что я отстал - преувеличиваю роль личности. Конечно, я не марксист, но я знаю, что мир существует вне субъективных оценок личности. И все же личность играет крупнейшую роль... Я куда лучше представляю себе Ленина - читал о нем, видел людей, которые с ним встречались. Он вызывает к себе уважение - не только как политик, но и как человек с высокими моральными критериями...»

Еще записана одна фраза - не могу вспомнить, в каком месте разговора он это сказал: «На меня очень большое впечатление произвели «Братья Карамазовы». Это одна из тех книг, которые разбивают механические представления о внутреннем мире человека, о границах добра и зла...»

Прощаясь, он сказал: «Главное теперь - не допустить атомную катастрофу... Хорошо, что вы приехали в Америку, пусть побольше русских приезжают, рассказывают... Человечество должно оказаться

умнее, чем Эпиметей, который раскрыл ящик Пандоры, а закрыть его не смог... До свидания! Приезжайте снова...»

Десять дней спустя я услышал по радио знакомый голос: Эйнштейн говорил о смертельной опасности, нависшей над человечеством,- необходимо договориться с русскими, отказаться от атомного оружия, не вооружаться, а разоружаться - он хотел захлопнуть ящик Пандоры.

Я слушал и вспоминал маленький серый дом с зелеными ставнями, книги, рукописи, прожженные трубки, все казалось заброшенным, как будто хозяин уже ушел из привычного уюта в мир, который безграничен. Вспоминал я старого человека с ручкой за воротником, со светящимися глазами, с космами белых волос, которые трепал весенний ветер.

Это было в Нью-Йорке в начале моего знакомства с Америкой. В полутемной мастерской и примерял брюки, когда меня вдруг ослепила вспышка лампочки. Фоторепортер бубнил, что хотел снять меня на улице, а примерку снял ради шутки, мне на память, конечно, эта фотография не будет опубликована; и, конечно же, на следующий день я ее увидел в одной из вечерних газет. Журналист сообщал, что Эренбург отказался от застежки «молния», предпочитая ей традиционные пуговицы. Вместо того чтобы посмеяться, я рассердился и, встретив редактора несколько дней спустя, спросил его, почему он напечатал столь игривую фотографию,- я ведь не кинозвезда, а пожилой мужчина. «У нас существует интерес к человеку»,- объяснил мне редактор. «Но почему к его нижней половине?...» Он удивленно посмотрел, потом захохотал: «Здорово! У вас чисто американский юмор. Завтра это пойдет в номер...»

Вначале меня удивлял характер многих американских газет; потом я привык и перестал обращать внимание. Беспокоило меня другое первые признаки того, что год спустя было окрещено «холодной войной».

Помню, в Ноксвилле, просматривая местную газету, я вдруг остолбенел: прочитал, что в псалме сто девятнадцатом говорится о Мосохе, где живут люди, ненавидящие мир, и что пророк Иезекииль указывал, что в Мешехе люди поклоняются идолу Гогу, а Мосох и Мешех не что иное, как Москва. Конечно, Ноксвилл - небольшой провинциальный город, можно было бы посмеяться над глупостью и кликушеством. Но на следующий день я разговаривал с одним фермером, очень гостеприимным, и он сказал мне: «Вот беда - только отвоевали и снова придется воевать, теперь уж не с немцами, а с русскими...» Сказал он это без задора, даже без неприязни, скорее печально. Подобные рассуждения я слышал не раз, хотя еще продолжался Нюрнбергский процесс и в первую годовщину победы над Гитлером многие вспоминали, что русские были союзниками. Людей сбивали с толку сенсационные телеграммы. Вдруг газетчики выкрикивают: «Красные танки идут на Тегеран...» Опровержений

никто не помнил, помнили страх. Я спрашивал людей, разбиравшихся в иностранной политике: почему они считают третью мировую войну неизбежной? Они не ссылались на Библию, а говорили: «Русские собираются захватить Персию... Россия в ближайшие месяцы нападет на Турцию... Москва претендует на Грецию... Красные грозят начать войну, если Тито не получит Триеста...»

Мы пробыли в Америке два с половиной месяца, и за этот короткий срок многое изменилось: газеты все чаще выказывали неприязнь, люди, с которыми мы встречались, стали настороженнее. Конечно, это было самое начало «холодной войны». Еще можно было надеяться, что вчерашние союзники договорятся. Я встречался с политическими деятелями, пытавшимися отстоять линию Рузвельта, с бывшим вице-президентом Уоллесом, с бывшим послом Дэвисом, с парламентариями Пеппсром, Коффэ, Томасом. Они выступали вместе с нами на больших митингах или на встречах. В Мэдисон-сквер пришли двадцать тысяч американцев; выступали и посол Громько, и мы трое, и Дэвис. Я видел в масляной полутьме огромного зала дружеские улыбки.

Все же настроение рядовых американцев менялось на глазах. Меня поразила фантазия журналистов из газет, принадлежавших Херсту: они писали небылицы о нас, хотя мы были рядом. Многие газеты уверяли, что я путешествую под наблюдением сопровождающего меня агента ГПУ, и милейший Билл Бенедиктович смеялся, когда я представлял его: «Тайный агент красной полиции, сотрудник Государственного департамента мистер Нельсон». Я приехал с Симоновым в Бостон, ехали мы ночь, на вокзале нас встретил член Совета американо-советской дружбы. Накинулись репортеры; мы отвечали; наконец член Совета сказал: «Дайте им позавтракать, передохнуть»... Вечерняя газета вышла с крупным заголовком: «Русский консул запретил советским писателям разговаривать с представителями прессы». Я спросил редактора, почему он печатает в своей газете бессмыслицу - ведь в Бостоне нет советского консула. Он ответил, что произошло недоразумение: говорили «каунсел» (совет), а репортеру послышалось «кенсел» (консул). Может быть, так и было на самом деле, а может быть, и не так: я не раз замечал, что, когда в дело замешана политика,

недоразумении объясняются разумением и бессмыслицы полны смысла.

Херстовские газеты меня называли «замаскированным агитатором», «товарищем циником», «Ильей из Коминтерна». Это звучало почти академично. (Два года спустя те же газеты, говоря обо мне, прибегали к более ярким определениям, помню хорошо два из них: «кремлевский недоносок» и «наемный микроцефал».)

Один из друзей Рузвельта объяснил мне новую политику Америки: «Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед. Непримируемая политика Соединенных Штатов, испытания атомных бомб заставит Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники «твердого» курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям».

Два месяца спустя после этой беседы Трумэн предложил министру торговли Уоллесу, защищавшему идею соглашения с Советским Союзом, выйти в отставку.

В Соединенных Штатах официальные лица были с нами вежливы, мы свободно разъезжали по стране, выступали на собраниях, и обижали нас только некоторые журналисты, старавшиеся обогнать время. Мы увидели самое начало первого действия. В Канаде нам показали сцену из следующего акта. Мы хотели съездить в Мексику и на Кубу - нас туда приглашали, но из Москвы пришла телеграмма: нам советовали принять приглашение канадско-советского общества дружбы - выступить в Торонто и Монреале; пришлось согласиться.

Еще в Нью-Йорке ко мне пришел канадский дипломат и предложил после Монреаля посетить Оттаву, где мы будем гостями канадского правительства. Улыбаясь, как и подобает дипломату, он сказал, что в Оттаве мы сможем отдохнуть: гости правительства должны воздерживаться от публичных выступлений.

Переехав границу, мы сразу поняли, какой именно отдых нам предстоит. Как раз в те дни происходил суд над канадцами, которых обвиняли в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Главным свидетелем обвинения был бывший сотрудник посольства Гузенко -

его соблазнили деньгами, перспективой комфортабельной жизни. На процессе он был звездой, носил панцирь под пиджаком, газеты восхищались его отвагой. Поскольку шпионажем занимаются все государства, большие и малые, обычно такого рода дела разбираются без излишнего шума, газеты сообщают, что задержанные липа «работали в пользу одной иностранной державы». На этот раз канадское правительство (вряд ли по своей воле) подняло ожесточенную кампанию против Советского Союза. Газеты ежедневно писали о «красной опасности». В Оттаве вокруг посольства толпились штатные единицы или добровольцы, поносившие Москву. Атмосфера, таким образом, была не совсем подходящей для мирного знакомства со страной.

Помню первый вечер в Торонто. Нас пригласил на ужин владелец крупной газеты, сказал, что хочет побеседовать, как укрепить культурные связи, установить взаимопонимание. В тот же вечер должен был состояться ужин «Комитета помощи России в войне», и мне пришлось на него пойти. Владельцу газеты я сказал, что после ужина приеду на часок. Ужин прошел нормально - с деревянным молотком председателя, с благородными речами, с чеками и с аплодисментами. Я уже знал программу и старательно исполнял порученную мне роль. Владелец газеты жил за городом в доме, окруженном прекрасным садом. Войдя в столовую, я сразу почувствовал что-то неладное. Галактионов сидел неподвижно, поджав губы, а Симонов делал вид, будто рассматривает гравюры на стенах. Мое появление, видимо, прервало разговор. Принесли кофе, я не успел взять чашку, как хозяин, повернувшись к Михаилу Романовичу, сказал: «Таким образом, вы должны понять, что канадцы не без основания видят в каждом советском посетителе разведчика...» Я встал, сказал, что устал, хочу спать. Хозяин понял, что хватил через край, и начал говорить, что любит Россию, рад нашему приезду. Мы постояли минут десять и ушли.

Начались пресс-конференции. Напрасно канадцы из Общества дружбы пытались унять журналистов. Напрасно мы говорили о жизни и культуре советского народа. Нам задавали вопросы о шпионаже, о военных приготовлениях Кремля, о предстоящей войне. На первой пресс-конференции я сказал: «Мне нравятся страна, народ, но меня удивляют две вещи. Почему у вас журналисты только и говорят что о

новой войне? Неужели вас не интересует, как мы живем, как воевали, как восстанавливаем разрушенные города? И второй вопрос: по конституции Канада - двуязычная страна, а на границе не понимают, когда говоришь по-французски, на почте тоже, да и среди журналистов - я вижу по лицам - большинство меня не понимает».

Мои слова были медом для французской печати Монреаля и Квебека. Газеты, выходящие на французском языке, крупным шрифтом оповестили своих читателей: «Эренбург считает, что в Канаде слишком много говорят о войне и слишком мало говорят по-французски». Это предопределило относительно благожелательное отношение к нам французских газет, в своем большинстве крайне правых.

В первые дни мы не отвечали на вопросы, связанные с процессом. Некоторые газеты обвинили нас в трусости. Когда на ужине прессы Канадского легиона в десятый раз поставили тот же вопрос, я счел невозможным отмалчиваться. У меня сохранился номер «Ля патри», где напечатан мой ответ: «Советское правительство заявило, что оно думает по этому поводу. Я вам скажу, что думаю об этом я - один из советских граждан. В деле есть юридическая сторона, ее я не собираюсь касаться. Есть в нем и политическая сторона. Я видел канадские войска в годы первой мировой войны. Они находились на одном из самых опасных секторов фронта. Это было почетным местом. То же самое можно сказать о месте канадцев во второй мировой войне - на Шельде. Мне кажется, что в словесной войне, объявленной Советскому Союзу, канадцев снова поставили на самое опасное место, но вряд ли его можно назвать почетным. Я не понимаю, почему Канада должна быть зачинщицей? Думаю, что нам лучше договориться и дружить».

Разумеется, газеты заговорили о моем вмешательстве во внутренние дела Канады. В Монреале власти нас предупредили, что лучше отменить митинг - готовятся беспорядки. М. Р. Галактионов по состоянию своего здоровья переживал происходящее особенно мучительно. Митинг все же не отменили. Я выступал по-французски, а в этом городе говорить без переводчика означало сразу подкупить собравшихся.

Я хотел поехать на один день в Квебек - посмотреть старый французский город, но представитель правительства мне сказал: «В

Квебеке нет ни одной свободной комнаты, где вы могли бы переночевать»...

Самым неприятным было наше пребывание в Оттаве. Нас окружали чиновники среднего калибра. День мы провели в нашем посольстве, там немного отдохнули, да и развеселили сотрудников, которые сидели, как в бесте. [Бест (перс.) - право убежища в помещении иностранных посольств.]

В последний день нас неожиданно пригласил к себе премьер. Мы решили, что к нему пойдут Галактионов и Симонов и скажут, что я прошу прощения - устал, плохо себя чувствую: меня ведь атаковали больше других. Премьер понял, что моя болезнь дипломатическая, и пытался снять с себя вину. Когда мы сели в самолет, я улыбался: слава богу, кончилось!... В Олбани самолет приземлился. Нас долго держали на поле, потом сказали, что погода нелетная, пассажирам заказаны билеты в поезде.

В Олбани мы провели несколько часов - без программы, без журналистов, без друзей. Это был обыкновенный провинциальный город Соединенных Штатов. По улице ходили молодые люди в новеньких костюмах и ярких галстуках. В барах на высоких табуретах сидели крикливые и в то же время молчаливые люди они не разговаривали друг с другом, а время от времени издавали резкие, скрипучие звуки - то заказывали «бурбон-сода», то ругались, то, осклабясь, восклицали «иесс». В витринах магазинов красотишки из пластмассы, залитые синим зловещим светом, напоминали о дешевизне летних платьев я о доступности десятиминутного счастья. Мы сидели в баре, бродили по улицам, приходили на вокзал и снова уходили: ждали поезда.

Я запомнил этот вечер в Олбани потому, что там я неожиданно разговорился с одним из посетителей бара. На вид ему было под пятьдесят; его медно-красное лицо сверкало от пота - вечер был жарким. Он прожил два года в Брюсселе и говорил по-французски. Он рассказал мне свою биографию: его отец был мелким плантатором в штате Небраска, он знал в детстве не нужду, но бедность. Отец поставил его на ноги - послал в коммерческое училище. Потом он начал работать в фирме санитарных приборов, придумал новый способ рекламы, получил премиальные, бросил службу, уехал в Сан-Франциско, открыл крохотную колбасную, быстро разбогател -

попался прекрасный мастер-венгр, убежавший из тюрьмы. Салями ему вскоре надоела, он перешел на страховку. Получил место в Бельгии, но европейская жизнь ему не понравилась. Он вернулся на родину и начал издавать в Канзасе финансовый листок. Его считали человеком энергичным, он шел в гору, женился. Вдруг разразился кризис, он обнищал, торговал в киоске горячими сосисками, подумывал о самоубийстве, особенно после того, как жена спуталась с начальником полиции. Но, в общем, все приходит и ухнет, кризис кончился, он приободрился, нашел компаньона и открыл в Кливленде бюро частного розыска, увлекся политикой - участвовал в предвыборной кампании, правда неудачно: агитировал за республиканцев, а прошел снова Рузвельт. Он вторично женился - на вдове, получил в придачу пасынка-шалопая, но и сбережения, купил небольшой завод, там делали сейфы, и вдруг - Пирл-Харбор, завод начал работать на военное ведомство, расширился. Тут произошла крупная неприятность - забраковали поставки, газеты, подкупленные конкурентом, требовали суда, пришлось потратить уйму денег на дорогих адвокатов^ все пировали, а он снова шел ко дну. Но жена вытащила сбережения, завод продали, он переехал в Олбани и занялся рекламами. Теперь дела идут хорошо, в его бюро одиннадцать служащих. Пасынок исправился, у него оказались способности - он изобрел машину для световых реклам, которые сообщают также биржевые курсы, политические новости, получил монополию на рекламы Гейнца, сигарет «кэмел», трех банков. Теперь ему предлагают стать во главе парижского отделения большой фирмы, а в бюро останется пасынок...

Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся: «Я не бельгиец, не француз и не русский, я настоящий американец. В мае мне исполнилось пятьдесят четыре года, для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я еще могу взобраться на вершину». Потом он начал философствовать: «Я ничего не имею против русских. Они здорово воевали. Наверно, они хорошие бизнесмены. Но я читал в «Таймсе», что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции, выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалованье. Это неслыханно скучно! Да если бы во время великой депрессии (так он называл кризис конца двадцатых годов)

мне сказали: дадим тебе приличное жалованье, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию,- я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно! Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются: там каждый молодой человек - духовный импотент...»

Подошел Симонов, сказал, что пора на вокзал.

В пульмановском вагоне было темно - все спали за занавесками. Я прошел в помещение возле уборной - там можно было курить, читать, пить содовую воду. Там я записал рассказ случайного собутыльника.

Неделю спустя в Бостоне мы сели на французский теплоход «Иль-де-Франс». До войны он считался роскошным, но потом служил для перевозки американских частей в Европу. Солдаты повсюду солдаты, и они привели нарядные залы, каюты в состояние, соответствовавшее их душевному разору.

В Бостоне была забастовка портовых рабочих. Багаж грузили «желтые», а багажа было много: Европа возвращалась в Европу. Кого только не было на «Иль-де-Франс»! Жюль Ромен (которого ждали звание академика, или, как говорят французы, «бессмертного», мундир, шпага) и румынская коммунистка, просидевшая в бухарестской тюрьме шесть лет, бельгиец, фабрикант сигар и чешский профессор. Ехали все в разоренную, голодную Европу, везли меховые манто и запасы кофе, стиральные машины и консервы. На палубе днем доносились обрывки фраз. Итальянский студент, горячась, кричал, что пора покончить с «проклятыми клерикалами». Старая аристократка из Пуатье вздыхала: «Зять написал, что во Франции пахнет революцией. Он считает, что Бидо - честнейший человек, но тряпка, допустил, что Торез теперь во дворце Матиньон. А партизаны припрятали оружие... Конечно, в Америке спокойнее, но я хочу умереть у себя дома...» Молодые спорили о книгах Сартра, о том, будет ли во Франции коммунизм, и о том, нужно ли восстанавливать разрушенные города такими, какими они были, или строить заново. Все были охвачены волнением перед встречей с родными, друзьями, с оставленной на несколько лет родиной. Не знаю, как выглядели пароходы, увозившие в Америку эмигрантов, но «Иль-де-Франс» увозил людей, не осевших в богатой и сытой Америке.

Люди волновались, а океан был спокойным. По ночам я часто сидел на верхней палубе - то записывал американские впечатления, то забирался в темноту и любовался водным простором. Я записал в одну из ночей мои мысли о путешествии и в записи вернулся к меднолицему американцу, которого встретил в Олбани: «В ранней молодости, когда я вошел в гимназическую организацию, я думал обо всем по брошюрам «Донской речи». Там было ясно сказано, что социализм прежде всего восторжествует в странах с концентрацией капитала, с передовой индустрией. Получилось наоборот: в горах Черногории люди кричат: «Белград - Москва!» - а в Америке капитализм переживает если не молодость, то «прекрасный возраст для мужчины», как говорил тот в Олбани. Он не случайный искатель приключений, а человек авантюристического мира. Все, что он ценит, для него не кончается, а начинается. С Америкой нужно договориться - революции там в ближайшие десятилетия не будет. Остановка за американцами. Они, в общем, мирные люди, но уж очень азартные...»

Я думал о том, что слышал в Канаде, думал с ужасом: тоже получилось не по программе - послевоенные годы начинают оборачиваться в предвоенные. Я хочу дописать роман о той буре, что улеглась. А люди, с которыми я спорил в Канаде, успели распрощаться с недавним прошлым - для них буря только-только начинается, ветер кружит столбы пыли...

Океан ворочался, как человек, которому снятся беспокойные сны, но для океана это было легким волнением. Конечно, шлюпку швыряло бы, а в баре «Иль-де-Франса» чуть позванивали стаканы. Ночи были по-июльски теплыми, с мотовством раскиданных на небе звезд. О чем я думал? Не помню... Наверное, о том, о чем думают все люди, оторванные на неделю от житейской лихорадки, среди воды, под звездами,- о прожитой жизни, о ненаписанных книгах, о том, что пора подводить итоги...

Помню только, что в одну из ночей ко мне подошел Галактионов. Он пожаловался на бессонницу, потом сказал, что наверху хорошо - морской воздух, звезды, и вдруг начал декламировать: «...И звезда с звездой говорит...» Он ушел, а я спустился в каюту. Мне хотелось писать стихи, но вместо этого я записал: «Мы в жизни разговаривали друг с другом очень редко, наверно, куда реже, чем звезда со звездой»...

Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В «Красной звезде» почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека; мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолгу с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям, иногда мне кажется, что это не мой порок, а нравы века: мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей, говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим - старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое.

Американские журналисты, увидев впервые Галактионова, называли его «старым солдатом» - обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе, звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня, а ему, когда мы были в Америке, не было и пятидесяти. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость, казалось, что он весь накрахмален - и щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы не беседовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать,- о мастерстве Чехова и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен, о старых постановках в Киевском театре Соловцова и об опасности механизации человека. Когда-то Галактионов учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком, как тогда пренебрежительно говорили, «прапором» или «фендриком». Хотя Галактионов в 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию и почти всю свою жизнь прослужил в ней, при разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску.

В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из «колумнистов», на

любую мелочь, которой Симонов или я даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно.

В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел сторбившись у стола, мне показалось, что он нездоров. Он ответил: «Все в порядке»,- и поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед Юнайтед Пресс. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил: «Каждый день встречаться с иностранцами... Это пытка!...»

Он честно выполнял порученную ему работу: выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя «холодная война» усиливалась, журналисты вели себя куда почтительнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему: «Я слышал, что у вас готовится история войны. Мы теперь заняты тем же, стараемся разобраться в наших неудачах на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например, Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал: «Разумеется, поскольку Красной Армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены». В другой раз журналист задал Галактионову вопрос о наших потерях: «Вы сказали - семь миллионов, входят ли в эту цифру военнопленные, погибшие в нацистских лагерях?» Генерал взволновался и попросил меня ответить.

В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель,- сказал он,- кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату № 6». Чуть ли не наизусть знаю, но, когда дохожу до сцены, как Никита выдаст доктору шутовской халат, не могу дальше читать... Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым. А здесь принесли мне его рассказы, не могу читать -

смешно, устарело. А вот до вашего прихода я читал «Человека в футляре»... Меня точность поражает - ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте: «Постное есть вредно, а скромное нельзя...» Или еще вот это место: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться...» В дверь постучали, Михаил Романович поспешно захлопнул книгу.

На моей совести грех,- сам того не подозревая, я способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное нью-йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание: стоило ему выйти на улицу - как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять, и никто на него не смотрел, даже рассмеялся: «Наверно, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена...» А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии, перед ним лежала газета, и он еле вымолвил: «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы!...» Нужно сказать, что «колумнисты» усиленно нами занимались: один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой, другой рассказывал, что я купил ящик дорогих гаванских сигар. И вот один из «колумнистов» написал: «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился... Мы не скажем куда». Михаил Романович был подавлен: «Вы понимаете, что это значит? А я только дошел до угла и вернулся. Да что тут говорить!...» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича - умная женщина, если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул: «При чем тут жена?... Я вам говорю: что там скажут?» Он показал на потолок. Я пытался его успокоить: мало ли писали вздора обо мне, Симонове, у нас знают стиль бульварных газет. Но он не успокоился: «Вам все сойдет - вы писатели. А я человек военный...» И вдруг не удержался: «Я слишком много пережил...» Сказал и быстро спохватился, заговорил о другом. Потом он мне рассказывал о своей молодости, о боях возле Самары, у Кронштадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям.

Теперь много пишут и еще больше говорят о жертвах «культы личности», вспоминают расстрелянных, погибших в лагерях. Михаил Романович никогда не был арестован; он только ждал ареста. Семена Гудзенко спасли после тяжелого ранения, а умер он десять лет спустя от давней контузии. Михаил Романович был контужен ударной волной «ежовщины». Только недавно я узнал, что скрывалось за случайно вырвавшимися словами «я слишком много пережил». Послужной список Галактионова похож на множество других. В партию он вступил в 1917 году, ему тогда было двадцать лет, пошел на фронт, остался в армии, подымался вверх, кончил военную академию, работал в оборонной группе Совнаркома. Разразилась гроза: арестовали его сослуживцев. Дивизионного комиссара Галактионова обвинили в том, что он был связан с «вредителями». В его шкафу нашли книги «врагов народа». Партийное собрание единогласно постановило исключить его из партии. Он лишился военного звания, работы. Ему повезло: полгода спустя его восстановили в партии, потом взяли на работу в «Красную звезду». А в 1943 году кто-то наверху вспомнил, что был такой скромный и старательный человек, и Галактионову присвоили звание генерал-майора, ввели в редакционную коллегию «Красной звезды», потом перевели в «Правду», послали в Америку. Все стало на свое место. Только человек был контужен: он помнил, как на собрании его называли «трусом», «подхалимом», «лицемером», как ночью он прислушивался к шуму на лестнице.

Поездка в Америку ускорила развязку. Михаил Романович был меньше всего подготовлен к трудным и сложным разговорам с американскими журналистами, за внешней вежливостью которых чувствовал неприязнь. Особенно мучительными были дни в Канаде. Я рассказал об обстановке. Я удивлялся, как спокойно держался при чужих Галактионов. Его травили, а он помнил, что не следует подливать масла в огонь, отвечал с достоинством, но, как всегда, учтиво, доброжелательно. На пароходе я сказал Симонову, что Михаил Романович душевно болен. Он пробыл, кажется, неделю в Париже, повеселел, ходил и книжные магазины; как-то мы просидели с ним часок в Люксембургском салу возле памятника Верлену. Он говорил о священных камнях Европы, о Герцене, о парижских рабочих. Я подумал: пройдет, человек жив... В 1947 году в «Правде» я

встретил Михаила Романовича. Он плохо выглядел, был очень мрачен. Я хотел его развеселить, вспомнил, как в вашингтонской гостинице мы врывались в чужие номера - не знали, что цифры те же, но есть «W» и «E» - «запад» и «восток», это походило на водевиль. Но он не улыбнулся, угрюмо сказал: «А я теперь на один этаж выше...» {потом я узнал, что он мучительно переживал перемещение - считал, что если его посадили дальше от кабинета П. Н. Поспелова, значит, ему больше не доверяют).

Конечно, психиатр объяснит все по-своему. Но теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь не тому, что Михаил Романович погиб от контузии, а тому, что многие из моих друзей и знакомых, да и я сам, выжили. В этой книге я рассказал, как покончили с собой писатели и художники, которых я знал: Есенин, Андрей Соболев, Маяковский, Паскин. Рене Кревель, Паоло Яшвили, Толлер, Марина Цветаева, Хемингуэй. Галактионов стихов не писал. Он опубликовал «Верден 1916 год», «Темп операции» и другие труды, в которых старался логично проанализировать различные военные операции. Он не был поэтом, он был честным и добрым человеком. А судьба в те годы не задумывалась на логикой. Игра была злой и зачастую нечестной. 5 апреля 1948 года Михаил Романович Галактионов кончил жизнь самоубийством.'

Я остановился в гостинице на левом берегу Сены, около бульвара Сен-Жермен; мне отвели мансардную комнату с балконом, откуда был виден Париж - черепица, трубы, старые дома, сбившиеся, как овцы, в смутное, серое стадо. Порой в сумерки я любовался знакомой мне картиной, порой ее не замечал.

Мне сказали, что Дениз приехала на несколько дней из Аннеси, где жила с сыном. Мы пошли в кафе «Фрегат» на берегу Сены, там мы иногда встречались пятнадцать лет назад. Она рассказывала про годы оккупации. Глаза ее по-прежнему казались лунатическими. Я спросил, не рассердилась ли она, что актриса Жаннет из «Падения Парижа» напоминает ее. Она ответила: «Мне об этом говорили. Я не стала читать...» В чернильной Сенс бились красные и зеленые круги.

Арагон и Эльза Юрьевна позвали Симонова и меня на «Чердак» - так называлось помещение Комитета писателей. Еще жила память о годах оккупации, спайка военного времени. Я увидел много старых знакомых - Элюара, Вильдрака, Кассу, Кокто, Авели на, Мартен-Шоффье, Полана, Сартра. Молодые, с которыми я встречался, обязательно заговаривали о Сартре,- видимо, он выражал беспокойство тех лет. Париж и вправду изменился: мало кто из писателей говорил о реализме, сюрреализме, персонализме - рассказывали о Соппротивлении, о книгах, выходивших в подполье, о неразберихе искали, где свои, вероятно, многие в громких и противоречивых событиях искали себя. Здесь мне хочется сказать хотя бы коротко об Арагоне. Познакомился я с ним в 1928 году, когда он был молодым, красивым сюрреалистом. На Монпарнасе много говорили и о его прекрасной книге «Парижский крестьянин», и о различных шумливых демонстрациях: задором сюрреалисты напоминали наших футуристов, Арагон был одним из самых боевых. Потом он стал сторонником реализма, коммунистом, создавал различные организации, редактировал журналы, газеты. Мы продолжали с ним встречаться и порой отчаянно спорили. В 1957 году Арагон возмутился нападением на меня одного критика в «Литературной газете» (это было после моего очерка о Стендале) и

выступил в «Леттр франсез» с ответом. В статье он, между прочим, писал: «Я привык, и уже говорил об этом, спорить с Ильей Эренбургом в течение тридцати лет. Мы расходимся во всем, кроме самого существенного - мира и социализма, войны и фашизма...» Может быть, я заговорил об Арагоне именно в этой главе потому, что в 1946 году «самое существенное» поглощало всех и мы с ним даже мало спорили. А в общем, Арагон прав: порой мне бывало с ним трудно, но ни разу наши споры не переходили в размолвку.

Не стану говорить о том, что всем известно: это большой поэт и большой прозаик; одни его книги мне близки, другие нет, но я сейчас не об этом хочу сказать. Он человек очень сложный, он часто меняет свои оценки, но справедливо сердится, когда пробуют противопоставить один его период другому,- он всегда оставался Арагоном. В нем есть одержимость, даже когда он пишет классическим стихом или посвящает страницы романа описанию одежды героя. Выбрав линию жизни, с начала тридцатых годов он защищал от врагов и то, что называл «самым существенным», и то, с чем по-человечески не мог примириться, защищал искренне и неистово. К «самому существенному» нужно добавить любовь к Франции: она органична и всепоглощающа - она продиктовала и его стихи в годы Соппротивления, и роман «Страстная неделя». Мне кажется, что он преемник Гюго, только нет у него ни внуков, ни уютной бороды, ни некоторых идиллических картин, которыми утешался Олимпо, а близок ему Арагон блистательностью, красноречием, неугомонностью, ясностью, гневом, романтикой реальности и реализмом романтического. Конечно, у Арагона куда больше горечи - на дворе другое столетие...

Помню, как я пришел к нему в начале 1963 года. Он расспрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных со стихией искусства. Потом мы замолкли. Я глядел на него и видел молодого сюрреалиста в баре «Купель». Вот только волосы побелели... Он принес рукопись своей новой книги и прочитал мне исступленное стихотворение о трагедии мавра, который говорит о своей вере, о том, как много горя причинил ему Коран.

А в 1946 году Арагон был веселым - еще свежей была победа. Приехала из Москвы Люба. Фотинский повел нас на Монпарнас. В кафе сидели незнакомые люди. Потом пришла Дуся, она, как когда-то,

смеялась, но рассказывала грустное - как пряталась при оккупации, как исчезали люди. Вишняков отправили в Освенцим. Замучили художника Федеру, Когда Сутин заболел, хотели вызвать врача, но он испугался, что врач выдаст его немцам, и умер без медицинской помощи.

Андре Шамсон позвал нас к себе, он был директором музея Пти Пале. Мы ходили по пустым залам - музей был закрыт, и я долго стоял перед холстом Ватто; снова думал о непонятной силе искусства. Когда Ватто было двадцать лет, он считался художником жанра, писал бедствия войны в манере фламандцев; пять лет спустя он нашел себя - вот паяц, в котором все горе художника, да и трагедия внешне легкомысленного века, профессионал-комик, забывший про свое амплуа... Мы пошли к Марке. Он, как всегда, застенчиво улыбался, молча показывал пейзажи. Мы спорили о том, что будет с Францией; он молча глядел, может быть, на реку, а может быть, пытался разглядеть будущее.

Окна квартиры Пьера Кота тоже выходили на Сену. Вода никогда не надоедает, она течет, меняется, и, глядя на нее, можно говорить обо всем - о поэзии, о Бидо, о времени и о минуте. Пьер Кот объяснял мне, что правительственная коалиция недолговечна; предстоит междоусобица, неизвестно кто победит - Франция разорена, а деньги у Америки... Нас позвал к себе Эффель, печально дурачился, показывал новые карикатуры.

Ланжевен плохо выглядел, постарел, его чудесные глаза стали еще умнее, еще печальнее. (Я не знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев.) Он сказал мне: «Все было бесчеловечно, но, может быть, самое бесчеловечное впереди»...

Из Монбара приехала Шанталь. Мы попробовали вспомнить далекую молодость и сразу осеклись; говорили о холстах Боннара, о Лондоне, о мирной конференции (в Люксембургском дворце, где до войны заседали почтенные сенаторы, я увидел Вышинского - шли споры о мирном договоре с Италией). Шанталь меня спрашивала, как пишут советские художники, а я говорил про Касторное.

На набережной, как и полвека назад, на складных стульчиках сидели дряхлые букинисты, Только Вольтер исчез: немцы соблазнились - не усмешкой, а бронзой.

Я был с близкими мне людьми, с близкими и бесконечно далекими. Я знал нечто, о чем не мог им сказать, да и они пережили за шесть лет много такого, о чем не расскажешь ни за час, ни за месяц. Все меня спрашивали, изменился ли Париж, я отвечал «нет» - город тот же, но я теперь чувствовал себя чужим, прохожим, который хочет подглядеть в окно чужую жизнь. Я не мог, как прежде, принимать к сердцу то, что моим друзьям казалось близким и важным.

«Париж очень изменился,- сказал я Дениз и тотчас поправился: - Наверно, изменился я...»

Конечно, во Франции мне было куда легче, чем в Америке: французы понимали, что такое война. (В Нью-Йорке одна дама мне сказала, что американцы в годы войны тоже терпели лишения, она, например, с трудом достала белую рубашку для мужа, повсюду были только кремовые или голубые.) Во Франции было трудно с обувью; на улицах еще раздавалась чечетка деревянных подошв; в одном бретонском городе я видел, как, когда пошел дождь, девушки разулись, а туфли спрятали под плащи. Парижские модницы ходили без чулок и передвигались на велосипедах с большими авоськами, перекинутыми через плечо. В витринах дорогих магазинов были выставлены клипсы из керамики, платочки, расписанные изголодавшимися художниками, безделки из бумаги, глины, стекла. В винодельческих районах, где до войны кабатчик ополаскивал стакан вином, чтобы не идти к крану, рабочие за обедом пили воду. В фешенебельном курорте Ла-Боль развлекались богатые парижанки, американские военные, и тут же ютились жители разрушенного Сен-Назера. В Туре, пострадавшем от бомбежек, я увидел ряды унылых бараков. Говорили о том, что нет масла, пет мяса, скоро зима, а об угле нечего мечтать. Все было понятно, знакомо.

Те, что разбогатели за годы оккупации, успели отдышаться, нашли влиятельных защитников, пили аперитивы на Елисейских полях, загорали на пляжах. В Анже владелец ликерного завода мосье Куантро, показывая мне различные цеха, говорил: «Немцы очень ценили наши изделия»... Я часто слышал от богатых виноделов Анжу и Турени: «1942-й был замечательным!...» Они говорили о достоинствах вин - один год не похож на другой. Но я вспоминал Ржев, сожженную Старицу, голодных солдаток... Один критик мне рассказывал, что на премьерах немецкие офицеры восхищались

остроумием Кокто, Жироду, Салакру. В доме Анатоля Франса я увидел на стене размашистую подпись: «Здесь побывал солдат Клотцке».

Всего год прошел после окончания войны, а многие о прошлом не думали. Газеты писали о различных аферах то с вином, то с карточками на текстиль. Министром продовольствия назначили Ива Фаржа. Я его встретил 14 июля во время демонстрации, он сказал: «Я тоже был в Америке. Присутствовал при испытании бомбы в Бикини, там мне сообщили о назначении. Я не мог отказаться. Бикини - это грязная история. Я попробую что-то сделать. Но и здесь много грязи, слишком много...» Фарж объявил войну крупным мародерам, богатеющим на вине, мясе, хлебе. На своем посту он продержался всего четыре месяца - короли «черного рынка» оказались сильнее.

Все путалось - бывлые мюнхеицы, коллаборационисты, вчерашние партизаны. На фасадах старых церквей, школ, рынков, тюрем красовались «да» или «нет», выведенные краской, дегтем, мелом, - ответы на референдум.

Передо мной фотография - президиум собрания, где я выступал, а Симонов читал стихи. За длинным столом - Эррио, премьер Бидо, Торез, Ланжсвен, посол Богомолов,

Торез жил во дворце Матиньон; как-то он позвал нас ужинать. Сановитый привратник оглядел нас, и в этом взгляде сказалась неприязнь: конечно, Торез был заместителем премьера, но для привратника он оставался подозрительным заговорщиком.

Я был в Париже во время очередного референдума. За два года французов в седьмой раз приглашали к урнам; многим это надоело, и процент непроголосовавших был высок. Де Голль предложил отвергнуть текст новой конституции. В «Известиях» за октябрь 1946 года я нашел мою статью о Франции, в ней я писал: «Де Голль - человек, перенесенный из 17 века в 20-й. Он вовремя понял значение моторов в войне, но значение тех, кто изготавливает моторы, осталось для него скрытым. Может быть, он считает себя новой Орлеанской девицей, призванной спасти Францию? Люди, которые несколько лет тому назад кричали, что де Голль «изменник», «террорист», «коммунист», теперь кричат: «Вся власть де Голлю!» (события разворачивались быстро, и жизнь газетной статьи эфемерна; но вот прошло 16 лет, и сегодня я мог бы написать о де Голле то же самое).

Новая конституция была одобрена незначительным большинством: Пьер Кот был прав - я увидел Францию, расколовшуюся на две половины. Впрочем, это началось давно - еще в середине тридцатых годов: рабочие были недостаточно сильны, чтобы взять в свои руки власть, и достаточно сильны, чтобы правящий класс жил в постоянной тревоге. Этим неустойчивым равновесием в значительной степени объясняются события 1938-1940 годов. Скрытая гражданская война продолжалась и в то время, о котором я рассказываю.

Мы провели несколько недель в Рошфор-сюр-Луар, где нас приютил владелец аптеки поэт Жан Буйе. Я увидел, как отражаются политические события на буднях крохотного городка. Некоторые набожные католички за лекарствами ездили в Анже, чтобы не поощрять аптекаря, слывшего «красным». Я хотел зайти в кафе, но Буйе меня остановил: «Этот кабатчик «сотрудничал»...» Детям католиков родители запрещали играть с детьми безбожников. Мэром оставался тот же человек, что был мэром при немцах,- крупный землевладелец и торговец вином: большинство голосовало за правых. А меньшинство открыто обличало вчерашних коллаборационистов.

Я много бродил по окрестным холмам. Кругом были виноградники, луга, старые вязы или тополя, островки на широкой Луаре, глубокий мир августа. Впервые за много лет я отдыхал, старался ни о чем не думать. Но стоило заглянуть в деревушку, посидеть в полутемном кабачке, где крестьяне рассуждали о том, о сем, как мне передавалось общее беспокойство, духота слитком долго собиравшейся, но так и не разразившейся грозы.

В другом городке, который славится вином, Вуврэ, в пещерах - погреба, там зимой не холодно, а летом не жарко. Вуврэ, как Франция, распался на две почти равные половины. Зажиточный винодел говорил: «Зачем ломать горшки? Коммунисты не крестьяне, а пришлые... Мое богатство оплачено потом трех поколений». Дочь другого винодела Бедуар была коммунисткой, кандидатом партии на выборах в Учредительное собрание. Ее муж прежде работал в Париже. Мы разговаривали с его старым отцом, он говорил: «Мой отец был коммунар»... А двенадцатилетняя дочка Бедуаров могла побить профессиональных дегустаторов: в точности определяла год вина и откуда оно - с холма или с участка возле кладбища.

В Лимузене я познакомился со многими участниками маки. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках - в моей голове рождались многие герои «Бури»: Деде, Мики, Медведь. Я услышал песню: «Свисти, свисти, товарищ...»

Я побывал в Орадуре. Жителей этого городка гитлеровцы собрали в церкви, детей - в школе и сожгли. Уцелели те, что работали в поле. На обгоревших стенах еще виднелись вывески кабачков, рекламы шоколада Менье. При въезде в город плакат предупреждал: «Тише!» развалины стали реликвиями. А рядом строили новый Орадур, и его мэр был коммунистом.

Марсель Кашен предложил мне поехать с ним в городок Эймутье - там праздновали пятидесятилетие боевой деятельности старого коммуниста Фрезье. Кашен вспоминал: «Я выступал в Эймутье сорок лет назад, помню, на собрание пришли трое. А сейчас здесь не меньше двух тысяч...» Потом обедали, сидя на длинных скамьях. Кашен мне говорил, что теперь Советский Союз - победитель, он сможет спокойно восстанавливать города; расцветет культура; никогда американцы не посмеют напасть - Западная Европа восстанет. Потом он спросил. правда ли, что в Москве закрыли Музей западной живописи: «Я там несколько раз был - чудесная коллекция. Особенно наших импрессионистов...» Я знал, как Кашен восхищается холстами своего друга Синьяка, и вместо ответа заговорил о только что открывшейся в Париже выставке картин, похищенных гитлеровцами и вернувшихся во Францию,- там были прекрасные пейзажи Синьяка.

В Дордони можно было дешево купить полуразвалившиеся усадьбы. Одну из них приобрел художник Люрса, коммунист. Он мне рассказывал, что к нему пришли крестьяне, и старик сказал: «Товарищ помещик, ты как раз вовремя приехал - мы решили создать парторганизацию...»

Отдыхать мне пришлось недолго. «Известия» торопили с очерками об Америке, о Франции. Общество дружбы «Франция - Советский Союз» просило поехать по стране. Я выступал на больших собраниях в Лионе, Сен-Этьене, Лиможе. Приходилось выстаивать на различных приемах - в мэриях, в отделениях Общества дружбы, в союзах журналистов, говорить по радио, отвечать на сотни вопросов. В Лиможе я ночевал в префектуре в парадной комнате, где останавливались министры. В Лионе автор «Клошмерля» Шевалье

хотел, чтобы я ему объяснил, чем страшен Зоценко. Скульптор Саландр просил рассказать о наших памятниках. В Лион приехал летчик «Нормандии» Жоффри, с ним я отдохнул, он вспоминал Минск, генерала Захарова, советских механиков - все стояло на своем месте: отвага, могилы, дружба.

Хрупкая антигитлеровская коалиция официально еще держалась; я часто слышал, что она скреплена кровью и что нет цемента прочнее. Человеку всегда хочется верить в лучшее. А история зачастую пренебрегает не только логикой, но и тем, что мы называем совестью.

Несколько раз я заходил в Люксембургский дворец на мирную конференцию. Протекала она отнюдь не мирно. Недавние союзники обвиняли друг друга в коварстве. Особенно резко выступал австралиец Эватт. В глазах журналистов он вскоре стал «звездой» - знали, что стоит ему взять слово, как произойдет скандал, и в буфете для прессы оставляли недопитыми чашки кофе, когда кто-нибудь сообщал: «Сейчас выступит Эватт...»

Я на себе почувствовал, что такое «холодная война». Когда я остановился в Париже по дороге в Америку, газеты писали обо мне приветливо или по меньшей мере вежливо. Это было ранней весной. А поздним летом и осенью многие газеты начали меня ругать. Одна уверяла, что я подкуплен - у меня в Москве квартира из десяти комнат, вилла в Крыму, даже охотничий павильон в Белоруссии. Другая писала, что я злоупотребляю исконным гостеприимством Франции, хочу восстановить французов против американцев, уверяю, будто негры в Соединенных Штатах лишены свободы, наверно, мне поставят памятник в Черной Африке, но из Франции мне лучше убраться. Третья, вдруг припомнив далекое прошлое, требовала, чтобы я вернул французским держателям царских займов «украденные у них деньги». В Лионе продавцы газет, желая сбыть местную вечерку, залихватски кричали: «Москва готовится оккупировать Францию!» В Нанте какие-то подростки разграбили дорогой ресторан; одна из местных газет уверяла, что у преступников найдены русско-французские словари; в очередном интервью меня ехидно спросили, не был ли я часом в Нанте.

Коммунистическая партия была самой сильной во Франции. Неустойчивое равновесие сохранялось: «холодная война» шла в любом французском городе. Пьер Кот говорил: «Исход неизвестен...»

Человеку не хочется огорчать себя, и мне казалось, что все так или иначе наладится. Стояла чудесная осень, в октябре цвели розы. Люди улыбались - характер у французов легкий, они способны утешиться хорошей погодой, шуткой, миловидной женщиной, прошедшей мимо.

Я зашел к Жан-Ришару Блоку в редакцию «Се суар». Он предложил пойти в соседнее кафе, выпить стаканчик вина. Излагал свои надежды: социалисты не смогут порвать с коммунистами, а за этими двумя партиями большинство - и в парламенте, и в стране. Потом он заговорил о Москве и вдруг вынул записную книжку: «Переведите». Я прочитал записанную латинскими буквами русскую поговорку «перемелется - мука будет». Перевести было нелегко, но я перевел и шутя добавил: «У нас иногда говорят вместо «мукА» - «мУка»...» Он сердито посмотрел: «МУка - когда мелют. А когда перемелют - должна быть мукА».

В крохотной, хорошо мне знакомой квартире на улице Суридьер, где жили Арагоны, я увидел чудесные рисунки Матисса. Арагон рассказал, что в 1942 году часто встречался с Матиссом в Ницце, где художник всегда живет, а теперь он в Париже - работает над картонами для ковров. От Арагона я узнал, что в 1941 году Матисса оперировали - вырезали желудок, он вынужден работать в кровати, а когда встает на несколько часов, надевает на себя корсет.

В сентябре Арагон сказал мне, что Матисс хочет, чтобы я ему позировал. Дом, в котором он жил, находился почти напротив гостиницы «Ницца», где прошла моя молодость. На стенах обыкновенной спальни висели картоны с приколотыми кусками цветной бумаги. Я увидел лицо, хорошо мне знакомое по многим фотографиям, но, когда он снял очки, меня удивили светлые голубые глаза.

Когда я познакомился с Пикассо, Леже, Модильяни, я был зеленым юношей, да и они были всего на восемь - десять лет старше меня. В те времена я восхищенно глядел на холсты Матисса, но художника я увидел впервые, когда ему было семьдесят семь лет.

Он поздно начал. Пикассо в четырнадцать лет рисовал, как опытный мастер; а Матисс учился юриспруденции, работал в нотариальной конторе. Когда ему было двадцать лет, после операции аппендицита он со скуки начал перерисовывать картинки. Великий мастер Возрождения Мазаччо умер в возрасте двадцати семи лет, столько же было Рафаэлю, когда он закончил свои знаменитые «станцы». Пикассо успел до двадцати семи лет написать холсты «голубого периода», «розового», «Авиньонских девушек» и пришел к кубизму. А умри Матисс в двадцать семь лет, от него остались бы только ученические работы, помеченные талантом.

Я позировал Матиссу три раза. Во время первого сеанса он мне рассказал: «Когда меня понесли на операционный стол, я про себя простился с жизнью. Случилось чудо - судьба мне подарила вторую жизнь. Надбавку... И, знаете, я теперь особенно остро радуюсь всему людям, деревьям, краскам...»

Над кроватью висели картонные диски с черным кружком, продырявленным пулей. Матисс объяснил, что иногда отправляется в тир, хотя это ему трудно: «В моем ремесле очень важно сохранить хорошее зрение и твердость руки. Проверяю...»

За три сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около пятнадцати рисунков, два подарил мне и под лицом красивого Юноши, чуть улыбаясь, надписал: «По Эренбургу». Не знаю, следует ли назвать эти рисунки портретами. Он говорил, что не может писать или рисовать иначе, чем с натуры. Я видел, что, рисуя, он всматривается в мое лицо. Во всех рисунках было нечто общее: «Таким я вас представляю»... В другой раз, показав мне рисунок, Матисс сказал: «Это - голова, глаза, рот плюс то, что я о вас знаю...» Работая, он все время разговаривал, точнее, спрашивал, хотел, чтобы я говорил: «Это мне не мешает, а помогает». (А он рассказывал многое, отдыхая между двумя рисунками.) В конце последнего сеанса он сказал, что теперь знает мое лицо, знает и меня, но тотчас поправился: «Лучше сказать: вижу и чувствую». Когда я спросил его, почему он привязан к натуре, он улыбнулся: «Я всю жизнь учился и теперь учусь расшифровывать иероглифы природы...»

Меня поразила точность линии - рука не колебалась. (Потом я увидел документальный фильм о Матиссе, там применен способ замедленного показа, видно, как точно художник проводит линию.) Я сказал ему, что меня поражает уверенность рисунка. Он покачал головой: «Конечно, за шестьдесят лет кое-чему я научился. Далеко не всему... Помню, я читал книгу о Хокусаи, он прожил девяносто лет и незадолго до смерти признался ученикам, что продолжает учиться... Никакой уверенности у меня нет. Поэты прежде любили говорить о вдохновении. А мы говорим: «Сегодня хорошо работается». Это связано с внутренним состоянием: иногда чувствуешь - значит видишь, а иногда не выходит... Сколько в моей жизни я уничтожил рисунков, сколько раз закрашивал неудавшийся холст!...»

Во время последнего сеанса он много говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, Л. С. Делекторскую, которая помогала ему в работе над картонами: «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную,- скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» - спросил Матисс. Я ответил: «Очень».- «И вам ничто не мешает?» - «Нет».- «Мне тоже.

Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра: «Почему у слона подняты вверх бивни? Хобот слон может поднять, а бивни - зубы, они не двигаются». Негр послушался...» Матисс снова позвонил: «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продают в универмагах Европы: «Бивни на месте. Но искусство кончилось».

Тогда же он начал говорить об истоках современной живописи: «Арагон считает, что все началось с Курбе. Может быть. Может быть, позднее - с Мане. А может быть, и куда раньше. Дело не в этом. Знаете, кому многим обязана современная живопись? Дагеру, Ньепсу. После изобретения фотографии отпала нужда в описательной живописи. Как бы ни пытался художник быть объективным, он пасует перед фотообъективом. Для того чтобы судить, каким был Энгр, я должен посмотреть его автопортрет, портреты Давида, других художников, каждый из них расходится с другими, и я не знаю, какой рот был у Энгра. А Гюго я знаю по дагерротипам, по фотографиям. Глаз и рука художника подчинены его эмоциям. Я изучал анатомию, если мне захочется узнать, каковы породы слонов, я попрошу фотографии. А мы, художники, знаем, что бивни могут подыматься...»

Он много курил, на кровати лежали пачки различных сигарет - французских, египетских, английских. «Моя жидкая пища однообразна и ничего не говорит небу. Различный вкус сигарет - это то чувственное наслаждение, которое мне оставил и, беру одну, потом другую. Ну и глаза... Никогда прежде я так не радовался цветку или красивой женщине...»

Я пришел к нему в последний раз 8 октября. Он вырезывал арабески для ковра. Ножницы столь же уверенно проводили линию, как уголь или карандаш. Картоны для двух ковров «Полинезия» были почти закончены. (Много позднее я увидел его картины, сделанные с помощью цветной бумаги - он не мог сидеть у мольберта, а его преследовали живописные замыслы. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет и до конца продолжал работать. Из личной беды он создал новую возможность, и, глядя на картины с наклеенными кусками бумаги, забываешь о человеке, прикованном к кровати, видишь крылья творчества.)

Матисс расспрашивал меня о Москве. «Я там был ровно тридцать пять лет назад в октябре тысяча девятьсот одиннадцатого,- меня пригласил Щукин... Я пробыл недолго. Увидел Рублева. Это, может быть, самое значительное в мировой живописи... В Москве я кое-что понял, почувствовал... Я не разбираюсь в политике, но не скрываю моей симпатии к вашей стране. Наверно, в организации общества необходим разум, как в композиции картины. Удивительно, что русские это поняли первыми, ведь когда я был в Москве, мне казалось, что русские в будничной жизни обожают беспорядок...»

(Матисс всегда чуждался политики, однако после начала «холодной войны» он начал говорить, что некоторые люди на Западе потеряли рассудок, что необходимо снасти мир. В 1947 году я написал для «Литературной газеты» статью о борьбе за мир. В ней были такие строки: «Не случайно среди коммунистов или друзей Советского Союза мы видим крупнейших ученых Франции - покойного Ланжевена и Жолио-Кюри, крупнейших ее художников - Пикассо и Матисса, крупнейших ее поэтов - Арагона и Элюара». Арагон получил французский перевод статьи и опубликовал его в «Леттр франсез». А несколько дней спустя в Париж пришел номер «Литературной газеты», и антисоветская печать с восторгом поместила примечание: «Редакция считает неправильным, что тов. И. Эренбург обходит молчанием вопрос о формалистско-декадентском направлении творчества Пикассо и Матисса». Друзья мне рассказывали, что Матисс, прочитав об этой истории, рассмеялся. В 1948 году он послал приветствие Вроцлаве кому конгрессу, а в 1950 году подписал Стокгольмское воззвание.)

Редко я встречал человека, который и внешностью, и складом ума был бы настолько выраженным французом, как Матисс. Больше всего он любил ясность. Конечно, с точки зрения художника, стремящегося состязаться с фотографом, его творчество изобилует деформацией предметов, мне же оно кажется не только реалистическим, но и освещенным сознанием потомственного картезианца.

Он рассказывал о русских коллекционерах: «Щукин начал покупать мои вещи в тысяча девятьсот шестом году. Тогда во Франции меня мало кто знал. Гертруда Стайн, Самба, кажется, всё... Говорят, что есть художники глаза которых никогда не ошибаются. Вот такими глазами обладал Щукин, хотя он был не художником, а купцом. Всегда

он выбирал лучшее. Иногда мне было жалко расстаться с холстом, я говорил: «Это у меня не вышло, сейчас я вам покажу другие...» Он глядел и в конце концов говорил: «Беру тот, что не вышел». Морозов был куда покладистее - брал все, что художники ему предлагали. Мне рассказывали, что в Москве теперь чудесный музей новой западной живописи...»

«Лидия, принесите портрет Щукина»... Я увидел прекрасный холст раннего Матисса. Он сказал: «Его много раз хотели купить, но я не продавал. По-моему, его место в Москве, в Музее западной живописи. Если вас это не затруднит, возьмите с собой, передайте в музей, как мой дар». Я знал, что Музей западной живописи закрыт, холсты Матисса хранятся в фондах. Куда я его отвезу?... Я сказал Матиссу, что возьму портрет в следующий раз,-наверно, скоро снова приеду в Париж. Потом я упрекал себя - нужно было взять и сохранить у себя, теперь бы он висел в Эрмитаже или о Музее Пушкина. Но такого рода мысли французы называют «сообразительностью на лестнице», а русские говорят: «Крепок задним умом».

Матисс упомянул в разговоре, что в годы оккупации делал рисунки к стихам Ронсара. Я рассказал, как нашел в Восточной Пруссии первое издание Ронсара, сказал и про то, как тяжело было читать стихи о радости среди могил и развалин. Матисс ответил: «Я вас понимаю... Я думаю, что поэт похож на художника. А живопись живет любовью к жизни, восхищением жизнью и ничем иным. Можно обладать гением, но, если художник но в ладах с жизнью, он заставит людей спорить о нем, превозносить его, но никого не обрадует...»

Матисс родился на севере Франции, но почти сорок лет прожил и проработал в Ницце, там и умер - влюбился в цвета юга. Что он писал? Молодых женщин в ярких платьях, в пестрых шляхах, пальмы, анемоны, птиц, золотых рыбок, кактусы, зеленые жалюзи, раковины, апельсины, причудливые тыквы, море, большие кувшины, небо, танцы,- он знал земное, телесное счастье и умел этим счастьем поделиться. А когда мне выпала удача и я увидел творца радостного ослепительного мира, передо мной оказался старый человек, которого страшная болезнь пыталась придавить и который продолжал работать - мудро, Скажу не страшась, что слово может резнуть,- весело.

Для меня тогда только начинался вечер жизни, встреча с Матиссом была и радостью и уроком.

В последней части этой книги еще меньше, чем и предшествующих, я буду придерживаться хронологической последовательности. Описывать события ни к чему они у всех в памяти. Картины Москвы моего детства, «Ротонда», кафе, где «ничевоки» провозглашали конец мира, для большинства читателей неизвестны, но вряд ли стоит перечислять все эпизоды «холодной войны» или описывать все конгрессы сторонников мира. Да и пора бы, дойдя до послевоенных лет, попытаться попятить время, себя. Но объяснить нес, что я ни дел и пережил, мне не под силу. Конечно, лестно выглядеть в глазах читателей человеком, взобравшимся на гору, откуда все. как на ладони. Но я не хочу лгать. Раньше я не раз говорил о том, как ошибался, заглядывая в будущее, это не могло никого удивить: я ведь не выдавал себя ни за пророка, ни за гадалку. Теперь приходится признаться и в другом: задумываясь над прожитым, я вижу, до чего мало я знаю, а главное - из того, что знаю, далеко не все понимаю.

Чем ближе события, тем чаще я обрываю себя. Когда я писал в одной из предшествующих частей, что буду все реже и реже приподнимать занавеску исповедальни, я думал о своей частной жизни - хотел предупредить, что если я мог рассказать про первую любовь гимназиста, то не стану исповедоваться в «кружении сердца» взрослого человека. А в последней части книги то и дело опускается не только занавеска исповедальни, но и занавес театра, на сцене которого разыгрывалась трагедия моих друзей, сверстников, соотечественников. Когда-то я бывал всюду младшим; из людей, описанных мною в первых частях, мало кто остался в живых. В послевоенные годы редко где я не был старшим, и почти все люди, с которыми я встречался, живы. Скажу и о событиях. У писателя есть своя внутренняя цензура, она хватается за ножницы не только когда речь идет о людях, но и когда вспоминаются детали некоторых событий, казалось бы, давно рассекреченных историей. Я ведь не чувствую себя гражданином в отставке, отшельником или хотя бы умиротворенным пенсионером. Описывая прошлое, я защищаю мои

сегодняшние идеи, пытаюсь перекинуть мостик в будущее. Есть, конечно, у меня недоброжелатели, но не так уж много я о них думаю. А вот у советского народа, у идей, которые мне близки, врагов хоть отбавляй, и на них я не могу смотреть с другой звезды или из другого века,- битва продолжается. Это тоже заставляет меня опустить некоторые детали; но, конечно, о самом главном я не хочу, да и не могу умолчать.

Наконец, меня ограничивает сознание, что где-то придется поставить черту - окончить книгу, следовательно, попытаться подвести итоги. Окончить я решил на том времени, когда писал «Оттепель». «Последнее сказанье», таким образом, написано не будет - я не старец Пимен, и эта книга меньше всего бесстрастная летопись. Как бы ни казалась лоскутной история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни выглядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а исповедь.

Возвратившись в Москву, я вернулся к «Буре» и окончил ее летом 1947 года. Писал я с утра до ночи, торопился, хотя знал, что именно работа над романом ограждает меня от горьких мыслей и что не скоро мне удастся снова сесть за книгу. Так и случилось. Но если я долго не решался начать роман, то, закончив его, еще дольше не мог освободиться от героев, продолжал с ними мысленно беседовать - не только потому, что автору всегда мучительно расстаться с теми из персонажей книги, которых он полюбил, но и потому, что память о войне не позволяла мне мириться со многим происходившим вокруг.

Иногда по вечерам я слушал наше и парижское радио. За то время, когда я писал «Бурю», мир успел измениться. Моя поездка за границу казалась давней буколичкой. Во Франции рабочие проиграли массовые забастовки, полиция стреляла в демонстрантов. В Америке крайние круги одержали верх. Я слышал новые слова: «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «превентивная война». Это было неправдоподобно и страшно: ведь не прошло и трех лет со дня общей победы, люди еще хорошо помнили огонь минометов, бомбежки, прожитые всеми жестокие годы. Я слушал по радио псевдоученые разговоры о необходимости «отстоять западную культуру от советской экспансии», слушал и возмущался. Один видный французский писатель заявил, что существует «атлантическая культура», его

выступление совпало с созданием Североатлантического союза. Все это слишком напоминало рассуждения гитлеровцев о превосходстве культуры, созданной «северной расой».

В ответах на военную пропаганду Запада мне порой в газетных статьях удавалось напомнить о некоторых вдоволь азбучных истинах, в те годы часто попиравшихся. В августе 1947 года я писал: «Культуру нельзя разделять на зоны, разрезать, как пирог, на куски. Отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то отнюдь не для того, чтобы принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века... Белинский сто лет назад писал, что европейские народы «нечадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных».

Западные газеты меня называли «беспечным шулером» и «остроумным циником» (знакомые слова). А у меня на сердце скребли кошки.

К. М. Симонов, с которым в то время я часто встречался, рассказал мне, что Сталин придает большое политическое значение борьбе против низкопоклонства перед Западом. Кампания ширилась. Как это часто бывало, некоторые сами по себе разумные мысли доводились до абсурда. Преклонение перед всем заграничным высмеивал еще Фонвизин - это очень старая болезнь: восхищались немецкой техникой, уверяли, что «немец луну сделал», и одновременно залихватски повторяли: «Русский немцу задал перцу». Я с детства видел приниженность и спесь настолько породнившимися,

что трудно было определить, где начинается одно и кончается другое. Часто, выслушивая наивные восхваления наших туристов, впервые оказавшихся за границей, я вспоминал созданную Мятлевым мадам де Курдкжофф. Комплекс неполноценности породил комплекс превосходства. В одном и том же номере газеты можно было найти высокомерное заверение, что наша агрономия первая в мире, и сообщение о том, что какому-то голландскому неgociанту понравился русский балет.

Достаточно заглянуть в Большую советскую энциклопедию, точнее, в ее тома, вышедшие до 1954 года, чтобы увидеть, к каким искажениям приводила кампания против низкопоклонства: о работах иностранных ученых говорилось бегло. Не лучше было и с историей искусства. Даже хозяйственники пытались проявить рвение, и сыр «камамбер» был переименован в «закусочный».

Некоторые люди на Западе занялись легким, зачастую невежественным зубоскальством. Один крупный романист на митинге иронически заявил, что русские говорят о каких-то заслугах никому не ведомого радиотехника Попова. (Заглянув теперь в маленькую энциклопедию Ларусса, я увидел: «Беспроволочный телеграф изобретен в 1895 году Поповым (Россия) и Маркони (Италия)».) В палате депутатов Бидо издевательски сказал: «Нам объявляют, что великие открытия сделал некто Ломоносов». Я ответил в «Правде»: «Мне отвратителен национализм, я не терплю людей, которые оскорбляют культуру другого народа. Возмущаясь поведением г. Бидо, я отстаиваю пиетет не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно к тому, что о них скажет некто Бидо».

Вернувшись из Америки, Симонов написал повесть «Дым отечества», в ней он хотел противопоставить сытым и самодовольным американцам душевные богатства жителей Смоленщины. На обсуждении «Дыма отечества» К. А. Федин и я говорили о достоинствах этого произведения. На Сталина, однако, повесть произвела другое впечатление. Не знаю, что его рассердило - попытка Симонова иметь собственные суждения или название повести, но только «Культура и жизнь» обругала «Дым отечества», а заодно Фебина и меня.

Прочитав письмо одного из моих французских друзей, который спрашивался о моем здоровье, я не сразу понял, в чем дело, а потом получил из нашего посольства кипу газетных вырезок - антисоветские газеты торжествующе сообщали о «новой расправе с советскими писателями»; одна даже спрашивала: «Интересно, отделается ли Эренбург Сибирью, или его ждет петля?»

Очередной жертвой стал молодой писатель Э. Г. Казакевич, только-только получивший премию за повесть «Звезда». Он написал повесть «Двое в степи», в которой рассказывал, как в страшные дни отступления юноша, впервые попавший под огонь, растерялся, не выполнил боевого задания и был приговорен к расстрелу. Его сторожил солдат-казак. Поскольку отступление продолжалось, казаху и приговоренному к смертной казни офицеру пришлось вместе пробиваться на восток. Заключенный и конвоир подружились. В повести хорошо обрисованы герои, процесс их сближения показан правдиво. Я считал (и считаю) «Двое в степи» одной из лучших книг о войне. Я об этом сказал на собрании, и у меня сохранилось письмо от Эммануила Генриховича: «Я взволнован вашим вниманием и горд вашей оценкой моей второй вещи». Казакевич стойко переживал нападки. Это был человек скромный, мягкий, но с большим мужеством, убеждения для него были выше успеха, и служение народу он никогда не менял на прислуживание.

Смерть еще меньше считается с логикой, чем история, слишком часто она замахивается косой на зеленую, невызревшую полосу. Казакевич вернулся с войны, хотя был разведчиком и не раз рисковал жизнью. Он был полон энергии, писал новую книгу, казался человеком крепкого здоровья и умер, не дожив до пятидесяти лет.

В 1949 году праздновали пятидесятилетие С. П. Щипачева. Я сказал, что хочу выступить на его вечере с приветствием. Мне нравились скромные короткие стихотворения поэта, особенно нравился он сам - были в нем честность, естественность, прямота. В коротком слове я сказал, что Щипачев сумел оградить свою поэзию «в эпоху инфляции слов». Это было сказано на писательском вечере, и сказано сдержанно, но многим мои слова показались вызовом, - видимо, клеймо лживой риторики отмечало немало лиц. Позднее несколько раз я беседовал со Степаном Петровичем и увидел, что не ошибся. Высокий, прямой, он похож на свои стихи, есть в нем

душевное благородство. Когда мне бывало трудно, я вдруг вспоминал Щипачева и с большим доверием думал о жизни.

Пока я писал «Бурю», меня выручала работа. А потом пришлось прибегнуть к старому лекарству: поезда с их ночными пронзительными вскриками, ухабы дорог, случайные ночевки, исповеди на полустанках, незаконченные беседы, пропадающие в тумане лица, калейдоскоп. Где я только не побывал за полтора года! Приведу список из записной книжки: Орша - Минск - Вильнюс - Каунас - Клайпеда, Шауляй - Паланга - Лиепая - Елгава - Рига - Тарту - Таллинн - Нарва - Ленинград - Новгород - Валдай; Калинин - Кашин - Калягин; Варшава - Вроцлав - Лодзь; Киев - Погар - Брянск; Владимир - Суздаль - Иваново; Тула - Орел; Пенза - Белинский; Ленинград - Таллинн; Варшава - Вроцлав - Кельцы - Краков; Кишинев - Бельцы - Сороки - Фалешты - Бендеры - Белград - Килия - Измаил...

Воспоминания об этих поездках напоминают случайно склеенные кадры из различных фильмов. В Иваново я поехал для того, чтобы укрепить положение освобожденного, но еще не реабилитированного Н. Н. Иванова, бывшего поверенного в делах во Франции, который работал штатным сотрудником Общества по распространению политических знаний.

В одном селе устроили доклад; и должен был рассказать о поездке в Америку; в самую патетическую минуту в сарай, куда собрались слушатели, вошла корова. В Погар меня пригласили для того, чтобы я рассказал, как изготавливают сигары на Западе; была дегустация, я привез гаванскую сигару, но ее раскритиковали. В Кишинев я попал, когда там неожиданно началась кампания против молдавских писателей - Букова, Истры, Лупана, Корняну. Я попробовал лишний раз вступить за литературу, разумеется, безрезультатно. Я увидел много интересного, хорошего и плохого - большие заводы и непроезжие дороги, богатства древней Суздала, работы эстонского художника Адамсона, развалины Новгорода, толкучки Молдавии; не стану обо всем этом рассказывать, припомню только поездку в Пензенскую область.

Праздновали столетие со дня смерти Белинского, меня включили в писательскую делегацию. Руководителем был Фадеев. Ф. В. Гладков часто хмурился: «Все это правильно, только нравы мне не нравятся».

В Пензе открыли памятник Белинскому; Фадеев произнес речь. Пенза мне сразу приглянулась, хотя не было в ней никаких достопримечательностей. В старой части города облупившиеся фасады домов, где прежде проживала одна семья и где теперь был сдан и пересдан каждый угол, выглядели печально. Понравились мне люди. Они были как-то сосредоточеннее, чем в суетливой Москве, больше читали, больше и думали. Студент шел со мной по городскому парку и читал на память страницы Салтыкова-Щедрина. Молодая женщина, учившаяся в Ленинграде, провела меня в фонды музея, с жаром говорила о Коровине, о «Бубновом валете», о Сезанне, вспоминала запасник Эрмитажа. На встрече со студентами начались споры о Казакевиче, Некрасове, Пановой; кто-то декламировал стихи Пастернака. Рабочий часовой фабрики пришел ко мне в гостиницу и сразу заговорил об искусстве: «Когда я слушаю серьезную музыку, мне кажется, что время распадается, а может быть, наоборот тысячелетие сгущается и один час, кончится - и чувствуешь, что прожил несколько жизней...»

Новое повсюду перемежалось со старым. В Лермонтове (В Тарханах) колхозники по тем временам жили сносно. В селе была десятилетка. Сидя возле пруда, я услышал, как мальчишки выкрикивали непонятные слова; разговорившись с ними, я узнал, что это они ругаются по-французски. Я захотел познакомиться с учителем французского языка, но, когда ему сказали об этом, он ушел в лес.

Учительница истории О. С. Вырыпаева, узнав, что я люблю керамику, повезла меня в соседнее село Языково: там колхозники издавна занимались гончарным промыслом. Я увидел курные избы. Почему-то ходили слухи, что в Белинский на юбилей приехал Ворошилов, и меня приняли за одного из его сопровождающих. В избу, куда я зашел, набралось много народа: колхозники, перебивая друг друга, излагали свои претензии - с них берут побор за все кувшины и горшки, которые они грузят, а по пути в Чембар половина товара бьется. Я слушал, записывал, потом мне стало не по себе: хлестаковствую - ведь все говорят: «Расскажи Сталину»... Я объяснил, что я всего-навсего писатель, постараюсь помочь, но не уверен в успехе. На печи сидел демобилизованный, кашлял, глаза у него были лихорадочные. Он молчал, а тут заговорил: «Писатель... Он тебе опишет - не изба, а дворец, не горшок - ва-аза»... Он долго повторял,

кашляя и ругаясь: «Ва-а-за!...» Мы вышли. Учительница, но уши влюбленная в литературу, растерянно говорила: «Представить себе, что это в 1947 году! Безобразие!»... А я подумал: пожалуй, он прав.

(Год спустя я поехал с В. Г. Лидиным в Пензенскую и Тамбовскую области и снова увидел противоречивые картины. Музей в Тамбове поражал своим богатством (там среди прочего хранилась замечательная скульптура Донателло); в городе была прекрасная библиотека. А в районном центре Кирсанове музей нас рассмешил: в одной комнате мы увидели просиженный диван, кресло, разбитую вазу - надпись объясняла: «Жизнь и быт княгини Оболенской»; в другой ••• стояла ничем не примечательная скульптура с ярлычком: «Произвольный бюст неизвестного мастера». Мы побывали в Пойме у писательницы А. П. Анисимовой, влюбленной в народное творчество. Она нас повезла в Невежкино, где сохранились мастерицы русской вышивки. Мы увидели бедные покосившиеся избушки; школа казалась полуразвалившейся, все выглядело печально. А на следующий день нас пригласили в расположенный неподалеку колхоз имени Ленина - на открытие книжного магазина. Там были городского типа дома, библиотека, ясли. Трудно было поверить, что Невежкино рядом...)

В 1947 году я впервые увидел много мест, связанных с русской литературой прошлого века. Я побывал в Ясной Поляне, где Толстой писал «Войну и мир», «Анну Каренину»; но в доме видишь Льва Николаевича, старого, душевно мечущегося и вместе с тем за чаем наставляющего «толстовцев», того Толстого, который пахал со смирением, что паче гордости, и завещал похоронить его без имени, без плиты; может быть, больше всего меня взволновала его могила - он выбрал место, где мог бы соседствовать с единственно достойным партнером - природой. Я поехал в Спасское, там под тенистыми кленами Тургенев писал романы, а поздней осенью отправлялся в Париж; когда однажды ему отказали в заграничном паспорте, он построил флигелек и написал В и ар до, что живет как ссыльный. В Орле я видел его диван, книги с пометками; поглядел на дом Лескова. Постоял у заброшенной могилы Фета. В Чембаре ходил по школе, в которой учился Белинский. Трудно объяснить, почему в музее особенно потрясает одна картина, и я не знаю, почему больше всего мне запомнились дни в Тарханах, или, говоря по-новому, в селе Лермонтово.

Там я познакомился с молодой преподавательницей русской литературы В. А. Дарьевской. Она меня спрашивала, каким был в жизни Маяковский, нравятся ли мне стихи Багрицкого, где достать хороший перевод Гейне. А я от нее узнал про школу, про жизнь села. Это была скромная девушка, любившая свою работу и искусство; она рассказывала, что иногда ей удается съездить на воскресенье в Пензу - там ведь театр... До железной дороги больше тридцати километров, иногда приходится возвращаться пешком. Вера Анатольевна однажды зимой встретила волков, сначала приняла их за собак, а волки подошли к деревне, зарезали колхозных баранов: «Ох, как я испугалась!...»

Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли.

Музей был смешанным: отдельные вещи, связанные с поэтом, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунки к «Демону», в другой висел большой портрет Сталина.

Ночью я написал стихотворение. Никогда и его не печатал, а теперь приведу, потому что оно - клочок обещанной исповеди.

Тарханы это не поэма -
Большие крепкое село.
Давно в музей безумный Демон
Сдал на храпение крыло.
И посетитель видит хрупкий,
Игрушечный, погасший мир,
Изгрызенную о муке трубку
И опереточный мундир.
И каждому немного лестно,
Что это - Лермонтова кресло.
На стенах множество цитат
О происшедшей перемене.
А иод окном заглохший сад
И «счастье», скрытое в сирени.
Машины облегчили труд.
В селе теперь десятилетка.

Колхозники исправно чтут
Дела прославленного предка,
И каждый год в тот день июля.
Когда его сразила пуля,
В Тарханах праздник. Там с утра
Вся приодета детвора.
Уж кумачом зардели арки,
Уж сдали государству рожь,
И в старом лермонтовском парке
Танцует дружно молодежь.
Здесь нет ни топота, ни свиста...
Давно забыт далекий выстрел,
И только в склепе, весь продрог.
Стоит обшитый цинком гроб.
Мотор заглох, шофер хлопочет.
А девушка в избе бормочет
Все тот же сердцу милый стих,
И страсть в ее глазах глухих.
Приподняты углами брови.
А ночь, как некогда, темна.
Поют и пьют. Стихи читают. Сквернословят.
А сердце в цинк стучит. Все выпито - до дна.
«Люблю отчизну я, но странною любовью...»
А что тут странного? Она - одна.

Конечно, я люблю родину не только потому, что она - одна, люблю и потому, что потомок выходца из Шотландии написал «Тамань», перечитывая которую я каждый раз изумленно приоткрываю рот, как ребенок, люблю и за то, что колхозницы села Лермонтова, смелые, измученные и гордые солдатки, пахали на коровах и втихомолку плакали над треугольниками фронтовых писем, за скромность природы тех же Тархан, за все эти пригорки, перелески, прудики, за дерзкий замысел народа, за «перемены», о которых сухо говорили диаграммы музея, за девушку Веру, которая повторяла в темной избе: «Есть речи - значенье темно иль ничтожно», которая пошла на «Гамлета» и повстречала волков, за то, что в захудалом Чембаре вырос неистовый Виссарион, равно преданный справедливости и красоте, за то, что в Пензе подросток Мейерхольд

мечтал о древнем балагане, за то, что в Пензенской области есть села с удивительными названиями - Волчий Враг, Соседка, Верховозим, Шемышейка, за цветистость ругани и стыдливость ласк», за тысячу других вещей, больших и малых, которые, может быть, лучше всего я выразил в коротком признании: «Она - одна».

В октябре 1947 года Фадеев сказал мне, что нужно поехать в Польшу, туда отправляют делегацию писателей: Твардовский, Тычина, Бровка, Эренбург. Фадеев начал меня наставлять и вдруг рассмеялся: «Да вы сами знаете... Прожили полжизни за границей». Я подумал: одно дело жить - другое входить в делегацию... В купе я оказался с П. Г. Тычиной, который тогда был министром просвещения Украинской республики. Мы долго спорили, как разместиться - каждый пытался взобраться на верхнюю пачку. Мы с Павлом Григорьевичем родились не только и тот же самый год, но и в тот же самый день. Я говорил, что Тычина должен остаться внизу: он министр. Павел Григорьевич возражал. Я вышел в коридор, разговорился с Твардовским. Тычина воспользовался этим, и, вернувшись, я увидел его лежащим на верхней полке. Мы дружески побеседовали, потом погасили свет. Я уже засыпал, когда Павел Григорьевич сказал: «Будет обязательно помыл к а...» Хотя я родился в Киеве, но детство и отрочество провел в Москве; многие украинские слова мне кажутся загадочными. «Помылка» это «ошибка», потом мне объяснили, а тогда в полусне мне казалось, что нам мылят головы: это была вторая моя поездка за границу в составе делегации, и я тоже побаивался.

На вокзале улыбался Тувим, и я сразу успокоился. Поляки нас встретили радушно. Я увидел другую Польшу, не ту, что видел двадцать лет назад в эпоху санации. Тогда ведь не только власть, но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно.

Конечно, Польша стала другой, и в то же время я многое узнавал: характер народа не меняется - меняется жизнь. В 1947 году я увидел испепеленную Варшаву. Я не узнавал улиц, но людей узнавал. Из тех, кого я знал раньше, многих уже не было: погибли и всем известные, прославленные, и те, которых знали только друзья. В 1928 году я познакомился с писателем Бой-Желенским. Мы проспорили весь вечер - о Монтене, о Прусте. Он куда больше знал, чем я, и говорил страстно, порой зло, но с той любовью к искусству, которая обезоруживает. Ему было шестьдесят семь лет, когда фашистские недоросли расстреляли его во Львове. В Париже в тридцатые годы я

встречал на Монпарнасе молоденького архитектора Сениора. Он мечтал что-то построить, обожал Ле Корбюзье, жил в нужде, а когда мать присылала ему из Польши посылку (он говорил «пачку»), угощал нас рябиновой водкой и полендницей. Летом 1939 гола он уехал домой, чтобы сражаться против гитлеровцев, и погиб. Я познакомился с молодыми писателями, художниками, с сотнями людей различных профессий. Год спустя я снова увидел Польшу во время Вроцлавского конгресса, а в последующие годы часто бывал в Варшаве, и хотя это всегда было связано с конгрессами, конференциями, комиссиями, резолюциями, выкраивал время для старых и новых друзей. Я все сильнее влюблялся в польский характер, и эта глава, наверно, будет скорее походить на лирическое объяснение, чем на рассказ о стране и людях.

В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров-память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев. Учитель истории говорил нам, что любой поляк чванлив, как шляхтич, что Польша'погибла оттого, что каждый пан в сейме кричал «не позволю» и накладывал запрет на закон. Один из наставников моей молодости, Достоевский, в своих романах выводил карикатурных поляков. Я Польшу не знал, и где-то внутри таилось предубеждение. Помню, что меня поразила страсть, с которой Тувим говорил о польском характере при первой нашей встрече. Потом я услышал от Бабеля: «Это поэтический народ...» А ведь Бабель видел поляков во время войны, когда они сражались против Советской России. Я задумался и только в 1928 году, побывав в Польше, кое-что понял.

Человеческие ценности - радость труда, борьбы, любовь, искусство - осознаешь не по школьным урокам и не по книгам, а по житейскому опыту. Но есть и такие ценности, которые начинаешь понимать в недостатке, в отлучении. Что такое хлеб, я понял в Париже, когда ничего не ел несколько дней, а из булочных шел дивный аромат. В горах Арагона во время боев я понял, что такое поток воды. Я писал, что значение родины осознаешь вдали от нее. Обостренный патриотизм поляков связан с историей: они пережили или слышали от своих родителей длинную летопись попрания национального достоинства.

Я рассказывал, как Тувим, бродя со мною среди развалин Варшавы, повторял: «Посмотри, какая красота!...» Может быть, не все поляки это говорили, но все это думали. Старая часть Варшавы отстроена с такой любовью к любой детали, что забываешь о реставрации. Дело не только во вкусе, дело и в страсти.

Меня притягивает к полякам страстность - она в национальном характере, она сказалась и в старой скульптуре Ствоша, и в поэзии - от Мицкевича и Словацкого до Тувима и Галчинекого, страстность в народных песнях и в длинной повести о неудачных восстаниях, она в Домбровеком, о котором когда-то мне рассказывал старик коммунар, и в Янеке, которого я видел возле Уэски. Стоит поглядеть в глаза старого усатого пенсионера, который ходит по чинному, но дивному Кракову, или услышать в заброшенной деревне вскрик маленькой девчонки с белой косичкой и смехом, похожим на слезы, как снова и снова видишь избыток чувств, диковинный клубок судеб.

Я читал много суровых оценок барокко - чрезмерность, неожиданность сочетаний, порой непонятность казались вычурностью, формализмом, отказом от искренности, пренебрежением простотой. А между тем барокко, родившись в эпоху заката аристократии, пришелся по душе народам. Есть нечто общее между поэзией Гон горы, Марино или Грифиуса и теми глиняными Христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерности человеческого страдания. «Здесь похоронено сердце Шопена» - чужестранец дивится, а и это в характере Польши.

В 1947 году польское правительство подарило нам, четверем советским писателям, произведения народного искусства. Мне достался ковер, сотканный из лоскутков Галковскими в Кракове. Этот ковер с тех пор радует меня в трудные часы. Я пляжу на зверей, которых нет и не было, но которые живут, резвятся, рычат и дремлют в моей комнате, на девушек, на диковинных рыцарей и вижу не только чудесное сочетание тонов, полутонов, но и силу искусства.

Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения, способной превратить, казалось бы, заурядный домишко в космос. В 1947 году была трудная эпоха для поэтов или художников. Однако и тогда я увидел много холстов, показывавших, что искусство живо. Нужно ли говорить о

последующем десятилетии? Некоторые польские фильмы обошли мир. Начали переводить польскую прозу. Помню, как я читал путевые заметки Казимежа Брандыса, он рассказал, что чувствовал, завтракая в приветливой чистенькой гостинице Западной Германии,- я нашел художественное выражение того, что смутно чувствовал.

Вдохновение в Польше не удел избранных, оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины - в них все оттенки и все благородство горя. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вырезывает из бумаги тропические рощи. Если зайти в магазин утвари, то поражаешься не только вкусу, но и фантазии. Может быть, именно эта насыщенность искусством притягивает меня к Польше? Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщину, которая таскала камни на стройке в Варшаве.

Я говорил о Тувиме. Мне хочется теперь сказать о его друзьях из «Скамандра», с которыми я часто встречался в Варшаве. Слонимский некоторым кажется англичанином, чересчур насмешливым, даже едким, а за его иронией скрыты доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная - Сервантес не похож ни на Свифта, ни на Мольера. Ирония Слонимского не раствор, а эссенция, может быть, слишком крепкая для другой страны или для другой эпохи, а если она и разбавлена, то не водой, а слезами. Ивашкевич на первый взгляд кажется баловнем судьбы, он мягок, даже благодушен, но никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя шляхтича, но в его книгах много современного смятения. Я вспоминаю сейчас его новеллу, написанную в тридцатые годы,- польский писатель едет во Флоренцию на какой-то конгресс (видимо, и писатели и конгрессы всегда были - это как дождь). Новелла напоминает тургеневские «Вешние воды», но в ней воздух нашего века - любовь не та, да и не то отчаяние.

В 1947 году я еще не мог забыть о поездке в Польшу двадцать лет назад, когда мы жили в разных мирах,- старался быть особенно вежливым, обходить темы, связанные с трудностями того времени,- словом, частенько вел себя как дипломат. Расскажу о смешном и потому, что лирику мне всегда хочется перебить шуткой, и потому,

что этот рассказ покажет, насколько я тогда не понимал происшедших перемен.

Я говорил, что поляки приняли нас на редкость гостеприимно. Нам поручили привезти в Москву к Октябрьским праздникам делегацию польских писателей. Я радовался, что мы сможем их принять, как они приняли нас. Поехали с нами известная писательница Налковская (ей было за шестьдесят), драматург Кручковский, который тогда был вице-министром культуры и искусства, и молодой поэт Добровольский. До Бреста мы ехали в специальном вагоне со всеми онёрами, а в Бресте нас никто не встретил. (Потом я узнал, что телеграмма опоздала.) Все выглядело катастрофично: в «Интуристе» наотрез отказались продать для гостей билеты в кредит, а рублей у нас, разумеется, не было. Налковская, увидав советский состав, сказала, что устала, хотела бы прилечь. Я ответил, что посадка не началась. (На беду, в ту самую минуту в вагон вошел генерал, адъютант тащил его чемоданы.) Я позвонил секретарю обкома. Рабочий день кончился, и разыскал я его дома. Он выслушал, пособлезновал, но объяснил, что в обкоме никого нет - где же он достанет деньги? Я начал увещевать, молить, даже плухо пригрозил «дипломатическими осложнениями». Он отвечал: «Попробую, но за результаты не ручаюсь...» Прошел час, два. Налковская спрашивала, не началась ли посадка. Кручковский учтиво молчал. Добровольский что-то говорил о стихах Галминского и Пастернака. Но мне было не до поэзии, я то и дело убегал - звонил секретарю обкома, плядел, не покажется ли машина. Наконец секретарь обкома приехал: «Достал на три спальных...» Я попросил его приветствовать гостей. Налковская наконец-то смогла прилечь. А мы собрались в купе и начали считать имевшиеся у нас рубли. Сегодня - ужин, завтра - завтрак, обед, ужин, послезавтра мы приезжаем в одиннадцать,- значит, еще один завтрак. А денег только на ужин сегодня. Бровка сказал, что завтра утром сойдет в Минске, жалко, что до города далеко...

Я попытался попросить в вагоне-ресторане, чтобы нас кормили в кредит, в Москве на вокзале мы расплатимся, но мне ответили, что это исключено - в пути может сесть контролер. Мы пошли ужинать, заказали пол-литра. Налковская попросила маленький стакан красного вина. Подали бутылку, Добровольский снова заговорил о поэзии и вдруг сказал: «Я хотел бы увидеть поэта, который может

превратить пустую бутылку в полную...» Я убежал, снова пересчитал наши капиталы и заказал еще одну бутылку. Утром мы сказали, что не завтракаем - пьем только чай. В Минске Бровка распрощался со всеми, и вдруг я увидел Петра Устиновича, который несся обратно, как чемпион по бегу: «До ЦК далеко, я добежал до дому, а жены нет, вот все, что нашел в ящике стола...» Он сунул мне в руку бумажки. На обед хватило. Мы решили сказать, что вечером не будем ужинать, но вечером в Смоленске нас ждало чудо - в вагон вошел писатель Симонов. Я тотчас отозвал его в сторону и попросил сказать гостям, что он приехал из Москвы, чтобы встретить делегацию. Потом я спросил его: «Сколько у вас денег?...» Он ответил: «Ничего нет. Я обрадовался, увидев вас, думал, паужинаем, выпьем бутылочку вина...» В одном из купе оказался знакомый Симонова. Мы были спасены.

Два года спустя, подружившись с Добровольским, я рассказал ему, что пережил, когда он заговорил о превращении пустых бутылок в полные. Он долго смеялся: «Да ведь это чисто польская история...» Смеялся потом и Кручковский.

Конечно, когда я говорю, что теперь ничего нас не отдаляет от поляков, я меньше всего думаю об «Интуристе». В 1928 году поляки и мы жили в разных мирах. Даже Тувим, даже Бронсвский тогда многого не понимали, да и я часто судил опрометчиво. Некоторые традиционные предубеждения оказались живучими, и только приехав в Варшаву в 1947 году, я почувствовал, что ничто больше нас не разделяет. Слонимский, Ивашкевич - это давние друзья, но я познакомился с молодыми писателями и, беседуя с ними, не ощущал границ стран или границ поколений.

Ни осенью 1947 года, с которой я начал эту главу, ни впоследствии в Польше я не знавал одиночества, - это сухая справка, но она говорит о многом.

Месяцы, о которых мне предстоит рассказать, может быть, самые тяжелые в моей жизни, и я надолго прервал работу: не решался начать эту главу. С какой радостью я опустил бы ее! Но жизнь не корректура, и пережитого не перечеркнешь. С тех пор прошло пятнадцать лет. Я не хочу беречь заживающие рапы, не назову некоторых - меньше всего меня привлекает роль прокурора. Притом я многого не знаю, ограничусь тем, что коротко, сухо расскажу о пережитом.

Теперь я понимаю, что начало некоторых событий, о которых хочу написать, связано с трагической смертью С. М. Михоэлса, и прежде всего скажу о Соломоне Михайловиче. Познакомился я с ним давно, еще в двадцатые годы, но мало его знал: а понял и полюбил в годы войны; одно время он довольно часто приходил к нам в гостиницу «Москва», иногда горевал вслух, иногда дурачился, иногда как-то вбирал в себя руки и ноги, сжимался, молчал. Он был большим актером, и, конечно же, его стихией было искусство. Я хорошо помню его в роли короля Лира. Он казался неузнаваемым - в жизни он был небольшого роста и лицо у него было не короля, а, скорее, насмешливого интеллигента, с выпуклым лбом и выпяченной нижней губой. Но на сцене, высокий и трагичный, король Лир был невыразимо прекрасен в своем горе и гневе. Талант Михоэлса почитали актеры различных направлений; я помню, с каким восхищением говорили о нем и Качалов, и Мейерхольд, и Питоев. Никогда Михоэлс не был националистом, он любил русский язык, и его друг А. Н. Толстой иногда говорил: «Не понимаю, почему Соломон не хочет играть в русском театре...» Но у Михоэлса было любимое дитя - Еврейский театр. На спектакли этого театра приходили и зрители, не знавшие еврейского языка. Игра Михоэлса и Зускина была настолько выразительной, что все бывали захвачены похождениями местечкового Дон-Кихота или бедой Тевье-молочника.

Во время войны С.М. Михоэлс был душой Еврейского антифашистского комитета. Кто тогда мог думать об искусстве? Гитлеровцы убивали в местечках Украины и Белоруссии и старых героев Шолом-Алейхема, и девочек-пионерок. Михоэлса послали

вместе с поэтом Фефером в Америку. В 1946 году американцы мне рассказывали, как в одном городе рухнула эстрада - слишком много людей хотели подойти поближе к советским гостям. Михоэлс и Фсфер собрали миллионы на советские госпитали, детские дома.

После победы к Михоэлсу обращались с просьбами тысячи людей - в их глазах он оставался мудрым ребе, защитником обиженных.

И вот Михоэлса убили...

Тогда нам сказали, что Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым-Потаповым по поручению Комитета, присуждавшего Сталинские премии,- он должен был дать отзыв о постановке, выставленной на премию. Ночью его позвали в гости - он шел опять-таки вместе с Голубовым-Потаповым по одной из окраинных улиц, и там не то бандиты убили обоих, не то их раздавил грузовик. Эта версия казалась убедительной весной 1948 года; полгода спустя в ней многие начали сомневаться. Когда арестовали Зускина, все задумались: а как погиб Михоэлс?... Недавно советская газета, выходящая в Литве, рассказала, что Михоэлс а убили агенты Берии. Не стану гадать, почему Берия, который мог бы преспокойно арестовать Михоэлса, прибег к злодейской маскировке; конечно, не потому, что щадил общественное мнение, скорее всего, развлекался.

Я был на панихиде по Соломону Михайловичу в помещении его театра. Изуродованное лицо загримировали. Произносили речи. Помню выступление Фадеева. На улице стояла толпа, многие плакали.

Двадцать четвертого мая был вечер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил. Было очень горько.

Но я еще ничего не предвидел.

В сентябре 1948 года я написал для «Правды» статью о «еврейском вопросе», о Палестине, об антисемитизме. Вот несколько цитат:

«Мракобесы издавна выдумывали небылицы, желая представить евреев какими-то особенными существами, непохожими на окружающих их людей. Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной, обособленной жизнью, не разделяя радостей и горестей тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи - это люди, лишенные чувства родины, вечные перекати-поле.

Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями.

...Да, евреи жили отдельно, обособленно, когда их к этому принуждали. Гетто было изобретением не еврейских мистиков, а католических изуверов. В те времена, когда глаза людей застилал религиозный туман, были среди евреев фанатики, как они были среди католиков, протестантов, православных и мусульман. И как только раскрылись ворота гетто, как только дрогнул туман средневековой ночи, евреи разных стран вошли в общую жизнь народов.

Да, многие евреи покидали свою родину, эмигрировали в Америку. Но не потому эмигрировали они, что не любили своей земли, а потому, что насилия и оскорбления лишали их этой любимой земли. Одни ли евреи искали порой спасения в других странах? Не так ли поступали итальянцы, ирландцы, славяне стран, находившихся под гнетом турок и немцев, армяне, русские сектанты?...

...Мало общего между евреем тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, который говорит, да и думает по-американски. Если между ними действительно существует связь, то отнюдь не мистическая: эта связь рождена антисемитизмом... Невиданные зверства немецких фашистов, провозглашенное ими и во многих странах осуществленное поголовное истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбления сначала, печи Майданека потом - все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенных...

...Конечно, есть среди евреев и националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями те идеологи человеконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство - за тридевять земель...»

В статье я приводил высказывания Горького, Ленина об антисемитизме, цитировал и Сталина: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма».

Газетная статья не исповедь, в ней многого не скажешь. Теперь, когда я дописываю книгу о моей жизни, мне хочется сказать, как я понимаю то, что часто называют «еврейским вопросом».

Начну с конца. Один американский писатель, негр, справедливо заметил: «Нет в Америке проблемы черных, есть проблема белых». К словам американского негра я могу добавить, что еврейский вопрос это вопрос о живучести антисемитизма.

Ребенком я слышал разговоры о деле Дрейфуса, о еврейских погромах. Я знал, что Лев Толстой, Чехов, Горький возмущаются натравливанием русских на евреев. Несколько лет спустя я прочитал в подпольной газете статью Ленина. Мой отец говорил, что антисемитизм - пережиток, порождение фанатизма и невежества, и в этом я разделял его суждения.

Как читатель знает, я родился в Киеве, мой родной язык русский. Я не знаю ни идиш, ни древнееврейского языка. Никогда я не молился ни в синагоге, ни в православной церкви, ни в костеле. Меня восхищали и восхищают некоторые художественные памятники, которые для верующих связаны с религией, а для меня с человеческими мыслями и чувствами,- «Книга Иова», «Песнь песней», «Экклезиаст», Евангелия, в том числе «запретные», «Апокалипсис», Шартрский собор, Акрополь, иконы Андрея Рублева, живопись фра Беато, индусские богини в Эллоре, фрески в древнем буддийском монастыре Аджанта. Однако все это для меня не мертвые каноны религий, а живое искусство. Детство и отрочество я провел в Москве, и мои товарищи были русскими. Когда я работал в подпольной организации, мы называли друг друга по кличкам, меня не интересовало, были ли среди моих товарищей евреи. Потом я очутился в Париже. Я встретил двух чудесных поэтов,- один из них, Аполлинер, был по происхождению поляком, другой, Макс Жакоб, евреем, но для меня оба были французами. Я полюбил итальянца Модильяни; однажды он мне рассказал, что он еврей, но для меня он оставался связанным с тревогой предвоенных лет и с искусством итальянского Возрождения, а не с древним Ягве.

Я люблю Испанию, Италию, Францию, но все мои годы неотделимы от русской жизни. Никогда я не скрывал своего происхождения. Были времена, когда я о нем редко думал, были и другие, когда я повторял всюду, где мог: «Я еврей»,- мне кажется, что солидарность с теми, кого преследуют,- азбука человечности.

Я смотрел фильмы Чаплина, и мне не приходило в голову, что он еврей; об этом мне сообщили гитлеровцы. Они приводили черные

списки. Евреями оказались композитор Дариус Мийо, философ Бергсон, люди, с которыми я встречался, не задумываясь над их происхождением,- Бенда, Анна Зегерс, писатели, которых я читал, как, например, Кафка.

Есть ли какой-то особый, присущий евреям национальный характер? Антисемиты и еврейские националисты отвечают положительно. Возможно, что века гонений и обид заострили иронию, раздували романтические надежды на лучшее будущее. Национальный характер ярче всего сказывается в художественном творчестве. Поэзия Гейне полна романтической иронии, но я не знаю, чем это объясняется - происхождением поэта или эпохой. Припоминая произведения моих современников - Модильяни, Кафки, Сутина, я вижу прежде всего трагичность: она отражала действительность, воспоминания сочетались с предчувствием или предвидением. Математика относится к тем проявлениям человеческого разума, которые менее всего связаны с климатом, языком или традициями. Однако в Германии в начале тридцатых годов нашлись ученые, которые отвергали теорию относительности, открытую Эйнштейном, как «еврейские штучки».

В прежние времена антисемитизм был связан с религией, с идеей искупления: «Евреи распяли Христа». Власть духовенства постепенно ослабевала. Многие стали понимать, что Христос был одним из еврейских бунтовщиков и выступал против ортодоксальных священнослужителей, сотрудничавших с римскими оккупантами. Французская революция провозгласила равноправие евреев. Различные государства одно за другим отменяли существовавшие веками ограничения. Евреи начинали жить жизнью тех народов, на землю которых пришли их прадеды.

В конце прошлого века разразилось дело Дрейфуса, оно показало, что антисемитизм, прятаящийся в щели, жив. В течение нескольких лет к Дрейфусу, человеку самому по себе незначительному, исправному французскому офицеру, воспитанному на дисциплине, были обращены взоры миллионов людей. Когда Золя выступил с защитой невинно осужденного, его поддержали Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, Жорес, Анатоль Франс, Метерлинк, Энсор, Клод Моне, Жюль Ренар, Синьяк, Пеги, Мирбо, Милларме, Шарль Луи Филипп. Кто же поддерживал обвинителей? Писатели-националисты

- Баррес, Моррас, Дерулед. Антидрейфусары были не только антисемитами, но и врагами прогресса, шовинистами; в своих газетах и листовках они называли Золя «итальяшкой».

До революции русские евреи могли проживать только в черте оседлости. В городах и местечках Украины или Белоруссии они жили обособленно, говорили на идиш. Революция все изменила; еврейская молодежь ринулась в русские школы, университеты. Еврейки выходили замуж за русских, евреи женились на русских. Среди моих друзей было много смешанных браков. Бабель, Михоэлс, Ильф, Пастернак, Фальк, Гроссман, многие другие были женаты на русских девушках, а Федин, Щипачев, Катаев, Вишневский женились на еврейках. (Я называю первые пришедшие в голову имена, можно было бы продлить список.)

Обособленность евреев исчезала не только у нас, но и во Франции, даже в Германии. Тогда на помощь антисемитизму пришла «расовая теория» Гитлера.

Конечно, разговоры о существовании «низших рас» не были новыми. Рассказывая о поездке в Южные штаты Америки, и хотел показать, насколько силен и живуч расизм в стране цивилизованной. Однако в двадцатые годы мы считали бывших рабовладельцев Алабамы или Миссисипи исключением. На сцене истории появился Гитлер. Он и его приверженцы начали доказывать, что существуют высшие расы, прежде всего «арийская», или «северная», и низшие, среди которых самая низшая - евреи.

В годы гражданской войны я увидел еврейский погром, организованный белыми. Несколько месяцев спустя пьяный врангелевский офицер с криком: «Бей жидов, спасай Россию!» - хотел сбросить меня с борта парохода в море. Мне казалось это естественным: призраки прошлого отстаивали власть тьмы.

В конце двадцатых годов я познакомился на Монпарнасе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его, гомельский портной Лазик Ройтшванец, горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших нэпманов и захолустных начетчиков,

польских ротмистров эпохи санации, немецких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину; однако земля, которую называли «обетованной», оказывается похожей на другие - богатым хорошо, бедным плохо. Лазик предлагает организовать «Союз возвращения на родину», говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле. Его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли «еврейским Швейком». (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нес, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным.)

Приход Гитлера к власти меня поразил: цивилизованная страна была отброшена назад, в темноту изуверства. «Хрустальная ночь» (так называли гитлеровцы ночь грандиозных погромов) была для меня одним из проявлений ненавистного фашизма. Гитлеровцы жгли книги не только еврейских авторов, но и Энгельса, Ленина, Горького, Романа Роллана, Золя, Барбюса, Генриха Манна. Они убивали немецких коммунистов «арийского» происхождения. В Испании я увидел свирепую сущность фашизма.

Во время нашествия фашистов на нашу страну я был свидетелем множества зверств. Гитлеровцы убивали русских детей, жгли деревни Украины и Белоруссии. Об этом я писал каждый день в газете. Об этом писали и другие. Гитлеровцы в своих листовках уверяли, что они воюют только против евреев, нужно было опровергнуть эту ложь.

Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали. Государство Израиль, однако, существует. Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследований, подобных инквизиции, в различных калифатах Андалузии жили, работали такие люди, как философ Маймонид и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля, на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами. Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля, да они и не хотят туда уезжать они тесно связаны с народами, среди которых живут. Негры Алабамы или Миссисипи вовсе не мечтают уехать в одно из суверенных государств Черной Африки, они требуют равноправия и борются против расовых предрассудков.

Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего семидесятилетия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я - еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства. Я продолжаю думать, что антисемитизм - отвратительный пережиток прошлого, что он исчезнет, как исчезнут все расовые предрассудки; только теперь, увы, я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков - дело очень долгое.

Вернусь ко времени, о котором я рассказываю. Мне сказали, что статью посылали Сталину и он ее одобрил. А несколько месяцев спустя закрыли Еврейский антифашистский комитет, газету «Эйникайт», издательство, разбросали набор «Черной книги». Первым эшелонам жертв стали писатели, писавшие на идиш,- Перец Маркиш, Квитко, Бергельсон, Фефер и другие.

В январе 1949 года газеты сообщили «о раскрытии антипатриотической группы театральных критиков» (об аресте писателей, о закрытии газет, а потом и театра газеты не упоминали). Почему кампания началась со второстепенного вопроса - с театральной критики? Не знаю. Может быть, Сталину вовремя пожаловался обиженный драматург, а может быть, случайно,- не все ли равно, в какое место пруда бросить камень - лишь бы от него пошли круги.

Характер новой кампании был ясен; в первой же статье имелась такая фраза: «Какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека?» Газета клеймила «ура-космополитов». Два дня спустя появилась новая статья, в ней «гурвичи и юзовские» писались со строчных букв и обличались критики А. Эфрос, А. Ромм, О. Бескин, Д. Аркин, другие. Прошла еще неделя, и в космополитизме начали обвинять критика Данина за то, что он похвалил М. Алигер; заодно напали на поэта Антокольского. Перешли к кино, в этой области тоже «выявили беспачпортных бродяг» - Л. Трауберга, Блейма, Коварского, Волькенштейна. Замелькали имена «отщепенцев»: Дрейден, Березарк,

Шнайдерман, Л. Шварц, Вайсфельд, Ф. Левин, Бровман, Субоцкий, Оголевец, Житомирский, Мазель, Шлифштейн, Шнеерсон, Мотылева, Бялик, Кирпотин, Гордон... Прошли еще две недели, и начали разоблачать «безродных космополитов», укрывавшихся за псевдонимами: Стебун (Каценеленсон), Санов (Смульсон) и так далее. Многие из «выявленных космополитов» были мало кому известны - били вслепую, для примера: вот, мол, «безродные»...

Начались «оргвыводы». Как-то ко мне пришел возмущенный С. В. Образцов: «Вызвали, говорят, что в театре слишком много евреев. Отвратительное юдофобство!...» Образцов не был одинок в своем возмущении. Несмотря на то, что время не благоприятствовало откровенным разговорам, многие мои русские друзья мне высказывали свое негодование: Кончаловский, Федин, Сурков, архитектор Руднев, Гладков, Вс. Иванов, скульптор С. Д. Лебедева. Нужно ли напоминать, что всякий расизм, в том числе и антисемитизм, шел вразрез и с традициями русской интеллигенции, и с теми высокими идеями интернационализма, которые были заветом Ленина и на которых воспитывались советские люди?

Преследование евреев не было обособленным явлением. Арестовывали множество людей, побывавших, конечно не по своей вине, в фашистском плену, не успевших эвакуироваться, вернувшихся добровольно из эмиграции, репрессированных в тридцатые годы, имеющих за границей родственников; произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ.

Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. Начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал звонка. Телефон замолк, только близкие друзья справлялись о моем здоровье. Да еще «проверяли»: знакомые поосторожнее звонили из автомата - хотели узнать, не забрали ли меня, а когда я отвечал «слушаю», клали трубку.

В марте 1938 года я с тревогой прислушивался к лифту: мне тогда хотелось жить; как у многих других, у меня стоял наготове чемоданчик с двумя сменами белья. В марте 1949 года я не думал о белье, да и ждал развязки почти что безразлично. Может быть, потому, что мне было уже не сорок семь лет, а пятьдесят восемь - успел устать, начиналась старость. А может быть, потому, что все это

было повторением, и после войны, после победы над фашизмом, происходившее было особенно нестерпимым. Мы ложились поздно - под утро: мысль о том, что придут и разбудят, была отвратительна. Как-то позвонили в два часа ночи. Люба пошла открыть дверь. Я ни слова не сказал, только поглядел на нее. Оказалось, это шофер Симонова - его прислала жена Константина Михайловича, полагая, что Симонов у меня.

В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул: «Значит, неправда!...» Он рассказал, что накануне один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил: «Могу сообщить хорошую новость - разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург».

Я написал короткое письмо Сталину: писал, что уже два месяца лишен газетной работы и что вчера такой-то объявил, будто я арестован. Я, однако, еще не арестован и прошу поручить выяснить мое положение. Я хотел одного - чтобы кончилась неизвестность. Письмо я сдал в кремлевскую будку.

На следующий день мне позвонил Маленков. Я хорошо помню разговор. «Вы писали Сталину. Он поручил вам позвонить. Скажите, откуда это пошло?...» - «Не знаю. Я хотел бы вас об этом спросить».- «Но почему вы не предупредили нас раньше?» - «Я говорил с товарищем Поспеловым, это все, что я мог сделать».- «Странно, товарищ Поспелов такой чуткий человек, а он нам ничего не сказал...» (П. Н. Поспелов несколько лет спустя говорил мне, что это неправда, он все передал, но его слова не возымели действия.)

Сразу затрещал телефон: различные редакции говорили, что «произошло недоразумение», статью напечатают, просили еще написать.

У меня в это время были А. М. Эфрос и Л. Н. Чернявский. На диване лежал Г. М. Козинцев, заболевший гриппом. Григорий Михайлович вскочил, завернувшись в одеяло. Все взволнованно говорили. На следующий день я узнал, что из одной газеты вечером сняли очередную статью о космополитах.

Задним умом все крепки. Весной 1949 года я ничего не понимал. Теперь, когда мы кое-что знаем, мне кажется, что Сталин умел многое маскировать. А. А. Фадеев говорил мне, что кампания против «группы

антипатриотических критиков» была начата по указанию Сталина. А месяц или полтора спустя Сталин собрал редакторов и сказал: «Товарищи, раскрытие литературных псевдонимов недопустимо - это пахнет антисемитизмом...» Молва приписывала произвол исполнителям, а Сталин будто бы его останавливал. В конце марта он, видимо, решил, что дело сделано. Арестованных еврейских писателей не освободили. Уволенных с работы на прежние места не взяли. Пятый параграф в анкетах, где проставлялась национальность, продолжал незаметно действовать, а грубых статей или карикатур больше не требовалось.

В мае 1949 года я получил на адрес «Литературной газеты» телеграмму из Нью-Йорка: «Здесь печать развертывает сильную антисоветскую кампанию, утверждая, что критика «космополитизма» носит в действительности антисемитский характер. Упоминание в числе известных советских критиков фамилий некоторых евреев в скобках расценивается как факт, аналогичный антисемитской практике в капиталистическом мире. В качестве доказательств ссылаются также на закрытие еврейских газет и на карикатуры. Мы считаем, что было бы полезно, если бы вы сами в большой статье ответили бы на эту клевету. Редакция «Дейли уоркер». Телеграмму сопровождало письмо: «Мне поручено передать вам пожелание - написать для «Дейли уоркер» статью на эту тему. Надеюсь, что вы это сделаете». Я статью, конечно, не написал и на письмо не ответил.

От злорадства зарубежных врагов нашей страны мне было вдвойне горько. Я видел народ, который тридцать лет подряд боролся за идеи Октября, за братство против интервентов и белогвардейцев, против фашистского нашествия, против погромщиков и расистов. Народ был неповинен в тех газетных статьях, о которых я говорил, он трудно жил, работал с утра до ночи и не сворачивал с избранного им нелегкого пути. Я не мог опровергнуть то, что было жестокой правдой, и не хотел поддержать врагов Советского Союза.

Несколько лет спустя один журналист в Израиле выступил с сенсационными разоблачениями. Он утверждал, что, находясь в тюрьме, встретил поэта Фефера, который будто бы ему сказал, что я повинен в расправе с еврейскими писателями. Клевету подхватили некоторые газеты Запада. У них был один довод: «Выжил? Значит, предатель».

Я был в плохой форме, не мог работать. А тут мне сказали, что нужно ехать в Париж, на Конгресс сторонников мира. Защита мира казалась мне прекрасным делом, но я чувствовал, что у меня нет сил. Очутиться за границей в таком состоянии - да ведь это пытка! Меня попросили написать выступление и дать его просмотреть. Когда передо мной оказался белый лист, я начал писать о том, что меня волновало. В написанной речи были такие строки: «Пет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры - кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность». Меня вызвал Григорьян, занимавший довольно высокий пост, жал руку, благодарил. На столе у него лежало мое выступление, перепечатанное на хорошей бумаге, и против процитированного мною места на полях значилось «Здорово!». Почерк показался мне мучительно знакомым...

Мы вылетели в Париж в середине апреля. В Москве было холодно, в лесочке возле Внукова еще белел снег. Люба говорила, что в Париже я отдохну, развлекусь; я отвечал: «Конечно».

На аэродроме в Париже я увидел Эльзу Юрьевну. Она сказала, что Арагон и она заедут за мной вечером - мы вместе поужинаем. Нас повезли в посольство, где посол объяснил политическое положение. Я старался слушать - и не мог. Вдруг я понял, что заболел - весь в поту, наверно, температура. Это уж совсем глупо!... Потом меня повезли в гостиницу на правом берегу возле зала Пленель, где должен был проходить конгресс. Я ничего не понимал, не видел - сильный жар. Вдруг шофер, пожилой француз, сказал: «Ну и жарыща!...» Я вытаращил глаза: «Вам, значит, тоже жарко?...» Он, в свою очередь, удивился: «Да ведь тридцать градусов, все газеты пишут, что такого в апреле не было сто лет...» Я обрадовался: значит, не болен. Я увидел то, чего прежде не замечал: на верандах кафе люди без пиджаков жадно пьют пиво или лимонад. Но в голове по-прежнему было смутно.

Арагоны повели меня в ресторан «Медитерране»; там было шумно, тесно; люди рассказывали о том, как провели пасхальные каникулы. К Арагонам подходили знакомые, шутили. А Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: «Что это значит - «космополиты»?

Почему раскрывают псевдопимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог. Подошел Кокто и завел светский разговор, я старался улыбаться. Ворочали усищами огромные лангусты. Соседи смеялись. Было нестерпимо жарко.

В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать - что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты - заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: «Хочу домой». Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял: «Домой!»...

Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно - самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он «верен людям, веку, судьбе».

Утром, когда я брился, в комнату вбежал Фотинский: «Я прочитал в газете, что ты приехал, а в посольстве сказали, где ты...» Фотинский не задавал мне неприятных вопросов, а начал рассказывать о забастовках, о том, что все против правительства, о Монпарнасе, о Дусе, о художниках. «Много интересных выставок. Ты сейчас свободен?...» Мы пробродили до обеда. Я глядел то на Сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблони Сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фотинский вдруг встревожено спросил: «А ты здоров?» Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, но ничего не мог забыть, мне трудно было разговаривать отвечал невпопад.

Перед обедом мы зашли в кафе. На столике лежала оставленная кем-то газета. Я машинально развернул, мне бросилась в глаза заметка: «Преступная слабость правительства. Вчера из Москвы прилетела группа, которой поручено организовать в Париже беспорядки под вывеской «конгресса за мир». Правительство выдало визу даже хорошо известному Илье Эренбургу, который написал клеветнический «роман» «Падение Парижа» и который примечателен тем, что получил от Сталина дворец великого князя в Крыму за организацию террористической сети в странах, свободных от коммунистической тирании. Вместе с Эренбургом «защищать мир» будут уполномоченный Тореза расторопный Арагон, английский «ученый» Бернал, неизвестный в научных кругах, но слишком хорошо известный полиции, некто Цвейг, выдающий себя за писателя, разумеется, Жолио-Кюри, решивший окончательно поменять профессию физика на должность главного кремлевского агитатора, и старый клоун Пикассо, изготовивший марксистскую голубку, которая загадила все стены нашего прекрасного, но, увы, беззащитного Парижа». Я засунул газету в карман и сказал Фотинскому: «Давай выпьем за врагов». Он не понял, а я не стал объяснять.

Работая над этой книгой и вспоминая трудные годы, я часто с благодарностью думаю о врагах. Конечно, ругань вроде тех строк, которые я выписал, можно было найти только в листках будущих

«ультра», «Фигаро», даже «Орор» говорили языком более сдержанным, но они также клеветали, грозили. Враги помогали мне многое преодолеть, напоминали, что, как бы ни были горьки события последних месяцев или лет, они не должны заслонить главного. Так было и в тот день - я как-то очнулся, даже повеселел.

На следующий день открылся Конгресс сторонников мира. Он заседал в большом концертном зале Плейель - в районе, где живут состоятельные люди. Однако с утра возле входа в зал толпились и студенты, и модистки, и рабочие, и случайные зеваки. Жолио-Кюри, Пикассо, Ива Фаржа, Арагона узнавали, приветствовали. Разглядывали яркие народные костюмы некоторые полек и словачек, юбочки шотландцев. Гадали, откуда приехал бородатый епископ в ослепительно белом клобуке - из Греции или из Болгарии? А это был митрополит Крутицкий Николай. (Я несколько раз летал с ним на конгрессы или сессии Всемирного Совета и всегда видел картонку для дамских шляп, в которой он вез клобук.)

Зал был набит и делегатами, а их было около двух тысяч, и гостями. Раздавались возгласы на понятных и непонятных языках. Зал был шумливым, южным - самыми многочисленными делегациями были французская и итальянская. Это был, кажется, первый международный конгресс после войны, и молодым все было внове. Речи то и дело прерывались возгласами, смехом, аплодисментами.

В 1949 году «холодная война» перешла из газетных статей не только в государственные договоры, но и в повседневный быт. Именно в том году родился Атлантический пакт. Раскол Германии принял государственные формы: в том же году в Бонне была провозглашена федеральная республика, а полгода спустя образовалась демократическая республика. На одном из заседаний конгресса огласили сообщение, что Народная армия освободила Нанкин; Китайская Народная Республика родилась в 1949 году, и в том же году Голландия вынуждена была признать независимость Индонезии. Во Вьетнаме продолжались бои. Сражались и в Греции, перед открытием конгресса партизаны снова заняли гору Граммос, но исход гражданской войны был предрешен «доктриной Трумэна». В Италии то и дело вспыхивали забастовки, происходили бурные демонстрации, никто не знал, как повернутся события. Мне казалось, что и в самой Франции борьба разгорается; только год спустя я понял, что

грандиозные забастовки 1947-1948 годов были последними валами послевоенной бури. Американцы давали деньги («план Маршалла»). Заводы начали обновлять обветшавшее оборудование. В магазинах стало больше товаров. Правда, цены росли и многие французы еще жили очень плохо. Но все понимали, что страна экономически встает на ноги.

Однако и читатели «Фигаро», и читатели «Юманите» боялись думать о будущем. В одном средней руки ресторане я услышал разговор, который мне напомнил весну 1939 года: «Мы решили провести каникулы возле Брива, там у жены тетка. Конечно, если не начнется война...» О таких же настроениях мне рассказывали англичане, итальянцы, бельгийцы. Конгресс отвечал тревоге сотен миллионов людей - слишком свежей была память о годах войны, слишком тревожными газетные сообщения. Одни опасались, что американцы начнут превентивную войну, другие считали, что не сегодня завтра русские танки двинутся к атлантическому побережью.

Газеты, поддерживавшие политику Трумэна, хотели замолчать конгресс, но не выдержали. Передо мною заметка в «Пари-пресс»: «На пресс-конференции знаменитый советский писатель Илья Эренбург ответил на вопрос одного журналиста, не считает ли он, что Соединенные Штаты действительно хотят мира: «Нельзя делать два дела вместе - говорить о мире и при этом вытаскивать из кармана атомную бомбу». Американская реакция была молниеносной. Вчера вечером атташе государственного департамента г. Мак Дермотт заявил: «Участники Парижского конгресса сторонников мира стараются доказать, как это им предписано, что только Советский Союз хочет мира. Все это ловкая пропаганда Москвы». Французская газета «Ле монд» писала, что коммунисты «нашли лозунг, понятный всем».

Был ли конгресс коммунистическим, как утверждали газеты? По моему, нет. Если посмотреть состав инициативного комитета, приветствия, список участников, можно увидеть ряд имен политических деятелей, писателей, художников, очень далеких от коммунистической идеологии. Назову некоторые имена, которые имеются в маленькой энциклопедии Ларусса, следовательно - известны даже французским школьникам: бывший президент Мексики Карденас, бельгийская королева Елизавета, Генрих Манн,

Матисс, Шагал, Чарли Чаплин, драматург Салакру. Среди различных организаций, поддержавших созыв конгресса, я нашел такие: Союз часовых мастеров Женевы, университет Панама, Союз художников Аргентины, Объединение мелких коммерсантов Туниса, Ассоциация норвежских домашних хозяек. Лига защиты детей в Сирии и другие, мало напоминающие компартии.

На конгрессе я слышал несколько выступлений людей, которых трудно причислить не только к коммунистам, но и к социалистам. Американского юриста Рогге я встретил впервые на Вроцлавском конгрессе. Он показался мне хорошим оратором, человеком с путаными идеями, деловым и в то же время наивным - я встречал таких в Америке. Беседуя со мной, он говорил, что спасение человечества в психоанализе. Ему аплодировали, когда он осудил Атлантический пакт. Он сказал, что американцы напрасно боятся русских, а русские американцев, мир идет к войне, подгоняемый всеобщим страхом. Он сказал также, что у капитализма и у социализма есть свои слабости и свои достоинства; молодые итальянцы и французы неодобрительно зашумели. Однако проводили Рогге аплодисментами и выбрали в постоянный комитет конгресса. (На Втором конгрессе, в Варшаве, Рогге протестовал против нападков на Югославию, обвинял в корейской войне обе стороны. Его речь прерывали свистки наиболее экспансивных делегатов. Он отошел от движения.)

Английский юрист Мур с юмором, напоминающим «Пиквикский клуб», обличал некоторые, на его взгляд, чересчур воинственные речи делегатов, советовал быть осмотрительнее в выражениях, искать не односторонних осуждений, а соглашения, приемлемого для обеих сторон. «Холодная война» приучила всех к другому языку, и речь Мура многих рассердила, но ему дали договорить до конца, и часть зала ему аплодировала.

Пожалуй, наиболее возмутила молодых коммунистов речь шведской пацифистки, руководительницы религиозной организации Седергрэн. Я сейчас просмотрел стенограммы конгресса. Седергрэн сказала: «Нам угрожают два гиганта - американский капитализм и русский большевизм». (Шум в зале.) Кончила она словами: «Попытаемся же стать мостом над бездной, разделившей мир. Человечеству нужны мир и свобода». (Шумные аплодисменты.)

На конгрессе выступили только два человека, известные всем как профессиональные политики: итальянский социалист Ненни и левый лейборист Зиллиакус. Делегаты знали, что Жолио-Кюри, Пикассо, Неруда, Амаду - коммунисты, но для всех они были большими учеными или художниками.

(Как всякое движение, Движение сторонников мира пережило и приливы и отливы, было текучим - одни уходили, приходили другие. В 1956 году от движения отошло большинство итальянских социалистов. В разное время и по разным причинам ушли писатели Фаст, Бломберг, Веркор, Мартен-Шофье, Кассу, Итало Кальвино. В 1952 году на конгрессе выступил Сартр. К движению примкнули д'Астье, шведский писатель Лундквист, депутаты индийской партии Конгресса, японский профессор Ясуи, многие другие. Пожалуй, всего характернее для Движения сторонников мира роль людей, которых никак нельзя назвать профессиональными политиками,- ученых Жолио-Кюри, Бернала и блистательных дилетантов в различных областях, включая политику, вроде Ива Фаржа или д'Астье.)

Если в 1949 году социальная борьба в Западной Европе начала несколько утихать, то борьба против подготовки войны только начиналась. Конечно, на Парижском конгрессе было немало людей известных (перечислю хотя бы писателей: Арагон, Неруда, Элюар, Амаду, Арнольд Цвейг, Фадеев, Зегерс, Гильен, Андрич), но это был прежде всего конгресс людей, которых газеты называют «простыми», хотя зачастую они куда сложнее многих знаменитостей.

В кулуарах я познакомился с делегаткой города Лориан, сильно разрушенного во время войны; ее фамилии была Кере. На конгрессе она не выступала, но рассказала мне, почему решила бороться за мир: «Мой Луи был матросом, он погиб в 1942 году. У него была невеста. Он был такой веселый... Мой Жозеф ушел в маки. Он партизанил недалеко от Лориана. Его послали на мотоцикле не знаю зачем, и один мерзавец его выдал, его пытали, потом убили и сожгли, это мне рассказал его товарищ. Мой Жильбер партизанил в Коррез, а потом, как Луи, возле Лориана. Он был ранен, ему ампутировали обе ноги, он умер накануне победы - седьмого мая. Мне сказали в госпитале, что перед смертью он звал маму. Мой Альберт был женат, остались две дочери. Его расстреляли возле нашего дома... Я здесь познакомилась со многими матерями, я понимаю, почему они

приехали. У нас слишком короткие руки, чтобы обнять как следует в первый день войны, а потом и руки ни к чему - некого обнимать...» Я записал ее рассказ.

Я встретил на конгрессе некоторых моих старых друзей - итальянского писателя Бонтемпелли, Пабло Неруду, я их не видел после войны; познакомился с людьми, с которыми потом подружился, с Жолио-Кюри, Фаржем, Жоржи Амаду, Монтегю (о них расскажу в следующих главах). Мои дни были полны впечатлениями - многое и для меня было внове.

На конгрессе были и югославы; но по решению Сталина их в газетах социалистических стран называли «изменниками». Милый Андрич прислал мне гаванскую сигару с записочкой: «Мы сейчас не можем встретиться, но знайте, что я остаюсь вашим другом».

На второй день конгресса французы устроили в баре зала Плейель мою пресс-конференцию. Собралось полтора ста журналистов различных стран и различных мастей. Мне пришлось ответить на девяносто два вопроса, некоторые из них были коварными. Газета «Ле монд», относившаяся к конгрессу, скорее, неприязненно, писала: «У г. Ильи Эренбурга галстук завязан наизнанку, и вид у него человека очень рассеянного, но он показал в своих ответах, что внешность обманчива». Газета «Джиорнале д'Италия» сообщала: «Удивительно спокойно Илья Эренбург отвечал на многочисленные вопросы и вышел сухим из воды». На самом деле и очень волновался, может быть, именно поэтому казался спокойным.

После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. Он попросил меня прочитать переводы и, улыбаясь, повторял:

Ах, Куба, скажи мне, откуда
Взяла ты эту лазурь...

Мы говорили о сути поэзии - о непонятном притяжении и отталкивании слов, и я не вспоминал пресс-конференцию.

Журналисты мне, однако, не давали покоя. На следующее утро, не стучась, вошел фоторепортер и, разочарованный, сказал: «Вы уже одеты? Ничего не выйдет...» Вечером и ужинал с итальянскими писателями; пригласил меня издатель Эйнауди. По его просьбе я выбрал ресторан - ту «Жозефину», куда водил генерала Галактионова

и Симонова. Мы оживленно беседовали в маленькой комнате, когда муж Жозефины, чрезвычайно рослый мужчина, сказал мне: «Там два журналиста, они хотят вас сфотографировать». Я поглядел в щелку и увидел того, что утром, не стучась, ворвался в мой номер. «Не хочу», - ответил я. Донесся шум - это хозяин выбросил на улицу упрямых репортеров. Я вернулся в гостиницу поздно ночью. Лифт был с решеткой. Вдруг вспыхнула лампочка, я увидел знакомое лицо, аппарат. В «Самди-суар» появилась фотография с пояснительным заголовком: «Илья Эренбург в Париже скрывается за железным занавесом». Я походил на злого старого каторжника - фоторепортер умел работать.

На третий день конгресса выступил митрополит Николай. Он говорил немного по-французски и в конце речи произнес по-французски несколько слов. Это растрогало зал. Я подумал: ему можно, а мне нельзя стоит начаться очередной кампании, и кто-нибудь обязательно припомнит: низкопоклонствовал перед французами, известное дело - космополит!

В тот же день на вечернем заседании выступил я. В моей речи было такое место: «По древнему преданию, к мудрому судье пришли две женщины, они спорили: кому принадлежит ребенок? Та женщина, которая прикидывалась матерью, сказала судье: «Разруби ребенка пополам». Она так говорила, потому что это был не ее ребенок...» Когда я вернулся на свое место, митрополит Николай меня поздравил: «Хорошо. Мне особенно понравился образ двух женщин из Библии. Вам-то можно, а мне нельзя...»

Если просмотреть стенограммы конгресса и припомнить климат тех лет, то можно назвать мое выступление вполне миролюбивым. Я говорил, что писал его в Москве, надеясь - не понравится и не пошлют на конгресс. Я не только отрекся от модного тогда утверждения, что приоритет почти всех открытий принадлежит русским, но и припомнил слова Герцена о «священных камнях» Европы. В конце речи я сказал: «Сохраним наш общий дом, нашу древнюю культуру! Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксисты или кантианцы, католики или свободомыслящие. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего социального строя. Мы предпочитаем это

доказать трудом, творчеством, прогрессом. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые ненавидят войну». Это понравилось залу, а говорил я искренне: считал (и теперь считаю), что только при таком объединении можно сохранить мир.

На следующий день, в воскресенье, был грандиозный митинг в южном пригороде Парижа на стадионе Буффало. Из провинции прибыли «караваны мира» - поезда, автобусы, добрались «караваны» из Италии с мэрами двадцати городов, из Бельгии, Голландии. Делегации проходили перед трибуной президиума конгресса. Стадион вмещает восемьдесят тысяч человек, а демонстрантов было, судя по газетам, четыреста - пятьсот тысяч. Меня особенно взволновало шествие бывших узников гитлеровских концлагерей. Они шли в полосатых костюмах с номерами - сохранили их как реликвии.

К вечеру сразу после конца митинга разразилась гроза с проливным дождем. На улице предместья я забрался под навес. Рядом стояла женщина в черном суконном платье - так одеваются крестьянки, отправляясь в город; лицо у нее было румяное и морщинистое, похожее на зимнее яблоко. Она радовалась ливню - ведь дождей не было с февраля при необычно ранней и знойной весне: «Вот даже бог почувствовал!...» По улочке бежали участники демонстрации, подгоняемые дождем, и, глядя на них, женщина сказала: «Теперь они увидят, что люди не дураки...»

Меня позвал к себе в мастерскую Пикассо. У него был Элюар, и мы пообедали вдвоем - отпраздновали радостное событие: накануне у Пикассо родилась дочка. Он улыбался, как молодой отец, хотя ему было под семьдесят. (Впрочем, с Пикассо я всегда забываю о возрасте: когда он был молод, он мне казался умудренным стариком, теперь в нем задор юноши.) Пикассо сказал, что назовет дочку Палома (по-испански это значит «голубка»). Мы поглядели на десяток живых голубей в огромной клетке, они ссорились и довольно противно кричали.

Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилль и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской академии художеств Альфредом Меннингсоном, на котором присутствовали Черчилль и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на

Пикассо и Матисса: «Они не могут нарисовать дерево. Кстати, г. Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, сможете ли вы дать ему ногой в зад?» Я ответил: «Разумеется». Пикассо сделал вид, что он испугался: «Хорошо, что я не в Лондоне) Их ведь двое. А вдруг и маршал бы присоединился...»

Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты, вдруг Элюар тихо сказал: «Это очень нужно. Не только мне или тебе - всем. Это как воздух...»

Пикассо поглядел на часы: «А ведь пора на конгресс...» Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком,- словом, вел себя как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек.

Меня повезли на улицу возле театра «Комеди Франсэз». В богатой квартире жил только что приехавший в Париж Пабло Неруда. Увидев его, я обомлел: никогда я не думал, что усы, даже большущие, могут настолько изменить лицо. Одни говорят, что Неруда похож на Будду, другие шутя сравнивали его с муравьем; во всяком случае, усы ему не подходят, да он их и отрастил, чтобы его не узнали. Из Чили он пробрался в Аргентину, а оттуда под чужим именем приехал в Париж. Он не мог показаться в зале Плейель до того, как власти легализуют его въезд во Францию - об этом шли переговоры.

Мы долго хлопали друг друга по спине. Потом Пабло сказал, что он голоден, и мы начали обедать. Важный лакей наливал чудесные вина. Неруда обличал чилийского диктатора Виделу, рассказывал, как его спрятали от полиции, как он перебрался через границу. Он похвалил бургундское вино, но добавил, что в Чили есть вина получше. Пообедав, он начал засыпать.

На конгрессе он появился в последний день, уже без усов. Его встретили и проводили оглушительной овацией. Не все, конечно, читали стихи Неруды, но все знали, что он - знаменитый поэт, что он выступил против диктатора, скрывался в подполье, перебрался через Анды (одни говорили - пешком, другие - на коне, третьи - на осле). Бог ты мой, как людям нужна романтика! Нужна она даже заведомым

сухарям. А в зале было много молодых, они в восторге кричали - перед ними на трибуне поэт и герой, он читает стихи, это не отчет мандатной комиссии и даже не речь, посвященная Уставу ООН...

После конца конгресса мне не удалось побродить по Парижу, Отдохнуть. Французские сторонники мира попросили Фадеева выступить в Лиможе, а меня в Дижоне. Я думал, что все пройдет спокойно, и утешал себя, что снова увижу город, который люблю.

В Дижоне мне сразу сказали: «Ваш приезд бомба. Наверно, вечером будет драка». Мне дали местные газеты, и я прочитал уморительную историю. Один из членов муниципального совета, коммунист, предложил, чтобы меня приняли в мэрии. Это предложение вызвало в муниципальном совете оживленные споры. Мэром Дижона был католик, каноник Кир, который во время посещения Франции Н. С. Хрущевым проявил себя смелым человеком и горячим сторонником мира. В годы фашистской оккупации каноник вел себя как примерный патриот, был приговорен к расстрелу. В 1949 году он, однако, как очень многие, поддался антисоветской кампании и в корректной форме высказался против предложения коммунистов. Другие советники из правого лагеря повторяли доводы «Эмок» или «Орор», уверяли, что «Падение Парижа» - «грязная, клеветническая книга», что Конгресс сторонников мира устроен Москвой для того, чтобы усыпить французскую бдительность, что Советская Армия готовится к походу на Париж. В двенадцатом часу ночи приступили к голосованию. Восемнадцать советников голосовали против предложения, шесть коммунистов - за, а пять социалистов воздержались. Вот это меня и рассмешило. Можно воздержаться, когда голосуют закон, постановление, даже регламент, но вопрос шел о том, принять ли иностранного писателя в мэрии или нет, и социалисты все же воздержались. Я смеялся, а дижонские сторонники мира говорили, что им не до смеху. Воспользовавшись свободным часом, я пошел посмотреть химер на дижоиском соборе Нотр-Дам.

Когда я вошел в зал, народу было столько, что люди не могли шелохнуться. Вдруг погас свет - не знаю, было ли это саботажем, как говорили дижонские друзья, или случайной аварией, но положение обострилось. На трибуну принесли несколько свечей. Зал гудел. В темноте легко начать драку, тогда всем придется уйти... Я решил прибегнуть к маневру. В самом начале речи я сказал, что приехал в

Дижон, хотя во Франции останусь всего несколько дней. Я - офицер Почетного легиона, но визу мне не продлевают. А награду я получил в годы войны от генерала де Голля. В задних рядах раздались аплодисменты. Принесли еще одну свечу, и дижонец мне шепнул: «Это аплодируют голлисты, я знаю, где они сидят...» Вечер кончился благополучно.

Дижонцы решили повезти меня в винодельческий район Романэ, Вужо, Ньюи. На следующий вечер я должен был выступить в Париже, и уехать туда нужно было не позднее двух часов. Мы выехали очень рано, и я раздобыл в гостинице только чашку черного кофе. Мы останавливались у виноделов, которых знали мои попутчики; принимали нас радушно, показывали виноградники, погреба, угощали вином. Я люблю красное бургундское, но его нужно пить за обедом с мясом или сыром. А мне приходилось дегустировать натошак, я боялся, что опьянею, и все же пил: отказаться - значило обидеть людей, которые гордятся своими бутылками, как художник холстами.

В Ньюи меня повезли к богатой владелице виноградников. Она сначала недоверчиво на меня поглядывала, даже заметила, что предпочитает красное вино красным идеям. О конгрессе она ничего не знала: «Я не читаю газет. Там такой ужас, что теряешь голову. А мне нужно присматривать за вином... Я люблю читать романы, там, если даже герой погибает, то красиво, благородно...» Она начала приносить бутылки, к счастью, дала хлеб и сыр, обрадовалась, когда увидела, что и разбираюсь в вине, отмечаю лучшие бутылки. Один из моих попутчиков объяснил: я долго жил во Франции, написал роман «Падение Парижа». Женщина всплеснула руками: «Но я читала этот роман! Это ужасно грустная книга, я даже заплакала, когда убили бедную актрису». Она убежала и вернулась с бутылкой, покрытой густым слоем пыли: «Это самое лучшее вино в Ньюи. Случайно уцелела одна бутылка... Я хотела ее поднести канонику Киру. Но я уверена, что он не обидится, когда я ему расскажу, что угостила русского писателя,- Он мне говорил, что русские замечательно воевали...»

Когда я доехал до Парижа, пришлось сразу отправиться в «Мютюалите» - я выступал в том самом зале, где в 1935 году заседал Антифашистский конгресс писателей. Доклад устроило Общество дружбы. Говорить мне было легко, а когда я кончил, ко мне подошел

Элюар: «Знаешь, через две недели я, кажется, поеду с Фаржем в Грецию - в район, который наши удерживают. Это счастье!...»

На следующий вечер я выступал в Версале; не знал, как меня там встретят: Версаль - город чиновников, военных, рантье. Председательствовал один из вдохновителей общества «Франция - Советский Союз», почетный председатель государственного банка Франции Эмиль Лабейри. Это был человек немолодой, с тем скрытым огнем, который отмечает людей прошлого века. В его квартире, весьма скромной, я увидел на стенах замечательные холсты и рисунки - он любил искусство. (Десять лет спустя он приехал в Москву. Я его позвал к себе, он принес рисунок Коро - драматический пейзаж. Я не хотел брать слишком ценный подарок: «Почему вы решили подарить его мне?») Он улыбнулся: «Потому что я стар и потому что я вас люблю.» Я говорил о дружбе двух народов, о единстве культуры, о мире, и все оказалось проще, чем я думал.

В Постоянный комитет конгресса включили девять советских делегатов, в том числе и меня. Я подумал: вывеска... Герой - Маресьев, мать Зои, митрополит, писатель. Когда я прощался с Ивом Фаржем, он мне сказал: «Объясните вашим друзьям, что нужно бороться против врагов мира, а не против пацифистов или людей, которые не согласны ни с коммунистами, ни со мной, но искренне хотят мира и готовы участвовать в нашем движении...» Я ответил, что вполне с ним согласен.

В самолете я вспоминал дни конгресса. Люди, с которыми я встретился, мне понравились (некоторые из них потом стали моими близкими друзьями). Да и дело было чистым: постараться убедить всех, что третья мировая война уничтожит цивилизацию.

«Холодная война» проникала во все поры человечества. В Вашингтоне работала хорошо памятная Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, всех, кто осмелился вымолвить «мир», она осуждала за «сочувствие к коммунизму». В день отъезда из Парижа я прочитал в газете «Франс-суар» коротенькое сообщение, что полиция задержала «четырёх молодых коммунистов, которые возле здания посольства Соединенных Штатов кричали: «Мы хотим мира», и другие оскорбительные слова».

Я прочитал «Правду» от 1 мая. В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. Синклера Льюиса называли

«грязной душонкой», Хемингуэя - «потерявшим совесть снобом». Фейхтвангера «литературным торгашом». Это было несправедливо и бессмысленно: в те годы мы как будто толкали людей к апологетам американской «комиссии». Я вспомнил слова Фаржа. Конечно, никто у нас не хочет войны; ни обыкновенные советские люди, ни Сталин. Но полагается ругать Запад, вот и стараются...

Конечно, я не мог тогда подумать, что Парижский конгресс станет началом нового тома моей жизни, что я буду отдавать различным конгрессам, конференциям, совещаниям больше времени, чем моему ремеслу. Я охотно выполнял и выполняю эту работу. Со дня Парижского конгресса прошло пятнадцать лет. Движение сторонников мира узнало и романтику и бюрократию, и победы и неудачи, и мудрые решения и грубые ошибки, но оно превратилось в подлинную силу.

Когда я пишу эти строки, весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов. Жолио-Кюри мне однажды сказал: «Бизнесмену, богатеющему на уране, безразлично, что будет после него, но люди, которые думают о будущем, которые идут на жертвы, чтобы юноши двадцать первого века жили чисто, справедливо, по-человечески, не должны убивать или калечить правнуков...» Радуюсь вместе с миллионами людей, я думаю о скромной, но благородной роли Движения сторонников мира. В темные, глухие годы сторонники мира говорили на языке человеческой солидарности. Мне радостно, что в океане доброй воли - капля моих лет... А началось все в Париже в ослепительную, но нерадостную весну 1949 года.

В Париже меня позвал обедать мой старый друг, художник, писатель, а в то время посол Чехословакии Адольф Гофмейстер. Я увидел у него художника Шиму, который прожил почти всю жизнь в Париже и неожиданно стал дипломатом - культурным атташе. Говорили мы не о политике, а об искусстве, вспоминали молодость, Прагу. Гофмейстер рисовал Незвала с лирой, а меня на чемодане. Он сказал, что меня просят выступить в Праге с рассказом о конгрессе. Прямого сообщения Париж - Москва тогда не было, ночевали в Праге, и я согласился.

На пражском аэродроме молодой человек сказал мне: «Ваш доклад завтра. Министр иностранных дел товарищ Клементис просил вас прийти к нему сегодня вечером».

Я жил в эпоху, когда судьба то и дело тасовала колоду. Многие из друзей моей молодости оказывались на необычайных местах. Сидя в кабинете министра иностранных дел Чехословакии, я вспомнил, как познакомился с Владо.

Это было в Братиславе, в январе 1928 года. Молодой сотрудник местной «Правды» и вдохновитель литературно-художественного журнала «Дав», Владо Клементис повел меня «под вехи». (В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в год торговать своим вином распивочно. Над дверьми он вывешивал «веху» - сухую ветку.) В комнате былолюдно, шумно. Заходили музыканты, торговцы бубликами и копченым сыром. За нашим столом сидели молодые словацкие писатели. Меня спрашивали о Маяковском, о конструктивизме, об индустриализации Советского Союза, о том, что теперь делают Эйзенштейн, Мейерхольд, Татлин. Клементис говорил о победе марксизма, а потом вдруг запел песню про разбойника Яношика, который грабил богатых и раздавал награбленное голытьбе. Все подхватили. Клементис сказал с усмешкой, за которой я почувствовал и смущенней гордость: «Вот мы, словаки, какие...»

В квартире министра иностранных дел было тесно от чужих громоздких вещей. Мы поужинали, Клементис спрашивал про конгресс, говорил о Берлине, о том, что в Америке есть люди, которые

хотят начать войну. За несколько лет он изменился - потяжелел, помрачнел. Поглядев на него, я подумал: наверно, нелегко быть министром...

Лида принесла бутылку. Я пригубил рюмочку и вдруг вспомнил вслух: «У твоего отца в Тисовце была чудесная персиковая наливка и еще настойка, которую я называл «зубровкой»... Владо оживился, повеселел. Мы начали вспоминать далекое прошлое, прекрасные пустяки, похожие на паутину осеннего леса. Мы больше не говорили о предстоящем совещании министров иностранных дел четырех держав, обходили все, что нас тревожило. Мы вспоминали друзей, бывшие споры, шутки. Только когда я уходил, Владо вдруг сказал: «А ты помнишь, как в тридцать девятом я пришел к тебе на улицу Котантен? Ты болел. Мы говорили о политике, потом ты мне прочитал твои стихи «Верность». А ведь это правильно; если нас что-то спасает, так только верность...»

Случайно у меня сохранился том «Литературной энциклопедии», выпущенной в 1930 году. Там я нашел справку: «Дав» еженедельный литературно-общественный словацкий журнал, издаваемый в Братиславе, объединяет словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов. Журнал редактируется коллективно. Основную работу ведет молодой талантливый журналист коммунист Владимир Клементис». Энциклопедия называет среди сотрудников «Дава» Поничана, Новомеского, Илемницкого, Даниила Окали.

В Праге мне говорили, что «Дав» - это нечто вроде словацкого варианта «Деветсила». С «деветсилцами» я познакомился еще в конце 1932 года; среди них были крупные писатели - Незвал, Ванчура, Библ, Галас, Сейферт; талантливые художники, режиссеры, архитекторы. К концу двадцатых годов они продолжали говорить о связи конструктивизма и коммунизма, увлекались индустриальной эстетикой, фотомонтажом, ассоциациями образов, любили Маяковского, Пикассо, Ле Корбюзье, Эйзенштейна, Вертова, Арагона. Теоретиком «Деветсила» был Тейге, веселый начетчик, классный наставник со страстью Дон-Кихота; он умел найти марксистское объяснение словотворчества Хлебникова или «каллиграмм» Аполлинера. Чехия была богатой индустриальной страной, коммунисты там обладали большим влиянием. Прагу обдували различные ветры. Художники «Деветсила» ездили в Париж. Незвал

влюбился в Бретона. А Словакия напоминала бедную губернию дореволюционной России. Во главе «Дава» был Владимир Клементис, сын сельского учителя, коммунист. Он не сводил глаз с Москвы - для «давовцев» любой сотрудник «Лефа» был куда авторитетнее, чем все сюрреалисты мира.

В январе 1928 года я пробыл в Словакии всего неделю. Клементис уговаривал меня приехать летом, обещал показать страну. Я сказал: «Постараюсь», - словаки мне сразу пришлись по душе, в них было много бескорыстности, порой наивности, той, что связана с душевной широтой.

Вернувшись в Париж, я получил посылку и письмо от Клементиса. Он прислал мне словацкие народные трубки «запекачки» и писал: «Ту запекачку, что завернута отдельно, я получил так: я пошел к одному старику, рьяному курильщику. Услышав о том, что мне нужно, он вынул трубку изо рта и дал мне ее. Он сказал, что курит ее уже тридцать лет, но хочет ее отдать, так как любит русских (конечно, на старый лад, как любили наши отцы). Эта трубка связана для него с одним воспоминанием. Дело было двадцать семь лет тому назад. Он красил крышу, и ему хотелось курить. Запекачку не следует закуривать, как обыкновенную трубку, тогда внизу остается «мочка», то есть несгоревший слой мокрого табаку. Но на крыше костра не было, а он курил за трубкой трубку. Ночью он вдруг вспомнил, что в за некачке образовалась «мочка». Он встал и вышел во двор, чтобы отдать «мочку» работнику Юро - тот любил жевать табак. Юро не было. Он пошел в хлев. Вдруг он услышал бульканье. Он подбежал к колодцу и увидел своего сына, трехлетнего мальчика, который упал вниз и, держась за перекладину, еще бился. Он его вытащил. Теперь его сын - врач в нашем селе. Вот и вся история. Это, конечно, не литература, но я обещал старику передать ее вам вместе с запекачкой».

Я читал письмо Клементиса друзьям, процитировал его в очерке. Запекачка давно разбилась, а рассказ о том, как старый словак отдал дорогую ему трубку потому, что «любит русских», волнует меня и теперь. Волнует и оговорка Клементиса: «конечно, на старый лад, как любили наши отцы» - в этом противопоставлении история «Дава», судьба Клементиса, Новомеского, многих моих друзей.

Летом того же 1928 года я снова приехал в Словакию. «Давовцы» мне показали страну, глухие деревушки Оравы, Татры, Прешов, Бардиев, Кошицы, венгерские монастыри барокко и горные шалаши пастухов. Клементис был прав - тогда, кажется, только в Словакии слово «русский» открывало все двери. Правда, любовь была разной. В Турчанском Мартине сидели старые правоверные славянофилы. Там я видел на кладбище могилы первых просветителей с надписями на русском языке. В «Славянской матице» висели портреты Пушкина и Лермонтова. Я бродил по улице Гоголя. При Габсбургах Чехия входила в Австрию, и австрийцы старались онемечить чехов, но в стране была интеллигенция, преданная родному языку, богатой культуре прошлого. А венгры, которые правили Словакией, не строили заводов, они пили в ресторанах Братиславы и Кошиц крепкое вино «ассу» и предпочитали школьным учителям священников и жандармов. (До первой мировой войны большинство словацких крестьян было неграмотным.) Все надежды словацких патриотов связывались с Россией. В Турчанском Мартине знали не только Пушкина, но и Хомякова, почитали не только Толстого, но и генерала Скобелева. Октябрьская революция многим деятелям «Славянской матицы» казалась загадочным и преходящим эпизодом. Помню, один седоволосый литератор жаловался мне: «Прислали стихи из Москвы. Удивительно, как такое печатают!... Говорили, что автор покончил с собой. Может быть, у него и был талант, но он писал не по-русски. Пушкин говорил на другом языке. Сейчас я вспомню имя автора... Есенин...» (Не знаю, дожили ли эти «славянофилы» до сороковых годов и как они вели себя - пытались с помощью Гитлера «освободить русских братьев» или кое-что поняли. Может быть, некоторые помогали словацким повстанцам?...)

«Давовцы» любили Россию по-другому - любили народ Октября, читали Маяковского, Есенина, Пастернака, Багрицкого; это было двойной любовью - к близкому народу и к революции. В увлечении «давовцев» Маяковским, теориями «Лефа», современным искусством было что-то от романтического бунтарства,- кажется, нигде я не видел такой привязанности к орнаменту, к традиционным народным костюмам, как в словацкой деревне: крестьяне расписывали не только печи, но даже могильные кресты; и вот их дети увлеклись голым, рассудочным, сухим конструктивизмом.

(В 1950 году я увидел Словакию переменившейся. Народные костюмы перекочевали из быта в костюмерные ансамбли, новые дома, большие заводы, электростанции. Вместе с курными избами и нищетой исчезли пестрые «фартучки» молодых крестьян, расписные печи, картинки на стекле. Таков закон века, и, глядя на залитую светом долину Вага, я не стал вздыхать о прошлом.)

В 1928 году, когда я впервые увидел Словакию, это была страна без городов. Конечно, в Братиславе жили словацкие писатели, там выходили газеты, журналы, но среди жителей города немцев и венгров было больше, чем словаков. В Кошицах только на базаре, куда приезжали крестьяне, я услышал словацкую речь. Маленькие немецкие города Левоча или Кежмарок с ратушами и готическими церквями, с аккуратными абонентами журнала «Ди вохе» казались перенесенными из другого мира. А городки, где жили словаки,- Брезно, Зволен, Ружомберок, Мартин,- походили на большие села: несколько городских домов - и здесь же хаты, огороды, гуси. Вся словацкая интеллигенция была связана с деревней. В Ясеновой меня повели в избу, где родился один из зачинателей словацкой литературы Кукучин. В такой же избе я увидел Илемницкого - он сидел и писал роман. Как-то я попал в Словакию зимой, и поэт Лацо Новомеский повез меня на рождество в село Сенини, где жили его родители, бабушка. Приехал туда и молодой поэт-«давовец» Иван Хорват. Нас угощали традиционными рождественскими яствами. А Лацо и Хорват говорили о Маяковском, Незвале, Арагоне, Пастернаке...

Клементис возил меня в свое село Тисовец, его родители потчевали нас галушками, сливовицей, зубровкой, радушно суетились. «Давовцы» мечтали об индустриальной красоте и в то же время любили словацких крестьян, малограмотных, но душевно благородных, не прошедших через уродующую души печь капитализма. В этом и было своеобразие «Дава», его трудности. Клементис мог петь песню о старом пастухе, который в последний раз ведет в горы отару, или о Яношике, мог восхищаться красотой старого чепрака, но не раз он говорил мне, что у меня сохранился «ряд идеалистических заблуждений», нужно к тому-то «подойти по-марксистски»...

Помню беседу в горном шалаше над Тисовцем. Владо заговорил о своей судьбе. Он тогда писал о поэзии, любил искусство, для меня он

был одним из молодых писателей. Мы глядели на долину, на старые деревья, на хаты, едва заметные среди зелени садов. Клементис говорил, что главное - борьба, пока чехословаки не сбросят капитализма, не будет ни справедливой жизни, ни настоящего искусства. «Мое дело - партия...»

В 1940-1941 годах Владо сидел в английском лагере на севере Шотландии, времени у него было много, и он написал для своей жены Лиды о своем детстве и отрочестве, о родителях, о родном Тисовце. Теперь эти тетрадки издали, назвав их «Незаконченной хроникой». Книга показывает, насколько ее автор блинок к стихии искусства, но для Клементиса это было только вылазкой из крепости - между винтовкой солдата и министерским портфелем.

О том, что Лацо Новомеский - поэт, можно догадаться, не зная его книг, побыв с ним четверть часа, просто взглянув на него. А если измерить его жизнь аршином, окажется, что больше всего времени он отдал политической деятельности. С 1925 года по 1939-й он редактировал партийные газеты. В годы оккупации входил в подпольный ЦК КПЧ, который подготавливал словацкое восстание. После победы был членом ЦК и министром народного просвещения. Однако его подлинной страстью была поэзии. Однажды он мне сказал: «Совесть подсказывает...» Совесть для него не случайный собеседник, а постоянный суфлер. Архитектор на войне может оказаться в саперной части и взрывать мосты - это его долг, но не призвание.

Клементис и Новомеский были разными людьми, но они любили друг друга, и судьба у них оказалась схожей.

В 1936 году в курортном местечке Тренчанске-Теплице по инициативе «Дава» состоялся съезд словацких писателей. Я тогда работал в секретариате Международной ассоциации антифашистских писателей и поехал на съезд, чтобы предложить словакам войти в ассоциацию. Там были писатели различных толков, некоторые из них потом пошли за сепаратистами-католиками, поставившими на победу Гитлера, другие участвовали в Соппротивлении, партизанили. Клементис и его друзья «давовцы» убедили всех участников съезда войти в антифашистскую ассоциацию. Мы попали в деревню, там нас угощали, пели песни, старик говорил, что русские побьют фашистов, и подымал кулак. Я сказал Владо: «Совсем как и Испании...»

Вскоре началась испанская война. В 1937 году в Валенсии я встретил Новомеского. Мы говорили о боях, о Комитете по невмешательству, об интербригадовцах, только на минуту я припомнил Владо, хаты, светлую зелень Словакии. Лацо писал стихи:

Хотел пересчитать я звездные отары:

покуда не сгорят.

Но тут - о-тэ-ра-ра! - забили пулеметы,

и звезды новые взлетели к старым,

отары-ра-та-та,

о господи,-

отары.

Пришел Мюнхен. Гитлеровцы заняли Прагу. Мир почернел.

Когда началась «странная война», я лежал больной в Париже. Мало кто приходил ко мне: одни возмущались пактом, другие побаивались шпиков. В сентябре пришли Владо и Лида, огорченные, печальные. Потом пришел снова Клементис, он был мрачен, но старался меня приободрить: никогда он не расставался со своим талисманом - верностью. В октябре французы его арестовали и отправили в концлагерь. Накануне разгрома Франции я его увидел в солдатской форме; он хотел сражаться против гитлеровцев, но Франция Потопа капитулировала.

Мы снова увиделись в 1944 году в Москве. Клементис стал видным политическим деятелем. Он рассказывал мне, что англичане и американцы боятся советской победы, строят козни, но был весел, верил в торжество той идеи, которой посвятил свою жизнь. Потом мы вспомнили прошлое, и мне показалось, что я не на улице Горького, а в шалаше над Тисовцем, где старый пастух потчевал меня едкой запеканкой.

В феврале 1949 года в Клубе писателей устроили мой вечер сорокалетие литературной работы. Чехословацкий посол Иржи Горок переслал мне телеграмму «Государственного секретари Клементиса»: «Дорогой Илья, пьем за твое здоровье тисовскую зубровку. Владо и Лида».

О последней нашей встрече я уже рассказал. Потом я вспоминал: у Владо были очень печальные глаза. Может быть, он просто был усталым после трудного рабочего дня, а может быть, знал, что кольцо клеветы сжимается?

Приехав год спустя в Прагу, где пометался секретариат Всемирного Совета Мира, я узнал от Гофмейстера, что арестовали Лиду, Лацо Новомеского, Ивана Хорвата (он был до этого послом в Будапеште).

Лиду освободили два года спустя. Я встретил ее в Праге, на улице, хотел поговорить, но она пожала руку, сказала: «Не нужно со мной разговаривать», - и убежала.

Выпустили Новомеского, Ивана Хорвата. Лацо я видел в Праге, он работал - переводил, но его стихов не печатали. Иван Хорват умер вскоре после освобождения.

В книге стихов Новомеского, написанных в тюрьме и после, есть стихотворение «Мудрость»:

Лучше стать на колени, чем стоять на костре,
лучше спрятать правду в глубинах души,
словно в ларе,
лишь бы снова потом заявить,
что все-таки вертится...

Как, товарищ Галилей,
может быть, в этом - мудрость?

Но мудрей мудреца смелый, веселый
мальчик из сказки, кричавший тогда:

– Король голый, совершенно голый!

Так громко кричал, что просто беда!

Шли годы, многое на свете менялось. Пришла весна 1963 года, когда Лацо Новомеского восторженно встретили на съезде писателей. Окали написал мне: «Вы, наверно, знаете, что организатора и душу «Дава» товарища Владо Клементиса ложно обвинили в шпионаже и казнили. Я сам вместе с другими товарищами был освобожден после десятилетнего заключения... Теперь, после устранения несправедливостей, пересматривают значение «Дава» для нашей литературы и культуры в широком смысле слова...» Передо мною словацкий журнал, в нем фотография Владо...

Я гляжу и вспоминаю, как в 1949 году, печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи:

...Пройдут по тебе.

Верность сердцу и верность судьбе...

Накануне казни он сказал Лиде, что умирает честным коммунистом.

Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе, о биографии. Мы жили в эпоху, когда лучшие думали об истории. Ложь всеушная и всеильная, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди, жизнь многих может быть покалечена, и все же в итоге правда побеждает. Для Владо, как и для некоторых моих советских друзей, о которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой; но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед.

А сейчас я думаю о далеком вечере «под вехами», когда молодые словацкие писатели пели песню о Яношике. Некоторых нет, другие хлебнули горя, до времени состарились. Вспоминаю и шалаш над Тисовцем, молодого Владо, его очень чистые, светящиеся глаза, слова о борьбе; смеркается, все голубеет, и над мягкими, округлыми горами чуть посвечивает бледная вечерняя звезда.

«Как вы провели последний вечер в Париже?» - спросил меня А. А. Фадеев. Я ответил, что был со старыми друзьями. Он сказал: «А меня замучил Фаст - хотел, чтобы я ему все объяснил... Эх, Илья Григорьевич!... - Он оборвал себя: - Давайте лучше выпьем коньяку». Я поглядел на него и увидел не те глаза, что привык видеть на собраниях и заседаниях, а мягкие, печальные.

О Фадееве говорят, что он был очень талантлив, умен, что он обладал железной волей, что его ценил Сталин. Все это правильно: но слово «талантлив» не справка в послужном списке, оно связано с сотнями помарок на листе рукописи, с внутренними терзаниями, с душевной природой, не всегда подходившей для общественной работы, которую выполнял Фадеев, выполнял не только старательно, но и с увлечением. Все писатели, да, кажется, и все руководители Движении сторонников мира знали его глаза - ясные, холодные, его эрудицию, память, умение придать в статье или в докладе короткой фразе Сталина глубину, блеск, спорность литературного эссе и бесспорность закона. Мне хочется рассказать о другом Фадееве - менее известном.

Познакомился я с ним давно, еще в годы, когда он был одним из лидеров РАПП. Мы встречались в Москве, потом в Мадриде и Париже. «Разгром» мне понравился, но человека я не понимал, вернее, не знал; и в 1940 году, когда я беседовал с ним, он был для меня, скорее, начальником, чем писателем. Вспоминая прошлое, он, в свою очередь, как-то признался: «Я вас считал человеком издалека. В Мадриде я говорил нашим военным, - они вас защищали: «Может быть, он и готов умереть за наше дело, но жить с нами он не хочет, да и не может...»

После войны мы начали приглядываться друг к другу. В Пензе, во время юбилея Белинского, я с ним проговорил весь вечер. Потом мы встретились в Москве, говорили о книгах, о судьбах писателей. Я начал понимать, что Фадеев не такой, каким он мне казался. Но по-настоящему я его узнал в те пять-шесть лет, когда мы вместе работали в Движении сторонников мира; мы разговаривали в самолетах, в

вагонах, часто - то в Осло, то в Вене, то в Праге - Александр Александрович ночью приходил в мой номер и говорил, говорил. Именно поэтому я начал писать о нем после того, как рассказал о Парижском конгрессе.

Я не скажу, чтобы мы подружились, - уж очень разными мы были; но, может быть, поэтому Фадеев порой бывал со мною откровеннее, чем со многими из своих близких друзей. Очевидно, представление о «человеке издалека» где-то в нем оставалось, и, беседуя со мной, он чувствовал себя свободнее, чем со своими друзьями. Друзей у него было немало (я говорю сейчас не о лицемерах, старавшихся угодить человеку, обладавшему властью, а о людях, искренне любивших Александра Александровича). Но мне кажется, что с друзьями он не всегда и не о всем заговаривал. Вот одно из его признаний: «Уж я-то знаю, что такое одиночество!...» Со множеством людей он был на «ты», его называли Сашей; а мы величали друг друга по имени-отчеству.

Рассказать о Фадееве трудно - он был человеком очень сложным, наверно, многое от меня ускользало. Да и события слишком свежи. Мне не хочется строить догадки, и я себя ограничу, попытаюсь выписать из записной книжки, а порой восстановить по памяти некоторые его слова, показать его отношение к некоторым явлениям, рассеять миф о «железном человеке», немного помочь тому, кто через пять или десять лет сядет за книгу о человеке, сыгравшем важную роль в истории нашей литературы.

Фадеев писал в течение тридцати пяти лет, а оставил после себя два законченных романа, два незаконченных, несколько рассказов, сотню статей. Александр Александрович говорил: «Писал много, а написал мало...» Я слышал такое объяснение: «Фадееву не дают писать - Союз писателей, борьба за мир, заседания, митинги, конгрессы...» Действительно, руководство писательскими организациями и Движение сторонников мира отнимали у Александра Александровича много времени, но ведь работал он не по неволе, а по охоте, и когда в последние годы его освободили от некоторых обязанностей, почувствовал не облегчение, а досаду. В Движении за мир он был неутомим, входил во все детали. У меня случайно сохранилось несколько его записок, написанных во время заседаний. Писал он обстоятельно: то просил поговорить с Ненни, то

беспокоился, что выступление одного из американцев рассчитано на полтора часа - делегаты могут начать шуметь, хороню бы попросить укоротить речь, то излагал свои мысли о расширении Движения.

Говорили также, что Фадеев мало пишет, потому что много пьет. Однако Фолкнер пил еще больше и написал несколько десятков романов. Видимо, были у Фадеева другие тормоза.

Я как-то сказал Александру Александровичу, что из его книг мне больше всего нравится «Разгром» - первый роман, написанный двадцатипятилетним юношей. Он ответил: «Естественно: «Разгром» - пережитое. Конечно, сознание своей ответственности иногда приподымает, а иногда оно и вяжет...»

За «Последнего из удэге» он брался чуть ли не каждый год, в течение двенадцати лет: составлял планы, переделывал, считал, что романа не вышло.

Когда Фадеев сел за «Молодую гвардию», ему было уже не двадцать пять, а сорок четыре. История красnodонских подростков его взволновала - он заново пережил свою молодость. Хотя он всегда причислял себя к реалистам, в нем было много романтики.

Судьба романа «Молодая гвардия» связана с тем, что мы называем «культом личности». Роман был написан, издан, пользовался успехом, получил Сталинскую премию. Один из друзей Александра Александровича, С. А. Герасимов, сделал по роману фильм... Тут-то и разразилась гроза. Сталин читал много, но, конечно, далеко не все и «Молодой гвардии» не прочитал; а фильмы он все просматривал. Он возмутился: в картине показывались подростки, оставшиеся на произвол судьбы в городе, захваченном гитлеровцами. Где же организация комсомола? Где партийное руководство? Сталину объяснили, что режиссер следовал тексту романа. В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии». За ними последовало письмо Фадеева, напечатанное в «Правде»: он признавал справедливость критики и обещал переделать роман. Когда мы встретились, Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы - о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот... Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной... Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами...»

Я заговорил о «Молодой гвардии» потому, что хочу показать отношение Фадеева-романиста к действительности. Задумав написать роман, он поехал в Краснодар, расспрашивал сотни людей, старался восстановить и события, и внешность героев, огорчился, что не смог найти точного описания внешности некоторых персонажей, это показывает, насколько он подчинял себя законам не поэта, а летописца. Роман Стендаля «Красное и черное» родился от газетной заметки о преступлении молодого карьериста, автор не только в толковании Жюльена Сореля не зависел от «факта», он переделал интригу. Стендаль никогда не увлекался описанием внешности своих героев, говорил, что предоставляет это фантазии читателя. Золя уверял, что «лишен воображения», изучал детали быта, который хотел изобразить, или, как говорят теперь, «собирал материал». Работая над романом «Нана», он впервые в жизни пошел в притон с записной книжкой. Учителем Фадеева был Лев Толстой: раскрывая характер героя, он останавливался на какой-либо детали его внешности. Толстой мог сделать уши Каренина настолько реальными, что по ним мы знаем его лучше, чем наших друзей. А Фадееву хотелось узнать, какие черты лица были у всех краснодонцев.

Я вспоминаю одну из наших бесед - в самолете. Александр Александрович говорил о том, что он «кончен», и рассказал трагическую историю недописанного романа «Черная металлургия». «В пятьдесят первом меня вызвал Маленков. «Изобретение в металлургии, которое перевернет все. Грандиозное открытие! Вы окажете большую помощь партии, если опишете это»... Одновременно он рассказал мне, как разоблачили группу геологов-вредителей. Я начал работать, изучал проблему, подолгу сидел на Урале. Писал медленно. Написано свыше двадцати листов. В моем представлении это должен был быть настоящий роман, единственное, за что я смогу ответить... И вот оказалось, что «изобретение» было шарлатанством, обошлось государству в сотни миллионов рублей, геологи были оклеветаны, их реабилитировали. Одним словом, роман пропал...» Я изумился: «Да что вы, Александр Александрович! Я читал отрывки в «Огоньке», это очень хорошо... Измените немного. Пусть они изобретают что-нибудь другое. Ведь вы пишете о людях, а не о металлургии...» До этого я дважды видел Фадеева в состоянии гнева: обычно сдержанный, холодный, вспыхив, он краснел и кричал

очень тонким голосом. Он закричал и в самолете: «Вы судите по себе! Вы описываете влюбленного инженера, и вам все равно, что он делает на заводе. А мой роман построен на фактах...» Успокоившись, он тихо сказал: «Мне остается одно - выбросить рукопись. Да и себя - новой книги я уже не начну...»

Я рассказал об этой зависимости от действительности, конечно, не для того, чтобы поспорить с покойным Фадеевым. Он был настоящим писателем, очень взыскательным к себе. Однако длительная работа и над «Последним из удэге», и над «Черной металлургией» связана не только с писательской взыскательностью, но и со всей биографией Фадеева, с его противоречиями, с борьбой между писателем и государственным деятелем, между бывшим партизаном и дисциплинированным солдатом. Однажды Александр Александрович сказал мне: «На меня многие писатели в обиде. А их могу понять. Но объяснить трудно...» Я ответил: «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева...»

В ранней молодости Фадеев был партизаном на Дальнем Востоке, позднее участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Ему было семнадцать лет, когда он вступил в партию, и двадцать, когда читинская организация отправила его делегатом на X съезд. Для него Троцкий или «рабочая оппозиция» были не страницами «Краткого курса», а живыми воспоминаниями. В биографии некоторых писателей политическая борьба была страстью месяцев или лет. Для Фадеева политика была делом всей его жизни.

Помню небольшое совещание «актива» Всемирного Совета Мира. Происходило оно в Праге, в домике на окраине города, где остановился Жолио-Кюри. Мы обсуждали, что теперь делать: успех Стокгольмского воззвания всем вскружил голову: говорили о том, что нужно собирать подписи. Фадеев приехал с предложением: потребовать от правительств пяти великих держав заключить Пакт мира. Он выслушал различные выступления, а потом блистательно доказал, что все, о чем говорили другие, подходит под Пакт пятерых - страх перед войной, экономические трудности, ущемление национального суверенитета, одичание. Идея была не его, но говорил он настолько умно, что в маленькой комнате, где было человек десять, может быть пятнадцать, раздались громкие аплодисменты, как на

многолюдном собрании. Жолио-Кюри предложил напечатать выступление Фадеева и разослать во все национальные комитеты.

Летом 1956 года я был в Париже, меня пригласил к себе Жолио-Кюри. Мы долго беседовали о XX съезде, обо всем, что тогда нас радовало и волновало. Потом Жолио-Кюри сказал: «Фадеев... И в этом сказалась его невероятная воля... Для нас это очень большая потеря. Он бывал порой резок, у меня с ним были трудные разговоры. Но я всегда восхищался его умом. Он мыслил политическими категориями, и это меня побеждало. Я, Бернал, мы рассуждаем как ученые. Вы для меня остаетесь писателем. Не только вы... Возьмите д'Астье, многие его считают политиком, а он - поэт, хотя стихов, кажется, не пишет. А разговаривая с Фадеевым, я часто думал: да, его призвание - политика...»

Конечно, в последнем я не мог и не могу согласиться с Жолио-Кюри: я знал не только книги Фадеева, я знал их автора: я понимал, что нельзя оторвать Александра Александровича от искусства. Но Жолио-Кюри был прав, говоря, что Фадеев мыслил политическими категориями. Это потом предопределяло те противоречия в оценках, которые иным обиженным казались лицемерием.

Фадеев свято верил в то, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперед. Порой Александр Александрович не мог удержаться: в Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейерхольда, потом, незадолго перед смертью Сталина, припомнил Якира, Штерна, повторял: «Его обманывают...» В конце сороковых годов многое ему претило, и опять-таки он находил объяснение: «Мутная волна... Сталин ее удерживает...» К вере примешивался страх. Раз полушутя он сказал: «Я двух людей боюсь - мою мать и Сталина. Боюсь и люблю...»

Фадеев иногда говорил о какой-либо книге: «Конечно, талантливо... Но поймите меня правильно - дело не в абсолютных оценках. Есть государственная точка зрения, и в этом плане книга вредная...»

Я говорил, что учителем Фадеева был Лев Толстой; это всем бросалось в глаза. Длиннейшие фразы с избытком придаточных были (или стали) для Фадеева естественными. Он не умел писать иначе. Иногда ему нужно было отправить телеграфный отчет о сессии Всемирного Совета или о беседе с одним из руководителей Движения.

Он просил меня помочь; садился за стол - у него был разборчивый почерк: «Диктуйте - вы можете все это описать короткими фразами...»

Однако влияние Толстого было куда глубже, чем одни приемы письма. В Пензе Александр Александрович мне долго доказывал, что у Чехова можно поучиться только наблюдательности: «Как он может научить? Он и не хотел учить... Вот Толстой понимал назначение литературы, он был учителем. Конечно, мы теперь рассуждаем иначе, но я преклоняюсь перед романом, который обычно считают неудавшимся: Толстой написал «Воскресение», чтобы доброе начало победило. А Диккенс? Разве в своих лучших романах он не поддерживал добра? Конечно, если за этим не было бы взлета, то это осталось бы скучной дидактикой. Из бездарного писателя не сделаешь и сотой Толстого, но гений должен служить добру, гуманизму. А в наш век это значит подчинить себя строительству коммунизма».

Здесь был мост между писателем и руководителем Союза писателей, мост, а норой и пропасть.

Еще будучи одним из руководителей РАПП, в 1929 году Фадеев выступил со статьей: «Столбовая дорога пролетарской литературы». В этой статье он защищал подход к роману, который был ему близок. Категоричность суждений никого не могла удивить: рапповцы тогда нападали не только на «правых попутчиков», но и на Маяковского. Удивительно название «Столбовая дорога» не само по себе - романтики, реалисты, натуралисты, символисты считали свой путь новым и единственно правильным; название удивительно по своей судьбе. РАПП распустили, писали о необходимости разнообразия литературных течений, и при этом зорко следили за тем, чтобы все писатели шли по одной литературной дороге; тропинки приравнивались к туникам. При этом шоссе или, говоря языком Фадеева, столбовая дорога была отнюдь не прямой, она петляла в зависимости не только от крупных политических событий, но и от вкусов Сталина, от его настроения, от его отношения к различным авторам. В 1929 году Фадееву казалось, что он прокладывает дорогу. Не знаю, сколько лет в нем прожили эти иллюзии. А в 1949 году, рассердившись на одного критика, он сказал мне: «Считает, что я придираюсь, провожу свою линию, да я регулировщик, и только...»

Конечно, это было сказано в сердцах. Он не прокладывал дорогу, но и не был регулировщиком. Порой ему удавалось создать построение, выходящее за пределы принятых формулировок. Он, например, одно время давал такое объяснение социалистическому реализму: показать людей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть. Правда, это куда ближе к романтизму, чем к реалистам прошлого века, но есть в такой постановке пафос, масштаб.

Вокруг Фадеева всегда имелись критики, способные повторить идеи Александра Александровича, показать их на разборе книги. Помню, как на собрании писателей Фадеев в докладе обличил одного из таких критиков в коварстве: «Есть восточная сказка о скорпионе и лягушке. Преследуемый врагами, скорпион попросил лягушку переправить его на другой берег речки. «Ты меня ужалишь», - сказала лягушка. «Зачем мне тебя убивать, - мне грозит смерть, если я не переправлюсь на тот берег». Он убелил лягушку. Они почти достигли цели, когда скорпион ужалил ее. Они пошли ко дну. «Зачем ты это сделал?» - спросила, погибая, лягушка. «Не знаю, такой у меня характер», - ответил скорпион». Критик сидел рядом со мной, он громко сказал: «Дело не в характере. Просто скорпион не доверял лягушке...»

У Фадеева были свои вкусы; все чаще они расходились с оценками Сталина, и Александр Александрович то и дело противоречил себе. В 1928 году Фадеев яростно нападал на поэму «Хорошо» Маяковского. В 1938 году он назвал эту поэму «историческим событием». Изменилась не оценка поэзии, а подход к литературе, в речах Фадеева появилась «государственная линия». Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего.

В беседах со мной он часто любовно отзывался о писателях, которых был вынужден публично осуждать. Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличил «отход от жизни» некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?...» Он начал читать н*а память стихи Пастернака, не мог остановиться, прерывал чтение только для того, чтобы спросить:

«Хорошо?» Это было не лицемерием, а драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым.

Он любил поэзию, но еще сильнее любил основную линию своей жизни, и не его вина, а его беда, что в течение четверти века верность идее он, как и миллионы его современников, связывали с каждым словом, справедливым или несправедливым, Сталина. Конечно, Фадеев знал, что Бабель не «шпион», что Зощенко не «враг», что неприязнь Сталина к Платонову или Гроссману необоснованна, но он знал и другое: для многих миллионов смелых и самоотверженных людей слово Сталина - закон. «В годы гражданки я был дважды ранен,- сказал мне Фадеев при нашей последней встрече,- врачи говорили, что ранения тяжелые. Но была молодость... Да и можно ли сравнить кусочек металла с тем, что пришлось пережить потом?...»

Иногда он обрывал признания шуткой. «Вы знаете, какой художник мне нравится? Ренуар,- И, увидев мое изумление, добавил: - Но я вам признаюсь- я дальтоник...» И он засмеялся своим незабываемым смехом.

Он казался суровым, но много раз я видел, как смягчались его глаза. Он пытался помочь писателям, попавшим в беду. В начале 1938 года он показал мне несколько стихотворений Мандельштама, хотел, чтобы их напечатали в одном из журналов. Ничего из этого не вышло. Десять лет спустя он сказал мне: «Помните Гарри? Он обрушился на ваш «День второй»... Так вот, он вернулся из концлагеря. Написал интересную повесть, чем-то напоминает «Смерть Ивана Ильича». Положение у него тяжелое... Попробую протолкнуть...» При следующей встрече он мрачно сказал: «С Гарри ничего не вышло».

Порой Фадееву удавалось отстоять книгу, которая ему нравилась, предотвратить беду, нависающую над неугодным. На несколько дней он приободрялся. Потом снова мрачнел, и глаза выглядели пустыми. Он начал чаще и больше пить; пил он главным образом с людьми, далекими от мира литературы,- хотел забыться.

В марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, я прочитал в «Литературной газете» статью Фадеева, в которой он резко напал на роман Гроссмана «За правое дело». Это мне показалось непонятным: Александр Александрович несколько раз с восторгом говорил мне об этом романе, ему удалось напечатать это произведение. Роман рассердил Сталина, «Правда» напечатала резкую статью, Фадеев

продолжал отстаивать книгу. Гроссман кое-что переделал. И вдруг эта статья...

Появилось сообщение о реабилитации врачей: что-то явно менялось. Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: «Вы в меня не бросите камень... Я попросту испугался». Я спросил: «Но почему после его смерти?...» Он ответил: «Я думал, что начинается самое страшное...» Он это повторил потом много раз: ему хотелось каяться. Год спустя я встретил переводчицу Л. С. Фактор, которую Фадеев всегда брал с собой для трудных политических разговоров с французами. Лидия Самойловна мне сказала: «С Александром Александровичем что-то неладное он несколько раз приходил ко мне и убивался, что написал нехорошо о романе Гроссмана...» В конце 1954 года, на Втором съезде писателей, Фадеев, говоря о романе «За правое дело» и своей статье, покался на людях: «Я очень жалею, что проявил слабость...»

Александр Александрович был человеком крепчайшим; много ел, много пил; мог пробежать десяток километров; просиживал ночи на заседаниях, и все проходило бесследно. Только в последние годы нервы его начали сдавать. В декабре 1952 года он писал мне: «...Я, увы, все еще болен и, должно быть, еще недели три пробуду в больнице. Если человек со стороны взглянет на вас и на меня, то он, конечно, скажет, что я исключительно здоров, а вы больны. На деле вы оказались человеком железного здоровья. Однако, поберегите его! Это ведь все на нервах, и все до поры до времени. Вы как-то не привыкли отдыхать, а вы попробуйте...»

При последней нашей встрече Фадеев говорил, что болен - «ноги болят, не могу холить», «роман, как я вам рассказывал, пропал», «словом, плохо». Я пытался его ободрить, говорил, что болезнь пройдет, он на десять лет моложе меня, еще напишет несколько романов. Он покачал головой: «Мотор отказывает...»

Через два месяца позвонили: «Фадеев покончил с собой...»

Как всегда в таких случаях, люди начали гадать, искали резонансы, вспоминали хорошее и плохое. Наверно, причин было много - в жизни он не щадил себя; пока стояла суровая зима, он держался, а когда люди заулыбались, стал раздумывать о пережитом, ненаписанном: как-то все обнажилось; тут-то начал отказывать мотор.

Оглядываясь на послевоенные годы, я неизменно вижу фигуру Фадеева. Роста он был большого, выделялся на любом собрании. Да и человеком был большим - и в беспощадности, и в нежности, и в вере, и в беде,

Мне позвонили под вечер и сказали, что на следующее утро мы вылетаем в Рим: сессия Постоянного комитета Парижского конгресса. Это было в нравах того времени: поздно решали, поздно запрашивали визы; то и дело мы опаздывали. Я рассказал в предшествующей части книги, как мы чуть было не задохнулись над Альпами, когда из-за грозы маленький самолет поднялся чересчур высоко. Вылетев из Праги рано утром, мы приземлились в Риме часов в десять. На аэродроме нас встретили итальянские друзья. Я мечтал выпить кофе и съесть бутерброд, но не тут-то было: оказалось, что нам всучили экземпляр какой-то кинокартины, и таможня нас продержала добрый час. Фалеев сказал, что нужно сейчас же идти на заседание - сессия уже началась. Я плохо слушал доклад д'Арбузье о борьбе за мир в Черной Африке - мне хотелось есть. Когда наконец-то объявили обеденный перерыв, сотрудник посольства сказал, что нас ждет посол.

Фадеев, Василевская и Корнейчук сели в посольскую машину, а меня предложил подвезти Эмилио Серени, депутат-коммунист. Это тучный, черный и веселый человек. Он знает множество языков французский, русский, испанский, польский, английский, древнееврейский, немецкий, китайский, арабский и еще какие-то (забыл какие). Он долго сидел в фашистской тюрьме и привык, думая, шагать из угла в угол; иногда на маленьких заседаниях он начинал ходить придумывал что-нибудь интересное. Если он сидел рядом со мной во время длинных выступлений, я не скучал: он на ухо рассказывал забавные анекдоты. Я попросил Серени остановиться возле какого-нибудь бара - я выпью у стойки кофе. Но Серени сказал, что посол нас сейчас накормит, и вместо кофе угостил меня стаканчиком очень горького и вкусного вермута.

Посол ирииял нас в кабинете; никаких признаков обеда не было. Посол долго и обстоятельно рассказывал Василевской, Фадееву, Корнейчуку и мне, что капитализм не похож на социализм и что в Риме нужно вести себя иначе, чем в Москве. Фадеев закрывал глаза и от злобы краснел. Я все время глядел на часы - половина второго, через час нужно идти на заседание, если нас не накормят, я не

выдержу... Вдруг Корнейчук прервал посла: «Мы, знаете, вылетели в семь утра - натошак...»

Столовая посольства помещалась в полуподвальном помещении. Пахло капустой. Свободных мест не оказалось, и нам предложили подождать во внутреннем дворике. Я сказал Корнейчуку: «Я лучше похожу по городу». - «Ты с ума сошел - ведь у тебя нет ни одной лиры...» Я понимал, что поступаю неразумно, но заупрямился - обидно было стоять и ждать.

Когда и выходил на улицу, высокий молодой человек приветливо спросил меня: «Вы Илья Эренбург?» Он представился: «Вишневский, корреспондент ТАССа»,- и стал хвалить мои книги. Я взмолился: «О книгах поговорим в другой раз. Но, может быть, вы одолжите мне немного лир столько, сколько нужно, чтобы пообедать: нам еще не выдали денег...» Вишневский из ресторана позвонил своей жене, чтобы она пришла, а я уже ел макароны и пил вино. Это был божественный обед, все мне казалось на редкость вкусным,- может быть, потому, что после вермута я обезумел от голода. Да и сотрапезник достался интересный - Вишневский знал и любил Италию, рассказывал о политическом положении, о новых фильмах, о писателях.

На заседание я, разумеется, опоздал и тихонько спросил Корнейчука, кто выступал. Он взревел от зависти: «От тебя пахнет вином!... Ты, значит, обедал?...»

В зале можно было курить. Человека трудно удовлетворить. Я успел выкурить все, что было в моем кисете, а лир не было. Я начал «стрелять» сигареты у различных делегатов, прикидываясь любознательным: интересно, что курят в Мексике, в Ливане, в Швеции...

Я не был в Риме четверть века. Конечно, ни храм Весты, ни романские базилики, ни дворцы барокко не изменились; изменился я - впервые был подготовлен понять величие этого города, где двадцать веков мирно сосуществуют.

На второй или третий день я понял, что изменился не только я, изменился и воздух Рима. Конечно, в политическом плане не было большого отличия Италии от Франции; тот же «плац Маршалла», тот же Атлантический пакт, сильные коммунистические партии, непрерывные забастовки и одновременно восстановление экономики,

американские военные и надписи на стенах: «Да здравствует мир!» Но в Париже было грустно, а итальянцы выглядели веселыми. Может быть, сказывалось чувство, которое я пережил, когда меня выпустили из Бутырской тюрьмы? Двадцать пять лет Италия была придавлена фашизмом. Никакие репрессии не могли теперь обуздать народ, и поражения не вызывали разуверения. (Я написал эти строки и задумался: может быть, я несправедлив в сравнении? В Париже я долго жил, это город, который я вправе назвать своим, а в Риме я - турист, гость, паломник. Естественно, что я лучше знаю французов и замечаю больше деталей; да и грусть, наверно, охватывает меня потому, что в этом городе прошла моя молодость.)

Кажется, на второй день сессии художник Ренато Гуттузо, с которым я подружился еще во Вроцлаве, организовал ужин: мы встретились с итальянскими писателями, художниками, режиссерами. Гуттузо - страстный человек, настоящий южанин. До сегодняшнего дня он ищет себя: хочет сочетать правду с красотой, а коммунизм с тем искусством, которое любит; он восторженно расспрашивал о Москве и богомольно смотрел на Пикассо; писал большие полотна на политические темы и маленькие натюрморты (особенно его увлекала картошка в плетеной корзине).

Каждый вечер он приглашал Пикассо и меня. Мы ужинали в различных ресторанах, очень хороших, но и очень дорогих. С переводом денег произошла заминка, мы получили их дни за два до отъезда. Стесняясь, я лицемерно говорил: «Разрешите мне сегодня заплатить», даже совал руку в карман, чтобы достать бумажник: у меня билось сердце: вдруг не остановит вовремя?... Однако Гуттузо всякий раз брал меня за руку: «Брось! Ты здесь в гостях». Люди, которые с нами ужинали, были интересными: поэты, живописцы, режиссеры; но неизменно приходил кто-нибудь, представляя которого Гуттузо не указывал его профессии. А я не мог понять: откуда у Ренато столько денег? В то время он еще не был знаменитым художником, и я знал, что ему приходится туго. Только когда я уезжал, он раскрыл мне секрет: каждый вечер человек, о профессии которого он ничего не говорил, оплачивал счет, счастливый тем, что сидит за одним столом с Пикассо.

Как-то мы ужинали в ресторане в квартале бывшего гетто, там нам подали «артишоки по-еврейски» (их кипятят в оливковом масле,

они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах). В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний. Девушка нам рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. «Что же, покажи портрет жениху, ему понравится», - сказал Карло Леви. Она смутилась: «Боюсь - он у меня ревнивый». Все рассмеялись, кто-то посоветовал девушке продать рисунок: «За него дадут не меньшей мере двести тысяч - у тебя будет хорошее приданое». Она вспыхнула: «Что вы!... Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью...»

Один богатый меценат устроил прием, на который пригласил всех участников сессии. До приема он накормил обедом Пикассо, Гуттузо и меня. Пикассо утром побывал в Ватикане. Мы любопытствовали, как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал: «Знаменитый мастер», - а потом вдруг признался: «Но вот потолок Микеланджело!... Не понимаю, как он написал руку Сибиллы...» Хозяин жил в одном из дворцов и собирал старинные щипцы для каминов. По парадным залам с бокалами прогуливались делегаты - болгары, сенегальцы, японцы: все напоминало маскарад былых времен.

Карло Леви - писатель и художник (а теперь ко всему и сенатор). Мы как-то сразу подружились. Этот человек кажется ленивым - ходит медленно и вдруг останавливается на людной улице, увлеченный разговором. Однажды он меня вез в маленькой машине. Это было в тот день, когда Гагарин полетел в космическое пространство. Мы пересекали центральную площадь Колонна. Карло Леви говорил о понятии бесконечности и забыл про правила уличного движения. Полицейский потребовал довольно крупный штраф - нарушение было серьезным. Я попытался вмешаться в драматический диалог: «У нас полицейские снисходительнее к писателям», - рассчитывая, что слава Карло Леви может сыграть свою роль. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня: «Где это «у вас»?...» - «В Советском Союзе, в Москве». Полицейский восторженно схватил мою руку: «Ваш человек полетел на Луну!...» Он отпустил нас, не взяв штрафа.

Карло Леви живет возле парка Пинчио в большой захлавленной мастерской. Просыпается он не раньше десяти часов. Он написал несколько моих портретов; у мольберта он тоже кажется ленивым - кистью едва касается холста, похоже, что кошка умывается лапкой. Но, бог ты мой, сколько холстов, книг, статей написал этот мнимоленивый человек! В 1949 году я прочитал его книгу «Христос остановился в Эболи»; она автобиографична - молодого Карло, врача-антифашиста, отправили в ссылку на юг, в нищую, пустынную Калабрию, где говорят, что «Христос остановился в Эболи» - дальше этого крохотного городка даже Христос не решился пойти. Карло Леви показывает жизнь нищих, неграмотных крестьян, с любовью раскрывает их душевный мир. Есть в этой книге одна особенность - сразу чувствуешь, что она написана живописцем: читатель видит пейзажи, сцены, людей.

Человек, который кажется ленивым мечтателем, успевает многое сделать: он изъездил далекие страны, участвовал в различных кампаниях, положил много времени, чтобы отстоять тишайшего бунтаря Данило Дольчи, которого сицилийские феодалы хотели уничтожить. Чем объясняется видимость лени? Вероятно, тем, что время для Карло Леви - пешеход, оно бредет, как бродил по горам Тосканы неутомимый Данте, а не ставит рекорды скорости на автомобильных гонках. Из его холстов мне больше всего нравятся пейзажи с коровами; может быть, дело не только в цвете, Карло должен любить этих животных - они ведь проводят свои дни очень сосредоточенно. Карло Леви далек от куцых истин, воистину абстрактных, и всегда найдет время, чтобы выслушать, задуматься, понять.

На следующий день после того, как я с ним познакомился, он повел меня к себе; жил он тогда на верхнем этаже старого дворца; внизу шевелился разгоряченный Рим. Я рассказал Карло, что мне нужно выступить на митинге в театре «Адриано», и я не знаю, что сказать. Карло улыбнулся: «Что сказать - вы знаете. Но я хочу вам посоветовать: говорите по-итальянски». Я засмеялся: «Это почти так же трудно, как вам выступить по-русски». Он предложил перевести мою речь на итальянский, я ее прочитаю. Я решил рискнуть - когда-то я немного говорил по-итальянски, потом забыл, понимаю наполовину. Мы гуляли по старому Риму. Карло сказал: «Здесь живет один мой

знакомый. Он был фашистом, но, в общем, человек неплохой, у него есть машинка, я смогу отстучать. Вы будете говорить по-французски, а я переведу...»

Карло Леви оказался прав: когда на следующий вечер я начал свою речь по-итальянски, все было предрешиено - я мог бы говорить любые плоскости, но русский, выступающий по-итальянски,- это было неслыханно, об этом написали даже антисоветские газеты.

Я познакомился с одним из лучших новеллистов Европы - с Альберто Моравиа. Очень давно, в 1939 году, я писал о его романе «Безразличные» - это была история средней буржуазной семьи в годы фашизма: безразличие, равнодушие, скука. Моравиа - писатель трудный, и не по форме, а по содержанию; вероятно, труднее всего он сам для себя. Он живет в чеховском мире без чеховского снисхождения, без жалости, да еще говорит, что его учитель - Боккаччо.

Однако Моравиа мало занимает интрига действия, своих героев он показывает как коллекцию забавных насекомых - не ярких бабочек Возрождения, а озверевших печальных тараканов. Его «Римские рассказы» чем-то напоминают один из фильмов, который меня покорило,- «Сладкую жизнь»,- может быть, тем, что автор не в заговоре со своими героями. Я понимаю отношение Феллини к скучающей богатой черни Рима. Труднее понять отношение Моравиа к своим обездоленным героям. В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сановитых особ. Два дня спустя Пикассо приехал в Ниццу, мы пообедали, а в пять часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, несмотря на косметику, голые, потом сказал: «Я люблю рисовать стариков и старух - к старости все проступает яснее, у молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков - я ее почитаю, и есть старость скучающих бездельников - над ней я смеюсь...» У Моравиа часто на лице скука, он машинально отвечает: «Знаю... знаю...» Но иногда его лицо светлеет - мне кажется, от подавленной нежности; так и в его книгах вдруг прорываются человеческие чувства, и они ослепляют, как прогалины в темном лесу.

Когда закрылась сессия, итальянцы сказали, что я должен поехать в городок Альбано неподалеку от Рима. Городком я его называю но облику, а большинство его жителей виноделы; в Риме я часто пил светлое душистое вино с окрестных гор - «фраскати», «альбано», «джензано». (Есть вина, которые, как люди, не переносят перемещения, вина окрестностей Рима, вывезенные за границу или даже на север Италии, теряют и аромат и вкус.) Митинг был в сельском театре, похожем на сарай. Широкие двери были раскрыты, и часть людей стояла на улице. Потом меня повели а мэрию, угощали вином, произносили задушевные речи.

Поздно вечером я возвращался в Рим с секретарем посольства в большой машине, которая на узких улочках казалась особенно неповоротливой. За нами в маленьком «фиате» ехали два журналиста из «Унита». Я с утра ничего не ел и спросил советского товарища, знает ли он где-нибудь поблизости ресторан попроще. Секретарь растерялся: «Может быть, в вашей гостинице?... Я никогда не был в римском ресторане...» - «Вы что, здесь недавно?» - «Скоро год. Но мы ведь обедаем в нашей столовой». Мы остановились, и я спросил итальянских журналистов, где тут можно поужинать. Они ответили, что как раз на этой улице есть маленькая харчевня, они там несколько раз ужинали: хозяин - товарищ.

Ресторан был переполнен; посетители по виду были рабочими. Журналист сказал хозяину: «Покорми нас. Это русские товарищи...» Хозяин принес кувшин вина, маслины, помидоры, колбасу, маринованные артишоки и пошел на кухню воровать над макаронами. Ему хотелось поговорить с русскими товарищами, но он не мог никому передоверить приготовление сложного соуса к тончайшим, как нити, спагетти. Мы съели по большой миске. На столе появился жареный барашек. Посольский шофер, до этого не обронивший ни слова, вдруг восторженно сказал: «Вот как они едят!» - и широко заулыбался. Мы одолели и барашка. Хозяина то и дело подзывали посетители. Наконец он подсел к нам и, развернув утреннюю газету, сказал мне: «Я вас сразу узнал, не говорил, чтобы вас не стеснить. Да и все вас узнали...» Он попросил меня надписать фотографию в газете. Когда мы хотели заплатить, он рассердился: «Не нужно меня обижать!...» Он сказал посетителям: «Выпьем за писателя, за советский народ! Вино ставлю я». Люди подходили,

чокались, рассказывали, кто о партизанском отряде, кто о митинге на площади Сан-Джованно, кто о своих дочках, и все это было просто, сердечно. Когда в полночь мы вышли из ресторана, секретарь посольства сказал: «Кажется, я за три часа узнал больше про итальянцев, чем за год...» А водитель, все еще широко улыбаясь, пожал мне руку: «Вот они какие!...»

Два дня спустя один из сотрудников «Унита» повез меня во Фраскати - винодельческий городок неподалеку от Альбано: руководители Итальянской коммунистической партии пригласили меня пообедать с ними. Обедали мы в деревянной пристройке, где обычно справляют деревенские свадьбы. Некоторых из итальянских товарищей я встречал раньше - в Москве, в Париже или в Испании, других увидел впервые. Они удивили меня своей простотой, любовью к искусству, разговором, который заставлял порой забыть, что передо мной не писатели, не художники, а члены политбюро большой партии. Тольятти рассказал, что одному из наших кинороботников не понравился фильм «Похитители велосипедов», который меня привел в восторг: «Нет конца». Тольятти усмехался: «Но если, показав мост без перил и человека, который падает в воду, заставить тонущего произнести речь о необходимости перил, то никто не поверит ни тому, что оратор тонет, ни даже тому, что он упал в реку. Очень хорошо, что фильм кончается не прописной моралью, а по-человечески...» Слушая Тольятти, я думал о том, насколько он, да и другие товарищи связаны с итальянским народом, с его характером, культурой. Мы встали из-за стола и вышли в садик, там крестьяне, много женщин с детьми, поджидали Тольятти. Одна крестьянка подвела к нему пяток малышей: «Вот, погляди на моих...» Тольятти разговаривал с ними так же естественно, как со мной, В последующие годы я несколько раз беседовал с Пайетой, с Аликатой, часто встречался с Донини, в Движении сторонников мира работал с покойным Негарвилле, человеком большой чистоты и душевной тонкости. Это были живые люди, и думали они не по схеме, говорили не по шпаргалке.

Я рассказал о встрече с итальянскими товарищами. Мне хочется добавить, что и люди, по своим мыслям, по складу бесконечно от меня далекие, разговаривали со мной дружелюбно, с итальянской непосредственностью. Вспоминаю, как принимал меня в старом Палаццо Веккио мэр Флоренции, набожный католик Ля Пира. Мне

сразу показалось, что мы давно знакомы. Он пригласил меня в Фьезоле, там в трагтории я встретил сотрудников левой католической газеты; они расспрашивали о жизни в Советском Союзе, рассказывали о тосканских крестьянах; споры походили, скорее, на поиски себя вслух, чем на словесные поединки.

Мне везло: после 1949 года я еще несколько раз побывал в Италии - то заседание бюро Всемирного Совета Мира, то ассамблея Общества европейской культуры, то приглашение выступить с докладами в различных городах, то встреча «Круглого стола». Правда, поездки были недолгими, и приходилось дни просиживать в накуренных залах, но всякий раз я что-либо для себя открывал и все острее чувствовал близость Италии. Побывал я снова и в милой мне Флоренции, и в Венеции, где на улочках кошки спокойно пожирают рыбные отбросы, зная, что их не потревожит треск мотора, и даже в чудесной Лукке, опоясанной древними крепостными стенами,- там что ни дом, то музей, а живут в музейных домах живые страстные современники.

Впервые я увидел Италию полвека назад; многое, конечно, с той поры изменилось. На севере выросли огромные заводы; построили современные рабочие поселки; а туринский музей, кажется, не имеет равного себе во всей Европе и по освещению, и по развеске картин. Поднялся уровень жизни. Возросли тиражи книг - начали читать рабочие, даже крестьяне. Мир раздвинулся: исчез былой провинциализм. По знакомству с советской литературой Италия опередила другие страны Запада, переводят много, причем не случайно, а с отбором. По дорогам, где я когда-то шагал, встречая волов и осликов, несутся вереницы маленьких «фиатов», мотоциклов. Но характер народа, который меня поразил и покорило, когда я был зеленым юношей, остался тем же.

С некоторыми писателями я познакомился - с Витторини, Квазимодо, Павезе, Пазолини, другие, как, например, Пратолини или Кальвино, знакомы мне только по их книгам. Не знаю, на какое место нужно поставить современную итальянскую литературу, да и книга, которую я пишу, не требует отметок. Скажу одно: эта литература человечна. Один кибернетик мне говорил: «Лет через двадцать - тридцать мыслящие машины будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми». Я вполне допускаю, что в недалеком будущем

машины заменят не только халтурщиков, но и популяризаторов, эпигонов. Все же человеку придется исправлять проделанное самой совершенной машиной - ведь то, что машине покажется «ошибкой», может оказаться находкой, открытием, началом творчества.

Мне обидно, что только к концу моей жизни я увидел в миланской коллекции холсты замечательного художника - Моранди. Это главным образом натюрморты - бутылки, скромных три-четыре неярких тона; при всей их философской глубине, в них нет рассудочности, сухости - они вызывают к миру эмоций. Моранди не только не жил в Париже, он там, кажется, ни разу не был, этим объясняется, что его холсты мало знают вне Италии. Я его никогда не видел, хотя он мой сверстник,- он жил уединенно в Болонье и писал бутылки. Летом 1964 года я поехал во Флоренцию на встречу «Круглого стола». Я надеялся: поеду потом в Болонью и увижу Моранди... А Моранди уже не было, он умер за месяц до того.

Итальянские фильмы перевернули кинематографию всего мира. Я познакомился с режиссерами; кроме Де Сика, узнал Феллини, Висконти, Де Сантиса, Антониони. Пожалуй, они все могли бы стать героями своих фильмов. Говорят, что неореализм победил правдивостью изображения, борьбой против театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все это справедливо, но есть еще одно свойство - итальянские фильмы искренни; а искренность отнюдь не считается обязательной даже для весьма честных и весьма одаренных художников.

Удивительно, как быстро вошли в мою жизнь итальянские друзья! Я думаю прежде всего о Карло Леви и Ренато Гуттузо. Я ведь познакомился с ними, когда мне было под шестьдесят, в этом возрасте слишком часто теряют друзей и неохотно обзаводятся новыми. Мы видимся редко - порой несколько дней в году, порой один день за несколько лет, но всегда говорим о вещах, нам равно близких и дорогих. Хотя они живут далеко, жизнью, непохожей на мою, да и поколение другое Карло много моложе меня, а Ренато мог бы быть моим сыном, я их понимаю, и они понимают меня, мне кажется, что мы кружимся вокруг Земли по той же орбите.

Во время одной из моих последних поездок в Италию я оказался в городке Рокка-ди-Папа над Римом. Автобус, взобравшись на гору, остановился на площади. Оттуда нужно было идти наверх. Узкие

улицы, белье на веревках, детвора. Мы подымались медленно, то и дело глядели вниз: виноградники, долины, где-то далеко - сизоватая пустота моря. На крутых улочках шла жизнь, женщины судачили, щепля фасоль. Прошел аббат, ветер вздувал черную сутану. На домике, похожем на древний форт, висела дощечка: местный комитет Итальянской компартии. На другом таком же доме была изображена лира: музыкальное училище. Наконец мы остановились на крохотной площади, откуда была видна широкая долина. Я думал сразу о многом, о важном и о пустяках. Будь это двадцать лет назад, я взбежал бы, а сейчас сердце колотится. В этом году много винограда. Странно, что я никогда здесь не был. Почему я не был в Мексике, в Сиаме? У слонов необычайные глаза. А здесь ослики - как в Испании. Хорошо бы прожить в таком городке хотя бы неделю! Неделя - это очень много, особенно когда человеку за семьдесят. Странно - время умирать, а я об этом не думаю, на сердце совсем другое. Неделя - это вечность, если есть покой. За обрывками мыслей или, вернее, за клочьями картин во мне было глубокое ощущение спокойствия, счастья, наверно, я отдыхал, хотя Фадеев и уверял, что я не умею отдыхать. Вдруг, оглянувшись, я увидел циферблат: через пятнадцать минут уйдет последний автобус, нужно бежать вниз. Я про себя проворчал: вот только дополз, и пожалуйста - вниз!... Слишком часто так бывало... Суеверно я повторял старым, оглохшим домам, ослику, вывескам «до свидания», короче, как говорят итальянцы, «чау!».

Вернусь к 4 ноября 1949 года. Я должен был на следующий день поехать в Сицилию - итальянцы предложили нам остаться еще неделю, и я выбрал Сицилию потому, что там никогда не был, а Гуттузо говорил: «Значит, ты не видел Италии...» Под вечер я зашел передохнуть в гостиницу и нашел записку: «Завтра мы вылетаем в Москву - есть указания. С нами поедет Жолио, мы должны приехать до праздников. Желаю вам хорошо провести последний вечер. А. Фадеев». Я не зашел в комнату, а побрел снова по городу - на площадь Навонны. Поднялся холодный ветер, и народу было меньше, чем обычно, а длинная площадь, залитая старинным светом фонарей, походила на танцевальный зал после разъезда гостей. Я глядел на струю фонтана, она взлетала и рассыпалась - как вчера, как много веков назад.

В пражской гостинице «Алькрон» в пять часов утра затрещал телефон. Я едва успел побриться. Фадеев сказал, что мы летим на специальном самолете, в Легнице через час нам дадут чай. На аэродроме чешка приговаривала: «Да вы не улетите, ведь такой туман, что не видно самолета...» Александр Александрович повторял: «Нужно лететь - мы должны сегодня быть в Москве».

Я сел в самолете рядом с Жолио: он сказал, что хочет со мною поговорить. Он начал: «С югославами было нелегко - некоторые члены комитета возражали...» Я вдруг уснул. А проснулся оттого, что Жолио-Кюри схватил меня за руку: «Смотрите!...» В маленькое оконце я увидел куны деревьев с последними редкими листьями - они были не внизу; а выше нас. Самолет резко развернулся: «Возвращаемся в Прагу- туман»...

На пражском аэродроме мы прошли в буфет. Рядом какие-то люди пили пиво и ели сосиски. Фадеев попытался позвонить в Комитет защиты мира, но никто не отвечал - рано, еще нет девяти. Я сказал Фадееву, что нужно заказать завтрак. Он рассердился: «У нас нет крон. Понимаете?...» Жолио-Кюри шепнул мне: «Как бы раздобыть чашечку кофе? Мне что-то не по себе...» Я сейчас же заказал кофе для всех, хлеб, масло, ветчину (последнюю для Фадеева). Александр Александрович пробовал запротестовать: «Вы с ума сошли! Вдруг мы не дозвонимся до чехов?...» Я махнул рукой. Жолио-Кюри выпил две чашки, съел булочку и вдруг с легкой улыбкой спросил: «Вы думаете иногда о смерти?...»

Пришли чехи. Мы долго сидели на аэродроме: туман держался. Все же мы долетели до Москвы.

«Я редко думаю о смерти, но когда думаю, то настойчиво, не пытаюсь уйти от ответа», - говорил мне Жолио-Кюри на пражском аэродроме. «Для человека невыносима мысль, что он исчезнет. Это не физический страх, а нечто более серьезное - неприятие исчезновения, пустоты. Мне кажется, что идея загробного мира рождена именно этим, и пока наука была в пеленках, люди тешили себя иллюзорными надеждами. Знание требует от человека мужества... Отсутствие загробной жизни вовсе не означает отказа от продления. Есть физическая связь поколений, она продиктована природой. Но есть и другая работа, творчество, любовь, то, что остается, когда исчезают и человек, и его имя, и даже кости...»

Эти слова я записал, ко Жолио выразил свою мысль куда лучше восемь лет спустя в эссе «Человеческие ценности науки»: «Не раз мне приводилось бывать свидетелем ужасных разочарований, когда люди вдруг теряли веру. Но... Я хотел бы сказать - но, черт побери, почему загробная жизнь должна протекать в другом, потустороннем мире? Думая о смерти даже в раннем возрасте, я видел перед собой проблему глубоко человеческую и земную. Разве вечность не живая, осязаемая цепь, которая связывает нас с вещами и людьми, бывшими до нас? Если вы позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием. Подростком я как-то вечером сидел над уроками. Работая, я вдруг дотронулся рукой до оловянного подсвечника - очень старой семейной реликвии. Я перестал работать, охваченный волнением. Закрыв глаза, и видел картины, свидетелем которых, наверно, был старый подсвечник... Как спускались в погреб в день веселых именин, как сидели ночью у тела умершего. Мне казалось, что я чувствую тепло рук, которые в течение веков держали подсвечник, вижу лица... Конечно - это фантазия, но подсвечник помог увидеть тех, кого я не знал, увидеть их живыми, и я окончательно освободился от страха перед небытием. Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будь то дерево перил или каменная ступенька лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множества рук, камень с

выемками от шагов, люблю мой старый оловянный подсвечник. В них вечность...»

(Я начал рассказ о Жолио с разговора о смерти, а кажется, я не встречал человека более живого, чем он. Прошло немало времени с его кончины, но мне трудно себе представить, что его нет, часто я ловлю себя на мысли: жалко, что Жолио не приехал, он сказал бы, что делать...)

Разговор на пражском аэродроме имел продолжение. В 1955 году Жолио вернулся к той же теме. В Вене было расширенное заседание бюро Всемирного Совета. Жолио в своем докладе утверждал, что накопленных запасов ядерного оружия достаточно для уничтожения жизни на планете. Такая оценка некоторым показалась чересчур пессимистической («Рассуждения специалиста. С политической точки зрения это неправильно...»). Я приехал из Вены в Париж недели на две позднее, чем Жолио: ждал визу. Сразу же ко мне пришел секретарь Жолио - Роже Мейер: «Жолио говорит, что ему придется уйти с поста президента,- он не может поступиться убеждениями ученого...» Инцидент был быстро улажен, Жолио успокоился, но, когда мы встретились, он сразу сказал: «Поймите - это дело совести! Политика - высокая человеческая функция. Но если, несмотря на здравый смысл, на советские предложения, на все, что мы делаем, разразится катастрофа, я вас уверяю - некому будет рассуждать о политической бессмысленности происшедшего... Когда мне вручали в Стокгольме Нобелевскую премию, все было празднично. Я немного нарушил всеобщее благодушие... Я еще не отдавал себе отчета в силе атомной энергии и, конечно, не мог предвидеть Хиросимы, все же я закончил речь предостережением: осторожно! Силы, освобожденные человеком, огромны. Я вспомнил о новых звездах, которые вспыхивают и гибнут. Это было, скорее, образом, чем научной гипотезой... Смерть человека ужасна, но созданное им не исчезает - я убежден, что, несмотря на зигзаги истории, на провалы, несмотря на плупость, она объясняется младенчеством человечества: всего шесть тысяч лет, как оно начало думать, двести поколений,- да, несмотря на плупость, есть прогресс, движение вперед... Верующие считали, что разумные существа имеются только на Земле. Вряд ли... Но если вопреки всему произойдет атомная катастрофа... Что будет тогда? «Новая звезда»? Пустота? Одно поколение передает другому эстафету

- я повторяю ваши слова. Но кому мы тогда передадим созданное в течение шести тысяч лет? Вакуум... Вы мне сами говорили, что я - оптимист. Но я повторяю: осторожно!... Опаснее всего иллюзии. Человеку, который только что женился, нашел новую квартиру, трудно себе представить, что он не успеет расставить мебель, как от всего останется пыль... Виновата не наука, а неравномерное развитие человечества. У некоторых людей, у которых, увы, большая власть, нет ни моральных тормозов, ни элементарных познаний: они воображают, что освобождение атомной энергии - очередное изобретение, нечто вроде парового двигателя или мотора внутреннего сгорания...»

Нельзя отделить биографию Жолио-Кюри (так его называют в книгах и газетах), Жолио (так его называли люди, его знавшие), Фреда (так звали его друзья) от проблем, и ставших перед нами в связи с рождением новой физики. Утро новой эры человечества я увидел в вечер моей жизни. Конечно, открытия Эйнштейна поразили меня еще в начале двадцатых годов, хотя и их и плохо понимал. Хиросима меня потрясла размерами бедствия, но я не давал себе отчета в происшедшем. Атомная бомба меня возмутила оттого, что она была в тысячу или в десять тысяч раз сильнее обыкновенных бомб. Власть в Америке принадлежала не профессору Принстонского университета, который считался гениальным чудачком с длинными кудрями и с человеколюбием прошлого века, а вполне доброобразному современному человеку, стандартному политику, случайно оказавшемуся на посту президента.

Эйнштейна я слушал с благоговением, но пробыл я с ним всего несколько часов. А с Жолио я часто встречался в течение восьми лет. Я его полюбил - его ум, чувствительность художника, интуицию, воистину женскую, смелость, чистоту. Я его не только любил, я ему признателен - он помог мне понять то, что дотолле оставалось для меня закрытым. Его слова, да и его судьба позволили мне увидеть лицо новой эпохи. На гробом Жолио его друг Бернал сказал: «Трагедии Жолио была трагедией благородства...» Вечером Бернал добавил: «И трагедией науки...»

Иногда говорят о писателе, что он похож на свои книги. Может быть, и Жолио-Кюри походил на свои труды, не знаю - я слишком невежествен в современной физике, чтобы об этом судить. Но для меня Жолио по своей манере держаться, по разговору, по увлечениям,

словом, по душевной структуре,- никак не вязался с представлением об ученом, которое сложилось еще с детских лет: меньше всего он был узким специалистом, аскетом, рассеянным книжником. Впрочем, все рассуждения о прирожденных ученых, писателях, инженерах, музыкантах натянуты и произвольны. Жолио как-то сказал мне: «Я сам удивляюсь, почему я стал ученым? В школьные годы я мечтал стать профессиональным футболистом, мне прочили блестящее будущее. Вышло иначе... Вероятно, что-то притянуло меня к пауке. Я колебался - химия или физика? Очевидно, и здесь не было простой случайности. Не знаю, хватило ли бы у меня для химии усидчивости, терпения... В моем возрасте люди не только давно придали личные черты своей работе, их черты сложились в зависимости от того, что они делали. А меня и теперь удивляет, что я - ученый. Поверьте, с рыбаками Аркуэста я чувствую себя естественнее, чем на научных заседаниях...»

Вполне возможно, что Жолио не родился ученым, но он им стал и свой дар, свою творческую инициативу, свои силы вложил в науку. Он пережил счастье открытия, когда, но его словам, ему хотелось танцевать, кричать, хлопать в ладоши; он пережил и расплату. Говоря это, я думаю не о многих несправедливостях, связанных с его гражданским мужеством, а о них я все же должен упомянуть. Жолио создал атомный реактор «Зоэ», это было гордостью Франции. Год спустя глава французского правительства снял Жолио с поста верховного комиссара по атомной энергии: политики не могли простить большому ученому, что он стал коммунистом. (Расскажу об одном эпизоде, скорее смехотворном, чем трагическом. Когда шведский король в 1935 году вручил Жолио-Кюри Нобелевскую премию, все стокгольмские газеты писали о молодом французском ученом, а шведские коллеги восхищались им. Но вот Жолио снова приехал в Стокгольм в марте 1950 года - на сессию Постоянного комитета. Газеты молчали. На следующий день я увидел Жолио с чемоданом,- оказалось, его попросили освободить номер: не хотели держать в гостинице «красного».) Говоря о расплате, я думаю не об административных гонениях - они связаны не с открытием искусственной радиоактивности, а с политической ролью Жолио. Его мучило другое - он много раз повторял: «Простые люди начинают ненавидеть науку». Он понимал свою ответственность, говорил и в

публичных докладах, и в частных беседах о том, что атомная энергия может принести людям величайшее счастье - освободить их от подневольного труда - и она может погубить человечество. В лаборатории он чувствовал себя хозяином. Но, помимо научных открытий, существует использование этих открытий, и не ученые, а политики решили использовать величайшие открытия Эйнштейна, Резерфорда, Жолио-Кюри, Нильса Бора, Ферми, Гана для создания оружия массового уничтожения. «Доверие к науке поколеблено,- сказал мне Жолио во время одной из наших последних встреч,- люди видят только зло - стронций, лучевую болезнь, картину всеобщей гибели...»

Меня могут упрекнуть в преувеличении роли личности, но я пишу не исторический труд, а книгу воспоминаний и решусь признаться, что Движение сторонников мира для меня неотъемлемо от личных качеств Жолио, от его сознания своей ответственности как ядерного физика, от его умения объединить людей, различно мыслящих. Он часто говорил: «Это не враг, это противник»,- к врагам он причислил только людей, которые хотели войны, а противниками называл тех, кто не хотел примкнуть к движению, считая его прокоммунистическим, но пытался отстоять мир по-своему.

В начале пятидесятых годов климат был суровым: шла корейская война, взаимная ненависть достигла апогея. Но и в те годы я помню, как Жолио пытался защитить то итальянскую католичку Пьяджио, говорившую об ответственности двух сторон, то датчанку Аппель, возражавшую против нападков на политику Запада, то американского пастора Дарра,- Жолио говорил: «С ними можно и нужно спорить, но не здесь, не в движении за мир...»

Конечно, не будь на свете Жолио, наше движение все равно возникло бы, но мне кажется, что оно было бы уже, да и суше. Всё политика - и война, и борьба против войны, но люди, для которых политика - профессия, и в движении не могли освободиться от своих навыков, от словаря, от формул (именно поэтому Жолио особенно ценил участие в движении Ива Фаржа, в котором ничего не было от профессионального политика).

Движение сторонников мира отнимало у Жолио очень много времени. Однажды он признался мне: «Минутами я сомневаюсь... Близкие мне говорят: «Ты не можешь так продолжать...»

Действительно, почему я должен мирить голландских сторонников мира с индонезийскими? Почему ко мне приходят с рассказами о распрях в секретариате? Почему от меня требуют, чтобы я успокоил представителя Гондураса - на следующем конгрессе ему дадут слово не ночью, а днем... Все это могли бы сделать и другие. Мне хочется иметь время для научной работы. А вместе с тем я понимаю, что нельзя провести границу: то-то делаю я, то-то другие. Тем более что все привыкли обращаться ко мне, скажут: «Значит, движение теперь отходит на второй план». Люди, которые меня упрекают, правы - мое место в лаборатории, а не в комиссии, где люди спорят всю ночь, - сказать «потребовать» или «предложить». Там на месте политики - Лоран, Серени, Нении... Но я хочу, чтобы наше движение расширилось, только тогда мы сможем повлиять на политику Запада. Значит, и должен сидеть в комиссиях...»

Политические проблемы пятидесятых годов остаются и ныне актуальными, живы люди, работавшие вместе с Жолно-Кюри, и мне приходится о многом промолчать. Бывали большие трудности, бессонные ночи, политические распри, а порой и личная неприязнь, не всегда Жолио удавалось примирить людей, приободрить их. Однажды он сказал мне: «Х. меня упрекнул в чрезмерном оптимизме... Для того чтобы быть оптимистом, стоит только призадуматься над историей. Но бывает, что и товарищи-коммунисты удивляются моему оптимизму, вероятно, это связано с характером -- не только философия, - физиология...» А между тем я знаю, что Жолио порой переживал очень трудные для него недели, но он умел приободрить не только других - самого себя.

У него была внешность не кабинетного человека, а, скорее, спортсмена; он любил ходить на лыжах, был страстным рыболовом. На стенах его дома в Антонн красовались препарированные головы гигантских щук, которых он выловил. 18 марта 1950 года Жолио исполнилось пятьдесят лет; было это во время сессии Постоянного комитета. Шведские друзья вспомнили дату и на митинге поднесли ему подарок. Мы сидели рядом. Жолио сразу догадался: «Спиннинг!...» На его лице была ребяческая радость и любопытство. Он не решался при всех раскрыть пакет, нагнулся, отодрал кусочек бумаги и, восхищенный, шепнул мне: «Это какой-то особенный бамбук!...»

Летом 1951 года Жолио отдыхал под Москвой; однажды он приехал ко мне в Новый Иерусалим. Он был в хорошем настроении, шутил, перед обедом признался, что у него в Советском Союзе нашелся враг - какая-то травка, которую сыплют повсюду: в суп, на картошку, на мясо (оказалось, что его враг - укроп). После обеда он спросил, нету ли у вас самовара. Таковой оказался: года три назад мне его подарили на тульском заводе. Мы его ни разу не ставили. Начали разжигать щепки, они сгорали, не зажигая угля, или сразу гасли. Жолио дул в трубу изо всех сил. Наконец-то справились с самоваром. Жолио восхищался старыми ветлами, долго рассматривал скворечники и, уезжая, сказал: «Подумать, что мы даже не поговорили о бюро, о секретариате, о Рогге!... Вот это настоящий день мира!...»

А неделю спустя мы отправились на сессию бюро в Хельсинки. Жолио предоставили вагон-салон; с ним ехала Ирэн Жолио-Кюри. В Ленинграде Жолио попросил меня отвезти его в Эрмитаж. «Мне сказали, что там часть картин, которые я видел пятнадцать лет назад в московском Музее западной живописи...» В то время импрессионисты, не говоря уже о Матиссе и Пикассо, считались противопоказанными для посетителей музея, и ценнейшая коллекция хранилась в фондах; картины висели на щитах. Жолио восхищался, особенно ему нравились пейзажи Сислея, Моне, Писсарро. Когда мы уходили, он сказал: «Я как будто провел целое лето в деревне - другой человек...» Нагнувшись ко мне, он тихо добавил: «Нехорошо лишать такой радости советских людей...» И тотчас добавил: «Это ненадолго, я убежден».

В 1955 году Жолио серьезно заболел, его поместили в госпитале Сент-Антуан. (Он умер в том же госпитале три года спустя.) Это очень старое, мрачное здание. Жолио отвели отдельную маленькую комнату. Он рассказал, что врачи не уверены в диагнозе, но он наблюдает за собой, записывает, подружился с главным врачом. Потом, разумеется, он заговорил о разрядке - теперь как раз время попытаться расширить движение... Вдруг он взял холст, повернутый к стене, и, смущаясь, сказал: «Я здесь обречен на безделье и занялся живописью. Не судите слишком строго, я ведь никогда не учился, начинаю с азов...» На холсте был пейзаж, который он видел в окно: двор, несколько деревьев, стена дома. Я поглядел второй холст,

третий... Жолио спросил: «Очень плохо?...» Я ответил ему, что в его пейзажах есть чувство света, непосредственность, даже наивность, хотя рисунок довольно уверенный. Он сказал: «Забавы пятидесятичетырехлетнего ребенка...»

Весной 1956 года умерла от лейкемии Ирэн Жолио-Кюри. Для Жолио это было тяжелым ударом: они прожили и проработали вместе тридцать лет - в 1926 году молодой лаборант, работавший в Институте радия под руководством Мари Кюри, женился на ее дочери, ассистентке того же института. Они жили дружно, хотя были очень несхожими. Ирэн была сдержанной, молчаливой, и Жолио, обычно разговорчивый, в ее присутствии часто замолкал. Помню ночь, которую мы провели в вагоне-салоне. Ирэн вскоре ушла в купе, а Жолио остался. Он начал говорить об одиночестве, о своей «плебейской природе», о том, как порой человеку хочется вырваться из своей жизни: «Мы все машины, буксующие в колею...» В 1956 году Жолио приехал в Вену. Мы его встречали на вокзале. Вечером он сказал мне: «Ирэн умерла от той болезни, которую мы зовем профессиональной. Теперь мы стали осторожнее, а в тридцатые годы...» Он помолчал и тихо добавил: «Все это нелегко...» Год спустя я был у него в Антони. Он показал мне сад, изумительную стену вьющихся роз, последние тюльпаны. «Ирэн очень хорошо подбирала цвета тюльпанов. Прошлой весной они зацвели, а ее уже не было...» Несколько минут спустя он сказал: «Мною овладела торопливость - хочется успеть что-то сделать. Я не мнителен, но нельзя быть чересчур легкомысленным...»

Еще раньше - в 1956 году - он заговорил со мной о Сталине: «Многие наши интеллигенты после XX съезда заколебались. А мне кажется, что наше Дело шагнуло вперед. Я никогда не обманывался так, как некоторые другие,- о Сталине говорили как о полубоге. Помню, я сказал тогда Х.: «Осторожно! Мы не должны верить в непогрешимость, оставим это католикам. Я видел в Советском Союзе много изъянов они первые начали, не удивительно...» Весной 1958 года, когда он меня пригласил в Антони, он сказал: «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается. А сейчас поговорим о прошлом... Вы все понимаете? Я много думал и все же до конца не понял...»

Коммунистом он стал в очень страшное время - в 1942 году - и до смерти сохранял верность избранному пути. В его выборе сказались не только эмоции, героизм коммунистов в Сопротивлении, борьба против фашизма советского народа, но и логика, размышления ученого. Вспоминая Фадеева, Жолио сказал: «Однажды мы поспорили - вы помните, это было в Вене. - он уговаривал меня отказаться от моих слов, когда я утверждал, что война способна уничтожить жизнь на нашей планете, он повторял: «Мы знаем вас, как верного друга». Я ему ответил, что в дружбе хороша верность, а в политике, как и в науке, нужно не только верить друзьям, но и думать...»

У Жолио было лицо француза,- с тонкими, хорошо вырисованными чертами, да и в характере его было много национальных черт: он радовался порой с легкой печалью, много говорил, но очень редко проговаривался, рассуждая, всегда был точен, логичен.

В Антони я видел, как он возился с внуками - детьми Элен, и вспомнил стихи Гюго «Искусство быть дедом». В доме было много красивых вещей, за обедом хорошее вино, в кабинете фотографии друзей, во всем ясность, свет, радость. Я не знал, что вижу Жолио в последний раз.

На похороны я летел вместе с Л. В. Скобельцыным, который в тридцатые годы работал в лаборатории Жолио: мы знали двух разных людей, а любили одного.

После долгих переговоров между детьми Жолио и представителями правительства похороны разделили на два акта. Вернувшись в Москву, я писал: «Во дворе древней Сорбонны перед часовней XVII века, между памятниками Гюго и Пастера, был установлен катафалк... Стояли, как статуи, солдаты республиканской гвардии в архаических шлемах с конскими хвостами. Стояли министры и послы, академики и сенаторы. Стояли члены ученого совета Сорбонны в красных тогах, отороченных горностаем... А потом уехали министры, ушли гвардейцы. В предместье Парижа Со возле кладбища собрались друзья и товарищи Жолио, сторонники мира, студенты, слушавшие его лекции, рабочие, домашние хозяйки, лаборанты, служащие, простые люди Франции. День был грозовой, под ливнем шли и шли люди, многие плакали; рядом с парадными

тяжелыми венками лежали скромные цветы садов и палисадников Франции...»

Вечером некоторые члены бюро Всемирного Совета, приехавшие на похороны, собрались: нужно было обсудить, что делать дальше. Помню Бернала, Казанову, Спано, Изабеллу Блюм. Мы не могли говорить - слишком свежим было горе. Передо мной стоял живой Фред, и я не мог представить себе, что его больше нет. Да и сейчас, много лет спустя, я вижу его живым, и снова все возмущается: умер... Он говорил, что каждый человек оставляет на земле след, а память о нем трудно назвать следом - это, скорее, рана, рана и веха.

Движение за мир организовывало многолюдные конгрессы и митинги. В Риме двести тысяч человек проходили по улицам с зажженными факелами. Нас торжественно принимал президент Польши Берут, а в Дели Неру говорил нам о традиционном миролюбии Индии. Мы относили венки на могилу Ганди и в пещеры, где гестаповцы расстреливали итальянских патриотов. На Варшавском конгрессе мы увидели окровавленную рубашку парагвайского студента Алонсо, замученного полицейскими за то, что он отстаивал мир. Прилетев в Вену, один из делегатов Бразилии умер от инфаркта: не выдержал длинного перелета. На одном из конгрессов мы слышали стихи Назыма Хикмета, на другом пел Робсон, на третьем получитал-полунапевал поэму, прославлявшую братство, старый индийский сказитель. Мы слышали речи опытных парламентских ораторов - Пьера Кота и Нении, блистательные эссе Сартра, молитвы буддийских монахов. Порой наши собрания бывали бурными. В декабре 1956 года в Хельсинки бюро начало работать в девять часов утра, и только на следующий день в восемь часов утра мы пришли к соглашению - проспорили двадцать три часа подряд в душном, накуренном зале. Пять лет спустя мы обсуждали созыв Конгресса за разоружение; это вывело из себя китайских делегатов, и зал шведских кооператоров, привыкший к чинным обсуждениям годового оборота, превратился в поле боя.

Все же, оглядываясь назад, я с особенным волнением вспоминаю Стокгольмскую сессию в марте 1950 года. Внешне ничего примечательного не было. Приехало человек полтора. Заседали мы в подвальном зале ресторана (шутя мы говорили: «В катакомбах»). Шведские газеты не упоминали о сессии, и жители Стокгольма нами не интересовались. Да и не запомнились мне речи. Однако в истории нашего движения Стокгольмское воззвание заняло исключительное место. Мы понимали, что обращаемся к миллионам людей, что от успеха или неуспеха нашего призыва зависит многое, и когда Жолио-Кюри прочитал текст (кажется, самый короткий из всех, которые мы

когда-либо принимали), нас охватило волнение. Мы первыми поставили подписи под призывом.

За несколько месяцев до Стокгольмской сессии Советское правительство заявило, что оно было вынуждено обзавестись атомным оружием. Западная печать уверяла, что в ядерном вооружении Советский Союз никогда не догонит Америку. О третьей мировой войне говорили как о событии завтрашнего дня. Одна французская газета устроила анкету: «Что вы будете делать, если русские захватят Париж?» Западная печать называла Стокгольмское воззвание «троянским конем». Журналисты спрашивали меня: не потому ли мы осудили атомную бомбу, что она тормозит захватнические планы Москвы? Перепуганным обывателям мерещились советские танки на Елисейских полях или на Пикадилли. Когда в Америке передали по радио скетч, посвященный воображаемому нападению, началась паника. Один американец рассказал нам, что в Сан-Франциско маленькая девочка, которой старший брат расписывал, как атомные бомбы уничтожат «красных», спросила: «А мы не можем уехать куда-нибудь, где нет неба?...» Взрослые рассуждали иначе: атомная бомба многим казалась защитой, спасением.

Датский журналист, радикал прошлого века Киркеби, с которым я познакомился еще в двадцатых годах, рассказал мне, что сомневался, должен ли поставить свою подпись под Стокгольмским воззванием: он ненавидел войну, но считал, что запрет атомного оружия выгоден одной стороне: «Я спросил мою жену: не кажется ли тебе, что это воззвание косит в одну сторону?» Она ответила: «Может быть. Но атомная бомба косится на наших детей». И она подписала...» Наверно, миллионы женщин и мужчин подписывали текст с таким же чувством.

Произошло чудо: обращение, которое мы приняли в подвальном зале стокгольмского ресторана, облетело мир. Полгода спустя в Варшаве я увидел француженок, итальянок, аргентинок, гречанок, которые обошли множество домов, стучались во все двери. Помню работницу типографии, итальянку, ее звали Фирмина, она собрала восемнадцать тысяч подписей, она рассказывала, как убеждала католичек, монахинь, женщин, боявшихся коммунистов, как дьявола. Бразильцы привезли ящики с листочками неграмотные крестьяне

ставили крестики. Пред-ставители Черной Африки показывали палки с зарубками вместо подписей.

Много лет спустя один из военных комментаторов Соединенных Штатов признал, что пятьсот миллионов подписей под Стокгольмским воззванием заставили призадуматься Трумэна, когда во время корейской войны встал вопрос об использовании атомных бомб. Конечно, весной 1950 года мы не могли этого предвидеть, но мы расходились из «катакомб» взволнованные.

Мы приняли воззвание 19 марта. Вечером меня пригласил на ужин левый социал-демократ, сенатор Брантинг. Все было по-шведски - радушно и немного торжественно. Хозяин предлагал тосты, а на столе трепетали тонкие свечи. Ненни говорил о Ватикане, об Атлантическом пакте. Приятель Брантинга Ялмар Мэр с кем-то спорил о «Скандинавском союзе». Кажется, я мог бы давно привыкнуть к таким вечерам, и все же стеснялся.

Меня посадили рядом с молодой женщиной, Лизлоттой Мэр. Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-русски: «Я училась в Москве...» Оказалось, что она родилась в Германии; когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, там Лизлотта встретила с Мэром. Мне сразу стало легче: училась в Москве,- значит, не чужой человек...

Брантинга я смутно помнил по Испании. В тридцатые годы о нем много писали - он обличал Геринга во время процесса Димитрова, организовывал помощь испанским республиканцам. Коллонтай мне рассказывала, что в годы войны он выступал против своих товарищей по партии, которые пытались откупиться от Гитлера уступками. Хотя я четверть века назад много ездил по Швеции, я плохо знал шведов, вернее, у меня было о них несколько абстрактное представление, наверное оставшееся еще от книг Стриндберга. Мне казалось, что чуть ли не любой швед выступает против несправедливости, пишет стихи о смерти и боится житейских пустяков. Потом и подружился с Брантингом, мы вместе работали над организацией встреч «Круглого стола». Мифический викинг был старым одиноким человеком; только в одном я оказался прав - он действительно писал стихи о смерти. Летом 1965 года он умер, и на минуту встали в памяти тридцатые годы.

Была еще по-прежнему холодная ночь. Я долго бродил по безлюдным улицам. Вместо голубей в Стокгольме - чайки. Им полагается летать над морем, но они, как голуби, предпочитают жить возле людей, в море они кружатся вокруг корабля, а в Стокгольме суетятся на бережных, беспокойные, крикливые. Ярко и холодно пылали фонари. В освещенных витринах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины. Старик прогуливал толстую таксу. Два матроса шли, пошатываясь, и что-то выкрикивали. Влюбленные целовались, прижавшись к столбу с афишами, под алым ветром Балтики. Длинные пустые улицы. В некоторых окнах свет - там мечтают, ссорятся, плачут, танцуют... Под утро в маленькой комнате гостиницы я записал: «Все дело в людях». Не помню, почему именно тогда я написал слова, которые подходят к любому дню любой жизни.

Шведские власти оказались терпимыми и гостеприимными. Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь. В Стокгольме (или в других шведских городах) происходили различные конгрессы, конференции, сессии Всемирного Совета, заседания бюро. Я выступал на митингах в Гетеборге, в Норчепинге. Шведские писатели меня пригласили в их клуб. Я делал доклады студентам Упсалы и Лунда; познакомился с некоторыми министрами, с учеными - Густавсоном и Мюрдалем, встречался с поэтами и журналистами. Швеция неизменно удивляет иностранцев. Эта страна - баловень судьбы: дважды мировые войны ее пощадили. Из сельской идиллической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультрасовременного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала двадцатых годов. Все здесь разумно - и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа, после того как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий, столько душевного разора, что диву даешься. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает засасывает и выводит из себя.

Я довольно часто встречаюсь с поэтом, романистом, эссеистом Артуром Лундквистом. Познакомились мы в 1950 году на Конгрессе Мира. Он сын батрака из Скании, и лицо у него, скорее, мягкое, лирическое, а в суждениях он непримирим и душевно сродни не букам, а шхерам. Он почти всегда путешествует, изъездил полмира, и

нет ни в его книгах, ни в его жизни даже тени уюта. С ранней молодости он боролся против эпигонов, против социального консерватизма, говорил (и говорит) о торжестве будущего - это оптимист, но на редкость печальный. Я не удивился, услышав по радио, что во время страшного землетрясения в Агадире Лундквист оказался там: по-моему, земля под ним всегда трясется, но ноги у него длинные и крепкие.

Я был с академиком Д. В. Скобельцыным в Стокгольме, когда Лундквисту вручали Ленинскую премию мира. Это совпало с напряженными днями в приступе «холодной войны»: за неделю до того шведские академики присудили Нобелевскую премию Пастернаку. Церемония вручения премии Лундквисту состоялась в Малом зале Концертного дома Стокгольма. На эстраду вышел человек во фраке и уныло объявил: «Музыкальной части не будет - в связи с событиями квартет распался...» (Оказалось, один из участников знаменитого квартета, «в связи с событиями», отказался играть.) На торжественном ужине - разумеется, со свечами - Лундквист встал, сказал: «В общем, писателям всегда плохо», - постоял, потом сел.

Почему же в Швеции много и «проклятых поэтов», и мрачных пропойц, и самоубийц? Не знаю, не хочу отделяться парадоксальными гипотезами. Верно одно: «Все дело в людях». А человеку, видимо, мало и артистически приготовленных селедок, и рая из пластмассы.

В середине пятидесятых годов, когда многое на свете оттаяло, Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время ежовщины. В школу норой приходил то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидела Москву в очень трудные годы, и, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве.

Мне хочется прервать рассказ о Стокгольме одной историей. Я должен ее рассказать, хотя она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной. Героя истории зовут Андре, у нас его звали Андреем, я не назову его фамилии, - может быть, огласка была бы ему неприятной. Накануне революции в Париже русский эмигрант, литератор, познакомился с молоденькой поэтессой русского происхождения. Родился Андре. Вскоре его отец уехал в Россию, а

поэтесса вышла замуж за скульптора, ставшего потом знаменитым. Отчим полюбил мальчика, баловал его. Однажды Андре увидел фильм «Броненосец «Потемкин». Он знал, что его отец в Москве, и решил, что должен уехать в Советскую Россию. Мальчика вписали в паспорт советского художника Штеренберга, и он попал в Москву - к отцу и молодой мачехе. Романтики он не увидел. Мачеха посылала его в очереди. Вскоре он с нею поссорился и ушел к беспризорным. Помню, как его мать, обливаясь слезами, показала мне письмо Андре, которое он написал ночью в аптеке, где прятался от мороза.

При облове милиция поймала Андре и отвела его в родительский дом. Он учился в школе и подговорил двух товарищей убежать в Париж. У них были велосипеды. Андре украл револьвер. Ночью произошла перестрелка на турецкой границе; пограничники задержали беглецов. Мать Андре поехала к Ромену Роллану, а от него на Капри к Горькому. Времена еще были легкими, и Андре отправили в Болшево - в образцовую колонию. В 1934 году он приехал из Болшева в Москву, спрашивал меня про мать, про отчима. Я с ним проговорил час и понял, что судьба его будет трудной. В 1937 году его отца арестовали. Андре пошел во французское посольство и потребовал, чтобы его отправили в Париж. Никаких документов, подтверждающих, что он родился во Франции, у него не было. В тот же день его задержали и направили в концлагерь. Он отсидел свое, а когда его освободили, поехал в Москву и пошел во французское посольство. Его снова отправили в лагерь.

Кажется, в 1953 году он написал мне, а я написал о нем прокурору. В итоге Андре освободили. Я увидел уже не подростка, а человека с проседью, который забыл французский язык и не научился хорошо говорить по-русски, не имел профессии, жил то у профессора, то у инженера - товарищей по лагерям. Потом ему разрешили уехать во Францию.

В Париже он пришел ко мне. Он был хорошо одет, рассказал, что вначале ому докучали журналисты, узнавшие от посольства о его необычной судьбе, он отказался отвечать на их вопросы. Получил работу, сносно зарабатывает. Живет с матерью. Помолчав, он тихо сказал: «Но жить здесь неинтересно. Меня тянет назад в Советский Союз. Теперь это уж не глупые мечтания мальчишки, а трезвый вывод человека, которому пошел пятый десяток. Там я узнал настоящих

людей...» Когда я рассказал Лизлотте об Андре, она сказала: «Я его понимаю...»

Вернусь к городу, с которым связано и Движение сторонников мира, и многое в моей жизни. Это северный город - там холодно летом, а в декабре куцые дни. Хотя я прожил много лет в Париже, я человек севера. Я знаю, как трудно растопить лед человеческих отношений. На севере любят комнатные растения куда больше, чем в Париже. Да и человеческое тепло особенно ценят там, где люди много молчат и где они сжились с одиночеством.

«Все дело в людях»... В 1950 году мне было под шестьдесят. Конечно, я был много крепче, чем теперь,- мог проработать десять часов подряд, пройти, не останавливаясь, десять километров; но на душе у меня часто бывало смутно; я думал, что не живу, а доживаю, и душевную вялость приписывал возрасту. Я не мог не писать, но писать в то время было нелегко. Я говорю не о всех писателях - о себе. В писательском труде я зависел от злобы дня, от газет, от печального письма, рассказывающего про чужое горе, которому я бессилен помочь. В 1950 году я начал «Девятый вал», писал много, но без внутреннего огня. Меня выручило Движение сторонников мира: чистое и живое дело, хорошие люди. Может быть, и успех Стокгольмского воззвания в первую очередь объясняется людьми. Жолио-Кюри или Ива Фанж знали миллионы. Но, вероятно, мало кому известная итальянка Фирмина обладала большим сердцем, если ей удалось убедить тысячи незнакомых людей.

Да, многое у меня связано со Стокгольмом. Именно в этом городе в тусклый зимний день, беседуя с Лизлоттой, я впервые подумал о книге, которую теперь дописываю. Не знаю, удалась она или нет, автору трудно сулить о своей работе, но это действительно моя книга, я пишу ее по внутренней необходимости, пишу искрение, без давней желчи, кото-ран не раз меня спасала, да и бея пайкового меда. Я помню, как мне пришло в голову ее написать: вдруг стало страшно, что умру и не расскажу о людях, которых знал, любил. Годы и жизнь пришли потом - оказалось невозможным рассказывать о других, умалчивая о себе. А когда я решил сесть за эту книгу, я не думал о своих надеждах и заблуждениях: передо мной встала вереница людей ушедших, но близких, теплых, живых.

В суеверном страхе я спрашивал себя: хватит ли сил, времени? В записной книжке среди пометок о заседании комиссии и черновиков резолюции я нашел стихи Тютчева о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства.

В январе 1963 года я был у Пикассо. Пабло вдруг вздумал меня наставлять: «Ты не в том возрасте, чтобы обязательно при всяком случае отстаивать правду. Вспомни молодого человека в Палестине, ему за это пробили руки гвоздями...» Я усмехнулся - Пабло старше меня на десять лет, но в нем больше страсти, даже неистовства, чем в любом юноше, он только то и делает, что отстаивает правду...

Конечно, теперь я хорошо знаю, что такое старость: мотор изнашивается. Я чувствую старость, но о ней почти не думаю. Дело не в возрасте: задолго до того, как приходит смерть, человек не раз душевно умирает и снова рождается,- казалось, костер догорел, под пеплом едва тлела головешка, но вот человеческое дыхание ее разожгло. Все дело в людях...

В начале 1950 года я написал заявление: для работы над романом «Девятый вал» мне необходимо поехать во Францию, расспросить о некоторых событиях послевоенных лет. Поездку мне разрешили, это был удачей; но вскоре я узнал, что французы не дают визы. Представитель министерства иностранных дел сообщил прессе: «Г-ну Эренбургу отказано в визе не потому, что он - коммунист, а потому, что есть все основания полагать, что он лично испытывает неприязнь к Франции».

Прочитав это во французской газете, я рассердился, а потом мне стало смешно. Сколько меня ругали за чрезмерную любовь к Франции! Как раз незадолго до этого я прочитал длинную статью критика, который доказывал, что в романе «Буря» я пытаюсь окружить ореолом даже «беспринципного буржуа Лансье»... И вот, извольте, видеть, Бидо выдает меня за врага Франции!

Тысяча девятьсот пятидесятый год был годом, когда «холодная война» ежечасно грозила перейти в горячую. Летом загревели пушки в Корее. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло. Один старик объяснил мне: «Без соли не проживешь. А если придется умереть, нужно в чистой рубашке преставиться...» Весной и летом я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии - повсюду я видел исступление, ненависть, страх. События того времени еще хорошо памятливы, и я хочу рассказать о некоторых малозначительных эпизодах только для того, чтобы восстановить своеобразный климат конца сороковых - начала пятидесятых годов.

Трудно объяснить, почему я стал любимой мишенью антисоветских журналистов. Может быть, они преувеличивали мою роль, а может быть, их раздражало мое знакомство с жизнью Запада, не знаю, но писали обо мне часто и злобно. В Стокгольме один из французских делегатов дал мне газетку «Руж э нуар», в которой сообщалось, что я недавно избран в Верховный Совет, буду получать ежемесячно десять тысяч рублей и перееду в «дом в роскошном предместье Москвы, в так называемой «запретной зоне», где

проживают высшие сановники». Вслед за этим французский журналист спрашивал меня об «исчезнувших»: «Исчезла Тамара Мотылева, еще год назад вознесенная официальной критикой на небеса. Она лишилась всего, даже университетской кафедры, за то, что процитировала фразу Леона Блюма. Исчез Анатолий Софронов, на него обрушились молнии Кремля после того, как он осмелился обличить карьеризм. Исчез крупнейший романист Советского Союза Михаил Шолохов, который укрылся в деревушке на Волге...»

Во главе французской организации левых писателей тогда стоял Мартен-Шофье. Он написал письмо премьеру Бидо, которого знал по годам Сопrotивления, настаивал, чтобы мне выдали визу. Бидо не ответил. Мартен-Шофье опубликовал открытое письмо «Прощайте, Бидо!». Однако на Бидо больше не действовали никакие письма - ни закрытые, ни открытые.

Я решил попытать счастья в Бельгии и Швейцарии туда смогут приехать некоторые французские друзья. Бельгийцы дали визу на две недели, но тем временам это было крайним либерализмом. Общество дружбы «Бельгия СССР» устроило мои доклады в Брюсселе, в Антверпене, в Льеже. Народу повсюду было много, и аудитории были бурными: все тогда теряли спокойствие - и враги и друзья.

В Брюсселе меня пригласила к себе королева Елизавета, вдова короля Альберта, о котором много писали в годы первой мировой войны. Королева меня потрясла. Конечно, это была первая королева, с которой я разговаривал, но, будь она нетитулованной, все равно я изумился бы; ей было семьдесят четыре года, а она ходила быстро, как молоденькая девушка, водила машину, занималась скульптурой, изучала русский язык. Она поговорила со мной о «Буре», которую читала по-русски, показала свои работы, рассказывала о встречах с Роменом Ролланом, спрашивала, давно ли я был у Сталина, как поживают Оборин и Ойстрах. Насчет музыкантов я мог что-то сказать, а о Сталине промолчал: трудно было бы объяснить бельгийской королеве, что советскому писателю куда проще встретиться с нею, чем со Сталиным. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Она сказала, что текст ей кажется прекрасным. У нас нашлась общая страсть - садоводство, я сказал, что очень люблю туберозы, искал о Брюсселе луковицы, но не нашел. Месяца три спустя в Москве я получил из ВОКСа пакет с сопроводительным

письмом: «Прилагаемые луковицы переданы на ваше имя в посольство СССР в Бельгии королевой Елизаветой». В конце беседы королева сказала, что придет на мой доклад: «Я сяду в королевской ложе, обычно я сижу в партере, но газеты захотят промолчать о вашем докладе, а если я буду в королевской ложе, им придется написать...»

Королева действительно сидела в королевской ложе, и в газетах появились отчеты о моем докладе.

В Антверпене возле «Зала Рубенса» было много полицейских. Несмотря на безработицу, бастовали докеры; помимо экономических требований, они отказывались разгружать американские суда с оружием. Одному американскому судну пришлось ночью зайти в маленький порт Зее-Брюгге и там выгрузить оружие. Желая обескуражить забастовщиков, власти арестовали стачечный комитет и среди его членов депутата парламента, докера Франса ван ден Брандена. Забастовка, однако, продолжалась, а ван ден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконных действий полиции. Первого мая рабочие двинулись к тюрьме, требуя освобождения «нашего Франса». Мой доклад состоялся в тот самый день, когда ван ден Брандена освободили. Мы выпили в кафе за его здоровье, за мир. Кругом толпились рабочие. Ван ден Бранден, высокий, худой фламандец, говорил: «Можете быть уверены, в наш порт они не привезут оружия!...» Потом ван ден Бранден и его товарищи пошли в «Зал Рубенса» на мой доклад. Я говорил о Рублеве, о Пикассо, о единстве культуры, о Стокгольмском воззвании.

Вспоминая весну 1950 года, я думаю, что никто тогда не знал, чем все кончится. «Может быть, завтра начнется война» - это можно было услышать на любом перекрестке любого города. Пять послевоенных лет были бурными, пестрыми, противоречивыми. Германская Федеративная Республика была годовалым младенцем, да и НАТО еще барахтался в колыбели. Многим казалось, что можно изменить ход событий. В Брюссель приехал молодой француз, рабочий-металлист Раймонд Агасс: он хотел рассказать мне о драме города Ля Рошелль. Докеры Ля Рошелль отказались грузить суда с военным снаряжением, которые должны были уйти в Сайгон. Власти попытались разогнать докеров, найти «желтых». Тогда в порт двинулись рабочие. Агасса арестовали и предали суду. В день суда над зданием трибунала неожиданно взвился красный флаг. Агасс

восклидал: «На войну мы не будем работать! Не выйдет!» Рассказал он мне о событиях в салоне гостиницы «Палас», и дамы, дремавшие в креслах, испуганно убежали.

Две недели спустя в Женеве марсельцы рассказали мне, как судно «Эмнир Маршалл» металось по Средиземному морю - ни в одном порту его не хотели разгрузить. Ко мне приехал товарищ из Ниццы. Там должны были погрузить установки для управляемых снарядов. Военную технику стыдливо прикрыли ветками мимозы, но кто-то обнаружил закамуфлированные установки; завывла сирена, рабочие ринулись в порт.

Бог ты мой, сколько в этом было романтики! Раймонда Дьен отпраздновала в тюрьме день рождения - ей исполнился двадцать один год. Ей слали десятки тысяч поздравительных телеграмм. Что она сделала? Легла на рельсы, задержала на час или на два воинский состав. Но ее имя повторяли сотни миллионов людей, юноши и девушки повсюду вдохновлялись ее поступком.

Тогда еще не успел сложиться быт послевоенного Запада. В Лондоне в центре города чернели развалины. Пролетая над Германией, я видел скелеты разбомбленных городов. В Англии еще существовали продовольственные карточки. Европа жила бедно, тревожно, суматошно. Битва рабочих во Франции и в Италии была проиграна еще в 1947 году, но всем казалось, что битва продолжается. Пентагону, который вместе с некоторыми монополиями определял политику Америки, помогал всеобщий страх. Я убежден, что Сталин не хотел войны, однако его имя пугало не только буржуазию, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих рабочих Западной Европы. Французские газеты писали, что советские танки в течение нескольких дней смогут дойти до Дюнкерка и Бреста. Симона де Бовуар в своих воспоминаниях рассказывает, как писатели, встречаясь друг с другом, спрашивали: «Что вы собираетесь делать, когда советские войска приблизятся к Парижу,- уедете или останетесь в оккупированной Франции?» Камю говорил Сартру: «Вы должны уехать - они вас не только убьют, но и обесчестят...» Трагедия коммунистов была в их изоляции, связанной с подозрительностью соседей, со страхом перед нашествием, с разговорами о «пятой колонне». Антверпенских докеров не поддержали ни фламандские крестьяне, ни многие социалистические профсоюзы.

В Льеже мой доклад устроили в консерватории. Валлонцы - люди темпераментные, и после доклада меня не отпускали - я должен был расписываться на книгах, своих и чужих, на листочках из записных книжек, на членских билетах общества «Бельгия - СССР», на различных карточках. Вдруг чрезвычайно рослый любитель автографов, расталкивая всех, прорвался ко мне и протянул бумажку. Я чуть было не подписал ее, но человек зычно крикнул: «Ваши документы!» Оказалось, он сунул мне полицейское удостоверение: решил на всякий случай проверить, кто этот смутьян.

А в общем, бельгийские власти вели себя корректно. Правда, когда ректор Брюссельского университета попросил министра юстиции продлить мне визу на один день для того, чтобы я мог прочитать лекцию студентам о русской литературе, министр отказал. Но это было в нравах времени.

Бельгии жила лучше соседней Франции: в магазинах было не только больше товаров, но и больше покупателей. Бельгийцы объясняли: «Все дело в Америке...» Директор «Атомного центра» профессор Козенс рассказал мне, что бельгийские ученые, работающие над проблемами мирного использования атомной энергии, не имеют урана. Он посоветовал мне съездить в загородный музей Конго. Там я увидел кусок темного минерала, под которым значилось: «Уран, Катанга Шинколовбе». Это было некоторым объяснением любви американцев к маленькой Бельгии.

Теперь, вспоминая музей и дощечку «Катанга», я думаю о другом: о драме, разыгравшейся десять лет спустя, о судьбе Лумумбы. Экспонаты стремились убедить посетителей музея в богатстве Конго и в духовной неполноценности его туземцев: благородные миссионеры, культурные колонизаторы и уродливые, дикие негры. Уран, золото, медь, олово, слоновая кость, каучук... Десять лет спусти к этим сокровищам можно было добавить реки человеческой крови.

Я познакомился с сенатором-социалистом Анри Ролленом. Он наговорил мне много неприятного о советской политике, а потом неожиданно сказал, что находит Стокгольмское воззвание разумным. Конечно, я тогда не мог себе представить, что Роллен станет одним из инициаторов встреч «Круглого стола», что я буду у него дома дружески разговаривать с ним о литературе, что на митинге в Брюсселе, где он будет председательствовать, после меня выступит

Жюль Мок и скажет: «Мой друг Эренбург предлагал...» Я говорил, что политика часто вмешивалась в человеческие отношения - рвались дружеские связи; бывало и наоборот - вчерашние недруги начинали благожелательно улыбаться. Я думал: такой-то очень изменился, а такой-то считал, что изменился Эренбург; наверно, мы все менялись, а больше всех менялось время.

Бельгия меня удивляла контрастами. Центр Брюсселя был освещен куда ярче Парижа, световые рекламы неистовствовали, как на Бродвее. Но стоило отойти в сторону - и в теплый вечер у старинных домов судачили старушки в чепцах. Люди читали в газетах ужасные предсказания об атомной войне, а потом работали, мирно калякали, пили пиво. В старых городах Фландрии сплетницы с помощью прикрепленных к окнам зеркалец видели, что происходит на улице, оставаясь невидимыми. Писатели, которые принимали меня в Пенклубе, сначала судорожно говорили о надвигающейся войне, спрашивали, не ждет ли их участь Ахматовой и Зощенко, а потом начинали спорить о Сартре, о Кафке, о Маяковском.

Я поехал в Остенде, чтобы повидать художника Пермеке. На побережье было много разрушенных зданий. Проезжая мимо Ля Панн, я вспомнил, как писал «Хуренито». Где же та гостиница?... Чернел кусок обугленной стены.

В Брюсселе я пошел к Элленсу. Он говорил, что кругом бестолочь, слепота, трудно разобраться. Я его удивил, сказав: «Самое трудное, что мы противоречим самим себе...»

Действительно, было много противоречивого не только в жизни Бельгии, но и в голове человека, размышлявшего над бельгийскими противоречиями. Я сидел в Брюсселе и читал статьи финансистов о дивидендах «Верхней Катанги», о том, как американский трест «Группа А - Б» купил миллион шестьсот тысяч акций у англичан и бельгийцев: злоба дня продолжала меня волновать. А попав на посмертную выставку Энсора, я погрузился в другую стихию - исчезли и уран, и Ван-Зееланд, и Ачесон. Я глядел на пустынные пейзажи, на шествие розовых масок, на одинокого извозчика, уснувшего навеки в эпоху Верлена и Малларме. Кажется, почти всю свою жизнь я жил одновременно в различных мирах, два человека сосуществовали, и порой далеко не мирно; в тот год я это чувствовал особенно остро.

Швейцарскую визу я попросил еще в Москве. В Брюсселе меня вызвали в посольство Швейцарии: визу мне дадут, но я должен подписать заявление: «Я, нижеподписавшийся, Илья Эренбург, обязуюсь во время моего пребывания в Швейцарии воздерживаться от какой-либо политической деятельности, в частности не выступать с докладами и не появляться на собраниях, как публичных, так и частных, также не устраивать пресс-конференций».

Я исправил текст и перед словом «собраниях» вставил «политических». Дипломат сказал, что запросит по телефону Берн. Я прождал добрый час. Наконец дипломат уныло мне сообщил, что я не должен показываться на собраниях не только политических, но и культурных, религиозных или литературных. Он добавил, что я могу посещать богослужения и ходить в кино.

Когда я приехал в Швейцарию, в Сен-Галлене шла конференция швейцарских писателей. Я получил приглашение, но власти мне напомнили, что я обещал не показываться на собраниях. Я не решился даже пойти на концерт чехословацкой музыки.

Нейтральная Швейцария была вовлечена в водоворот «холодной войны». В Цюрихе мне дали циркуляр биржевого агентства «Аффида»: «...Тот факт, что Россия теперь также обладает атомной бомбой, вызовет еще более быстрый рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «младенцами войны», то есть с акциями предприятий, которые во время второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы прилагаем краткое описание «Локхид эйркрафт корпорейшн», акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7 процента...» Я ознакомился также с размышлениями педагога, продиктованными учеником старшего класса сионской гимназии для упражнений в переводе с французского языка на немецкий: «...Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задушенных друзей, за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят похитить у нас нашу отчизну, они уже собрали солдат и подошли к предгорьям наших Альп...»

Разумеется, я встречал швейцарцев, равнодушных к акциям и ненавидевших ненависть; в Женеве дирижера Аисерме, в Базеле - теолога Барта, в Люцерне - художника Эрни. Мне хочется сейчас,

рассказать о замечательном эллинисте Андре Боннаре. С ним я познакомился на Парижском конгрессе. Теперь он пригласил меня к себе в Лозанну. Мы говорили о Микенах, о советской поэзии, о мире. Потом я прочитал его книги, и они помогли мне понять многое в культуре Эллады. Я встречал Боннара и позднее - побывал еще раз у него в Лозанне, беседовал с ним на различных конгрессах мира. Я пишу о нем в этой главе потому, что вечер его жизни тесно связан с «холодной войной». Он был на три года старше меня и принадлежал к последним гуманистам Запада. Никогда не занимавшийся политикой, он одним из первых примкнул к Движению сторонников мира. В 1952 году, когда он ехал на сессию Всемирного Совета, его задержали в Цюрихе и предъявили нелепейшее обвинение в разглашении государственной тайны. Судили его полтора года спустя и приговорили условно к пятнадцати дням тюремного заключения; приговор достаточно показывает вздорность обвинения - оправдать его судьи Берна все же не решились: боялись тем самым обвинить швейцарскую полицию.

Редко можно встретить такого бескорыстного, честнейшего и чистейшего человека, каким был Боннар. Он любил поэзию Древней Греции, ее памятники, жизненность ее искусства, любил студентов, которым читал лекции, любил мир. На суде он сказал: «Вы теперь должны вынести приговор. Это вопрос вашей совести. Моя совесть чиста... Здесь говорили о моем гуманизме, но гуманизм для меня не наука кабинетного ученого, а нечто другое - законы, определяющие жизнь. Я также хочу сказать, что неправильно пытались доказывать, что во мне гуманист подозрительно сосуществует с другой половиной с тем, кого слишком обобщенно называли «коммунистом». В действительности эллинизм для меня был долгой всепоглощающей школой. Пытаются отрезать переводчика «Антигоны» от сторонника мира, а на самом деле это тот же человек. Нет, господа судьи, я не существо с двойной жизнью, каким меня здесь изображали... Не думайте, что литература лишь для того, чтобы ее читали, она создается для того, чтобы ее воплощали в жизнь. Если бы она не учила искусству жить, она была бы только игрой и я никогда не посвятил бы ей свою жизнь...»

Страшная была эпоха, когда к книгам относились, как к бомбам, когда мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость,

Андре Боннара, и попытаться его замарать. А он после суда мягко улыбался и с надеждой глядел на детей: «Им будет легче...»

Я пробыл в Швейцарии десять дней: приезжали друзья из Парижа, Гренобля, Марселя, Лиона, Ниццы; я слушал, записывал, а вечерами сидел на террасе кафе, озеро мне казалось то притихшим на минуту морем, то искусственным бассейном, устроенным для почтенных англичанок или туристов из Оклахомы. Глядя на воду, я в тысячный раз думал о том, что жизнь - это очень странная пьеса - трагедия, которая сбивается на фарс, один актер плачет, другой почему-то смеется, и для того, чтобы принять происходящее на сцене, нужно, видимо, быть очень мудрым или круглым дураком. А обыкновенному человеку остается работать, читать газеты, смотреть на озеро, если таковое имеется, и не пытаться разгадать замысел чересчур сложного автора.

Приехала на несколько часов Дениз. Мы долго глядели друг на друга,- может быть, снова захотели понять, что с нами случилось. Потом я вдруг сказал: «Это было в другой жизни...» Она ответила «да» и улыбнулась смутной улыбкой - как когда-то.

Виза истекла. Я поехал в Берлин. Там «холодная война» была бытом. В Восточном Берлине на троицу проходила «встреча молодежи». Юноши и девушки в синих рубашках или блузках маршировали, пели песни, слушали речи ораторов. Все это происходило среди развалин. Одна сторона Потсдамерплатца принадлежала демократической республике, на другой стояли американские солдаты. Парни в синих рубашках запускали пачки листовок, на них была воспроизведена пикассовская голубка. В ответ летели апельсины, и какой-то бурш в клетчатой рубашке вопил: «Апельсинов-то у вас нет...»

Границу все время переходили люди - шли на работу, повидать родственников, купить что-либо. Я несколько раз отправлялся в Западный Берлин. Напротив «Романишес кафе», где я когда-то сживал с Моголи Надь, Маяковским, Вальтером Мерингом, Тувимом, была биржа - меняли «восточные» марки на «западные». Тем же занимались сотни менял в бараках или в отремонтированных нижних этажах разрушенных домов. Курс в то время был фантастическим - за одну «западную марку» требовали семь «восточных». Побриться стоило одну марку в обеих частях города.

Экономные бургеры западных секторов брились в восточном - у них оставалось после этого шесть марок. Хозяйки западных секторов покупали в восточном овощи, хозяйки восточного сектора несли домой в кошелках кофе, апельсины, бананы. Магазины на Потсдамерштрассе бойко торговали английской материей; в витринах красовались надписи: «Принимаем восточные марки»; а расчетливые бургеры Шарлоттенбурга несли шевиот портным на Александерплац - костюм обойдется втрое дешевле. На Курфюрстендаме танцевали самбу, пили рейнвейн, разглядывали полуголых визгливых певичек. А в Восточный Берлин любители отправлялись смотреть пьесу Брехта. В Западном Берлине было довольно много безработных, но американцы не жалели денег - перед ними был не город, а выставка капиталистического рая, безработным давали пособие - сто марок в месяц, и безработные говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим в Восточном Берлине: «Мы ничего не делаем и получаем семьсот ваших марок».

В восточном секторе было много книжных магазинов. На столбах красовались политические плакаты или афиши - «Разбойники» Шиллера, диспут «Нужно ли нам искусство». В Западном Берлине пестрели рекламы; маленькие магазины выставляли предметы роскоши. На Курфюрстендаме были переполнены рестораны, кафе, кабаре. Вывески напоминали о далеком прошлом: «Ликеры Маппе», «Ресторан Кемиинского». Мне было десять лет, когда я впервые ел у Ашингера сосиски. Все рухнуло: империя Вильгельма, Веймарская республика, третий рейх и вот передо мной сосиски Ашингера. Правда, помещение не то - закусочная в полуобвалившемся доме, но бургеры довольны: жизнь восстанавливается, старая, надышанная, хорошо знакомая.

Громкоговорители двух Берлинов с утра до ночи обличали друг друга. Это, как и многое другое, напоминало фронт. Печать Западного Берлина уверяла, будто «красные» устраивают «встречу молодежи», чтобы захватить весь город. Американцы, англичане, французы выставили орудия, танки. Но не было ни снарядов, ни пуль, только много листовок и немного апельсинов.

У войны свои законы, она неизменно обкрадывает духовный мир человека, упрощает его суждения, превращает своего в святого, а врага в плакатное чудовище. В этом «холодная война» напоминала все

войны. Если Москва или Нью-Йорк были тылом, то берлинцы жили на переднем крае. А писателю трудно ограничиться короткими лозунгами, иконописью или карикатурами.

В Восточном Берлине я встретился с Брехтом, с Анной Зегерс, с Арнольдом Цвейгом. Газеты Западного Берлина на них нападали, называли «продавшимися Москве», «карьеристами», «приспособленцами». Это было глупо - ведь любой житель Восточного Берлина мог перейти Потсдамерплатц и оказаться в том мире, который на Западе именовался «свободным», а подкупить было куда легче на «западные» марки, чем на «восточные». Анна Зегерс приехала в демократическую республику из Мексики, Брехт из Соединенных Штатов, Цвейг из Палестины. Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс. Помню долгий спор с одним из людей, которым чуждо, а может быть, и враждебно искусство. Мой собеседник уверял, что в романе Зегерс «Мертвые остаются молодыми» чувствуется симпатия к гитлеровцам, есть там даже антисемитские ноты; Цвейг - «полусоциист-полумистик», который смотрит одним глазом на Израиль, другим на Запад; что касается Брехта, то это «неисправимый формалист», упрямец, выступающий против реалистического изображения действительности, в его пьесах «нарочитая фантастика». Я возражал, говорил, что Цвейга никто не тащил из Палестины в Берлин, что Анна Зегерс не может быть антисемиткой - она еврейка, ее мать гитлеровцы убили в Освенциме, а насчет избытка нарочитой фантастики в Берлине лучше промолчать - этот город превосходит фантазию и Брехта, и По, и Гойи. Горячился, конечно, зря: есть люди, которые умеют говорить, но не слушать.

Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим, такое впечатление обманывало - он слушал, многое подмечал, порой усмехался, Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил,- не Парижа или Берлина, а некоей страны, которую я про себя называл «Брехтией». Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю,

что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека.

Вспоминаю последнюю встречу у Анны Зегерс. Это было осенью 1955 года, за несколько месяцев до его смерти. Анна спрашивала: «Кого из писателей реабилитировали после Бабея?...» Я ей привез старый лубок: Бова-королевич вызвал на поединок Смерть. Брехт попросил перевести текст и насторожился, я почувствовал знакомое мне беспокойство.

Один автор Западной Германии в книге, посвященной Брехту, говорит, будто поэт «хитрил», был «расчетлив» в своих решениях. А хитрость Брехта была хитростью ребенка и все его «расчеты» - просчетами поэта.

В Москву я вернулся в начале июня, рассказывал о поездке, о Берлине. Савич меня спросил: «Ну как, по-твоему, будет война?...» Я ответил: «Ни в коем случае». Еще раз я оказался плохим пророком: две недели спустя началась война в Корее, которая долго угрожала стать мировой.

Мы жили на даче возле Нового Иерусалима. Лето было на редкость дождливым, и я почти весь день писал газетные очерки, а по вечерам слушал радио. Хотел сесть за роман, когда позвонили: нужно ехать в Лондон на конференцию мира - вопреки ожиданиям, англичане дали визу.

На аэродроме меня встретили английские сторонники мира и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу. Номер был роскошный, с ванной, и я думал, что смогу как следует выспаться. В «Ивнинг ньюс» на первой странице я увидел статейку с заголовком «Почему впустили Илью?». Я считал, что англичане, скорее, чопорны, чем фамильярны, и заметка меня озадачила. Ночью меня то и дело будили какие-то крики; в полусне я смутно думал: почему англичане кричат ночью на улице? Раньше такого не было... Утром я узнал от директора гостиницы, что был невольной причиной шума. Один из участников фашистской организации Мосли принес портативную трибуну и начал меня проклинать: я организовал войну в Корее, приехал в Англию для подрывной работы и так далее. Поскольку Хартии вольностей гарантирует свободу слова, полицейские ограждали оратора. Директор гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались, и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу.

В посольстве мне сказали, что летом в Лондоне вообще трудно найти комнату, а теперь какой-то конгресс да еще большой футбольный матч. Просидев полдня на заседании и выступив (то есть убедив убежденных в том, что мир лучше войны), я отправился по указанному адресу. Это была третьеклассная грязная гостиница, меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не успел даже опомниться, как за мною пришли - в Вестминстерском дворце меня ждут депутаты-лейбористы.

Корейская война взволновала всех - люди боялись, что она может перейти в третью мировую войну. Английские газеты уверяли, что военные действия начала Северная Корея. До Кореи далеко, и лейбористы так же мало знали о том, что произошло 25 июня на 38-й

параллели, как я, но считали, что коммунисты - зачинщики. Правда, среди лейбористов не было единомыслия, и некоторые депутаты говорили, что если военные операции и начали войска Северной Кореи, то Ли Сын Ман все же не заслуживает ни уважения, ни поддержки. Однако таких было мало (помню двоих - Э. Хьюза и С. О. Дэвиса). Большинство возмущалось «корейскими сателлитами Москвы». Напоминало все это, скорее, допрос, чем беседу и продолжалось до девяти часов вечера.

В Лондоне ужинают рано, и депутаты поели до встречи. Э. Хьюз провел меня в ресторан парламента, угостил пивом. Когда мы вышли, все рестораны уже были закрыты. Я позвонил в посольство и сказал, что я и английский коммунист, любезно согласившийся быть моим переводчиком, испытываем нестерпимый голод. Мы поехали в посольство, нас угостили рижскими шпротами и крабами «чатка»; это был настоящий пир. Расплата последовала быстро. Когда в час ночи я в такси добрался до гостиницы, мне сказали, что номер мне сдали по ошибке. Туалетные вещи положили без меня в чемодан, который и красовался у швейцара. Я возмущался, но швейцару хотелось спать, и он ничего не отвечал. Пришлось вернуться в посольство, там все спали; дежурный сказал, что я могу лечь на диван, где обычно ожидают приема посетители, но ни постельного белья, ни подушки у него нет.

Утром за мной приехал Айвор Монтэгю, повез на собрание и вдруг неожиданно объявил, что нам пора ехать: назначена моя пресс-конференция. Я ответил, что не могу показаться перед журналистами в измятой рубашке, придется заохать в посольство. Лондон очень большой город, и Монтэгю ответил: «Это невозможно. Лучше купить рубашку». - «Но где я могу ее надеть?» - «В уборной». Когда мы подъехали к помещению, оказалось, что полтора десятка журналистов уже ждут меня. Монтэгю показал себя умелым полководцем: вместе с двумя сторонниками мира он закрыл путь в уборную и дал мне возможность переодеться.

Должен признаться, что после пресс-конференции мне снова пришлось переменить рубашку: зал был набит журналистами, и вели они себя настолько вызывающе, что меня бросало в пот. Я понимал, что должен быть спокойным для тех немногих, которые действительно интересовались моими ответами, однако это внешнее спокойствие

стоило сил. Я бывал на сотнях пресс-конференций, но ничего подобного не видел. Все время меня прерывали. Один журналист подбежал и крикнул: «Нечего выворачиваться. Отвечайте прямо - «да» или «нет»?»

На Трафальгар-сквер устроили митинг. Народу пришло много. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что присутствовало десять тысяч, ТАСС назвал цифру «двадцать», наверно, было тысяч пятнадцать. Я оглядел площадь, памятник адмиралу Нельсону, смутился, но быстро взял себя в руки и произнес речь. Сразу после этого пошел сильный дождь, толпа начала редеть. Когда митинг кончился, я закурил, у меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной маркой - серп и молот. Незнакомый журналист попросил подарить ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении был снабжен фотографией: «Спички, которыми Илья собираетсЯ поджечь Англию». В другой газете я прочитал: «Илье Эренбургу хочется написать новый роман «Падение Лондона».

Монтэгю нашел комнату в гостинице, где меня не беспокоили, - это было великим делом. Вообще Монтэгю много раз меня выручал. Познакомился я с ним в 1948 году на Вроцлаве ком конгрессе. С тех пор в течение пятнадцати лет я неизменно видел его на всех заседаниях и совещаниях сторонников мира; он не выступал с речами, но работал изо всех сил. Внешне он напоминает не благопристойного джентльмена, а одного из посетителей той «Ротонды», куда я ходил юношей; на нем множество пестрых свитеров и жилетов, которые на заседаниях он постепенно снимает. Биография его еще экзотичнее. Он рос в богатой семье. Его отец был лордом, либералом. Айвор в ранней молодости увлекся Октябрьской революцией, побывал в Москве; потом стал коммунистом. Я как-то с ним бродил по восточным, рабочим кварталам Лондона. Прохожие его узнавали, некоторые начинали беседу - он не раз поддерживал кандидатуру коммунистов в этом районе. В молодости он занимался зоологией и обогатил зоопарк Лондона различными зверьми. Из Ленинграда он повез в Лондон на советском пароходе медвежонка. На третий день медведь лег в каюте Монтэгю и проспал до Лондона. Команда призналась, что медвежонок всем надоел, бродил по судну, гадил, и матросы решили его напоить - отдали ему свою водку. Потом Айвор Монтэгю занялся кино; помогал Эйзенштейну в Мексике. Он продолжал работать над

проблемами кинематографии и телевидения. Есть у него еще одно увлечение, о котором нельзя промолчать, пинг-понг, он председатель всемирного объединения ревнителй этого спорта. Айвор любит искусство; он очень доверчив и вместе с тем упрям; словом, это человек, который мне всегда казался понятным, хотя рассуждает он путано, а по-французски говорит настолько своеобразно, что французские слова порой кажутся английскими. В 1950 году, когда положение коммунистов в Англии было очень трудным, Монтэгю спокойно беседовал с политическими противниками: его необычность, очевидно, многих обезоруживала.

Один известный английский писатель, который на пресс-конференции не присутствовал, но был в то время настроен против Советского Союза, сравнил меня с «большой немецкой овчаркой» и посоветовал поскорее убраться в Москву. Я не называю этого писателя - мы познакомились с ним позднее, а лет шесть или семь спустя он изменил свое отношение к сторонникам мира, а заодно и ко мне.

Хуже было с выступлением в английском парламенте одного из лейбористов. (Имени его я тоже не называю, я его потом не встречал, не знаю, что он теперь думает, и отношу инцидент, о котором хочу рассказать, к климату «холодной войны».) Сотрудники журнала «Нью стейтсмен» пригласили меня на ленч; там я с ним познакомился. Разговаривали мы долго три часа, переводил с французского на английский Монтэгю. Разговор шел, разумеется, о мире и войне. Я рассказал об интересной статье во французской газете «Ле монд» и сказал, что ни французский народ, ни английский, видимо, не хотят воевать, настроения простых людей сильно отличаются от речей политиков, да и от того, что пишут в газетах. После этого депутат выступил с речью в палате общин. Он сказал, что недавно обедал со мной. Один консерватор его прервал: как может английский депутат сесть за стол с Ильей Эренбургом? Депутат-лейборист ответил, что хотел узнать врага. После чего он заявил, будто я говорил ему, что англичане, как и французы, не способны воевать ни морально, ни физически. Он сравнил меня с Риббентропом, который докладывал Гитлеру, что англичане не окажут никакого сопротивления. Прочитав это, я написал письмо в «Тайме». Написал письмо и Монтэгю. Но всякие такого рода опровержения мало кого интересуют, дело было

сделано: Эренбург - это Риббентроп, немецкая овчарка, человек, который подготавливает нападение «красных» на Великобританию.

За полгода до этого правая французская газета писала: «Было бы глупым впустить к нам снова Илью Эренбурга. Мы слишком хорошо знаем этого молодчика. В красной России он играет ту же роль, что играл Фридрих Зибург в нацистской Германии, который, объясняясь в любви к Франции, был квартирмейстером вермахта. Автор «Бури» прокладывает дорогу сталинским легионам. Эренбург во Франции был бы еще одним агентом ГПУ. И каким! Он хорошо знает джунгли Парижа, вхож в различные круги общества, это любимчик эстетов и снобов, он стал бы главным звеном бесконечной цепи шпионажа».

Меня пригласил Английский совет мира - эта организация, объединяла дюжину пацифистских движений, лиг, обществ: и квакеров, и толстовцев, и противников воинской повинности. Среди моих собеседников я увидел Зиллиакуса, человека, с которым десять лет спустя подружился. Я сразу почувствовал недоверие, даже подозрительность - такое уж было время. Мы обсуждали возможность совместных действий для прекращения войны в Корее. Постепенно мне удалось смягчить неприязнь, разговор начинал принимать благоприятный характер. Испортила дело секретарша английского Комитета сторонников мира. Она подошла ко мне и шепотом спросила: «Может быть, вы устали? Я могу попросить, чтобы вам дали чашку чая...» Настроение собеседников изменилось; они не знали, что речь шла о чашке чая, и начали шептаться между собой: овчарка обернулась волком, на котором чепчик бабушки...

В субботу часов в пять, то есть именно в то время, когда все англичане, богатые и бедные, правые и левые, пьют чай, я подошел к зданию нашего посольства и увидел странную картину: толпа молодых людей, кинооператоры, полиция. Оказалось, за пять минут до того молодые приверженцы Мосли начали швырять камни в посольские окна; полиции тогда не было, но кинооператоры были своевременно предупреждены и засняли демонстрацию народного протеста против «красных», продолжающих агрессию в Корее. Посол Зарубин показал мне камни. Комнату подмели, убрали осколки стекла. Посол при мне позвонил министру иностранных дел Бенину, который уже отдыхал на даче, попросил о срочном приеме. Потом посол стал диктовать ноту протеста. Все это я видел впервые, и

Зарубин, заметив, что я увлечен происшедшим, предложил мне остаться, подождать его возвращения. После беседы с Бевином он сказал, что министр мялся, разумеется, осудил хулиганов, обещал принять меры и так далее...

Я побывал в Кембридже: Монтэгию повез меня к одному из крупнейших физиков - Дираку. Приняли нас хорошо. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Дирак сказал; что считает атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается. Пришел его сын, подросток, учившийся в колледже, и попросил меня надписать «Падение Парижа». Дирак сказал: «Вот это - новое поколение, он у меня красный...» Я ответил, что для «Дейли мейл» и сам Дирак «красный» - ведь ему не нравится «холодная война» и он с уважением говорит о Жолио-Кюри. Дирак рассмеялся. (Жолио-Кюри мне как-то рассказывал, что Дирак сделал важное открытие в квантовой механике, когда ему еще не было тридцати лет.) На два или три часа я забыл о «холодной войне», слушая интересного, своеобразного человека. После обеда Дирак осторожно спросил меня, что случилось с его другом Капицей, в газетах сообщали, будто он арестован. Как раз перед моим отъездом мне рассказали, что Капица (чем-то рассердивший Сталина) продолжает работать, и я ответил Дираку, что Капица на свободе, у него лаборатория. Я почувствовал, что Дирак и его жена хотят мне верить, но не решаются. Госпожа Дирак спросила, могу ли я взять несколько мотков шерсти для жены Капицы - она любит вязать. В меня впились четыре глаза. Я ответил, что охотно передам подарок. Сразу всем нам стало легче. Таково было время, и таковы были человеческие отношения...

В Лондоне я впервые по душам поговорил с Берналом. Он был и во Вроцлаве и в Париже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой подолгу беседовали, и я его полюбил. Он с виду похож на классического ученого - все забывает, все теряет, торчат непокорные волосы. На самом деле он все помнит и очень многое его волнует. Черчилль не раз прибегал к его советам во время войны, ему даже специально заказали военную фуражку - у него чересчур большая голова. Однажды он мне рассказал, как ему пришло в голову открытие, которое он сделал. Это было в тридцатые годы; делегация научных работников Англии приехала в Москву. Уезжали они с

Центрального аэродрома. Отлет задерживался из-за погоды, лил дождь. Зала для пассажиров не было. Бернал стоял под навесом, и здесь ему пришла в голову идея структуры воды. Он поделился об этом со своим попутчиком физиком Р. Фуллером. В самолете они рассказали об этом друзьям-коллегам. Те выслушали и сказали Берналу: «Сейчас же, когда прилетим, запишите это...»

Бернал тратил много времени, сил на движение за мир.

Я приведу отрывок из письма, написанного профессором Берналом в сентябре 1954 года (как автор письма указывает - в четыре часа утра): «Меня поместили в гостинице излишне роскошной. Мне дали апартаменты, щедро украшенные в хорошем академическом вкусе, с картинами, написанными настоящим маслом, я знаю, что они могли быть еще хуже этого. Чтобы помочь мне уснуть, напротив окна моей комнаты сверкает ярчайший фонарь, а под окном стоянка машин, и водители то заводят моторы, то громко беседуют: если бы я понимал язык, наверно, их разговор развлек бы меня. Для немногих дней, которые я смогу провести в Москве, выработана программа: турне по метро, улица Горького и в воскресенье осмотр архитектуры на Сельскохозяйственной выставке... Я в Москве в восьмой раз, в этом городе я знаю десяток умных, интересных людей, и вместо того, чтобы дать мне возможность поговорить с ними, когда на свете столько интересных событий, меня превращают в священную корову...»

Он очень живой человек: все его интересует. В письме, которое я процитировал, он вспоминает строчку Вийона: «От жажды умираю над ручьем». Однажды он мне рассказал о замечательном английском поэте начала XVII века Джоне Донне, стихи которого Хемингуэй взял эпиграфом для романа «По ком звонит колокол». В другой раз мы беседовали о Пикассо.

Как-то он приехал ко мне в Новый Иерусалим, мы пошли гулять, Бернал увидел возле одного домика груды камней, начал их разглядывать, некоторые клал в карман. Люба сказала: «Но это ведь кто-то привез - хотят, наверно, вымостить дорогу»... Бернал выбросил камни, потом снова начал их разглядывать и, виновато озираясь, три или четыре сунул в карман. Когда мы вернулись, он начал разбивать камни, показал мне один с отпечатком морской ракушки и сказал, что возьмет его в Лондон.

Я привез его в окрестности Волоколамска, где на берегу озера сохранился прекрасный монастырь XVI века. Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной государства, никто его не охраняет. В башне, где был заточен Василий Шуйский, мы увидели свинью; в храме с осыпающейся росписью сушилось белье. Был холодный, осенний день; машина забуксовала, нам пришлось пройти километр по вязкой глине, обувь то и дело застревала, и Бернал вытаскивал туфлю, поджав одну ногу, как аист. Потом он говорил, что это был чудесный день.

Я старался уйти от убийственного климата «холодной войны», то беседуя с Берналом, то бродя по набережным Темзы и вбирая в себя унылую красоту огромного живого города, то глядя в картинной галерее на пейзажи Тернера, который за полвека до французских импрессионистов начал современную живопись.

В вечерней газете я увидел статью «Когда же Илья уберется восвояси?». Это было в день моего отлета.

Я глядел в оконце самолета - мы летели низко над Лондоном: игрушечные кубики домов, красные точки автобусов, спортивные площадки, парки, машины - макет огромного города. Я вспомнил людей на митинге, улыбку Бернала, который в разговоре то и дело вздыбливает свои и без того вздыбленные волосы, вспомнил и крикуна под окном, журналистов, осколки оконных стекол...

Эта глава вышла чересчур длинной и пестрой, но я хотел рассказать о несуразности «холодной войны» и припомнил некоторых людей, которые тогда меня поразили человечностью, спокойствием, сопротивлением мнениям и настроениям, окружавшим их. Десять лет спустя в одной из комнат Вестминстерского дворца собралась конференция «Круглого стола»; не только лейбористы, но и консерваторы любезно беседовали с советскими делегатами. Да и многое другое, описанное в этой главе, мне самому теперь кажется далеким прошлым, хотя с тех пор прошло всего пятнадцать лет... Конечно, с нашей стороны тоже было много ненужного, чересчур резкого, несправедливого по отношению к тому или иному человеку. Но хорошо будет, если некоторые люди Запада задумаются и над своей ответственностью. Мою повесть я назвал «Оттепелью», я начал ее писать в конце 1953 года. Западным газетчикам название понравилось, они умиленно его повторяли, но в 1950 году они делали все, что

могли, для усиления крепчайших морозов, и об этом также не стоит забывать.

Я рассказал о том исступлении, которое охватило мир в 1950 году. Мне хочется проверить свою собственную ответственность. Конечно, я не мог быть ни спокойным, ни сдержанным в суждениях; я не наблюдал со стороны за «холодной войной», я в ней жил. Что я мог чувствовать, разглядывая номер «Кольерс», посвященный будущей войне против Советского Союза? Описав разрушение советских городов, «Кольерс» рисовал идиллические картины Москвы, оккупированной американцами: заводы будут проданы или сданы в аренду иностранным предпринимателям, театр Красной Армии переименуют в театр Нового Света, в нем будет идти модная американская комедия «Бездельники и женщины», крупная московская газета начнет печатать на первой полосе мемуары кинозвезды Дженни Джемс «Как я любила и разлюбила в Сараваке». Я отвечал резко, и поступать иначе не мог.

Это было в 1949 году, и тогда еще не понимал смятения, которое охватило интеллигенцию Запада, и порой бывал несправедлив. Я прочитал книгу английского философа Бертрана Рассела, в которой он отстаивал создание «всемирного правительства». Эта идея мне и теперь кажется неприемлемой: она привела бы к мировому господству капитализма, но глупо было представлять Рассела как апологета господствующего класса.

Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра, называл его «хлестким, рассудочным, салонным». Я прочитал перед этим его пьесу «Грязные руки» - талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Почему я назвал Сартра «салонным»? Я тогда его плохо знал, две встречи - перед войной и в 1946 году - носили случайный характер. Во Франции, да и в других странах Запада все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только студенты, но и дамы без профессии, без возраста, щебетавшие в различных гостиных и на приемах: «О, Сартр!...» Познакомившись с Сартром, я увидел человека умного, скромного, который тяготился своей славой, называл ее «дурацкой», - он хорошо знал, что многие,

говорившие о нем с благоговением или возмущением, не прочитали ни одной из его книг.

В нашу эпоху политика не удел специалистов, а нечто общеобязательное редко кто может от нее укрыться. Политическая линия Сартра может показаться необъяснимой - столько в ней петель. В 1948 году он считал себя представителем «третьей силы», думал, что находится где-то между пролетариатом и буржуазией, между Советским Союзом и Америкой. Однако «ничьей земли» не оказалось, и «Грязные руки» обернулись в оружие Америки и буржуазии.

На Вроцлаве ком конгрессе Фадеев обозвал Сартра «гиеной»; четыре года спустя я получил письмо от аббата Булье, который писал, что церковное начальство запретило ему участвовать в Движении сторонников мира: «Я не могу приехать на конгресс в Вену - вряд ли поп-расстрига представит большую ценность для Всемирного совета... Мы вам посылаем на этот раз Сартра. Мне обидно, что я не увижу, как Фадеев заключит в свои объятия гиену»...

В Вене Сартр был звездой: его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали.

С 1952 года по 1956-й Сартр защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной ассамблее в Хельсинки.

После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями - советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал.

Всё это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснение хочу сказать о некоторых свойствах Сартра,- подружившись с ним и с Симоной де Бовуар, я многое понял.

Сартр по любви, да и по таланту - писатель, но его творчество и восприятие жизни зачастую зависит от другой стороны его деятельности - от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил: «Мысль и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассекли на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа, строят предположения, не веря тому, что «другой» говорит, толкуют его слова и занимают позиции, исходя от предположении - так-то

поступит одна позиция, исходя от предположения - так-то поступит противник. Тогда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости «хочешь мира - готовься к войне», а это - триумф абстракции. Люди становятся абстрактными. Каждый - это «другой», то есть воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека - преобладают наименования, этикетки...»

Наряду со стремлением осмыслить происходящее в Сартре много обостренной чувствительности. Менее всего он наблюдает, он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком: я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра: «Это наш Тартарен...» Приведу диалог. Агроном спрашивает: «Интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова?» - «Боюсь ответить - я не специалист».- «Это мы понимаем, что они едят книги. Но, скажем, пятьдесят литров в день дает?» - «Кажется, таких коров выставляют на выставках».- «А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по пятидесяти литров в день». Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне: «Хороший этот француз, такой простой человек!...» В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась: «В общем, он прав - Сартр действительно наивен...» А Сартр стесненно улыбался.

Рассудочность, в которой я пятнадцать лет назад упрекнул Сартра, связана не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских второй половины прошлого века, по будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером: то, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами молчания, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью - словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года.

Поездки на Запад о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат «холодной войны»; я увидел, как легко увеличить число врагов, и тон моих статей стал мягче. «Нет на свете вопросов,

которые нельзя разрешить соглашением,- писал я в «Правде»,- мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей... Мы дорожим ценностями любой цивилизации - «восточной» и «западной», «северной» и «южной». Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят.- для всех найдется место под солнцем, а кто прав - рассудит будущее». В ноябре 1950 года на Втором конгрессе сторонников мира я говорил: «Я стою за мир - за мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой господина Трумэна и господина Ачесона... Планета одна, однако она довольно вместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатию к идеям хозяина этого дома, и чтобы никто не швырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе... Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы для мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам, нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси. Развитие культуры человечества невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов... Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие».

Теперь такие рассуждения - азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверие. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с читателями. (Несколько лет спустя положение изменилось. В «Литературной газете» была напечатана статьи одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки. В запале (психологически понятном) он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету письмо - говорил, что в Америке есть своя - и значительная - культура, крупные ученые, замечательные писатели. Хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1957 году, а не в 1950-м...)

В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950-м после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло,

Стокгольме; потом на конгрессе в Варшаве; в 1951-м - сессия Всемирного Совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходят пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии, вопросы, которые, увы, все еще не стали историей,- гонка вооружений, рождение бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на Вокзальной площади, в Вене возле здания парламента. Секретариат Всемирного Совета помещался в Праге; там перед очередным конгрессом мне приходилось оставаться но несколько недель.

Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей; порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Элин Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе, кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с нею беседовал и убедил ее приехать на конгресс в Варшаву. (После этого были выборы, и ее не переизбрали в парламент.) Выступая в Варшаве, Элин Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила «представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю нал своими заблуждениями». Два года спустя она выступила на конгрессе в Вене; сказала, что я ей «открыл на многое глаза», но со многим в моей речи не согласилась: «Скажите, вы уверены, Илья Эренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх?...»

В Норвегии группа левых социалистов назначила мне свидание за городом. Денег на такси у меня не было, и я поехал в машине посольства. Шофер не знал окрестностей города. Я вылезал и спрашивал, но никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки. Я приехал с двухчасовым опозданием. Однако разговор был благоприятным. (Я рассказал об этой встрече, потому что несколько лет назад ее участники откололись от правящей партии и образовали новую.)

Бывали положения, когда мне приходилось краснеть. В Стокгольме секретарь Шведского Комитета мира Ценистрем, автор

превосходной книги о Пикассо, повел меня к одному из крупнейших врачей - я должен был убедить его подписать Стокгольмское воззвание. Нарядная горничная провела нас в гостиную, где ждали приема пациенты. Почему-то мне пришло в голову спросить Ценнстрема, знает ли профессор, о чем я собираюсь с ним беседовать. Ценнстрем ответил, что он просто назвал мою фамилию, вероятно, профессор назначил мне час как пациенту. Я бросился к выходу. Горничная пыталась меня остановить: «До вас только двое...» Я постыдно убежал.

Меня попросили показать один документ знаменитому датскому микробиологу Т. Мадесну. Ему тогда было восемьдесят два года. Он меня любезно принял, угостил хересом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский. Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись: «Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте - это может рассмешить студента-первокурсника...» Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел как на иголках и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек», - мне тогда пошел седьмой десяток и давненько никто меня так не называл.

Генеральным секретарем Всемирного Совета был Жан Лаффит - человек добродушный, который умел помирить спорщиков. Лаффит казался флегматичным, даже ленивым, но на деле был работягой. Его помощниками были китайский поэт Эми Сяо, американский пастор Дарр, бразилец Борсари, итальянский социалист Феноалтеа и П. В. Гуляев. Гуляев, присмотревшись к делу, показал себя тактичным и умным человеком; он сохранил лучшие черты поколения, которое вошло в жизнь в начале тридцатых годов, не обюрюкратился, да и не был напуган до смерти, хотя положение его было трудным. Когда Гуляев умер, все поняли, какую роль он играл в движении.

Секретариат помещался в большом доме на берегу Влтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками; работа была кропотливой. Прага в то время выглядела уныло. Иногда меня звал к себе Лаффит, угощал достопримечательным ужином: он родом из Дордони, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржетт,

может потягаться с премированными поварами. Мы не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились.

Иногда в воскресенье я ездил в Добриш - там в Доме писателей жил Жоржи Амаду с женой Зелией и маленьким сынишкой. Жоржи - живой, порывистый человек, такими мы представляем себе людей юга, а в Зелии мягкость и женственность уживаются с подлинным мужеством. Я с ними подружился. Жоржи и сживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции, он легко приспособлялся к трудностям быта. В Добрише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дрдой. Амаду, худой, подвижный, черноволосый, мог сойти за одесского или марс-льского жулика, а грузный, веселый, порой с лукавством Дрда напоминал Швейка. За игрой они ругались по-чешски и по-португальски: «Шулер!», «Мошенник!», «Конокрад!»...

Амаду - коммунист и в течение двадцати лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупицы честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привезти несколько бразильцев различных направлений, и он не захотел выступить: «Пусть говорит они...»

Он начал писать рано, первый его роман вышел в свет, когда автору было двадцать два года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос - Северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы - в них сочетание жестокой правды с поэзией; это не литературная манера, а сущность Амаду - любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита, он плодал кору деревьев, колючие кактусы, а потом не выдержал - съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью.

Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне: «Я три раза фотографировал Жоржи Амаду, но только один раз одна газета взяла у меня фото...» Слава пришла к Жоржи после романа «Габриэлла». Флобер говорил о госпоже Бовари: «Эмма - это я». Некоторые удивлялись - уж очень не похож был холостой скептик с его иронией

на ветреную, влюбчивую провинциалку. А Габриэлла - это воистину Амаду, все люди, знающие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором.

Из друзей моей молодости мало кто остался - одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом, я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет, а это очень много.

Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии; ее называли, как дочь Пикассо, Излома (Голубка). Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок: он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал по Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас, одна из них попросила Гильена надписать книгу его стихов. Он сразу повеселел и, когда мы расставались, сказал: «Вот у меня оказались читательницы и в Париже!...»

Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает; может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала - он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуну. Во время гражданской войны Гильен был в Испании. Потом узнал тюрьмы Батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине:

Птица прилетела неживая,
прилетела с песенкой печальной.
Ах, Куба, тебя я знаю!
На крови растут твои пальмы,
слезы - вода голубая.

«Холодная война» была в разгаре, и это порой придавало нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде; однако за два месяца до назначенного срока

мы получили из Англии неутешительные вести: по всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помещение; забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь: Жолио-Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон, ехал он поездом, а через Ла-Манш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона: «Жолио не впустили»... На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много - где же Жолио: в Кале, в Булоне, в Гавре?... Мадемуазель Булонь (так называют телефонисток) была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Жолио-Кюри, и вскоре сообщила, что Жолио в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Жолио - он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарж, потом я. Это было своеобразное заседание по телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение: конгресс переносится в Варшаву.

Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Жолио, Фарж, Ненин, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен. Бывали и скучные заседания. Хотелось выступить всем, устраивали ночные заседания, под утро председатель боролся со сном, и оратор патетически восклицал перед пустым залом: «Мы не ослабим нашей бдительности!...»

Помню, в одни из тусклых дней я увидел Д. Д. Шостаковича; он сидел с наушниками; лицо его было очень мрачным. Я подошел к нему, он шепнул, что его оторвали от работы, и вот приходится слушать... Я сказал: «Да вы не слушайте, снимите наушники». Дмитрий Дмитриевич отказался: «Все знают, что я не владею иностранными языками, скажут - «неуважение к общественности»... На следующий день я снова увидел его с наушниками, но счастливым. Он объяснил: «Догадался - вынул вилку из штепселя... Теперь я ничего не слышу. Удивительно хорошо!...» Говорил он, как всегда, скороговоркой и походил на ребенка, которому удалось перехитрить взрослых.

Участие в Движении сторонников мира многим обошлось дорого: аббаты Б улье и Гаджеро лишились духовного звания, некоторые профессора - кафедр, а Изабелла Блюм - места в парламенте: бельгийские социалисты ее исключили из партии. Все свои силы она отдает борьбе за мир. Редко кто из молодых способен, как она, слетать

на несколько дней в Мексику, потом сразу отправиться в Индонезию, просидеть неделю на конгрессе, перебегая из одной комиссии в другую, кого-то уговаривая или успокаивая, выполняя любую неприметную работу, чтобы две недели спустя уехать в Японию. Ее отец был пастором, ее сын - коммунист, а она осталась партизанкой.

Пьера Кота я знал давно, мы познакомились в Париже в годы Народного фронта, встречались в Москве, вместе ездили в Тулу к летчикам «Нормандии», и все же присмотрелся я к нему только в то время, о котором рассказываю. Юрист, крупный политический деятель, который десятки лет просидел в парламенте, бывал министром, он по своей формации для меня человек другой стихии - птица для рыбы или рыба для птицы. Однако с ним я чувствовал себя легко, вероятно, потому, что он никогда не был ни охотником, ни рыболовом, любит искусство и, кроме политических установок, знает, что даже единомышленники не похожи друг на друга. Часто мы просиживали ночи над текстом заявления или рекомендации (мало кто потом вспоминал об этих текстах, но, бывало, люди часами спорили о прилагательном, как будто от одного слова зависела судьба человечества. В классических резолюциях часто попадаются слова «принимая во внимание». Пьер Кот умеет принять во внимание особенности того или иного человека; эта черта не так уж распространена среди политических деятелей. Он прекрасный оратор, но в его речах никогда нет того, что мы называем красноречьем - он точен, логичен, старается убедить того, с кем спорит. Много лет он был одним из руководителей радикал-социалистической партии, самой пестрой в мире, объединявшей людей различных взглядов, и вместе с тем я редко встречал на Западе настолько дисциплинированного политика. Он спорил, а потом, видя, что не смог убедить других, садился и писал резолюцию, выражавшую точку зрения большинства, причем выражал мнение тех, с кем спорил, убедительнее, чем это сделали бы они сами. У д'Астье очень длинное имя: Эммануэль д'Астье де ля Вижери. Сам он еще длиннее своего имени,- входя в любой зал, я его сразу вижу. Наружность у него старого французского аристократа, вместе с тем он похож на классического Дон-Кихота. Он образцовый дилетант - и в политике и в литературе. Он написал несколько хороших книг - это наполовину воспоминания, наполовину размышления; его книги нравятся, но

писатели, хваля их, не забывают, что д'Астье - дилетант. О политиках и говорить нечего: Дон-Кихот в парламенте или в редакции политической газеты - это не просто дилетант, а опасный путаник, за которым не уследить. Может быть, поэтому в Движении сторонников мира первого периода, где встречались люди разных толков и где энтузиазм перемежался рассуждениями о смысле жизни, а организационная работа самодеятельной дипломатией, д'Астье оказался на своем месте. В кабинете д'Астье я видел портреты его предков; но иронии судьбы все они были министрами внутренних дел различных режимов. Эммануэль не миновал наследственной болезни - его назначили министром внутренних дел в первом правительстве Свободной Франции. Во Франции еще находились немцы, и д'Астье правил только Корсикой. Вряд ли он был хорошим министром, но несколько лет спустя он показал себя хорошим сторонником мира. На каждом заседании бюро или президиума, на каждой сессии Всемирного Совета он говорил мне, что с него хватит бессмысленных дискуссий и ночных заседаний, все мы - догматики, а он не научился думать, никто из нас его больше не увидит ни в Праге, ни в Вене. Говорил он это почему-то мне, как будто я его завербовал и не отпускаю; подымался в свой номер гостиницы, прочитывал две страницы Монтеня или раскладывал два пасьянса, после чего возвращался на заседание успокоенный и садился за проект очередной резолюции. Он обидчив, как некоторые женщины, однако верен и своим идеям, и друзьям. Характер у него нелегкий, но я дорожу его дружбой - что ни говори, донкихотство в наше время дефицитный товар.

Я не могу сейчас говорить о Движении сторонников мира, как о прошлом: оно продолжается, и я в нем по-прежнему участвую. Я говорю о тех годах, когда оно было наиболее бурным, потому что тогда наиболее ощутимой была угроза атомной войны. Конечно, от Кореи далеко и до Лондона и до Нью-Йорка, но военные действия в Корее тревожили весь мир. Эта злосчастная страна была сожжена. Горели города и села, подожженные напалмом. Сначала войска Севера заняли почти всю Корею. Вмешалась Америка, ее солдаты подошли к границе Китая. Тогда вступили в бой китайские дивизии. Многие политические деятели и военные Соединенных Штатов настаивали на применении атомного оружия. Некоторые сенаторы

требовали, чтобы атомные бомбы были сброшены на Москву. Любой француз или итальянец знал, что Советский Союз уже обладает ядерным оружием и что его дом, его семья тоже могут быть уничтожены. Борьба за мир становилась делом всех.

Конечно, Движение сторонников мира знало и удачи и неудачи. Стокгольмское воззвание подписывали самые различные люди - Томас Манн и неграмотные жители Гвинеи, бразильские министры и шейхи мусульманских стран, Акр и Матисс и квакеры. Окрыленные успехом, мы предложили подписываться под обращением пяти великим державам: Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Китаю, Великобритании и Франции - пусть они заключат Пакт мира. Однако для простых людей это было абстрактной формулой - все помнили, сколько пактов о ненападении подписал Гитлер. А людям, разбиравшимся в международном положении. Пакт мира казался утопией - в 1951 году трудно было себе представить Трумэна и Мао Цзэдуна за круглым столом. Притом подписи дают один раз - это не ежегодное занятие; лучше не быть эпигонами ни в романах, ни в общественной деятельности. Напротив, требование прекращения военных действий в Корее нашло отклик повсюду.

Почему я отдавал (и отдаю) столько времени работе, которая не диктовалась ни призванием, ни ремеслом? Никто меня не заставлял взяться за это дело, никто не уговаривал его продолжать. Я сам назвался груздем, и ответить почему - трудно. Когда друзья меня спрашивали, будет ли война, я отвечал «нет», такой ответ объяснялся не столько трезвой оценкой происходившего, сколько желанием. Однако часто, проходя по улицам разных городов, я испытывал тревогу. Однажды в Вене мне показалось, что война идет рядом со мной, как я, заглядывает в освещенные окна. Порой я проклинал душные комнаты, где шли нескончаемые споры о третьей фразе седьмого абзаца; причем мне некому было поплакаться в жилетку, приходилось самому справляться с собой. Спор шел между груздем и кузовом, и ясно было, что победит кузов.

Оглядываясь назад, я об этом не жалею: что-то мы делали, что-то сделали. Через тридцать - сорок лет историк, который теперь учится читать, посвятит Движению сторонников мира, может быть, главу своей книги, а может быть, всего несколько строк. Не мне судить - я в этом человек пристрастный, следовательно, слепой.

В 1951 году мне исполнилось шестьдесят лет. Устроили юбилейный вечер в том самом зале Дома литераторов, где писателей прорабатывали, чествовали и хоронили. Воспоминаний было достаточно.

На вечере председательствовал А. А. Фадеев, с докладом выступил К. А. Федин. Представители различных издательств, журналов, газет, театров читали поздравительные адреса, похожие один на другой: «пламенный трибун», «отточенное перо», «неутомимый борец за мир», «книги, вошедшие в золотой фонд советской литературы»... На хорах толпилась молодежь. Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые высились предо мной, скверно пахли. Потом прочитали телеграммы от Всемирного Совета Мира, от Тувима, Незвала, Не руды, Амаду. В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались на любом торжестве, я сказал про то, что меня волновало: «Как каждый писатель, я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие И глубоко человечные предшественники. Можно писать хуже, чем они, - таланты не распределяются ни в каком распределителе, - можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они... Я вспоминаю прекрасные слова Белинского о поэте: «Ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же как ему же принадлежит по праву преследование ложных неразумных основ общественности, искажающей человека». Борьба против тех ложных основ, о которых говорит Белинский, во имя человеческого достоинства - таков долг писателя, таково его назначение. Он не подбирает протоколы событий, не пишет переложение, не составляет опись существующего, он открывает сокровища человеческого сердца... Мне, как и многим моим современникам, не сразу открылась преемственность и универсальность человеческой культуры. Мы часто читаем историю по главам, не связывая этих глав, а порой география мешает нам как следует присмотреться к истории. Между тем бег с эстафетой

продолжается, и огонь Прометея переходит из рук в руки... Человек стареет, быстрее устает, реже загорается. Но для писателя нет старости: он живет неоткрытыми страстями, ненаписанными книгами, он молод до той минуты, когда его оторвет - на этот раз навсегда - от листа бумаги уже не люди, а смерть. Я сказал об этом потому, что мне хочется писать».

Секретариат Союза писателей решил по случаю юбилея издать пять томов моих сочинений. С этим изданием я намучился: почти на каждой странице произведения, много раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года,- я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях «День второй» и «Не переводя дыхания»: «В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц не коренных национальностей». Следовал список семнадцати фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести «День второй» и девяти фамилий (из ста семидесяти четырех) в «Не переводя дыхания». Я подумал: а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?

На полученный гонорар мы купили сруб в дачном кооперативе «НИЛ», что означает «наука, искусство, литература». Места не похоже на окрестности Москвы: мой домик расположен на холме с крутым склоном, внизу течет Малая Истра. Это ручеек, но в апреле, когда тают снега, она настолько разливается, что, обладая фантазией, можно назвать ее Нилом, тем паче что наша станция называется Ново-Иерусалим. Звенигородский уезд москвичи когда-то шутя называли «московской Швейцарией». Поселок получил имя от Ново-Иерусалимского монастыря, построенного по указу Никона в XVII веке. Немцы, уходи, взорвали колокольню и сильно разрушили собор; в 1950 году еще валялись на земле цветные изразцы - сплав Флоренции с Персией. Чехов жил в городишке Воскресенске (ныне Истра), работал в земской больнице, писал рассказы и отдыхал под старыми монастырскими деревьями. Я посадил сирень, жасмин, розы. Зимой позвонили из Истринского горсовета: «Ваша дача сгорела».

Получив деньги за следующие тома, мы начали ставить новый дом - кирпичный фундамент уцелел. В тесной московской квартире

былолюдно, беспокойно, и начиная с 1952 года мы большую часть времени проводили в Ново-Иерусалиме. Маленькие липы, которые я раздобыл на лесной даче Тимирязевки у профессора В. П. Тимофеева, повзрослели. Эту книгу я писал у окна; зимою все вокруг бело, а в августе лихорадочно горят цветы короткого северного лета.

Я был правдив, когда на юбилейном вечере сказал, что мне хочется писать. Мне хотелось рассказать о том, что я видел и чувствовал, - о горе, сомнениях, надежде. Конец сороковых и начало пятидесятых годов были, кажется, самым трудным временем и для нашей литературы, и для всего советского народа. Люди продолжали ожесточенно работать, отстраивали разрушенные города, строили заводы, прорывали каналы. Никогда народ слабый духом или отчаявшийся не смог бы сделать того, что было сделано после войны. Жилось плохо. Москва или Ленинград казались саратовцам раем, а в Энгельсе с завистью рассказывали о магазинах Саратова. Однако, когда я говорю о том, что время было трудным, я думаю не только, да и не столько о материальных лишениях. Люди, прошедшие от Волги до Шпрее, душевно не мирились с чиновничьей тупостью, иллюзорностью многозначных цифр, знакомыми словами «давайте не будем». Для стороннего наблюдателя казалось, что инициатива, творческая мысль, человеческие отношения скованы льдом, но под этим льдом текла живая вода глубоких чувств, несказанных слов, совести, сознания. Об этой реке мне и хотелось рассказать. А л сидел над романом об американском сенаторе, об интригах газетного агентства «Трапсок», о старости профессора Дюма, о том, как плулый портняжка Маккорн пел:

Говорит она ему:

Ты целуешь почему?

Ты не тот, и я не та,

Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я упоминал, что в 1917 - 1918 годы писал скверные стихи; мне тогда не было и тридцати. А «Девятый вал» написан шестидесятилетним человеком. Конечно, я мог бы сослаться на некоторых моих товарищей, которые тоже в те годы написали слабые книги, но писатель отвечает прежде всего за самого себя. Почему я жалею о том, что написал «Девятый вал»? Не потому, что некоторые исторические события описаны неправильно я судил по тем данным,

которые у меня тогда были, это - детали, и не в них дело. Начиная с двадцатых годов критики меня упрекали за то, что мои романы насыщены публицистикой. Они меня не убедили: я искал новую форму романа - не мог отделить судьбу человека от событий, которыми дышал эфемерный газетный лист. Никогда я не призывал других следовать моему примеру: писатели, как и все люди, бывают разными. Я принадлежу к авторам, которые тесно связаны с тем, что мы порой в сердцах называем «злостью дня» и что десять лет спустя иногда оказывается главой истории. «Хулио Хуренито», «День второй», «Падение Парижа», «Буря» рождены событиями, которые можно было в свое время назвать злободневными. Автор не судья своих книг - он часто добавляет к тому, что написано, то, что он хотел написать, и, может быть, упомянутые мною книги слабые, но они были рождены внутренней необходимостью. А почему я в 1950 году сел за «Девятый вал»? Я мог бы ответить: не ради денег, но это было бы отговоркой. Во время войны я не думал написать роман о войне: знал, что это невозможно. В 1950 году «холодная война» была ожесточенной, оставалось прославлять ее или проклинать, разжигать огонь или попытаться его погасить, но осмыслить происходящее, заглянуть в душу противника не мог никто. Статьи, которые я писал, могли быть удачными или плохими, справедливыми или несправедливыми, но я от них не отрекаюсь. А писать роман, да еще толстейший, было глупо. Я это смутно чувствовал, но меня соблазняло другое - показать наших людей. Я утешал себя надеждой, что смогу сказать толику правды.

Помню, я как-то сидел с Савичем, который прочитал написанные главы, и мы, то усмехаясь, то угрюмо, обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правды у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта и что в театре ставят скучные, бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то неизвестный зритель вовремя сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствия, то люди с ними

быстро справляются, а если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или проницательный друг. Действие моего романа протекает в десяти странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев «Бури», перешедший в «Девятый вал», Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне; в книге приведены короткие записи к задуманной книге, например: «Очень голая у нас любовь,- сказала Вера,- если убьют - ничего, а если выживем - нужно будет что-нибудь придумать»; другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную им книгу. А я написал плохой роман.

Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. («Литературная газета» опубликовала несколько приглашенный текст.) Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву: если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать. Эти слова суровый приговор «Девятому валу»: я мог бы его не написать.

А. А. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о «Девятом вале»; он кое-что критиковал, но говорил, что в целом роман «мощен, гуманистичен, в нем клочкотание народных сил, людской потоп». В то же самое время Арагон поставил «Девятый вал» рядом с «Падением Парижа» и «Бурей». Я все же не поверил добрым отзывам - я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного:

Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я недавно проглядел подшивки «Литературной газеты» за 1951 - 1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось «о невиданном расцвете творчества». Пестрели фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей: Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере. Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось, вспомнили, что в 1945 году у

Рыльского были «вредные стихи», вернулись снова к Первомайскому оказалось, что он одновременно и «космополит», и «буржуазный националист». Другой месяц был посвящен критику Гурвичу, написавшему статью о романе «Далеко от Москвы». А. А. Фадеев и А. А. Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую «Правда» назвала «рецидивом антипатриотических взглядов»... Редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский «полностью признал свою вину». Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах; только трудно теперь понять, в чем был состав преступления.

«Литературная газета» печатала некрологи: умерли Вишневский, А. Платонов, Павленко. Потом подоспели юбилеи - Гюго, Гоголя.

Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым. Поставили новый памятник на цоколе красовался образцовый оптимист. Обычно считается, что памятники великим людям ставит народ. На новом памятнике Гоголю написали: «Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза».

Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости: Гроссман написал роман о войне, в котором были прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года», впервые я увидел в литературе послевоенных подростков. Я прочитал «Районные будни» Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверно, я пропускаю многое - трудно припомнить, когда попала в руки та или иная книга.

В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже - косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Не рудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях,- богатырем, мифическим бояном. А Неруда понял Мартынова: «Настоящий поэт - перед его глазами второй мир - искусства...» Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология

становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась: несколько месяцев спустя вышла его книга.

Читали мне стихи и молодые - Винокуров, Межиров, Урин. Я написал в «Смене» о Винокурове - он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие, умные строки.

Приходил студент Литинстигута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло: его сослали на три года в дальнее сибирское село. Отец Манлеля - переплетчик, мать - врач, они посылали сыну толику денег. Поэт читал, думал, писал. Я его увидел возмужавшим; он рассказал, что решил уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят, поступил в горный техникум, стихи он продолжает писать, но не хочет зависеть от вкусов редакций; он прочитал мне вступление к поэме - писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов.

В Москве устроили совещание молодых писателей, мне поручили принять участие в одном из семинаров. Я прочитал десяток рукописей - повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, - что они знают жизнь, понимают людей; один признался: «Я сам знаю, что плохо... Но что тут делать - трудно писать роман в стол...»

Меня тянуло к новому поколению. В течение двух лет я руководил литературным кружком при Тимирязевской академии. Почти все участники кружка писали стихи. Я не рассчитывал сделать

из них поэтов, да это, по-моему, и невозможно. Но можно научить читать стихи, поднять эстетическую культуру, и я старался это выполнить. Мне было интересно разговаривать с двадцатилетними, почти все они были детьми колхозников или районных агрономов. Однажды меня провожал молоденький студент. Он вдруг спросил: «Почему в журналах не печатают стихов о любви? Мы читаем Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака. А кто теперь пишет так?...» В конце разговора он сказал: «Вот кончу академию, стихи, может быть, и научусь писать, а может быть, нет, но читать стихи буду всегда. Наверно, через пять лет начнут печатать и про любовь...» Год спустя Володя Кокляев утонул в пруду. В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать «Бурю», кто-то принес мне толстую рукопись - заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных «Кельнская яма». Я решил, что это фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной:

Кони шли ко дну и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.

Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался ее определить, говорил о народности, ссылаясь на Некрасова. За статью меня обругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе - его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне:

Эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен у штурмовавших небо.

Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно. Помогло, наверно, и то, что я подружился со Слуцким еще до «перекура».

Чужие стихи помогали мне - поэзия жила (порой, как некогда, устная). Однако та незримая река, о которой я говорил, была куда полноводнее в жизни.

В начале 1950 года меня выбрали депутатом в Совет Национальностей от одного из округов Риги. На предвыборных собраниях говорили по-латышски; девушки подносили мне цветы - белые каллы, будто сделанные из материи, и делали при этом книксен. Избиратели ко мне обращались редко: они жили в столице республики и с претензиями или жалобами шли к местным депутатам. Год спустя меня выбрали в Верховный Совет РСФСР от города Энгельса и прилегающих к нему районов. Тут-то я понял, что пост депутата не синекура.

До войны Энгельс был столицей Автономной республики немцев Поволжья. В городе, в деревнях жили почти исключительно новоселы. Люди не успели приспособиться к новой обстановке: украинцы мерзли зимой, русские проклинали суховеи. Я уже говорил, что в те годы страна, за исключением промышленных центров и некоторых областей с техническими культурами, жила, подтянув кушак. Саратов снабжался лучше Энгельса, но проехать туда поездом было нелегко: зимой дорога шла через Волгу, летом ходили пароходики, а весной и осенью жители Энгельса с тоской глядели на огни Саратова. Местные власти просили меня добиться перевода Энгельса в лучшую категорию по снабжению. Я пытался, но ничего не вышло. Зато я достал санитарные машины; министр меня принял, может быть из любопытства,- как-никак писатель, он говорил о литературе, а я твердо решил не уходить, пока не получу машин. Энгельс - длинный город, тротуаров местами не было, улицы плохо освещались. Я помог раздобыть автобусы. Все это требовало хождения по мукам, то есть по различным министерствам, долгих бесед, терпения. Помог я и библиотеке; в ней оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало. Я устроил обмен книгами, это тоже было не просто: требовались разрешения различных центров, подписи людей, к которым трудно было прорваться.

Счастливые не ходят ни к врачам, ни к депутатам. В воскресенье ко мне на прием записывались сотни обездоленных - один доказывал, что он с семьей не может больше жить на восьми квадратных метрах; другой жаловался, что его отца неправильно осудили; третьему не

давали работы по специальности. Я добился у прокурора пересмотра одного дела (десятки других моих просьб лежали без движения), раздобыл протез для военного инвалида, купил в Стокгольме лекарство для женщины, которое, по ее словам, спасло ее сынишку, добывал книги, семена. Все это было «малыми делами», но на час мне становилось легче, да и чувствовал я себя связанным с будничной жизнью тысяч людей.

Принимал я в горисполкоме, и приходившие говорили шепотом, часто просили не называть своих обидчиков: «Вы-то уедете, а они на мне выместят»... Несколько лет спустя жизнь изменилась, Я стал депутатом Даугавпилса, по-русски Двинска, города, разрушенного во время войны, где ютились люди различных национальностей, где тысячи женщин мечтали о трудоустройстве, где построили пединститут с чрезмерно роскошной лестницей, но предоставить жилплощадь профессорам не смогли. Там избиратели, приходя ко мне, бурно протестовали, не впускали в мою комнату сотрудников горсовета, говорили все и во весь голос. Но это было в 1955-м, а я рассказываю про 1952-й...

Я ездил по степи Заволжья, в селах меня засыпали просьбами, претензиями. В одном колхозе говорили, что им вырыли артезианские колодцы, деньги взяли, а воды нет; в другом жаловались - не могут достать строительный материал, а школа помещается в хате, где живут люди; в третьем молодежь возмущалась: «Из Энгельса обещали, что пришлют театр, а приехали три актера, исполняли отрывки из пьесы, да и пьеса скучная - звеньевая знает, как сеять, а председатель упирается. Это мы сами понимаем. Мы хотим, чтобы приехал настоящий театр». Один добавил: «Пусть привезут «Гамлета». Я в Саратове глядел, это такая диалектика, что целый месяц думал...»

В одном колхозе меня оставили ужинать, дали глазунью, брагу. Председательница сказала: «Вот вы помогите нам решить, мы с нею несколько вечеров проспорили...» «Она» оказалась бухгалтером, и она говорила: «По-моему, Сергей правильно поступил, что не взял в Москву Мадо. Я сюда приехала из-под Гжатска. Кажется, чего тут - страна та же, язык понятный, и то не могу себя унять, ночью вспомню избу - немец сжег - и реву, как дура... А привези француженку - ей и поговорить не с кем, иссохнет...» Председательница, энергичная

женщина с властным лицом, возражала: «Человеку нужно помечтать. Иногда проснешься - что-то приснилось хорошее, и злоба берет: почему нельзя сон с собой взять, с ним и в поле легче...»

Росло сознание людей. В степи в сельской школе малыши читали:
А он, мятежный, просит бури...

Они входили в жизнь с мечтой. Теперь им по двадцати лет, и, глядя на нашу думающую, требовательную, порой шумливую молодежь, я вспоминаю русого первоклассника, который декламировал Лермонтова. Наверно, у него спина чесалась - прорастали крылья. Школьницы седьмого класса ездили в Саратов, ходили в музей, думали о судьбе Чернышевского; одна рассказала мне: «Я в Саратове познакомилась с девочкой, она мне дала переписать стихи Есенина. Жеребенка жалко...»

Однажды в Энгельсе ко мне пришел человек лет пятидесяти, весь воскресный день он просидел в приемной, дожидаясь, когда придет его черед. Я попросил его сесть, но он стоя кричал: «Подумайте - на такой город, как Энгельс, всего пятнадцать!...» Я успел одуреть от сотни посетителей, спрашивал «чего», гадал - коек в одной из больниц, торговых точек? Наконец он объяснил. В связи с юбилеем Гюго Гослит объявил подписку на собрание его сочинений. Великий французский писатель не отличался лаконизмом, жил долго и написал много. Кому в Энгельсе может понадобится собрание его сочинений? Да их и не поместишь в комнате. А посетитель негодовал: «Люди собрались с вечера, и вот, извольте видеть, пятнадцать на весь город!...» Я обрадовался, что сразу могу удовлетворить просьбу хотя бы одного избирателя - как член юбилейного комитета, я имею право подписаться, буду посылать книги ему... Он покачал головой: «Мне не нужно - я был третьим, подписался. Я вам про город говорю. Обидно: Энгельс, большой город - и вдруг пятнадцать!...»

В другой раз пришел молодой рабочий, лицо у него было еще детски припухшее, он стеснялся, сбивчиво рассказал, что его послали на ремонт в Дом инвалидов, там при нем старая женщина жаловалась, что ей прописали специальные очки, а ей говорят: «Ничего, без очков обойдешься», она сорок два года проработала учительницей: «Вы подумайте, товарищ писатель, скольким она глаза открыла, а теперь и почитать не может. Я так считаю, что это безусловная несправедливость». В руках у него была книга, я спросил, что он

читает; он еще больше застенялся: «Я знал, что вас долго придется ждать...» Оказалось - учебник алгебры.

Нет, не зря сорок два года проработала учительница, не зря трудились и преподаватели, и библиотекари, и работники музеев, и актеры, и лекторы, и писатели. Народ думал, учился, рос. Маленький провинциальный город, бараки, деревни, занесенные снегом, покосившиеся домишки - все это казалось обездоленным и спящим, а жизнь бурлила, и если «Литературная газета» приукрашивала эту жизнь, одновременно обедняя ее, то в действительности люди жили хуже, но были крепче, духовно богаче, чем герои пьес, награждаемых премиями всех трех степеней.

Я увлекался садоводством, огородничеством. Посадил два конских каштана - один погиб, другой вырос и теперь весной цветет, как будто он в Киеве или в Париже. Я много сеял, это хорошее занятие: с книгой все неясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом - и две недели спустя покажутся зеленые точки, потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает, нельзя при этом думать об очередных неприятностях, нужно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно зацветут.

Иной читатель удивится: почему» после рассказа о людях Энгельса вдруг перешел на чудачества пожилого любителя растений? Не случайно. Многие за границей, да и некоторые юноши у нас не понимают, что жизнь народа продолжалась, не могла прорваться. Народ пережил много дурного, но он бодрствовал, чувствовал, строил. Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготовляющие весеннее цветение. Все это легко понять потом, а в 1951 году я часто доходил до отчаяния.

В 1950 году был образован Комитет для присуждения Сталинских премий «За укрепление мира», в него вошли Арагон, Го Можо, Андерсен-Нексе, Келлерман, Бернал, Домбовский, Садовяну, Неруда, Фадеев и я; председателем комитета стал Д. В. Скобельцын.

Среди награжденных в первый же год рядом с Жолио-Кюри была вдова Сунь Ятсена госпожа Сун Цинлин. В сентябре 1951 года я поехал в Китай вместе с Пабло Нерудой, чтобы вручить ей премию. С нами поехали жена Пабло, Делия, и Люба. До Иркутска мы ехали поездом - Пабло хотел хотя бы из окна вагона увидеть Сибирь. Мы остановились в Иркутске, встретились там с писателями. Неруле захотелось поглядеть на Байкал - он говорил, что мечтал об этом еще в молодости. Мы поехали на ихтиологическую станцию; нам показывали диковинных глубоководных рыб. Пабло потребовал, чтоб ему дали их попробовать. К счастью, в зажаренном виде трудно отличить виды рыб, и Неруда ел с аппетитом, конечно, не те диковины, которые плавали в аквариуме.

Вразрез с выбранным мною правилом я хочу написать о Пабло Неруде и о некоторых моих похождениях, связанных с ним; кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых: я боялся обидеть или причинить неприятности. Однако Пабло Неруда стал легендарной фигурой, о нем написаны десятки романтических книг. Я хочу рассказать о другом Пабло, которого видел не на сцене истории, а в обыкновенных комнатах: в Мадриде, в Париже, в Праге, в Москве, в Пекине, в Вене, в Сантьяго, в Исла-Негра.

Последняя часть этой книги может показаться чрезмерно печальной: старость, как издавна говорят, не радость, да и время - с 1945-го по 1953-й - вряд ли кто-нибудь назовет веселым. Я больше буду говорить о причудах Неруды, нежели о его замечательной поэзии,- мне хочется улыбнуться, вспоминая дни, проведенные с Пабло, может быть, со мною улыбнется и читатель.

Познакомился я с Нерудой в 1936 году в Мадриде. Обычно то время называют переломом в жизни и в творчестве поэта. Мне

кажется, что «переломы» редкая вещь. Неруде тогда было тридцать два года, характер его успел сложиться, писать стихи он начал рано и в одной из первых книг «Двадцать стихотворений о любви и одно об отчаянии» не только нашел себя, но и показал высокое мастерство; он писал тогда:

Облака, как белые платочки расставания,
ими размахивает путник-ветер,
и сердце ветра колотится
над нашим молчаньем любви.

Неруда и тридцать лет спустя писал о ветре, о любви, о разлуке. В 1936 году поэзия Неруды расширилась. Он был тогда чилийским консулом в Мадриде; к нему приходили друзья - Гарсиа Лорка, Альберти, Эрнандес. Вдруг на город начали падать фашистские бомбы.

И по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Он написал тогда книгу стихов «Испания в сердце», я ее перевел на русский язык. Мы подружились, а вскоре расстались на десять лет.

В годы войны Неруда был консулом в Мехико. Я прочитал его стихи, посвященные Сталинграду. Потом мне прислали сборник моих военных статей, который вышел в Мексике с предисловием Неруды: Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. Тогда-то Нерула стал коммунистом. Вернувшись в Чили, он писал стихи, выступал на собраниях; о нем узнали рабочие Сантьяго и Вальпараисо.

Предстояли выборы президента. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Виделы, который клялся, что проведет аграрную реформу и защитит права рабочих. Неруда уговаривал избирателей голосовать за Виделу. Новый президент вскоре забыл свои обещания. Здесь-то началась эпопея Неруды, которая, наверно, известна всем читателям: он был обвинен в государственной измене и после этого, в начале 1948 года, явился на заседание сената, где публично обвинил в измене президента республики. Поэту пришлось скрываться. Он продолжал писать - работал над книгой «Всеобщая песнь». Я рассказывал, как он появился на Парижском конгрессе.

Неруда любит Уитмена не только потому, что многому у него научился, но и по внутреннему родству - это поэты одного

континента. О столь распространенной теме, как мир, Неруда писал иначе, чем европейские поэты:

Мир наступающему вечеру,
мир переправе, и мир вину,
мир словам, которые меня ищут
и которые в моей крови,
как очень старая песня.
Мир городу рано утром,
когда просыпается хлеб,
мир рубашке моего брата.

С тех пор Неруда написал десятки книг, изъездил десятки стран, узнал подлинную славу, однако он не изменился. Когда я его встречаю после нескольких лет разлуки, мы сразу начинаем говорить о сегодняшнем дне.

Я согласен с теми, которые говорят, что Неруда внешне напоминает статую Будды, если бы ее высек из камня древний инка. (Боги инков, однако, сердитые, а Пабло благодушен.) Хотя его биография изобилует бурными событиями, он любит, да и всегда любил, покейфовать, побеседовать о пустяках или подумать о серьезном. Он производит впечатление Будды флегматичного, даже ленивого, а написал столько, что диву даешься. Многие его стихи очень громкие, но разговаривает он тихо, и голос у него не трибуна, а, скорее, обиженного ребенка. Его друг, чилийский депутат Валтасар Кастро, хорошо показывает Пабло. Он рассказал мне, как в начале их знакомства Неруда позвонил, чтобы сообщить о счастливом разрешении какого-то спорного дела; будто издалека раздался голос, полный скорби: «Валтасар, победа!...»

Неруда - страстный коллекционер, собирает он различные вещи, но главным образом - огромные деревянные статуи, украшавшие носы парусных кораблей, и крохотные морские ракушки. В его доме в Исла-Негра на берегу Тихого океана - старинные компасы, песочные часы, морские карты. Китайский поэт Ай Цин, побывавший в этом доме, спросил Пабло, кем он себя считает - матросом или капитаном. Пабло ответил: «Я - капитан, но мое судно затонуло». Это было поэтической фантазией: никогда я не видел корабль Неруды не только тонущим, но потерявшим управление. В одном из музеев Китая Пабло увидел ракушку, которой у него не было. Он столько о ней говорил, что

радушные хозяева подарили ему редкий экспонат. Пабло голосом, полным при- скорбия, однако счастливо улыбаясь, часа два рассказывал мне о ценности полученной им ракушки. В Китае он покупал в игрушечных лавках тигров из папье-маше. Тигры были неописуемо свирепыми, и вместе с тем на них нельзя было глядеть без улыбки. (Мы тогда не знали, что десять лет спустя китайцы будут называть американский империализм «бумажным тигром».)

Неруда - человек чрезвычайно общительный. В Праге, когда бы я ни пришел к нему, в его комнате сидели или стояли люди: чилийские коммунисты, чешские поэты, разноязычные журналисты. В Сантьяго я и Люба жили в доме Пабло, и нам казалось, что мы живем на площади. Как-то я захотел днем переодеться, но от этой затеи пришлось отказаться: все время в комнату заглядывали почитательницы поэзии Неруды. Обедало у него ежедневно человек пятнадцать - двадцать. Однажды он тихо спросил меня: «Ты не знаешь, кто это - последний налево от тебя?..»

В Чили и поехал по просьбе Неруды летом 1954 года: я должен был вручить ему премию Мира. Я радовался, что увижу Латинскую Америку. Дипломатических отношений у нас с Чили не было, но визы дали мне и Любе. Я думал, что поездка будет идиллической. В то лето чилийцы праздновали пятидесятилетие Неруды. Да и «холодная война» шла на убыль. За два месяца до того в Париже я вручил премию Пьеру Коту, все было торжественно, пришли депутаты различных партий.

Я забывал, что до Чили далеко - мы летели из Стокгольма сорок восемь часов; это было в августе, а там была зима. В Чили еще стояла «холодная война». На аэродроме Сантьяго полицейские с любопытством, но вежливо повертели наши паспорта, таможенники взглянули на раскрытые чемоданы, и мы уже шли в зад, где нас ожидали Пабло, Делия и Жоржи Амаду, приехавший на юбилей, когда неожиданно появились настроенные воинственно чины особой полиции, почему-то именованной «международной». Они начали яростно выбрасывать наши вещи из чемоданов. Из моего портфеля забрали все; я попытался отстоять диплом, который должен был вручить Неруде, но один из полицейских, обладавший мускулатурой боксера, так стиснул мои руки, что я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Золотой медали, к счастью, не нашли - она была в сумке

Любы; попади она в руки начальника полиции, он ни за что не вернул бы ее: это был человек нечистый на руку, вскоре его арестовали за махинации с каракулевыми шкурками.

На аэродром приехал председатель парламента Валтасар Кастро, но перед «международной полицией» и он оказался бессильным. Неруда повез нас к себе, затопил камин, что делал редко, и начал рассказывать, какие чудесные вещи мы увидим в Чили.

На следующий день все газеты были заполнены моими фотографиями. Полиции сообщила, что и пытался провезти грампластинки с секретными инструкциями компартиям Чили и других стран Латинской Америки, шифрованные обозначения ячеек и пять миллионов песо. Последнее министерство юстиции тотчас опровергло, испугавшись, что ему придется вернуть деньги, которых полицейские не могли отобрать - их у меня не было. Не было и грампластинок ни с тайными инструкциями, ни с народными песнями. Шифрованными документами были объявлены записка с латинскими названиями некоторых растений я надеялся раздобыть семена на их родине, и французские кроссворды, которые и решал в самолете.

Началось нечто невообразимое. Однажды ночью дом Неруды закидали петардами, пожар быстро погасили. В другую ночь мы проснулись от криков. «Здесь даже выспаться не дадут», - сказала Люба и тотчас заснула. Утром мы узнали, что к дому подъехала установка с громкоговорителем, разбудившим всю улицу. Садовник Неруды увещевал: «Как вам не стыдно народ будить?...» Один из крикунов, говоривший по-испански, ответил: «Мы через пять минут кончим и уедем». В газетах я прочитал, что русские, специально прилетевшие из Нью-Йорка, предлагали мне «выбрать свободу» и улететь с ними в Соединенные Штаты, ибо «красные» не простит мне «Оттепели», что они взывали к Любе: «Спаси Илью и себя!»; что Люба хотела якобы спрыгнуть со второго этажа, но ее удержали «два гиганта-чекиста». Газеты напечатали все это, хотя Сантьяго небольшой город и дом Неруды известен всем, а он одноэтажный.

Стены города покрылись надписями: «Эренбург, убирайся домой!», «Чили - да, Россия - нет». Газеты сообщали, что я в Москве повесил много неповинных. «С Эренбургом приехала опытная чекистка, ее кличка «Люба». Наверно, большое впечатление на

читателей произвело сообщение, что Неруду русские называют «Епида» - так журналисты прочитали фамилию, напечатанную в дипломе и по-русски.

На неделю я стал самым популярным человеком в Сантьяго. Друзья советовали мне сидеть в бесте - фашисты хотели меня избить. Все же и уезжал в город (дом Неруды на окраине) иногда с Пабло, иногда с кем-нибудь из его приятелей. С Пабло я пошел в рабочий квартал. Охранял меня шофер, который час спустя взмолился: «Если мы пойдем дальше, у меня будет разрыв сердца...» Рабочие меня узнавали и кидались меня обнять, а шофер каждый раз пугался - уж не фашисты ли?...

Казалось, все потеряли голову. Только Пабло сохранял полное спокойствие, писал стихи, после обеда спал, рассказывал забавные истории. Он говорил, что, конечно, не ждал таких событий, однако ничего удивительного нет - янки распоряжаются тут, как у себя дома, вскоре это кончится, тогда я смогу снова приехать, он мне покажет Вальпараисо, юг Чили, и я пойму, что нет страны прекраснее.

Я связался по телефону с нашим послом в Аргентине и попросил его передать в Москву о моем положении. Дня три спустя Юнайтед Пресс сообщило, что московские газеты пишут о «самоуправстве чилийских властей». Чилийское правительство поняло, что переусердствовало. Кроме того, я с Нерудой отправился к послу Аргентины, которому после разрыва дипломатических отношений между Чили и Советским Союзом было поручено защищать интересы советских граждан. Мы были первыми, потревожившими посла; он признался, что запросит Буэнос-Айрес, сказал, что он поклонник поэзии Неруды, а на меня глядел с интересом, но и с опаской. Потом он сообщил Пабло, что был у престарелого президента Чили, который заинтересовался тем, что я хотел купить семена некоторых сортов бегонии, и сказал, что это может стать началом торговых отношений между двумя государствами.

Однажды в дом Неруды пришли двое посетителей. Пабло не было, а друзья, проводившие все время у Неруды, приняли их за незнакомых почитателей. Тогда пришедшие сказали, что хотят поговорить со мной, и показали полицейские удостоверения. Оказалось, они принесли мне диплом. Папка была в ужасном виде - газеты писали, что ее подвергали различным химическим анализам.

Когда Пабло вернулся, я показал ему диплом. Он улыбнулся и грустно сказал: «Я тебе говорил, что мы победим...»

Нужно было организовать церемонию вручения премии. Это было нелегко - фашисты грозились, что примут меры. Мы собрали военный совет - пришли и коммунисты, и Валтасар Кастро, и чилийские писатели, и, конечно же, Жоржи Амаду. Зал мы сняли в большой гостинице, но как обеспечить порядок? Мы решили, что центр города на один вечер оккупируют студенты. Однако коммунисты, подумав, решили, что этого мало, и к студентам добавили несколько тысяч рабочих.

Все прошло спокойно. Зал был набит. Выступали и писатели, и политические деятели разных партий. Один старый писатель, забыв, что чествуют Не руду, а не меня, начал медленно по-русски считать: «Один... Два... Три... Четыре...» Он хотел этим высказать свое уважение к русским. Я увидел, что Жоржи корчится, сдерживая смех, а Пабло слушал вполне серьезно. Потом он произнес вдохновенную речь. Известный актер продекламировал монолог Чехова «О вреде табака».

Накануне нашего отъезда я устроил ужин в честь лауреата. Среди приглашенных оказались два министра - юстиции и информации, первый за пять дней до того объявил, что меня будет судить чилийский суд, второй ежедневно снабжал прессу фантастическими историями. Было много вина, и министр юстиции, развеселившись, произнес тост - просил меня не смешивать правительство Чили с международной полицией.

(Посол Аргентины дал нам визы, и мы провели несколько дней в Буэнос-Айресе, где жили в то время наши давние друзья - Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон. Нас пригласили аргентинские писатели. Мы разговаривали стоя: нам объяснили, что сидеть нельзя - тогда прием может быть причислен к собраниям, а таковые строго запрещены. В последний день мы возвращались с прогулки, вместе с нами был секретарь посольства. Аргентинские друзья нам показали красивые окрестности города, и мы запоздали, а я обещал рассказать сотрудникам посольства о живописной истории, происшедшей со мной в Чили. Мы выскочили из машины, когда раздался грохот: напротив посольства - крутая улица, оттуда двое исчезнувших людей спустились на нашу машину «пикай». Посольскую машину

исковеркали, а мы остались невредимыми только потому, что, торопясь, действительно не вышли, а выскочили.)

Все это относится к 1954 году, но если откинуть некоторые живописные подробности, то это - картины «холодной войны», о которой я рассказывал в предшествующих главах. С тех пор прошло больше десяти лет, многое изменилось и в мире, и на родине Неруды. Недавно в Чили ездили советские писатели, и М. И. Алигер рассказывала, как их там радушно принимали.

Пабло Неруде в 1964 году исполнилось шестьдесят лет. Одно из его стихотворений называется «Прошу тишины», в нем он просит:

А теперь оставьте меня в покое.

А теперь обойдитесь-ка без меня...

Однако неделю или месяц спустя он снова кидается в море жизни. Он объясняет, почему смог выдержать горечь некоторых разуверений: когда тонули корабли, он снова брался за топор - он ведь кораблестроитель:

Моей религией те были корабли.

Нет выхода иного у меня, чем жить.

Я столько писал в этой книге о трагических судьбах писателей и художников, что должен был рассказать, хотя бы коротко и шутливо, о большом поэте, который счастлив. Конечно, Неруда знал и часы отчаяния и разочарования, и горести любви, и многое другое, без чего не обойтись, но никогда он не отрекался от жизни и жизнь не отрекалась от него. Он пошел против сильных мира, стал коммунистом, нашел друзей, следовательно - нашел и врагов, но ругали его только враги, никогда он не знал, что значит терпеть кровные обиды от своих. Он писал, о чем хотел и как хотел. Когда я переводил главу его книги, я наткнулся на один образ, которого не понял. Я спросил: «Пабло, почему и идейны голубые?»... Он долго мне объяснял, что как-то увидел индейцев под вечер на берегу озера, и они казались голубоватыми. «Но в поэме этого нет...» Он ответил: «Ты прав... Но пусть они останутся голубыми». Прав, конечно, был он.

Могут сказать: человеку везло и везет. Это ничего не объясняет. Нерула никогда не выбирал легкого пути, но на тяжелой дороге, когда вокруг него люди падали, плакали, проклинали свою судьбу, он видел

не низость, а благородство, не лопухи, а розы - так устроены его глаза, такое у него сердце.

Вот он загрустил; он пишет не о борьбе народа, не об Андах или вулканах, он разрешает себе пожаловаться:

Я очень устал от кур:

мы не знаем, что они думают,

они смотрят сухими глазами

и не придают нам значенья...

давай уставать хотя бы

раз или два а неделю,

оттого что дни зовутся всегда одинаково,

как блюда на столе...

Это не брюзжание старика, а шалости ребенка, и кончает Неруда стихотворение тем, что придут молодые, откроют зарю или окрестят заново поцелуи. Если ему и повезло, то в ту самую минуту, когда он появился на свет - дело не в благоприятных обстоятельствах, не в оптимистической философии, не в эгоизме, а в чудесной природе этого человека.

Мы пробыли в Китае немного больше месяца; кроме Пекина, побывали в Шанхае и в Ханчжоу, ездили в деревни, смотрели Великую стену, могилы династии Мин.

Для меня все было внове: я впервые увидел Азию. Правда, радушные хозяева порой нас чересчур опекали - говорили, что время еще беспокойное, повсюду со мной ходили переводчики. (Только раз в Ханчжоу мне удалось их перехитрить и одному побродить по городу.) Много времени отнимали различные приемы, банкеты, совещания, митинги. Впечатлений все же было немало. Однако я не решился ничего написать о Китае. Я увидел слишком мало для того, чтобы понять страну с древнейшей культурой, где только что победила революция, где новое переплеталось со старым; и вместе с тем я увидел достаточно, чтобы! понять, что я ничего не понимаю,- это меня удержало от поверхностных суждений.

В книге воспоминаний я рассказываю не о различных странах, а о своей жизни. Поездка в Китай была для меня школой: на старости лет я начал освобождаться от шор европейского воспитания. Теперь я не боюсь сбивчиво, да и, наверно, наивно рассказать о своих впечатлениях - никто их не примет за попытку дать картину Китая.

В Северной Америке, где я побывал до Китая, потом в Латинской Америке, в Индии, в Японии и, конечно же, в Китае многое меня удивляло. Путешественник прежде всего замечает то, что ему непонятно; так Бывало и со мной

В первый же день ко мне пришли китайские писатели. Они называли Меня «Эйленбо», и я долго не мог догадаться, что это загадочное слово означает «Эренбург». В китайском языке почти все слова состоят из одного слога, собственные имена - это два или три слова. Иностранные имена могут быть выражены словами лестными или обидными - в зависимости от отношения к человеку. «Эйленбо» свидетельствует о добрых чувствах, это значит «крепость любви». Фадеев по-китайски Фадефу, и Александр Александрович с гордостью мне говорил, что это означает «строгий закон». Некоторые звуки европейских языков, как, например, «р», в китайском отсутствуют.

Мне много говорили о знаменитом французском писателе Бальбо, удивлялись, что я его не знаю, пока наконец я не догадался, что речь идет о Барбюсе.

Грамота в Китае - сложная наука: для того чтобы читать газеты или книги с несложным словарем, нужно знать несколько тысяч иероглифов. Го Можо знает десять тысяч, он может написать все, но прочитать это «все» смогут далеко не все. В Шанхае нас повели в большую типографию. На стене были тысячи ящичков с иероглифами, и наборщики ловко взбирались по лесенкам, чтобы взять нужный иероглиф. После того как лист напечатан, значки плавят, отливают новые - раскладывать их по ящикам чересчур трудно. Наборщики - люди очень образованные, они знают больше иероглифов, чем средний читатель, а знание иероглифов - это знание понятий. Я удивлялся, что китайцы не переходят на звуковое письмо, как это сделали вьетнамцы и частично японцы. Мне объясняли, что тогда житель Кантона не сможет читать пекинские газеты или журналы. На севере чай «ча», на юге «тэ». а иероглиф, конечно, тот же. На заседаниях Всемирного Совета Мира я несколько раз видел, как пожилые вьетнамцы переписывались с китайцами и корейцами - разговаривать они не могли, но иероглифы понимали.

На следующий день после приезда нас пригласили в Комитет защиты мира, там мне показали чертежи, изображавшие различные фазы церемонии вручения премии. «Одно нам неясно,- сказали китайские друзья,- как вы вручите медаль госпоже Сун Цинлин - двумя руками или одной?» Я ответил, что это не имеет значения - могу одной, могу двумя. «Это имеет очень большое значение - нужно, чтобы вы поступили так, как это делается в Москве». Хотя Д. В. Скобельцын несколько раз при мне вручал премию, я не мог вспомнить, держал ли он диплом и медаль в одной руке или в двух. Обсуждение длилось долго. Китайцы куда серьезнее относятся к любой церемонии, чем европейцы, и существует множество правил приличия, которыми нельзя пренебрегать.

Две недели спустя мы были на приеме в честь второй годовщины провозглашения Народной республики. Нас выстроили в шеренгу и объяснили: «Вы подойдете к товарищу Мао Цзэдуну и поздравите его с праздником». Первой в шеренге оказалась Люба. Выйдя в зал, она

направилась к президиуму, где сидели члены правительства. Китайцы вовремя ее остановили - нужно было описать полукруг.

На нервном же банкете я обомлел - нам подавали различные блюда часа три, а блюд было не менее тридцати; их порядок для европейца загадочен: когда подали сладкое, я облегченно вздохнул, решив, что обеду приходит конец, но вслед за этим принесли рыбу, а в конце дали бульон и сухой рис. Еда в Китае изысканная, редко понимаешь, что ты ешь. Однажды нас угощала писательница Дин Лин. Одно блюдо мне особенно понравилось, и я спросил, что мы едим. Хозяйка не знала, позвала повара, который сделал небольшой доклад; переводчик, однако, не знал ни анатомии курицы, ни русских названий растений, и блюдо осталось для меня загадочным.

Один писатель сказал мне, что не мог встретиться со мной - его жена была тяжело больна, три дня назад она умерла; говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже; потом я вспомнил, что Эми Сюо мне говорил: «Когда у нас рассказывают о печальном событии, то улыбаются - это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться».

В Китае я впервые задумался об условностях, обычаях, правилах поведения. Почему европейцев изумляют нравы Азии? Мало ли у нас условностей? Европейцы, здороваясь, протягивают руку, и китаец, японец или индеец вынуждены пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, маншально целует ее руку. Англичанин, возмущившись проделками своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэръ, вы мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя зайти в дом, не сняв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским - ширма но позволяла войти прямо; это связано с преданием о том, что

черт идет напрямик; а по нашим представлениям черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет - того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается - нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем: если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы.

В 1951 году в Китае было много советских специалистов - инженеров, агрономов, врачей; они работали самоотверженно и вели себя скромно. Китайцы тогда ценили помощь, оказываемую им Советским Союзом, и принимали русских как желанных гостей. Однако различия в условиях порой и в те времена вмешивались в дружбу. Советские инженеры начали устанавливать оборудование одного из новых заводов; станки были рассчитаны на рост русских, которые несколько выше китайцев. Инженеры сказали, что дело легко исправить - они поставят перед станками подмости. Китайцы заулыбались, а потом заявили, что станки они установят сами. Они проделали тяжелейшую работу - вкопали машины в землю. Очевидно, в подмостках было нечто для них оскорбительное. Вспоминая этот случай, я часто думаю: сколько размолвок и обид рождается от случайностей, от того, что люди, которые чувствуют, переживают, да и думают сходно, привыкли к разным выражениям чувств, к веренице различных образов.

После церемонии вручения премии артисты пекинской классической оперы исполнили несколько сцен. Я впервые услышал китайскую музыку, она меня поразила; удивили и приемы актерской игры, содержание пьесы. Я сидел рядом с китайскими министрами, они наслаждались игрой, переживали происходящее на сцене. Потом я несколько раз был в театрах Пекина и Шанхая, начал понимать прелесть китайского спектакля. Его часто противопоставляют реализму - он сложен, как иероглифы, насыщен условными понятиями, но искусство немислимо без условностей: те, которые нам известны с детства, нас не удивляют. Нам кажется естественным, что

Борис Годунов, умный и не ронявший зря слова,- на сцене все время поет; что Ромео и Джульетта, умирая, танцуют; что колокольчик - это «дар Валдая», а бессонница - «парки бабье лепетанье». Я рассказывал, как меня когда-то рассмешил французский трагик Муне-Сюлли, который патетически завывал, играя Эдипа, - я тогда знал только такой театр, где все «всамделишное». А некоторых москвичей сместили постановки Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров в пьесе «Лес» был непривычной для них условностью. Когда я увидел Муне-Сюлли, мне было восемнадцать лет, а Мэй Ланьфана я впервые увидел в шестьдесят. Знаменитый актер исполнял роль влюбленной девушки, его сын - служанки: все актеры были мужчины. В опере Шанхая играли только женщины, они исполняли роли полководцев и бородатых мандаринов. Условности китайского театра меня удивляли потому, что я их не знал. Потом мне объяснили, что если актер трясет руками над головой,- значит, он испытывает страх; флажки на спине полководца обозначают, сколькими полками он командует; если он делает вид, что пьет чай,- значит, он начал переговоры с противником; красное лицо свидетельствует о порядочности персонажа, а белое - о его бесчестности и так далее. Каждый китаец, даже неграмотный, разбирается в иероглифах театра.

Мне во многом помог Н. Т. Федоренко - он был тогда советником нашего посольства. Он знает китайский язык, старую и новую литературу, его рассказы мне часто открывали глаза.

Китайские поэты мне говорили, что стихи нельзя слушать, их нужно читать - иероглиф рождает образ. Гийом Аполлинер одно время писал «каллиграммы»: стихотворение было чашей, крестом, башней; он обладал скудным материалом - латинским алфавитом, а стремился к тому, о чем говорили китайские поэты.

На одном из обедов мне подарили стихотворение. Я долго любовался красиво вычерченными иероглифами. Я думал, что автор - поэт, но он оказался директором Народного банка. В свое оправдание он сказал, что он - человек пожилой, а в старое время все должны были владеть версификацией. По содержанию его стихотворение было традиционно условным, но зрительно оно мне показалось куда выразительнее, чем «каллиграммы» одного из крупнейших поэтов XX века. Очевидно, мастерство связано с веками. Тютчев для меня

великий поэт, но стихи, которые он писал по- французски, могли бы быть написаны любым французским студентом.

Я видел в Пекине произведения старого художника Ци Байши; ему тогда было восемьдесят лет. Он рисовал в традиционной манере, но был талантливым художником - его лошади или белки мне показались очаровательными. Некоторые китайцы пожимали плечами: стоит ли повторять то, что было сделано много веков назад?... Действительно, Ци Байши не внес в живопись ничего нового, лошади или белки не изменились. А гениальный пейзажист XI века Го Си был не эпигоном, но новатором. Все же мне хочется взять под защиту доброго мастера Ци Байши. Когда некоторые китайцы начали писать огромные полотна, то эти художники выглядели не новаторами и не эпигонами, а неумелыми копиистами. (В Индии я увидел современную живопись, которая, не будучи подражанием французским мастерам и сохраняя национальный Характер, показывала мир по-другому, чем древние фрески Аджанты. Вероятно, нечто подобное произойдет когда-нибудь и в Китае.)

В старом китайском искусстве поражают не фантазия, не причуды, да и не дерзость художника, а необыкновенное терпение и безупречное мастерство. Это в характере народа. Я любовался в парках «деревьями любви» или «деревьями дружбы» - два дерева или пять срастаются в одно; для того чтобы подчинить человеку рост дерева, нужны и знание ботаники, и огромная настойчивость. В Китае я не нашел того, что в Европе мы называем народным искусством. В Пекине были сотни улиц, где ремесленники жили, работали и продавали свои изделия,- улица корзин, улица щеток, улица чайников для лечебных трав, улица театральных бород, улица игрушек - бумажных тигров, змеев, крохотных птиц и так далее. Все предметы обихода, привычные для китайцев, отличались красотой пропорций, пониманием материала, а подражания европейской утвари мне показались уродливыми.

Я увидел Китай, когда Народной республике было всего два года. В Шанхае еще имелись рикши, модницы прогуливались в парижских платьях, старики не расставались с традиционными длинными халатами. А в Пекине все мужчины и женщины были одеты в одинаковые синие костюмы - куртка, штаны. Многие закрывали рот и нос белыми повязками - эту моду принесли японцы, которые хотели

оградить себя от мельчайших песчинок, приносимых ветрами из пустыни Гоби. Торговали повсюду и всем - музейными древностями, конфетами, шелком, женьшенем.

Меня поражала дисциплинированность народа. Молодые китайцы обзавелись вечным пером. Когда я бывал на собраниях или митингах, все сидели, внимательно слушали и записывали. Мне пришлось не раз выступать, иногда я шутил (боялся, что слушатели устали), записывали и шутки. Доклады китайцев повсюду были длинными - четыре часа, пять. (Спектакли тоже для европейца непомерно длинны, иногда пьеса идет два вечера -начало и конец истории.)

В саду возле школы, в деревне под деревом, в бараке я видел небольшие собрания - двадцать - тридцать человек; там тоже слушали и записывали. Переводчик мне объяснил: «Это критика и самокритика». Вряд ли содержание таких собраний было традиционным: обсуждали, что студент скрыл свое социальное происхождение, что незамужняя работница забеременела, что слесарь опоздал в мастерскую, но форма была китайской - один длительно каялся, другие слушали и записывали.

Возле города Ханчжоу в идиллическом пейзаже я увидел могилу знаменитого полководца XII века Ио Фэя. Он отразил атаки племени чжурчжэней, потом был отозван в столицу Ханчжоу и казнен. Около его могилы на коленях стоят бронзовый человек, предавший героя, и его жена. Школьная экскурсия осматривала достопримечательности. Один подросток плюнул в лицо предателя, тотчас его товарищи сделали то же самое. Китаец, который показал нам могилу полководца, не очень разбирался в древней истории и не знал, кем были названные им чжурчжэни, но поведение школьников он одобрил и добавил: «Он предал восемьсот десять лет тому назад»... Китайцы, с которыми мне привелось встречаться, уделяли внимание датам, годовщинам, а доказывая что-либо, говорили «в-пятых», «в-шестых», «в-седьмых»...

В Китае буддизм, да и другие религии играли, скорее, второстепенную роль. Я заходил в пагоды, там блистали статуи толстого золоченого Будды, а вокруг суетились, продавая какие-то листочки, отнюдь не толстые монахи; верующие пили чай, некоторые спали. Место религии занимала упрощенная мораль конфуцианства:

будь честным, уважай начальство и чти предков. Кладбищ в деревнях, однако, не было, и крестьяне, обладавшие крохотным полем, похожим на пригородный садик, должны были уделять там место для могил дедов и прадедов.

В деревне неподалеку от Пекина мне рассказали, как один безземельный крестьянин не знал, где ему похоронить отца. Он молил на коленях помещика разрешить похоронить отца на помещичьей земле. Помещик продиктовал условия: за могилу бедняк должен будет проработать столько-то месяцев.

Народная республика первым делом провела аграрную реформу - покончила с феодализмом. Конечно, были среди помещиков люди богатые, но я побывал в некоторых помещичьих домах, по сравнению с которыми дом среднего датского крестьянина следует назвать дворцом.

Раздел помещичьих земель уничтожил несправедливость - это было первым шагом. Один юноша в Пекине мне говорил: «Скоро мы обгоним старшего брата в построении коммунистического общества» («старшим братом» китайцы тогда называли советский народ). А в деревнях я еще видел древнюю соху. Домики крестьян были крохотными; на низкой печи спала вся семья. Ели скудно - чашка риса, иногда сладковатая редька или листик капусты. Женщины в деревнях еще держались приниженно. Я видел босых крестьян, видел детей с язвами на голове. Пять лет спустя в Индии я понял, что все относительно - отощавшие крестьяне, падающие голодные коровы, на улицах Калькутты бездомные, умирающие, прокаженные. Таких ужасов в Китае не было, но уровень жизни большинства китайцев в 1951 году был куда ниже, чем в самых бедных районах Европы. Друзья, побывавшие в Китае несколько лет спустя, рассказывали, что многое изменилось: построили тысячи школ, больниц, родильных домов, яслей. Я видел раннее утро нового Китая: прививали всем оспу, учили грамоте детей и взрослых, сносили трущобы Шанхая. Многие страны Азии тогда глядели на Китай как на чудотворного пророка. Когда я был в Дели в 1956 году, туда приехала китайская делегация, трудно рассказать, с каким восторгом индийцы ее встретили.

Исторические пути Индии и Китая различны, и вместе с тем есть между ними много сходства. За триста лет до нашей эры города Индии были снабжены канализацией. В третьем веке до нашей эры

китайцы построили Великую стену, чтобы защитить страну от кочевников. Производство шелка китайцы начали за две тысячи лет до нашей эры; в пятом веке до нашей эры вырыли оросительные каналы, потом начали изготавливать бумагу. Китайцам принадлежит изобретение компаса, сейсмографа, фарфора, книгопечатания подвижным шрифтом (за четыреста лет до Гутенберга). Они изобрели порох и многое другое, о чем европейцы узнавали с большим запозданием от арабов. Правитель Индии Ашока в третьем веке до нашей эры сформулировал принципы мира, согласно которым он решил никогда не начинать войн. Когда мы защищали в Движении сторонников мира те же принципы, на нас многие нападали. Феодалные распри, вторжения, навязанные войны истощили два великих государства Азии как раз в то время, когда страны Западной Европы освоили порох, обзавелись артиллерией и военным флотом. Индию начали разбирать по кускам, львиную долю получили англичане. Китай продолжал существовать как государство, но ему предъявили ультиматумы, посылали на его территорию карательные экспедиции, навязывали кабальные договоры. Индия добилась независимости в 1950 году, причем осталась членом Великобританского содружества. Китай стал Народной республикой за год до того. Американцы создали «второй Китай» на острове Тайвань.

Каждый китаец помнит былые обиды. Стоит вспомнить хотя бы «опиумные войны», когда англичане, возмущившись запретом ввоза опиума в Китай, силой оружия добились продления права отравлять китайцев; это было в эпоху чартизма, роста тред-юнионов, в эпоху Диккенса, Теккерея, Тернера. Об этом я думал в Китае, потом в Индии. У народов Азии есть свои счета с обидчиками, есть счета, которые нелегко погасить.

Вернусь к 1951 году. Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличнее от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище - положили цветы на могилу Лу Синя. Там мы встретили знакомую китаянку: открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала - расплакалась. Мне рассказали историю несчастной любви. Поэт Ай Цин говорил мне о том, как трудно быть поэтом, и его слова напомнили мне некоторые страницы моей биографии. Я встретил

читателей моих романов. Все было проще и сложнее, чем это кажется туристу, который ищет экзотики.

Я влюбился в Индию, там было много людей, разговаривая с которыми я забывал, что это дети «страны чудес».

Год спустя в Японии я увидел, что та архитектура, о которой я мечтал в начале двадцатых годов, принадлежит японскому быту.

Эта глава моей книги может показаться статьей, вставленной в автобиографию, но я рассказываю о том, что меня волновало и волнует. Моя жизнь прошла на рубеже двух эпох. Октябрьская революция, революция в естественных науках, пробуждение народов Азии и Африки открывают новую эру. Много я понял в конце моей жизни. Теперь часто говорят о предстоящем освоении космоса, а я только к концу жизненного пути начал осваивать нашу планету.

В гимназии меня учили латыни, я знал ссоры удельных князей, проказы богов и богинь Древней Греции. Потом я хаотично прочитал много книг, бродил по музеям, понял величие Эллады, разгадал средневековое искусство, восхищался Возрождением. Но о странах Азии я в молодости судил по книгам европейцев да по некоторым произведениям древнего искусства. Книги, которые я брал, часто были случайными: Блаватская рассказывала о таинственной Индии, Киплинг писал о джунглях и об отважных белых, автор истории буддизма (книгу мне дал Волошин) восхищался нирваной. Потом я увидел Хокусаи и Утамаро, мастеров XVIII века, но ничего не знал о портретах Сэсю, который жил в XV веке. О современной Японии я судил по книге Пильняка, по модному в то время сатирическому роману посредственного французского автора да по безделкам, выставленным в витринах антикваров,- чайникам, веерам, ширмам. Я прочитал книгу Ромена Роллана о Ганди и его последователях, стихи Рабиндраната Тагора, две или три книги, в которых рассказывалось о зверствах англичан, о кастах, о голоде, о йогах, Когда в 1917 году я увидел «Сакунталу», которую играли в Камерном театре, я восхитился - я ничего не знал о Калидасе, и пьеса, написанная пятнадцать веков назад, показалась мне современной. В двадцатые годы журналы и газеты много писали о революционном Китае. Я знал про события в Кантоне, прочитал роман Мальро «Условия человеческого существования», французскую книгу о Конфуции. Я рассказываю о своем невежестве потому, что незнание Азии было общим грехом

европейцев, и оно позволяло образованному индийцу или китайцу относиться к интеллигенции Запада с некоторым презрением.

Два мира сосуществовали отнюдь не мирно, между ними была стена.

Киплинг писал, что Восток и Запад никогда не встретятся. Он родился в Бомбее, молодость провел в Азии, был хорошим поэтом, но, видя Индию, он ее не видел: на его глазах была повязка - идея превосходства Запада над Востоком.

Афоризм Киплинга мне кажется не только неверным, но и опасным - он нашел отклики повсюду. Теперь иные начинают поговаривать о превосходстве Востока над Западом. А Восток и Запад встречались, встречаются и, надеюсь, будут встречаться. Увидев японских художников XVIII века, я понял, чему у них научились мастера французского импрессионизма. Французские энциклопедисты изучали философов старого Китая. Английские филологи в середине XIX века многое почерпали из древнейшей индийской грамматики. Современный китайский театр произвел огромное впечатление в Париже и обогатил французских режиссеров.

У Востока и Запада общие истоки, и как бы ни были разнообразны рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет дальше.

Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности людей и народов, могут стать универсальными, а расизм или национализм (безразлично, от кого он исходит), с его утверждением приоритета и превосходства, неизбежно порождает вражду, разобщает народы, принижает культуру и в итоге становится всеобщим бедствием. Об этом я часто думал в годы, когда писал эту книгу, думаю и теперь, слушая по радио поучения некоторых китайских догматиков. Вряд ли заря новой эры будет идиллической, но мне не верится, что люди, уверенные в превосходстве своей крови, своей религии или в абсолютной правоте своего толкования того или иного учения, осмелятся от словесного расщепления своих спорных истин и чужих, столь же спорных заблуждений перейти к оружию, способному уничтожить не только все заблуждения, но и все истины.

В 1949 году я кончил одну из моих статей строками: «Думая о судьбе века, я вспоминаю стихи турецкого поэта Назыма Хикмета, озаглавленные «XX век».

– Нет, не страшит меня мой век,
мой жалкий,
мой великий век,

нет,

я не дезертир.
Я не жалею, что пришел
так рано в этот мир,
и века моего
я не стыжусь
и не страшусь,
я - сын его,
и этим я горжусь!

Это написал коммунист после двенадцати лет тюрьмы, зная, что его приговорили к двадцати восьми годам заключения и что V него болезнь сердца... Когда читаешь эти строки, что-то подступает к горлу, хочется пожать далекую руку, сказать: «Никогда рней не победят жизни, если есть у нас столько друзей, чистых, честных, смелых!..»

Назым Хикмет тогда еще сидел в турецкой тюрьме. Два года спустя я пожал его руку. В осенний вечер он позвал Любу и меня к себе. Жил он напротив «Правды», в квартире, которую ему отвели как гостю. Мы почти не, знали друг друга, но Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его волновало. (Он слишком часто говорил то, что думал; некоторых это злило, но в конце концов обезоруживало. Одни товарищ как-то сказал мне: «Но ведь это сказал Назым Хикмет, а с него взятки гладки...») В тот первый вечер, который мы провели

вместе, Назым признался, что многого не понимает. Началось со статуэтки: «Вы знаете, я не могу глядеть на нее. Это уродство, настоящее мещанство! Но ничего не поделаешь - квартира казенная, я здесь гость...» Он рассказал, что ему предоставили машину: «Утром выхожу, шофер спрашивает: «Куда поедем, начальник?» Я отвечаю: «Какой я начальник? Я - поэт, коммунист, сидел в турецкой тюрьме...» Он говорит: «Ну не начальник хозяин»... «Маяковский - гений», а я посмотрел стихи в журналах - при чем тут Маяковский?... Меня повели в театр. Как будто не было ни Мейерхольда, ни Таирова, ни Вахтангова...»

Это старая трагедия - человек на десятилетия выпадает из жизни и, возвратившись, многого не может понять. Есть старинные французские песни о солдате или матросе, который, приехав после долгой войны, не узнает своей жены, а жена принимает его за чужого. Можно заморозить сердца, как ягоды клубники, это вопрос сроков... Назыма арестовали в 1937 году, но не в Москве, а в Турции. Он не знал о гибели Мейерхольда, которого обожал, не знал, что поют вместо «ни царь, ни бог и ни герой» «нас вырастил Сталин», не знал, что картины, которыми он восхищался в музеях, спрятаны, он очень многого не знал.

В тюрьме он писал стихи о Сталине как о старшем товарище. Он говорил в 1951 году: «Я очень уважаю товарища Сталина, но я не могу читать, как его сравнивают с солнцем, это не только плохие стихи, это плохие чувства...» А в 1962 году Назым Хикмет написал:

Он был из камня, из бронзы, из гипса и бумаги,
от двух сантиметров до нескольких метров.

На всех площадях мы были под его сапогами,
под сапогами из камня, бронзы, гипса и бумаги...

Очутившись в Москве, он отвечал невпопад - плясал на похоронах и плакал на свадьбе.

Повсюду его встречали овациями - большой поэт, герой, просидевший тринадцать лет в тюрьме. Он говорил, отвечал на вопросы и восхищал молодежь своей прямоотой, искренностью. Порой наивность помогала ему быть мудрым. Впервые он приехал в Москву в 1921 году - ему тогда не было двадцати лет, а Советской республике четыре года. То была эпоха «памятника Третьему Интернационалу» Татлина, споров между футуристами и имажинистами,

мейерхольдовского «Великодушного рогоносца», эпоха голода и уличных карнавалов. Назым прожил у нас восемь лет, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, писал стихи и пьесы, уверовал, понял, закалился. Это был на редкость цельный человек. В своей поэтической автобиографии он говорил: «Одним знакомы виды трав, другим - виды рыб, а мне - виды разлуки. Одни знают наизусть имена звезд, а я- имена расставаний». (О том же когда-то говорил Осин Мандельштам: «Я изучил науку расставаний...») Жизнь Назыма была бурной и трудной, но если он знал все виды разлук, все имена расставаний, то никогда не изведал горечи разрыва: до конца жизни сохранил идеи, вкусы, привязанности юношеских лет.

Конечно, он повзрослел (слово «постарел» к нему не подходит), многое понял и за год до смерти писал: «Я разучился верить, я учусь понимать...» Но, учась понимать, он убеждался в правоте того, во что раньше верил. Еще при жизни Сталина мы как-то сидели вечером в пражской гостинице. Назым говорил: «Когда я спросил в Румынии, жив ли Мейерхольд, мне сказал один товарищ, что, кажется, умер, а другой, которого я спросил, сказал, что Мейерхольд живет на юге, кажется, в Крыму или возле Сочи, там климат лучше... Я никогда не отступлюсь от коммунизма - для меня это правда. Но зачем обманывать товарищей?»

В 1956-м, а может быть, в 1957-м Назым мне рассказал, что при «культе личности», незадолго до смерти Сталина, арестовали старого турецкого коммуниста, ветеринара, которому было под семьдесят, он умер в концлагере, а теперь посмертно реабилитирован. Назым говорил: «Я часто думаю о судьбе Н... Мне повезло - конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже было другим...»

Назым гордился, что однажды выступал вместе с Маяковским: «Это было, конечно, в Политехническом. Я очень боялся, а Маяковский мне сказал: «Ты, брат, не бойся, читай по-турецки, никто не поймет, и все будут аплодировать...» Он вспоминал выставки, театры и все удивлялся. «На улице Воровского,- рассказывал он,- я разговаривал с двумя молоденькими поэтами. Я им говорю, это Элюар замечательный поэт, а они улыбаются. Я их спрашиваю, что они думают о стихах Пабло Неруды, по-моему, это очень большое явление.

Опять улыбаются. Потом один говорит, что они против низкопоклонства. Я очень рассердился, говорю: «Элюар - коммунист, Неруда - коммунист». Это им безразлично. По-моему, они совсем не коммунисты».

Дед Назыма Хикмета был пашой, губернатором. Внук стал в молодости коммунистом и коммунистом умер. После XX съезда, когда некоторыми овладели недоумение, даже сомнения, он говорил: «По-моему, у всех сняли с сердца камень...» Вернувшись из поездки в Париж, он рассказывал: «Есть удивительные люди. Когда у людей язык отнимался, они верили, а когда сказали правду, заколебались. Коммунизм - это страсть, жизнь, но для таких людей он был минутным увлечением или привычной службой».

О том, что Назым был убежденным коммунистом и большим поэтом, известно всем, но люди, встречавшиеся с ним, знают также, что он был на редкость добрым, хорошим человеком. Однажды я ему рассказал, что Элюар, узнав об Орадуре, в первую минуту усомнился, действительно ли гитлеровцы собрали детей в школу и там их сожгли. Назым сказал: «Я его понимаю. У нас в Турции очень много диких людей, бывала страшная резня, кто-то рассказывал, что резали даже детей, и всегда мне казалось - может быть, выдумка, то есть преувеличивают...»

В Риме я разглядывал два тома его произведений: один иллюстрировал Гуттузо, другой - друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым просиял: он не хотел говорить о своих стихах, хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Амаду- всех не перечтешь. Об Элюаре он однажды мне сказал: «Удивительно, когда я читаю некоторые его стихи, мне кажется, что именно об этом, именно так я хотел написать...»

Почему-то все считают, что учителем Назыма Хикмета был Маяковский, а сам Назым не раз говорил, что Маяковский для него пример смелости, человеческого подвига, но поэтически он пошел по другой дороге. Он распрощался с рифмами, говорил, что поэзия отличается от музыки, сродни ей, но вместе с тем жаждет, скорее, звуков, чем звучания. От стремления продлить народную песню он перешел к созданию своей формы, к простоте и прозрачности. Я

слышал, как он читал по-турецки, я читал французские и русские переводы; конечно, этого мало, чтобы сулить о поэте, и все же мне кажется, как казалось самому Назыму, что ближе всего ему был Элюар.

Его любовь к левому искусству двадцатых годов связана с его природой, с его эстетикой. В поэзии он освободился от всех литературных школ, а в пьесах есть что-то архаическое - приемы театра, который исчез. Он очень любил живопись, говорил, что она труднейшее для восприятия искусство, что нелегко разгадать «сладость яблок Сезанна»: для этого необходима большая живописная культура. Бунтарь двадцатых годов в пятидесятые годы готов был яростно защищать любого советского художника, в котором чувствовал желание расстаться с академическим письмом.

Мы встретились в Риме; я пошел на вечер, где он читал свои стихи. В Риме он долго мне доказывал, что нельзя требовать от искусства доходчивости; иногда его стихи понятны каждому, иногда только людям, разбирающимся в поэзии, и он протестует, когда одних ставят выше других. «Нельзя доверять уход за всеми розами директору завода, изготавливающего розовое масло. Ведь каждый год выводят новые сорта, дело не только в масле, у розы цвет, запах. Некоторые люди - эстеты - хотят, чтобы розу поставили выше пшеницы или кукурузы, а для других розы - это крохотная цифра в большом бюджете...» Он вдруг остановился у окна цветочного магазина: «Посмотрите, пожалуйста, какие здесь розы!»...

Я знаю, как легко приходит к заключенному отчаяние. А Назым Хикмет просидел тринадцать лет в каменной клетке вдвоем с надеждой. В тюрьме он написал «Человеческую панораму» -эпопею турецкого народа. Дважды Назым объявлял голодовку,- связанный, продолжал бороться за человеческое достоинство.

Внешне он походил, скорее, на человека с севера, чем на турка,- очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно - в Москве и в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции он тосковал. Он покрыл диван турецкой материей; повел меня в ресторан «Баку»: «Здесь еда немножко похожа на нашу»; встречаясь на сессии Всемирного Совета Мира с турком, он не мог от него оторваться. Раз он сказал мне: «Прислали мои стихи на исландском языке. Удивительно!... А в Турции меня не печатают. Да и печатали бы, те,

для кого я пишу, не смогли бы все равно прочитать - неграмотные...»
В стихотворении «Завещание» он писал:

Если я умру на чужбине, товарищи,
похороните меня на деревенском кладбище Анатолии
рядом с батраком Османом, которого убил Хасан-бей...
Хорошо, если вырастет чинара,
а без камня и надписи я обойдусь...

В 1952 году мы все с тревогой спрашивали: «Как Назым?...» Он сам лотом писал: «С разорванным сердцем четыре месяца, лежа на спине, и ждал смерти». У него был сильный инфаркт. Его спасли, но с тех нор он жил в постоянном соседстве со смертью. Он весело разговаривал у меня на даче - он был прекрасным рассказчиком,- и вдруг его лицо покрылось крупной росой пота, В стихах он часто возвращался к мыслям о смерти:

Под дождем по московскому асфальту идет весна,
на своих топких зеленых ногах,
стиснутая шинами, моторами, кожей, тканями и камнями.
Сегодня утром
моя кардиограмма была плохая.
Та, которую ждут, придет неожиданно, придет одна,
не принеся с собой то, что ушло.
Концерт Чайковского играют под дождем.
Ты будешь подниматься без меня по лестнице...
С одной стороны - строчи стихи
один другого светлее,
с другой - беседуй со смертью,
что рядом с тобой стоит.

Когда праздновали его шестидесятилетие, был вечер для писателей в Доме литераторов и другой для читателей - в Политехническом; на последнем я председательствовал. Зал был переполнен, стояли, сидели на полу в проходах, и все глаза светились любовью к Назыму. Я тихо спросил его: «Устали?» Он виновато ответил: «Немножко... Но я очень счастливый...»

Он страстно любил жизнь, детей, стихи, птиц. Незадолго до смерти он писал:

Дадим шар земной детям, дадим хоть на день,
дадим, как раскрашенный шарик, пусть с ним играют.

Он продолжал радоваться, любить, полетел в далекую Танганьiku и оттуда писал письма в стихах о Черной Африке, о звездах, о борьбе, о своей любви.

В 1962 году он писал стихи своей любимой:

Я снял с себя идею смерти,
надел на себя
июньские листья бульваров...

Он умер ровно через год, в раннее утро раннего лета. Проснулся, пошел в переднюю за газетой и не вернулся - сел и умер.

Он лежал в гробу добрый и прекрасный. Старушка, всхлипывая, говорила девочке: «От разрыва сердца» - так в моей молодости называли инфаркт. А мы стояли у гроба, и кажется, у всех готово было разорваться сердце от короткой ужасающей мысли: нет больше Назыма!

Тысяча девятьсот пятьдесят второй год для меня начался с похорон. В последний день старого года умер М. М. Литвинов.

Максима Максимовича я встречал в разные годы и при различных обстоятельствах, бывал у него в Москве, когда он был наркомом и жил во флигеле парадного дома на Спиридоновке, встречал его в Париже, ужинал с ним в Женеве, где он выступал на заседании Лиги Наций, видел его в опале, провел у него вечер накануне его отъезда в Вашингтон, несколько раз разговаривал с ним в послевоенные годы. Я не могу сказать, что я его хорошо знал, он был человеком скорее молчаливым. Он сидел, слушал, порой усмеялся - то с легкой иронией, то благодушно, изредка подавал реплику, но ничего в нем не было от угрюмого молчальника, он любил посмеяться. Есть унылые оптимисты, а Литвинов был человеком веселым, но зачастую, особенно к концу своей жизни, с весьма мрачными мыслями.

Некоторые слова Максима Максимовича и запомнил, некоторые черты его разглядел и о них коротко расскажу. Он был крупным человеком, об этом можно судить хотя бы по тому, что во времена Сталина, когда любая инициатива вызывала подозрения, существовало понятие «дипломатов Литвинове кой школы».

Почти всех дипломатов этой «школы» я знал - одних лучше, других хуже. Они работали в трудное время, когда западные державы еще рассчитывали уничтожить молодую Советскую республику: угрозы, полицейские налеты на посольства, фальшивки были бытом. Я видел, как наши дипломаты убеждали, когда это было нужно, умело ссорили врагов или мирили колебавшихся сторонников мира, привлекали на нашу сторону дельцов и ученых, крупных промышленников и авторитетных писателей. Эта работа оставалась для рядовых советских людей неизвестной, а дипломаты отнюдь не были баловнями судьбы. Некоторые умерли до начала произвола: Красин, Довгалецкий, Кобецкий, Дивильковский. Другим повезло - Коллонтай, Суриц, Штейн умерли в своих кроватях. Воровского и Войкова убили антисоветские террористы. Майский, Рубинин,

Гнедин, претерпев мытарства, вернулись из тюрьмы или лагеря живыми. А многие погибли. Антонов-Овсеенко, Раковский, Крестинский, Сокольников, Розенберг, Гайкис, Марченко, Арнс, Гиршфельд, Аросев, Членов стали жертвами клеветы и беззакония (я назвал только некоторых).

Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Н. И. Вавилова и пощадил П. Л. Капицу? Почему, убив почти всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивного Максима Максимовича? Все это остается для меня загадочным. Да и сам Литвинов ждал другой развязки. Начиная с 1937 года и до своей последней болезни он клал на ночной столик револьвер - если позвонит ночью, не станет дожидаться последующего...

У Максима Максимовича была вполне миролюбивая внешность: толстый, добродушный, хороший семьянин. Да и досуги его были заполнены невинными развлечениями - за границей, когда выпадали два-три свободных часа, шел в кино, глядел мелодраматические фильмы, «страсти-мордасти». Он любил хорошо покушать, и приятно было на него глядеть, когда он ел - так восхищенно он макал молодой лучок в сметану, с таким вкусом жевал. Любил разглядывать большой атлас,- наверно, колесил по далеким незнакомым странам. Он любил жить. Однако этот добродушный человек умел полемизировать, и западные дипломаты поглядывали на него с опаской. Некоторые из его выступлений в Лиге Наций облетели мир. Жолио мне рассказывал, что выступление Литвинова, сказавшего, что нельзя договариваться с бандитами о том, в каком квартале города они могут безнаказанно разбойничать, помогло ему понять не только безнравственность, но глупость западной политики за несколько лет до Мюнхена. Л слова Литвинова о «неделимости мира» я слышал и после смерти Максима Максимовича на различных конгрессах и конференциях.

Литвинов с благоговением говорил о Ленине: «Такого не было и не будет». Ленин послал Максима Максимовича в Стокгольм в очень трудное время - в 1919 году, в разгар интервенции, говорил ему, что нужно попытаться найти на Западе разумных людей, учесть разногласия в лагере победителей, возмущение побежденных, рабочее

движение, аппетиты возможных концессионеров, авторитет ученых, писателей. Литвинов хорошо знал Запад, он прожил много лет в эмиграции, женился на англичанке. Он говорил о Ленине: «Это был человек, который понимал не только претензии русского крестьянина, но и психологию Ллойд-Джорджа или Вильсона...»

Литвинов был на три года старте Сталина. Максим Максимович о Сталине отзывался сдержанно, ценил его ум и только один раз, говоря о внешней политике, вздохнул: «Не знает Запада... Будь нашими противниками несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил...»

Характер у Литвинова был далеко не мягкий. Я. З. Суриц рассказал мне о сцене, свидетелем которой был. В 1936 году Сурица вызвали в Москву. На совещании Литвинов изложил свою точку зрения, Сталин с ним согласился, подошел и, положив руку на плечо Литвинова, сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Максим Максимович снял руку Сталина со своего плеча: «Ненадолго...»

В старой записной книжке я нашел слова Литвинова: «Тит славился жестокостью. Захватив власть, он казался римлянам великодушным, подхалимы его называли «прелестью рода человеческого». В тот самый год Везувий уничтожил Помпею и Геркуланум. Вполне возможно, что вулкан выполнял директивы нового императора: в Помпее было много влиятельных людей, а Геркуланум славился философами и художниками». Прочитав запись, я вспомнил, как, выйдя из дома, где тогда помещался Литературный музей, я увидел Литвинова и пошел проводить его. День был весенний. Максим Максимович говорил о том, что Трумэн умом не отличается, вспоминал Рузвельта. Я спросил, кого он считает самым крупным политиком, он ответил: «Конечно, Сталина». Потом он почему-то заговорил об истории Древнего Рима, написанной английским автором, и, посмеиваясь, сказал об императоре Тите. Вечером я записал его слова.

На заседании, когда Литвинова поносили и вывели из ЦК, он возмущенно спросил Сталина: «Что же, вы считаете меня врагом народа?» Выходя из зала, Сталин вынул трубку изо рта и ответил: «Не считаем».

Литвинова не арестовали, но Сталин отстранил его от работы, хотел уничтожить измором. Однако в то время это не удалось. I [осле

нападения Гитлера на Советский Союз Сталин вызвал Литвинова, дружески протянул руку и предложил поехать в Вашингтон. Еще в 1933 году Максим Максимович встречался с новым президентом Соединенных Штатов Рузвельтом, опять наладил дипломатические отношения. Когда я был в Америке, политические друзья Рузвельта мне рассказывали, что президент уважал Литвинова, часто приглашал его, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу.

В 1943 году, после Сталинградской победы, Литвинова отозвали в Москву. Он продолжал числиться заместителем министра иностранных дел, но вел незначительную работу. В 1947 году он стал пенсионером - не по своему желанию. Сталин, однако, распорядился, чтобы ему оставили квартиру и другие жизненные блага. Максиму Максимовичу пошел тогда восьмой десяток; он мог бы разглядывать атлас и вспоминать прошлое, но всю свою жизнь он проработал и не знал, как жить без дела, а жить он хотел и понимал, что, если он будет обречен на безделье, мотор заглохнет. Он написал Сталину, благодарил за внимание и просил дать ему работу. Жданов вызвал Максима Максимовича: «Вы писали товарищу Сталину. Мы хотим поставить вас во главе Комитета по делам искусств». Максим Максимович возмутился: «Я ничего в этом не понимаю. Да я и не думаю, что искусство можно декретировать...» Жданов рассердился: «Какую же работу вы имели в виду?» - «Чисто хозяйственную». Никакой работы ему не дали. Он начал составлять словарь синонимов, каждое утро ходил в Ленинскую библиотеку и все же томился от безделья. В кремлевской столовой почти каждый день он встречал Сурица, они отводили душу.

За несколько дней до смерти он лежал днем с закрытыми глазами; жена тихо спросила его: дремлет он или задумался? Он ответил: «Я вижу карту мира», - то, что называется «дипломатией», было для него творчеством, он мечтал, как предотвратить войну, сблизить народы и континенты, карта для него была тем, чем служат художнику тюбики с красками. Пенсионер поневоле умирал, как художник, полный творческих замыслов, без палитры, без кисти и без света.

В одной из комнат Министерства иностранных дел была гражданская панихида. Кто-то по бумажке прочитал речь. На Максиме Максимовиче был не парадный мундир, а обыкновенный костюм. Лицо его казалось непроницаемо спокойным, даже

благодушным. Ко мне подошла дочь Сурица, Лиля: «Папа сегодня скончался...»

Якова Захаровича два дня спустя привезли в тот же зал. Было несколько сотрудников министерства; кто-то прочитал речь. На Немецком кладбище были снова мундиры мидовцев, снова речь по бумажке и венки из бумажных цветов.

С Сурицем я познакомился в Берлине в 1922 году на выставке советского искусства. Суриц внимательно глядел, иногда сердился, иногда любовался. Он приглашал меня приехать к нему в Осло, говорил, что там есть хорошие художники. Искусство он обожал, собирал картины, рисунки; у него были самые различные вещи - Роден и Левитан, Матисс и Коровин, Марке и Велла. Он их охотно показывал, кричал на меня, что я не понимаю значения «Мира искусства», недооцениваю Левитана, не хочу признать Грабаря.

Я мало знаю о прошлом Сурица. Однажды, рассказывая о гитлеровцах, он сказал: «Подумать, что я учился в Гейдельбергском университете! Да если бы мне тогда сказали, я не поверил бы... Мы часто говорим абстрактно. А может быть, слова меняют значение. «Одичание». Ну, что это для меня означало в те годы? Политический просчет. Или успех «Санина», оргии, «кошкодавы». А в Берлине я видел, как студенты тащили за бороду старика, он был в крови, а они пели...» Он был, кажется, первым советским послом: Ленин отправил его в Кабул в 1919 году, когда новый эмир Амануллахан прислал своих представителей в Москву с письмом к Ленину. Это было до рождения советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе, сам составил текст с упоминанием о признании полной независимости и суверенитета Афганистана. В Кабуле Суриц пробыл недолго, его назначили послом в Норвегию, а в Афганистан прибыл Раскольников.

История судит дипломатов, как полководцев, - по выигрышам или Проигрышам. А у каждого даже самого одаренного дипломата бывают свои Аустерлицы и свои Ватерлоо - многое зависит от ситуации. Когда Сурица послали в Анкару, Новая Турция с надеждой глядела на Москву. Яков Захарович понимал свое дело. Обыватели думают, что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и говорить, из хорошего сделать лучшее, если не предотвратить, то хотя бы

затормозить и смягчить плохое. Сурик завоевал доверие Кемалю, укрепил дружбу между двумя государствами. О Кемале Яков Захарович говорил с восхищением: «Большой ум! По сравнению с ним Даладые - невежественный провинциальный политик...»

Что мог делать Сурик в гитлеровском Берлине? Да только наблюдать и сообщать в Москву. Американский посол Додд, друг Рузвельта, в своем дневнике не раз отмечал дружеские беседы с Сурицем, а дочь Додда, Марта, говорила мне, что Яков Захарович был единственным дипломатом в Берлине, которому ее отец доверял.

Летом 1937 года, приехав из Испании в Париж, я в посольстве увидел Сурица. Он расспрашивал, есть ли надежда на перелом после Уэски; сказал: «Здесь все разворачивается отвратительно...». Потом он признавался, что после Берлина наслаждается «воздухом Парижа». В свободное время он ходил на выставки, рылся в лавках букинистов, завел знакомства с художниками.

(Его всегда тянуло к людям искусства. В Москве я встречал у него А. Н. Толстого, И. Э. Грабаря, А. Я. Таирова, А. Г. Коонен, В. Г. Дулову, многих других.)

Обстановка во Франции была неблагоприятной: Блюма сменил Шотан, мелкий политический комбинатор, которому казалось высотами искусства раздобыть в парламентском буфете несколько голосов для правительственного большинства. Народный фронт трещал. Буржуа, перепуганные забастовками, начали поглядывать на Гитлера с уважением, а то и с надеждой. Франция катилась к разгрому. Сурик пытался отсрочить развязку, он беседовал с Эррио, встречался с французским националистом, ненавидевшим третий рейх, Кериллисом, с журналистом Бюрэ, но у событий своя логика. Началась война, и малодушные правители Франции, не решавшиеся открыть огонь по противнику, потребовали отъезда Сурица из Парижа.

Я рассказал в предшествовавшей части книги, как в Куйбышеве в номере «Г ранд-отеля» Сурик хотел, чтобы я восхищался рисунком Родена. Он приютил меня на ночь и перед тем, как показать рисунок, три часа, задыхаясь от волнения, говорил о наших неудачах: «Конечно, пакт с Германией был необходимостью. Виноваты французы, англичане и, конечно, Бек. Но как Сталин использовал два года? Ужасно это выговорить - он верил в подпись Риббентропа. Он

подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил!...» Сурику казалось, что он говорит шепотом, но он кричал и успокоился, только когда вытащил из чемодана рисунок.

После войны его хотели послать в Японию; запротестовали врачи - не выдержит климата. Тогда нашли страну с климатом не более благоприятным,- Бразилию. Он пробыл там недолго - под давлением Вашингтона Бразилия порвала отношения с Советским Союзом.

Суриц вернулся в Москву. Он смотрел на холсты, читал, думал. Однажды он сказал мне строго: «Вы моложе меня на десять лет, но не мешает и вам о многом задуматься...»

У него были тонкие черты лица, борода клином, большие усы, которые он, волнуясь, пожевывал, косматые брови. В последние годы он страдал гипертонией и порой выходил из себя - говорил то, что думал. Приходил он неожиданно, рассеянно пил чай, молчал, а потом прорывалось- он мог говорить два часа подряд, не останавливаясь, что-то в нем клокотало. Начиналось почти всегда со слов: «Вчера мыс Максимом Максимовичем говорили...» Следовал негодующий монолог. Иногда Яков Захарович объяснял поступки Сталина «патологическим раздвоением личности». Старый революционер, интернационалист, типичный интеллигент, он не мог принять ни толкования «низкопоклонства» и «космополитизма», ни многих других событий койка сороковых годов. Я не пересказываю его историй о Сталине - они могут показаться разоблачениями, внешне расширить, а по существу сузить характер этой книги. Суриц многое объяснял характером Сталина, расхождением в нем самом теории и практики; может быть, он был прав; но сейчас мне хочется передать терзания старого, больного, душевно чистого человека, проработавшего всю свою жизнь для торжества идеи, в которую продолжал верить, и видящего то, чего он не мог принять. Раз он тихо выговорил: «Беда даже не в том, что он не знает, как живет народ, он не хочет этого знать - народ для него понятие, и только...»

Он уходил, а месяц или два спустя приходил - не мог дольше молчать и начинал: «Вечером мы с Максимом Максимовичем вспомнили Лозовского...»

Было только одно средство успокоить Якова Захаровича - повести его в комнату, где висели рисунки Матисса, пейзажи Фалька, холсты Шагала. Лицо его менялось, он чуть заметно улыбался. Я больше с

ним не спорил - не потому, что боялся взволновать его, нет, он меня обезоруживал своей любовью к искусству. Однажды, глядя на рисунок Матисса, он тихо сказал: «Жизнь - это тоже линия...» Когда Якова Захаровича хоронили, я вспомнил эти слова. До чего человеческая линия!... Рисунки остаются, внуки их легко расшифруют, может быть, заглянут и в старые книги. А кто в огромном клубке истории разыщет тонкую оборвавшуюся нить, дела и страсти исчезнувшего со сцены актера?

В конце февраля 1952 года праздновали юбилей Гюго. В Москву пригласили Поля Элюара и внука Виктора Гюго, художника Жана Юго. (Придется объяснить читателям, почему великий поэт не оставил детям в наследство буквы «г», - это относится к русской транскрипции. В прошлом столетии французские имена, начинавшиеся с немой согласной «h», снабжались «г» - Гюго, скульптор Гудон, город - Гавр; потом стали писать правильно - поэт Эредиа, композитор Онеггер, Эррио.)

Жан Юго - прелестный художник. Он иллюстрировал книгу Элюара «Париж еще дышал» прозрачными пейзажами города, мастерскими и в то же время простодушными. Юго привез а подарок нашим библиотекам редкие издания своего деда и, выступая на различных собраниях, говорил, что счастлив провести знаменательные дни в столице Советского Союза.

Хотя приглашения были посланы поздно, Жан Юго прибыл вовремя и присутствовал на научной сессии Института мировой литературы, с которой начались празднества. А Элюара не было. Я пошел на заседание, выслушал доклады и, вернувшись домой, увидел Элюара. Люба рассказала, что позвонили с аэродрома: «Прилетел француз, фамилия Элюар. Никто его не встретил. По-русски он не говорит, но называет фамилию товарища Эренбурга...» Люба попросила посадить его в такси, шофер должен довезти его до квартиры. Элюар пришел за десять минут до меня. Он рассказал, что его хотели отправить во французское посольство, тут он запротестовал, из всех его слов поняли только «Эренбург». Жена приедет через два дня - когда пришло приглашение, ее не было в Париже. Я сердился: почему никто не сообщил о его приезде? Он смеялся: «А зачем сообщать? Я и так добрался...»

Элюар был очень скромным. Один из участников Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что однажды к нему пришел высокий человек, сказал пароль и дал пакет с листовками. День был холодный, он предложил пришедшему посидеть возле печурки. «Вдруг я цоял, что видел это лицо в довоенном журнале. Я робко спросил: «Вы

поэт?» - «Да». Это был Элюар. Я не мог удержаться: «Вы не должны зря рисковать... Мог бы принести другой». Он удивился: «Почему «другой»? Все мы рискуем. А товарищи устали, набегались за день...» Ив Фарж ездил с Элюаром в партизанский район Греции летом 1949 года - за несколько месяцев до конца Соппротивления. Шли жестокие бои: люди уже защищали не гору Граммос, а человеческое достоинство. Фарж мне рассказывал, что иногда приходилось часами идти в гору. Ни разу Элюар не пожаловался, не попросил передохнуть, а когда Фарж ему говорил: «Посидим часок», - он возражал: «Пойдем с бойцами - зачем их задерживать?...» Однажды он выхватил у двух девушек тяжелый мешок, потащил его, не хотел отдавать. Я записал слова Фаржа: «Он, кажется, никогда не думал о том, что он большой поэт. Может быть, потому другие не могли об этом забыть».

Он выступил в Колонном зале, потом в клубе автомобильного завода. Мне он признался: «Самое трудное выйти на сцену, когда все на тебя смотрят...» Не успел кончиться юбилей Гюго, как начался юбилей Гоголя. Элюар выступил в Большом театре, еще где-то. Потом чествовали Федина, и Элюар его приветствовал. Потом он рассказывал в Доме литераторов о современной французской поэзии. Потом его пригласили студенты. Потом была пресс-конференция. Доминика говорила мне: «Поль очень волнуется, когда выступает...» Я просил уменьшить программу, но такие уж нравы: если юбилей - двадцать пять речей, если банкет - пятьдесят тостов, страна большая, людей много...

В одно утро Элюар пришел ко мне расстроенный, сказал, что с Жаном Юго приключилась неприятность: он стоял на Софийской набережной, неподалеку от дома английского посольства, и писал акварелью пейзаж Кремля. Подошел милиционер и отобрал альбом. «Жан никогда не занимался политикой, но к вам он чувствует симпатию. Он - председатель Французского юбилейного комитета, и вот уехал со мной в Москву. Досадно!... Может быть, ему вернут альбом?...»

Я позвонил Григорьяну, он мне ответил, что француз рисовал не только Кремль, но и здание Министерства обороны: «Это совершенно недопустимо...» Часа два или три спустя мне принесли из гостиницы книгу Элюара с иллюстрациями Юго, художник на первой странице акварелью нарисовал Кремль, я увидел «недопустимую» верхушку

здания Министерства обороны. Юго писал, что уезжает, посылает Любе и мне эту книжку на память о наших встречах. Акварель напоминала другие работы Юго - нежные и наивные: стены, купола, снег. Да из окна английского посольства можно все это сфотографировать, и, конечно, куда точнее! Я рассердился, снова позвонил Григорьяну, сказал все, что думал. Вечером Григорьян сообщил мне, что альбом решили вернуть Юго: «А к вам просьба - постарайтесь его успокоить». Скрепя сердце я пошел к Юго, долго мялся и наконец начал: «Произошло недоразумение...» Юго увел меня в ванную и там сказал: «Можете быть уверены, что во Франции я не скажу об этом ни слова...» В Париже в интервью он говорил, что очень доволен своей поездкой, его чудесно принимали и он увидел, как в Советском Союзе любят Гюго. Осенью 1954 года он написал мне, что работает над иллюстрациями к «Оттепели», которую публикует французский журнал «В защиту мира». Рисунки были лирическими: лесок, прогалины, влюбленные... Юго скорее почувствовал, чем понял, что многое в наших нравах изменилось.

Вернусь к Элюару. Мне хочется передать образ большого поэта, которого я встретил впервые сорок лет назад, но узнал и полюбил много позднее. Смутно помню молодого сюрреалиста, высокого, худого, с привлекательным лицом, с удивительно красивым голосом. Он ругал одного писателя, в те времена весьма почитаемого: «Это не человек, это хорек, который уверяет кур, что он их спасет от куриных хлопот...» Когда он негодовал, он густо краснел. В те годы я его плохо знал, и только недавно, прочитав его юношеские письма, понял, что у нас было много общих увлечений и сомнений, хотя он был на пять лет моложе меня. В ранней молодости он болел легкими, его послали в Швейцарию в санаторий. Там он познакомился с русской девушкой Галей и влюбился в нее. Началась война. Галя уехала в Москву. Поль служил в полевом госпитале, был отравлен газами. Он слал письма Гале, и в 1916 году она приехала в Париж, вскоре они поженились. С помощью Гали он перевел «Балаганчик» Блока. В одном из писем с фронта он просил мать послать его первую книжку стихов знакомой Гали - «известной русской поэтессе Марине Цветаевой».

Тысяча девятьсот тридцатый год мы с Любой встречали в Берлине у художника Георга Гросса. Среди приглашенных был Элюар. В то время в среде сюрреалистов шли горячие споры - прав или не

прав Арагон. Элюар оставался с непримиримыми, но по природе он был мягким, шутил, смеялся, хотя в те годы ему было очень трудно.

Четыре года спустя я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции». Статья была поверхностной, хлесткой. Меня разозлило, что сюрреалисты устраивают дискуссии о поле, характере и возможном поведении стеклянного шарика или лоскута бархата. А фашисты за Рейном жгут книги, убивают людей. Когда Элюар пришел на Антифашистский конгресс писателей, чтобы прочитать речь, написанную Бретоном, он со мной не поздоровался.

Летом 1937 года у книжного магазина на бульваре Сен-Жермен я разглядывал новинки. Кто-то стоял рядом, я поглядел - Элюар. Мы оба смутились. Он первый сказал: «Здравствуйте!... А Пикассо говорил мне, что вы в Испании...» Я ответил, что неделю назад был на Арагонском фронте. Он спросил, как там теперь. Я рассказывал, должно быть, нехотя, потому что он вдруг остановился: «Мне нужно в другую сторону...» Вспоминая эту неудавшуюся встречу, я думаю, как часто бывал глухим и слепым.

В годы войны я прочитал во французском журнале, выходившем в Лондоне, несколько стихотворений, которые меня потрясли человечностью и красотой. Подпись - Жан дю О - явно была псевдонимом. Мелькнула мысль: может быть, Элюар?... Вскоре после этого один из летчиков «Нормандии» прочитал мне те же стихи и еще другие: «Это Поля Элюара...»

Мы встретились летом 1946 года в Париже и обняли друг друга. Я знал по рассказам общих друзей, что в начале тридцатых годов в личной жизни Элюара произошли перемены: он женился на Нуш. Пикассо показывал мне ее портрет, она казалась красивой. Стихи Элюара стали менее мрачными. И вот я увидел Нуш, она оказалась не только красивой, но обаятельной, нежной, хрупкой и в то же время смелой. Мы просидели в темном кафе вечер. Поль и Нуш рассказывали о годах оккупации. Мы смеялись, шутили. Бог ты мой, каким светлым казалось нам тогда будущее!...

Приехала из Москвы Люба. Элюар нас позвал к себе. Мы добрый час разыскивали дом, где он жил. Он записал адрес в мою книжицу, а такого номера не оказалось. Мы ходили взад и вперед по длинной улице де ля Шапелль. Если мы нашли наконец дом, мрачный, темный, то только потому, что один из прохожих, которых мы спрашивали,

догадался: «Наверно, у вас старый адрес - часть улицы переименовали, поищите на улице Макс-Дормуа». Я ругал Элюара: почему он записал не ту улицу? Нуш смеялась: «Поль против нового названия. Он говорит, что мы жили и живем на улице де ля Шанелль. Вы понимаете - это ведь целый мир. Даже говорят так: «Человек - с улицы де ля Шапелль...»

Мы встретились с Элюаром два года спустя во Вроцлаве, по ночам разговаривали. Потом мы бродили по развалинам Варшавы. Иногда с нами был Пикассо, иногда мы беседовали вдвоем. Он изменился - сказалося пережитое: в конце 1946 года, когда он уехал на несколько дней в Швейцарию, скоропостижно скончалась Нуш. Друзья рассказывали мне, как тяжело он пережил потерю; а мне он сказал в одну из вроцлавских ночей: «Я стоял одной ногой в могиле...»

Потом был Парижский конгресс и снова длинные беседы. В Москве в феврале - марте 1952 года я видел его в последний раз. Если сложить все часы, проведенные с ним, получится мало, очень мало, но, видимо, у сердца свой хронометр; я потерял не только большого поэта- близкого друга, простого и необычайного, мягкого и мужественного, поэта любви, считавшегося малопонятным и ставшего своим для миллионов читателей.

Неужели никогда не перестанут взрослые, серьезные люди противопоставлять один период творчества поэта другому, рубить человека на куски, превращать его жизнь с поисками, потерями, надеждами, с ее непереносимой трагедией в шутовской экзамен, где экзаменатор бубнит: «Это было ошибкой... Теперь правильно... Опять неверно... Хорошо, что поняли... Пожалуй, дадим вам диплом...» Что за напасть и что за ограниченность! В 1925 году Элюару было тридцать лет, а в 1945-м пятьдесят. Дело не только в том, что поседели виски, руки начали дрожать, но разве человек, перед которым в тумане раскрывается даль, может понять, почувствовать то, что станет для него в конце жизненного пути не азбучными истинами, а своим опытом, слезами, потом, потерями? Да одни ли поэты меняются? Разве не меняется сама жизнь? Долгие годы сюрреализма для Элюара были не ошибкой, которую ему следует простить за последующее, они были годами его жизни, его поэзии, и, наверно, без них он не стал бы автором последних книг.

Юношей на фронте он начал стихотворение словами:

Меня покинула лазурь, и я развел огонь...

О том же он писал и в годы Соппротивления, и перед смертью: о ночи и огне. Он всегда писал о любви. Перед молодым фронтовиком была Галя, перед зрелым поэтом - Нуш, в последние годы - Доминика; но стихи Элюара не летопись сердечных событий, не прославление петрарковской Лауры или другой женщины - это стихи о любви, и любой любящий может их принять за выражение своих чувств. Поэтический гений - это не только исключительная сила слов, это исключительная глубина, острота чувствований, она позволяет «самовыражению» стать выражением современников, а порой и правнуков.

Однажды во Вроцлаве Элюар рассказал мне историю стихотворения «Свобода». Это стихотворение состоит из ряда четверостиший, каждое кончается словами «я пишу твое имя»:

На моих разбитых укрытиях.

На моих рухнувших маяках,

На стене моего уныния

Я пишу твое имя...

Элюар сказал, что писал эти стихи о Нуш, и кончал стихотворение словами:

Я родился для того, чтобы тебя узнать.

Чтобы назвать тебя по имени.

У него было поразительное свойство: этот якобы замкнутый, даже «герметический» поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. «Вдруг я понял,- рассказывал он,- что я должен кончить именем, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода». Это было о 1942 году, тогда у всех была одна возлюбленная.

Поэзия Элюара неизменно считалась трудной, о нем говорили как о «поэте для немногих». Но стихи Элюара летчики сбрасывали на города оккупированной Франции - стили оказались убедительнее листовок, хотя Элюар ни в чем не поступился, ни к чему не приспособился - стихи военных лет так же «трудны», как написанные раньше или позднее. Еще раз было доказано, что понятие «доходчивости» условно, часто стихи подлинного поэта куда понятнее миллионам читателей, чем трезвые наставления литературного критика.

Сложность поэзии Элюара в ее сжатости, трудность в простоте. Его стихи почти непереводимы - они слишком зависят от облика слова, его звучания, связанных с ним ассоциаций. (Незвал, Альберти, Тувим, Назым Хикмет, Неруда читали его стихи в подлиннике, их любовь к человеку была связана с осязательностью, реальностью его поэзии.) Трудно объяснить, в чем сила стихов Элюара,- внешние приметы поэзии отсутствуют: нет ни рифмы, ни размера, ни редкостных эпитетов, ни пышности образа. В стихотворении «Габриэль Пери» он говорил:

Есть слова, которые помогают жить,
И это простые слова:
Слово «тепло» и слово «доверие»,
Слова «любовь», «справедливость» и слово «свобода».
Слово «ребенок» и слово «доброта»,
И некоторые названия фруктов и цветов,
Слово «мужество» и слово «открытие».
Слово «брат» и слово «товарищ».
И некоторые названия стран и деревень,
И некоторые имена друзей и женщин...

Стихи его кажутся зыбкими, невесомыми, как тень листвы или утренняя роса, и, однако, они остаются в памяти, стоят вдоль дороги жизни, как старые чинары или как каменные статуи.

Элюар очень любил живопись. Его книги, кроме Пикассо, иллюстрировали многие художники, непохожие один на другого - Макс Эрнст и Валентина Юго, Леже и Сальвадор Дали, Шагал и Кирико. Многие из художников, которые ему нравились, мне далеки, но я понимаю, что он видел в их работах: чертежи поэм, зримый мир своих сновидений. В стихах, однако, он не пытался словами вылепить форму или передать цвет - верил в магию слов и от нее не уклонялся ни к пластике, ни к красноречию.

Больше всего, больше всех Элюар любил Пикассо. Их дружба длилась четверть века, и ничто не могло ее подорвать или хотя бы остудить. Под «Герникой Пикассо - стихи Элюара. Поль собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу «Пабло Пикассо». Внешне они казались людьми двух полюсов - чертом и младенцем, но это относится к характеристике экзаменаторов или классификаторов, которым чужда стихия искусства. Черт может быть добрым, даже

простодушным, а младенец побывал в аду и многое узнал. Наперекор видимости, наперекор законам возраста и ремесла, они были близкими феноменами, и когда Пикассо вспоминает: «Это Поль мне сказал», - его лицо становится таким нежным, что сжимается сердце.

Он был настолько хорошим и скромным человеком, что, кажется, личных врагов у него не было. В 1942 году он вошел во Французскую коммунистическую партию, остался верен ей до конца. Умер он еще в эпоху предельного ожесточения, и вот что поразительно сила его поэзии, ее человечность, великодушные обезоруживали политических противников. Правда, правительство пыталось запретить похоронное шествие, но это было механическим актом «холодной войны», поступком не живых людей, а электронной машины. Со дня смерти Элюара прошло много времени, а его влияние продолжает расти, о нем уже никто не спорит - его поэзия переросла и биографию и события.

Я все-таки не сказал, что всего удивительнее в его поэзии. Доброта. Можно быть большим поэтом, уметь страдать и уметь рассказывать о муках или о радости - глубоко, точно, но без доброты. Это уж не столь частое свойство и вообще людей, и в частности поэтов. Элюар не мог быть счастливым рядом с чужим несчастьем, и происходило это не от размышлений, а от природы человека. Когда он говорил о своем личном счастье, он говорил о счастье всех:

Мы идем вдвоем, взявшись за руки.
Нам кажется, что мы повсюду дома -
Под ласковым деревом, под черным небом,
Под всеми крышами, у всех каминов,
На пустой улице, на ярком солнце,
В смутных взглядах толпы.
Среди мудрых и безумных,
Среди детей и среди взрослых,
В любви нет ничего таинственного.
Мы здесь, все нас видят,
И влюбленным кажется. Что они у нас в гостях.

Это написано незадолго до смерти. Он шел с Доминикой, может быть, по холмам Дордони или в Москве по Пушкинской площади. Он хотел всех одарить. Он боролся, рисковал не раз жизнью - не оттого, что решил так поступать, а потому, что не мог иначе.

В один из последних московских вечеров Поль сидел у нас. Его руки дрожали больше обычного, но он шутил, потом замолк. Люба говорила с Доминикой. Вдруг он сказал мне: «Я вспоминаю молодого рабочего. Помните - он прорвался после вечера в комнату за сценой?... Он сказал: «Мне тоже хочется писать стихи, но и боюсь, что не выйдет. Голова все время набита словами, гудит, а писать боюсь...» Горько то, что задуманное всегда лучше, чем выполнение. Не только в поэзии - в жизни...»

Эти слова я записал. Прощаясь, мы думали, что встретимся в декабре в Вене. Я радовался, видя рядом с ним крепкую, милую, заботливую Доминику. Восемь месяцев спустя в холодное гуманное утро я услышал по радио: «Вчера скончался французский поэт Поль Элюар...» Доминика потом мне рассказала, что утром он прочитал газеты: Розен боргам, несправедливо осужденным в Америке, отказано в пересмотре дела. Поль сказал: «Только бы их спасли!...» Четверть часа спустя он познал Доминику: сердце перестало биться. Ему должно было исполниться пятьдесят семь лет. Я пишу, и мне кажется, что это случилось вчера. Ничего нет сильнее, чем то, что связывает людей, когда перевал позади и они спускаются вечером по темной крутой тропинке.

Когда я оглядываюсь назад, 1952 год мне кажется очень длинным и в то же время тусклым; вероятно, это связано с тем, как я тогда жил. В журнале печатался «Девятый вал», критики его хвалили; но я чувствовал, что книга не вышла, и ничего больше не писал. Перерывы между поездками, связанными с борьбой за мир и с работой депутата, оставляли достаточно времени, чтобы задуматься над своим писательским путем. В один из осенних дней я записал в книжечку: «Видимо, разумнее всего оставить работу писателя. Через три месяца мне будет шестьдесят два года, это не тот возраст, когда можно сидеть у моря и ждать погоды. Движение за мир - хоть здесь я могу что-нибудь сделать».

В октябре собрался XIX съезд партии. Сталин произнес в конце короткую яркую речь. О литературе упомянул в своем докладе Маленков; он жалел, что у нас нет Гоголей и Щедриных, и сказал, что идейные позиции писателя определяются тем, типичны его герои или нет. Один ленинградский писатель мне говорил: «Управдомов можно было высмеивать и до того, как вспомнили про Гоголя и Щедрина. А подымешься на ступеньку выше - скажут: «Нетипично». Интересно, каким путем будут устанавливать «типичность», - может быть, статистикой или шагистикой?»

Я просмотрел подшивку «Литературной газеты»; все выглядит идиллией. Газета отмечала, что в «Новом мире» напечатан роман Гроссмана «За правое дело», но критики о нем молчали. Они хвалили новый вариант «Молодой гвардии» Фадеева, одобрительно писали о романе Кочетова «Журбины». Газета сокрушалась, что недостаточно учтен «гениальный труд Сталина, произведший переворот в языкознании». Разоблачали «лженауку» кибернетику. Писателей ругали мягко, почти по-отечески. Праздновали юбилеи: Паустовскому и Федину исполнилось шестьдесят лет, Назыму Хикмету и Каверину пятьдесят. Устраивали вечера, подносили папки, обнимали и, разумеется, желали «новых творческих успехов». Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили. В одном из толстых журналов напечатали стихотворение Мартынова, редакцию за это поругали. Под

тусклыми, похожими одно на другое стихотворениями пестрели незнакомые имена молодых; теперь я заметил под одним из них подпись Е. Евтушенко. Когда перелистываешь еще не успевшие пожелтеть листы, кажется, что редакция не знала, чем их заполнить. Кончились радищевские дни, отмечали пятидесятилетие со дня смерти Золя, потом столетие со дня рождения Мамина-Сибиряка.

В апреле в Москве состоялось Международное экономическое совещание. Я познакомился с лордом Бойд-Орром, старым английским пацифистом, человеком большой культуры и чистых мыслей. Он мечтал о сотрудничестве двух миров, с восхищением говорил о Ганди, об Эйнштейне.

На совещание приехали, помимо экономистов, несколько крупных предпринимателей и довольно много средних или мелких, надеявшихся на советские заказы. Вспоминаю смешной эпизод. Из секретариата совещания мне позвонили. «Что значит французское сокращение АПТ?». Я не мог расшифровать, ломал себе голову. Потом мне переслали письмо: Апт оказался городом в Провансе, а письмо написал фабрикант охры Шовен. До войны, по словам Шовена, французские фабриканты продавали России ежегодно восемь тысяч тонн охры, и он решил приехать на экономическое совещание с надеждой возобновить экспорт охры. Шовен оказался живым симпатичным южанином, участником французского Движения сторонников мира и неисправимым фантазером. Его принимали а Комитете защиты мира на Кропоткинской. Он восхищался людьми, но, глядя на облупившийся фасад особняка, повторял: «Вам совершенно необходима охра!...» В Москву он привез образцы промышленности Апта - глазированные фрукты и лавандовую туалетную воду. Фрукты были вкусными, лаванда чудесно пахла, но ни эти товары, ни охра не соблазнили Министерство внешней торговли. У одного бельгийца купили партию дамских комбинаций, и он ликовал, а Шовен уехал с пустыми руками, но с сердцем, полным любви к нашему народу, писал мне письма, хотел, чтобы советские актеры приняли участие в карнавале Апта,- словом, оставался наивным мечтателем.

Жизнь шла своим ходом. Народ трудился. Строили новые заводы. Учителя учили грамоте малышам, которые теперь стали юношами, работают или учатся, думают, спорят. Подростки читали Толстого,

Чехова, Горького. На сцене тысячи театров ежевечерне Гамлет говорил о флейте и лжи, герои Чехова тосковали, а бессмертный Хлестаков врал, не зная передышки. В музеях всегда толпились посетители. Разговаривая с незнакомыми людьми, я видел, как выросло сознание так называемого «среднего человека».

В Праге осенью происходил процесс группы видных коммунистов. В «Литературной газете» их назвали «жабами у чистого родника», которые «мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях». Я никогда не увлекался идеями доктора Герцля, но не мог поверить, что сионисты жаждут превратить Чехословакию в свою вотчину. (Весной 1963 года Верховный суд Чехословацкой республики отменил приговор и реабилитировал осужденных.) Конечно, я не предвидел последующего, но пражский процесс заставил меня снова насторожиться.

Переговоры о перемирии в Корее начались еще весной 1951 года. После длительных споров стороны пришли к соглашению о шестидесяти пунктах договора. Спор продолжался об одном вопросе - порядке репатриации военнопленных. На Генеральной Ассамблее ООН Вышинский и Ачесои произносили длинные речи. Все понимали, что разрешить конфликт силой оружия невозможно, однако бои продолжались, причем они шли в районе, который, согласно одному из шестидесяти одобренных пунктов, должен был стать нейтральной зоной.

Шли бои и в Индокитае. «Холодная война» не затихала. Некоторые американские сенаторы называли операции в Корее «началом третьей мировой войны», говорили, что эта война будет длительной и должна кончиться «полным уничтожением коммунизма». Во Франции то и дело менялись правительства, вспыхивали забастовки, арестовывали коммунистов и профсоюзников. В Греции продолжались расправы. Я долго глядел на фотографию казненного Белоянниса; он держал в руке гвоздику и улыбался.

Год казался тихим и душным. Многие события последующих лет медленно созревали, но даже завзятые оптимисты предпочитали помалкивать.

Я был занят подготовкой Конгресса народов; дважды побывал в странах Скандинавии, ездил в Берлин, просидел несколько недель в Вене.

Жолио-Кюри и другие руководители движения хотели, чтобы Конгресс народов был шире и представительнее конгрессов сторонников мира. В письме к итальянскому либералу Нитти Жолио дал гарантии, что участники конгресса смогут свободно изложить свою точку зрения. Недоверие все же помешало многим колебавшимся приехать в Вену. Но если вспомнить обстановку конца 1952 года, то можно сказать, что конгресс удался. На нем выступили бывший канцлер Вирт, депутат католической партии Италии Терранова, итальянский депутат-республиканец Нитти, приверженцы Варгаса в Бразилии и Перона в Аргентине, члены индийской партии Конгресса, представитель партии большинства иранского парламента, некоторые английские тред-юнионисты, националисты из Марокко, тунисские друзья Бургибы, писатель Сартр, наблюдатель от организации сторонников «всемирного правительства» и пацифисты различных толков.

В отличие от Парижского и Варшавского конгрессов, ораторов, критиковавших политику Советского Союза, выслушали спокойно, многие даже аплодировали; в некоторых из таких речей говорилось о чрезмерно воинственном тоне Вышинского, об отказе от поисков компромисса, о подтексте пражского процесса. Мне запомнились выступления Элин Аппель, итальянской католички Пьяджио и шведского писателя Бломберга.

Конечно, как и в Варшаве, приветствуя некоторых ораторов, все вставали, на заключительном заседании пели, махали платочками и закрыли конгресс в три часа утра. Все же атмосфера была более деловой да и более миролюбивой, чем на Варшавском конгрессе. Вступительную речь произнес Жолио, он как бы дал тон ораторам. Впервые много говорилось о мирном сосуществовании, о культурных связях. Фадеев болел, и советской делегацией руководил Корнейчук, а он умеет улыбкой, дружеским словом, благожелательностью позолотить любую пилюлю (а наши пилюли подчас были очень горькими).

В тексте обращения к народам не было резких обвинений; он заключал требование немедленного прекращения военных действий,

признания за всеми народами права на независимость, необходимость всеобщего разоружения - словом, напоминал некоторые резолюции, единогласно одобренные Ассамблеей Объединенных Наций семь или восемь лет спустя.

После окончания конгресса был устроен ужин в большом зале, где смогли уместиться две тысячи человек. Было мало речей и много австрийского вина, легкого, но коварного. Все развеселились. Под утро кто-то прочитал, вернее, прокричал, только что полученный из Москвы список новых лауреатов премии «За укрепление мирах: «Ив Фарж, Китчлу, Поль Робсон...» Я аплодировал и вдруг услышал: «Илья Эренбург». Я, скорее, растерялся, чем обрадовался. Никогда мы не присуждали премий нашим. Да и почему мне, а не Фадееву или Корнейчуку?... Ко мне подходили, чокались, обнимали. Серен и сказал мне на ухо: «Хорошо, что он вам дал премию. Именно сейчас...» Я спросил, что значат его слова, но он не ответил.

Два дня спустя мы поехали поездом в Москву. Один вагон отвели Сун Цинлин и китайским делегатам, в двух других разместилась советская делегация и наши гости - Китчлу, Амаду, Эндикотт, Саломеа. Поезда в то время шли медленно. Выехав утром, мы только под вечер добрались до Будапешта. Денег у нас не было, а на дорогу нам ничего не дали, кроме цветов. Корнейчук, сидевший в соседнем купе, то говорил, что готов съесть своего соседа, то мечтал, как нас накормят в Будапеште, где поезд должен был простоять два часа. На вокзальном перроне мы увидели Ракоши и других важных товарищей, нас повели в правительственный зал. Корнейчук шептал: «Сейчас дадут гуляш...» Однако нам дали черный кофе и печенье. Корнейчук помялся, потом сказал: «Мы весь день ничего не ели»... Венгры засуетились: ресторана на вокзале не оказалось, полчаса спустя принесли сосиски, очень вкусные, но очень маленькие. Поели мы на следующее утро - на советской границе, где простояли часов пять. Два дня спустя я приехал в Москву. В дороге я несколько раз пытался расшифровать слова Серени,- может быть, он знает что-то?... Но чем больше я думал, тем меньше понимал и только нервно позевывал.

Пять дней спустя мы встречали Новый год с Ириной, Лидиными, Савичами. Я успел повидать некоторых друзей, спрашивал, какие новости. Рассказывали пустяки. На сердце у меня было смутно, я сам не знал почему.

Тринадцатого января газеты привезли в полдень. Я нехотя развернул «Правду». «К новому подъему нефтяной промышленности». «Упадок внешней торговли Франции». Вдруг на последней странице я увидел: «Арест группы врачей-вредителей». ТАСС сообщал, что арестована группа врачей, которые повинны в смерти Жданова и Щербакова, Они сознались, что собирались убить маршалов Василевского, Говорова, Конева и других. В газете было сказано, что большинство арестованных - агенты «международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», которые получали указания через врача Шимелиовича и «еврейского буржуазного националиста Михоэлса». В списке арестованных были известные медики - трое русских, шесть евреев.

Я поехал в Москву, пытался узнать, что приключилось. Одни говорили, что врачей начали арестовывать два месяца назад; другие, напротив, рассказывали, что был консилиум, пригласили врачей, лечивших Сталина, и потом арестовали. Все повторяли, что в больницах ад, многие больные смотрят на врачей, как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства. Агроном, тот, что беседовал с Сартром, проводил отпуск в Ялте. Он приехал до срока, рассказал мне, что его жена перепугалась: «Сегодня же уедем из санатория - нас здесь отравят»... Женщина-врач говорила: «Вчера пришлось весь день глотать пилюли, порошки, десять лекарств от десяти болезней - больные боялись, что я «заговорщица»...» На Тишинском рынке подвыпивший горлодер кричал: «Евреи хотели отравить Сталина!...»

Я говорил, что наш народ духовно вырос; но и мыслящий тростник порой перестает мыслить; можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу. Я никак не хочу всем приписывать того страха, о котором говорил. Последний холерный бунт был в 1893 году. Да и погромы исчезли с концом гражданской войны. Но если забраться в душевные дебри многих вполне разумных людей, то можно найти смутное недоверие, подозрительность. Конечно, такие не станут прислушиваться к разговорам молочниц на рынке. Однако о врачах-убийцах сообщили следственные органы. Вспомнили процесс в 1938-м; тогда выяснилось, что врачи убили Горького. Теперь они стали еще хитрее - ставят неправильный диагноз и лечением доводят больного до смерти. Я часто замечал у людей

вместе с преклонением перед медициной страх перед медиками - перед тем врачом, который их лечит: может ошибиться, недосмотреть... Если его завербовали враги, может убить и безнаказанно. А евреи?... Конечно, антисемитизм - предрассудок. «Глупо все валить на евреев. У нас работает Коган, хороший человек. Но ничего не скажешь - это не наши люди, у многих родственники в Америке. Дай живут они иначе, один тянется к другому, встретит, и о чем-то шепчутся...» Сообщение взывало к темному миру, я сказал бы, к подсознательному, если б это слово с легкой руки критиков не стало у нас признаком идеалистической философии.

Кто-то прибежал и тихо сказал мне: «Говорят, что Сталин болен. Ужас!...» Слух оказался вздорным: два дня спустя Сталин принял Сун Цинлин и Го Можо. Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии - церемония была назначена на 27 января: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках...» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать...»

Двадцать первого января, в день годовщины смерти В. И. Ленина, под его портретом в газетах был кощунственно опубликован указ о награждении орденом Ленина женщины-врача «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

На вручении мне премии выступали с приветственными речами Тихонов, Сурков, Арагон, Анна Зегерс, колумбийский писатель Саломеа. Потом полагалось выступить мне. Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира». Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремли я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды - про мужество многих и многих...» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной - к словам о

преследовании вставили «силы реакции»: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.

Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая «убийц в белых халатах». Во многих письмах говорилось: «русская женщина», «русская душа».

Однако самые неистовые толкования я прочитал во французской газете «Се суар», которую долго редактировал Жан-Ришар Блок. Эти статьи принадлежали перу видного журналиста Пьера Эрве, бывшего тогда коммунистом. Я понимаю, что французский коммунист мог поверить органам советского следствия и защищать их от политических врагов. Однако Эрве превзошел все и всех: его статьи напоминали фальшивку, изготовленную в годы второй империи, «Протоколы сионских мудрецов»; он доказывал, что козни «Джойнта» и арестованных врачей не локальное явление, а результат давнего заговора. Даже в те дни эти статьи меня удивили. А говорю я о них потому, что два года спустя, когда законность в нашей стране была восстановлена, Эрве порвал с коммунистической партией, выпустил книжку и даже прислал ее мне с трогательной надписью. В книжке среди прочего Эрве возмущался «делом врачей», не упоминая о своем личном вкладе.

Скажу откровенно, я предпочитаю горлодера с Тишинского рынка такому моралисту.

В «Правде» появилась резкая статья о романе Гроссмана. Тотчас и другие газеты обрушились на роман. Один сотрудник «Правды» рассказал мне, что статья напечатана по указанию Сталина. Не знаю, так ли это, но в те дни она выходила из рамок литературной критики.

События должны были развернуться дальше. Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось и Сталин не успел сделать того, что хотел. Конечно, эта история - глава моей биографии, но я считаю, что не настало время об этом говорить...

Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел - переводил Вийона. Вдруг

пришел сторож Иван Иванович: «По радио, значит, передавали, что Сталин заболел, паралич, положение тяжелое...»

Помню, как ехал в Москву. Было много снега. В сугробах тонули детишки. В голове вертелись слова: «Товарищ Сталин потерял сознание». Я хотел задуматься: что теперь будет со всеми нами? Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники: оцепенение

«В девять часов пятьдесят минут вечера...»

Медицинское заключение говорило о лейкоцитах, о коллапсе, о мерцательной аритмии. А мы давно забыли, что Сталин - человек. Он превратился во всемогущего и таинственного бога. И вот бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным.

Дом, в котором я живу, находится в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того чтобы пройти на одну из этих улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь, и, если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через пятьдесят шагов меня останавливали, и все начиналось сначала.

Траурный митинг писателей состоялся в Театре киноактера на улице Воровского. Все были подавлены, растеряны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверно, то, что и другие: «выиграл войну... отстаивал мир... ушел... скорбим... клянемся...»

На следующий день нас повезли в Колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал набальзамированный, торжественный- без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями.

Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. Рассказывали о задавленных на Трубной площади. Привезли отряды милиции из Ленинграда. Не думаю, чтобы история знала такие похороны.

Мне не было жалко бога, который скончался от инсульта в возрасте семидесяти трех лет, как будто он не бог, а обыкновенный смертный; но я испытывал страх: что теперь будет?... Я боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранить ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки; я

связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось «мудростью гениального вождя».

Я никогда не разговаривал со Сталиным (кроме телефонного разговора накануне войны, о котором писал). Я видел его издали на торжественных заседаниях, приемах или на сессиях Верховного Совета. Однажды я оказался рядом с ним, случилось это на приеме, когда в Москву приехал Мао Цзэдун. Меня удивило, что при входе контроль был строжайшим, как будто это не ресторан «Метрополь», а Кремль. Войдя в зал, я увидел, что народу очень много, и не стал пробиваться вперед. Зал оживленно гудел. Вдруг наступила тишина. Оглянувшись, я увидел Сталина. Он был не таким, как на портретах, старый человек небольшого роста с лицом как бы исколотым годами; низкий лоб, живые, острые глаза. Он с любопытством разглядывал зал, где, наверно, не был четверть века. Потом началась овация, и Сталина увели налево, где находились китайцы. Все произошло настолько быстро, что мне не удалось как следует его разглядеть.

Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как и все, называл его «хозяином». Древние евреи тоже не произносили имени бога. Вряд ли они любили Иегову: он был не только всемогущ, он был безжалостен и несправедлив, он наслал на праведного Иова все беды, убил его жену, детей, поразил его самого проказой, и все это только для того, чтобы показать, как заживо гниющий, брошенный всеми невинный человек будет на пепелище прославлять мудрость Иеговы. Бог бился об заклад с сатаной, и бог выиграл. Проиграл Иов.

В четвертой части этой книги я обещал читателям вернуться к Сталину, попытаться подвести итоги и найти причины наших заблуждений. Как многие поступки в моей жизни, это обещание было легкомысленным. Я не раз садился за эту главу, черкал, рвал написанное и наконец понял, что не смогу выполнить обещанное: конечно, теперь я знаю куда больше, чем в марте 1953 года, но я вижу, что знаю слишком мало для итогов и выводов, да и то, что мне известно, и зачастую не понимаю. Я не могу дать портрет Сталина - я его лично не знал; видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Напрасно я обещал выйти из рамок воспоминаний, заняться историей или философией. Ограничусь тем, что поделюсь с читателями своими

мыслями и чувствами в марте 1953 года, а если и выскажу некоторые размышления, то они будут связаны с характером работы писателя, которого больше всего волнуют судьбы человеческого сознания и совести.

Обожествление Сталина не произошло внезапно, оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал: по его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль, не соответствующую действительности; художники писали огромные полотна, посвященные канунам революции, Октябрю, первым годам Советской республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным; в газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина «гениальным» и «мудрейшим» предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смутили в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я - интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать.

Святой Петр для католиков - камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая, для меня он - герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в римском соборе, я забыл про все легенды: я глядел на ногу Петра - от поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительна. Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал «Хулио Хуренито», в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал:

Вера - очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я - человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ

Мертвого будит пера.
Я - человек, не труп.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел - билась земля,
Видел я небо в пепле,

Вере не верю я.

Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть, они называли свою часть «Батальоном Сталина». В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину, за Сталина!». Сколько писем итальянских и французских героев Сопротивления, написанных перед казнью, кончались словами: «Да здравствует Сталин!» К семидесятилетию Сталина одна французенка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в частности которых трудно усомниться,- Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал,- прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством.

Шла борьба, и места «над схваткой» не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком; говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форрестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе.

В тридцатые годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено: фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили «невмешательство», и только горсточка советских военных сражалась на стороне республиканцев. Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию: Чемберлен и Даладье надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась «странная война», правители Франции воевали не столько против рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной Армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что «красные» ослабят рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит «красных». Не успела кончиться вторая мировая война, как начали поговаривать о третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина.

Я не сразу разгадал роль «мудрейшего». Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие, я пытался обелить перед собой Сталина, приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, нравам.

Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о «головокружении от успехов», и о том, что «сын не отвечает за отца». После разгула «ежовщины» он публично сокрушался: в таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. Десять лет спустя, в разгар кампании против «космополитов», он осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. М. С. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаренце, говорил, что его не нужно трогать, а несколько месяцев спустя Чаренца арестовали и убили.

Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал: «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Роллан после встречи со Сталиным говорил: «Он удивительно человечен!...» Фейхтвангер считал себя скептиком, стреляным воробьем. Сталин, наверно, про себя посмеивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стреляный воробей поверил...

Суриц, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлер был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны - об этом мне говорили и военные и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных «врагов народа», почему-то поверил в подпись Риббентропа. Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся - не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову; потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в «братьев и сестер» бога. Однако он быстро собрался с духом, поразил Гопкинса своим

спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени - в газетах редко встречалось его имя. Культ был восстановлен сразу же после разгрома немцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе «гениального стратега».

Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел многое узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович предатели. С. М. Эйзенштейн рассказывал о своей встрече со Сталиным, который, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил: «Петруха недорубил...» Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра, я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина.

Меня упрекали за то, что и будто бы проповедовал «культ молчания», ставили мне в пример Льва Толстого, осудившего в статье, озаглавленной «Не могу молчать», царское правительство, которое вешало революционеров. Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью, и, рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признался, как трудно нам было порой молчать.

Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делалось в домах и в умах. Я пытался утешить себя: Сталин о многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молоденькой Наташе Столяровой, жене художника Шухаева, или о Семене Ляндресе, - если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве.

Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь «Последние новости» или «Тан» охотно опубликовали бы такую статью, даме если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранил зло, но он и не думал о защите царской России,- напротив, он хотел обличить ее злодеяния перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием, и в книге о прожигой жизни я не мог об этом умолчать.

Один из участников французского Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, в котором он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал товарищей, жег крестьянские дома, подозревал всех в измене или малодушии. «Я не мог об этом рассказать никому,- говорил он,- это значило бы нанести удар всему Сопротивлению, петеновцы за это ухватились бы...»

Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах. Да о чем тут говорить: пресечь преступлен им не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные. 30 июня 1956 гола было опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»; в нем были такие строки: «...Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же после смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями. Может возникнуть вопрос: почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? В сложившихся условиях этого нельзя было сделать». Далее документ говорит, что «Сталин повинен во многих беззакониях», но его авторитет был таков, что «всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества».

Вероятно, Сталин до конца своей жизни считал себя коммунистом, учеником и продолжателем Ленина, не только говорил, но и думал, что ведет народ к высокой цели и что для этого не нужно брезговать никакими средствами. Я но случайно вспомнил времена итальянского Возрождения. Макиавелли писал, что для создания сильного государства любые средства хороши - яд, доносы, убийства

из-за угла; он предлагал правителю сочетать в себе храбрость льва с хитростью лисицы, быть мудрым, как человек, и хищным, как зверь. Для Медичи или Борджии такие советы были, наверно, полезны, но для коммуниста они неприемлемы.

Старый спор о том, оправдывает ли цель средства, мне кажется абстрактным. Цель не указатель на дороге, а нечто вполне реальное, это действительность, не картины завтрашнего дня, а поступки сегодняшнего; цель предопределяет не только политическую стратегию, но и мораль. Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия, нельзя бороться за равенство, превратив народ в «колесики и винтики», а себя в мифическое божество. Средства всегда отражаются на цели, возвышают или деформируют ее. Мне кажется, что после XX и XXII съездов это стало ясным всем, кроме разве некоторых зарубежных догматиков, которые, говоря о чистоте своих риз, рядом с именем Ленина кощунственно ставят имя Сталина.

Как миллионы моих соотечественников, прочитав доклад Н. С. Хрущева на XX съезде, я почувствовал, что с моего сердца сняли камень. Хотя методы Сталина были оставлены сразу же после его смерти, наш народ, да и все человечество должны были узнать горькую правду - того требовали и разум и совесть. Мы узнали о заблуждениях прошлого. В этом прошлом много подвигов и побед советского народа, но, говоря о них, может быть, правильнее сказать не «благодари Сталину», а «несмотря на Сталина» - уж слишком часто он направлял свой государственный ум, свою редкостную волю на дела, которые противоречили тем идеям, на которые он ссылается, ранили совесть любого честного человека.

Вернусь к мартовским дням. На Мавзолее Ленина ночью приписали имя Сталина. На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил о бдительности «в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами», а Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам «охранять их права, записанные в Сталинской Конституции».

На следующий день Москва вернулась к обычной жизни. Я видел, как дворники усердно подметали улицу Горького, как шли люди на работу, как выгружали во дворе ящики, как мальчишки озорничали.

Все было знакомым, и я говорил себе: как неделю назад... Вот это и было неправдоподобным: Сталин умер, а жизнь продолжается.

Днем я дошел до Красной площади. Она была завалена венками; люди стояли, пытались прочесть надписи на лептах, потом молча уходили.

Я поехал с Фадеевым в «Советскую» гостиницу - там остановились друзья из Всемирного Совета, приехавшие на похороны. Глаза у Фаржа были печальные, но он сразу стал пас приободрять, говорил: «Все образуется»,- таков был его характер: он должен был утешать других. Пенни меня обнял и в тревоге спросил: «Что же теперь будет? Это ужасно!...» В его глазах были слезы. Я сам не знал, что будет дальше, но пример Фаржа оказался заразительным, и я ответил: «Через неделю мы увидимся в Вене. Не нужно отчаиваться - все образуется...»

Я шел по улице Горького. Было холодно: зимний вечер. Вдруг я остановился - простая мысль пришла в голову: не знаю, будет хуже или лучше, но будет другое...

Венский конгресс выбрал комиссию, которая должна была передать пяти великим державам предложение вступить в переговоры о Пакте мира. В комиссию вошли Жолио-Кюри, Фарж, Пенни, Изабелла Блюм, японский сенатор Горо Хани, бразильский генерал Буксман, Тихонов, другие; включили и меня. Заседание комиссии было назначено на 16 марта.

Заседали мы два дня, решили отправить текст всем правительствам мира и приняли обращение к общественному мнению. Работали мы в павильоне парка, который сдавался для различных торжеств. Во время перерывов друзья уводили меня по дорожке куда-нибудь подальше и спрашивали: «Как у вас?…» Всех волновало, что будет теперь, когда нет Сталина. С Альп порой дул ледяной ветер, но кое-где уже зацветали подснежники и лиловые крокусы. Прошло десять дней, я успел о многом подумать и понял, что хуже, чем было, не будет, может быть, станет лучше. Из Москвы я уехал накануне сессии Верховного Совета, но в посольстве мне дали короткую речь Маленкова, я ее переводил друзьям; в речи не было ничего нового, однако я всех обнадеживал и хоть раз в жизни оказался хорошим пророком.

Самолет вылетал из Праги 20 марта, и мы вместе с Фаржами должны были добраться 19-го до Праги. Посол мне сказал, что даст машину до границы, а в другой поедет охрана: «Фаржу должны вручить Сталинскую премию, мы не можем его отпустить без охраны…» Мне сказали, что чешская машина будет нас ждать на границе. Рано утром мы двинулись в путь. Увидав машину с военными, Фарж удивился. «Ничего не поделаешь - вы теперь лауреат Сталинской премии.» Он засмеялся: «Но я не диктатор Никарагуа или Гондураса…»

Военная машина неслась впереди. Меня тревожило, что я не узнавал хорошо мне знакомого пейзажа. Я сказал водителю, чтобы он остановился, очевидно, мы поехали не по той дороге. Водитель гудел, но военная машина не останавливалась. Шофер меня успокаивал: «Как-нибудь доедем…» Конечно, мы доехали, но не к тому

пограничному пункту, где нас ожидала чешская машина. Советские товарищи сказали, что они спешат в Вену, и укатили. А мы остались в домике чешских пограничников, которые громко вздыхали. У них есть автомобиль, говорили они, но сегодня похороны Готвальда, и начальник уехал в Прагу. Я умолял достать машину. Пограничники куда-то звонили и продолжали вздыхать.

Часа два спустя приковыляла престарелая малолитражка, которая с великим трудом довезла нас до города Чешске Будейовице. Мы трижды меняли машины и наконец добрались до Праги. Во всех городах и селах у зажженных огней стояли в почетном карауле солдаты и местные жители. В Праге мы миновали южные кварталы, потом пошли пешком. Нас провели к Национальному музею. Похоронное шествие еще продолжалось. Вацлавская площадь была заполнена людьми. Все было, как в Москве,- саркофаг, венки. Булганин в мундире. Чжоу Эньлай, артиллерийские залпы. Люди стояли молча. Не было ни давки, ни плача.

Шесть дней спустя Иву Фаржу вручили в Кремле премию. Церемония успела сложиться, и речи присутствующих напоминали те, что я слышал не раз. В очень коротком приветствии я сказал о большом сердце Фаржа. Он меня обнял и шепнул: «Спасибо за Прованс»... (Он родился, учился, провел молодость в Провансе, там у него был домик «Ле Туретт».)

На следующий день Ив и его жена Фаржетт приехали к нам в Ново-Иерусалим. Они уже знали наш дом, но впервые увидели его в зимнее время: Фарж восхищался снегом, голубыми елями и пельменями с уксусом. Он был веселый, счастливый. Увидев краски и кисти Любы, попросил холст, засучил рукава и начал писать портрет. На следующий день они должны были вылететь в Тбилиси. Я ему рассказывал про древнюю архитектуру, про картины Пиросманашвили, про грузинские вина. Он радовался: «Отдохнем - год был нелегким...»

Это было в пятницу, а в понедельник утром мне позвонили из Москвы: «Высылаем машину - с Фаржем несчастье...» Я вошел в кабинет Григорьяна и увидел Фадеева; обычно он сидел выпрямившись, а теперь сгорбился. Григорьян сказал: «Пишите некролог». Зазвонил телефон, он взял трубку: «Еще жив?... Хорошо... Понятно...» Он снова повернулся к нам: «Пишите некролог». Я

возмутился: «О живом?...» Фадеев увел меня в соседнюю комнату, рассказал, что Фаржа повезли в Гори, устроили пышный ужин с тостами, а когда машина возвращалась в Тбилиси, она врезалась в грузовик, стоявший на дороге. Фарж сидел рядом с шофером, у него разбит череп. Другие невредимы, только жене Фаржа осколки чуть поранили лицо. «Нужно писать, Илья Григорьевич. Я вас понимаю, но что вы хотите от такого человека? Он перепуган - ему может влететь...» Я не ответил: думал о Фарже. Замолк и Александр Александрович. Часа два спустя кто-то вошел в комнату и тихо сказал: «Скончался...»

Помню страшное утро на Центральном аэродроме. Было холодно. Едва светало. В сером неровном свете я видел гроб, венки, глаза Фаржетт. Говорили речи: Лоран Казанова, Скобельцын, Тихонов. Когда настал мой черед, я с трудом выговорил несколько фраз: меня душили слезы. Вдруг я увидел в оконце машины Григорьяна; он, видимо, издали наблюдал за порядком. Он ступал, подняв воротник пальто - наверно, все еще боялся ответственности, маленький, черненький, но важный, похожий на сановного пигмея.

Фаржу было всего пятьдесят два года, но не в этом дело. Да и не в том, что без него наше движение как-то сразу стало суше.

Никогда не принимаешь смерть друга. Дело даже не в этом. Дружба наша была короткой. Я познакомился с ним ранней весной 1936 года в Гренобле. Мне говорили шахтеры Мюра: «Фарж напишет в газете...» Студенты повторяли: «Фарж-художник... Фарж-писатель...» Товарищ, который возил меня в Мюр, советовал: «Обязательно поговорите с Фаржем, таких, как он, мало...» Беседа не вышла; он все время зажигал гаснущую трубку, спрашивал, а я торопился: скоро поезд. Мы снова встретились летом 1946 года. Он с возмущением говорил о продажности, о нищете, о спекуляции его тогда назначили министром продовольствия, и он негодовал: «Люди гибли в маки, в гестапо, и это для того, чтобы создать республику черного рынка и сделать Гуэна президентом!...» Я понял, что он смелый человек, но разговор был коротким. Два года спустя я увидел его на Вроцлаве ком конгрессе. Мне понравилось его выступление: он говорил не так, как другие. Мы побеседовали, согласились друг с другом и ушли - каждый в свои житейские дебри. Только летом 1950 года в Праге, где мы готовили конгресс, мы провели Вместе несколько

дней, ходили в музей, вспоминали различные книги, рассказали один другому многое из того, что держишь про запас, а порой уносишь в могилу,- словом, подружились. И вот весной 1953 года Фарж бессмысленно погиб. Но и не в этом дело.

Дело в том, что в мире, где я встречал людей гениальных и бездарных, ярких и бледных, Фарж мне казался необычным. Киплинг говорил о коте, который ходит сам по себе. Я знал немало людей, жаждавших стать именно такими -независимыми, оригинальными котами. А Фарж, наоборот, хотел быть как все. Еще до войны он написал книгу о Джотто, в ней он говорил, что великий живописец XIV века считал себя не гением, а рядовым мастером, и выразил при этом мысли, чувства всех своих современников. Фарж говорил, что его дом - улица в любой стране, в любом городе, в любой деревне. У него было множество друзей. И вот при всем этом он был уникальным - котом, который действительно ходил сам по себе. В 1950 году, когда люди повсюду были выстроены - взводы, полки, армии, когда специализации стала законом - рабочий повторял годами один и тот же жест, ученый ничего не знал, кроме своей узкой области, когда любое слово воспринималось одними как закон, другими как ересь, когда даже завзятый оригинал боялся не попасть в тон моде,- Ив Фарж не входил ни в какую партию, подчас критиковал своих друзей и защищал своих противников, дружил с сотнями людей, различных по своему положению, враждовавших между собой, жил интересами и чаяниями всех, сохраняя при этом свой облик, делая то, что ему казалось правильным, увлекаясь тем, что его увлекало. Серьезные люди, слыша о нем, пожимали плечами, но, встретив его, пробыв с ним несколько часов, неожиданно для самих себя говорили: «Вот это человек!»...

Чего только он не делал! Еще школьником он увлекался живописью. У него было двадцать профессий. В Марокко он, служащий коммерческой фирмы, устраивал выставки своих холстов. Его судили: он организовал демонстрацию, когда казнили Сакко и Ванцетти. Он писал статьи против колониализма. Фаржетт мне рассказывала, как он написал портрет одного берберя, и тот, желая отблагодарить художника, застрелил орла, вынул еще горячее сердце и заставил Ива и Фаржетт съесть его сырым. Он вернулся во Францию, писал статьи для журнала Барбюса, потом уехал в Гренобль, стал

сотрудником провинциальной газеты, писал рассказы, восхищался выступлениями Литвинова, перебрался в Лион, заботился об испанских детях, выступал на социалистических конгрессах (тогда он еще был социалистом), требовал борьбы против фашизма и продолжал заниматься живописью.

Когда немцы оккупировали Францию, он один из первых стал организовывать Сопротивление. Итальянцы разыскивали «террориста Бонавантура» - Фарж сбрил усы, лохматые брови и обзавелся другим именем. Фаржетт арестовали, он делал все, что мог, чтобы ее спасти, и одновременно организовывал маки в горах Веркора, переправлял туда людей, оружие. Его разыскивало гестапо. Он работал с коммунистами и с голлистами, с Пьером Вийоном и с Омоном, с Бидо и с Ролем. Родился Национальный фронт, и Грегуар, заменивший Бонавантура, ездил из южной зоны в Париж, возвращался в Лион. Ранней весной сорок четвертого года Дебре передал Фаржу указ, которым он назначался комиссаром республики в районе Рона-Альпы. Он остался на своем посту и после освобождения Лиона, первое обращение к гражданам комиссара республики подписано: «Ив Фарж (Грегуар)».

Фарж мне рассказал, как в освобожденный Лион прилетел генерал де Голль: «Я ему сказал, что ужинать он будет с участниками Сопротивления. Он меня прервал: «Где местные власти?» Я ответил: «В тюрьме». Это ему, видимо, не понравилось...- Помолчав, он добавил: - А мне не понравился его тон...»

Год спустя Фарж попросил освободить его от обязанностей комиссара: война кончилась, а работа администратора была ему не по душе. Било отправил его в Бикини - представлять Францию на нервном испытании атомной бомбы. Фарж поехал и возмутился. В Америку пришла телеграмма из Парижа: Фаржу предлагают стать министром продовольствия. Разоренная Франция жила впроголодь. Фарж объявил войну черному рынку. Он явился на заседание национальной ассамблеи, и депутаты слышали нечто невероятное: Ив Фарж, министр продовольствия, обвинил вице-преьера Гуэна в том, что тот покровительствует крупным спекулянтам. На своем посту Фарж пробыл недолго. Он написал книгу «Хлеб коррупции». Гуэи возбудил судебное дело против бывшего министра. Одновременно один из парижских театров поставил пьесу Фаржа. Он продолжал писать пейзажи, организовал общество «Защитники свободы» - черновик

Движения сторонников мира. Вместе с Элюаром он отправился в Грецию. Писал рассказы. Выступал на собраниях, посвященных защите мира. В книге «Кровь коррупции» разоблачил организаторов войны в Индокитае. Поехал с Клодом Руа в Корею. С Жолио он познакомился еще в 1936 году в Гренобле, и они хорошо понимали друг друга. Фарж стал душой Всемирного Совета Мира.

Такой послушной список или, если угодно, такую трудовую книжку увидишь не часто. Но дело, пожалуй, не в этом, да и не в изумительной бескорыстности, которой отличался Фарж: ему были безразличны и титулы, и деньги, и слава. Дело в другом: у кота, который ходил сам по себе, были свои понятия о том, чем ему стоит заниматься и чем не стоит. В отличие от многих людей, с которыми меня сводила жизнь, Фарж не знал, что такое иерархия горя. В годы Соппротивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей, и когда ему говорили, что нужно быть осмотрительнее, что ему доверены важные задания, он отвечал: «А для меня это важно...» После освобождения он спас жизнь многих стрелочников Виши, хотя знал, что этим восстанавливает против себя некоторых товарищей; он говорил: «Правительство покрывает знатных мерзавцев и хочет отыгаться на судьбе ничтожных людишек». Рассказывая об этом, он говорил: «Тащили девушку, о которой говорили, что она спала с немецким солдатом, обрили ей голову, хотели раздеть. Я прибежал вовремя... Потом меня наставляли: «Конечно, вы правы, но это мелкое происшествие, а вы - комиссар республики...» У них все по графам. Вот если бы я вздумал отстаивать Петена - это показалось бы соответствующим моему положению...»

Я был переводчиком при одном тяжелом разговоре Фаржа с Фадеевым: Ив возмущался - на заседании бюро публично оскорбляли секретаря Совета Мира Дарра. (Я рассказывал, что американского пастора заподозрили в шпионаже, слухи пошли из Китая и дошли до Сталина.) Фарж говорил: «Я уйду из движения. Если у вас есть факты, расскажите мне. Но нельзя говорить о защите гуманизма и одновременно обижать ничего не понимающего человека...» Потом я сказал Фаржу: «Напрасно вы накинулись на Фадеева...» Он не дал мне договорить: «Вы думаете, что я этого не понимаю? Я

поддерживаю мирные предложения Сталина - я с ними согласен. Я возражаю на антисоветские статьи о вашей внутренней политике,- я не знаю, что у вас делается, но я знаю авторов статей - это растленные перья. Но с Дар-ром дело другое - я его знаю, и пока не докажут, что он в чем-либо виноват, я буду его защищать...»

Да, второго такого кота я не встречал.

Была в нем еще черта, которая меня всегда восхищала. Мы часто проводили вечера в Праге, и вот раз он мне начал рассказывать о Распае. Моя ранняя молодость прошла на бульваре Распай, но я не знал в точности, кем он был,- Герцен о нем упоминал как об одном из революционеров сорок восьмого года, а кто-то мне сказал, что Распай был ученым, химиком. Фарж обожал Прованс и знал историю множества провансальцев. Он начал мне рассказывать о Распае, который родился в городке Карпентрас. Ему было восемнадцать лет, когда его приговорили к смерти,- это были месяцы белого террора. Ему удалось скрыться. Он работал как ученый - без лаборатории, без инструментов; он открыл роль сахара в организме за сорок лет до Клода Бернара, значение микробов задолго до Пастера, но никто не хотел слушать о его открытиях: он слыл чудачком. В 1830 году он сражался на баррикадах за свободу. Новый король предложил ему службу. Распай отказался. Тогда король приказал его арестовать. В тюрьме он работал над книгой о химии. В мае 1848 года он вел рабочих, которые ворвались в зал, где заседало Учредительное собрание. Рабочие требовали права на труд. Распая приговорили к шести годам тюремного заключения. Он работал в тюрьме над книгой о биологии. Когда он вышел на свободу, ему пришлось эмигрировать в Бельгию. Он вернулся во Францию накануне франко-прусской войны, ткачи Лиона его выбрали в парламент. В 1874 году ему был восемьдесят один год, и его присудили к двум годам заключения за прославление Парижской коммуны. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет. Фарж мне рассказывал о нем с восхищением,- наверно, он чувствовал свое душевное родство с вечным мятежником, с социалистом утопического толка, с ученым, открытия которого проходили бесследно. Он повторял: «Это душевная щедрость Прованса!..»

Позднее, уже после смерти Фаржа, я нашел у Ламартина, который был умеренным либералом и противником Распая, такие

слова о нем: «Он заражал народ своим фанатизмом надежды, не примешивая к нему ненависти»... Вот почему я вспомнил сейчас рассказ Фаржа о Распае. Фанатизм Фаржу был чужд, но в одном его можно было назвать фанатиком - в надежде. Как бы ни была горька действительность, Фарж всегда надеялся, что правда восторжествует, и своей надеждой заражал других.

Шестого февраля 1934 года фашисты в Париже вышли на улицы. 9 февраля Фарж создал в Гренобле Комитет бдительности - с ним были два его друга. Трое... Комитет призвал жителей Гренобля прийти на демонстрацию. 11 февраля тридцать тысяч гренобльцев вышли защищать республику. В 1948 году Фарж пригласил бывших участников Сопротивления собраться и создать организацию, способную отстоять свободу и мир. Пришло очень мало людей. Фарж говорил, что у них нет денег на газету, даже на листовки, каждый должен говорить всюду, где может, и Фарж вложил столько надежды в свои слова, что вскоре маленькая группа людей превратилась в мощную силу - французских сторонников мира.

Говорят, что заразительны суеверия, страх, недоверие, злоба; это правда; но надежда тоже может стать заразительной. В те годы я не раз бывал подавлен, мрачен, опускались руки, и Фарж неизменно заражал меня своей надеждой. Я говорил, что в Вене обнадеживал других. Может быть, помогли мне не только мои размышления и подснежники, но также близость Фаржа, его слова, улыбка. Он был слишком добрым, чистым, душевно веселым, чтобы допустить победу низости и ала.

Даже в политических выступлениях он говорил не на газетном языке, а на человеческом. Это нравилось обыкновенным людям и зачастую сердило профессиональных политиков. Помню, в Праге летом 1951 года мы обсуждали, каким должно быть короткое воззвание в поддержку Конгресса народов. Предлагались фразы, тысячи раз встречавшиеся во всех газетах мира. Фарж вынул изо рта трубку и ошарашил всех: «Нужно начать с самого простого: «Так дальше не может продолжаться...» Некоторые запротестовали: «Мы обращаемся к взрослым, а не к детям...» После долгих споров приняли текст Фаржа, и обращение, расклеенное на стенах различных городов, останавливало прохожих, заставляло их задуматься.

Поразительно, что его любили самые разные люди, даже политические противники: жители городков и деревень в округе Апта (фабрикант охры Шовен не без помощи Фаржа стал сторонником мира), почтальоны, виноделы, учителя, рабочие, лавочники, министры бывшие, настоящие и будущие, художники, захолустные Демосфены и новые Распай, Фадеев и аббат Булье, Элюар и марсельские авантюристы,- у Ива были ключи ко всем сердцам.

Он недаром прозвал свою жену Фаржетт. Когда они поженились, Фаржетт была подростком. Он зарядил ее своей энергией, привил ей свою широту, заразил надеждой. Когда оккупанты посадили Фаржетт в тюрьму. Ив ей писал: «Я убежден, что мы сильны, потому что даже в разлуке опираемся друг на друга... Ни в коем случае не нужно отчаиваться, ничего еще не потеряно. И потом, то, что осталось, то, что останется навсегда,- это наша гордость: мы знаем, что мы оба выше страха»...

Нельзя сказать, что он любил искусство, как нельзя сказать, что люди любят воздух. Мы в Праге пошли с ним в музей; тогда в фондах, точнее, в подвальном помещении были свалены полотна французских импрессионистов, Сезанна, Боннара, Пикассо и заодно многие картины чешского художника XIX века Пуркине. Мы провели в подвале несколько часов. Когда мы вернулись в гостиницу, Фарж начал говорить о живописи. Он любил пейзажи импрессионистов и одновременно говорил: «Сезанн напомнил о значении формы...» Вдруг другим голосом он сказал: «Обидно!... Я убежден, что, если бы рабочим показать сад Боннара или семейный портрет Пуркине, они не дали бы вернуть их в подвал, абсолютно убежден. Послушайте, Илья, вы увидите, что очень скоро все эти холсты вернутся на свое место...» Так и в Москве перед огромной картиной, где был изображен Сталин в ноле, он сказал мне: «Я держу пари, что через год или два это уберут,- это обидно и для Сталина, и для русского поля, и для искусства...»

После смерти Фаржа я получил из Парижа пакет с семенами, на конверте было написано: «По поручению г. Ива Фаржа». Я посеял их поздно, в апреле, и вот перед самыми осенними заморозками зацвели красные мимюлюсы, звезды гаярдии, голубая ипомея, темная, как запекшаяся кровь, настурция. Они продержались неделю и почернели после морозного рассвета. Я глядел на них, когда писал первые

страницы «Оттепели». Я видел улыбку Фаржа, слышал его слова: «Все образуется...»

Я разговариваю с ним и теперь. Для старости мало одних утешений, да и надежда у человека, которому за семьдесят, уже не на свою удачу, а такая, какая была у Фаржа,- он мне однажды сказал: «При нас или после - в общем, это не так уж существенно...»

Я задумался: что осталось от Фаржа? Он никогда не отдавал достаточно времени ни живописи, ни литературе; его картины не повесят в музеях, его книги не станут переиздавать, историк упомянет о нем мимоходом: в серьезных трудах нет места для котов, которые ходили сами по себе. Через десять или двадцать лет умрут люди, которые с ним работали и сражались. Но, кажется, продление человека в другом - не в имени, а в тех изменениях, которые он произвел. Фарж что-то заронил в миллионы людей. Они могут забыть его имя, но они восприняли его урок, иначе разговаривали со своими детьми, и Фарж, может быть, сделал больше для роста сознания, совести, человечности, чем крупные политические деятели, большие ученые, прославленные художники.

Все это - рассуждения. Лучше закончить рассказ о Фарже скромным личным признанием: он помог мне освободиться от многого дурного, помог надеяться, любить, жить.

Четвертого апреля рано утром меня разбудил телефонный звонок. Савич голосом, который срывался от волнения, сказал: «Возьми «Правду»- сообщение о врачах...» Не знаю, сколько раз я перечитал короткое сообщение, напечатанное на второй странице. Я не знал никого из пятнадцати врачей, о которых шла речь, но я понимал, что случилось нечто необычайное. В сообщении говорилось, что врачей незаконно обвинили, что они ни в чем не повинны и что их признания получены «путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Это было напечатано в «Правде», передавалось по радио, это было сказано прямо, громко на весь мир.

Под сообщением о врачах была помещена статья, посвященная плодовым садам. Час спустя и увидел маленькую заметку под этой статьей: у женщины-врача, которую недавно наградили орденом Ленина за то, что она помогла разоблачить «убийц в белых халатах», орден отобрали.

Еще накануне мы позвали на дачу приехавшего из Киева С. Е. Головановского, обещали заехать за ним в гостиницу. Оказалось, он не видел газеты. Я начал рассказывать; кажется, я знал сообщение наизусть. Он не верил ни мне, ни Любе. Мы увидели наклеенную на стене газету. Головановский попросил: «Остановимся! Я должен сам прочитать...» Читал он долго. Читали и другие прохожие. Я вышел из машины. Пожилой человек громко сказал: «Вот оно как», и улыбнулся.

Два дня спустя в той же «Правде» была напечатана передовая; в ней рассказывалось, что во главе Министерства государственной безопасности стоял Игнатъев, снятый теперь с работы, и что следствием по делу врачей руководил Рюмин, ныне арестованный. «Правда» писала о том, что меня тревожило и раньше: «Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спяянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной

вражды. В этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс». Газета писала: «Только люди, потерявшие советский облик и человеческое достоинство, могли дойти до незаконных арестов советских граждан...» Первой моей мыслью было: удивительно - Берия выдает своих!... Я понял, что история начинает распутывать клубок, где чистое перепутано с нечистым, что дело не ограничится Рюминым. Прошел всего месяц со дня смерти Сталина, но что-то на свете переменялось.

Я хочу еще раз сказать молодым читателям моей книги, что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство, построил Магнитку и Кузнецк, рыл каналы, прокладывал дороги, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, учился, читал, духовно рос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века. Все это памятно любому советскому человеку, который жил и работал в то время. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы тогда ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать. Мы знали, что одновременно с большими делами, о которых сообщали газеты, делаются несправедливые, злые дела - о них люди говорили шепотом, и только с близкими друзьями. Говоря «мы», я имею в виду людей, с которыми дружил,- писателей, художников, некоторых старых большевиков, некоторых военных - может быть, сотню, может быть, две сотни; но мне думается, что такие же чувства испытывали очень многие советские люди. Почти у каждого был друг или товарищ, сослуживец или сосед, арестованный и пропавший без вести, в вину которого ему трудно было поверить. Люди молчали или шептались, и вдруг они заговорили - не озираясь испуганно по сторонам, не глядя на телефон, как на опасного врага, заговорили просто, по-человечески, с той добротой и совестью, которые всегда лежали в характере нашего народа. Это казалось чудом, и не раз в те апрельские дни я вспоминал Ленина, его благородство и душевную чистоту.

Я прерву размышления: просятся на бумагу неожиданные признания о прелести, о волшебстве апреля в наших местах, не избалованных теплом юга. Еще кое-где сереет снег, а видишь - начинается праздник: прорезают землю травинки, нежные звезды будущих одуванчиков, зацветают вербы, стрекочут налетевшие отовсюду птицы; шумливо, беспокойно и радостно - после долгих месяцев молчания, после холода, который сродни одиночеству, после искуса зимы. Может быть, я так чувствую потому, что в старости осень, а за нею зима мучительны, слишком они похожи на свое собственное увядание, на все то, что знакомо любому человеку, перевалившему за шестьдесят. А весна - это мир молодости, и есть ли что-нибудь слаще для старого человека, чем глядеть на ребятишек, которые ломают лед подмерзшей за ночь лужицы, чем слушать их крики, нестройные и милые, как птичья болтовня, чем увидеть под вечер робких влюбленных, которые как будто стыдятся своего счастья и держатся за руки, а еще холодно по вечерам, пальцы зябнут. Все это происходит именно в самом начале апреля, в дни перелома, когда на одной стороне улицы холодно и пусто, сосульки не двигаются с места, а на другой стороне солнце, гам, весна. Мой дом на северном склоне холма, и в начале апреля у нас горы снега, и все-таки он поддается, оседает, я его раскидываю, сбрасываю и всем своим существом чувствую, что жизнь побеждает. Если даже подумаешь на минуту, что у тебя все позади, остались считанные весны, все равно берет верх веселье, хочется смеяться, делать глупости, мечтать о будущем - не о куцем своем, а о будущем мира. Так переживаю я апрель в Подмосковье.

А тот апрель, о котором я рассказываю, был особенным. Он отогревал стариков, озорничал, как мальчишка, плакал первыми дождями и смеялся, когда снова показывалось солнце. Вероятно, я думал об этом апреле, когда осенью решил написать маленькую повесть и на листе бумаги сразу же поставил заглавие «Оттепель». Это слово, должно быть, многих ввело в заблуждение; некоторые критики говорили или писали, что мне нравится гниль, сырость. В толковом словаре Ушакова сказано так: «Оттепель - теплая погода во время зимы или при наступлении весны, вызывающая таяние снега, льда». Я думал не об оттепелях среди зимы, а о первой апрельской оттепели,

после которой бывают и легкий мороз, и ненастье, и яркое солнце,- о начале той весны, что должна была прийти.

Второго мая мы с Корнейчуком отправились в Стокгольм на бюро Всемирного Совета. У меня в кармане был первомайский номер «Правды» с моей статьей «Надежда»; в ней я писал: «Надежда этой весны связана не только с возобновлением переговоров в Пэньмыньчжоне... Советское правительство ясно сказало, что готово сотрудничать с правительствами других стран для того, чтобы обеспечить всеобщий мир... Все понимают, что пора монологов миновала, настает время диалога». Бюро собралось за полтора месяца до сессии. Все говорили о будущем бодро: идея переговоров, еще недавно считавшаяся утопией, теперь повторялась в речах государственных деятелей всех стран.

Помню, Лизлотта сказала мне, что я помолодел, вероятно, оттого, что многое в жизни начинало меняться; весна отогрела человека, слывшего неисправимым скептиком. Мы говорили о многом, и я сказал Лизлотте, что поговорка, существующая у многих народов об одной ласточке, которая не делает весны, попросту неумна. Конечно, если ласточка прилетит слишком рано, то она может испытать холод, голод, даже погибнуть, но все же прилетит она не осенью или зимой, а в самом начале замешкавшейся весны. Ласточки не делают времен года, но осенью они нас покидают, а весной возвращаются.

Сессия Всемирного Совета собралась в Будапеште в середине июня. Мы были полны надежд, но события в Берлине и казнь Розенбергов напомнили, что история не мчится по автостраде, а петляет по путаным тропинкам. Я не стану сейчас писать о немецких делах: не хочу переходить от воспоминаний к тому, что остается злобой сегодняшнего дня. Вспомню о казни Розенбергов. Она показалась всем не только постыдным поступком, но и политической бессмысленностью. За два месяца до этого Эйзенхауэр выступил с речью, в которой говорил, что атомная война была бы всеобщей катастрофой и что Америка хочет мира. Эта речь была напечатана в «Правде», и рядом помещен советский ответ. Казалось, что эпоха истерической нетерпимости Маккарти кончена. Дело Джилиуса и Этель Розенбергов длилось долго. Они жили в камерах, ожидая смерти, переписывались друг с другом, писали об их маленьких детях. Эти письма были опубликованы, и теперь я нашел вырезку из газеты

«Фигаро», которая обычно восхищалась Америкой. «Так могут говорить только люди с большим и чистым сердцем». Кардиналы и президент Франции, Томас Манн и Мартен дю Гар; Эррио и Мориак - все они просили Эйзенхауэра не казнить Розенбергов. Жизнь двух невинных людей оборвал вздорный политический акт, уступка крайним кругам, раздражение против европейских союзников, которые настаивали на переговорах с СССР. Жолио мне сказал: «Это ужасно, но не нужно падать духом. Сторонники политики силы могут затянуть дело, могут совершить еще много злого, но теперь ясно, что идея переговоров проникла во все слои общества, даже в южные штаты...»

(Жолио был прав: месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий к Индокитае.)

В Ново-Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, «О работе писателя». В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне: «... Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией? А классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь - зачем это написано? Как будто все есть, а чего-то не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не такими, как на самом деле...»

Моя статья была попыткой разобраться к психологии художественного творчества (потом я вернулся к тем же проблемам в очерках о Стендале и о Чехове). Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы; и упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года: «... Почему у нас в изобилии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых (увы, многочисленных) критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви... Мне могут сказать, что героика реконструкции не допускала других тем. Но Маяковский написал поэму «Про это» тоже не в заурядное время... Я могу продолжить

вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминание о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? (Обычно действие происходит в «погожий летний день», или в «душистый майский вечер», или в «ясное, бодрящее осеннее утро») Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека». Статья была напечатана в журнале «Знамя»; два члена редакционной коллегии Л. Скорино и А. Макаров меня как-то спросили, почему я все валю на критиков, я им посоветовал перечитать повесть о принце и нищем.

Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила: «Вы уже знаете?...» Она рассказала, что видала на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделю спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но, признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя: неужели все ограничится каким-то Рюминым? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине, все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям, но Берию все ненавидели, рассказывали о нем как о человеке, развращенном властью, жестоком и низком.

Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам, беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать,- это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал: «К сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии». Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие незначительные люди не могли подсказывать Сталину его государственный курс. Я снова перечитал передовую «Правды», посвященную аресту Берии: «Из неприязни ко всякому культу личности,- писал Маркс,- я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в

которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран,- я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом». Ясно было, что «культ личности» или «суеверное преклонение перед авторитетом» относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть XX съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач - начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет.

Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. «Нормализация рабочего дня» была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каждого человека могут быть свои привычки и свои странности. Но Сталин был не человеком, а богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множества людей. Министры боялись до двух-трех часов уйти с работы: Сталин может позвонить по вертушке. Министры задерживали начальников отделов, начальники - секретарей, секретари - машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям: он уходил на работу в двенадцать часов дня, возвращался в два часа ночи. Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятие «дни» и «ночи» исчезали, и вот в конце лета этому был положен конец.

В сентябре был Пленум ЦК. С докладом о сельском хозяйстве выступил Н. С. Хрущев. Я прочитал и перечитал доклад, он меня поразил. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно: все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему; а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот Хрущев подверг резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказал о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе корон теперь меньше, чем было в 1916 году в царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока, но

Хрущев сказал об этом правду. Тому, что люди называли «показухой», был нанесен удар, и это очень многих обрадовало.

Я сел за «Оттепель»-мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе, передать мое ощущение оттаивания, мои надежды. Об «Оттепели» много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказаться от недавнего прошлого, их сердили и упоминание о деле врачей, и осторожная ссылка на тридцатые годы, и особенно название повести. В печати «Оттепель» неизменно ругали, а на Втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В «Литературной газете» цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту «Оттепели».

Теперь я перечитал эту книгу. (Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955-м я совершил еще одну ошибку-написал вторую часть, бледную, а главное, художественно ненужную, которую теперь выключил из собрания сочинений.) Мне кажется, что в повести я передал душевный климат того памятного года. Сюжет, герои, в отличие от обычного, пришли как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся: пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Сабуров и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев сказал своей жене о Вере Шерер: «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач. А чересчур доверять им нельзя, это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты. Так что твоя Шерер зря расстраивалась...» Инженер Коротеев упрекает себя в двурушничестве: «Я часто думаю: «Это хорошо в книге, а не в жизни»... Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается?... Савченко куда цельнее, он не пережил ни тридцатых годов, ни войны, он большего требует - это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали...» В повести много разговоров об искусстве. В Сабурова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Р. Р. Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет «Оттепель», но она написана с любовью к героям, с желанием

показать, почему некоторые из них редут себя плохо. Халтурщик Володя чувствителен к искусству: увидев работы Сабурова, он понимает, что именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом, может быть, залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга, и Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается: «Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что и ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу. «Вера, вот и оттепель...» Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов.

Пять лет назад, когда я начал писать мои воспоминания, я сразу решил, что кончу их на том дне, когда сел за «Оттепель». Дойдя до этой главы, я убедился, что был прав: мне было труднее говорить о месяцах, породивших «Оттепель», о судьбе этой повести, чем о различных, куда более драматичных событиях предшествовавших лет. 1953 год - первая страница новой части не только моей жизни, но и жизни нашего народа. За ним последовали годы, богатые событиями, но они настолько близки, даже злободневны, что не вмешаются в историю прожитой жизни. (О некоторых из этих событий, а также о людях живых или умерших после 1953 года я все же написал.)

Пять лет я просидел над этой книгой. Было много радостного для меня в течение этих лет, были и тяжелые месяцы. К моему собственному удивлению, я переживал и счастье и горе еще острее, чем в молодости, но силы уменьшались, и если не скудела нежность, то в отвердевших сосудах текла старческая кровь. Я мог бы здесь написать слово «конец», но мне хочется еще раз оглянуться назад, попытаться осмыслить длинную жизнь обычного человека в необычное время и если не подвести итоги, то сделать некоторые частные выводы, поделиться с читателями моими сомнениями и моей надеждой.

Год назад один товарищ, работавший в архиве, переслал мне копию документа царской охранки: «Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи из Москвы от 17 ноября 1908 года к Сергею Николаевичу Шестакову в Киев». «...Из Полтавы я поехал через Смоленск в Москву. Здесь внешне прескверно: приходится таскаться по ночевкам, несмотря на множество знакомых, найти ночлег довольно трудно. Что касается до впечатлений, произведенных московскими делами вообще и нашими знакомыми в частности, то, как ни печальны дела, после юга они отрадны. Трудно сказать, лучше ли теперь положение, чем было весной, но, во всяком случае, не хуже. Многие убеждены, что партийный кризис подходит к концу. На состоявшейся на днях областной конференции было констатировано некоторое оживление работы, в особенности в Иваново-Вознесенске, Сормове и в Московском округе. На днях, как вы знаете из газет, Московский окружной комитет был арестован. Что касается тактических взглядов, то раньше всего расскажу о резолюции Московского комитета, принятой с некоторыми поправками на областной конференции. Основные ее положения таковы: общее международное осложнение классовых противоречий, конец некоторого оживления в российском капитализме, убудочное социал-реформаторство буржуазии, гнусность аграрной «реформы» правительства, невозможность успешной экономической борьбы - выход в политическое брожение, неизбежность революционного подъема, более пролетарский и более международный характер его. В качестве практических задач партия отмечает необходимость установления более тесных связей с пролетариатом Запада, создания крепкой нелегальной организации, желательность более строгого социалистического характера работы, а также необходимость воздействовать в более строгом стиле на фракцию. Эта последняя стала держать себя приличнее: приняла резолюцию о подчинении ЦК, и депутат Белоусов даже произнес речь по аграрному вопросу, написанную Лениным. Кроме того, она официально выступила с заявлением о своем несогласии с отклонившимися большевиками. Эти

последние встретили сочувствие у Плеханова, Мартова и Дана, которые заявили, что нелегальная работа теперь не только не полезна, но и вредна. Редакция «Голос социал-демократа», то есть кавказские меньшевики во главе с Костровым, с ними не согласна. Вот и все о партийных делах. 8-9 номера «Голоса с.-д.» в Москве нет, зато получили № 30 «Пролетария»...»

Читая, я не сразу понял, кто автор письма,- может быть, старый большевик, мой товарищ давних лет? А дойдя до адреса, вдруг вспомнил. В конце письма приписка: «По мнению ДП, автор настоящего письма поднадзорный Илья Григорьевич Эренбург». Департамент полиции не ошибся - это копия моего письма Вале Неймарку. Я перечитываю текст и дивлюсь не столько содержанию, сколько языку. Так иногда с трудом узнаешь себя на старой фотографии.

Давно уже нет в живых ни Вали Неймарка, ни социал-демократических депутатов Государственной думы, ни Х, который возмутил меня своими сентенциями об утилитарной сущности искусства. Жизнь прожита, и я могу только добавить, что есть линия, связующая письмо подростка с книгой старого писателя. Я не жалею ни о том, что в возрасте пятнадцати лет начал работать в подпольной большевистской организации, ни о том, что три года спустя, фанатично полюбив поэзию, перестал ходить на собрания, посещал еще несколько месяцев Школу социальных наук, но и это забросил, читал с утра до ночи стихи старых и новых поэтов, плядел холсты, слушал споры о кубизме и о «научной поэзии».

Однако даже в те годы я не мог забыть о том, что мне показалось в пятнадцать лет простой и единственной правдой, с волнением слушал рассказы людей, приезжавших из России, ходил в мае к Стене коммунаров, ненавидел мишуру и ложь мира денег. Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали два Эренбурга, они редко жили в мире, часто один ущемлял, даже топтал другого, это было не двуличием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства.

Критики редко стремятся понять писателя, у них другие задания - изредка (главным образом в юбилейные даты) они прославляют

автора, а чаще его поносят. Западные журналисты осуждали и осуждают меня за тенденциозность, политическое пристрастие, подчинение правды узкой идеологии, а то и административным директивам. Некоторые советские журналисты, напротив, утверждали и утверждают, что я страдаю избытком субъективизма и в то же время объективизма, не умею отделить новое сознание от хлама обветшалых чувств, вывожу нетипичных героев, покрываю формализм.

Я не стану защищать написанные мною произведения, о некоторых из них я отозвался в этой книге достаточно сурово; но сейчас я говорю не о моих литературных недостатках, а о прожитой жизни. «Люди, годы, жизнь» не роман, и я не мог переделать фабулу или изменить характер героя. Если я умолчал о некоторых событиях моей жизни, то о своих заблуждениях, о своем легкомыслии я говорил откровенно. В свое оправдание добавлю, что внутренние блуждания и противоречия пережили многие из моих современников; видимо, это было связано с эпохой.

Я сформировался на традициях, на идеях, на моральных нормах XIX века. Теперь многое мне самому кажется древней историей, а в 1909 году, когда я списывал тетрадки скверными стихами, еще жили Толстой, Короленко, Франс, Стриндберг, Марк Твен, Джек Лондон, Блуа, Брандес, Синг, Жорес, Кропоткин, Бебель, Лафарг, Пеги, Верхарн, Роден, Дега, Мечников, Кох... Я не отрекаюсь ни от подростка, стриженного ежиком, который осуждал «отклонистов» и посмеивался над Надей Львовой за ее увлечение поэзией, ни от зеленого юноши, который, открыв существование Блока, Тютчева, Бодлера, возмутился разговорами о второстепенном и сугубо подсобном назначении искусства; теперь я понимаю обоих.

Увлечение революционной борьбой, работа в подпольной большевистской организации не были для меня случайными, они многое предопределили в моей жизни, и если они помешали мне получить среднее образование - вместо гимназии я проводил дни на явках, на собраниях, в рабочих общежитиях или в чайных, а потом в тюремной камере,- то многому они меня научили. Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 года, и старшие товарищи, прежде всего мой друг Николай, ученик Первой гимназии, и книги; но в выборе прежде всего сказались черты моего характера.

В 1917 году и не узнал того, за что боролся десять лет назад: в эмиграции я успел оторваться от жизни России и пережить увлечения различными ценностями, действительными и мнимыми, которые показались мне попираемыми. Два года спустя я понял свою ошибку. Некоторые друзья меня звали в Париж, но я поехал в Москву. Я сам привязал себя к той идее, которая казалась мне в начале крылатой гоголевской тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником,- в 1957 году я писал:

...В плухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей...
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

Я вложил в уста, вернее, и дневник одного из героев повести «День второй» многие из моих сомнений. Володя Сафонов повесился - это я пытался повесить самого себя. Я заставил себя о многом молчать: то были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют «культом личности», к добровольному молчанию примешивала и вынужденное.

Меня могли бы арестовать в годы произвола, как арестовали многих моих друзей. Я не знаю, с какими мыслями умер Бабель, он был одним из тех, молчание которых было связано не только с осторожностью, но и с верностью. Я мог бы умереть в послевоенные годы, до XX съезда, как умерли Таиров, Суриц, Тувим. Их тоже мучили злодеяния, совершаемые якобы в защиту идей, которые они разделяли и за которые чувствовали свою ответственность. Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад Н. С. Хрущева о культе личности.

Легче переменить политику, экономику, чем человеческое сознание. Я часто встречаю людей, которые не смогли освободиться от душевной скованности, страха, казуистики, оставшихся в них от предшествовавших лет. Однако растет поколение, не знавшее ни «бурных аплодисментов, переходящих в овацию», ни ночей, когда мы прислушивались к шуму на лестнице. Переход людей от религии к

научному сознанию длился очень долго, а подростков, родившихся в начале сороковых годов, за один день перевели от слепой веры к критическому мышлению. Остается еще раз поблагодарить людей, нашедших в себе достаточно силы и понявших, что разоблачить произвол - это значит укрепить идеи Октября. А для меня нет большей радости, чем слушать порой незрелые, но искренние и задорные высказывания наших юношей, едва вступающих в жизнь.

С годами я понял, что и моя любовь к искусству, и мои верность идее социализма связаны с одним - с судьбой культуры. Когда я начинал жить, культура была творчеством и достоянием немногих. У нас теперь в той или иной форме, в той или иной степени культура дошла почти до всех. В течение сорока лет люди читали, думали, и они духовно выросли. В годы, когда «Новый мир» печатал мои воспоминания, я получал множество писем: мои сверстники вспоминали свое прошлое, делились тревогами и надеждами, а молодые ставили вопросы, которые когда-то зря называли «проклятыми»; такие письма меня учили и вдохновляли.

В этой книге я часто писал о своих ошибках. Были ошибки и у других, были ошибки и у общества, их список длинен, о нем часто вспоминают не только наши противники, но и мои соотечественники.

В послевоенные годы я много бывал на Западе. Уровень жизни вырос по сравнению с довоенным, победил новый индустриальный стиль в архитектуре, в утвари, жизнь стала комфортабельней и беспокойней. Однако спокойствие исчезло не только из-за роста механизации, но также из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я видел, как рухнула Четвертая республика, как развалилась Британская империя. Только в Соединенных Штатах можно еще услышать апологию капитализма, а политики Западной Европы разговорами о плановой экономике, о частичной национализации, о повышении подоходных налогов пытаются уверить, что, даже стоя на месте, можно шагать в ногу с веком. Я думаю, что наши ошибки, и материальные и духовные, связаны с тем, что раннее утро не полдень и что, как уверяет французская поговорка, старость многого не может, а молодость многого не знает. По дорогам прошлого легко мчаться в превосходном и вполне современном «бьюике». А к будущему пробираешься с трудом, часто блуждаешь, и спросить, как лучше пройти, некого.

Мир очень изменился. Когда я начинал сознательную жизнь, самодурам или реакционерам ставили в вину отсутствие логики - картезианство еще было живым. Полвека истории, опыт каждого показали, что старая логика обанкротилась; безупречные гипотезы опровергались событиями; жизнь разворачивалась не по законам Декарта, а зачастую наперекор им. С помощью диалектики легко объяснить происшедшее. Но я сейчас думаю о другом: как должен поступить человек в своей личной жизни, если перед ним то, что не предвидели ни любимые им авторы, ни различные конференции или дискуссии?

Когда я был мальчиком, в русских, немецких или итальянских школах детей учили, что грех убивать, красть, оскорблять родителей, завидовать чужому счастью; школьники знали на память десять заповедей. Во французских школах после отделения церкви от государства ввели новый предмет - «мораль»-: десять заповедей были обновлены с помощью басен Лафонтена, а статьи уголовного кодекса украшены цитатами из Гюго. Дом строят не с крыши, и потомки будут говорить о середине XX века как об эпохе больших научных, социальных и технических открытий, но не как о времени гармоничного расцвета человека: в наши дни образование повсюду опережает воспитание, физика оставляет позади себя искусство, и люди, приближаясь к радиоактивным двигателям, не снабжены тормозами подлинной морали. Совесть - понятие отнюдь не религиозное, и Чехов, не будучи верующим, обладал (как и другие представители русской литературы XIX века) обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести; однако я выхожу за пределы и этой главы, и всей моей книги.

Я помню одного нашего лектора, который в 1932 году уверял, будто открытия Эйнштейна - попытка воскресить идеализм, даже мистику. Новая наука встретила много неожиданных препятствий: роды всегда трудны. За тридцать лет успехи ученых стали настолько очевидными, что изменилось сознание любого среднего человека. Наука XIX века теперь кажется тесной уютной квартирой. Вероятно, нечто подобное, хотя и в меньшей степени, переживали люди позднего Возрождения, поняв, что Земля не центр вселенной. По-новому встало перед нами понятие бесконечности. То, что казалось

абсолютно реальным, превращается в абстракцию, а вчерашняя абстракция становится реальностью.

Когда развитие физики и ее роль в создании ядерного оружия дошли до сознания политиков, военных, да и простых людей, все начали задумываться над возможностью уничтожения жизни на нашей планете. Есть два выхода - накапливать ядерное оружие или согласиться на всеобщее разоружение. Я продолжаю ездить на различные совещания или конференции сторонников мира, на встречи «Круглого стола». Скептики порой мне напоминают прошлое - и Гаагскую конференцию, и конгресс в Амстердаме, организованный перед второй мировой войной,- говорят о моей наивности. Наивны, пожалуй, скептики. Прежде разоружение было утопией идеалистов или лицемерием грабителей. Когда один тигр говорил другому, что нужно вырвать клыки и обстричь когти, они надеялись этим успокоить многомиллионные отары овец. Теперь тигры поняли, что атомная война не стратегические планы, не вопрос о том, у кого больше нефти, стали или даже урана, а мгновенное и всеобщее истребление. Разоружение стало реальной потребностью всех, и если продолжают споры о его осуществлении, то только потому, что традиции в международной политике куда крепче, чем в естествознании. Вопрос в одном: обгонят ли предостережения физиков рутину дипломатов и осознают ли различные правительства необходимость перейти от разговоров к делу до того, как вздорный случай вызовет катастрофу.

Жизнь полна противоречий. Есть люди, которые говорят о совместном освоении космоса, о полетах на Луну и одновременно готовы (к счастью, на словах) взорвать бедную передовую планету потому, что не могут договориться с другими людьми о статуте нескольких кварталов одного города. Тысячелетние навыки решать спор силой побуждают теперь различные государства обзавестись ядерным оружием. Если в моей молодости писали, что нельзя жить возле бочки пороха, то теперь мы живем возле бочек куда более опасных. Знание опередило сознание.

Во второй половине XX века искусству пришлось повсюду потесниться. Внешне оно распространилось: тиражи романов почти повсюду повысились, увеличилось число посетителей музеев и выставок, окрепло кино, родилось телевидение. Однако в частной

жизни множества людей роль искусства уменьшилась. Может быть, это произошло оттого, что язык искусства оказался опереженным резкими поворотами и в науке, и в социальной жизни. А может быть, эти повороты и привели к некоторому охлаждению к искусству - люди потеряли душевное спокойствие, восхищались искусственными спутниками, боялись ядерных бомб, тешились изобретениями, неистовствовали на спортивных состязаниях и мечтали о машинах, способных превращать полуфабрикаты в трапезы Лукулла.

Некоторые замечательные изобретения, как, например, телевидение, ежедневно поставляют эрзацы искусства. Люди реже идут в театр и вместо того, чтобы раскрыть книгу, садятся у телевизора. На экране мелькают бои в Конго и олимпиады, свадьбы королевы и похороны президента, балерины в пачках и дрессированные кошки, Гамлет и боксеры, концерт и светские скандалы. Все это рябит, дребезжит, грохочет, мяукает, стихи смешиваются с рекламами, а музыка с прогнозами погоды. Люди смотрят, тут же закусывают, сплетничают, ссорятся, восприятие постепенно притупляется.

Я помню, как в моем детстве все благоговейно говорили о Толстом, глядели на него, как на пророка. Когда Золя осудили за защиту Дрейфуса, взволновался весь мир. В годы первой мировой войны люди, которые продолжали думать, прислушивались к голосу Романа Роллана. В парижском театре зрители дрались из-за музыки Стравинского или декораций Пикассо. Теперь порой дерутся болельщики на футбольном матче.

Лет пять назад по моей вине в «Комсомольской правде» началась дискуссия: обречено ли искусство на смерть в «атомном веке». Один из наших кибернетиков высмеял молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством и, по его словам, вздыхают: «Ах, Блок! Ах, Бах!» Я прочитал тысячи писем, адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеи отмирания искусства; но у кибернетика нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэзии величие естествознания; их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом тургеневского Базарова.

Если бы эти люди оказались правы в своих прогнозах, то освоением космоса занялись бы неполноценные существа, обладающие нужными знаниями, но лишённые культуры чувств,

которые, наверно, мало чем отличались бы от мыслящих машин XXI века. Открытие огня, то есть способов его добывания, относится к началу каменного века. Десятки тысячелетий спустя Эсхил написал «Прикованного Прометея». Эта трагедия жива и теперь, она вдохновляет миллионы людей, усиливает в человеке чувство достоинства. Половое влечение свойственно даже мухам, но для того, чтобы оно стало любовью, потребовались тысячелетия искусства - от древних критян и Калидасы до Гёте, Стендаля, Толстого и дальше - до Аполлинера, Блока, Маяковского, Хемингуэя, Элюара, Пастернака.

Я думаю, что новое сознание, новые чувствования требуют от искусства нового языка. Людям, привыкшим к живописи Джотто, к стихам Рютбефа, Вийон, Рабле или Учелло показались падением искусства, а четыреста лет спустя для французов Второй империи, воспитанных на классицизме и романтизме, Мане, Дега, Бодлер, Флобер были варварами, попирающими красоту.

На ленинградском симпозиуме писателей, в котором участвовали литераторы из различных стран, кто-то сказал, что лучше быть продолжателями Толстого, Диккенса и Стендаля, чем Пруста, Кафки или Джойса. Я не думаю, что наше время оставляет художнику единственный выбор - чьим эпигоном он предпочитает быть.

Читателя не удивит, что столько места в книге воспоминаний я уделял искусству: это связано не только с моим ремеслом, но и с моим мироощущением,- я убежден, что нельзя идти вперед, шагая только одной ногой, и что без духовной красоты человека никакие социальные изменения, никакие научные открытия не принесут людям подлинного счастья. Ссылки на то, что и содержание и форма искусства диктуются обществом, при всей их правильности кажутся мне чересчур формальными. Конечно, Леонардо да Винчи или Микеланджело знали больше, чувствовали острее и глубже, чем их современники, и, конечно же, им приходилось считаться с меценатами, кардиналами, принцами, даже с наемными убийцами эпохи. Но, прославляемые или преследуемые, они были философами, открывателями, прокладывали путь в будущее. Их произведения нас потрясают и теперь, а история итальянских городов конца XV - начала XVI века нам кажется бурной, кровавой, но давно отшумевшей, да и мало привлекательной. Не был ли Стендаль проницательнее, глубже своих современников - подданных «добротого короля с зонтиком»? При

жизни «Красное и черное» прочитали несколько тысяч человек, из которых, может быть, только сотня-другая разгадала значение этой книги. Вот уж кто не был эпигоном! Стендаль вырос из своего века, но он его перерос. Его романы многих отталкивали, они порой сердили даже Бальзака и Гёте, которые смутно чувствовали силу Стендаля. А разве стихи Пушкина, «Герой нашего времени», «Мертвые души» - это только гениальное отображение России Николая Первого, концентрат идей и чувствований передовых дворян той эпохи?

Книга Винера о кибернетике показалась мне увлекательной, но я не начал отпевать искусство. Напротив, я понял, что в нашу эпоху все очень быстро меняется. Изменится, наверно, и литература или живопись. Хуже всего начать по-стариковски брюзжать, осуждать время и молодых - они, дескать, не могут ни мечтать, ни страдать, как их деды. Я во многом повинен, но только не в этом.

Повествование о своей жизни я оборвал на первой главе той части, которая для меня должна быть последней и о которой слишком трудно писать,- это сегодняшний день. С начала 1954 года, когда я дописал «Оттепель», прошло больше десяти лет. Я продолжал колесить по миру, читал книги новых авторов, встречался с друзьями, любил, терзался, надеялся.

Я жил, кажется, гуще, порой и острее, чем в молодости. Оказалось, что я не знал ни глубины некоторых чувств, ни голоса тишины, ни всей ценности последних солнечных дней поздней осени.

В начале 1963 года я провел два дня с Пикассо. Я глядел на его новые полотна «Похищение сабинянок». На композицию его толкнула картина Давида. Согласно древней легенде, римляне в поисках жен похитили сабинянок, а когда сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые «Герники», причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской и стоял замороженный и только ночью подумал: удивительно - ведь ему за восемьдесят!...

Я увидел много новых для меня стран Индию, Японию, Чили, Аргентину, мир для меня стал шире: ведь в молодости я знал только Европу да понаслышке Соединенные Штаты - полторы части света Вместо пяти. Я познакомился с некоторыми людьми, которые

показались мне значительными. Упомяну о беседе в Дели с Джавахарлалом Неру, который был для меня в политике тем, чем холсты Амриты Шер-Гил в живописи, органическим сплавом индийской национальной глубины с передовой мыслью Запада.

Впервые я побывал в Армении и влюбился в нее; своей розоватой сухостью она напомнила мне Кастилию, понравились люди, страстно любящие свою землю и вместе с тем не ограниченные провинциалы, а подлинные граждане мира. М. С. Сарьян писал мой портрет, вспоминал прошлое, яростно проклинал людей, безразличных к искусству, и я видел не старого мастера, а юношу, который впервые восхищается охрой и кобальтом. В 1965 году Мартиросу Сергеевичу исполнилось восемьдесят пять лет, и его старые полотна, спрятанные в фондах музеев, были показаны на выставке - константинопольские собаки, пальмы Египта, персианки. Сделали фильм, посвященный Сарьяну. Я написал текст. Я рассказал, как мешали живописцу делать живопись, как в 1948 году он снял свои лучшие холсты со стен - начал их резать.

Искусство продолжало меня радовать, открывало на многое глаза. Изобретение кинематографии - заслуга техники, но когда я увидел последние фильмы Феллини, Алена Рене, я понял, что кино начинает находить свой язык, что оно способно не только передать игру гениального мима Чаплина, реальность зримого, динамику событий, но и осветить духоту, темноту душевного мира человека не так, как это делали сиена, книга или холст.

Меня обрадовала своей точностью повесть Сэлинджера о подростке, да и многие другие книги, рассказы наших молодых - Казакова, Аксенова. Прочитав короткий и на первый взгляд традиционный рассказ Солженицына, я почувствовал себя богаче: автор иначе, чем Чехов, но с чеховской глубиной ввел в мой мир прекрасную русскую женщину, прожившую трудную жизнь.

За последние годы умерли Фальк, Незвал, Жолио, Ривера, Кончаловский, Пастернак, Леже, Заболоцкий, Хемингуэй, Назым Хикмет. Я чувствую, до чего поредел лес моей жизни, нежно и суеверно пляжу на живых друзьях, а вечером утешаюсь тенями подростков.

Я узнал К. Г. Паустовского,- прежде я очень редко встречался с ним, знал большого мастера, а увидел благородного, доброго и

смелого человека. Мы подружился на старости. Меня поддерживает сознание, что Константин Георгиевич жив, что завтра он, наверно, еще что-то скажет, что он мой ровесник и пережил многое из того, что написано в этой книге, что он не только высокий мастер и человек встревоженной совести, что весной 1963 года он пришел ко мне и поддержал меня в трудные дни.

Я полюбил Виктора Некрасова, крепкого, неуступчивого и чрезвычайно совестливого писателя, оказалось, что возраст не стена: есть и у старости свои окна и двери.

Я не разучился ни любить, ни надеяться, да уж теперь, видно, не разучусь. Конечно, старость вяжет человека - иссякают силы. Зато теперь у меня не только больше опыта, но и больше внутренней свободы.

Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал, что исповедуюсь на площади. Помогало мне сознание, что, рассказывая об умерших друзьях, особе, порой вставляя дорогое имя, я борюсь против забвения, пустоты, небытия, которые, по хорошим словам Жолио, противны человеческой природе.

Я знал, начиная эту книгу, что меня будут критиковать: одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю. В предисловии ко второму тому, написанному осенью 1963 года, я повторил: «Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что моя книга - рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никогда не претендую дать историю эпохи...»

Критиковали, да и будут критиковать не столько мою книгу, сколько мою жизнь. Но начать жизнь сызнова я не могу. Я не собирался никого поучать, не ставил себя в пример. Я слишком часто говорил о своем легкомыслии, признавался в своих ошибках, чтобы взяться за ампула старого резонера. Притом я сам с охотой послушал бы мудреца, способного дать ответ на многие вопросы, которые продолжают меня мучить. Мне хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, которых я встретил: это может помочь некоторым читателям кое над чем задуматься, кое-что понять.

Сейчас у меня слишком много желаний и, боюсь, недостаточно сил. Кончу признанием: я ненанижу равнодушные, занавески на окнах, жесткость и жестокость отъединения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего; я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом, мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догoreвал, не долюбил. Но таковы законы природы: зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает: «Завтра я...» А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои.

AN id=title>

1

Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.

А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лавалю, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас - что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно - он сыграл слишком видную роль в уничтожении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия.

Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще

продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX века, чем Хиросима, нельзя было придумать.

Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война - держались, а только спало напряжение - многие слепли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.

В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа - жили трудно, многие впроголодь, работали через силу, и все же не опускали рук.

В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи - забыл, начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат...» Я подумал, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется,- у него ведь второй аттестат, вторая зрелость... Мы слишком хороню помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали - и про себя и вслух.

Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался - не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно...» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж - тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллинн - там демобилизовался, а на дороге зашел ко мне «отвести душу».

Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились...» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бурю» только в январе 1946-го - долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться - мы все ею отравлены.

Прежде я мечтал: кончится - отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.

В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы - а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество - отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят в городской пейзаж.) Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом - то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины. Люди шутя говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть - люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.

Девятого июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал: «Это что, пустяки! Вот когда с Вороньей горы стреляли...»

В букинистических магазинах лежали груды редких книг - библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока; не знаю, у кого была книга до войны - у старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения.

Я увидел афишу: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом; надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо не понимая, почему на нее смотрят,- ведь она делала только то, что делали люди, и отделалась легко - одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать - маленькие, отошавшие дворняжки; их держали хозяйки -

тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком.

(Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках - «барские причуды». Я вспомнил, читая его письмо, не только о Каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю: моя книга - сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества; с таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке; то и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю об исландцах.)

На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей Урса и Куса: они принадлежали И. А. Груздеву, биографу Горького, одному из «серапионов». В начале блокады жена Груздева принесла хлеб - паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься.

В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи - здесь забавлялись наемники из «голубой дивизии». Вероятно, думали, что не сегодня завтра пройдут по улицам Ленинграда... Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в царскосельском парке:

Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни...

Статую Пушкина нашли в земле - ее успели закопать: нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки:

О, дайте вечность мне,- и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Нет, мена не может состояться, и не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид.

В Петергофе дворец был разрушен; говорили: «Отстроим»; я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубили три тысячи

старых деревьев.

Восьмого июля в город вошли его защитники - Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно.

Вечером Л. А. Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать:

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

Помолчав, он добавил: «Народ поумнел, это бесспорно...»

Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том, о сем. Берии присвоили маршальское звание. О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему, не может...» Ольга Федоровна рассмеялась: «А голос у вас неуверенный...»

Ко мне пришла девушка, сказала: «Вы, наверно, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне - для меня это память...» Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими: столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза, умер Васильев, умерла Надя, умерла сестра... Потом мое внимание привлекли записи: «Вчера всю ночь - «Анну Каренину», «Ночь напролет «Госпожа Бовари»...» Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил: «Как вы ухитрились читать ночью? Ведь света не было».- «Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью...» Я знаю мало слов, которые на меня сильнее подействовали, много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства - в них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу; героиня вела два списка: в один заносила то, что называла «преступлениями» революции, в другой - ее «благodeяния». О первом

списке в последние годы немало говорили, только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается «благодеений», то они действительно связаны с ее природой. Если намять мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии, училась в педагогическом институте, в начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению, связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты.

Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с нею легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя; умиляешься, пробуешь подтронуть над собой, нежность мешается с горечью.

Я вернулся в Москву, и сразу же захотелось уехать. Пришел П. И. Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского (в одной поэме Маяковского есть о нем: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут...»). Павел Ильич предложил устроить вечера, спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах, некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось.

Кострома мне понравилась - большие площади, Гостиный двор. Табачные ряды. Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. (Лавут умилился.) Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени - кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале.

Директор даже руками всплеснул: «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма».

После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился: «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая, по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал, начал во Львове, ходил в разведку, четыре ранения, последний раз под Будапештом, про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, это виноват он, он мне сам говорил, что нет толя, значит - нечего торопиться, но что скажешь: он тебе и генерал, и маршал, и господь бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не называйте - он меня в порошок сотрет, и про Кострому лучше не пишите, просто интересный факт человеческого устройства...»

В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью; на одном изразце под двумя деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость.

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину.
Не знаю, мало ль было сил.
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.
Писал о мужестве:
Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту -

Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту...

Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать:

...Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, визы.
То не ландшафт, не фон и не убранство,
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду - они останутся на страже,
Я начал говорить - они доскажут.

Стихи я писал, наверно, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет; они были напечатаны и журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией.

Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. Ничего не скажешь - моя молодость меня искала...

Ядвига работала в педагогическом институте, с нею жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась - и голос такой же, и глаза. Дочь, жених... Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверно, старость всех настигает врасплох.

Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу: дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали: «Скоро ли капитулирует Япония?», «Чей будет Триест - югославский или итальянский?», «Как вы относитесь к статье Александрова?», «Почему никто из писателей не написал «Войну и мир»?» На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад.

Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской - вот здесь стоял дом, где я родился,- груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война, звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал: скоро сяду за книгу,- значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, и сердце. Побывал у Тычины, Бажаиа, Голованивского, А. Кагана. На Подоле просидел

вечер у офицера - он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра, колбасу и долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну и не вернулись. «Почему их убили, а не меня?... Жена застряла в Киеве. В Бабьем Яру...» Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю - не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал.

В Москве ко мне пришел незнакомый человек, сказал: «Простите, что нагрязнул, к вам трудно дозвониться. Я болгарский коммунист Коларов»... У нас не работал лифт, и первое, что я подумал: ведь ему под семьдесят, как он взбирался? А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию, написать об этой стране. «Вас читают и на Западе...» Я сразу согласился.

Несколько дней спустя мне позвонил Г. Ф. Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей...» Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо, но я понимал, что это ни к чему,- ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию (это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия). Георгий Федорович ответил: «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету: «Вы ведь старый известинец...» Я зачем-то подумал вслух: «Конечно. Но я скорее собака, чем кошка, привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал в «Известиях», не осталось... Впрочем, это безразлично, в «Известия», так в «Известия»...» Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку.

В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я (не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию). Я

услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать, продаст там материю, купит муку, сало. Она студентка текстильного института, муж тоже студент - филолог. «Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то, что я крепкая, а у него открытый процесс, ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный...» И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой, неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по благу. Денег у нее мало - только на носильщика, могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась; я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью; прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо, вы - писатель, должны понять... А может быть, не стоит брать носильщика?...» (Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка: «Помните?...» Я сразу вспомнил. «Ну как - взяли носильщика?» Она засмеялась: «Нет, сама дотащила».)

Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. «Мы ее подобрали возле Барановичей, родителей немцы убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась. А жена пишет: «Привези». Жена у меня больная, ее четыре раза резали. Детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат - руку повредило. Ну, ничего как-нибудь устроюсь. Проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два... Девочка-то хорошая. Жена обрадуется... Девочка стеснялась, не раскрыла рта.

Я побродил по Одессе, она была печальной: много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе, она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном заброшенном доме - во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен: вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра.

Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады. Придется

диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверно, снова не додумаю...

Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумья, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад:

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом...

Вот это правда, слишком часто говорил о другом - не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выпляжу, скорее, мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать... Прежде мне казалось, что старость легка, естественна - постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы.

На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени - железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку (снова я чего-то не додумал, не дописал!). Я увидел на аэродроме огромную толпу: встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы.

Ко мне подошли секретарь посольства С. А. Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии, сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад, и теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и горбатого действительно исправит только могила.

Я был прав в своих опасениях: замелькали лица, города, страны. Для того, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое,- за четыре месяца я побывал в семи странах: Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете, ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед...» Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать - о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымалывал выходной день или, как школьник, убегал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как десять лет назад; но тогда все для меня было внове, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки.

Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина - его законная жена, а литература - любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой. Потом?... Потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как сотнями миллионов других людей, и походило это не на упреки ревливой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя.

Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По Библии, бог, приступив к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы, что касается

тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идиллично. На открытии французского Учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торез. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден «Победы»; Георгиу Деж был всего-навсего министром путей сообщения.

Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-демократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер Дома писателей, «тузы и шишки»; большинство их быстро сошло со сцены - одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое.

Были и в 1945 году на Балканах партии или группы, открыто нападавшие на коалиционные правительства - в Румынии сторонники Маниу, и Болгарии - Петкова, в Югославии - Грола. Я встречался с некоторыми из них и понял, что они рассчитывают на обострение отношений между Советским Союзом и западными державами; им хотелось, чтобы твердь поскорее отделилась от хляби (или наоборот), и они не понимали, что мечтают о своей гибели.

Для того чтобы разъяснить положение читателям газеты, мне приходилось многое изучать, встречаться с румынскими помещиками, с болгарскими экспортёрами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят «джебел» это самый дорогой табак; американцы его примешивают к «Виргинии». Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар «джебел», поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На Московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация: пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт.

Министров болгары нашли, только и они не пришлись по вкусу американцам. «Джебел» лежал непроданный.

За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастораль. Бирнс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умиленные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за «вечную дружбу».

Я был в румынской деревне Кошерени; разговаривал с крестьянами; они не знали, радоваться ли им аграрной реформе, боялись, что помещик КонстантINESКУ отберет землю назад, да еще выпорот за захват чужого добра. Я пошел к помещику; он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще неясное...» Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб.

В Будапеште в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил пятнадцать тысяч пенго, а средний заработок служащих составлял сто пятьдесят тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!...»

О войне трудно было забыть: она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединивший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомысленным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить: Буда, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спаса-Нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша, но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя возратить никакими планами. Я видел развалины Плоешти, Софии, Задара, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом

немецких городов. Бог ты мой, как разбитые дома похожи один на другой! Нужно было сосредоточиться, чтобы понять: это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск.

Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых, тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил, увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было четыреста тысяч, погибло восемьдесят пять тысяч.

Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран: «Подсвечники (свечей нет), масленки (нет масла), бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок (люди ходят в драной обуви, встречал босых)». В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила двести пятьдесят пенго. В Болгарии не было молока; прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали; местные власти говорили, что нет грузовиков - нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о «черном рынке», о баснословных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку - кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки (у нас их прозвали «авоськами»), кокетливо обшитые орденовыми ленточками - кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение.

Одни жили в оцепенении, выходя на улицу - пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло.

В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русс. Меня подняли и долго несли на руках: таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе: для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом, они раз десять обегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали.

В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на «Трубадура» и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Димо Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал, я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел, усталый, из машины после рытвин, ухабов - и сразу меня втокнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, театр был набит. На сцене танцевали; один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке, все начали аплодировать, кричать, я тоже зааплодировал, потом оказалось, что аплодируют мне, я уж не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный; мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам, и сейчас же начался очередной митинг.

Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей, понять характер стран, непохожих одна на другую.

Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранялся былой лоск, а в двухстах километрах от столицы, в угольном бассейне Жиу, многие жили, как звери,- в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка: навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканой одежде, волы задерживали министерский «кадиллак». Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотреамона, Бретона, Джойса. А в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице; крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха; 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына; они не понимали, почему была война, говорили: «Угнали в Россию, потом сказали, что убит...»

Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая согласно обычаю притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом. Пили цуйку - сливовую водку, пили из плоских деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов: про меня знали только, что я - русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость - это на счастье...»

В Румынии было много одаренных художников. Я запомнил полотна Изера, Паллады, Топицы. Один министр поспешно сказал мне: «Это, знаете, продукция прошлого, влияние Сезанна и других формалистов. У нас художники издавна были искалечены французской живописью...» Услышав, что холсты мне нравятся, он просиял: «Мне тоже нравится я ведь люблю живопись».

Красная Армия освободила многие страны, советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь «культом личности», сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргеzi. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе; потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было шестьдесят пять лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились: «декадент», «западник», «индивидуалист». Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргеzi; а когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргеzi!...»

Я познакомился с Михаилом Садовяну, мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе, вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на десять лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца сороковых годов;

люди, не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну - вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что, казалось, ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргеги и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты; любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили -слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному,- кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мещанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей... Вторичный расцвет искусства придет лет через двадцать - тридцать, когда вырастут другие люди, с другими нормами. Но я не ропщу - хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта. Значит, придет время и для искусства...» Садовяну был членом Комитета по премиям «За укрепление мира». Каждый год он приезжал в Москву, и хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году, в возрасте восьмидесяти лет.

Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный - никакой «души нараспашку», страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел «читалище» библиотеку; крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые - даже стихи.

На софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Мате Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский, с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли: война началась задано до наступления Красной Армии.

Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей

Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мною откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Абрешков, и молодой художник Альшех - племянник Паскина. На любви к Илие Бешкову сходились все: для людей, опасавшихся искусства, он был полезен - рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал; умел выпить; играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа, не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству.

Среди старшего поколения писателей я запомнил Елина Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту, и если не завязнешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней, это не проза, газета...» Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мною сидел рядом чиновник, приставленный к литературе, он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно. Вроде вашей Ахматовой...» Это было в 1945-м, а не в 1946-м, и я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младеном Исаевым.

Я поехал в Бояну - посмотреть фрески XIII века. Историки искусств долго не замечали славянского Возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Бояны или Охрида так же отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады; у южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а, скорее, почтальоном.

(В конце сороковых годов, когда, по указанию Сталина, у нас культивировалась «самобытность», вспомнили даже князя Юрия Долгорукого, но не великого живописца начала XV века Андрея Рублева. Однажды на приеме я разговаривал с К. Е. Ворошиловым. К нему подошел художник, чьи полотна (или копии полотен) висели тогда во всех официальных местах, и, услышав, что я назвал Рублева, усмехнулся: «Он иконки любит...»)

Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопле я увидел фрески XI - XIII веков. Эта живопись на сто - двести лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского Возрождения было только раннее утро - в конце XIV столетия турки захватили Болгарию и Сербию.

Югославия в ту осень переживала гордость освобождения; люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своеобразную страну или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, в соперницу Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую, нарядную Люблян, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию? Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты.

Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Луберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским; порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков; в Словении с ее высоким культурным уровнем книга была окружена заботой.

С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо, молчал или пытался смягчить тон спора, курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства: не на лаве - на горе. Мы с ним погодки, и я всегда с восхищением, даже завистью думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира; встретились как друзья; потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском побережье.

Другой крупный писатель Югославии - Крлежа. Я увидел знакомое: о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно.

В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке: «Не узнаете?...» Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца: судьба занесла его в Дубровник, он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко.

Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XVI веке: каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить семьдесят пять оливковых деревьев,- олива живет долго, триста - четыреста лет,- и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не рая в моих мыслях я возвращался к этому закону.

Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома.

Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали:

Этот мир - тиран даже для тирана.

И он вдвойне тяжек для благородных сердец.

Море воюет с берегом, зной с морозом.

Ветер с ветром, зверь со зверем,

Народ с народом, человек с человеком...

Я трясся в машине и повторял горькие слова: война не хотела оставить меня в покое.

В Братиславе, потом в Праге я встретил старых друзей; многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лацо Новомеский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое - «Деветсил» и «Дав», шутили, пили вино...

Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил: «Что с Мейерхольдом?» Я ответил: «Плохо...» Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты» - у меня в голове все путалось: пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народне дивадло», увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарска. Копецкий вздыхал: «Формализм», а потом он подарил мне натюрморт Филлы; Незвал неистовствовал: «Это не формализм, это революция!...» Галас печально улыбался. Сейферт молчал.

В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие «формалистические», что я удивился - отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.

Меня повезли в замок Добрит, который отдали писателям. Все было парадно и натянуто. Назвал шепнул: «В «Куманове» было веселее. Ничего не поделаешь чехам не к лицу роскошь. А писателям не к лицу почет...»

Был прием в Граде; я увидел Бенеша, он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого...»

Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти - Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились - их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать.

Мы поехали в Терезин, где погибли сто пятьдесят тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась...

Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий»: «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился и потому, что хотел повидать суд, и потому, что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. (Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к

этому чувству примешивалось другое - отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности.)

В Белграде дули холодные ветры. Я подумал, что еду на север - декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто, они иронически улыбались: может быть, думали, что возьму и не заплачу. (Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед.) А может быть, и вправду пальто не было, мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники - в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной лавчонке я разговорился, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной - уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Эренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто...» Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски; все жестикулировали, кричали. Я наконец спросил, о чем они говорят. «Очень просто: мы говорим, что Илья Эренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя если начать читать список убитых, то на это потребуется десять лет. Он говорит, что пальто нигде нет. То есть у какого-нибудь министра, наверно, два пальто, но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит, но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей...»

Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны: развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно - дорога была забита: американские части уходили из Западной Чехии.

А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе: он не только разрушил города, убил миллионы людей, он отравил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я

вспомнил, как дрались два старика - венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что оплатят за все «проклятым венграм». В Скопле все улицы были пол номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопле небольшой город; прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивые, Гитлер вас проморгал!...» Я видел на руках судетских немцев белые повязки - знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации: «Плюнули в душу.»

Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга; никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги...» Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять... Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался: «Дурак стоит на дороге и стреляет...» Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили.

Развалины - не скажешь, что город. «А куда нам ехать?...» Я задумался: ночь, никого не найдешь... Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?...» Он улыбнулся: «Вы здорово воевали»,- и, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать, он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет...» Мы с чехом выкурили полпачки. Наконец стало невтерпез, хотелось спать. Мы встали. Американец снова улыбнулся: «Майор немного опоздал... Но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу: «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся - майор скоро придет...» Солдат зевнул и сказал: «Пошли! А майор не придет, он в гостинице в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем, неинтересно. Интересно другое - когда меня наконец-то отправят домой?... Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора...»

В большом холле нюрнбергского «Гранд-отеля» толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В баре подавали коктейли; певица с большим декольте пела американские песни (слышался немецкий акцент); танцевали. Бар был, а крыши не было; лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже, я взбирался наверх то по стремянке, то по доскам.

Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками; пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки; прошел трамвай, город жил, но какой-то ирреальной, растерянной жизнью. На уцелевшем заводе изготавливали портсигары с надписью «На память о Международном трибунале»: американские солдаты обожали сувениры.

Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран; большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в «Гранд-отеле» и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде; каждый брал поднос, и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба.

Трибунал заседал в здании окружного суда; на стене была роспись - Адам, Ева, змий. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров; но в коридорах отопление не действовало. Шел снег; все кашляли, чихали.

Я как-то стал вспоминать: что у меня связано с Нюрнбергом? Прежде всего пряники: когда мы еще жили на Хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге; денег у меня не было, я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре, но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня

пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал - стоял часами, плядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, «Железную деву»; сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба:

Но путь науки строгой
Я в юности отверг
И вольною дорогой
Пришел я в Нюрнберг...
Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча!

Прошло еще двадцать пять лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги: на ветру бился паук свастики; фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, и вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге...

Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды. А в то время читали документы: убиты в застенках триста тысяч, шестьсот тысяч, шесть миллионов...

По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным; в его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом - все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но Кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных рассказал, что Геринг меня узнал; оказалось, что они меня разглядывали, как я их.

Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия; целое заседание

было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слова и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон.

Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану - не хотел смотреть; другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел: Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой - понял, что его ждет?

Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями: присоединение Австрии «планом Отто», захват Чехословакии - «зеленым планом», захват Югославии - «Маритой», уничтожение Польши - «делом Гиммлера», предполагавшееся нападение на Гибралтар - «предприятием Феликс», вторжение в Советский Союз - «планом Барбароссы». Около пятидесяти миллионов убитых и двадцать заурядных злодеев - нет, это не умещалось в сознании!

Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного и у него ослабела память, но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона, я таких видал не раз, на все отвечал, как рядовой вермахта: «Выполнял приказ»; а когда опасили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами: «Это досадное недоразумение». Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что он занимался исключительно «переселением»: «Я был всего-навсего административным карликом». Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом; канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул,

что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь,- я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знаток считал себя Альфред Розенберг, он собирал редкие русские книги; был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами, отдал, например, приказ «за три часа или два до акции (так назывались массовые убийства) вырывать у евреев золотые зубы».

Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любит красоту; перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: «Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами...» Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину...»

Я глядел на них и видел одно - страх. Одно дело - убить миллион людей, это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт; другое - чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя - Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре - Зейсс-Инкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права, другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний, третьи валили на соседа по скамье, и все - на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на

других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали.

«Вы человек современный, то есть хладнокровный»,- сказал Гитлер Нейрату. Пожалуй, эти слова многое объясняют. На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне «современно» - и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр, предприятие, если угодно, гигантский трест.

Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал - мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?...» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться: состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли.

Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных, отчаявшихся крестьян, вспоминал «синюю бороду» Ландрю, сумасшедшего Горгулова - там мы видели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге,- кровавая бухгалтерия, и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал: они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается «достоевщина» и начинается ужасающий мир роботов.

Полночи я проговорил с Андре Виоллис, умной и благородной женщиной. Виоллис рассказывала о печали Франции - ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле - в комнатах было очень холодно; шумел джаз. А я спрашивал: «Что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен, задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают...» Виоллис отвечала: «Я об этом часто думала еще до войны... Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная

структура Франка ничем не отличается от самого жестокого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей - сатрап не обладал газовыми камерами».

Процесс длился долго - десять месяцев; очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее - до процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову, но и это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой - от несоизмеримости преступлений и преступников.

Я не раз думал, сидя в нюрнбергском зале: до чего это страшно! Ведь весь мир знал: есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество, и вместе с тем он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильини - он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев «Ротонды». Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели: «Гитлер сказал...» «Геринг не согласен...» «Риббентроп предлагает...»? От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчур, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников!...

В холле «Гранд-отеля» американский журналист (забыл его фамилию) говорил мне: «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства...» Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что, будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и

конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки.

Обо всем этом я думал, возвращаясь в «виллисе» домой - мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелищ Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал:

И долго буду тем любезен я народу.

Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Я вспомнил статью Марины Цветаевой - рассказ о Дантесе. Вначале он не чувствовал никакого раскаяния: убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь - победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим.

Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали; было это в разрушенной Орше. Я поглядел на них - и на душе стало как-то спокойней.

В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело, с друзьями. Война не хотела меня отпускать, о ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским; подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды», Гехман, позвал меня на свадьбу; собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались, Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетие Кончаловского; Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля, в годовщину смерти Толстого, Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху; все вокруг напоминало об Алексее Николаевиче, и даже горе било живым, теплым.

Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе то в Политехническом, то на заводах, то у военных.

Однажды я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлехс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре местечек. Костюмы сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу, Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми, и вдруг мне стало страшно - вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи «Фрейлехс». Михоэлс и Зускин выходили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре один будет убит на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?...

Как-то пришел ко мне еврейский поэт А. Г. Суцкевер. (С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал оттуда, партизанил; его вывезли на «Большую землю».) Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей.

Я продолжал встречаться с иностранцами - в записной книжке пометки: завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андворда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не

сразу понял, что все переменялось. Мне запомнился сметной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии, он был литератором и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал; там был накрыт стол для ужина - колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое - Ф. Кельин, испанский писатель Арконада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов в десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех.

В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля, впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально: газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английский и американский обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше: вспоминать прошедшее или думать о будущем.

Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы: путевые очерки «Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». (Два года спустя книжку изъяли из библиотек - в ней четыре раза упоминалось имя маршала Тито.) А стихи смущали издательство: «Чересчур пессимистично...» (Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал: «Лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово - очень уж мрачно...») «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло.

В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали «За доблестный труд», среди награжденных был и Б. Л. Пастернак; он сказал мне, что скоро в Политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал М. М. Зощенко. В начале апреля в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна

была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого не люблю... А главное, у нас этого не любят...»

Я стал ее успокаивать - теперь не тридцать седьмой... Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики.

В самом начале января я сел за «Бурю» и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все не решался написать первую страницу. А писал я не отрываясь и до апреля успел написать треть романа - две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это - кануны войны; писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев - честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео - было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы: рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца.

Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы; кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части - случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж: «Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет...» (слово «скрипучих» убрали). Лео говорит Осипу: «Вы и живете для будущего...» После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали» - это зачеркнули... В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете - у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого...», выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой...» О каких «неприятностях» идет речь - стало непонятным. Прерываю список «опечаток».

Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым - на конференцию редакторов газет. Я сказал В. М. Молотову, что начал писать роман, частично его действие протекает во Франции и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже; он ответил: «Не имею возражений».

Я хочу в этой главе досказать о «Буре», и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомним о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей.

Это было в конце августа во французском городке Вуврэ, близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля Башеллери, где долго жил Анатолий Франс; повез нас туда внук писателя, Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом - я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино вуврэ. Питом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба - прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение: «Из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко». Я взволновался и все же цеплялся за надежду - может быть, это очередная газетная утка? (Люба потом долго издевалась над моей наивностью.)

В Париже я прежде всего побежал в посольство, попросил газеты и увидел, что телеграмма французского агентства была не выдумкой. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, я узнал подробности. На этот раз гром грянул среди ясного неба: в конце июня утвердили новую редакционную коллегия журнала «Звезда», включили в нее М. М. Зощенко; в июльском номере журнала «Знамя» была помещена вполне благожелательная статья о поэзии Анны Ахматовой. А в середине августа опубликовали постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое на восемь лет определили судьбы нашей литературы.

Н. С. Тихонов рассказывал, как Сталин вызвал руководителей Союза и заявил, что Ахматова и Зощенко - «враги». А. А. Жданов выступил в Ленинграде перед писателями. Он говорил о М. М. Зощенко: «пошляк», «пакостничество и ерничество», «пасквилянт», «бессовестный литературный хулиган»; об А. А. Ахматовой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». Удивительно было многое. Жданов, например, сказал: «Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки», - что от них осталось в нашей родной русской, советской

литературе?» Видимо, никто не решился ему объяснить, что «бубновый валет» объединял не писателей, а художников, среди которых был будущий академик Кончаловский, что за месяц до доклада Жданова все газеты умиленно говорили о поэзии Блока (исполнилось двадцать пять лет со дня его смерти) и что Блок, как и Брюсов, причислили себя к символистам, что «желтую кофту» придумал и воспел не кто иной, как Маяковский, объявленный Сталиным «лучшим, талантливейшим поэтом эпохи». (Одну ошибку Жданов все же успел исправить - доклад напечатали полтора месяца спустя. В напечатанном тексте есть такая фраза: «И у акмеистов и у «серапионовых братьев» общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма». В своем выступлении Жданов принял за одно лицо знаменитого немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которого любил Маркс и который скончался в 1822 году, и мало кому известного эпигона Бальмонта, русского поэта Виктора Гофмана, родившегося в 1844 году.) После доклада Жданова Анну Ахматову и М. М. Зощенко исключили из Союза писателей.

Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться, а все напоминало прежнее - собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами: обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л. И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова.

Начала выходить газета «Культура и жизнь», ее статьи выглядели как обвинительные заключения. Зощенко и Ахматова изображались главными врагами, о них говорили и писали куда резче, чем о Черчилле, призывавшем показать русским военную мощь англосаксов, или чем о некоторых американских сенаторах, уже поговаривавших о «превентивной войне».

Тогда же и в докладе Жданова, и в статьях, ему посвященных, впервые была объявлена «борьба с низкопоклонством перед Западом».

А. А. Жданова я помнил по Первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству - и еще в 1934 году поручил направить писателей на путь истинный, но тогда

мы слушали и не пугались. Снова я увидел Жданова в 1947 году - он пригласил пять или шесть литераторов, среди них и меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания - Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что в связи с очередным постановлением на этот раз о музыке - Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное - это мелодия, которую можно напевать. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. А. А. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение - умер Жданов! Сойдите вниз, мы в ресторане...»

С М. М. Зощенко я встречался очень редко; как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды, в начале пятидесятых годов, я его встретил на Пушкинском бульваре; он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда печальная и величественная; читала Горация. Несчастья рушились на нее, как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость восторжествовала: Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить Международную премию, и в Оксфорд, где ей дали «докторскую мантию».

Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач - меня окружили видения военных лет, я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного, вероятно, события были чересчур свежи, и я не все смог осмыслить. Однако некоторые герои романа - Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей - мне дороги. Я кончил роман в июне 1947 года.

О книге было много споров. Некоторые читатели обижались: почему французы выглядят героичнее, чем советские люди? Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда

освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи - был разгар кампании против «низкопоклонства». Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»: «...Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Эренбург... Просто либеральные буржуа не понимают и клеветуют на советский строй. Они видели в нашей стране только альперов и лабазовых, дилетантов влаховых и земских деятелей крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть... Но ведь тов. Эренбург - не либеральный буржуа... При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские... Да и полно! Русский ли Сергей Влахов? И Советский ли Союз его родина?...»

Таких критиков сердило описание первых месяцев войны, хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным...» А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера.

Роман печатался в «Новом мире»; редактировал его тогда К. М. Симонов; он мне писал: «Тревог нет. По-моему, все в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее исступленных обличителей «низкопоклонства».

Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по Сталинским премиям, домалывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. «Сталин спросил, почему «Бурю» выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом, нет настоящих героев. Сталин возразил: «А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом, так в жизни бывает... А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем, обыкновенные люди становятся героями...» Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить», - и громко засмеялся.

Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть В. Пановой «Кружилиха», ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я - нет...» Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм: помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной, польской гражданки, которая писала, как над нею издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть...

Из книг, вышедших в свет с 1946-го по 1954-й, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных славословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника.

Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Для писателя это были годы запечатанных уст, и я хорошо понимаю К. Г. Паустовского, который недавно возмущался людьми, утверждающими, что «культ личности» никак не ущемил нашей литературы.

Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного «юга»:

Да разве им хоть так, хоть вкратце.
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи.
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.

А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены.
Мы видели, уже не видя.

Глаза зеленые весны.

А «Буря» остается для меня слабым, приглушенным эхом суровых, но чистых лет.

Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым; Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись - мотор оказался неисправным, в Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Бидл Смита - «холодная война» еще не успела стать бытом.

Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмешались в гармонию, и Магдебург казался холстом «ташиста» - беспорядочные мазки. М. Р. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения: «Сейчас налетят журналисты. Вам легко - вы привыкли, а и никогда не разговаривал с иностранцами...»

На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день; цвели каштаны; мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест: рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас - на этом перекрестке прошла моя молодость! Я хотел грустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли Муссиаки; я жадно слушал их рассказы о голах оккупации, о Сопротивлении, об общих друзьях.

Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим - и квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу, нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал

взволнованный Фотинекий, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат: русские - победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цадкииа, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое; даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал: «Неужели это было всего шесть лет назад?...»

Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине - до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня... А я часто думала, как вам в России?...» Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками: «Бедный мосье Эренбург, вы не знаете, что у нас делается! Ничего нельзя найти...» Все же она приготовила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в вине, на устрицы он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал: «Я немного прогуляюсь и вернусь через четверть часа...» Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии.

Посол Богомоллов устроил пресс-конференцию: я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал: Арагон, Эльза Триоле, Шамсои, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блек, Марсель Кашен, Эмиль Бюре.

Мы должны были уехать семнадцатого, но нас вернули с аэродрома: зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался: еще один день в Париже! Генерал волновался: завтра должна начаться конференция, опаздываем.

Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи - вот чего мне не хватало: серой воды на холсте, толики искусства!

На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость: мы сделали две посадки. В Северной Ирландии было зелено, нам дали ужин, я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей, и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали; я поглядел на

часы в ресторане - по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая - американская.

Когда рассвело, я увидел большой город - Бостон. Небоскребы рвались к самолету; я понял, что мы действительно перелетели через океан.

Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих (Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «вундефул» и «ай лав Америка»). Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные...»

Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста - владельцы и редакторы различных газет; на каждом была бирка с фамилией и названием газеты. М. Р. Галактионов представлял «Правду», К. М. Симонов - «Красную звезду», я «Известия».

У меня сохранилось удостоверение: «Предъявитель сего Эренбург Илья Григорьевич является членом редколлегии газеты «Известия Советов Депутатов трудящихся СССР» (читатель легко догадается, насколько это соответствовало истине). Хоть за редактора меня не выдали, и на том спасибо!... Впрочем, в перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?»

Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы, тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной; а теперь ограничили передвижение и цензура неистовствует. Мне пришлось отвечать, я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался: почему русские долго тянут с визами? Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне: «Я не выдаю виз. Я давал бы всем - мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не

поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой (он походил на буржуа с плаката) встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне; я увидел на его лице ужас: «Отвечайте! Вы привыкли...» Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки»... Американцам понравилась прямота ответа, и на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне «смесь цинизма и откровенности». Мы зашли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!...»

Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер, окончательно измученный, и хотел открыть окно, но не смог; я нажимал различные кнопки - шли струи холодного воздуха, вспыхивал и гас свет, кричало радио, а окно не открывалось. Наконец, я свалился, измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решался - подумают: ну и дикари эти русские! Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. «Пора на заседание». Я ответил: «Нет, вы откройте окно...» Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, обменяла: «Окно не открывается - на улице пыль, чистый воздух поступает по трубе». Секретарю это понравилось: «Техника у них замечательная!...» А мне стало неудобно - даже окна нельзя открыть, наверно, таким будет новый век...

Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в Новом Свете. Симонов наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман - бестселлер, и тем, что ему тридцать лет. О том, что происходило с М. Р. Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брюзги, смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления, разговоры. Я писал в одной статье: «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов - легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью

техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой - настоящая человеческая сложность».

С некоторыми американцами мне удалось подружиться; и все же признаюсь: отдыхал и с европейцами, будь то мои старые друзья - Тувим, Шагал, Стефа Херасси, Роман Якобсон, люди, с которыми я встречался прежде, Ле Корбюзье, де ля Пуап, или те, которых я увидел впервые,- Эйнштейн, Кусевицкий, Шолом Аш, Оскар Ланге. А когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я, счастливый, заулыбался.

В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. Пять лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен, и реже прибегал к европейскому метру или аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно - начальной школы. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях.

Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе; все чрезмерно - зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-президент США Уоллес вывез из Советского Союза кустики «русской клубники» (фрагария моската) - невзрачной, мелкой, с зелеными пятнами, удивительно ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород, и я не сразу узнал мою землячку - ягоды был и втрое больше, но запах исчез.

Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на восемнадцатом этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог - рядом горланили пьяные, по комнате носились отсветы реклам. Полночи я простоял у окна; небо над Бродвеем пылало, высились макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие отары. Это было прекрасно и невыносимо.

Я как-то обедал с Ле Корбюзье в маленьком французском ресторане Сорок второй улицы. Он расспрашивал меня о войне, о том, что стало с нашими городами, говорил об архитектуре. Он был необычайным человеком. Он тогда с усмешкой сказал: «Скоро мне стукнет шестьдесят, а я еще очень мало построил не дают. Я - человек поражений...» Как всякий новатор, Ле Корбюзье создавал эссенцию, а люди хотят такого искусства, где эссенция разбавлена. Теперь идеи Ле Корбюзье побеждают повсюду, побеждают архитекторы, которые у него учились, ему подражали, и вместе с тем трезво подходят к делу. А Ле Корбюзье думал не о заказчиках, но о стиле эпохи. Он строил здания-манифесты - в Марселе и в Рио-де-Жанейро, в Лионе и в Боготе, в Нью-Йорке и в Пенджабе, огромные небоскребы и поселки из небольших домов, воевал с улицами, защищал деревья и человеческие нервы, требовал свободы для солнца. Он умер, узнав всеобщее признание. При первой встрече в Америке я ему сказал, что восхищен и подавлен архитектурой Нью-Йорка. Он улыбнулся: «Вы

всегда были романтиком, даже когда защищали конструктивизм. Знаете, что такое Нью-Йорк? Это катастрофическая феерия».

Самое опасное составить себе представление о человеке или о стране, которых недостаточно знаешь, а потом объяснять все намеченной заранее схемой. Я знал Америку по книгам американских писателей, по рассказам друзей, видел в Европе то, что мы называем «американизацией», и у меня было условное представление о Новом Свете. Все оказалось правильным и вместе с тем неправильным - порой поверхностным, порой односторонним и, следовательно, несправедливым. Конечно, люди торопились, но, приглядевшись, я увидел, что это, скорее, форма жизни, чем ее содержание. Я увидел вдоволь и бестолочи, и бюрократизма, и нерасчесанных человеческих страстей.

На улице толкались; журналисты садились на мою кровать; люди жестикулировали не только руками, но и ногами; когда звали в гости, я знал, что кто-нибудь сядет на пол, а девушка скинет туфли; ругались; дружески хлопали по плечу; вели себя нецеремонно, порой, на мой европейский аршин, и бесцеремонно. Я слышал рассказы, как быстро делаются карьеры, как соперники топчут друг друга, вчерашний миллионер становится бедняком, а вчерашний босяк мчится в «кадиллаке». Все это было связано не столько с корыстью или с прирожденной грубостью, сколько с молодостью общества.

В течение моей жизни я видел не раз детей, низвергавших отцов, и отцов, возмущенных неблагодарностью, невоспитанностью, невежеством детей; это, кажется, вечная история. Многие достоинства и пороки Америки связаны с ее возрастом. До чего они молоды! - говорил я себе то в умилении, то в раздражении. Люди со всего света пришли на богатые малозаселенные просторы, пришли, наверно, отчаянные головы, энергичные неудачники, неунывающие ловкачи, неисправимые фантазеры, те, что первыми вырываются из театра, охваченного пожаром, и последними покидают игорный притон. Шолом-Алейхем писал: «В Америке люди не живут, в Америке люди спасаются». Народ образовался из «спасавшихся». Приезжали англичане, итальянцы, евреи, ирландцы, поляки, украинцы, сербы, немцы, скандинавы. Все это быстро перемешалось. Люди привозили с собой смену белья и волю к жизни; что касается вековых традиций, то их не погрузишь ни на какое судно. Иммигранты

начинали с азов. Так родилась нация, которой суждено в будущем выйти на авансцену истории.

В Нью-Орлеане меня повели в старый трактир - американцы его посещают как достопримечательность. Дому почти сто лет. Был знойный день с той горячей сыростью, которая изматывает европейца, да и американцы обливались потом; они пили ледяные коктейли у большого пылающего камина - камин, дрова, это ведь нечто невиданное, глубокая древность, Помпея!

С возрастом связан и полукочевой образ жизни. После Америки Европа мне показалась обжитым, непроветренным домом. Американцы часто меняют квартиру, люди среднего достатка бросают при этом мебель - дороже перевезти, чем купить новую, а европейской привязанности к старому семейному хламу нет. Переезжают из города в город, из штата в штат.

Я почти не видел малолитражек: рабочие покупали большие машины, когда-то бывшие дорогими, но прошедшие сотни тысяч миль. Нет работы? Человек грузит семью, скарб и едет за счастьем (у нас в тридцатые годы говорили: за «длинным рублем»). Один американец решил меня покатасть; подошел час ленча; он остановился возле ресторана, погудел. Принесли подносики с мясом, пивом, кофе. Есть пришлось в машине, а мы никуда не спешили, просто носились по чудесным дорогам мимо одноэтажных домиков, похожих один на другой. Я видел загон: автомобили въезжали туда, а на экране показывали кинокартину. Ночью в большом парке Нью-Йорка много темных машин. Друзья мне рассказали, что для парочек автомобиль заменяет комнату гостиницы; иногда полиция устраивает облавы.

В универсальных магазинах я видел, как человек, покупая костюм, бросал старый. Мой друг Гилмор, который возил меня на Юг, чуть ли не каждый день покупал рубашку, говорил, что это проще, чем отдавать в стирку.

В Америку и приехал не из древней Эллады, не из Италии или Испании, и все же меня поразила необычайная стандартизация. Города походили один на другой. Я видел те же улицы, те же дома, те же вывески, те же галстуки в Детройте и в Джексоне. Статейка хлесткого журналиста печаталась одновременно в пятидесяти газетах; повторялись сплетни, анекдоты, проповеди.

Казалось бы, выводы напрашивались, вставал классический образ мистера Бэббита. Но и не торопился с выводами, говорил себе: все это так и не так.

Меня смешили объявления в газетах о воскресных богослужениях - зазывали, как в балаган; одна церковь обещала цветной фильм на библейскую тему, другая соблазняла хорошим буфетом. Американцам такие рекламы, видимо, не казались кощунством. В Алабаме мы заехали к профессору; нас оставили пообедать; все сели за стол; профессор встал и прочитал импровизированную молитву - просил господина о мире между двумя великими народами; по лицам домочадцев было видно, что они действительно молятся. Я был на обеде, устроенном издателем «Нью-Йорк тайме», возле каждого прибора лежала карточка, я подумал, что это меню; оказалось - на одной стороне реклама газеты, на другой молитва, но здесь уже никто не молился...

Вскоре после нашего приезда в Америку Симонова и меня пригласили на ужин, устроенный одной из еврейских организаций. Консул сказал, что мы обязательно должны быть эта организация собрала свыше двух миллионов долларов на детские дома в Советском Союзе. Народу пришло много, хотели послушать «красных» - так нас называли в газетах. Мы обедали на эстраде, а гости - внизу за маленькими столиками. Профессионал по сбору денег (не раввин, а пастор) выполнял работу конферансье и ловко выкачивал доллары. Люди давали сто двести долларов. Некоторые выписали чеки на тысячу, пастор их прочувствованно благодарил, и зал аплодировал. Мне нужно было выступить, а меня от всего подташнивало. В своей речи я напомнил, что собравшиеся в большом долгу перед советским народом и что, когда выплачивают крохотную часть задолженности, этим не гордятся, этому не аплодируют, сказал также, что у нас люди отдавали свою жизнь скромнее, чем здесь дают доллары. Один из организаторов ужина принес мне таблетки - решил, что резкость моих суждений объясняется болезненным состоянием.

Нового, конечно, Синклер Льюис, ничего не выдумал, и я сам услышал в Бирмингеме комплимент: «Вы выпядите на сто тысяч долларов». Конечно, культ доллара был весьма распространен. Но я встретил в Америке немало бескорыстных идеалистов. В Нашвилле жил скромный адвокат Фармер. Он уверовал в идею «мирового

правительства». Потом эта идея была использована политиками для целей отнюдь не гуманных. Но Фармер был убежден, что мировое правительство спасет человечество от войны. Он превратился в проповедника. Он повез меня на ферму к своему отцу; там мы обедали, и сын пытался обратить отца в новую веру. В Нью-Орлеане я встретил инженера, который до войны сконструировал машину для механизации уборки хлопка; ему предложили за патент крупную сумму, а он после разговора с приятелем-экономистом уничтожил свое изобретение боялся, что машина лишит хлеба десятки тысяч сельских рабочих. Я видел белых энтузиастов, выступавших в Миссисипи против притеснения негров, видел первую демонстрацию против атомной бомбы. В конце сороковых годов в Движении сторонников мира работал американский пастор Джон Дарр. Он записывал в тетрадку разговоры, казавшиеся ему значительными: хотел понять все тонкости марксистского толкования событий. Делегацию сторонников мира пригласили в Китай. Пастор Дарр, разумеется, и там записывал мудрые и немудрые изречения своих собеседников. Хотя сами китайцы аккуратно записывали все, что рассказывал я и другие гости, любовь американца к записям показалась им подозрительной, и они сообщили об этом в Москву. Наивный и честнейший Дарр стал пугалом. Он это понял и вернулся в Америку и там продолжал выступать за мир, хотя это было связано для него со всяческими неприятностями. Летом 1965 года на конгрессе в Хельсинки было много американцев-пацифистов: священники, квакеры, сторонники всеобщего разоружения, женщины, возмущенные войной во Вьетнаме, люди смелые и бескорыстные.

Как все это понять? Вот над чем в 1946 году я ломал себе голову. В Париже дома примерно одного роста - шесть-семь этажей, а в американских провинциальных городах дома одноэтажные, но в центре обязательно несколько небоскребов. В Америке столько контрастов, что теряешь голову. Между двумя войнами мы восхищались американской литературой - Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбском, Колдуэллом. Приехав в Америку, я увидел, что вокруг них пустота. В штате Миссисипи люди интеллигентных профессий не знали даже имени Фолкнера, хотя он жил рядом - в городке Оксфорде. Поразило меня отсутствие средней литературы: Хемингуэй или «дайджест», Фолкнер или дурацкие «комиксы», Я видел прекрасные

фильмы Форда, Уайлера, Уэллса, а Мамуляна, а в соседних кинотеатрах показывали плоские фарсы, свирепые мелодрамы, патоку и пакость.

Я давно хотел поглядеть на собрание членов «Клуба львов» - этот клуб имеет разветвления во всех городах. Как раз на Юге, неподалеку от города, где жил Фолкнер, я попал на обед «львов». Председатель постучал деревянным молотком по столу, и члены клуба, главным образом коммерсанты, дружно зарычали «ууу!». Это было до того нелепо, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Обед кончился, «львы» вернулись к своим делам, а я шел по длинной Мэн-стрит и думал: хорошо, но откуда у них Фолкнер?...

В Нью-Йорке я пошел к Джону Стейнбеку. Еще до войны в Париже я восхищался его повестью «Мыши и люди». Он жил в центре Нью-Йорка в одноэтажном доме - это было роскошью: в Голливуде сделали несколько фильмов по его романам; он ругал эти фильмы, ругал многое другое и пил виски со льдом. Мы сидели в большой мастерской (жена Стейнбека художница). Он сказал мне: «Если плюнуть в пасть льва, лев станет ручным...» (Эти слова я потом не раз вспоминал - они верны по отношению ко львам различных мастей.) Несколько лет спустя Стейнбек приехал в Советский Союз. Я был с ним в Загорске, он захотел там посмотреть мастеров, которые вырезают из дерева зверушек. Прежде они работали хорошо, но под влиянием тяги к натурализму стали изготавливать соответствующий товар. Когда мастер сделал общую форму медведя, Стейнбек попросил продать ему неоконченную игрушку. Мастер обиделся: «Хочет, чтобы в Америке над нами посмеялись...» А Стейнбек восхищался: «Вот это искусство!...» И добавил: «Когда пишешь роман, тоже нужно вовремя остановиться...»

Прошло еще пятнадцать лет, и недавно я снова увидел Стейнбека. Он много с тех пор написал, узнал и годы неудач, и славу. Он сидел у меня, большой, крепкий, и я все время думал: до чего он связан с Америкой! Молодая страна, люди в ней не стареют - живут, потом падают. Не знаю, умеет ли Стейнбек вовремя остановиться, когда пишет роман; я его не стал об этом спрашивать, - кажется, нет на свете автора, который знал бы самого себя: писатели заняты своими героями, им недосуг задуматься над собой. Конечно, Стейнбек стал как-то спокойнее, я почувствовал тяжесть и снисходительность

седьмого десятка, все же он остался громким, неумным, похожим на свою страну.

Теперь я несколько лучше понимаю американцев. А в 1946 году я спрашивал себя: чем живет Стейнбек? Чем живет Америка? Это были не праздные вопросы, не любопытство туриста, не работа этнографа - я видел, что после войны многое на свете изменилось. Все зависит от того, по какому пути пойдет эта богатая, чрезвычайно цивилизованная и вместе с тем полудикая страна.

Сотни американцев пытались мне доказать, что американцы самые свободные люди и что это объясняется частной инициативой, психикой пионеров, значением личности. Слушая такие разговоры, можно было подумать, что передо мной испанские анархисты и что Трумэн - ученик Мигеля Бакунина. Действительно, я побывал в городах, где частные компании отпускали не только электричество и газ, но даже воду; на дорогах несколько раз нашу машину останавливали и брали деньги за проезд,- оказывалось, дорога принадлежит бизнесмену или плантатору; мост через Миссисипи эксплуатировался акционерным обществом. В 1946 году правительство проводило кампанию против расточительства. Я видел повсюду рекламы: «Не забывайте, что на свете пятьсот миллионов человек голодают. Гейнц - пятьдесят семь соусов». Я спросил председателя торговой палаты в городе Джексон, почему фирма Гейнца рекламирует свои соусы с помощью гуманных фраз. Председатель покачал головой: «Напротив, фирма Гейнца старается помочь правительству. Официальным декларациям не верят, а у Гейнца большой авторитет...» Вместе с тем власти преспокойно вмешивались в частную жизнь американцев. В Нью-Йорке, в гостинице на Бродвее, где я прожил неделю, ночью была облава; арестовали провинциалов-молодоженов - у них не было при себе удостоверения о браке. Имелись штаты, где венчали без волокиты, а штат Невада разбогател потому, что там легко развестись. В вагоне-ресторане официант забрал стакан с виски: «Мы проезжаем через сухой штат...»

Я был у крупного ученого Зворыкина, изобретателя иконоскопа. Он жил возле Филадельфии в чудесном доме. Он долго рассказывал, как быстро развивается в Америке наука. Я знал, что Эйнштейн и Ферми обязаны многим Соединенным Штатам. Роман Якобсон ночь

напролет говорил мне о будущем новой науки - изобретены «мыслящие машины». В Принстоне я видел замечательные аудитории, лаборатории, библиотеки.

В Джексоне, в Ноксвилле я с трудом разыскал книжный магазин.

Разноречивые впечатления я изложил в очерках. Конечно, в них было много случайного, были, наверно, и ошибки - трудно за короткий срок понять чужую жизнь. Однако я не поддался соблазну отделаться памфлетом. В 1946 году «холодная война» быстро разгоралась, и те американцы, которые ее раздували, радовались некоторым статьям или фельетонам, напечатанным в наших газетах. Журнал «Харперс мэгезин», участвовавший в антисоветской кампании, опубликовал перевод моих очерков, но в своих комментариях признал: «Важны не отдельные детали, а общее впечатление, которое получит от этих статей советский читатель. Трудно себе представить, что он увидит в них Америку грубым, жадным, механизированным и бездушным чудовищем, каким ее изображали в прошлом европейские спиритуалисты, например, Андре Зигфрид... Статьи мистера Эренбурга появлялись в «Известиях» с июня по сентябрь - во время ныне знаменитой «культурной чистки», от которой пострадали многие писатели и кинорежиссеры... «Известия» писали в передовой: «Чему же могут учиться лучшие люди советского общества, творцы его культуры у «модных» деятелей современного Запада и Америки, выразителей морального распада и гниения капиталистического строи?» Читая это, мы в испуге вспомнили одно место в четвертой статье мистера Эренбурга: «Мы можем многому научиться и у американских писателей, и у американских архитекторов, и даже (несмотря на потрясающую пошлость средней продукции) у американских кинорежиссеров». Возникает тревожное чувство, что благодаря этим статьям мистер Эренбург повис на суке. Мы надеемся, что он принял меры предосторожности и снял с себя галстук». (Антисоветские журналисты надеялись, что меня уничтожат, и до сих пор не могут мне простить, что я остался в живых.)

Однако мои очерки были продиктованы не только желанием погасить огонь «холодной войны». Я понимал, что европейцы начинают походить на американцев - в пристрастии к комфорту, в некотором упрощении эмоциональной жизни, в культе техники и спорта. Мне хотелось приободрить себя, и, думая о новой

интеллигенции, представителей которой я встречал в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Орлеане, я доказывал, что многие американцы начинают походить на европейцев: «Америка не застывший мир, она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастениками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов читают «Ньюйорксер», высмеивающий «американизм». Вообще, так издеваться над Америкой, как это делают сами американцы, никогда не сможет ни один европеец; и в этом тоже залог роста. Я убежден, что американцы, проклиная Америку, на самом деле страстные патриоты. Они - новые пионеры, их тоже трясет лихорадка, но не «золотая»: они ищут духовные ценности; им мало высоких домов, и если они смеются над этими домами, то не потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств».

Вероятно, все это правильно, но «быстро сказка сказывается», а история петляет. Прогресс естественных наук стал повсеместным. Американцы растерялись, увидев в некоторых областях превосходство советской техники; однако это было связано, скорее, с выкладками политиков и военных, чем с поисками «высоких дум и высоких чувств».

В годы, называемые теперь годами «культы личности», кибернетику у нас называли шарлатанством. Впервые Большая советская энциклопедия заговорила о ней в дополнительном томе. Наши специалисты по кибернетике с возмущением вспоминают прошлое: один из них обиду перенес на искусство, как будто в походе на новую науку повинно «анахроничное увлечение Бахом или Блоком». Между тем люди, запрещавшие кибернетику, с опаской поглядывали на искусство. Я продолжал и продолжаю спорить не столько с Америкой, сколько с «американизмом». С увлечением я прочитал книгу Винера (хотя не все в ней понял); я слышал электронную музыку, охотно верю, что машины, сочиняющие стихи, делают это быстрее и не хуже многих членов Союза писателей. Баха или Блока машины, однако, не заменяют, да и не могут заменить.

Может быть, в недалеком будущем межпланетные ракеты будут предоставлять парочкам, лишенным свидетельства о браке, большой комфорт, чем теперешние «кадиллаки» или «бьюики»; не нужно много фантазии, чтобы это себе представить. Но я хочу думать, что люди грядущего будут обладать той культурой эмоций, которая

отличает любовь героев Шекспира, Гете или Льва Толстого от случки питекантропов.

Древние изображали богиню мудрости с совой, и Гегель говорил, что сова взлетает, когда опускаются сумерки. Обидно, что о многом начинаешь задумываться к вечеру жизни.

Наш приезд в Америку рассматривался как «ответный визит» - в 1945 году три американских журналиста побывали в Советском Союзе. «Холодная война» только начиналась. Американцы вели переговоры с Советским правительством об увеличении тиража журнала «Америка», выходившего на русском языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю. Все газеты сообщили: «Трое красных журналистов приглашены познакомиться с Америкой. Они будут свободно разъезжать по стране за счет правительства Соединенных Штатов». От денег мы отказались, а разрешением свободно передвигаться решили воспользоваться. Галактионов предпочитал остаться в Нью-Йорке, где было много советских работников, но, посоветовавшись с послом, решил, что поедет на несколько дней в Чикаго, и, когда нас пригласил заместитель Бирнса Бентон, Михаил Романович объяснил, что намерен познакомиться с работой крупных чикагских газет. Симонов сказал, что выбрал Западное побережье - Голливуд. Пришел мой черед: «Я хотел бы поехать в Южные штаты». Бентон попытался меня отговорить: далеко, воздушная связь плохая, да и не повсюду имеются хорошие гостиницы. Я возразил: от Москвы до Вашингтона еще дальше, я могу поехать поездом, а комфортом мы не избалованы. Бентон повторил, что мы свободны в выборе.

Один из вашингтонских комментаторов, или, как в Америке говорят, «колумнистов», статьи которых печатают одновременно десятки газет, Марквиз Чайлдс, писал: «Совершенно ясно, почему Эренбург - самый яркий и агрессивный из трех - выбрал «Табачную дорогу». В жизни Юга он цинично ищет подходящих для него историй...» (Говоря о «Табачной дороге», журналист, конечно, имел в виду не мою страсть к куренью, а книгу Колдуэлла.)

Признаться, я меньше всего думал и о Колдуэлле, и о материале для газетных очерков; мне хотелось понять то, что с давних пор оставалось для меня загадочным: положение негров в Америке. В молодости я считал, что прогресс неминуемо освобождает людей от

суеверий и нетерпимости. Я знал, что Южные штаты Америки далеко отстали от Северных, что там мало промышленности, есть неграмотные, и этим объяснял живучесть предрассудков. Только когда расизм восторжествовал не далеко за океаном, а в хорошо мне знакомой Германии, я понял, насколько был наивен. Судьба американских негров перестала быть исключительным явлением; расизм вошел в быт века. Решив поехать в Южные штаты, я думал не о газетных статьях, а только что закончившейся, еще не отошедшей от меня войне, думал о многом темпом, с чем мне пришлось в жизни столкнуться, искал разгадку, пробовал осмыслить противоречивую эпоху.

В первые же дни моего пребывания в Нью-Йорке я понял, что Новый Свет забит хламом старых предрассудков.

В киосках можно было увидеть десятки газет, выходивших в Америке на различных языках - итальянском, польском, еврейском, немецком, испанском, греческом, армянском, украинском, сербском и Других. Я попал в итальянский квартал; там сушилось на веревках белье, в тратториях люди накручивали на вилку длинные макароны, кто-то пел, мне показалось, что я в Генуе или в Неаполе. В еврейском квартале торговали солеными огурцами, халвой, водкой, были вывески и русские и польские; старик, похожий на героя Бабеля, пил на улице чай и рассуждал: «Сульцбергер пишет, что он любит бога, если не еврейского, то американского, но, наверно, этот бог с таким вниманием читал «Тайме», что даже не заметил, как сожгли варшавское гетто...»

Названия городов напоминают, что люди пришли сюда отовсюду: Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Манчестер, Амстердам, Пекин, Париж, Одесса, Толедо, Франкфурт, Кантон, Кембридж, Москва, Берлин, Рим, Оксфорд, Кордова... В любой отрасли науки встречаешь имена, которые ясно говорят, что если не сам ученый, то его дед родился - кто в Ирландии, кто в Польше, кто в Германии, кто в России. Я хотел понять, почему же в стране, где перемешались все расы, все национальности, все языки, расцвели и расизм, и своеобразная национальная иерархия.

Аристократия знала родовую иерархию: потомственный дворянин глядел свысока на личного дворянина, а этот последний презирал мещанина; во Франции выше всего стояли принцы, за ними

шли герцоги, потом маркизы, графы, виконты, бароны, наконец - обыкновенные дворяне, у которых перед фамилией значилось «де». Считалось, что в жилах аристократов течет «голубая кровь». Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот, загадочным для меня образом, создалась своя иерархия крови: выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, ирландских, скандинавских, голландских; несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, порториканцы, и всех ниже негры, Есть клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один словоохотливый американец: «С ними обедают, но не ужинают»,- обед - это деловая встреча в ресторане без жен,- с евреями можно делать дела, но не якшаться. Мне показывали гостиницы, куда не пускают евреев; обычно это на курортах, у моря или у озера.

Через несколько дней после моего приезда в Нью-Йорк друзья повезли меня в негритянский квартал Гарлем; там я познакомился с журналистами, писателями, актерами, музыкантами; с некоторыми из них я подружился.

Теоретически негры в Нью-Йорке пользовались всеми правами. Но квартир в домах, где жили белые, неграм не сдавали. Они жили в Гарлеме, и что ни говори - это гетто. Как-то я возвращался из Гарлема поздно ночью. Шофер такси довез меня до границы гетто, объяснил, что дальше ему ехать не стоит- не найдет назад пассажиров, окликнул такси с белым шофером, и и пересел. Конечно, были богатые негры, были даже занимавшие государственные посты (таких было мало, и посты были некрупными, но видимость соблюдалась); однако большинство черных выполняло черную работу: носильщики, мусорщики, сторожа, лифтеры, судомойки, прачки. В Гарлеме я видел «госпиталь рубашек» так называлась мастерская, где на месте латали рубашку, клиент сидел полуголый и ждал: у него была всего одна рубашка.

Если негр заходил в ресторан, который содержал американец, ему вежливо говорили, что все столики заказаны. Если он пробовал найти работу почище, ему любезно сообщали, что вакансия уже занята. Я хотел позвать к себе друзей-негров. Меня предупредили, что их не

подымут вверх - я жил на шестнадцатом этаже, скажут, что лифт не работает.

Американцам нравилась негритянская музыка, черные певцы, актеры. Негритянские труппы часто играли на Бродвее. В партере сидели белые, они аплодировали. Но если актеры захотели бы после спектакля поужинать, они должны были найти французский, итальянский или еврейский ресторан - в американском им сказали бы, что все столики заняты...

Расизм заразил даже тех, которые от него терпели: и встречал негров-антисемитов. А обиженный кем-то еврей кричал: «Почему вы со мной так разговариваете? Я, кажется, еще не негр!...» Мулат в Вашингтоне рассказывал о своей беде - его дочь влюбилась в негра.

Я начал готовиться к путешествию. Друзья сказали, что они пришлют ко мне одного прогрессивного южанина, который посоветует, куда поехать. Дэниэл Гилмор был южанином, сыном адмирала; до войны издавал левый литературный журнал «Пятница» (под таким же названием выходил еженедельник в Париже, его редактировали Жан-Ришар Блок и Шамсон). Он сказал, что повезет меня в своей машине. Это было нечаянной удачей - никогда бы я не разыскал тех захолуствий, куда меня повез мой новый друг.

Госдепартамент сообщил мне, что меня будет сопровождать редактор журнала «Америка», выходящего на русском языке. Нельсон был сыном выходца из России и превосходно говорил по-русски. Он показал себя тактичным, и между нами установились добрые отношения.

Нельсон обращался к местным властям; меня приглашали на официальные обеды - то председатель торговой палаты, то издатель крупной газеты, то чиновник, занятый делами культуры. Гилмор знал многих, возил меня в редакции негритянских газет, в заштатные городки, на хлопковые плантации. Я разговаривал с сотнями разных людей - с профессорами и плантаторами, с пасторами и с профсоюзниками, с художниками и с рабочими.

Мы были в Алабаме, когда Гилмор рассказал, что «колумнист» Сэм Графтон хочет описать поездку советского писателя по Югу и просит разрешения присоединиться к нам. Дальше мы колесили уже четвером в утомленном, но поместительном «бьюике».

Почему-то моим спутникам понравился русский обычай называть человека по имени и отчеству. И вот со мной ездили Дэниэл Горацевич Гилмор, Билл Бенедиктович Нельсон и Сэм Ноэмович Графтон. Мы подружились, и южане не раз принимали нас всех за «красных». Мы останавливались на ночь то в больших гостиницах, то в «мотелях», то в комнатах, которые жители городишек сдавали проезжим. Южане оказались гостеприимными, приглашали пообедать или поужинать с ними. Мне повезло - я ездил как американский турист.

В Нашвилле я провел день в частном негритянском университете Фиск. Там училось около семисот юношей и девушек, они готовились стать врачами, педагогами, адвокатами, но знали, что смогут лечить, учить, защищать только «цветных». Среди профессоров был крупный химик Брэди. Он рассказал, в каких условиях ему приходится работать. В университете для белых прекрасно оборудованные лаборатории, но туда он не имеет права войти, не может он пользоваться и университетской библиотекой: когда ему нужна справка, белый юноша идет вместо него в библиотеку и выписывает. А на международные конгрессы профессора Брэди посылают: для Нашвилла - он негр, для заграницы - видный американский ученый.

(Я прочитал статью известного зоолога Лилли, профессора Чикагского университета, посвященную умершему в начале войны биологу Дзосту: «Трагизмом отмечена вся научная деятельность Дзоста - он был негром в Соединенных Штатах... В Европе его принимали дружески, и легко понять, почему он себя обрек на добровольное изгнание, но глубоко обидно, что его знания, беззаветная преданность науке не смогли найти приложения на его родине...»)

Среди студентов Нашвилла я увидел рыжеватую девушку с веснушками, она заговорила со мной по-русски. Оказалось, отец ее негр, а мать одесситка, звали ее Лилиан Вальтфильд. По виду ее никак нельзя было принять за негритянку, но в паспорте значилось: «цветная».

Мы осматривали плотину Теннесси - огромное строительство, осуществленное Рузвельтом. Электростанция изменила экономику шести южных штатов. Я восхищался дорогами, домами, парками, но повсюду я видел надписи «Для цветных» и угрюмо думал: да бог с

ней, с этой диковинной техникой, если она может сочетаться с оплевыванием человека!...

Когда мы ехали на Юг, Билл Бенедиктович мне рассказывал, как хорошо поставлено в Америке народное образование и какие суммы расходуются на здравоохранение. В Миссисипи я увидел, как живут негры, арендующие клочок земли, или сельские рабочие. В темных лачугах копошились огромные семьи, спали на иолу. Мы встречали много неграмотных - школ для негров не хватало, встречали людей, никогда в жизни не видавших доктора: врачу нужно заплатить столько, сколько целая семья вырабатывает в три месяца.

А радушный хозяин большой плантации, угощавший нас яствами Юга, говорил: «Неграм у меня хорошо. Я их даже в церковь отпускаю...»

Войдя в одну злосчастную хижину, Сэм Графтон вышел потрясенный никогда прежде он не бывал на Юге. Я ему сказал: «Видите, и я пригодился - благодаря мне дядя Сэм познакомился с дядей Томом...» Нельсон тоже впервые увидел Южные штаты и был подавлен; больше он не заговаривал ни о медицинском обслуживании, ни о народном образовании.

Я вспоминаю большую ярко-желтую реку Миссисипи, старые усадьбы, где жили опоэтизированные герои Митчелл, уют, комфорт, который не снился нашей Салтычихе, и темные, зловонные хижины, едкое человеческое горе голод в краю изобилия, работу через силу и ко всему ежечасное надругательство: «Куда лезешь, грязный негр!...» (Эти слова я услышал на трамвайной остановке - вагоны, где имели право ездить только белые, проходили почти пустые, а на площадке места не было.)

Трудно видеть чужое горе, нужду, нищету,- это я не раз чувствовал и дома, и в Испании, и в Индии. Но только раз в жизни я очутился среди чужого унижения. Однажды в Нью-Орлеане я сидел в милом доме у хороших и просвещенных людей - знакомых Гилмора. Один из гостей, высокий, светловолосый, оказался архитектором. Мы говорили сначала об урбанизме, о Ле Корбюзье, потом о живописи. Меня мучила жажда - было нестерпимо жарко. Я предложил пойти в соседний бар и там продолжить беседу. Никто меня не поддержал. Полчаса спустя я попросил стакан воды. Архитектор встал: ему пора домой. Когда он вышел, хозяйка объяснила, что он по паспорту

«цветной» и не может войти в бар - его в городе знают. Мне стало стыдно: ведь я его поставил в трудное положение. Больше не хотелось пить и, если говорить откровенно, не хотелось жить.

Другой раз я испытал нестерпимый стыд, когда очень светлая мулатка рассказала мне, как носильщик, не догадавшись, что она «цветная», посадил ее в вагон для белых; поезд тронулся, она не успела выйти. Один белый подозвал проводника и сказал, чтобы он выкинул «цветную». Девушка никак не походила на мулатку; проводник оказался сердобольным и шепнул заподозренной: «Я ему объяснил, что вы еврейка, поэтому у вас черные волосы...» Девушка смеясь добавила: «А я так испугалась, что двинуться не могла...» Вот тогда впервые в жизни мне стало стыдно, что я еврей, хотелось стать черным евреем.

Сторонники «расового разделения» или, говоря проще, расисты, разговаривая со мной, пробовали обосновать южные порядки: есть естественное неравенство рас, нужны века, чтобы негры доросли до белых; теперь с ними общаться трудно, их следует учить, создавать для них сносные условия и давать ту работу, которую они в силах выполнить. Это я слышал много раз. Это сказал мне и один юрист, у которого мы ужинали. Его молодая жена добавила, что хорошо это или плохо, но каждый американец чувствует к неграм физическое отвращение. (Я почувствовал отвращение к молодой хорошенькой женщине, но, будучи гостем, промолчал.) Мы встали, и хозяйка сказала, что покажет нам своего первенца - он родился ровно месяц назад. Младенца принесла огромная толстая негритянка, сверкавшая белыми зубами,- она кормила грудью сына хозяев...

В промышленном Бирмингеме много негров работало на металлургических заводах. Мы зашли к одному из них; он жил бедно, но чисто, в маленькой комнате помещались пять человек. Разговорились о работе, о квартирах. Потом я спросил, какие у него отношения с белыми товарищами. «На работе хорошие».- «Бываете вы у кого-нибудь из них?» - «Нет». «А к вам приходят?» - «Никогда. Вы - первый белый, который зашел в этот дом...»

В Нью-Орлеане я пошел в профсоюз моряков. Секретарь показал мне клуб, сказал, что их профсоюз называют «красным»: у них негры присутствуют на общих собраниях, в других профсоюзах для «цветных» имеются особые секции. «Вот места для негров»,- сказал

секретарь. Скамейки были не хуже других, но негров все же сажали отдельно.

Помню долгий откровенный разговор с адвокатом Робертсоном. Он был хороший человек, которого возмущала расовая дискриминация, он старался, как мог, помочь неграм. Он рассказывал мне о чудовищных приговорах. Одна женщина увлеклась негром, которого звали Вилли Меги, он был шофером грузовика. Она затаскивала его к себе в дом. Соседки об этом судачили. Однажды муж вернулся не вовремя. Женщина закричала: «Помогите, меня насилуют!...» Все, включая судей, знали, что женщина лжет, но никто на суде об этом не сказал. Напрасно адвокат пытался спасти Вилли Меги - его приговорили к смертной казни. В городке Олбезилл шестеро белых изнасиловали негритянку; все знали, что они виновны, но их оправдали. Робертсон вспомнил и другие судебные дела в штате Миссисипи. Я спросил его, почему расизм оказался настолько живучим. Он ответил: «Мне неприятно вам признаться, но это в нас с детства, мы все отравлены этой пакостью. У нас домашняя работница негритянка. Мы с женой к ней хорошо относимся. Недавно она рожала. Позвали врача. Я зашел поглядеть на ребенка и поймал себя на мысли- живое существо, а все-таки не белый... Я сам себе неприятен...»

Я понял, что дело не только в страшной эпопее Гитлера. Конечно, в Америке не было ни Освенцима, ни Трешлинка. Случаи линчевания становились все большей редкостью. В 1946 году в Южных штатах существовали законы, весьма напоминавшие те, над которыми трудился Глобке (еще недавно он занимал в Западной Германии весьма почетное место). Но и рабовладельцы Юга не были новаторами. Семь параграфов закона, опубликованного в XIII веке испанским королем Альфонсом X, которого прозвали Мудрым и который действительно покровительствовал астрономии и другим наукам, гласили о разделении в жизни христиан и евреев и устанавливали ограничения для евреев, весьма схожие с теми, которые существовали в середине XX века в Южных штатах для негров.

Я знаю, что теперь многое изменилось. Даже американские реакционеры поняли, что Африка проснулась и что гонение на негров в Соединенных Штатах исключает возможность добрых отношений с новорожденными государствами Африки. Да и внутри самой Америки

наблюдаются сдвиги сознания. Конечно, хорошо, что ровно сто лет спустя после победы Севера над рабовладельцами-расистами принят закон о предоставлении избирательных прав неграм Юга. Но это событие совпало с кровью на улицах Лос-Анджелеса, с выстрелами в Алабаме и Миссисипи, с накопившейся ненавистью угнетенных к угнетателям и с затаенной неприязнью либеральных «освободителей» к освобождаемым.

Дело не только в уничтожении отвратительных законов, дело в изменении душевного мира людей: мы слишком хорошо знали, что никакое, даже самое передовое, законодательство не может вытравить из сознания древних предрассудков; они норой прячутся, камуфлируются, ищут новых, более приспособленных к современной жизни обоснований и вдруг показываются во всей своей отвратительной наготе.

О поездке на Юг я рассказал не для того, чтобы осудить американцев, эта книга - не сборник политических статей. Я задумываюсь над тем, что увидел и пережил, мне хочется найти выход. Кажется, я был прав в молодости, когда думал, что свет изгоняет тьму, только и те далекие годы я принимал образование за воспитание, а знания за совесть. Выход, наверно, в гармоничном развитии человека, что требует много душевных сил, много разума, да и много времени; но если люди сейчас же не возьмутся за это, то они погибнут смертью, недостойной человека,- от превосходства ядерного оружия над хрупкостью немыслящего тростника, и погибнут они независимо от цвета кожи или от формы носа.

Мне казалось, что я потерял возможность изумления; перелетел океан, побывал в разных странах, встречался со знаменитыми, порой великими людьми, пережил три войны, революцию, тридцать седьмой, фашизм, Победу, и вот неожиданно 14 мая 1946 года я пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы,- меня повезли в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном. Я провел у него всего несколько часов, но эти часы мне запомнились лучше, чем некоторые крупные события моей жизни, можно забыть радости, напасти, а изумление не забывается, оно врезается в память.

Конечно, я видел фотографии Эйнштейна, кто их не видел, но выглядел он иначе, может быть, потому, что снимки были давнишними, может быть, потому, что фотообъектив не глаз. Эйнштейну, когда я его увидел, было шестьдесят семь лет; очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными, и вдруг они начинали задорно смеяться, скажу, не страшась слова, по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад, стоило его глазам весело поиздеваться,- как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы, он сам ее выразил брошенной мимоходом фразой: «Живу и недоумеваю, все время хочу понять...»

В «Хулио Хуренито», написанном в 1921 году, я рассказывал, что читаю о теории относительности в популярном изложении. Во многих областях науки я чрезвычайно невежествен (к счастью, я это понимаю) - сказывается «незаконченное среднее». Популярное изложение я одолел, но даже в нем не все понял, о некоторых вещах, скорее, догадывался. По дороге из Нью-Йорка в Принстон я

волновался: о чем я смогу говорить с великим ученым - я ведь неуч?... О своих страхах я рассказал еврейскому литератору Брайнину, который повез меня в Принстон. Он ответил, что Эйнштейн человек простой, он меня пригласил потому, что интересуется Россией, угрозой новой мировой войны. Это меня не успокоило. Но стоило Эйнштейну заговорить, как страх исчез. Конечно, я отвечал на его вопросы, что-то рассказывал, но теперь мне кажется, что говорил только он, а я слушал, и если раскрывал рот, то от изумления.

Все меня изумляло - и его внешность, и биография, и мудрость, и задор, а больше всего то, что я сижу, пью кофе, а со мной разговаривает Эйнштейн.

(Как-то я сидел рядом с Жолио-Кюри на заседании Всемирного Совета Мира. Ораторы один за другим повторяли общеизвестные истины. А Жолио, наклонившись к моему уху, говорил о судьбе физиков. (Видно, какая-то фраза навела его на эти мысли.) «Физики похожи на поэтов, они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теорию бета-распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год, Дирак - в двадцать шесть. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? Двадцать шесть!» Глаза Жолио лукаво заблестели, вдруг он насупился: «Нужно послушать, что он говорит...» А я записал слова Жолио на проекте очередной резолюции.)

Конечно, мое волнение, когда я ехал в Принстон, было связано с масштабом человека. Я вспомнил, как в 1934 году Ланжевен мне говорил: «Эйнштейн перевернул все естественные науки. Физикам до него казалось, что все известно, а он доказал, что есть другое познание. С него начинается современная физика, да и не только физика - новая наука...»

Он разбивал старые представления о кабинетном ученом, замкнутом в пределах своей специальности. Я знал, что он дружил с Роменом Ролланом, в 1915 году выступал против войны, знал о его борьбе против фашизма, и человек, которого я увидел, помог мне многое понять в нашей противоречивой эпохе.

(Много позднее я прочитал его «Автобиографические наброски», воспоминания его друзей и увидел, что мое изумление было

естественным. Его жизнь напоминала бурную горную реку. Начну с паспорта: он был немецким подданным, потом швейцарским гражданином и, наконец, американским. Когда он сделал свое гениальное открытие, он числился «экспертом третьего ранга в бернском бюро патентов». Три года спустя, когда об открытии Эйнштейна говорили все передовые ученые мира, он читал лекции в Бернском университете, и на этих лекциях бывали всего два студента. Вскоре о нем начали говорить не только на ученых заседаниях, но и в трамваях. Он читал курсы лекций в Цюрихе, в Праге, в Берлине, в Лейдене, в Пасадене, в Принстоне; побывал во многих странах Европы; ездил в Индию, в Палестину, в Японию. С кем только не встречался он в жизни, не вел душевных бесед! Я не говорю об ученых, естественно, что со многими из них его связывала дружба, но перечислю некоторые неожиданные встречи, о которых он писал или упоминал в разговоре: Ромен Роллан и лорд Бертран Рассел, Кафка и Чарли Чаплин, Рабиндранат Тагор и наркомнидел Чичерин, историк хасидизма Бубер и Бернад Шоу, бельгийский король Альберт и негритянская певица Андерсон, Рузвельт и Неру. Он терпеть не мог приемов, аплодисментов, фимиама, чрезвычайно редко выступал публично, обожал играть на скрипке, увлекался садоводством, отдавался парусному спорту (даже написал статью «Вопросы управления парусной яхтой»), и вместе с тем не было события, на которое он не реагировал бы страстно, самоотверженно. В годы первой мировой войны, узнав, что Ромен Роллан выступает против националистического ослепления, он поехал к нему в Швейцарию, выступил против мировой бойни. Он мужественно приветствовал Октябрьскую революцию, клеймил немецкий милитаризм. Фашизм нашел в нем непримиримого врага. Он не был националистом ни немецким, ни еврейским, ни американским. Собирая деньги на устройство еврейского университета в Палестине, он говорил: «Я видел, как в Германии высмеивали евреев, и мое сердце обливалось кровью. Я видел, как были мобилизованы школа, юмористические журналы, всяческие другие способы пропаганды, чтобы подавить в моих братьях евреях веру в себя...» Он сделал все, что мог, для Испании, отстаивавшей свое достоинство. Он участвовал во многих организациях, боровшихся против угрозы новой мировой войны. Он вышел из культурного отдела Лиги Наций, заявив, что она

потворствует сильным и поощряет агрессоров. Он публично заявил в Америке, что он сторонник социализма и друг Советского Союза. Он писал о дискриминации негров: «Это темное пятно на совести каждого американца». В годы второй мировой войны он помогал сбору средств для помощи Советскому Союзу. Он осудил атомное оружие, предал анафеме «холодную войну», настаивал на всеобщем разоружении и за месяц до смерти сидел над текстом обращения, которое должно было быть подписано им, Бертраном Расселом и Жолио-Кюри.

У него было много врагов. Некоторые ученые долго пытались отрицать его открытия, которые, как им казалось, подрывают их небольшую, заработанную всеми правдами и неправдами, репутацию. Его ненавидели немецкие фашисты: для них он был прежде всего евреем. Была образована организация «АнтиЭйнштейн», куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты. Эта организация занялась травлей Эйнштейна - срывали лекции, печатали псевдонаучные пасквилы, листовки. В 1922 году «королевские молодчики», узнав, что Эйнштейн приезжает в Париж, устроили враждебную демонстрацию. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн был приговорен заочно к смертной казни, за его голову обещали крупное вознаграждение. В 1933 году мракобесы требовали, чтобы Эйнштейну запретили въезд в Соединенные Штаты. В 1945 году конгрессмен Ренкин в палате представителей предложил правительству «покарать агитатора, некоего Эйнштейна», осмелившегося выступить против режима Франко. Пять лет спустя тот же Ренкин говорил: «Старый шарлатан, некий Эйнштейн, который называет себя ученым, а в действительности является участником коммунистического лагеря...» Эйнштейном занялась знаменитая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности.)

В записной книжке и нашел некоторые фразы Эйнштейна - записал сразу, вернувшись из Принстона в Нью-Йорк. Вот что он говорил об американцах: «Это дети, иногда милые, иногда распущенные. Нехорошо, когда дети начинают играть со спичками. Лучше бы играли с кубиками... Я не думаю, что средний американец читает меньше, чем европейец, но он читает другое и, главное, читает иначе. Я спросил одного студента, читал ли он такую-то книгу, он ответил: «Кажется, да, не помню. Но ведь эта книга вышла несколько

лет назад, наверное, она устарела...» Такому интересно только новое... Здесь умеют быстро забывать. В годы войны у среднего американца при слове «Сталинград» был рефлекс - снять с руки часы и послать красноармейцу. Михоэлс и Фефер это видели. Теперь при том же слове у многих совсем другой рефлекс: показать русским, что у нас атомная бомба. Конечно, это результат газетной кампании... В Центральной Африке существовало небольшое племя - говорю «существовало» потому, что читал о нем давно. Люди этого племени давали детям имена Гора, Пальма, Заря, Ястреб. Когда человек умирал, его имя становилось запретным (табу), и приходилось подыскивать новые слова для горы или ястреба. Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд, следовательно, оно не могло развиваться чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы напоминают людей этого племени... Я прочитал в журнале «Ньюйоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону сто экземпляров журнала и роздал моим студентам. Один потом поблагодарил меня, в восторге сказал: «Бомба чудесная!...» Конечно, есть и другие. Но все это очень тяжело... Я выступал осенью. Кажется, скоро снова придется...»

Он еще вернулся в разговоре к бомбе: «Видите ли, самое опасное рассчитывать на логику. Вы убеждены, что дважды два - четыре? Я нет... Несчастье, что умер Рузвельт,- он не допустил бы...»

(Опять-таки позднее я узнал о том, что называют «драмой Эйнштейна». За месяц до начала второй мировой войны некоторые друзья Эйнштейна, физики, сообщили ему, что в Германии работают над созданием атомной бомбы. Захватив Чехословакию, гитлеровцы располагают ураном. Друзья уговорили Эйнштейна написать об этом Рузвельту. В апреле 1945 года, когда стало ясно, что гитлеровцы не успели создать атомную бомбу, узнав, что такая бомба уже имеется у американцев, Эйнштейн вторично написал Рузвельту - умолял не прибегать к ужасающему оружию. Рузвельт умер до того, как получил письмо. А новым президентом Трумэн несколько месяцев спустя отдал приказ сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки.)

Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием «Черной книги». Я привез некоторые опубликованные материалы, фотографии. Эйнштейн внимательно глядел, потом поднял глаза, я увидел в них

скорбь, его губы чуть вздрагивали. Он сказал: «Не раз в моей жизни я говорил, что возможности познания безграничны и безгранично то, что мы должны узнать. Сейчас я думаю о том, что у низости и жестокости тоже нет границ...»

Он спросил, куда и собираюсь поехать. Я ответил, что послезавтра уезжаю на Юг - хочу поглядеть, как живут негры. Он сказал: «Живут они ужасно. Постыдно! Действия правительства Южных штатов подпадают под некоторые пункты обвинительного акта Нюрнбергского процесса...» Через несколько минут, когда мы спустились в сад и нас там мучил фотограф, он рассказал, как давно одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему распространенный в Америке вопрос: «Что вы сказали бы, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке?» Я ей ответил: «Не знаю. Захотел бы познакомиться с невестой. А вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверно, лишился бы сна и аппетита». (В его глазах загорелся задорный огонек.)

Он меня расспрашивал о Советском Союзе. Потом сказал: «Я верю, что вы быстро восстановите экономику. Я вообще верю в Россию. Скажите, вы часто встречаетесь со Сталиным?» Я ответил, что ни разу с ним не разговаривал. «Жалко - мне хотелось бы узнать о нем как о человеке. Один коммунист мне говорил, что я отстал - преувеличиваю роль личности. Конечно, я не марксист, но я знаю, что мир существует вне субъективных оценок личности. И все же личность играет крупнейшую роль... Я куда лучше представляю себе Ленина - читал о нем, видел людей, которые с ним встречались. Он вызывает к себе уважение - не только как политик, но и как человек с высокими моральными критериями...»

Еще записана одна фраза - не могу вспомнить, в каком месте разговора он это сказал: «На меня очень большое впечатление произвели «Братья Карамазовы». Это одна из тех книг, которые разбивают механические представления о внутреннем мире человека, о границах добра и зла...»

Прощаясь, он сказал: «Главное теперь - не допустить атомную катастрофу... Хорошо, что вы приехали в Америку, пусть побольше русских приезжают, рассказывают... Человечество должно оказаться

умнее, чем Эпиметей, который раскрыл ящик Пандоры, а закрыть его не смог... До свидания! Приезжайте снова...»

Десять дней спустя я услышал по радио знакомый голос: Эйнштейн говорил о с мергельной опасности, нависшей над человечеством,- необходимо договориться с русскими, отказаться от атомного оружия, не вооружаться, а разоружаться - он хотел захлопнуть ящик Пандоры.

Я слушал и вспоминал маленький серый дом с зелеными ставнями, книги, рукописи, прожженные трубки, все казалось заброшенным, как будто хозяин уже ушел из привычного уюта в мир, который безграничен. Вспоминал я старого человека с ручкой за воротником, со светящимися глазами, с космами белых волос, которые трепал весенний ветер.

Это было в Нью-Йорке в начале моего знакомства с Америкой. В полутемной мастерской и примерял брюки, когда меня вдруг ослепила вспышка лампочки. Фоторепортер бубнил, что хотел снять меня на улице, а примерку снял ради шутки, мне на память, конечно, эта фотография не будет опубликована; и, конечно же, на следующий день я ее увидел в одной из вечерних газет. Журналист сообщал, что Эренбург отказался от застешки «молния», предпочитая ей традиционные пуговицы. Вместо того чтобы посмеяться, я рассердился и, встретив редактора несколько дней спустя, спросил его, почему он напечатал столь игривую фотографию,- я ведь не кинозвезда, а пожилой мужчина. «У нас существует интерес к человеку»,- объяснил мне редактор. «Но почему к его нижней половине?...» Он удивленно посмотрел, потом захохотал: «Здорово! У вас чисто американский юмор. Завтра это пойдет в номер...»

Вначале меня удивлял характер многих американских газет; потом я привык и перестал обращать внимание. Беспокоило меня другое первые признаки того, что год спустя было окрещено «холодной войной».

Помню, в Ноксвилле, просматривая местную газету, я вдруг остолбенел: прочитал, что в псалме сто девятнадцатом говорится о Мосохе, где живут люди, ненавидящие мир, и что пророк Иезекииль указывал, что в Мешехе люди поклоняются идолу Гогу, а Мосох и Мешех не что иное, как Москва. Конечно, Ноксвилл - небольшой провинциальный город, можно было бы посмеяться над глупостью и кликушеством. Но на следующий день я разговаривал с одним фермером, очень гостеприимным, и он сказал мне: «Вот беда - только отвоевали и снова придется воевать, теперь уж не с немцами, а с русскими...» Сказал он это без задора, даже без неприязни, скорее печально. Подобные рассуждения я слышал не раз, хотя еще продолжался Нюрнбергский процесс и в первую годовщину победы над Гитлером многие вспоминали, что русские были союзниками. Людей сбивали с толку сенсационные телеграммы. Вдруг газетчики выкрикивают: «Красные танки идут на Тегеран...» Опровержений

никто не помнил, помнили страх. Я спрашивал людей, разбиравшихся в иностранной политике: почему они считают третью мировую войну неизбежной? Они не ссылались на Библию, а говорили: «Русские собираются захватить Персию... Россия в ближайшие месяцы нападет на Турцию... Москва претендует на Грецию... Красные грозят начать войну, если Тито не получит Триеста...»

Мы пробыли в Америке два с половиной месяца, и за этот короткий срок многое изменилось: газеты все чаще выказывали неприязнь, люди, с которыми мы встречались, стали настороженнее. Конечно, это было самое начало «холодной войны». Еще можно было надеяться, что вчерашние союзники договорятся. Я встречался с политическими деятелями, пытавшимися отстоять линию Рузвельта, с бывшим вице-президентом Уоллесом, с бывшим послом Дэвисом, с парламентариями Пеппсром, Коффэ, Томасом. Они выступали вместе с нами на больших митингах или на встречах. В Мэдисон-сквер пришли двадцать тысяч американцев; выступали и посол Громько, и мы трое, и Дэвис. Я видел в масляной полутьме огромного зала дружеские улыбки.

Все же настроение рядовых американцев менялось на глазах. Меня поразила фантазия журналистов из газет, принадлежавших Херсту: они писали небылицы о нас, хотя мы были рядом. Многие газеты уверяли, что я путешествую под наблюдением сопровождающего меня агента ГПУ, и милейший Билл Бенедиктович смеялся, когда я представлял его: «Тайный агент красной полиции, сотрудник Государственного департамента мистер Нельсон». Я приехал с Симоновым в Бостон, ехали мы ночь, на вокзале нас встретил член Совета американо-советской дружбы. Накинулись репортеры; мы отвечали; наконец член Совета сказал: «Дайте им позавтракать, передохнуть»... Вечерняя газета вышла с крупным заголовком: «Русский консул запретил советским писателям разговаривать с представителями прессы». Я спросил редактора, почему он печатает в своей газете бессмыслицу - ведь в Бостоне нет советского консула. Он ответил, что произошло недоразумение: говорили «каунсел» (совет), а репортеру послышалось «кенсел» (консул). Может быть, так и было на самом деле, а может быть, и не так: я не раз замечал, что, когда в дело замешана политика,

недоразумении объясняются разумением и бессмыслицы полны смысла.

Херстовские газеты меня называли «замаскированным агитатором», «товарищем циником», «Ильей из Коминтерна». Это звучало почти академично. (Два года спустя те же газеты, говоря обо мне, прибегали к более ярким определениям, помню хорошо два из них: «кремлевский недоносок» и «наемный микроцефал».)

Один из друзей Рузвельта объяснил мне новую политику Америки: «Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед. Непримируемая политика Соединенных Штатов, испытания атомных бомб заставит Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники «твердого» курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям».

Два месяца спустя после этой беседы Трумэн предложил министру торговли Уоллесу, защищавшему идею соглашения с Советским Союзом, выйти в отставку.

В Соединенных Штатах официальные лица были с нами вежливы, мы свободно разъезжали по стране, выступали на собраниях, и обижали нас только некоторые журналисты, старавшиеся обогнать время. Мы увидели самое начало первого действия. В Канаде нам показали сцену из следующего акта. Мы хотели съездить в Мексику и на Кубу - нас туда приглашали, но из Москвы пришла телеграмма: нам советовали принять приглашение канадско-советского общества дружбы - выступить в Торонто и Монреале; пришлось согласиться.

Еще в Нью-Йорке ко мне пришел канадский дипломат и предложил после Монреаля посетить Оттаву, где мы будем гостями канадского правительства. Улыбаясь, как и подобает дипломату, он сказал, что в Оттаве мы сможем отдохнуть: гости правительства должны воздерживаться от публичных выступлений.

Переехав границу, мы сразу поняли, какой именно отдых нам предстоит. Как раз в те дни происходил суд над канадцами, которых обвиняли в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Главным свидетелем обвинения был бывший сотрудник посольства Гузенко -

его соблазнили деньгами, перспективой комфортабельной жизни. На процессе он был звездой, носил панцирь под пиджаком, газеты восхищались его отвагой. Поскольку шпионажем занимаются все государства, большие и малые, обычно такого рода дела разбираются без излишнего шума, газеты сообщают, что задержанные липа «работали в пользу одной иностранной державы». На этот раз канадское правительство (вряд ли по своей воле) подняло ожесточенную кампанию против Советского Союза. Газеты ежедневно писали о «красной опасности». В Оттаве вокруг посольства толпились штатные единицы или добровольцы, поносившие Москву. Атмосфера, таким образом, была не совсем подходящей для мирного знакомства со страной.

Помню первый вечер в Торонто. Нас пригласил на ужин владелец крупной газеты, сказал, что хочет побеседовать, как укрепить культурные связи, установить взаимопонимание. В тот же вечер должен был состояться ужин «Комитета помощи России в войне», и мне пришлось на него пойти. Владельцу газеты я сказал, что после ужина приеду на часок. Ужин прошел нормально - с деревянным молотком председателя, с благородными речами, с чеками и с аплодисментами. Я уже знал программу и старательно исполнял порученную мне роль. Владелец газеты жил за городом в доме, окруженном прекрасным садом. Войдя в столовую, я сразу почувствовал что-то неладное. Галактионов сидел неподвижно, поджав губы, а Симонов делал вид, будто рассматривает гравюры на стенах. Мое появление, видимо, прервало разговор. Принесли кофе, я не успел взять чашку, как хозяин, повернувшись к Михаилу Романовичу, сказал: «Таким образом, вы должны понять, что канадцы не без основания видят в каждом советском посетителе разведчика...» Я встал, сказал, что устал, хочу спать. Хозяин понял, что хватил через край, и начал говорить, что любит Россию, рад нашему приезду. Мы постояли минут десять и ушли.

Начались пресс-конференции. Напрасно канадцы из Общества дружбы пытались унять журналистов. Напрасно мы говорили о жизни и культуре советского народа. Нам задавали вопросы о шпионаже, о военных приготовлениях Кремля, о предстоящей войне. На первой пресс-конференции я сказал: «Мне нравятся страна, народ, но меня удивляют две вещи. Почему у вас журналисты только и говорят что о

новой войне? Неужели вас не интересует, как мы живем, как воевали, как восстанавливаем разрушенные города? И второй вопрос: по конституции Канада - двуязычная страна, а на границе не понимают, когда говоришь по-французски, на почте тоже, да и среди журналистов - я вижу по лицам - большинство меня не понимает».

Мои слова были медом для французской печати Монреаля и Квебека. Газеты, выходящие на французском языке, крупным шрифтом оповестили своих читателей: «Эренбург считает, что в Канаде слишком много говорят о войне и слишком мало говорят по-французски». Это предопределило относительно благожелательное отношение к нам французских газет, в своем большинстве крайне правых.

В первые дни мы не отвечали на вопросы, связанные с процессом. Некоторые газеты обвинили нас в трусости. Когда на ужине прессы Канадского легиона в десятый раз поставили тот же вопрос, я счел невозможным отмалчиваться. У меня сохранился номер «Ля патри», где напечатан мой ответ: «Советское правительство заявило, что оно думает по этому поводу. Я вам скажу, что думаю об этом я - один из советских граждан. В деле есть юридическая сторона, ее я не собираюсь касаться. Есть в нем и политическая сторона. Я видел канадские войска в годы первой мировой войны. Они находились на одном из самых опасных секторов фронта. Это было почетным местом. То же самое можно сказать о месте канадцев во второй мировой войне - на Шельде. Мне кажется, что в словесной войне, объявленной Советскому Союзу, канадцев снова поставили на самое опасное место, но вряд ли его можно назвать почетным. Я не понимаю, почему Канада должна быть зачинщицей? Думаю, что нам лучше договориться и дружить».

Разумеется, газеты заговорили о моем вмешательстве во внутренние дела Канады. В Монреале власти нас предупредили, что лучше отменить митинг - готовятся беспорядки. М. Р. Галактионов по состоянию своего здоровья переживал происходящее особенно мучительно. Митинг все же не отменили. Я выступал по-французски, а в этом городе говорить без переводчика означало сразу подкупить собравшихся.

Я хотел поехать на один день в Квебек - посмотреть старый французский город, но представитель правительства мне сказал: «В

Квебеке нет ни одной свободной комнаты, где вы могли бы переночевать»...

Самым неприятным было наше пребывание в Оттаве. Нас окружали чиновники среднего калибра. День мы провели в нашем посольстве, там немного отдохнули, да и развеселили сотрудников, которые сидели, как в бесте. [Бест (перс.) - право убежища в помещении иностранных посольств.]

В последний день нас неожиданно пригласил к себе премьер. Мы решили, что к нему пойдут Галактионов и Симонов и скажут, что я прошу прощения - устал, плохо себя чувствую: меня ведь атаковали больше других. Премьер понял, что моя болезнь дипломатическая, и пытался снять с себя вину. Когда мы сели в самолет, я улыбался: слава богу, кончилось!... В Олбани самолет приземлился. Нас долго держали на поле, потом сказали, что погода нелетная, пассажирам заказаны билеты в поезде.

В Олбани мы провели несколько часов - без программы, без журналистов, без друзей. Это был обыкновенный провинциальный город Соединенных Штатов. По улице ходили молодые люди в новеньких костюмах и ярких галстуках. В барах на высоких табуретах сидели крикливые и в то же время молчаливые люди они не разговаривали друг с другом, а время от времени издавали резкие, скрипучие звуки - то заказывали «бурбон-сода», то ругались, то, осклабясь, восклицали «иесс». В витринах магазинов красотишки из пластмассы, залитые синим зловещим светом, напоминали о дешевизне летних платьев я о доступности десятиминутного счастья. Мы сидели в баре, бродили по улицам, приходили на вокзал и снова уходили: ждали поезда.

Я запомнил этот вечер в Олбани потому, что там я неожиданно разговорился с одним из посетителей бара. На вид ему было под пятьдесят; его медно-красное лицо сверкало от пота - вечер был жарким. Он прожил два года в Брюсселе и говорил по-французски. Он рассказал мне свою биографию: его отец был мелким плантатором в штате Небраска, он знал в детстве не нужду, но бедность. Отец поставил его на ноги - послал в коммерческое училище. Потом он начал работать в фирме санитарных приборов, придумал новый способ рекламы, получил премиальные, бросил службу, уехал в Сан-Франциско, открыл крохотную колбасную, быстро разбогател -

попался прекрасный мастер-венгр, убежавший из тюрьмы. Салями ему вскоре надоела, он перешел на страховку. Получил место в Бельгии, но европейская жизнь ему не понравилась. Он вернулся на родину и начал издавать в Канзасе финансовый листок. Его считали человеком энергичным, он шел в гору, женился. Вдруг разразился кризис, он обнищал, торговал в киоске горячими сосисками, подумывал о самоубийстве, особенно после того, как жена спуталась с начальником полиции. Но, в общем, все приходит и ухнет, кризис кончился, он приободрился, нашел компаньона и открыл в Кливленде бюро частного розыска, увлекся политикой - участвовал в предвыборной кампании, правда неудачно: агитировал за республиканцев, а прошел снова Рузвельт. Он вторично женился - на вдове, получил в придачу пасынка-шалопая, но и сбережения, купил небольшой завод, там делали сейфы, и вдруг - Пирл-Харбор, завод начал работать на военное ведомство, расширился. Тут произошла крупная неприятность - забраковали поставки, газеты, подкупленные конкурентом, требовали суда, пришлось потратить уйму денег на дорогих адвокатов^ все пировали, а он снова шел ко дну. Но жена вытащила сбережения, завод продали, он переехал в Олбани и занялся рекламами. Теперь дела идут хорошо, в его бюро одиннадцать служащих. Пасынок исправился, у него оказались способности - он изобрел машину для световых реклам, которые сообщают также биржевые курсы, политические новости, получил монополию на рекламы Гейнца, сигарет «кэмел», трех банков. Теперь ему предлагают стать во главе парижского отделения большой фирмы, а в бюро останется пасынок...

Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся: «Я не бельгиец, не француз и не русский, я настоящий американец. В мае мне исполнилось пятьдесят четыре года, для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я еще могу взобраться на вершину». Потом он начал философствовать: «Я ничего не имею против русских. Они здорово воевали. Наверно, они хорошие бизнесмены. Но я читал в «Таймсе», что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции, выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалованье. Это неслыханно скучно! Да если бы во время великой депрессии (так он называл кризис конца двадцатых годов)

мне сказали: дадим тебе приличное жалованье, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию,- я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно! Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются: там каждый молодой человек - духовный импотент...»

Подошел Симонов, сказал, что пора на вокзал.

В пульмановском вагоне было темно - все спали за занавесками. Я прошел в помещение возле уборной - там можно было курить, читать, пить содовую воду. Там я записал рассказ случайного собутыльника.

Неделю спустя в Бостоне мы сели на французский теплоход «Иль-де-Франс». До войны он считался роскошным, но потом служил для перевозки американских частей в Европу. Солдаты повсюду солдаты, и они привели нарядные залы, каюты в состояние, соответствовавшее их душевному разору.

В Бостоне была забастовка портовых рабочих. Багаж грузили «желтые», а багажа было много: Европа возвращалась в Европу. Кого только не было на «Иль-де-Франс»! Жюль Ромен (которого ждали звание академика, или, как говорят французы, «бессмертного», мундир, шпага) и румынская коммунистка, просидевшая в бухарестской тюрьме шесть лет, бельгиец, фабрикант сигар и чешский профессор. Ехали все в разоренную, голодную Европу, везли меховые манто и запасы кофе, стиральные машины и консервы. На палубе днем доносились обрывки фраз. Итальянский студент, горячась, кричал, что пора покончить с «проклятыми клерикалами». Старая аристократка из Пуатье вздыхала: «Зять написал, что во Франции пахнет революцией. Он считает, что Бидо - честнейший человек, но тряпка, допустил, что Торез теперь во дворце Матиньон. А партизаны припрятали оружие... Конечно, в Америке спокойнее, но я хочу умереть у себя дома...» Молодые спорили о книгах Сартра, о том, будет ли во Франции коммунизм, и о том, нужно ли восстанавливать разрушенные города такими, какими они были, или строить заново. Все были охвачены волнением перед встречей с родными, друзьями, с оставленной на несколько лет родиной. Не знаю, как выглядели пароходы, увозившие в Америку эмигрантов, но «Иль-де-Франс» увозил людей, не осевших в богатой и сытой Америке.

Люди волновались, а океан был спокойным. По ночам я часто сидел на верхней палубе - то записывал американские впечатления, то забирался в темноту и любовался водным простором. Я записал в одну из ночей мои мысли о путешествии и в записи вернулся к меднолицему американцу, которого встретил в Олбани: «В ранней молодости, когда я вошел в гимназическую организацию, я думал обо всем по брошюрам «Донской речи». Там было ясно сказано, что социализм прежде всего восторжествует в странах с концентрацией капитала, с передовой индустрией. Получилось наоборот: в горах Черногории люди кричат: «Белград - Москва!» - а в Америке капитализм переживает если не молодость, то «прекрасный возраст для мужчины», как говорил тот в Олбани. Он не случайный искатель приключений, а человек авантюристического мира. Все, что он ценит, для него не кончается, а начинается. С Америкой нужно договориться - революции там в ближайшие десятилетия не будет. Остановка за американцами. Они, в общем, мирные люди, но уж очень азартные...»

Я думал о том, что слышал в Канаде, думал с ужасом: тоже получилось не по программе - послевоенные годы начинают оборачиваться в предвоенные. Я хочу дописать роман о той буре, что улеглась. А люди, с которыми я спорил в Канаде, успели распрощаться с недавним прошлым - для них буря только-только начинается, ветер кружит столбы пыли...

Океан ворочался, как человек, которому снятся беспокойные сны, но для океана это было легким волнением. Конечно, шлюпку швыряло бы, а в баре «Иль-де-Франса» чуть позванивали стаканы. Ночи были по-июльски теплыми, с мотовством раскиданных на небе звезд. О чем я думал? Не помню... Наверное, о том, о чем думают все люди, оторванные на неделю от житейской лихорадки, среди воды, под звездами,- о прожитой жизни, о ненаписанных книгах, о том, что пора подводить итоги...

Помню только, что в одну из ночей ко мне подошел Галактионов. Он пожаловался на бессонницу, потом сказал, что наверху хорошо - морской воздух, звезды, и вдруг начал декламировать: «...И звезда с звездой говорит...» Он ушел, а я спустился в каюту. Мне хотелось писать стихи, но вместо этого я записал: «Мы в жизни разговаривали друг с другом очень редко, наверно, куда реже, чем звезда со звездой»...

Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В «Красной звезде» почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека; мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолгу с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям, иногда мне кажется, что это не мой порок, а нравы века: мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей, говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим - старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое.

Американские журналисты, увидев впервые Галактионова, называли его «старым солдатом» - обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе, звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня, а ему, когда мы были в Америке, не было и пятидесяти. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость, казалось, что он весь накрахмален - и щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы не беседовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать,- о мастерстве Чехова и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен, о старых постановках в Киевском театре Соловцова и об опасности механизации человека. Когда-то Галактионов учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком, как тогда пренебрежительно говорили, «прапором» или «фендриком». Хотя Галактионов в 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию и почти всю свою жизнь прослужил в ней, при разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску.

В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из «колумнистов», на

любую мелочь, которой Симонов или я даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно.

В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел сторбившись у стола, мне показалось, что он нездоров. Он ответил: «Все в порядке»,- и поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед Юнайтед Пресс. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил: «Каждый день встречаться с иностранцами... Это пытка!...»

Он честно выполнял порученную ему работу: выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя «холодная война» усиливалась, журналисты вели себя куда почтительнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему: «Я слышал, что у вас готовится история войны. Мы теперь заняты тем же, стараемся разобраться в наших неудачах на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например, Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал: «Разумеется, поскольку Красной Армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены». В другой раз журналист задал Галактионову вопрос о наших потерях: «Вы сказали - семь миллионов, входят ли в эту цифру военнопленные, погибшие в нацистских лагерях?» Генерал взволновался и попросил меня ответить.

В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель,- сказал он,- кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату № 6». Чуть ли не наизусть знаю, но, когда дохожу до сцены, как Никита выдаст доктору шутовской халат, не могу дальше читать... Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым. А здесь принесли мне его рассказы, не могу читать -

смешно, устарело. А вот до вашего прихода я читал «Человека в футляре»... Меня точность поражает - ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте: «Постное есть вредно, а скромное нельзя...» Или еще вот это место: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться...» В дверь постучали, Михаил Романович поспешно захлопнул книгу.

На моей совести грех,- сам того не подозревая, я способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное нью-йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание: стоило ему выйти на улицу - как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять, и никто на него не смотрел, даже рассмеялся: «Наверно, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена...» А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии, перед ним лежала газета, и он еле вымолвил: «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы!...» Нужно сказать, что «колумнисты» усиленно нами занимались: один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой, другой рассказывал, что я купил ящик дорогих гаванских сигар. И вот один из «колумнистов» написал: «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился... Мы не скажем куда». Михаил Романович был подавлен: «Вы понимаете, что это значит? А я только дошел до угла и вернулся. Да что тут говорить!...» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича - умная женщина, если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул: «При чем тут жена?... Я вам говорю: что там скажут?» Он показал на потолок. Я пытался его успокоить: мало ли писали вздора обо мне, Симонове, у нас знают стиль бульварных газет. Но он не успокоился: «Вам все сойдет - вы писатели. А я человек военный...» И вдруг не удержался: «Я слишком много пережил...» Сказал и быстро спохватился, заговорил о другом. Потом он мне рассказывал о своей молодости, о боях возле Самары, у Кронштадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям.

Теперь много пишут и еще больше говорят о жертвах «культы личности», вспоминают расстрелянных, погибших в лагерях. Михаил Романович никогда не был арестован; он только ждал ареста. Семена Гудзенко спасли после тяжелого ранения, а умер он десять лет спустя от давней контузии. Михаил Романович был контужен ударной волной «ежовщины». Только недавно я узнал, что скрывалось за случайно вырвавшимися словами «я слишком много пережил». Послужной список Галактионова похож на множество других. В партию он вступил в 1917 году, ему тогда было двадцать лет, пошел на фронт, остался в армии, подымался вверх, кончил военную академию, работал в оборонной группе Совнаркома. Разразилась гроза: арестовали его сослуживцев. Дивизионного комиссара Галактионова обвинили в том, что он был связан с «вредителями». В его шкафу нашли книги «врагов народа». Партийное собрание единогласно постановило исключить его из партии. Он лишился военного звания, работы. Ему повезло: полгода спустя его восстановили в партии, потом взяли на работу в «Красную звезду». А в 1943 году кто-то наверху вспомнил, что был такой скромный и старательный человек, и Галактионову присвоили звание генерал-майора, ввели в редакционную коллегию «Красной звезды», потом перевели в «Правду», послали в Америку. Все стало на свое место. Только человек был контужен: он помнил, как на собрании его называли «трусом», «подхалимом», «лицемером», как ночью он прислушивался к шуму на лестнице.

Поездка в Америку ускорила развязку. Михаил Романович был меньше всего подготовлен к трудным и сложным разговорам с американскими журналистами, за внешней вежливостью которых чувствовал неприязнь. Особенно мучительными были дни в Канаде. Я рассказал об обстановке. Я удивлялся, как спокойно держался при чужих Галактионов. Его травили, а он помнил, что не следует подливать масла в огонь, отвечал с достоинством, но, как всегда, учтиво, доброжелательно. На пароходе я сказал Симонову, что Михаил Романович душевно болен. Он пробыл, кажется, неделю в Париже, повеселел, ходил и книжные магазины; как-то мы просидели с ним часок в Люксембургском салу возле памятника Верлену. Он говорил о священных камнях Европы, о Герцене, о парижских рабочих. Я подумал: пройдет, человек жив... В 1947 году в «Правде» я

встретил Михаила Романовича. Он плохо выглядел, был очень мрачен. Я хотел его развеселить, вспомнил, как в вашингтонской гостинице мы врвались в чужие номера - не знали, что цифры те же, но есть «W» и «E» - «запад» и «восток», это походило на водевиль. Но он не улыбнулся, угрюмо сказал: «А я теперь на один этаж выше...» {потом я узнал, что он мучительно переживал перемещение - считал, что если его посадили дальше от кабинета П. Н. Поспелова, значит, ему больше не доверяют).

Конечно, психиатр объяснит все по-своему. Но теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь не тому, что Михаил Романович погиб от контузии, а тому, что многие из моих друзей и знакомых, да и я сам, выжили. В этой книге я рассказал, как покончили с собой писатели и художники, которых я знал: Есенин, Андрей Соболев, Маяковский, Паскин. Рене Кревель, Паоло Яшвили, Толлер, Марина Цветаева, Хемингуэй. Галактионов стихов не писал. Он опубликовал «Верден 1916 год», «Темп операции» и другие труды, в которых старался логично проанализировать различные военные операции. Он не был поэтом, он был честным и добрым человеком. А судьба в те годы не задумывалась на логикой. Игра была злой и зачастую нечестной. 5 апреля 1948 года Михаил Романович Галактионов кончил жизнь самоубийством.'

Я остановился в гостинице на левом берегу Сены, около бульвара Сен-Жермен; мне отвели мансардную комнату с балконом, откуда был виден Париж - черепица, трубы, старые дома, сбившиеся, как овцы, в смутное, серое стадо. Порой в сумерки я любовался знакомой мне картиной, порой ее не замечал.

Мне сказали, что Дениз приехала на несколько дней из Аннеси, где жила с сыном. Мы пошли в кафе «Фрегат» на берегу Сены, там мы иногда встречались пятнадцать лет назад. Она рассказывала про годы оккупации. Глаза ее по-прежнему казались лунатическими. Я спросил, не рассердилась ли она, что актриса Жаннет из «Падения Парижа» напоминает ее. Она ответила: «Мне об этом говорили. Я не стала читать...» В чернильной Сенс бились красные и зеленые круги.

Арагон и Эльза Юрьевна позвали Симонова и меня на «Чердак» - так называлось помещение Комитета писателей. Еще жила память о годах оккупации, спайка военного времени. Я увидел много старых знакомых - Элюара, Вильдрака, Кассу, Кокто, Авели на, Мартен-Шоффье, Полана, Сартра. Молодые, с которыми я встречался, обязательно заговаривали о Сартре,- видимо, он выражал беспокойство тех лет. Париж и вправду изменился: мало кто из писателей говорил о реализме, сюрреализме, персонализме - рассказывали о Соппротивлении, о книгах, выходивших в подполье, о неразберихе искали, где свои, вероятно, многие в громких и противоречивых событиях искали себя. Здесь мне хочется сказать хотя бы коротко об Арагоне. Познакомился я с ним в 1928 году, когда он был молодым, красивым сюрреалистом. На Монпарнасе много говорили и о его прекрасной книге «Парижский крестьянин», и о различных шумливых демонстрациях: задором сюрреалисты напоминали наших футуристов, Арагон был одним из самых боевых. Потом он стал сторонником реализма, коммунистом, создавал различные организации, редактировал журналы, газеты. Мы продолжали с ним встречаться и порой отчаянно спорили. В 1957 году Арагон возмутился нападением на меня одного критика в «Литературной газете» (это было после моего очерка о Стендале) и

выступил в «Леттр франсез» с ответом. В статье он, между прочим, писал: «Я привык, и уже говорил об этом, спорить с Ильей Эренбургом в течение тридцати лет. Мы расходимся во всем, кроме самого существенного - мира и социализма, войны и фашизма...» Может быть, я заговорил об Арагоне именно в этой главе потому, что в 1946 году «самое существенное» поглощало всех и мы с ним даже мало спорили. А в общем, Арагон прав: порой мне бывало с ним трудно, но ни разу наши споры не переходили в размолвку.

Не стану говорить о том, что всем известно: это большой поэт и большой прозаик; одни его книги мне близки, другие нет, но я сейчас не об этом хочу сказать. Он человек очень сложный, он часто меняет свои оценки, но справедливо сердится, когда пробуют противопоставить один его период другому,- он всегда оставался Арагоном. В нем есть одержимость, даже когда он пишет классическим стихом или посвящает страницы романа описанию одежды героя. Выбрав линию жизни, с начала тридцатых годов он защищал от врагов и то, что называл «самым существенным», и то, с чем по-человечески не мог примириться, защищал искренне и неистово. К «самому существенному» нужно добавить любовь к Франции: она органична и всепоглощающа - она продиктовала и его стихи в годы Сопротивления, и роман «Страстная неделя». Мне кажется, что он преемник Гюго, только нет у него ни внуков, ни уютной бороды, ни некоторых идиллических картин, которыми утешался Олимпо, а близок ему Арагон блистательностью, красноречием, неугомонностью, ясностью, гневом, романтикой реальности и реализмом романтического. Конечно, у Арагона куда больше горечи - на дворе другое столетие...

Помню, как я пришел к нему в начале 1963 года. Он расспрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных со стихией искусства. Потом мы замолкли. Я глядел на него и видел молодого сюрреалиста в баре «Купель». Вот только волосы побелели... Он принес рукопись своей новой книги и прочитал мне исступленное стихотворение о трагедии мавра, который говорит о своей вере, о том, как много горя причинил ему Коран.

А в 1946 году Арагон был веселым - еще свежей была победа. Приехала из Москвы Люба. Фотинский повел нас на Монпарнас. В кафе сидели незнакомые люди. Потом пришла Дуся, она, как когда-то,

смеялась, но рассказывала грустное - как пряталась при оккупации, как исчезали люди. Вишняков отправили в Освенцим. Замучили художника Федера, Когда Сутин заболел, хотели вызвать врача, но он испугался, что врач выдаст его немцам, и умер без медицинской помощи.

Андре Шамсон позвал нас к себе, он был директором музея Пти Пале. Мы ходили по пустым залам - музей был закрыт, и я долго стоял перед холстом Ватто; снова думал о непонятной силе искусства. Когда Ватто было двадцать лет, он считался художником жанра, писал бедствия войны в манере фламандцев; пять лет спустя он нашел себя - вот паяц, в котором все горе художника, да и трагедия внешне легкомысленного века, профессионал-комик, забывший про свое амплуа... Мы пошли к Марке. Он, как всегда, застенчиво улыбался, молча показывал пейзажи. Мы спорили о том, что будет с Францией; он молча глядел, может быть, на реку, а может быть, пытался разглядеть будущее.

Окна квартиры Пьера Кота тоже выходили на Сену. Вода никогда не надоедает, она течет, меняется, и, глядя на нее, можно говорить обо всем - о поэзии, о Бидо, о времени и о минуте. Пьер Кот объяснял мне, что правительственная коалиция недолговечна; предстоит междоусобица, неизвестно кто победит - Франция разорена, а деньги у Америки... Нас позвал к себе Эффель, печально дурачился, показывал новые карикатуры.

Ланжевен плохо выглядел, постарел, его чудесные глаза стали еще умнее, еще печальнее. (Я не знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев.) Он сказал мне: «Все было бесчеловечно, но, может быть, самое бесчеловечное впереди»...

Из Монбара приехала Шанталь. Мы попробовали вспомнить далекую молодость и сразу осеклись; говорили о холстах Боннара, о Лондоне, о мирной конференции (в Люксембургском дворце, где до войны заседали почтенные сенаторы, я увидел Вышинского - шли споры о мирном договоре с Италией). Шанталь меня спрашивала, как пишут советские художники, а я говорил про Касторное.

На набережной, как и полвека назад, на складных стульчиках сидели дряхлые букинисты, Только Вольтер исчез: немцы соблазнились - не усмешкой, а бронзой.

Я был с близкими мне людьми, с близкими и бесконечно далекими. Я знал нечто, о чем не мог им сказать, да и они пережили за шесть лет много такого, о чем не расскажешь ни за час, ни за месяц. Все меня спрашивали, изменился ли Париж, я отвечал «нет» - город тот же, но я теперь чувствовал себя чужим, прохожим, который хочет подглядеть в окно чужую жизнь. Я не мог, как прежде, принимать к сердцу то, что моим друзьям казалось близким и важным.

«Париж очень изменился,- сказал я Дениз и тотчас поправился: - Наверно, изменился я...»

Конечно, во Франции мне было куда легче, чем в Америке: французы понимали, что такое война. (В Нью-Йорке одна дама мне сказала, что американцы в годы войны тоже терпели лишения, она, например, с трудом достала белую рубашку для мужа, повсюду были только кремовые или голубые.) Во Франции было трудно с обувью; на улицах еще раздавалась чечетка деревянных подошв; в одном бретонском городе я видел, как, когда пошел дождь, девушки разулись, а туфли спрятали под плащи. Парижские модницы ходили без чулок и передвигались на велосипедах с большими авоськами, перекинутыми через плечо. В витринах дорогих магазинов были выставлены клипсы из керамики, платочки, расписанные изголодавшимися художниками, безделки из бумаги, глины, стекла. В винодельческих районах, где до войны кабатчик ополаскивал стакан вином, чтобы не идти к крану, рабочие за обедом пили воду. В фешенебельном курорте Ла-Боль развлекались богатые парижанки, американские военные, и тут же ютились жители разрушенного Сен-Назера. В Туре, пострадавшем от бомбежек, я увидел ряды унылых бараков. Говорили о том, что нет масла, пет мяса, скоро зима, а об угле нечего мечтать. Все было понятно, знакомо.

Те, что разбогатели за годы оккупации, успели отдышаться, нашли влиятельных защитников, пили аперитивы на Елисейских полях, загорали на пляжах. В Анже владелец ликерного завода мосье Куантро, показывая мне различные цеха, говорил: «Немцы очень ценили наши изделия»... Я часто слышал от богатых виноделов Анжу и Турени: «1942-й был замечательным!...» Они говорили о достоинствах вин - один год не похож на другой. Но я вспоминал Ржев, сожженную Старицу, голодных солдаток... Один критик мне рассказывал, что на премьерах немецкие офицеры восхищались

остроумием Кокто, Жироду, Салакру. В доме Анатоля Франса я увидел на стене размашистую подпись: «Здесь побывал солдат Клотцке».

Всего год прошел после окончания войны, а многие о прошлом не думали. Газеты писали о различных аферах то с вином, то с карточками на текстиль. Министром продовольствия назначили Ива Фаржа. Я его встретил 14 июля во время демонстрации, он сказал: «Я тоже был в Америке. Присутствовал при испытании бомбы в Бикини, там мне сообщили о назначении. Я не мог отказаться. Бикини - это грязная история. Я попробую что-то сделать. Но и здесь много грязи, слишком много...» Фарж объявил войну крупным мародерам, богатевшим на вине, мясе, хлебе. На своем посту он продержался всего четыре месяца - короли «черного рынка» оказались сильнее.

Все путалось - бывшие мюнхеицы, коллаборационисты, вчерашние партизаны. На фасадах старых церквей, школ, рынков, тюрем красовались «да» или «нет», выведенные краской, дегтем, мелом, - ответы на референдум.

Передо мной фотография - президиум собрания, где я выступал, а Симонов читал стихи. За длинным столом - Эррио, премьер Бидо, Торез, Ланжвен, посол Богомолов,

Торез жил во дворце Матиньон; как-то он позвал нас ужинать. Сановитый привратник оглядел нас, и в этом взгляде сказала неприязнь: конечно, Торез был заместителем премьера, но для привратника он оставался подозрительным заговорщиком.

Я был в Париже во время очередного референдума. За два года французов в седьмой раз приглашали к урнам; многим это надоело, и процент непроголосовавших был высок. Де Голль предложил отвергнуть текст новой конституции. В «Известиях» за октябрь 1946 года я нашел мою статью о Франции, в ней я писал: «Де Голль - человек, перенесенный из 17 века в 20-й. Он вовремя понял значение моторов в войне, но значение тех, кто изготавливает моторы, осталось для него скрытым. Может быть, он считает себя новой Орлеанской девицей, призванной спасти Францию? Люди, которые несколько лет тому назад кричали, что де Голль «изменник», «террорист», «коммунист», теперь кричат: «Вся власть де Голлю!» (события разворачивались быстро, и жизнь газетной статьи эфемерна; но вот прошло 16 лет, и сегодня я мог бы написать о де Голле то же самое).

Новая конституция была одобрена незначительным большинством: Пьер Кот был прав - я увидел Францию, расколовшуюся на две половины. Впрочем, это началось давно - еще в середине тридцатых годов: рабочие были недостаточно сильны, чтобы взять в свои руки власть, и достаточно сильны, чтобы правящий класс жил в постоянной тревоге. Этим неустойчивым равновесием в значительной степени объясняются события 1938-1940 годов. Скрытая гражданская война продолжалась и в то время, о котором я рассказываю.

Мы провели несколько недель в Рошфор-сюр-Луар, где нас приютил владелец аптеки поэт Жан Буйе. Я увидел, как отражаются политические события на буднях крохотного городка. Некоторые набожные католички за лекарствами ездили в Анже, чтобы не поощрять аптекаря, слывшего «красным». Я хотел зайти в кафе, но Буйе меня остановил: «Этот кабатчик «сотрудничал»...» Детям католиков родители запрещали играть с детьми безбожников. Мэром оставался тот же человек, что был мэром при немцах,- крупный землевладелец и торговец вином: большинство голосовало за правых. А меньшинство открыто обличало вчерашних коллаборационистов.

Я много бродил по окрестным холмам. Кругом были виноградники, луга, старые вязы или тополя, островки на широкой Луаре, глубокий мир августа. Впервые за много лет я отдыхал, старался ни о чем не думать. Но стоило заглянуть в деревушку, посидеть в полутемном кабачке, где крестьяне рассуждали о том, о сем, как мне передавалось общее беспокойство, духота слитком долго собиравшейся, но так и не разразившейся грозы.

В другом городке, который славится вином, Вуврэ, в пещерах - погреба, там зимой не холодно, а летом не жарко. Вуврэ, как Франция, распался на две почти равные половины. Зажиточный винодел говорил: «Зачем ломать горшки? Коммунисты не крестьяне, а пришлые... Мое богатство оплачено потом трех поколений». Дочь другого винодела Бедуар была коммунисткой, кандидатом партии на выборах в Учредительное собрание. Ее муж прежде работал в Париже. Мы разговаривали с его старым отцом, он говорил: «Мой отец был коммунар»... А двенадцатилетняя дочка Бедуаров могла побить профессиональных дегустаторов: в точности определяла год вина и откуда оно - с холма или с участка возле кладбища.

В Лимузене я познакомился со многими участниками маки. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках - в моей голове рождались многие герои «Бури»: Деде, Мики, Медведь. Я услышал песню: «Свисти, свисти, товарищ...»

Я побывал в Орадуре. Жителей этого городка гитлеровцы собрали в церкви, детей - в школе и сожгли. Уцелели те, что работали в поле. На обгоревших стенах еще виднелись вывески кабачков, рекламы шоколада Менье. При въезде в город плакат предупреждал: «Тише!» развалины стали реликвиями. А рядом строили новый Орадур, и его мэр был коммунистом.

Марсель Кашен предложил мне поехать с ним в городок Эймутье - там праздновали пятидесятилетие боевой деятельности старого коммуниста Фрезье. Кашен вспоминал: «Я выступал в Эймутье сорок лет назад, помню, на собрание пришли трое. А сейчас здесь не меньше двух тысяч...» Потом обедали, сидя на длинных скамьях. Кашен мне говорил, что теперь Советский Союз - победитель, он сможет спокойно восстанавливать города; расцветет культура; никогда американцы не посмеют напасть - Западная Европа восстанет. Потом он спросил. правда ли, что в Москве закрыли Музей западной живописи: «Я там несколько раз был - чудесная коллекция. Особенно наших импрессионистов...» Я знал, как Кашен восхищается холстами своего друга Синьяка, и вместо ответа заговорил о только что открывшейся в Париже выставке картин, похищенных гитлеровцами и вернувшихся во Францию,- там были прекрасные пейзажи Синьяка.

В Дордони можно было дешево купить полуразвалившиеся усадьбы. Одну из них приобрел художник Люрса, коммунист. Он мне рассказывал, что к нему пришли крестьяне, и старик сказал: «Товарищ помещик, ты как раз вовремя приехал - мы решили создать парторганизацию...»

Отдыхать мне пришлось недолго. «Известия» торопили с очерками об Америке, о Франции. Общество дружбы «Франция - Советский Союз» просило поехать по стране. Я выступал на больших собраниях в Лионе, Сен-Этьене, Лиможе. Приходилось выстаивать на различных приемах - в мэриях, в отделениях Общества дружбы, в союзах журналистов, говорить по радио, отвечать на сотни вопросов. В Лиможе я ночевал в префектуре в парадной комнате, где останавливались министры. В Лионе автор «Клошмерля» Шевалье

хотел, чтобы я ему объяснил, чем страшен Зоценко. Скульптор Саландр просил рассказать о наших памятниках. В Лион приехал летчик «Нормандии» Жоффри, с ним я отдохнул, он вспоминал Минск, генерала Захарова, советских механиков - все стояло на своем месте: отвага, могилы, дружба.

Хрупкая антигитлеровская коалиция официально еще держалась; я часто слышал, что она скреплена кровью и что нет цемента прочнее. Человеку всегда хочется верить в лучшее. А история зачастую пренебрегает не только логикой, но и тем, что мы называем совестью.

Несколько раз я заходил в Люксембургский дворец на мирную конференцию. Протекала она отнюдь не мирно. Недавние союзники обвиняли друг друга в коварстве. Особенно резко выступал австралиец Эватт. В глазах журналистов он вскоре стал «звездой» - знали, что стоит ему взять слово, как произойдет скандал, и в буфете для прессы оставляли недопитыми чашки кофе, когда кто-нибудь сообщал: «Сейчас выступит Эватт...»

Я на себе почувствовал, что такое «холодная война». Когда я остановился в Париже по дороге в Америку, газеты писали обо мне приветливо или по меньшей мере вежливо. Это было ранней весной. А поздним летом и осенью многие газеты начали меня ругать. Одна уверяла, что я подкуплен - у меня в Москве квартира из десяти комнат, вилла в Крыму, даже охотничий павильон в Белоруссии. Другая писала, что я злоупотребляю исконным гостеприимством Франции, хочу восстановить французов против американцев, уверяю, будто негры в Соединенных Штатах лишены свободы, наверно, мне поставят памятник в Черной Африке, но из Франции мне лучше убраться. Третья, вдруг припомнив далекое прошлое, требовала, чтобы я вернул французским держателям царских займов «украденные у них деньги». В Лионе продавцы газет, желая сбыть местную вечерку, залихватски кричали: «Москва готовится оккупировать Францию!» В Нанте какие-то подростки разграбили дорогой ресторан; одна из местных газет уверяла, что у преступников найдены русско-французские словари; в очередном интервью меня ехидно спросили, не был ли я часом в Нанте.

Коммунистическая партия была самой сильной во Франции. Неустойчивое равновесие сохранялось: «холодная война» шла в любом французском городе. Пьер Кот говорил: «Исход неизвестен...»

Человеку не хочется огорчать себя, и мне казалось, что все так или иначе наладится. Стояла чудесная осень, в октябре цвели розы. Люди улыбались - характер у французов легкий, они способны утешиться хорошей погодой, шуткой, миловидной женщиной, прошедшей мимо.

Я зашел к Жан-Ришару Блоку в редакцию «Се суар». Он предложил пойти в соседнее кафе, выпить стаканчик вина. Излагал свои надежды: социалисты не смогут порвать с коммунистами, а за этими двумя партиями большинство - и в парламенте, и в стране. Потом он заговорил о Москве и вдруг вынул записную книжку: «Переведите». Я прочитал записанную латинскими буквами русскую поговорку «перемелется - мука будет». Перевести было нелегко, но я перевел и шутя добавил: «У нас иногда говорят вместо «мукА» - «мУка»...» Он сердито посмотрел: «МУка - когда мелют. А когда перемелют - должна быть мукА».

В крохотной, хорошо мне знакомой квартире на улице Суридьер, где жили Арагоны, я увидел чудесные рисунки Матисса. Арагон рассказал, что в 1942 году часто встречался с Матиссом в Ницце, где художник всегда живет, а теперь он в Париже - работает над картонами для ковров. От Арагона я узнал, что в 1941 году Матисса оперировали - вырезали желудок, он вынужден работать в кровати, а когда встает на несколько часов, надевает на себя корсет.

В сентябре Арагон сказал мне, что Матисс хочет, чтобы я ему позировал. Дом, в котором он жил, находился почти напротив гостиницы «Ницца», где прошла моя молодость. На стенах обыкновенной спальни висели картоны с приколотыми кусками цветной бумаги. Я увидел лицо, хорошо мне знакомое по многим фотографиям, но, когда он снял очки, меня удивили светлые голубые глаза.

Когда я познакомился с Пикассо, Леже, Модильяни, я был зеленым юношей, да и они были всего на восемь - десять лет старше меня. В те времена я восхищенно глядел на холсты Матисса, но художника я увидел впервые, когда ему было семьдесят семь лет.

Он поздно начал. Пикассо в четырнадцать лет рисовал, как опытный мастер; а Матисс учился юриспруденции, работал в нотариальной конторе. Когда ему было двадцать лет, после операции аппендицита он со скуки начал перерисовывать картинки. Великий мастер Возрождения Мазаччо умер в возрасте двадцати семи лет, столько же было Рафаэлю, когда он закончил свои знаменитые «станцы». Пикассо успел до двадцати семи лет написать холсты «голубого периода», «розового», «Авиньонских девушек» и пришел к кубизму. А умри Матисс в двадцать семь лет, от него остались бы только ученические работы, помеченные талантом.

Я позировал Матиссу три раза. Во время первого сеанса он мне рассказал: «Когда меня понесли на операционный стол, я про себя простился с жизнью. Случилось чудо - судьба мне подарила вторую жизнь. Надбавку... И, знаете, я теперь особенно остро радуюсь всему людям, деревьям, краскам...»

Над кроватью висели картонные диски с черным кружком, продырявленным пулей. Матисс объяснил, что иногда отправляется в тир, хотя это ему трудно: «В моем ремесле очень важно сохранить хорошее зрение и твердость руки. Проверяю...»

За три сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около пятнадцати рисунков, два подарил мне и под лицом красивого Юноши, чуть улыбаясь, надписал: «По Эренбургу». Не знаю, следует ли назвать эти рисунки портретами. Он говорил, что не может писать или рисовать иначе, чем с натуры. Я видел, что, рисуя, он всматривается в мое лицо. Во всех рисунках было нечто общее: «Таким я вас представляю»... В другой раз, показав мне рисунок, Матисс сказал: «Это - голова, глаза, рот плюс то, что я о вас знаю...» Работая, он все время разговаривал, точнее, спрашивал, хотел, чтобы я говорил: «Это мне не мешает, а помогает». (А он рассказывал многое, отдыхая между двумя рисунками.) В конце последнего сеанса он сказал, что теперь знает мое лицо, знает и меня, но тотчас поправился: «Лучше сказать: вижу и чувствую». Когда я спросил его, почему он привязан к натуре, он улыбнулся: «Я всю жизнь учился и теперь учусь расшифровывать иероглифы природы...»

Меня поразила точность линии - рука не колебалась. (Потом я увидел документальный фильм о Матиссе, там применен способ замедленного показа, видно, как точно художник проводит линию.) Я сказал ему, что меня поражает уверенность рисунка. Он покачал головой: «Конечно, за шестьдесят лет кое-чему я научился. Далеко не всему... Помню, я читал книгу о Хокусаи, он прожил девяносто лет и незадолго до смерти признался ученикам, что продолжает учиться... Никакой уверенности у меня нет. Поэты прежде любили говорить о вдохновении. А мы говорим: «Сегодня хорошо работается». Это связано с внутренним состоянием: иногда чувствуешь - значит видишь, а иногда не выходит... Сколько в моей жизни я уничтожил рисунков, сколько раз закрашивал неудавшийся холст!...»

Во время последнего сеанса он много говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, Л. С. Делекторскую, которая помогала ему в работе над картонами: «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную,- скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» - спросил Матисс. Я ответил: «Очень».- «И вам ничто не мешает?» - «Нет».- «Мне тоже.

Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра: «Почему у слона подняты вверх бивни? Хобот слон может поднять, а бивни - зубы, они не двигаются». Негр послушался...» Матисс снова позвонил: «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продают в универмагах Европы: «Бивни на месте. Но искусство кончилось».

Тогда же он начал говорить об истоках современной живописи: «Арагон считает, что все началось с Курбе. Может быть. Может быть, позднее - с Мане. А может быть, и куда раньше. Дело не в этом. Знаете, кому многим обязана современная живопись? Дагеру, Ньепсу. После изобретения фотографии отпала нужда в описательной живописи. Как бы ни пытался художник быть объективным, он пасует перед фотообъективом. Для того чтобы судить, каким был Энгр, я должен посмотреть его автопортрет, портреты Давида, других художников, каждый из них расходится с другими, и я не знаю, какой рот был у Энгра. А Гюго я знаю по дагерротипам, по фотографиям. Глаз и рука художника подчинены его эмоциям. Я изучал анатомию, если мне захочется узнать, каковы породы слонов, я попрошу фотографии. А мы, художники, знаем, что бивни могут подниматься...»

Он много курил, на кровати лежали пачки различных сигарет - французских, египетских, английских. «Моя жидкая пища однообразна и ничего не говорит небу. Различный вкус сигарет - это то чувственное наслаждение, которое мне оставил и, беру одну, потом другую. Ну и глаза... Никогда прежде я так не радовался цветку или красивой женщине...»

Я пришел к нему в последний раз 8 октября. Он вырезывал арабески для ковра. Ножницы столь же уверенно проводили линию, как уголь или карандаш. Картоны для двух ковров «Полинезия» были почти закончены. (Много позднее я увидел его картины, сделанные с помощью цветной бумаги - он не мог сидеть у мольберта, а его преследовали живописные замыслы. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет и до конца продолжал работать. Из личной беды он создал новую возможность, и, глядя на картины с наклеенными кусками бумаги, забываешь о человеке, прикованном к кровати, видишь крылья творчества.)

Матисс расспрашивал меня о Москве. «Я там был ровно тридцать пять лет назад в октябре тысяча девятьсот одиннадцатого,- меня пригласил Щукин... Я пробыл недолго. Увидел Рублева. Это, может быть, самое значительное в мировой живописи... В Москве я кое-что понял, почувствовал... Я не разбираюсь в политике, но не скрываю моей симпатии к вашей стране. Наверно, в организации общества необходим разум, как в композиции картины. Удивительно, что русские это поняли первыми, ведь когда я был в Москве, мне казалось, что русские в будничной жизни обожают беспорядок...»

(Матисс всегда чуждался политики, однако после начала «холодной войны» он начал говорить, что некоторые люди на Западе потеряли рассудок, что необходимо снасти мир. В 1947 году я написал для «Литературной газеты» статью о борьбе за мир. В ней были такие строки: «Не случайно среди коммунистов или друзей Советского Союза мы видим крупнейших ученых Франции - покойного Ланжевена и Жолио-Кюри, крупнейших ее художников - Пикассо и Матисса, крупнейших ее поэтов - Арагона и Элюара». Арагон получил французский перевод статьи и опубликовал его в «Леттр франсез». А несколько дней спустя в Париж пришел номер «Литературной газеты», и антисоветская печать с восторгом поместила примечание: «Редакция считает неправильным, что тов. И. Эренбург обходит молчанием вопрос о формалистско-декадентском направлении творчества Пикассо и Матисса». Друзья мне рассказывали, что Матисс, прочитав об этой истории, рассмеялся. В 1948 году он послал приветствие Вроцлаве кому конгрессу, а в 1950 году подписал Стокгольмское воззвание.)

Редко я встречал человека, который и внешностью, и складом ума был бы настолько выраженным французом, как Матисс. Больше всего он любил ясность. Конечно, с точки зрения художника, стремящегося состязаться с фотографом, его творчество изобилует деформацией предметов, мне же оно кажется не только реалистическим, но и освещенным сознанием потомственного картезианца.

Он рассказывал о русских коллекционерах: «Щукин начал покупать мои вещи в тысяча девятьсот шестом году. Тогда во Франции меня мало кто знал. Гертруда Стайн, Самба, кажется, всё... Говорят, что есть художники глаза которых никогда не ошибаются. Вот такими глазами обладал Щукин, хотя он был не художником, а купцом. Всегда

он выбирал лучшее. Иногда мне было жалко расстаться с холстом, я говорил: «Это у меня не вышло, сейчас я вам покажу другие...» Он глядел и в конце концов говорил: «Беру тот, что не вышел». Морозов был куда покладистее - брал все, что художники ему предлагали. Мне рассказывали, что в Москве теперь чудесный музей новой западной живописи...»

«Лидия, принесите портрет Щукина»... Я увидел прекрасный холст раннего Матисса. Он сказал: «Его много раз хотели купить, но я не продавал. По-моему, его место в Москве, в Музее западной живописи. Если вас это не затруднит, возьмите с собой, передайте в музей, как мой дар». Я знал, что Музей западной живописи закрыт, холсты Матисса хранятся в фондах. Куда я его отвезу?... Я сказал Матиссу, что возьму портрет в следующий раз,-наверно, скоро снова приеду в Париж. Потом я упрекал себя - нужно было взять и сохранить у себя, теперь бы он висел в Эрмитаже или о Музее Пушкина. Но такого рода мысли французы называют «сообразительностью на лестнице», а русские говорят: «Крепок задним умом».

Матисс упомянул в разговоре, что в годы оккупации делал рисунки к стихам Ронсара. Я рассказал, как нашел в Восточной Пруссии первое издание Ронсара, сказал и про то, как тяжело было читать стихи о радости среди могил и развалин. Матисс ответил: «Я вас понимаю... Я думаю, что поэт похож на художника. А живопись живет любовью к жизни, восхищением жизнью и ничем иным. Можно обладать гением, но, если художник но в ладах с жизнью, он заставит людей спорить о нем, превозносить его, но никого не обрадует...»

Матисс родился на севере Франции, но почти сорок лет прожил и проработал в Ницце, там и умер - влюбился в цвета юга. Что он писал? Молодых женщин в ярких платьях, в пестрых шляхах, пальмы, анемоны, птиц, золотых рыбок, кактусы, зеленые жалюзи, раковины, апельсины, причудливые тыквы, море, большие кувшины, небо, танцы,- он знал земное, телесное счастье и умел этим счастьем поделиться. А когда мне выпала удача и я увидел творца радостного ослепительного мира, передо мной оказался старый человек, которого страшная болезнь пыталась придавить и который продолжал работать - мудро, Скажу не страшась, что слово может резнуть,- весело.

Для меня тогда только начинался вечер жизни, встреча с Матиссом была и радостью и уроком.

В последней части этой книги еще меньше, чем и предшествующих, я буду придерживаться хронологической последовательности. Описывать события ни к чему они у всех в памяти. Картины Москвы моего детства, «Ротонда», кафе, где «ничевоки» провозглашали конец мира, для большинства читателей неизвестны, но вряд ли стоит перечислять все эпизоды «холодной войны» или описывать все конгрессы сторонников мира. Да и пора бы, дойдя до послевоенных лет, попытаться попятить время, себя. Но объяснить нес, что я ни дел и пережил, мне не под силу. Конечно, лестно выглядеть в глазах читателей человеком, взобравшимся на гору, откуда все. как на ладони. Но я не хочу лгать. Раньше я не раз говорил о том, как ошибался, заглядывая в будущее, это не могло никого удивить: я ведь не выдавал себя ни за пророка, ни за гадалку. Теперь приходится признаться и в другом: задумываясь над прожитым, я вижу, до чего мало я знаю, а главное - из того, что знаю, далеко не все понимаю.

Чем ближе события, тем чаще я обрываю себя. Когда я писал в одной из предшествующих частей, что буду все реже и реже приподымать занавеску исповедальни, я думал о своей частной жизни - хотел предупредить, что если я мог рассказать про первую любовь гимназиста, то не стану исповедоваться в «кружении сердца» взрослого человека. А в последней части книги то и дело опускается не только занавеска исповедальни, но и занавес театра, на сцене которого разыгрывалась трагедия моих друзей, сверстников, соотечественников. Когда-то я бывал всюду младшим; из людей, описанных мною в первых частях, мало кто остался в живых. В послевоенные годы редко где я не был старшим, и почти все люди, с которыми я встречался, живы. Скажу и о событиях. У писателя есть своя внутренняя цензура, она хватается за ножницы не только когда речь идет о людях, но и когда вспоминаются детали некоторых событий, казалось бы, давно рассекреченных историей. Я ведь не чувствую себя гражданином в отставке, отшельником или хотя бы умиротворенным пенсионером. Описывая прошлое, я защищаю мои

сегодняшние идеи, пытаюсь перекинуть мостик в будущее. Есть, конечно, у меня недоброжелатели, но не так уж много я о них думаю. А вот у советского народа, у идей, которые мне близки, врагов хоть отбавляй, и на них я не могу смотреть с другой звезды или из другого века,- битва продолжается. Это тоже заставляет меня опустить некоторые детали; но, конечно, о самом главном я не хочу, да и не могу умолчать.

Наконец, меня ограничивает сознание, что где-то придется поставить черту - окончить книгу, следовательно, попытаться подвести итоги. Окончить я решил на том времени, когда писал «Оттепель». «Последнее сказанье», таким образом, написано не будет - я не старец Пимен, и эта книга меньше всего бесстрастная летопись. Как бы ни казалась лоскутной история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни выглядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а исповедь.

Возвратившись в Москву, я вернулся к «Буре» и окончил ее летом 1947 года. Писал я с утра до ночи, торопился, хотя знал, что именно работа над романом ограждает меня от горьких мыслей и что не скоро мне удастся снова сесть за книгу. Так и случилось. Но если я долго не решался начать роман, то, закончив его, еще дольше не мог освободиться от героев, продолжал с ними мысленно беседовать - не только потому, что автору всегда мучительно расстаться с теми из персонажей книги, которых он полюбил, но и потому, что память о войне не позволяла мне мириться со многим происходившим вокруг.

Иногда по вечерам я слушал наше и парижское радио. За то время, когда я писал «Бурю», мир успел измениться. Моя поездка за границу казалась давней буколичкой. Во Франции рабочие проиграли массовые забастовки, полиция стреляла в демонстрантов. В Америке крайние круги одержали верх. Я слышал новые слова: «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «превентивная война». Это было неправдоподобно и страшно: ведь не прошло и трех лет со дня общей победы, люди еще хорошо помнили огонь минометов, бомбежки, прожитые всеми жестокие годы. Я слушал по радио псевдоученые разговоры о необходимости «отстоять западную культуру от советской экспансии», слушал и возмущался. Один видный французский писатель заявил, что существует «атлантическая культура», его

выступление совпало с созданием Североатлантического союза. Все это слишком напоминало рассуждения гитлеровцев о превосходстве культуры, созданной «северной расой».

В ответах на военную пропаганду Запада мне порой в газетных статьях удавалось напомнить о некоторых вдоволь азбучных истинах, в те годы часто попиравшихся. В августе 1947 года я писал: «Культуру нельзя разделять на зоны, разрезать, как пирог, на куски. Отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то отнюдь не для того, чтобы принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века... Белинский сто лет назад писал, что европейские народы «нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных».

Западные газеты меня называли «беспечным шулером» и «остроумным циником» (знакомые слова). А у меня на сердце скребли кошки.

К. М. Симонов, с которым в то время я часто встречался, рассказал мне, что Сталин придает большое политическое значение борьбе против низкопоклонства перед Западом. Кампания ширилась. Как это часто бывало, некоторые сами по себе разумные мысли доводились до абсурда. Преклонение перед всем заграничным высмеивал еще Фонвизин - это очень старая болезнь: восхищались немецкой техникой, уверяли, что «немец луну сделал», и одновременно залихватски повторяли: «Русский немцу задал перцу». Я с детства видел приниженность и спесь настолько породнившимися,

что трудно было определить, где начинается одно и кончается другое. Часто, выслушивая наивные восхваления наших туристов, впервые оказавшихся за границей, я вспоминал созданную Мятлевым мадам де Курдкжофф. Комплекс неполноценности породил комплекс превосходства. В одном и том же номере газеты можно было найти высокомерное заверение, что наша агрономия первая в мире, и сообщение о том, что какому-то голландскому негоцианту понравился русский балет.

Достаточно заглянуть в Большую советскую энциклопедию, точнее, в ее тома, вышедшие до 1954 года, чтобы увидеть, к каким искажениям приводила кампания против низкопоклонства: о работах иностранных ученых говорилось бегло. Не лучше было и с историей искусства. Даже хозяйственники пытались проявить рвение, и сыр «камамбер» был переименован в «закусочный».

Некоторые люди на Западе занялись легким, зачастую невежественным зубоскальством. Один крупный романист на митинге иронически заявил, что русские говорят о каких-то заслугах никому не ведомого радиотехника Попова. (Заглянув теперь в маленькую энциклопедию Ларусса, я увидел: «Беспроволочный телеграф изобретен в 1895 году Поповым (Россия) и Маркони (Италия)».) В палате депутатов Бидо издевательски сказал: «Нам объявляют, что великие открытия сделал некто Ломоносов». Я ответил в «Правде»: «Мне отвратителен национализм, я не терплю людей, которые оскорбляют культуру другого народа. Возмущаясь поведением г. Бидо, я отстаиваю пиетет не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно к тому, что о них скажет некто Бидо».

Вернувшись из Америки, Симонов написал повесть «Дым отечества», в ней он хотел противопоставить сытым и самодовольным американцам душевные богатства жителей Смоленщины. На обсуждении «Дыма отечества» К. А. Федин и я говорили о достоинствах этого произведения. На Сталина, однако, повесть произвела другое впечатление. Не знаю, что его рассердило - попытка Симонова иметь собственные суждения или название повести, но только «Культура и жизнь» обругала «Дым отечества», а заодно Фебина и меня.

Прочитав письмо одного из моих французских друзей, который спрашивался о моем здоровье, я не сразу понял, в чем дело, а потом получил из нашего посольства кипу газетных вырезок - антисоветские газеты торжествующе сообщали о «новой расправе с советскими писателями»; одна даже спрашивала: «Интересно, отделается ли Эренбург Сибирью, или его ждет петля?»

Очередной жертвой стал молодой писатель Э. Г. Казакевич, только-только получивший премию за повесть «Звезда». Он написал повесть «Двое в степи», в которой рассказывал, как в страшные дни отступления юноша, впервые попавший под огонь, растерялся, не выполнил боевого задания и был приговорен к расстрелу. Его сторожил солдат-казак. Поскольку отступление продолжалось, казаку и приговоренному к смертной казни офицеру пришлось вместе пробиваться на восток. Заключенный и конвоир подружились. В повести хорошо обрисованы герои, процесс их сближения показан правдиво. Я считал (и считаю) «Двое в степи» одной из лучших книг о войне. Я об этом сказал на собрании, и у меня сохранилось письмо от Эммануила Генриховича: «Я взволнован вашим вниманием и горд вашей оценкой моей второй вещи». Казакевич стойко переживал нападки. Это был человек скромный, мягкий, но с большим мужеством, убеждения для него были выше успеха, и служение народу он никогда не менял на прислуживание.

Смерть еще меньше считается с логикой, чем история, слишком часто она замахивается косой на зеленую, невызревшую полосу. Казакевич вернулся с войны, хотя был разведчиком и не раз рисковал жизнью. Он был полон энергии, писал новую книгу, казался человеком крепкого здоровья и умер, не дожив до пятидесяти лет.

В 1949 году праздновали пятидесятилетие С. П. Щипачева. Я сказал, что хочу выступить на его вечере с приветствием. Мне нравились скромные короткие стихотворения поэта, особенно нравился он сам - были в нем честность, естественность, прямота. В коротком слове я сказал, что Щипачев сумел оградить свою поэзию «в эпоху инфляции слов». Это было сказано на писательском вечере, и сказано сдержанно, но многим мои слова показались вызовом, - видимо, клеймо лживой риторики отмечало немало лиц. Позднее несколько раз я беседовал со Степаном Петровичем и увидел, что не ошибся. Высокий, прямой, он похож на свои стихи, есть в нем

душевное благородство. Когда мне бывало трудно, я вдруг вспоминал Щипачева и с большим доверием думал о жизни.

Пока я писал «Бурю», меня выручала работа. А потом пришлось прибегнуть к старому лекарству: поезда с их ночными пронзительными вскриками, ухабы дорог, случайные ночевки, исповеди на полустанках, незаконченные беседы, пропадающие в тумане лица, калейдоскоп. Где я только не побывал за полтора года! Приведу список из записной книжки: Орша - Минск - Вильнюс - Каунас - Клайпеда, Шауляй - Паланга - Лиепая - Елгава - Рига - Тарту - Таллинн - Нарва - Ленинград - Новгород - Валдай; Калинин - Кашин - Калягин; Варшава - Вроцлав - Лодзь; Киев - Погар - Брянск; Владимир - Суздаль - Иваново; Тула - Орел; Пенза - Белинский; Ленинград - Таллинн; Варшава - Вроцлав - Кельцы - Краков; Кишинев - Бельцы - Сороки - Фалешты - Бендеры - Белград - Килия - Измаил...

Воспоминания об этих поездках напоминают случайно склеенные кадры из различных фильмов. В Иваново я поехал для того, чтобы укрепить положение освобожденного, но еще не реабилитированного Н. Н. Иванова, бывшего поверенного в делах во Франции, который работал штатным сотрудником Общества по распространению политических знаний.

В одном селе устроили доклад; и должен был рассказать о поездке в Америку; в самую патетическую минуту в сарай, куда собрались слушатели, вошла корова. В Погар меня пригласили для того, чтобы я рассказал, как изготавливают сигары на Западе; была дегустация, я привез гаванскую сигару, но ее раскритиковали. В Кишинев я попал, когда там неожиданно началась кампания против молдавских писателей - Букова, Истры, Лупана, Корняну. Я попробовал лишний раз вступить за литературу, разумеется, безрезультатно. Я увидел много интересного, хорошего и плохого - большие заводы и непроезжие дороги, богатства древней Суздала, работы эстонского художника Адамсона, развалины Новгорода, толкучки Молдавии; не стану обо всем этом рассказывать, припомню только поездку в Пензенскую область.

Праздновали столетие со дня смерти Белинского, меня включили в писательскую делегацию. Руководителем был Фадеев. Ф. В. Гладков часто хмурился: «Все это правильно, только нравы мне не нравятся».

В Пензе открыли памятник Белинскому; Фадеев произнес речь. Пенза мне сразу приглянулась, хотя не было в ней никаких достопримечательностей. В старой части города облупившиеся фасады домов, где прежде проживала одна семья и где теперь был сдан и пересдан каждый угол, выглядели печально. Понравились мне люди. Они были как-то сосредоточеннее, чем в суетливой Москве, больше читали, больше и думали. Студент шел со мной по городскому парку и читал на память страницы Салтыкова-Щедрина. Молодая женщина, учившаяся в Ленинграде, провела меня в фонды музея, с жаром говорила о Коровине, о «Бубновом валете», о Сезанне, вспоминала запасник Эрмитажа. На встрече со студентами начались споры о Казакевиче, Некрасове, Пановой; кто-то декламировал стихи Пастернака. Рабочий часовой фабрики пришел ко мне в гостиницу и сразу заговорил об искусстве: «Когда я слушаю серьезную музыку, мне кажется, что время распадается, а может быть, наоборот тысячелетие сгущается и один час, кончится - и чувствуешь, что прожил несколько жизней...»

Новое повсюду перемежалось со старым. В Лермонтове (В Тарханах) колхозники по тем временам жили сносно. В селе была десятилетка. Сидя возле пруда, я услышал, как мальчишки выкрикивали непонятные слова; разговорившись с ними, я узнал, что это они ругаются по-французски. Я захотел познакомиться с учителем французского языка, но, когда ему сказали об этом, он ушел в лес.

Учительница истории О. С. Вырыпаева, узнав, что я люблю керамику, повезла меня в соседнее село Языково: там колхозники издавна занимались гончарным промыслом. Я увидел курные избы. Почему-то ходили слухи, что в Белинский на юбилей приехал Ворошилов, и меня приняли за одного из его сопровождающих. В избу, куда я зашел, набралось много народа: колхозники, перебивая друг друга, излагали свои претензии - с них берут побор за все кувшины и горшки, которые они грузят, а по пути в Чембар половина товара бьется. Я слушал, записывал, потом мне стало не по себе: хлестаковствую - ведь все говорят: «Расскажи Сталину»... Я объяснил, что я всего-навсего писатель, постараюсь помочь, но не уверен в успехе. На печи сидел демобилизованный, кашлял, глаза у него были лихорадочные. Он молчал, а тут заговорил: «Писатель... Он тебе опишет - не изба, а дворец, не горшок - ва-аза»... Он долго повторял,

кашляя и ругаясь: «Ва-а-за!...» Мы вышли. Учительница, но уши влюбленная в литературу, растерянно говорила: «Представить себе, что это в 1947 году! Безобразие!»... А я подумал: пожалуй, он прав.

(Год спустя я поехал с В. Г. Лидиным в Пензенскую и Тамбовскую области и снова увидел противоречивые картины. Музей в Тамбове поражал своим богатством (там среди прочего хранилась замечательная скульптура Донателло); в городе была прекрасная библиотека. А в районном центре Кирсанове музей нас рассмешил: в одной комнате мы увидели просиженный диван, кресло, разбитую вазу - надпись объясняла: «Жизнь и быт княгини Оболенской»; в другой ••• стояла ничем не примечательная скульптура с ярлычком: «Произвольный бюст неизвестного мастера». Мы побывали в Пойме у писательницы А. П. Анисимовой, влюбленной в народное творчество. Она нас повезла в Невежкино, где сохранились мастерицы русской вышивки. Мы увидели бедные покосившиеся избушки; школа казалась полуразвалившейся, все выглядело печально. А на следующий день нас пригласили в расположенный неподалеку колхоз имени Ленина - на открытие книжного магазина. Там были городского типа дома, библиотека, ясли. Трудно было поверить, что Невежкино рядом...)

В 1947 году я впервые увидел много мест, связанных с русской литературой прошлого века. Я побывал в Ясной Поляне, где Толстой писал «Войну и мир», «Анну Каренину»; но в доме видишь Льва Николаевича, старого, душевно мечущегося и вместе с тем за чаем наставляющего «толстовцев», того Толстого, который пахал со смирением, что паче гордости, и завещал похоронить его без имени, без плиты; может быть, больше всего меня взволновала его могила - он выбрал место, где мог бы соседствовать с единственно достойным партнером - природой. Я поехал в Спасское, там под тенистыми кленами Тургенев писал романы, а поздней осенью отправлялся в Париж; когда однажды ему отказали в заграничном паспорте, он построил флигелек и написал В и ар до, что живет как ссыльный. В Орле я видел его диван, книги с пометками; поглядел на дом Лескова. Постоял у заброшенной могилы Фета. В Чембаре ходил по школе, в которой учился Белинский. Трудно объяснить, почему в музее особенно потрясает одна картина, и я не знаю, почему больше всего мне запомнились дни в Тарханах, или, говоря по-новому, в селе Лермонтово.

Там я познакомился с молодой преподавательницей русской литературы В. А. Дарьевской. Она меня спрашивала, каким был в жизни Маяковский, нравятся ли мне стихи Багрицкого, где достать хороший перевод Гейне. А я от нее узнал про школу, про жизнь села. Это была скромная девушка, любившая свою работу и искусство; она рассказывала, что иногда ей удается съездить на воскресенье в Пензу - там ведь театр... До железной дороги больше тридцати километров, иногда приходится возвращаться пешком. Вера Анатольевна однажды зимой встретила волков, сначала приняла их за собак, а волки подошли к деревне, зарезали колхозных баранов: «Ох, как я испугалась!...»

Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли.

Музей был смешанным: отдельные вещи, связанные с поэтом, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунки к «Демону», в другой висел большой портрет Сталина.

Ночью я написал стихотворение. Никогда и его не печатал, а теперь приведу, потому что оно - клочок обещанной исповеди.

Тарханы это не поэма -
Большие крепкое село.
Давно в музей безумный Демон
Сдал на храпение крыло.
И посетитель видит хрупкий,
Игрушечный, погасший мир,
Изгрызенную о муке трубку
И опереточный мундир.
И каждому немного лестно,
Что это - Лермонтова кресло.
На стенах множество цитат
О происшедшей перемене.
А иод окном заглохший сад
И «счастье», скрытое в сирени.
Машины облегчили труд.
В селе теперь десятилетка.

Колхозники исправно чтут
Дела прославленного предка,
И каждый год в тот день июля.
Когда его сразила пуля,
В Тарханах праздник. Там с утра
Вся приодета детвора.
Уж кумачом зардели арки,
Уж сдали государству рожь,
И в старом лермонтовском парке
Танцует дружно молодежь.
Здесь нет ни топота, ни свиста...
Давно забыт далекий выстрел,
И только в склепе, весь продрог.
Стоит обшитый цинком гроб.
Мотор заглох, шофер хлопочет.
А девушка в избе бормочет
Все тот же сердцу милый стих,
И страсть в ее глазах глухих.
Приподняты углами брови.
А ночь, как некогда, темна.
Поют и пьют. Стихи читают. Сквернословят.
А сердце в цинк стучит. Все выпито - до дна.
«Люблю отчизну я, но странною любовью...»
А что тут странного? Она - одна.

Конечно, я люблю родину не только потому, что она - одна, люблю и потому, что потомок выходца из Шотландии написал «Тамань», перечитывая которую я каждый раз изумленно приоткрываю рот, как ребенок, люблю и за то, что колхозницы села Лермонтова, смелые, измученные и гордые солдатки, пахали на коровах и втихомолку плакали над треугольниками фронтовых писем, за скромность природы тех же Тархан, за все эти пригорки, перелески, прудики, за дерзкий замысел народа, за «перемены», о которых сухо говорили диаграммы музея, за девушку Веру, которая повторяла в темной избе: «Есть речи - значенье темно иль ничтожно», которая пошла на «Гамлета» и повстречала волков, за то, что в захудалом Чембаре вырос неистовый Виссарион, равно преданный справедливости и красоте, за то, что в Пензе подросток Мейерхольд

мечтал о древнем балагане, за то, что в Пензенской области есть села с удивительными названиями - Волчий Враг, Соседка, Верховозим, Шемышейка, за цветистость ругани и стыдливость ласк», за тысячу других вещей, больших и малых, которые, может быть, лучше всего я выразил в коротком признании: «Она - одна».

В октябре 1947 года Фадеев сказал мне, что нужно поехать в Польшу, туда отправляют делегацию писателей: Твардовский, Тычина, Бровка, Эренбург. Фадеев начал меня наставлять и вдруг рассмеялся: «Да вы сами знаете... Прожили полжизни за границей». Я подумал: одно дело жить - другое входить в делегацию... В купе я оказался с П. Г. Тычиной, который тогда был министром просвещения Украинской республики. Мы долго спорили, как разместиться - каждый пытался взобраться на верхнюю пачку. Мы с Павлом Григорьевичем родились не только и тот же самый год, но и в тот же самый день. Я говорил, что Тычина должен остаться внизу: он министр. Павел Григорьевич возражал. Я вышел в коридор, разговорился с Твардовским. Тычина воспользовался этим, и, вернувшись, я увидел его лежащим на верхней полке. Мы дружески побеседовали, потом погасили свет. Я уже засыпал, когда Павел Григорьевич сказал: «Будет обязательно помыл к а...» Хотя я родился в Киеве, но детство и отрочество провел в Москве; многие украинские слова мне кажутся загадочными. «Помылка» это «ошибка», потом мне объяснили, а тогда в полусне мне казалось, что нам мылят головы: это была вторая моя поездка за границу в составе делегации, и я тоже побаивался.

На вокзале улыбался Тувим, и я сразу успокоился. Поляки нас встретили радушно. Я увидел другую Польшу, не ту, что видел двадцать лет назад в эпоху санации. Тогда ведь не только власть, но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно.

Конечно, Польша стала другой, и в то же время я многое узнавал: характер народа не меняется - меняется жизнь. В 1947 году я увидел испепеленную Варшаву. Я не узнавал улиц, но людей узнавал. Из тех, кого я знал раньше, многих уже не было: погибли и всем известные, прославленные, и те, которых знали только друзья. В 1928 году я познакомился с писателем Бой-Желенским. Мы проспорили весь вечер - о Монтене, о Прусте. Он куда больше знал, чем я, и говорил страстно, порой зло, но с той любовью к искусству, которая обезоруживает. Ему было шестьдесят семь лет, когда фашистские недоросли расстреляли его во Львове. В Париже в тридцатые годы я

встречал на Монпарнасе молоденького архитектора Сениора. Он мечтал что-то построить, обожал Ле Корбюзье, жил в нужде, а когда мать присылала ему из Польши посылку (он говорил «пачку»), угощал нас рябиновой водкой и полендвицей. Летом 1939 гола он уехал домой, чтобы сражаться против гитлеровцев, и погиб. Я познакомился с молодыми писателями, художниками, с сотнями людей различных профессий. Год спустя я снова увидел Польшу во время Вроцлавского конгресса, а в последующие годы часто бывал в Варшаве, и хотя это всегда было связано с конгрессами, конференциями, комиссиями, резолюциями, выкраивал время для старых и новых друзей. Я все сильнее влюблялся в польский характер, и эта глава, наверно, будет скорее походить на лирическое объяснение, чем на рассказ о стране и людях.

В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров-память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев. Учитель истории говорил нам, что любой поляк чванлив, как шляхтич, что Польша'погибла оттого, что каждый пан в сейме кричал «не позволю» и накладывал запрет на закон. Один из наставников моей молодости, Достоевский, в своих романах выводил карикатурных поляков. Я Польшу не знал, и где-то внутри таилось предубеждение. Помню, что меня поразила страсть, с которой Тувим говорил о польском характере при первой нашей встрече. Потом я услышал от Бабея: «Это поэтический народ...» А ведь Бабель видел поляков во время войны, когда они сражались против Советской России. Я задумался и только в 1928 году, побывав в Польше, кое-что понял.

Человеческие ценности - радость труда, борьбы, любовь, искусство - осознаешь не по школьным урокам и не по книгам, а по житейскому опыту. Но есть и такие ценности, которые начинаешь понимать в недостатке, в отлучении. Что такое хлеб, я понял в Париже, когда ничего не ел несколько дней, а из булочных шел дивный аромат. В горах Арагона во время боев я понял, что такое поток воды. Я писал, что значение родины осознаешь вдали от нее. Обостренный патриотизм поляков связан с историей: они пережили или слышали от своих родителей длинную летопись попрания национального достоинства.

Я рассказывал, как Тувим, бродя со мною среди развалин Варшавы, повторял: «Посмотри, какая красота!...» Может быть, не все поляки это говорили, но все это думали. Старая часть Варшавы отстроена с такой любовью к любой детали, что забываешь о реставрации. Дело не только во вкусе, дело и в страсти.

Меня притягивает к полякам страстность - она в национальном характере, она сказалась и в старой скульптуре Ствоша, и в поэзии - от Мицкевича и Словацкого до Тувима и Галчинекого, страстность в народных песнях и в длинной повести о неудачных восстаниях, она в Домбровеком, о котором когда-то мне рассказывал старик коммунар, и в Янеке, которого я видел возле Уэски. Стоит поглядеть в глаза старого усатого пенсионера, который ходит по чинному, но дивному Кракову, или услышать в заброшенной деревне вскрик маленькой девчонки с белой косичкой и смехом, похожим на слезы, как снова и снова видишь избыток чувств, диковинный клубок судеб.

Я читал много суровых оценок барокко - чрезмерность, неожиданность сочетаний, порой непонятность казались вычурностью, формализмом, отказом от искренности, пренебрежением простотой. А между тем барокко, родившись в эпоху заката аристократии, пришелся по душе народам. Есть нечто общее между поэзией Гон горы, Марино или Грифиуса и теми глиняными Христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерности человеческого страдания. «Здесь похоронено сердце Шопена» - чужестранец дивится, а и это в характере Польши.

В 1947 году польское правительство подарило нам, четверем советским писателям, произведения народного искусства. Мне достался ковер, сотканный из лоскутков Галковскими в Кракове. Этот ковер с тех пор радует меня в трудные часы. Я пляжу на зверей, которых нет и не было, но которые живут, резвятся, рычат и дремлют в моей комнате, на девушек, на диковинных рыцарей и вижу не только чудесное сочетание тонов, полутонов, но и силу искусства.

Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения, способной превратить, казалось бы, заурядный домишко в космос. В 1947 году была трудная эпоха для поэтов или художников. Однако и тогда я увидел много холстов, показывавших, что искусство живо. Нужно ли говорить о

последующем десятилетии? Некоторые польские фильмы обошли мир. Начали переводить польскую прозу. Помню, как я читал путевые заметки Казимежа Брандыса, он рассказал, что чувствовал, завтракая в приветливой чистенькой гостинице Западной Германии,- я нашел художественное выражение того, что смутно чувствовал.

Вдохновение в Польше не удел избранных, оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины - в них все оттенки и все благородство горя. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вырезывает из бумаги тропические рощи. Если зайти в магазин утвари, то поражаешься не только вкусу, но и фантазии. Может быть, именно эта насыщенность искусством притягивает меня к Польше? Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщину, которая таскала камни на стройке в Варшаве.

Я говорил о Тувиме. Мне хочется теперь сказать о его друзьях из «Скамандра», с которыми я часто встречался в Варшаве. Слонимский некоторым кажется англичанином, чересчур насмешливым, даже едким, а за его иронией скрыты доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная - Сервантес не похож ни на Свифта, ни на Мольера. Ирония Слонимского не раствор, а эссенция, может быть, слишком крепкая для другой страны или для другой эпохи, а если она и разбавлена, то не водой, а слезами. Ивашкевич на первый взгляд кажется баловнем судьбы, он мягок, даже благодушен, но никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя шляхтича, но в его книгах много современного смятения. Я вспоминаю сейчас его новеллу, написанную в тридцатые годы,- польский писатель едет во Флоренцию на какой-то конгресс (видимо, и писатели и конгрессы всегда были - это как дождь). Новелла напоминает тургеневские «Вешние воды», но в ней воздух нашего века - любовь не та, да и не то отчаяние.

В 1947 году я еще не мог забыть о поездке в Польшу двадцать лет назад, когда мы жили в разных мирах,- старался быть особенно вежливым, обходить темы, связанные с трудностями того времени,- словом, частенько вел себя как дипломат. Расскажу о смешном и потому, что лирику мне всегда хочется перебить шуткой, и потому,

что этот рассказ покажет, насколько я тогда не понимал происшедших перемен.

Я говорил, что поляки приняли нас на редкость гостеприимно. Нам поручили привезти в Москву к Октябрьским праздникам делегацию польских писателей. Я радовался, что мы сможем их принять, как они приняли нас. Поехали с нами известная писательница Налковская (ей было за шестьдесят), драматург Кручковский, который тогда был вице-министром культуры и искусства, и молодой поэт Добровольский. До Бреста мы ехали в специальном вагоне со всеми онёрами, а в Бресте нас никто не встретил. (Потом я узнал, что телеграмма опоздала.) Все выглядело катастрофично: в «Интуристе» наотрез отказались продать для гостей билеты в кредит, а рублей у нас, разумеется, не было. Налковская, увидав советский состав, сказала, что устала, хотела бы прилечь. Я ответил, что посадка не началась. (На беду, в ту самую минуту в вагон вошел генерал, адъютант тащил его чемоданы.) Я позвонил секретарю обкома. Рабочий день кончился, и разыскал я его дома. Он выслушал, пособлезновал, но объяснил, что в обкоме никого нет - где же он достанет деньги? Я начал увещевать, молить, даже плухо пригрозил «дипломатическими осложнениями». Он отвечал: «Попробую, но за результаты не ручаюсь...» Прошел час, два. Налковская спрашивала, не началась ли посадка. Кручковский учтиво молчал. Добровольский что-то говорил о стихах Галминского и Пастернака. Но мне было не до поэзии, я то и дело убегал - звонил секретарю обкома, плядел, не покажется ли машина. Наконец секретарь обкома приехал: «Достал на три спальных...» Я попросил его приветствовать гостей. Налковская наконец-то смогла прилечь. А мы собрались в купе и начали считать имевшиеся у нас рубли. Сегодня - ужин, завтра - завтрак, обед, ужин, послезавтра мы приезжаем в одиннадцать,- значит, еще один завтрак. А денег только на ужин сегодня. Бровка сказал, что завтра утром сойдет в Минске, жалко, что до города далеко...

Я попытался попросить в вагоне-ресторане, чтобы нас кормили в кредит, в Москве на вокзале мы расплатимся, но мне ответили, что это исключено - в пути может сесть контролер. Мы пошли ужинать, заказали пол-литра. Налковская попросила маленький стакан красного вина. Подали бутылку, Добровольский снова заговорил о поэзии и вдруг сказал: «Я хотел бы увидеть поэта, который может

превратить пустую бутылку в полную...» Я убежал, снова пересчитал наши капиталы и заказал еще одну бутылку. Утром мы сказали, что не завтракаем - пьем только чай. В Минске Бровка распрощался со всеми, и вдруг я увидел Петра Устиновича, который несся обратно, как чемпион по бегу: «До ЦК далеко, я добежал до дому, а жены нет, вот все, что нашел в ящике стола...» Он сунул мне в руку бумажки. На обед хватило. Мы решили сказать, что вечером не будем ужинать, но вечером в Смоленске нас ждало чудо - в вагон вошел писатель Симонов. Я тотчас отозвал его в сторону и попросил сказать гостям, что он приехал из Москвы, чтобы встретить делегацию. Потом я спросил его: «Сколько у вас денег?...» Он ответил: «Ничего нет. Я обрадовался, увидев вас, думал, паужинаем, выпьем бутылочку вина...» В одном из купе оказался знакомый Симонова. Мы были спасены.

Два года спустя, подружившись с Добровольским, я рассказал ему, что пережил, когда он заговорил о превращении пустых бутылок в полные. Он долго смеялся: «Да ведь это чисто польская история...» Смеялся потом и Кручковский.

Конечно, когда я говорю, что теперь ничего нас не отдаляет от поляков, я меньше всего думаю об «Интуристе». В 1928 году поляки и мы жили в разных мирах. Даже Тувим, даже Бронсвский тогда многого не понимали, да и я часто судил опрометчиво. Некоторые традиционные предубеждения оказались живучими, и только приехав в Варшаву в 1947 году, я почувствовал, что ничто больше нас не разделяет. Слонимский, Ивашкевич - это давние друзья, но я познакомился с молодыми писателями и, беседуя с ними, не ощущал границ стран или границ поколений.

Ни осенью 1947 года, с которой я начал эту главу, ни впоследствии в Польше я не знавал одиночества, - это сухая справка, но она говорит о многом.

Месяцы, о которых мне предстоит рассказать, может быть, самые тяжелые в моей жизни, и я надолго прервал работу: не решался начать эту плаву. С какой радостью я опустил бы ее! Но жизнь не корректура, и пережитого не перечеркнешь. С тех пор прошло пятнадцать лет. Я не хочу беречь заживающие рапы, не назову некоторых - меньше всего меня привлекает роль прокурора. Притом я многого не знаю, ограничусь тем, что коротко, сухо расскажу о пережитом.

Теперь я понимаю, что начало некоторых событий, о которых хочу написать, связано с трагической смертью С. М. Михоэлса, и прежде всего скажу о Соломоне Михайловиче. Познакомился я с ним давно, еще в двадцатые годы, но мало его знал: а понял и полюбил в годы войны; одно время он довольно часто приходил к нам в гостиницу «Москва», иногда горевал вслух, иногда дурачился, иногда как-то вбирал в себя руки и ноги, сжимался, молчал. Он был большим актером, и, конечно же, его стихией было искусство. Я хорошо помню его в роли короля Лира. Он казался неузнаваемым - в жизни он был небольшого роста и лицо у него было не короля, а, скорее, насмешливого интеллигента, с выпуклым лбом и выпяченной нижней губой. Но на сцене, высокий и трагичный, король Лир был невыразимо прекрасен в своем горе и гневе. Талант Михоэлса почитали актеры различных направлений; я помню, с каким восхищением говорили о нем и Качалов, и Мейерхольд, и Питоев. Никогда Михоэлс не был националистом, он любил русский язык, и его друг А. Н. Толстой иногда говорил: «Не понимаю, почему Соломон не хочет играть в русском театре...» Но у Михоэлса было любимое дитя - Еврейский театр. На спектакли этого театра приходили и зрители, не знавшие еврейского языка. Игра Михоэлса и Зускина была настолько выразительной, что все бывали захвачены похождениями местечкового Дон-Кихота или бедой Тевье-молочника.

Во время войны С.М. Михоэлс был душой Еврейского антифашистского комитета. Кто тогда мог думать об искусстве? Гитлеровцы убивали в местечках Украины и Белоруссии и старых героев Шолом-Алейхема, и девочек-пионерок. Михоэлса послали

вместе с поэтом Фефером в Америку. В 1946 году американцы мне рассказывали, как в одном городе рухнула эстрада - слишком много людей хотели подойти поближе к советским гостям. Михоэлс и Фсфер собрали миллионы на советские госпитали, детские дома.

После победы к Михоэлсу обращались с просьбами тысячи людей - в их глазах он оставался мудрым ребе, защитником обиженных.

И вот Михоэлса убили...

Тогда нам сказали, что Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым-Потаповым по поручению Комитета, присуждавшего Сталинские премии,- он должен был дать отзыв о постановке, выставленной на премию. Ночью его позвали в гости - он шел опять-таки вместе с Голубовым-Потаповым по одной из окраинных улиц, и там не то бандиты убили обоих, не то их раздавил грузовик. Эта версия казалась убедительной весной 1948 года; полгода спустя в ней многие начали сомневаться. Когда арестовали Зускина, все задумались: а как погиб Михоэлс?... Недавно советская газета, выходящая в Литве, рассказала, что Михоэлс а убили агенты Берии. Не стану гадать, почему Берия, который мог бы преспокойно арестовать Михоэлса, прибег к злодейской маскировке; конечно, не потому, что щадил общественное мнение, скорее всего, развлекался.

Я был на панихиде по Соломону Михайловичу в помещении его театра. Изуродованное лицо загримировали. Произносили речи. Помню выступление Фадеева. На улице стояла толпа, многие плакали.

Двадцать четвертого мая был вечер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил. Было очень горько.

Но я еще ничего не предвидел.

В сентябре 1948 года я написал для «Правды» статью о «еврейском вопросе», о Палестине, об антисемитизме. Вот несколько цитат:

«Мракобесы издавна выдумывали небылицы, желая представить евреев какими-то особенными существами, непохожими на окружающих их людей. Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной, обособленной жизнью, не разделяя радостей и горестей тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи - это люди, лишенные чувства родины, вечные перекати-поле.

Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями.

...Да, евреи жили отдельно, обособленно, когда их к этому принуждали. Гетто было изобретением не еврейских мистиков, а католических изуверов. В те времена, когда глаза людей застилал религиозный туман, были среди евреев фанатики, как они были среди католиков, протестантов, православных и мусульман. И как только раскрылись ворота гетто, как только дрогнул туман средневековой ночи, евреи разных стран вошли в общую жизнь народов.

Да, многие евреи покидали свою родину, эмигрировали в Америку. Но не потому эмигрировали они, что не любили своей земли, а потому, что насилия и оскорбления лишали их этой любимой земли. Одни ли евреи искали порой спасения в других странах? Не так ли поступали итальянцы, ирландцы, славяне стран, находившихся под гнетом турок и немцев, армяне, русские сектанты?...

...Мало общего между евреем тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, который говорит, да и думает по-американски. Если между ними действительно существует связь, то отнюдь не мистическая: эта связь рождена антисемитизмом... Невиданные зверства немецких фашистов, провозглашенное ими и во многих странах осуществленное поголовное истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбления сначала, печи Майданека потом - все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенных...

...Конечно, есть среди евреев и националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями те идеологи человеконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство - за тридевять земель...»

В статье я приводил высказывания Горького, Ленина об антисемитизме, цитировал и Сталина: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма».

Газетная статья не исповедь, в ней многого не скажешь. Теперь, когда я дописываю книгу о моей жизни, мне хочется сказать, как я понимаю то, что часто называют «еврейским вопросом».

Начну с конца. Один американский писатель, негр, справедливо заметил: «Нет в Америке проблемы черных, есть проблема белых». К словам американского негра я могу добавить, что еврейский вопрос это вопрос о живучести антисемитизма.

Ребенком я слышал разговоры о деле Дрейфуса, о еврейских погромах. Я знал, что Лев Толстой, Чехов, Горький возмущаются натравливанием русских на евреев. Несколько лет спустя я прочитал в подпольной газете статью Ленина. Мой отец говорил, что антисемитизм - пережиток, порождение фанатизма и невежества, и в этом я разделял его суждения.

Как читатель знает, я родился в Киеве, мой родной язык русский. Я не знаю ни идиш, ни древнееврейского языка. Никогда я не молился ни в синагоге, ни в православной церкви, ни в костеле. Меня восхищали и восхищают некоторые художественные памятники, которые для верующих связаны с религией, а для меня с человеческими мыслями и чувствами,- «Книга Иова», «Песнь песней», «Экклезиаст», Евангелия, в том числе «запретные», «Апокалипсис», Шартрский собор, Акрополь, иконы Андрея Рублева, живопись фра Беато, индусские богини в Эллоре, фрески в древнем буддийском монастыре Аджанта. Однако все это для меня не мертвые каноны религий, а живое искусство. Детство и отрочество я провел в Москве, и мои товарищи были русскими. Когда я работал в подпольной организации, мы называли друг друга по кличкам, меня не интересовало, были ли среди моих товарищей евреи. Потом я очутился в Париже. Я встретил двух чудесных поэтов,- один из них, Аполлинер, был по происхождению поляком, другой, Макс Жакоб, евреем, но для меня оба были французами. Я полюбил итальянца Модильяни; однажды он мне рассказал, что он еврей, но для меня он оставался связанным с тревогой предвоенных лет и с искусством итальянского Возрождения, а не с древним Ягве.

Я люблю Испанию, Италию, Францию, но все мои годы неотделимы от русской жизни. Никогда я не скрывал своего происхождения. Были времена, когда я о нем редко думал, были и другие, когда я повторял всюду, где мог: «Я еврей»,- мне кажется, что солидарность с теми, кого преследуют,- азбука человечности.

Я смотрел фильмы Чаплина, и мне не приходило в голову, что он еврей; об этом мне сообщили гитлеровцы. Они приводили черные

списки. Евреями оказались композитор Дариус Мийо, философ Бергсон, люди, с которыми я встречался, не задумываясь над их происхождением,- Бенда, Анна Зегерс, писатели, которых я читал, как, например, Кафка.

Есть ли какой-то особый, присущий евреям национальный характер? Антисемиты и еврейские националисты отвечают положительно. Возможно, что века гонений и обид заострили иронию, раздували романтические надежды на лучшее будущее. Национальный характер ярче всего сказывается в художественном творчестве. Поэзия Гейне полна романтической иронии, но я не знаю, чем это объясняется - происхождением поэта или эпохой. Припоминая произведения моих современников - Модильяни, Кафки, Сутина, я вижу прежде всего трагичность: она отражала действительность, воспоминания сочетались с предчувствием или предвидением. Математика относится к тем проявлениям человеческого разума, которые менее всего связаны с климатом, языком или традициями. Однако в Германии в начале тридцатых годов нашлись ученые, которые отвергали теорию относительности, открытую Эйнштейном, как «еврейские штучки».

В прежние времена антисемитизм был связан с религией, с идеей искупления: «Евреи распяли Христа». Власть духовенства постепенно ослабевала. Многие стали понимать, что Христос был одним из еврейских бунтовщиков и выступал против ортодоксальных священнослужителей, сотрудничавших с римскими оккупантами. Французская революция провозгласила равноправие евреев. Различные государства одно за другим отменяли существовавшие веками ограничения. Евреи начинали жить жизнью тех народов, на землю которых пришли их прадеды.

В конце прошлого века разразилось дело Дрейфуса, оно показало, что антисемитизм, прятаящийся в щели, жив. В течение нескольких лет к Дрейфусу, человеку самому по себе незначительному, исправному французскому офицеру, воспитанному на дисциплине, были обращены взоры миллионов людей. Когда Золя выступил с защитой невинно осужденного, его поддержали Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, Жорес, Анатоль Франс, Метерлинк, Энсор, Клод Моне, Жюль Ренар, Синьяк, Пеги, Мирбо, Милларме, Шарль Луи Филипп. Кто же поддерживал обвинителей? Писатели-националисты

- Баррес, Моррас, Дерулед. Антидрейфусары были не только антисемитами, но и врагами прогресса, шовинистами; в своих газетах и листовках они называли Золя «итальяшкой».

До революции русские евреи могли проживать только в черте оседлости. В городах и местечках Украины или Белоруссии они жили обособленно, говорили на идиш. Революция все изменила; еврейская молодежь ринулась в русские школы, университеты. Еврейки выходили замуж за русских, евреи женились на русских. Среди моих друзей было много смешанных браков. Бабель, Михоэлс, Ильф, Пастернак, Фальк, Гроссман, многие другие были женаты на русских девушках, а Федин, Щипачев, Катаев, Вишневский женились на еврейках. (Я называю первые пришедшие в голову имена, можно было бы продлить список.)

Обособленность евреев исчезала не только у нас, но и во Франции, даже в Германии. Тогда на помощь антисемитизму пришла «расовая теория» Гитлера.

Конечно, разговоры о существовании «низших рас» не были новыми. Рассказывая о поездке в Южные штаты Америки, и хотел показать, насколько силен и живуч расизм в стране цивилизованной. Однако в двадцатые годы мы считали бывших рабовладельцев Алабамы или Миссисипи исключением. На сцене истории появился Гитлер. Он и его приверженцы начали доказывать, что существуют высшие расы, прежде всего «арийская», или «северная», и низшие, среди которых самая низшая - евреи.

В годы гражданской войны я увидел еврейский погром, организованный белыми. Несколько месяцев спустя пьяный врангелевский офицер с криком: «Бей жидов, спасай Россию!» - хотел сбросить меня с борта парохода в море. Мне казалось это естественным: призраки прошлого отстаивали власть тьмы.

В конце двадцатых годов я познакомился на Монпарнасе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его, гомельский портной Лазик Ройтшванец, горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших нэпманов и захолустных начетчиков,

польских ротмистров эпохи санации, немецких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину; однако земля, которую называли «обетованной», оказывается похожей на другие - богатым хорошо, бедным плохо. Лазик предлагает организовать «Союз возвращения на родину», говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле. Его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли «еврейским Швейком». (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нес, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным.)

Приход Гитлера к власти меня поразил: цивилизованная страна была отброшена назад, в темноту изуверства. «Хрустальная ночь» (так называли гитлеровцы ночь грандиозных погромов) была для меня одним из проявлений ненавистного фашизма. Гитлеровцы жгли книги не только еврейских авторов, но и Энгельса, Ленина, Горького, Романа Роллана, Золя, Барбюса, Генриха Манна. Они убивали немецких коммунистов «арийского» происхождения. В Испании я увидел свирепую сущность фашизма.

Во время нашествия фашистов на нашу страну я был свидетелем множества зверств. Гитлеровцы убивали русских детей, жгли деревни Украины и Белоруссии. Об этом я писал каждый день в газете. Об этом писали и другие. Гитлеровцы в своих листовках уверяли, что они воюют только против евреев, нужно было опровергнуть эту ложь.

Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали. Государство Израиль, однако, существует. Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследований, подобных инквизиции, в различных калифатах Андалузии жили, работали такие люди, как философ Маймонид и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля, на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами. Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля, да они и не хотят туда уезжать они тесно связаны с народами, среди которых живут. Негры Алабамы или Миссисипи вовсе не мечтают уехать в одно из суверенных государств Черной Африки, они требуют равноправия и борются против расовых предрассудков.

Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего семидесятилетия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я - еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства. Я продолжаю думать, что антисемитизм - отвратительный пережиток прошлого, что он исчезнет, как исчезнут все расовые предрассудки; только теперь, увы, я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков - дело очень долгое.

Вернусь ко времени, о котором я рассказываю. Мне сказали, что статью посылали Сталину и он ее одобрил. А несколько месяцев спустя закрыли Еврейский антифашистский комитет, газету «Эйникайт», издательство, разбросали набор «Черной книги». Первым эшелонам жертв стали писатели, писавшие на идиш,- Перец Маркиш, Квитко, Бергельсон, Фефер и другие.

В январе 1949 года газеты сообщили «о раскрытии антипатриотической группы театральных критиков» (об аресте писателей, о закрытии газет, а потом и театра газеты не упоминали). Почему кампания началась со второстепенного вопроса - с театральной критики? Не знаю. Может быть, Сталину вовремя пожаловался обиженный драматург, а может быть, случайно,- не все ли равно, в какое место пруда бросить камень - лишь бы от него пошли круги.

Характер новой кампании был ясен; в первой же статье имелась такая фраза: «Какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека?» Газета клеймила «ура-космополитов». Два дня спустя появилась новая статья, в ней «гурвичи и юзовские» писались со строчных букв и обличались критики А. Эфрос, А. Ромм, О. Бескин, Д. Аркин, другие. Прошла еще неделя, и в космополитизме начали обвинять критика Данина за то, что он похвалил М. Алигер; заодно напали на поэта Антокольского. Перешли к кино, в этой области тоже «выявили беспаспортных бродяг» - Л. Трауберга, Блейма, Коварского, Волькенштейна. Замелькали имена «отщепенцев»: Дрейден, Березарк,

Шнайдерман, Л. Шварц, Вайсфельд, Ф. Левин, Бровман, Субоцкий, Оголевец, Житомирский, Мазель, Шлифштейн, Шнеерсон, Мотылева, Бялик, Кирпотин, Гордон... Прошли еще две недели, и начали разоблачать «безродных космополитов», укрывавшихся за псевдонимами: Стебун (Каценеленсон), Санов (Смутьсон) и так далее. Многие из «выявленных космополитов» были мало кому известны - били вслепую, для примера: вот, мол, «безродные»...

Начались «оргвыводы». Как-то ко мне пришел возмущенный С. В. Образцов: «Вызвали, говорят, что в театре слишком много евреев. Отвратительное юдофобство!...» Образцов не был одинок в своем возмущении. Несмотря на то, что время не благоприятствовало откровенным разговорам, многие мои русские друзья мне высказывали свое негодование: Кончаловский, Федин, Сурков, архитектор Руднев, Гладков, Вс. Иванов, скульптор С. Д. Лебедева. Нужно ли напоминать, что всякий расизм, в том числе и антисемитизм, шел вразрез и с традициями русской интеллигенции, и с теми высокими идеями интернационализма, которые были заветом Ленина и на которых воспитывались советские люди?

Преследование евреев не было обособленным явлением. Арестовывали множество людей, побывавших, конечно не по своей вине, в фашистском плену, не успевших эвакуироваться, вернувшихся добровольно из эмиграции, репрессированных в тридцатые годы, имеющих за границей родственников; произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ.

Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. Начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал звонка. Телефон замолк, только близкие друзья справлялись о моем здоровье. Да еще «проверяли»: знакомые поосторожнее звонили из автомата - хотели узнать, не забрали ли меня, а когда я отвечал «слушаю», клали трубку.

В марте 1938 года я с тревогой прислушивался к лифту: мне тогда хотелось жить; как у многих других, у меня стоял наготове чемоданчик с двумя сменами белья. В марте 1949 года я не думал о белье, да и ждал развязки почти что безразлично. Может быть, потому, что мне было уже не сорок семь лет, а пятьдесят восемь - успел устать, начиналась старость. А может быть, потому, что все это

было повторением, и после войны, после победы над фашизмом, происходившее было особенно нестерпимым. Мы ложились поздно - под утро: мысль о том, что придут и разбудят, была отвратительна. Как-то позвонили в два часа ночи. Люба пошла открыть дверь. Я ни слова не сказал, только поглядел на нее. Оказалось, это шофер Симонова - его прислала жена Константина Михайловича, полагая, что Симонов у меня.

В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул: «Значит, неправда!...» Он рассказал, что накануне один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил: «Могу сообщить хорошую новость - разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург».

Я написал короткое письмо Сталину: писал, что уже два месяца лишен газетной работы и что вчера такой-то объявил, будто я арестован. Я, однако, еще не арестован и прошу поручить выяснить мое положение. Я хотел одного - чтобы кончилась неизвестность. Письмо я сдал в кремлевскую будку.

На следующий день мне позвонил Маленков. Я хорошо помню разговор. «Вы писали Сталину. Он поручил вам позвонить. Скажите, откуда это пошло?...» - «Не знаю. Я хотел бы вас об этом спросить».- «Но почему вы не предупредили нас раньше?» - «Я говорил с товарищем Поспеловым, это все, что я мог сделать».- «Странно, товарищ Поспелов такой чуткий человек, а он нам ничего не сказал...» (П. Н. Поспелов несколько лет спустя говорил мне, что это неправда, он все передал, но его слова не возымели действия.)

Сразу затрещал телефон: различные редакции говорили, что «произошло недоразумение», статью напечатают, просили еще написать.

У меня в это время были А. М. Эфрос и Л. Н. Чернявский. На диване лежал Г. М. Козинцев, заболевший гриппом. Григорий Михайлович вскочил, завернувшись в одеяло. Все взволнованно говорили. На следующий день я узнал, что из одной газеты вечером сняли очередную статью о космополитах.

Задним умом все крепки. Весной 1949 года я ничего не понимал. Теперь, когда мы кое-что знаем, мне кажется, что Сталин умел многое маскировать. А. А. Фадеев говорил мне, что кампания против «группы

антипатриотических критиков» была начата по указанию Сталина. А месяц или полтора спустя Сталин собрал редакторов и сказал: «Товарищи, раскрытие литературных псевдонимов недопустимо - это пахнет антисемитизмом...» Молва приписывала произвол исполнителям, а Сталин будто бы его останавливал. В конце марта он, видимо, решил, что дело сделано. Арестованных еврейских писателей не освободили. Уволенных с работы на прежние места не взяли. Пятый параграф в анкетах, где проставлялась национальность, продолжал незаметно действовать, а грубых статей или карикатур больше не требовалось.

В мае 1949 года я получил на адрес «Литературной газеты» телеграмму из Нью-Йорка: «Здесь печать развертывает сильную антисоветскую кампанию, утверждая, что критика «космополитизма» носит в действительности антисемитский характер. Упоминание в числе известных советских критиков фамилий некоторых евреев в скобках расценивается как факт, аналогичный антисемитской практике в капиталистическом мире. В качестве доказательств ссылаются также на закрытие еврейских газет и на карикатуры. Мы считаем, что было бы полезно, если бы вы сами в большой статье ответили бы на эту клевету. Редакция «Дейли уоркер». Телеграмму сопровождало письмо: «Мне поручено передать вам пожелание - написать для «Дейли уоркер» статью на эту тему. Надеюсь, что вы это сделаете». Я статью, конечно, не написал и на письмо не ответил.

От злорадства зарубежных врагов нашей страны мне было вдвойне горько. Я видел народ, который тридцать лет подряд боролся за идеи Октября, за братство против интервентов и белогвардейцев, против фашистского нашествия, против погромщиков и расистов. Народ был неповинен в тех газетных статьях, о которых я говорил, он трудно жил, работал с утра до ночи и не сворачивал с избранного им нелегкого пути. Я не мог опровергнуть то, что было жестокой правдой, и не хотел поддержать врагов Советского Союза.

Несколько лет спустя один журналист в Израиле выступил с сенсационными разоблачениями. Он утверждал, что, находясь в тюрьме, встретил поэта Фефера, который будто бы ему сказал, что я повинен в расправе с еврейскими писателями. Клевету подхватили некоторые газеты Запада. У них был один довод: «Выжил? Значит, предатель».

Я был в плохой форме, не мог работать. А тут мне сказали, что нужно ехать в Париж, на Конгресс сторонников мира. Защита мира казалась мне прекрасным делом, но я чувствовал, что у меня нет сил. Очутиться за границей в таком состоянии - да ведь это пытка! Меня попросили написать выступление и дать его просмотреть. Когда передо мной оказался белый лист, я начал писать о том, что меня волновало. В написанной речи были такие строки: «Пет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры - кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность». Меня вызвал Григорьян, занимавший довольно высокий пост, жал руку, благодарил. На столе у него лежало мое выступление, перепечатанное на хорошей бумаге, и против процитированного мною места на полях значилось «Здорово!». Почерк показался мне мучительно знакомым...

Мы вылетели в Париж в середине апреля. В Москве было холодно, в лесочке возле Внукова еще белел снег. Люба говорила, что в Париже я отдохну, развлекусь; я отвечал: «Конечно».

На аэродроме в Париже я увидел Эльзу Юрьевну. Она сказала, что Арагон и она заедут за мной вечером - мы вместе поужинаем. Нас повезли в посольство, где посол объяснил политическое положение. Я старался слушать - и не мог. Вдруг я понял, что заболел - весь в поту, наверно, температура. Это уж совсем глупо!... Потом меня повезли в гостиницу на правом берегу возле зала Пленель, где должен был проходить конгресс. Я ничего не понимал, не видел - сильный жар. Вдруг шофер, пожилой француз, сказал: «Ну и жарыща!...» Я вытаращил глаза: «Вам, значит, тоже жарко?...» Он, в свою очередь, удивился: «Да ведь тридцать градусов, все газеты пишут, что такого в апреле не было сто лет...» Я обрадовался: значит, не болен. Я увидел то, чего прежде не замечал: на верандах кафе люди без пиджаков жадно пьют пиво или лимонад. Но в голове по-прежнему было смутно.

Арагоны повели меня в ресторан «Медитерране»; там было шумно, тесно; люди рассказывали о том, как провели пасхальные каникулы. К Арагонам подходили знакомые, шутили. А Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: «Что это значит - «космополиты»?

Почему раскрывают псевдопимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог. Подошел Кокто и завел светский разговор, я старался улыбаться. Ворочали усищами огромные лангусты. Соседи смеялись. Было нестерпимо жарко.

В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать - что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты - заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: «Хочу домой». Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял: «Домой!»...

Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно - самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он «верен людям, веку, судьбе».

Утром, когда я брился, в комнату вбежал Фотинский: «Я прочитал в газете, что ты приехал, а в посольстве сказали, где ты...» Фотинский не задавал мне неприятных вопросов, а начал рассказывать о забастовках, о том, что все против правительства, о Монпарнасе, о Дусе, о художниках. «Много интересных выставок. Ты сейчас свободен?...» Мы пробродили до обеда. Я глядел то на Сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблони Сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фотинский вдруг встревожено спросил: «А ты здоров?» Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, но ничего не мог забыть, мне трудно было разговаривать отвечал невпопад.

Перед обедом мы зашли в кафе. На столике лежала оставленная кем-то газета. Я машинально развернул, мне бросилась в глаза заметка: «Преступная слабость правительства. Вчера из Москвы прилетела группа, которой поручено организовать в Париже беспорядки под вывеской «конгресса за мир». Правительство выдало визу даже хорошо известному Илье Эренбургу, который написал клеветнический «роман» «Падение Парижа» и который примечателен тем, что получил от Сталина дворец великого князя в Крыму за организацию террористической сети в странах, свободных от коммунистической тирании. Вместе с Эренбургом «защищать мир» будут уполномоченный Тореза расторопный Арагон, английский «ученый» Бернал, неизвестный в научных кругах, но слишком хорошо известный полиции, некто Цвейг, выдающий себя за писателя, разумеется, Жолио-Кюри, решивший окончательно поменять профессию физика на должность главного кремлевского агитатора, и старый клоун Пикассо, изготовивший марксистскую голубку, которая загадила все стены нашего прекрасного, но, увы, беззащитного Парижа». Я засунул газету в карман и сказал Фотинскому: «Давай выпьем за врагов». Он не понял, а я не стал объяснять.

Работая над этой книгой и вспоминая трудные годы, я часто с благодарностью думаю о врагах. Конечно, ругань вроде тех строк, которые я выписал, можно было найти только в листках будущих

«ультра», «Фигаро», даже «Орор» говорили языком более сдержанным, но они также клеветали, грозили. Враги помогали мне многое преодолеть, напоминали, что, как бы ни были горьки события последних месяцев или лет, они не должны заслонить главного. Так было и в тот день - я как-то очнулся, даже повеселел.

На следующий день открылся Конгресс сторонников мира. Он заседал в большом концертном зале Плейель - в районе, где живут состоятельные люди. Однако с утра возле входа в зал толпились и студенты, и модистки, и рабочие, и случайные зеваки. Жолио-Кюри, Пикассо, Ива Фаржа, Арагона узнавали, приветствовали. Разглядывали яркие народные костюмы некоторые полек и словачек, юбочки шотландцев. Гадали, откуда приехал бородатый епископ в ослепительно белом клобуке - из Греции или из Болгарии? А это был митрополит Крутицкий Николай. (Я несколько раз летал с ним на конгрессы или сессии Всемирного Совета и всегда видел картонку для дамских шляп, в которой он вез клобук.)

Зал был набит и делегатами, а их было около двух тысяч, и гостями. Раздавались возгласы на понятных и непонятных языках. Зал был шумливым, южным - самыми многочисленными делегациями были французская и итальянская. Это был, кажется, первый международный конгресс после войны, и молодым все было внове. Речи то и дело прерывались возгласами, смехом, аплодисментами.

В 1949 году «холодная война» перешла из газетных статей не только в государственные договоры, но и в повседневный быт. Именно в том году родился Атлантический пакт. Раскол Германии принял государственные формы: в том же году в Бонне была провозглашена федеральная республика, а полгода спустя образовалась демократическая республика. На одном из заседаний конгресса огласили сообщение, что Народная армия освободила Нанкин; Китайская Народная Республика родилась в 1949 году, и в том же году Голландия вынуждена была признать независимость Индонезии. Во Вьетнаме продолжались бои. Сражались и в Греции, перед открытием конгресса партизаны снова заняли гору Граммос, но исход гражданской войны был предрешен «доктриной Трумэна». В Италии то и дело вспыхивали забастовки, происходили бурные демонстрации, никто не знал, как повернутся события. Мне казалось, что и в самой Франции борьба разгорается; только год спустя я понял, что

грандиозные забастовки 1947-1948 годов были последними валами послевоенной бури. Американцы давали деньги («план Маршалла»). Заводы начали обновлять обветшавшее оборудование. В магазинах стало больше товаров. Правда, цены росли и многие французы еще жили очень плохо. Но все понимали, что страна экономически встает на ноги.

Однако и читатели «Фигаро», и читатели «Юманите» боялись думать о будущем. В одном средней руки ресторане я услышал разговор, который мне напомнил весну 1939 года: «Мы решили провести каникулы возле Брива, там у жены тетка. Конечно, если не начнется война...» О таких же настроениях мне рассказывали англичане, итальянцы, бельгийцы. Конгресс отвечал тревоге сотен миллионов людей - слишком свежей была память о годах войны, слишком тревожными газетные сообщения. Одни опасались, что американцы начнут превентивную войну, другие считали, что не сегодня завтра русские танки двинутся к атлантическому побережью.

Газеты, поддерживавшие политику Трумэна, хотели замолчать конгресс, но не выдержали. Передо мною заметка в «Пари-пресс»: «На пресс-конференции знаменитый советский писатель Илья Эренбург ответил на вопрос одного журналиста, не считает ли он, что Соединенные Штаты действительно хотят мира: «Нельзя делать два дела вместе - говорить о мире и при этом вытаскивать из кармана атомную бомбу». Американская реакция была молниеносной. Вчера вечером атташе государственного департамента г. Мак Дермотт заявил: «Участники Парижского конгресса сторонников мира стараются доказать, как это им предписано, что только Советский Союз хочет мира. Все это ловкая пропаганда Москвы». Французская газета «Ле монд» писала, что коммунисты «нашли лозунг, понятный всем».

Был ли конгресс коммунистическим, как утверждали газеты? По моему, нет. Если посмотреть состав инициативного комитета, приветствия, список участников, можно увидеть ряд имен политических деятелей, писателей, художников, очень далеких от коммунистической идеологии. Назову некоторые имена, которые имеются в маленькой энциклопедии Ларусса, следовательно - известны даже французским школьникам: бывший президент Мексики Карденас, бельгийская королева Елизавета, Генрих Манн,

Матисс, Шагал, Чарли Чаплин, драматург Салакру. Среди различных организаций, поддержавших созыв конгресса, я нашел такие: Союз часовых мастеров Женевы, университет Панама, Союз художников Аргентины, Объединение мелких коммерсантов Туниса, Ассоциация норвежских домашних хозяек. Лига защиты детей в Сирии и другие, мало напоминающие компартии.

На конгрессе я слышал несколько выступлений людей, которых трудно причислить не только к коммунистам, но и к социалистам. Американского юриста Рогге я встретил впервые на Вроцлавском конгрессе. Он показался мне хорошим оратором, человеком с путаными идеями, деловым и в то же время наивным - я встречал таких в Америке. Беседуя со мной, он говорил, что спасение человечества в психоанализе. Ему аплодировали, когда он осудил Атлантический пакт. Он сказал, что американцы напрасно боятся русских, а русские американцев, мир идет к войне, подгоняемый всеобщим страхом. Он сказал также, что у капитализма и у социализма есть свои слабости и свои достоинства; молодые итальянцы и французы неодобрительно зашумели. Однако проводили Рогге аплодисментами и выбрали в постоянный комитет конгресса. (На Втором конгрессе, в Варшаве, Рогге протестовал против нападков на Югославию, обвинял в корейской войне обе стороны. Его речь прерывали свистки наиболее экспансивных делегатов. Он отошел от движения.)

Английский юрист Мур с юмором, напоминающим «Пиквикский клуб», обличал некоторые, на его взгляд, чересчур воинственные речи делегатов, советовал быть осмотрительнее в выражениях, искать не односторонних осуждений, а соглашения, приемлемого для обеих сторон. «Холодная война» приучила всех к другому языку, и речь Мура многих рассердила, но ему дали договорить до конца, и часть зала ему аплодировала.

Пожалуй, наиболее возмутила молодых коммунистов речь шведской пацифистки, руководительницы религиозной организации Седергрэн. Я сейчас просмотрел стенограммы конгресса. Седергрэн сказала: «Нам угрожают два гиганта - американский капитализм и русский большевизм». (Шум в зале.) Кончила она словами: «Попытаемся же стать мостом над бездной, разделившей мир. Человечеству нужны мир и свобода». (Шумные аплодисменты.)

На конгрессе выступили только два человека, известные всем как профессиональные политики: итальянский социалист Ненни и левый лейборист Зиллиакус. Делегаты знали, что Жолио-Кюри, Пикассо, Неруда, Амаду - коммунисты, но для всех они были большими учеными или художниками.

(Как всякое движение, Движение сторонников мира пережило и приливы и отливы, было текучим - одни уходили, приходили другие. В 1956 году от движения отошло большинство итальянских социалистов. В разное время и по разным причинам ушли писатели Фаст, Бломберг, Веркор, Мартен-Шофье, Кассу, Итало Кальвино. В 1952 году на конгрессе выступил Сартр. К движению примкнули д'Астье, шведский писатель Лундквист, депутаты индийской партии Конгресса, японский профессор Ясуи, многие другие. Пожалуй, всего характернее для Движения сторонников мира роль людей, которых никак нельзя назвать профессиональными политиками,- ученых Жолио-Кюри, Бернала и блистательных дилетантов в различных областях, включая политику, вроде Ива Фаржа или д'Астье.)

Если в 1949 году социальная борьба в Западной Европе начала несколько утихать, то борьба против подготовки войны только начиналась. Конечно, на Парижском конгрессе было немало людей известных (перечислю хотя бы писателей: Арагон, Неруда, Элюар, Амаду, Арнольд Цвейг, Фадеев, Зегерс, Гильен, Андрич), но это был прежде всего конгресс людей, которых газеты называют «простыми», хотя зачастую они куда сложнее многих знаменитостей.

В кулуарах я познакомился с делегаткой города Лориан, сильно разрушенного во время войны; ее фамилии была Кере. На конгрессе она не выступала, но рассказала мне, почему решила бороться за мир: «Мой Луи был матросом, он погиб в 1942 году. У него была невеста. Он был такой веселый... Мой Жозеф ушел в маки. Он партизанил недалеко от Лориана. Его послали на мотоцикле не знаю зачем, и один мерзавец его выдал, его пытали, потом убили и сожгли, это мне рассказал его товарищ. Мой Жильбер партизанил в Коррез, а потом, как Луи, возле Лориана. Он был ранен, ему ампутировали обе ноги, он умер накануне победы - седьмого мая. Мне сказали в госпитале, что перед смертью он звал маму. Мой Альберт был женат, остались две дочери. Его расстреляли возле нашего дома... Я здесь познакомилась со многими матерями, я понимаю, почему они

приехали. У нас слишком короткие руки, чтобы обнять как следует в первый день войны, а потом и руки ни к чему - некого обнимать...» Я записал ее рассказ.

Я встретил на конгрессе некоторых моих старых друзей - итальянского писателя Бонтемпелли, Пабло Неруду, я их не видел после войны; познакомился с людьми, с которыми потом подружился, с Жолио-Кюри, Фаржем, Жоржи Амаду, Монтегю (о них расскажу в следующих главах). Мои дни были полны впечатлениями - многое и для меня было внове.

На конгрессе были и югославы; но по решению Сталина их в газетах социалистических стран называли «изменниками». Милый Андрич прислал мне гаванскую сигару с записочкой: «Мы сейчас не можем встретиться, но знайте, что я остаюсь вашим другом».

На второй день конгресса французы устроили в баре зала Плейель мою пресс-конференцию. Собралось полтора ста журналистов различных стран и различных мастей. Мне пришлось ответить на девяносто два вопроса, некоторые из них были коварными. Газета «Ле монд», относившаяся к конгрессу, скорее, неприязненно, писала: «У г. Ильи Эренбурга галстук завязан наизнанку, и вид у него человека очень рассеянного, но он показал в своих ответах, что внешность обманчива». Газета «Джиорнале д'Италия» сообщала: «Удивительно спокойно Илья Эренбург отвечал на многочисленные вопросы и вышел сухим из воды». На самом деле и очень волновался, может быть, именно поэтому казался спокойным.

После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. Он попросил меня прочитать переводы и, улыбаясь, повторял:

Ах, Куба, скажи мне, откуда

Взяла ты эту лазурь...

Мы говорили о сути поэзии - о непонятном притяжении и отталкивании слов, и я не вспоминал пресс-конференцию.

Журналисты мне, однако, не давали покоя. На следующее утро, не стучась, вошел фоторепортер и, разочарованный, сказал: «Вы уже одеты? Ничего не выйдет...» Вечером и ужинал с итальянскими писателями; пригласил меня издатель Эйнауди. По его просьбе я выбрал ресторан - ту «Жозефину», куда водил генерала Галактионова

и Симонова. Мы оживленно беседовали в маленькой комнате, когда муж Жозефины, чрезвычайно рослый мужчина, сказал мне: «Там два журналиста, они хотят вас сфотографировать». Я поглядел в щелку и увидел того, что утром, не стучась, ворвался в мой номер. «Не хочу», - ответил я. Донесся шум - это хозяин выбросил на улицу упрямых репортеров. Я вернулся в гостиницу поздно ночью. Лифт был с решеткой. Вдруг вспыхнула лампочка, я увидел знакомое лицо, аппарат. В «Самди-суар» появилась фотография с пояснительным заголовком: «Илья Эренбург в Париже скрывается за железным занавесом». Я походил на злого старого каторжника - фоторепортер умел работать.

На третий день конгресса выступил митрополит Николай. Он говорил немного по-французски и в конце речи произнес по-французски несколько слов. Это растрогало зал. Я подумал: ему можно, а мне нельзя стоит начаться очередной кампании, и кто-нибудь обязательно припомнит: низкопоклонствовал перед французами, известное дело - космополит!

В тот же день на вечернем заседании выступил я. В моей речи было такое место: «По древнему преданию, к мудрому судье пришли две женщины, они спорили: кому принадлежит ребенок? Та женщина, которая прикидывалась матерью, сказала судье: «Разруби ребенка пополам». Она так говорила, потому что это был не ее ребенок...» Когда я вернулся на свое место, митрополит Николай меня поздравил: «Хорошо. Мне особенно понравился образ двух женщин из Библии. Вам-то можно, а мне нельзя...»

Если просмотреть стенограммы конгресса и припомнить климат тех лет, то можно назвать мое выступление вполне миролюбивым. Я говорил, что писал его в Москве, надеясь - не понравится и не пошлют на конгресс. Я не только отрекся от модного тогда утверждения, что приоритет почти всех открытий принадлежит русским, но и припомнил слова Герцена о «священных камнях» Европы. В конце речи я сказал: «Сохраним наш общий дом, нашу древнюю культуру! Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксисты или кантианцы, католики или свободомыслящие. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего социального строя. Мы предпочитаем это

доказать трудом, творчеством, прогрессом. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые ненавидят войну». Это понравилось залу, а говорил я искренне: считал (и теперь считаю), что только при таком объединении можно сохранить мир.

На следующий день, в воскресенье, был грандиозный митинг в южном пригороде Парижа на стадионе Буффало. Из провинции прибыли «караваны мира» - поезда, автобусы, добрались «караваны» из Италии с мэрами двадцати городов, из Бельгии, Голландии. Делегации проходили перед трибуной президиума конгресса. Стадион вмещает восемьдесят тысяч человек, а демонстрантов было, судя по газетам, четыреста - пятьсот тысяч. Меня особенно взволновало шествие бывших узников гитлеровских концлагерей. Они шли в полосатых костюмах с номерами - сохранили их как реликвии.

К вечеру сразу после конца митинга разразилась гроза с проливным дождем. На улице предместья я забрался под навес. Рядом стояла женщина в черном суконном платье - так одеваются крестьянки, отправляясь в город; лицо у нее было румяное и морщинистое, похожее на зимнее яблоко. Она радовалась ливню - ведь дождей не было с февраля при необычно ранней и знойной весне: «Вот даже бог почувствовал!...» По улочке бежали участники демонстрации, подгоняемые дождем, и, глядя на них, женщина сказала: «Теперь они увидят, что люди не дураки...»

Меня позвал к себе в мастерскую Пикассо. У него был Элюар, и мы пообедали вдвоем - отпраздновали радостное событие: накануне у Пикассо родилась дочка. Он улыбался, как молодой отец, хотя ему было под семьдесят. (Впрочем, с Пикассо я всегда забываю о возрасте: когда он был молод, он мне казался умудренным стариком, теперь в нем задор юноши.) Пикассо сказал, что назовет дочку Палома (по-испански это значит «голубка»). Мы поглядели на десяток живых голубей в огромной клетке, они ссорились и довольно противно кричали.

Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилль и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской академии художеств Альфредом Меннингсоном, на котором присутствовали Черчилль и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на

Пикассо и Матисса: «Они не могут нарисовать дерево. Кстати, г. Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, сможете ли вы дать ему ногой в зад?» Я ответил: «Разумеется». Пикассо сделал вид, что он испугался: «Хорошо, что я не в Лондоне) Их ведь двое. А вдруг и маршал бы присоединился...»

Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты, вдруг Элюар тихо сказал: «Это очень нужно. Не только мне или тебе - всем. Это как воздух...»

Пикассо поглядел на часы: «А ведь пора на конгресс...» Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком,- словом, вел себя как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек.

Меня повезли на улицу возле театра «Комеди Франсэз». В богатой квартире жил только что приехавший в Париж Пабло Неруда. Увидев его, я обомлел: никогда я не думал, что усы, даже большущие, могут настолько изменить лицо. Одни говорят, что Неруда похож на Будду, другие шутя сравнивали его с муравьем; во всяком случае, усы ему не подходят, да он их и отрастил, чтобы его не узнали. Из Чили он пробрался в Аргентину, а оттуда под чужим именем приехал в Париж. Он не мог показаться в зале Плейель до того, как власти легализуют его въезд во Францию - об этом шли переговоры.

Мы долго хлопали друг друга по спине. Потом Пабло сказал, что он голоден, и мы начали обедать. Важный лакей наливал чудесные вина. Неруда обличал чилийского диктатора Виделу, рассказывал, как его спрятали от полиции, как он перебрался через границу. Он похвалил бургундское вино, но добавил, что в Чили есть вина получше. Пообедав, он начал засыпать.

На конгрессе он появился в последний день, уже без усов. Его встретили и проводили оглушительной овацией. Не все, конечно, читали стихи Неруды, но все знали, что он - знаменитый поэт, что он выступил против диктатора, скрывался в подполье, перебрался через Анды (одни говорили - пешком, другие - на коне, третьи - на осле). Бог ты мой, как людям нужна романтика! Нужна она даже заведомым

сухарям. А в зале было много молодых, они в восторге кричали - перед ними на трибуне поэт и герой, он читает стихи, это не отчет мандатной комиссии и даже не речь, посвященная Уставу ООН...

После конца конгресса мне не удалось побродить по Парижу, Отдохнуть. Французские сторонники мира попросили Фадеева выступить в Лиможе, а меня в Дижоне. Я думал, что все пройдет спокойно, и утешал себя, что снова увижу город, который люблю.

В Дижоне мне сразу сказали: «Ваш приезд бомба. Наверно, вечером будет драка». Мне дали местные газеты, и я прочитал уморительную историю. Один из членов муниципального совета, коммунист, предложил, чтобы меня приняли в мэрии. Это предложение вызвало в муниципальном совете оживленные споры. Мэром Дижона был католик, каноник Кир, который во время посещения Франции Н. С. Хрущевым проявил себя смелым человеком и горячим сторонником мира. В годы фашистской оккупации каноник вел себя как примерный патриот, был приговорен к расстрелу. В 1949 году он, однако, как очень многие, поддался антисоветской кампании и в корректной форме высказался против предложения коммунистов. Другие советники из правого лагеря повторяли доводы «Эмок» или «Орор», уверяли, что «Падение Парижа» - «грязная, клеветническая книга», что Конгресс сторонников мира устроен Москвой для того, чтобы усыпить французскую бдительность, что Советская Армия готовится к походу на Париж. В двенадцатом часу ночи приступили к голосованию. Восемнадцать советников голосовали против предложения, шесть коммунистов - за, а пять социалистов воздержались. Вот это меня и рассмешило. Можно воздержаться, когда голосуют закон, постановление, даже регламент, но вопрос шел о том, принять ли иностранного писателя в мэрии или нет, и социалисты все же воздержались. Я смеялся, а дижонские сторонники мира говорили, что им не до смеху. Воспользовавшись свободным часом, я пошел посмотреть химер на дижоиском соборе Нотр-Дам.

Когда я вошел в зал, народу было столько, что люди не могли шелохнуться. Вдруг погас свет - не знаю, было ли это саботажем, как говорили дижонские друзья, или случайной аварией, но положение обострилось. На трибуну принесли несколько свечей. Зал гудел. В темноте легко начать драку, тогда всем придется уйти... Я решил прибегнуть к маневру. В самом начале речи я сказал, что приехал в

Дижон, хотя во Франции останусь всего несколько дней. Я - офицер Почетного легиона, но визу мне не продлевают. А награду я получил в годы войны от генерала де Голля. В задних рядах раздались аплодисменты. Принесли еще одну свечу, и дижонец мне шепнул: «Это аплодируют голлисты, я знаю, где они сидят...» Вечер кончился благополучно.

Дижонцы решили повезти меня в винодельческий район Романэ, Вужо, Ньюи. На следующий вечер я должен был выступить в Париже, и уехать туда нужно было не позднее двух часов. Мы выехали очень рано, и я раздобыл в гостинице только чашку черного кофе. Мы останавливались у виноделов, которых знали мои попутчики; принимали нас радушно, показывали виноградники, погреба, угощали вином. Я люблю красное бургундское, но его нужно пить за обедом с мясом или сыром. А мне приходилось дегустировать натошак, я боялся, что опьянею, и все же пил: отказаться - значило обидеть людей, которые гордятся своими бутылками, как художник холстами.

В Ньюи меня повезли к богатой владелице виноградников. Она сначала недоверчиво на меня поглядывала, даже заметила, что предпочитает красное вино красным идеям. О конгрессе она ничего не знала: «Я не читаю газет. Там такой ужас, что теряешь голову. А мне нужно присматривать за вином... Я люблю читать романы, там, если даже герой погибает, то красиво, благородно...» Она начала приносить бутылки, к счастью, дала хлеб и сыр, обрадовалась, когда увидела, что и разбираюсь в вине, отмечаю лучшие бутылки. Один из моих попутчиков объяснил: я долго жил во Франции, написал роман «Падение Парижа». Женщина всплеснула руками: «Но я читала этот роман! Это ужасно грустная книга, я даже заплакала, когда убили бедную актрису». Она убежала и вернулась с бутылкой, покрытой густым слоем пыли: «Это самое лучшее вино в Ньюи. Случайно уцелела одна бутылка... Я хотела ее поднести канонику Киру. Но я уверена, что он не обидится, когда я ему расскажу, что угостила русского писателя,- Он мне говорил, что русские замечательно воевали...»

Когда я доехал до Парижа, пришлось сразу отправиться в «Мютюалите» - я выступал в том самом зале, где в 1935 году заседал Антифашистский конгресс писателей. Доклад устроило Общество дружбы. Говорить мне было легко, а когда я кончил, ко мне подошел

Элюар: «Знаешь, через две недели я, кажется, поеду с Фаржем в Грецию - в район, который наши удерживают. Это счастье!...»

На следующий вечер я выступал в Версале; не знал, как меня там встретят: Версаль - город чиновников, военных, рантье. Председательствовал один из вдохновителей общества «Франция - Советский Союз», почетный председатель государственного банка Франции Эмиль Лабейри. Это был человек немолодой, с тем скрытым огнем, который отмечает людей прошлого века. В его квартире, весьма скромной, я увидел на стенах замечательные холсты и рисунки - он любил искусство. (Десять лет спустя он приехал в Москву. Я его позвал к себе, он принес рисунок Коро - драматический пейзаж. Я не хотел брать слишком ценный подарок: «Почему вы решили подарить его мне?») Он улыбнулся: «Потому что я стар и потому что я вас люблю.» Я говорил о дружбе двух народов, о единстве культуры, о мире, и все оказалось проще, чем я думал.

В Постоянный комитет конгресса включили девять советских делегатов, в том числе и меня. Я подумал: вывеска... Герой - Маресьев, мать Зои, митрополит, писатель. Когда я прощался с Ивом Фаржем, он мне сказал: «Объясните вашим друзьям, что нужно бороться против врагов мира, а не против пацифистов или людей, которые не согласны ни с коммунистами, ни со мной, но искренне хотят мира и готовы участвовать в нашем движении...» Я ответил, что вполне с ним согласен.

В самолете я вспоминал дни конгресса. Люди, с которыми я встретился, мне понравились (некоторые из них потом стали моими близкими друзьями). Да и дело было чистым: постараться убедить всех, что третья мировая война уничтожит цивилизацию.

«Холодная война» проникала во все поры человечества. В Вашингтоне работала хорошо памятная Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, всех, кто осмелился вымолвить «мир», она осуждала за «сочувствие к коммунизму». В день отъезда из Парижа я прочитал в газете «Франс-суар» коротенькое сообщение, что полиция задержала «четырёх молодых коммунистов, которые возле здания посольства Соединенных Штатов кричали: «Мы хотим мира», и другие оскорбительные слова».

Я прочитал «Правду» от 1 мая. В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. Синклера Льюиса называли

«грязной душонкой», Хемингуэя - «потерявшим совесть снобом». Фейхтвангера «литературным торгашом». Это было несправедливо и бессмысленно: в те годы мы как будто толкали людей к апологетам американской «комиссии». Я вспомнил слова Фаржа. Конечно, никто у нас не хочет войны; ни обыкновенные советские люди, ни Сталин. Но полагается ругать Запад, вот и стараются...

Конечно, я не мог тогда подуматься, что Парижский конгресс станет началом нового тома моей жизни, что я буду отдавать различным конгрессам, конференциям, совещаниям больше времени, чем моему ремеслу. Я охотно выполнял и выполняю эту работу. Со дня Парижского конгресса прошло пятнадцать лет. Движение сторонников мира узнало и романтику и бюрократию, и победы и неудачи, и мудрые решения и грубые ошибки, но оно превратилось в подлинную силу.

Когда я пишу эти строки, весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов. Жолио-Кюри мне однажды сказал: «Бизнесмену, богатеющему на уране, безразлично, что будет после него, но люди, которые думают о будущем, которые идут на жертвы, чтобы юноши двадцать первого века жили чисто, справедливо, по-человечески, не должны убивать или калечить правнуков...» Радуюсь вместе с миллионами людей, я думаю о скромной, но благородной роли Движения сторонников мира. В темные, глухие годы сторонники мира говорили на языке человеческой солидарности. Мне радостно, что в океане доброй воли - капля моих лет... А началось все в Париже в ослепительную, но нерадостную весну 1949 года.

В Париже меня позвал обедать мой старый друг, художник, писатель, а в то время посол Чехословакии Адольф Гофмейстер. Я увидел у него художника Шиму, который прожил почти всю жизнь в Париже и неожиданно стал дипломатом - культурным атташе. Говорили мы не о политике, а об искусстве, вспоминали молодость, Прагу. Гофмейстер рисовал Незвала с лирой, а меня на чемодане. Он сказал, что меня просят выступить в Праге с рассказом о конгрессе. Прямого сообщения Париж - Москва тогда не было, ночевали в Праге, и я согласился.

На пражском аэродроме молодой человек сказал мне: «Ваш доклад завтра. Министр иностранных дел товарищ Клементис просил вас прийти к нему сегодня вечером».

Я жил в эпоху, когда судьба то и дело тасовала колоду. Многие из друзей моей молодости оказывались на необычайных местах. Сидя в кабинете министра иностранных дел Чехословакии, я вспомнил, как познакомился с Владо.

Это было в Братиславе, в январе 1928 года. Молодой сотрудник местной «Правды» и вдохновитель литературно-художественного журнала «Дав», Владо Клементис повел меня «под вехи». (В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в год торговать своим вином распивочно. Над дверьми он вывешивал «веху» - сухую ветку.) В комнате былолюдно, шумно. Заходили музыканты, торговцы бубликами и копченым сыром. За нашим столом сидели молодые словацкие писатели. Меня расспрашивали о Маяковском, о конструктивизме, об индустриализации Советского Союза, о том, что теперь делают Эйзенштейн, Мейерхольд, Татлин. Клементис говорил о победе марксизма, а потом вдруг запел песню про разбойника Яношика, который грабил богатых и раздавал награбленное голытьбе. Все подхватили. Клементис сказал с усмешкой, за которой я почувствовал и смущенной гордость: «Вот мы, словаки, какие...»

В квартире министра иностранных дел было тесно от чужих громоздких вещей. Мы поужинали, Клементис спрашивал про конгресс, говорил о Берлине, о том, что в Америке есть люди, которые

хотят начать войну. За несколько лет он изменился - потяжелел, помрачнел. Поглядев на него, я подумал: наверно, нелегко быть министром...

Лида принесла бутылку. Я пригубил рюмочку и вдруг вспомнил вслух: «У твоего отца в Тисовце была чудесная персиковая наливка и еще настойка, которую я называл «зубровкой»... Владо оживился, повеселел. Мы начали вспоминать далекое прошлое, прекрасные пустышки, похожие на паутину осеннего леса. Мы больше не говорили о предстоящем совещании министров иностранных дел четырех держав, обходили все, что нас тревожило. Мы вспоминали друзей, бывшие споры, шутки. Только когда я уходил, Владо вдруг сказал: «А ты помнишь, как в тридцать девятом я пришел к тебе на улицу Котантен? Ты болел. Мы говорили о политике, потом ты мне прочитал твои стихи «Верность». А ведь это правильно; если нас что-то спасает, так только верность...»

Случайно у меня сохранился том «Литературной энциклопедии», выпущенной в 1930 году. Там я нашел справку: «Дав» еженедельный литературно-общественный словацкий журнал, издаваемый в Братиславе, объединяет словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов. Журнал редактируется коллективно. Основную работу ведет молодой талантливый журналист коммунист Владимир Клементис». Энциклопедия называет среди сотрудников «Дава» Поничана, Новомеского, Илемницкого, Даниила Окали.

В Праге мне говорили, что «Дав» - это нечто вроде словацкого варианта «Деветсила». С «деветсилцами» я познакомился еще в конце 1932 года; среди них были крупные писатели - Незвал, Ванчура, Библ, Галас, Сейферт; талантливые художники, режиссеры, архитекторы. К концу двадцатых годов они продолжали говорить о связи конструктивизма и коммунизма, увлекались индустриальной эстетикой, фотомонтажом, ассоциациями образов, любили Маяковского, Пикассо, Ле Корбюзье, Эйзенштейна, Вертова, Арагона. Теоретиком «Деветсила» был Тейге, веселый начетчик, классный наставник со страстью Дон-Кихота; он умел найти марксистское объяснение словотворчества Хлебникова или «каллиграмм» Аполлинера. Чехия была богатой индустриальной страной, коммунисты там обладали большим влиянием. Прагу обдували различные ветры. Художники «Деветсила» ездили в Париж. Незвал

влюбился в Бретона. А Словакия напоминала бедную губернию дореволюционной России. Во главе «Дава» был Владимир Клементис, сын сельского учителя, коммунист. Он не сводил глаз с Москвы - для «давовцев» любой сотрудник «Лефа» был куда авторитетнее, чем все сюрреалисты мира.

В январе 1928 года я пробыл в Словакии всего неделю. Клементис уговаривал меня приехать летом, обещал показать страну. Я сказал: «Постараюсь», - словаки мне сразу пришлись по душе, в них было много бескорыстности, порой наивности, той, что связана с душевной широтой.

Вернувшись в Париж, я получил посылку и письмо от Клементиса. Он прислал мне словацкие народные трубки «запекачки» и писал: «Ту запекачку, что завернута отдельно, я получил так: я пошел к одному старику, рьяному курильщику. Услышав о том, что мне нужно, он вынул трубку изо рта и дал мне ее. Он сказал, что курит ее уже тридцать лет, но хочет ее отдать, так как любит русских (конечно, на старый лад, как любили наши отцы). Эта трубка связана для него с одним воспоминанием. Дело было двадцать семь лет тому назад. Он красил крышу, и ему хотелось курить. Запекачку не следует закуривать, как обыкновенную трубку, тогда внизу остается «мочка», то есть несгоревший слой мокрого табаку. Но на крыше костра не было, а он курил за трубкой трубку. Ночью он вдруг вспомнил, что в за некачке образовалась «мочка». Он встал и вышел во двор, чтобы отдать «мочку» работнику Юро - тот любил жевать табак. Юро не было. Он пошел в хлев. Вдруг он услышал бульканье. Он подбежал к колодцу и увидел своего сына, трехлетнего мальчика, который упал вниз и, держась за перекладину, еще бился. Он его вытащил. Теперь его сын - врач в нашем селе. Вот и вся история. Это, конечно, не литература, но я обещал старику передать ее вам вместе с запекачкой».

Я читал письмо Клементиса друзьям, процитировал его в очерке. Запекачка давно разбилась, а рассказ о том, как старый словак отдал дорогую ему трубку потому, что «любит русских», волнует меня и теперь. Волнует и оговорка Клементиса: «конечно, на старый лад, как любили наши отцы» - в этом противопоставлении история «Дава», судьба Клементиса, Новомеского, многих моих друзей.

Летом того же 1928 года я снова приехал в Словакию. «Давовцы» мне показали страну, глухие деревушки Оравы, Татры, Прешов, Бардиев, Кошицы, венгерские монастыри барокко и горные шалаши пастухов. Клементис был прав - тогда, кажется, только в Словакии слово «русский» открывало все двери. Правда, любовь была разной. В Турчанском Мартине сидели старые правоверные славянофилы. Там я видел на кладбище могилы первых просветителей с надписями на русском языке. В «Славянской матице» висели портреты Пушкина и Лермонтова. Я бродил по улице Гоголя. При Габсбургах Чехия входила в Австрию, и австрийцы старались онемечить чехов, но в стране была интеллигенция, преданная родному языку, богатой культуре прошлого. А венгры, которые правили Словакией, не строили заводов, они пили в ресторанах Братиславы и Кошиц крепкое вино «ассу» и предпочитали школьным учителям священников и жандармов. (До первой мировой войны большинство словацких крестьян было неграмотным.) Все надежды словацких патриотов связывались с Россией. В Турчанском Мартине знали не только Пушкина, но и Хомякова, почитали не только Толстого, но и генерала Скобелева. Октябрьская революция многим деятелям «Славянской матицы» казалась загадочным и преходящим эпизодом. Помню, один седоволосый литератор жаловался мне: «Прислали стихи из Москвы. Удивительно, как такое печатают!... Говорили, что автор покончил с собой. Может быть, у него и был талант, но он писал не по-русски. Пушкин говорил на другом языке. Сейчас я вспомню имя автора... Есенин...» (Не знаю, дожили ли эти «славянофилы» до сороковых годов и как они вели себя - пытались с помощью Гитлера «освободить русских братьев» или кое-что поняли. Может быть, некоторые помогали словацким повстанцам?...)

«Давовцы» любили Россию по-другому - любили народ Октября, читали Маяковского, Есенина, Пастернака, Багрицкого; это было двойной любовью - к близкому народу и к революции. В увлечении «давовцев» Маяковским, теориями «Лефа», современным искусством было что-то от романтического бунтарства,- кажется, нигде я не видел такой привязанности к орнаменту, к традиционным народным костюмам, как в словацкой деревне: крестьяне расписывали не только печи, но даже могильные кресты; и вот их дети увлеклись голым, рассудочным, сухим конструктивизмом.

(В 1950 году я увидел Словакию переменившейся. Народные костюмы перекочевали из быта в костюмерные ансамбли, новые дома, большие заводы, электростанции. Вместе с курными избами и нищетой исчезли пестрые «фартучки» молодых крестьян, расписные печи, картинки на стекле. Таков закон века, и, глядя на залитую светом долину Вага, я не стал вздыхать о прошлом.)

В 1928 году, когда я впервые увидел Словакию, это была страна без городов. Конечно, в Братиславе жили словацкие писатели, там выходили газеты, журналы, но среди жителей города немцев и венгров было больше, чем словаков. В Кошицах только на базаре, куда приезжали крестьяне, я услышал словацкую речь. Маленькие немецкие города Левоча или Кежмарок с ратушами и готическими церквями, с аккуратными абонентами журнала «Ди вохе» казались перенесенными из другого мира. А городки, где жили словаки,- Брезно, Зволен, Ружомберок, Мартин,- походили на большие села: несколько городских домов - и здесь же хаты, огороды, гуси. Вся словацкая интеллигенция была связана с деревней. В Ясеновой меня повели в избу, где родился один из зачинателей словацкой литературы Кукучин. В такой же избе я увидел Илемницкого - он сидел и писал роман. Как-то я попал в Словакию зимой, и поэт Лацо Новомеский повез меня на рождество в село Сенини, где жили его родители, бабушка. Приехал туда и молодой поэт-«давовец» Иван Хорват. Нас угощали традиционными рождественскими яствами. А Лацо и Хорват говорили о Маяковском, Незвале, Арагоне, Пастернаке...

Клементис возил меня в свое село Тисовец, его родители потчевали нас галушками, сливовицей, зубровкой, радушно суетились. «Давовцы» мечтали об индустриальной красоте и в то же время любили словацких крестьян, малограмотных, но душевно благородных, не прошедших через уродующую души печь капитализма. В этом и было своеобразие «Дава», его трудности. Клементис мог петь песню о старом пастухе, который в последний раз ведет в горы отару, или о Яношике, мог восхищаться красотой старого чепрака, но не раз он говорил мне, что у меня сохранился «ряд идеалистических заблуждений», нужно к тому-то «подойти по-марксистски»...

Помню беседу в горном шалаше над Тисовцем. Владо заговорил о своей судьбе. Он тогда писал о поэзии, любил искусство, для меня он

был одним из молодых писателей. Мы глядели на долину, на старые деревья, на хаты, едва заметные среди зелени садов. Клементис говорил, что главное - борьба, пока чехословаки не сбросят капитализма, не будет ни справедливой жизни, ни настоящего искусства. «Мое дело - партия...»

В 1940-1941 годах Владо сидел в английском лагере на севере Шотландии, времени у него было много, и он написал для своей жены Лиды о своем детстве и отрочестве, о родителях, о родном Тисовце. Теперь эти тетрадки издали, назвав их «Незаконченной хроникой». Книга показывает, насколько ее автор блинок к стихии искусства, но для Клементиса это было только вылазкой из крепости - между винтовкой солдата и министерским портфелем.

О том, что Лацо Новомеский - поэт, можно догадаться, не зная его книг, побыв с ним четверть часа, просто взглянув на него. А если измерить его жизнь аршином, окажется, что больше всего времени он отдал политической деятельности. С 1925 года по 1939-й он редактировал партийные газеты. В годы оккупации входил в подпольный ЦК КПЧ, который подготовлял словацкое восстание. После победы был членом ЦК и министром народного просвещения. Однако его подлинной страстью была поэзии. Однажды он мне сказал: «Совесть подсказывает...» Совесть для него не случайный собеседник, а постоянный суфлер. Архитектор на войне может оказаться в саперной части и взрывать мосты - это его долг, но не призвание.

Клементис и Новомеский были разными людьми, но они любили друг друга, и судьба у них оказалась схожей.

В 1936 году в курортном местечке Тренчанске-Теплице по инициативе «Дава» состоялся съезд словацких писателей. Я тогда работал в секретариате Международной ассоциации антифашистских писателей и поехал на съезд, чтобы предложить словакам войти в ассоциацию. Там были писатели различных толков, некоторые из них потом пошли за сепаратистами-католиками, поставившими на победу Гитлера, другие участвовали в Соппротивлении, партизанили. Клементис и его друзья «давовцы» убедили всех участников съезда войти в антифашистскую ассоциацию. Мы попали в деревню, там нас угощали, пели песни, старик говорил, что русские побьют фашистов, и подымал кулак. Я сказал Владо: «Совсем как и Испании...»

Вскоре началась испанская война. В 1937 году в Валенсии я встретил Новомеского. Мы говорили о боях, о Комитете по невмешательству, об интербригадовцах, только на минуту я припомнил Владо, хаты, светлую зелень Словакии. Лацо писал стихи:

Хотел пересчитать я звездные отары:

покуда не сгорят.

Но тут - о-тэ-ра-ра! - забили пулеметы,

и звезды новые взлетели к старым,

отары-ра-та-та,

о господи,-

отары.

Пришел Мюнхен. Гитлеровцы заняли Прагу. Мир почернел.

Когда началась «странная война», я лежал больной в Париже. Мало кто приходил ко мне: одни возмущались пактом, другие побаивались шпиков. В сентябре пришли Владо и Лида, огорченные, печальные. Потом пришел снова Клементис, он был мрачен, но старался меня приободрить: никогда он не расставался со своим талисманом - верностью. В октябре французы его арестовали и отправили в концлагерь. Накануне разгрома Франции я его увидел в солдатской форме; он хотел сражаться против гитлеровцев, но Франция Потопа капитулировала.

Мы снова увиделись в 1944 году в Москве. Клементис стал видным политическим деятелем. Он рассказывал мне, что англичане и американцы боятся советской победы, строят козни, но был весел, верил в торжество той идеи, которой посвятил свою жизнь. Потом мы вспомнили прошлое, и мне показалось, что я не на улице Горького, а в шалаше над Тисовцем, где старый пастух потчевал меня едкой запеканкой.

В феврале 1949 года в Клубе писателей устроили мой вечер сорокалетие литературной работы. Чехословацкий посол Иржи Горок переслал мне телеграмму «Государственного секретари Клементиса»: «Дорогой Илья, пьем за твоё здоровье тисовскую зубровку. Владо и Лида».

О последней нашей встрече я уже рассказал. Потом я вспоминал: у Владо были очень печальные глаза. Может быть, он просто был усталым после трудного рабочего дня, а может быть, знал, что кольцо клеветы сжимается?

Приехав год спустя в Прагу, где пометался секретариат Всемирного Совета Мира, я узнал от Гофмейстера, что арестовали Лиду, Лацо Новомеского, Ивана Хорвата (он был до этого послом в Будапеште).

Лиду освободили два года спустя. Я встретил ее в Праге, на улице, хотел поговорить, но она пожала руку, сказала: «Не нужно со мной разговаривать», - и убежала.

Выпустили Новомеского, Ивана Хорвата. Лацо я видел в Праге, он работал - переводил, но его стихов не печатали. Иван Хорват умер вскоре после освобождения.

В книге стихов Новомеского, написанных в тюрьме и после, есть стихотворение «Мудрость»:

Лучше стать на колени, чем стоять на костре,
лучше спрятать правду в глубинах души,
словно в ларе,
лишь бы снова потом заявить,
что все-таки вертится...

Как, товарищ Галилей,
может быть, в этом - мудрость?

Но мудрей мудреца смелый, веселый
мальчик из сказки, кричавший тогда:

– Король голый, совершенно голый!

Так громко кричал, что просто беда!

Шли годы, многое на свете менялось. Пришла весна 1963 года, когда Лацо Новомеского восторженно встретили на съезде писателей. Окали написал мне: «Вы, наверно, знаете, что организатора и душу «Дава» товарища Владо Клементиса ложно обвинили в шпионаже и казнили. Я сам вместе с другими товарищами был освобожден после десятилетнего заключения... Теперь, после устранения несправедливостей, пересматривают значение «Дава» для нашей литературы и культуры в широком смысле слова...» Передо мною словацкий журнал, в нем фотография Владо...

Я гляжу и вспоминаю, как в 1949 году, печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи:

...Пройдут по тебе.

Верность сердцу и верность судьбе...

Накануне казни он сказал Лиде, что умирает честным коммунистом.

Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе, о биографии. Мы жили в эпоху, когда лучшие думали об истории. Ложь всеушная и всеильная, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди, жизнь многих может быть покалечена, и все же в итоге правда побеждает. Для Владо, как и для некоторых моих советских друзей, о которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой; но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед.

А сейчас я думаю о далеком вечере «под вехами», когда молодые словацкие писатели пели песню о Яношике. Некоторых нет, другие хлебнули горя, до времени состарились. Вспоминаю и шалаш над Тисовцем, молодого Владо, его очень чистые, светящиеся глаза, слова о борьбе; смеркается, все голубеет, и над мягкими, округлыми горами чуть посвечивает бледная вечерняя звезда.

«Как вы провели последний вечер в Париже?» - спросил меня А. А. Фадеев. Я ответил, что был со старыми друзьями. Он сказал: «А меня замучил Фаст - хотел, чтобы я ему все объяснил... Эх, Илья Григорьевич!... - Он оборвал себя: - Давайте лучше выпьем коньяку». Я поглядел на него и увидел не те глаза, что привык видеть на собраниях и заседаниях, а мягкие, печальные.

О Фадееве говорят, что он был очень талантлив, умен, что он обладал железной волей, что его ценил Сталин. Все это правильно: но слово «талантлив» не справка в послужном списке, оно связано с сотнями помарок на листе рукописи, с внутренними терзаниями, с душевной природой, не всегда подходившей для общественной работы, которую выполнял Фадеев, выполнял не только старательно, но и с увлечением. Все писатели, да, кажется, и все руководители Движении сторонников мира знали его глаза - ясные, холодные, его эрудицию, память, умение придать в статье или в докладе короткой фразе Сталина глубину, блеск, спорность литературного эссе и бесспорность закона. Мне хочется рассказать о другом Фадееве - менее известном.

Познакомился я с ним давно, еще в годы, когда он был одним из лидеров РАПП. Мы встречались в Москве, потом в Мадриде и Париже. «Разгром» мне понравился, но человека я не понимал, вернее, не знал; и в 1940 году, когда я беседовал с ним, он был для меня, скорее, начальником, чем писателем. Вспоминая прошлое, он, в свою очередь, как-то признался: «Я вас считал человеком издалека. В Мадриде я говорил нашим военным, - они вас защищали: «Может быть, он и готов умереть за наше дело, но жить с нами он не хочет, да и не может...»

После войны мы начали приглядываться друг к другу. В Пензе, во время юбилея Белинского, я с ним проговорил весь вечер. Потом мы встретились в Москве, говорили о книгах, о судьбах писателей. Я начал понимать, что Фадеев не такой, каким он мне казался. Но по-настоящему я его узнал в те пять-шесть лет, когда мы вместе работали в Движении сторонников мира; мы разговаривали в самолетах, в

вагонах, часто - то в Осло, то в Вене, то в Праге - Александр Александрович ночью приходил в мой номер и говорил, говорил. Именно поэтому я начал писать о нем после того, как рассказал о Парижском конгрессе.

Я не скажу, чтобы мы подружились, - уж очень разными мы были; но, может быть, поэтому Фадеев порой бывал со мною откровеннее, чем со многими из своих близких друзей. Очевидно, представление о «человеке издалека» где-то в нем оставалось, и, беседуя со мной, он чувствовал себя свободнее, чем со своими друзьями. Друзей у него было немало (я говорю сейчас не о лицемерах, старавшихся угодить человеку, обладавшему властью, а о людях, искренне любивших Александра Александровича). Но мне кажется, что с друзьями он не всегда и не о всем заговаривал. Вот одно из его признаний: «Уж я-то знаю, что такое одиночество!...» Со множеством людей он был на «ты», его называли Сашей; а мы величали друг друга по имени-отчеству.

Рассказать о Фадееве трудно - он был человеком очень сложным, наверно, многое от меня ускользало. Да и события слишком свежи. Мне не хочется строить догадки, и я себя ограничу, попытаюсь выписать из записной книжки, а порой восстановить по памяти некоторые его слова, показать его отношение к некоторым явлениям, рассеять миф о «железном человеке», немного помочь тому, кто через пять или десять лет сядет за книгу о человеке, сыгравшем важную роль в истории нашей литературы.

Фадеев писал в течение тридцати пяти лет, а оставил после себя два законченных романа, два незаконченных, несколько рассказов, сотню статей. Александр Александрович говорил: «Писал много, а написал мало...» Я слышал такое объяснение: «Фадееву не дают писать - Союз писателей, борьба за мир, заседания, митинги, конгрессы...» Действительно, руководство писательскими организациями и Движение сторонников мира отнимали у Александра Александровича много времени, но ведь работал он не по неволе, а по охоте, и когда в последние годы его освободили от некоторых обязанностей, почувствовал не облегчение, а досаду. В Движении за мир он был неутомим, входил во все детали. У меня случайно сохранилось несколько его записок, написанных во время заседаний. Писал он обстоятельно: то просил поговорить с Ненни, то

беспокоился, что выступление одного из американцев рассчитано на полтора часа - делегаты могут начать шуметь, хороню бы попросить укоротить речь, то излагал свои мысли о расширении Движения.

Говорили также, что Фадеев мало пишет, потому что много пьет. Однако Фолкнер пил еще больше и написал несколько десятков романов. Видимо, были у Фадеева другие тормоза.

Я как-то сказал Александру Александровичу, что из его книг мне больше всего нравится «Разгром» - первый роман, написанный двадцатипятилетним юношей. Он ответил: «Естественно: «Разгром» - пережитое. Конечно, сознание своей ответственности иногда приподымает, а иногда оно и вяжет...»

За «Последнего из удэге» он брался чуть ли не каждый год, в течение двенадцати лет: составлял планы, переделывал, считал, что романа не вышло.

Когда Фадеев сел за «Молодую гвардию», ему было уже не двадцать пять, а сорок четыре. История красnodонских подростков его взволновала - он заново пережил свою молодость. Хотя он всегда причислял себя к реалистам, в нем было много романтики.

Судьба романа «Молодая гвардия» связана с тем, что мы называем «культом личности». Роман был написан, издан, пользовался успехом, получил Сталинскую премию. Один из друзей Александра Александровича, С. А. Герасимов, сделал по роману фильм... Тут-то и разразилась гроза. Сталин читал много, но, конечно, далеко не все и «Молодой гвардии» не прочитал; а фильмы он все просматривал. Он возмутился: в картине показывались подростки, оставшиеся на произвол судьбы в городе, захваченном гитлеровцами. Где же организация комсомола? Где партийное руководство? Сталину объяснили, что режиссер следовал тексту романа. В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии». За ними последовало письмо Фадеева, напечатанное в «Правде»: он признавал справедливость критики и обещал переделать роман. Когда мы встретились, Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы - о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот... Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной... Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами...»

Я заговорил о «Молодой гвардии» потому, что хочу показать отношение Фадеева-романиста к действительности. Задумав написать роман, он поехал в Краснодар, расспрашивал сотни людей, старался восстановить и события, и внешность героев, огорчился, что не смог найти точного описания внешности некоторых персонажей, это показывает, насколько он подчинял себя законам не поэта, а летописца. Роман Стендаля «Красное и черное» родился от газетной заметки о преступлении молодого карьериста, автор не только в толковании Жюльена Сореля не зависел от «факта», он переделал интригу. Стендаль никогда не увлекался описанием внешности своих героев, говорил, что предоставляет это фантазии читателя. Золя уверял, что «лишен воображения», изучал детали быта, который хотел изобразить, или, как говорят теперь, «собирал материал». Работая над романом «Нана», он впервые в жизни пошел в притон с записной книжкой. Учителем Фадеева был Лев Толстой: раскрывая характер героя, он останавливался на какой-либо детали его внешности. Толстой мог сделать уши Каренина настолько реальными, что по ним мы знаем его лучше, чем наших друзей. А Фадееву хотелось узнать, какие черты лица были у всех краснодонцев.

Я вспоминаю одну из наших бесед - в самолете. Александр Александрович говорил о том, что он «кончен», и рассказал трагическую историю недописанного романа «Черная металлургия». «В пятьдесят первом меня вызвал Маленков. «Изобретение в металлургии, которое перевернет все. Грандиозное открытие! Вы окажете большую помощь партии, если опишете это»... Одновременно он рассказал мне, как разоблачили группу геологов-вредителей. Я начал работать, изучал проблему, подолгу сидел на Урале. Писал медленно. Написано свыше двадцати листов. В моем представлении это должен был быть настоящий роман, единственное, за что я смогу ответить... И вот оказалось, что «изобретение» было шарлатанством, обошлось государству в сотни миллионов рублей, геологи были оклеветаны, их реабилитировали. Одним словом, роман пропал...» Я изумился: «Да что вы, Александр Александрович! Я читал отрывки в «Огоньке», это очень хорошо... Измените немного. Пусть они изобретают что-нибудь другое. Ведь вы пишете о людях, а не о металлургии...» До этого я дважды видел Фадеева в состоянии гнева: обычно сдержанный, холодный, вспыхив, он краснел и кричал

очень тонким голосом. Он закричал и в самолете: «Вы судите по себе! Вы описываете влюбленного инженера, и вам все равно, что он делает на заводе. А мой роман построен на фактах...» Успокоившись, он тихо сказал: «Мне остается одно - выбросить рукопись. Да и себя - новой книги я уже не начну...»

Я рассказал об этой зависимости от действительности, конечно, не для того, чтобы поспорить с покойным Фадеевым. Он был настоящим писателем, очень взыскательным к себе. Однако длительная работа и над «Последним из удэге», и над «Черной металлургией» связана не только с писательской взыскательностью, но и со всей биографией Фадеева, с его противоречиями, с борьбой между писателем и государственным деятелем, между бывшим партизаном и дисциплинированным солдатом. Однажды Александр Александрович сказал мне: «На меня многие писатели в обиде. А их могу понять. Но объяснить трудно...» Я ответил: «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева...»

В ранней молодости Фадеев был партизаном на Дальнем Востоке, позднее участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Ему было семнадцать лет, когда он вступил в партию, и двадцать, когда читинская организация отправила его делегатом на X съезд. Для него Троцкий или «рабочая оппозиция» были не страницами «Краткого курса», а живыми воспоминаниями. В биографии некоторых писателей политическая борьба была страстью месяцев или лет. Для Фадеева политика была делом всей его жизни.

Помню небольшое совещание «актива» Всемирного Совета Мира. Происходило оно в Праге, в домике на окраине города, где остановился Жолио-Кюри. Мы обсуждали, что теперь делать: успех Стокгольмского воззвания всем вскружил голову: говорили о том, что нужно собирать подписи. Фадеев приехал с предложением: потребовать от правительств пяти великих держав заключить Пакт мира. Он выслушал различные выступления, а потом блистательно доказал, что все, о чем говорили другие, подходит под Пакт пятерых - страх перед войной, экономические трудности, ущемление национального суверенитета, одичание. Идея была не его, но говорил он настолько умно, что в маленькой комнате, где было человек десять, может быть пятнадцать, раздались громкие аплодисменты, как на

многолюдном собрании. Жолио-Кюри предложил напечатать выступление Фадеева и разослать во все национальные комитеты.

Летом 1956 года я был в Париже, меня пригласил к себе Жолио-Кюри. Мы долго беседовали о XX съезде, обо всем, что тогда нас радовало и волновало. Потом Жолио-Кюри сказал: «Фадеев... И в этом сказалась его невероятная воля... Для нас это очень большая потеря. Он бывал порой резок, у меня с ним были трудные разговоры. Но я всегда восхищался его умом. Он мыслил политическими категориями, и это меня побеждало. Я, Бернал, мы рассуждаем как ученые. Вы для меня остаетесь писателем. Не только вы... Возьмите д'Астье, многие его считают политиком, а он - поэт, хотя стихов, кажется, не пишет. А разговаривая с Фадеевым, я часто думал: да, его призвание - политика...»

Конечно, в последнем я не мог и не могу согласиться с Жолио-Кюри: я знал не только книги Фадеева, я знал их автора: я понимал, что нельзя оторвать Александра Александровича от искусства. Но Жолио-Кюри был прав, говоря, что Фадеев мыслил политическими категориями. Это потом предопределяло те противоречия в оценках, которые иным обиженным казались лицемерием.

Фадеев свято верил в то, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперед. Порой Александр Александрович не мог удержаться: в Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейерхольда, потом, незадолго перед смертью Сталина, припомнил Якира, Штерна, повторял: «Его обманывают...» В конце сороковых годов многое ему претило, и опять-таки он находил объяснение: «Мутная волна... Сталин ее удерживает...» К вере примешивался страх. Раз полушутя он сказал: «Я двух людей боюсь - мою мать и Сталина. Боюсь и люблю...»

Фадеев иногда говорил о какой-либо книге: «Конечно, талантливо... Но поймите меня правильно - дело не в абсолютных оценках. Есть государственная точка зрения, и в этом плане книга вредная...»

Я говорил, что учителем Фадеева был Лев Толстой; это всем бросалось в глаза. Длиннейшие фразы с избытком придаточных были (или стали) для Фадеева естественными. Он не умел писать иначе. Иногда ему нужно было отправить телеграфный отчет о сессии Всемирного Совета или о беседе с одним из руководителей Движения.

Он просил меня помочь; садился за стол - у него был разборчивый почерк: «Диктуйте - вы можете все это описать короткими фразами...»

Однако влияние Толстого было куда глубже, чем одни приемы письма. В Пензе Александр Александрович мне долго доказывал, что у Чехова можно поучиться только наблюдательности: «Как он может научить? Он и не хотел учить... Вот Толстой понимал назначение литературы, он был учителем. Конечно, мы теперь рассуждаем иначе, но я преклоняюсь перед романом, который обычно считают неудавшимся: Толстой написал «Воскресение», чтобы доброе начало победило. А Диккенс? Разве в своих лучших романах он не поддерживал добра? Конечно, если за этим не было бы взлета, то это осталось бы скучной дидактикой. Из бездарного писателя не сделаешь и сотой Толстого, но гений должен служить добру, гуманизму. А в наш век это значит подчинить себя строительству коммунизма».

Здесь был мост между писателем и руководителем Союза писателей, мост, а норой и пропасть.

Еще будучи одним из руководителей РАПП, в 1929 году Фадеев выступил со статьей: «Столбовая дорога пролетарской литературы». В этой статье он защищал подход к роману, который был ему близок. Категоричность суждений никого не могла удивить: рапповцы тогда нападали не только на «правых попутчиков», но и на Маяковского. Удивительно название «Столбовая дорога» не само по себе - романтики, реалисты, натуралисты, символисты считали свой путь новым и единственно правильным; название удивительно по своей судьбе. РАПП распустили, писали о необходимости разнообразия литературных течений, и при этом зорко следили за тем, чтобы все писатели шли по одной литературной дороге; тропинки приравнивались к туникам. При этом шоссе или, говоря языком Фадеева, столбовая дорога была отнюдь не прямой, она петляла в зависимости не только от крупных политических событий, но и от вкусов Сталина, от его настроения, от его отношения к различным авторам. В 1929 году Фадееву казалось, что он прокладывает дорогу. Не знаю, сколько лет в нем прожили эти иллюзии. А в 1949 году, рассердившись на одного критика, он сказал мне: «Считает, что я придираюсь, провожу свою линию, да я регулировщик, и только...»

Конечно, это было сказано в сердцах. Он не прокладывал дорогу, но и не был регулировщиком. Порой ему удавалось создать построение, выходящее за пределы принятых формулировок. Он, например, одно время давал такое объяснение социалистическому реализму: показать людей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть. Правда, это куда ближе к романтизму, чем к реалистам прошлого века, но есть в такой постановке пафос, масштаб.

Вокруг Фадеева всегда имелись критики, способные повторить идеи Александра Александровича, показать их на разборе книги. Помню, как на собрании писателей Фадеев в докладе обличил одного из таких критиков в коварстве: «Есть восточная сказка о скорпионе и лягушке. Преследуемый врагами, скорпион попросил лягушку переправить его на другой берег речки. «Ты меня ужалишь», - сказала лягушка. «Зачем мне тебя убивать, - мне грозит смерть, если я не переправлюсь на тот берег». Он убелил лягушку. Они почти достигли цели, когда скорпион ужалил ее. Они пошли ко дну. «Зачем ты это сделал?» - спросила, погибая, лягушка. «Не знаю, такой у меня характер», - ответил скорпион». Критик сидел рядом со мной, он громко сказал: «Дело не в характере. Просто скорпион не доверял лягушке...»

У Фадеева были свои вкусы; все чаще они расходились с оценками Сталина, и Александр Александрович то и дело противоречил себе. В 1928 году Фадеев яростно нападал на поэму «Хорошо» Маяковского. В 1938 году он назвал эту поэму «историческим событием». Изменилась не оценка поэзии, а подход к литературе, в речах Фадеева появилась «государственная линия». Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего.

В беседах со мной он часто любовно отзывался о писателях, которых был вынужден публично осуждать. Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличил «отход от жизни» некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?...» Он начал читать н*а память стихи Пастернака, не мог остановиться, прерывал чтение только для того, чтобы спросить:

«Хорошо?» Это было не лицемерием, а драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым.

Он любил поэзию, но еще сильнее любил основную линию своей жизни, и не его вина, а его беда, что в течение четверти века верность идее он, как и миллионы его современников, связывали с каждым словом, справедливым или несправедливым, Сталина. Конечно, Фадеев знал, что Бабель не «шпион», что Зощенко не «враг», что неприязнь Сталина к Платонову или Гроссману необоснованна, но он знал и другое: для многих миллионов смелых и самоотверженных людей слово Сталина - закон. «В годы гражданки я был дважды ранен,- сказал мне Фадеев при нашей последней встрече,- врачи говорили, что ранения тяжелые. Но была молодость... Да и можно ли сравнить кусочек металла с тем, что пришлось пережить потом?...»

Иногда он обрывал признания шуткой. «Вы знаете, какой художник мне нравится? Ренуар,- И, увидев мое изумление, добавил: - Но я вам признаюсь- я дальтоник...» И он засмеялся своим незабываемым смехом.

Он казался суровым, но много раз я видел, как смягчались его глаза. Он пытался помочь писателям, попавшим в беду. В начале 1938 года он показал мне несколько стихотворений Мандельштама, хотел, чтобы их напечатали в одном из журналов. Ничего из этого не вышло. Десять лет спустя он сказал мне: «Помните Гарри? Он обрушился на ваш «День второй»... Так вот, он вернулся из концлагеря. Написал интересную повесть, чем-то напоминает «Смерть Ивана Ильича». Положение у него тяжелое... Попробую протолкнуть...» При следующей встрече он мрачно сказал: «С Гарри ничего не вышло».

Порой Фадееву удавалось отстоять книгу, которая ему нравилась, предотвратить беду, нависающую над неугодным. На несколько дней он приободрялся. Потом снова мрачнел, и глаза выглядели пустыми. Он начал чаще и больше пить; пил он главным образом с людьми, далекими от мира литературы,- хотел забыться.

В марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, я прочитал в «Литературной газете» статью Фадеева, в которой он резко напал на роман Гроссмана «За правое дело». Это мне показалось непонятным: Александр Александрович несколько раз с восторгом говорил мне об этом романе, ему удалось напечатать это произведение. Роман рассердил Сталина, «Правда» напечатала резкую статью, Фадеев

продолжал отстаивать книгу. Гроссман кое-что переделал. И вдруг эта статья...

Появилось сообщение о реабилитации врачей: что-то явно менялось. Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: «Вы в меня не бросите камень... Я попросту испугался». Я спросил: «Но почему после его смерти?...» Он ответил: «Я думал, что начинается самое страшное...» Он это повторил потом много раз: ему хотелось каяться. Год спустя я встретил переводчицу Л. С. Фактор, которую Фадеев всегда брал с собой для трудных политических разговоров с французами. Лидия Самойловна мне сказала: «С Александром Александровичем что-то неладное он несколько раз приходил ко мне и убивался, что написал нехорошо о романе Гроссмана...» В конце 1954 года, на Втором съезде писателей, Фадеев, говоря о романе «За правое дело» и своей статье, покался на людях: «Я очень жалею, что проявил слабость...»

Александр Александрович был человеком крепчайшим; много ел, много пил; мог пробежать десяток километров; просиживал ночи на заседаниях, и все проходило бесследно. Только в последние годы нервы его начали сдавать. В декабре 1952 года он писал мне: «...Я, увы, все еще болен и, должно быть, еще недели три пробуду в больнице. Если человек со стороны взглянет на вас и на меня, то он, конечно, скажет, что я исключительно здоров, а вы больны. На деле вы оказались человеком железного здоровья. Однако, поберегите его! Это ведь все на нервах, и все до поры до времени. Вы как-то не привыкли отдыхать, а вы попробуйте...»

При последней нашей встрече Фадеев говорил, что болен - «ноги болят, не могу холить», «роман, как я вам рассказывал, пропал», «словом, плохо». Я пытался его ободрить, говорил, что болезнь пройдет, он на десять лет моложе меня, еще напишет несколько романов. Он покачал головой: «Мотор отказывает...»

Через два месяца позвонили: «Фадеев покончил с собой...»

Как всегда в таких случаях, люди начали гадать, искали резонансы, вспоминали хорошее и плохое. Наверно, причин было много - в жизни он не щадил себя; пока стояла суровая зима, он держался, а когда люди заулыбались, стал раздумывать о пережитом, ненаписанном: как-то все обнажилось; тут-то начал отказывать мотор.

Оглядываясь на послевоенные годы, я неизменно вижу фигуру Фадеева. Роста он был большого, выделялся на любом собрании. Да и человеком был большим - и в беспощадности, и в нежности, и в вере, и в беде,

Мне позвонили под вечер и сказали, что на следующее утро мы вылетаем в Рим: сессия Постоянного комитета Парижского конгресса. Это было в нравах того времени: поздно решали, поздно запрашивали визы; то и дело мы опаздывали. Я рассказал в предшествующей части книги, как мы чуть было не задохнулись над Альпами, когда из-за грозы маленький самолет поднялся чересчур высоко. Вылетев из Праги рано утром, мы приземлились в Риме часов в десять. На аэродроме нас встретили итальянские друзья. Я мечтал выпить кофе и съесть бутерброд, но не тут-то было: оказалось, что нам всучили экземпляр какой-то кинокартины, и таможня нас продержала добрый час. Фалеев сказал, что нужно сейчас же идти на заседание - сессия уже началась. Я плохо слушал доклад д'Арбузье о борьбе за мир в Черной Африке - мне хотелось есть. Когда наконец-то объявили обеденный перерыв, сотрудник посольства сказал, что нас ждет посол.

Фадеев, Василевская и Корнейчук сели в посольскую машину, а меня предложил подвезти Эмилио Серени, депутат-коммунист. Это тучный, черный и веселый человек. Он знает множество языков французский, русский, испанский, польский, английский, древнееврейский, немецкий, китайский, арабский и еще какие-то (забыл какие). Он долго сидел в фашистской тюрьме и привык, думая, шагать из угла в угол; иногда на маленьких заседаниях он начинал ходить придумывал что-нибудь интересное. Если он сидел рядом со мной во время длинных выступлений, я не скучал: он на ухо рассказывал забавные анекдоты. Я попросил Серени остановиться возле какого-нибудь бара - я выпью у стойки кофе. Но Серени сказал, что посол нас сейчас накормит, и вместо кофе угостил меня стаканчиком очень горького и вкусного вермута.

Посол ирииял нас в кабинете; никаких признаков обеда не было. Посол долго и обстоятельно рассказывал Василевской, Фадееву, Корнейчуку и мне, что капитализм не похож на социализм и что в Риме нужно вести себя иначе, чем в Москве. Фадеев закрывал глаза и от злобы краснел. Я все время глядел на часы - половина второго, через час нужно идти на заседание, если нас не накормят, я не

выдержу... Вдруг Корнейчук прервал посла: «Мы, знаете, вылетели в семь утра - натошак...»

Столовая посольства помещалась в полуподвальном помещении. Пахло капустой. Свободных мест не оказалось, и нам предложили подождать во внутреннем дворике. Я сказал Корнейчуку: «Я лучше похожу по городу». - «Ты с ума сошел - ведь у тебя нет ни одной лиры...» Я понимал, что поступаю неразумно, но заупрямился - обидно было стоять и ждать.

Когда и выходил на улицу, высокий молодой человек приветливо спросил меня: «Вы Илья Эренбург?» Он представился: «Вишневский, корреспондент ТАССа», - и стал хвалить мои книги. Я взмолился: «О книгах поговорим в другой раз. Но, может быть, вы одолжите мне немного лир столько, сколько нужно, чтобы пообедать: нам еще не выдали денег...» Вишневский из ресторана позвонил своей жене, чтобы она пришла, а я уже ел макароны и пил вино. Это был божественный обед, все мне казалось на редкость вкусным, - может быть, потому, что после вермута я обезумел от голода. Да и сотрапезник достался интересный - Вишневский знал и любил Италию, рассказывал о политическом положении, о новых фильмах, о писателях.

На заседание я, разумеется, опоздал и тихонько спросил Корнейчука, кто выступал. Он взревел от зависти: «От тебя пахнет вином!... Ты, значит, обедал?...»

В зале можно было курить. Человека трудно удовлетворить. Я успел выкурить все, что было в моем кисете, а лир не было. Я начал «стрелять» сигареты у различных делегатов, прикидываясь любознательным: интересно, что курят в Мексике, в Ливане, в Швеции...

Я не был в Риме четверть века. Конечно, ни храм Весты, ни романские базилики, ни дворцы барокко не изменились; изменился я - впервые был подготовлен понять величие этого города, где двадцать веков мирно сосуществуют.

На второй или третий день я понял, что изменился не только я, изменился и воздух Рима. Конечно, в политическом плане не было большого отличия Италии от Франции; тот же «плац Маршалла», тот же Атлантический пакт, сильные коммунистические партии, непрерывные забастовки и одновременно восстановление экономики,

американские военные и надписи на стенах: «Да здравствует мир!» Но в Париже было грустно, а итальянцы выглядели веселыми. Может быть, сказывалось чувство, которое я пережил, когда меня выпустили из Бутырской тюрьмы? Двадцать пять лет Италия была придавлена фашизмом. Никакие репрессии не могли теперь обуздать народ, и поражения не вызывали разуверения. (Я написал эти строки и задумался: может быть, я несправедлив в сравнении? В Париже я долго жил, это город, который я вправе назвать своим, а в Риме я - турист, гость, паломник. Естественно, что я лучше знаю французов и замечаю больше деталей; да и грусть, наверно, охватывает меня потому, что в этом городе прошла моя молодость.)

Кажется, на второй день сессии художник Ренато Гуттузо, с которым я подружился еще во Вроцлаве, организовал ужин: мы встретились с итальянскими писателями, художниками, режиссерами. Гуттузо - страстный человек, настоящий южанин. До сегодняшнего дня он ищет себя: хочет сочетать правду с красотой, а коммунизм с тем искусством, которое любит; он восторженно расспрашивал о Москве и богомольно смотрел на Пикассо; писал большие полотна на политические темы и маленькие натюрморты (особенно его увлекала картошка в плетеной корзине).

Каждый вечер он приглашал Пикассо и меня. Мы ужинали в различных ресторанах, очень хороших, но и очень дорогих. С переводом денег произошла заминка, мы получили их дни за два до отъезда. Стесняясь, я лицемерно говорил: «Разрешите мне сегодня заплатить», даже совал руку в карман, чтобы достать бумажник: у меня билось сердце: вдруг не остановит вовремя?... Однако Гуттузо всякий раз брал меня за руку: «Брось! Ты здесь в гостях». Люди, которые с нами ужинали, были интересными: поэты, живописцы, режиссеры; но неизменно приходил кто-нибудь, представляя которого Гуттузо не указывал его профессии. А я не мог понять: откуда у Ренато столько денег? В то время он еще не был знаменитым художником, и я знал, что ему приходится туго. Только когда я уезжал, он раскрыл мне секрет: каждый вечер человек, о профессии которого он ничего не говорил, оплачивал счет, счастливый тем, что сидит за одним столом с Пикассо.

Как-то мы ужинали в ресторане в квартале бывшего гетто, там нам подали «артишоки по-еврейски» (их кипятят в оливковом масле,

они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах). В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний. Девушка нам рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. «Что же, покажи портрет жениху, ему понравится», - сказал Карло Леви. Она смутилась: «Боюсь - он у меня ревнивый». Все рассмеялись, кто-то посоветовал девушке продать рисунок: «За него дадут не меньшей мере двести тысяч - у тебя будет хорошее приданое». Она вспыхнула: «Что вы!... Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью...»

Один богатый меценат устроил прием, на который пригласил всех участников сессии. До приема он накормил обедом Пикассо, Гуттузо и меня. Пикассо утром побывал в Ватикане. Мы любопытствовали, как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал: «Знаменитый мастер», - а потом вдруг признался: «Но вот потолок Микеланджело!... Не понимаю, как он написал руку Сибиллы...» Хозяин жил в одном из дворцов и собирал старинные щипцы для каминов. По парадным залам с бокалами прогуливались делегаты - болгары, сенегальцы, японцы: все напоминало маскарад былых времен.

Карло Леви - писатель и художник (а теперь ко всему и сенатор). Мы как-то сразу подружились. Этот человек кажется ленивым - ходит медленно и вдруг останавливается на людной улице, увлеченный разговором. Однажды он меня вез в маленькой машине. Это было в тот день, когда Гагарин полетел в космическое пространство. Мы пересекали центральную площадь Колонна. Карло Леви говорил о понятии бесконечности и забыл про правила уличного движения. Полицейский потребовал довольно крупный штраф - нарушение было серьезным. Я попытался вмешаться в драматический диалог: «У нас полицейские снисходительнее к писателям», - рассчитывая, что слава Карло Леви может сыграть свою роль. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня: «Где это «у вас»?...» - «В Советском Союзе, в Москве». Полицейский восторженно схватил мою руку: «Ваш человек полетел на Луну!...» Он отпустил нас, не взяв штрафа.

Карло Леви живет возле парка Пинчио в большой захлавленной мастерской. Просыпается он не раньше десяти часов. Он написал несколько моих портретов; у мольберта он тоже кажется ленивым - кистью едва касается холста, похоже, что кошка умывается лапкой. Но, бог ты мой, сколько холстов, книг, статей написал этот мнимоленивый человек! В 1949 году я прочитал его книгу «Христос остановился в Эболи»; она автобиографична - молодого Карло, врача-антифашиста, отправили в ссылку на юг, в нищую, пустынную Калабрию, где говорят, что «Христос остановился в Эболи» - дальше этого крохотного городка даже Христос не решился пойти. Карло Леви показывает жизнь нищих, неграмотных крестьян, с любовью раскрывает их душевный мир. Есть в этой книге одна особенность - сразу чувствуешь, что она написана живописцем: читатель видит пейзажи, сцены, людей.

Человек, который кажется ленивым мечтателем, успевает многое сделать: он изъездил далекие страны, участвовал в различных кампаниях, положил много времени, чтобы отстоять тишайшего бунтаря Данило Дольчи, которого сицилийские феодалы хотели уничтожить. Чем объясняется видимость лени? Вероятно, тем, что время для Карло Леви - пешеход, оно бредет, как бродил по горам Тосканы неутомимый Данте, а не ставит рекорды скорости на автомобильных гонках. Из его холстов мне больше всего нравятся пейзажи с коровами; может быть, дело не только в цвете, Карло должен любить этих животных - они ведь проводят свои дни очень сосредоточенно. Карло Леви далек от куцых истин, воистину абстрактных, и всегда найдет время, чтобы выслушать, задуматься, понять.

На следующий день после того, как я с ним познакомился, он повел меня к себе; жил он тогда на верхнем этаже старого дворца; внизу шевелился разгоряченный Рим. Я рассказал Карло, что мне нужно выступить на митинге в театре «Адриано», и я не знаю, что сказать. Карло улыбнулся: «Что сказать - вы знаете. Но я хочу вам посоветовать: говорите по-итальянски». Я засмеялся: «Это почти так же трудно, как вам выступить по-русски». Он предложил перевести мою речь на итальянский, я ее прочитаю. Я решил рискнуть - когда-то я немного говорил по-итальянски, потом забыл, понимаю наполовину. Мы гуляли по старому Риму. Карло сказал: «Здесь живет один мой

знакомый. Он был фашистом, но, в общем, человек неплохой, у него есть машинка, я смогу отстучать. Вы будете говорить по-французски, а я переведу...»

Карло Леви оказался прав: когда на следующий вечер я начал свою речь по-итальянски, все было предрешено - я мог бы говорить любые плоскости, но русский, выступающий по-итальянски,- это было неслыханно, об этом написали даже антисоветские газеты.

Я познакомился с одним из лучших новеллистов Европы - с Альберто Моравиа. Очень давно, в 1939 году, я писал о его романе «Безразличные» - это была история средней буржуазной семьи в годы фашизма: безразличие, равнодушие, скука. Моравиа - писатель трудный, и не по форме, а по содержанию; вероятно, труднее всего он сам для себя. Он живет в чеховском мире без чеховского снисхождения, без жалости, да еще говорит, что его учитель - Боккаччо.

Однако Моравиа мало занимает интрига действия, своих героев он показывает как коллекцию забавных насекомых - не ярких бабочек Возрождения, а озверевших печальных тараканов. Его «Римские рассказы» чем-то напоминают один из фильмов, который меня покорило,- «Сладкую жизнь»,- может быть, тем, что автор не в заговоре со своими героями. Я понимаю отношение Феллини к скучающей богатой черни Рима. Труднее понять отношение Моравиа к своим обездоленным героям. В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сановитых особ. Два дня спустя Пикассо приехал в Ниццу, мы пообедали, а в пять часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, несмотря на косметику, голые, потом сказал: «Я люблю рисовать стариков и старух - к старости все проступает яснее, у молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков - я ее почитаю, и есть старость скучающих бездельников - над ней я смеюсь...» У Моравиа часто на лице скука, он машинально отвечает: «Знаю... знаю...» Но иногда его лицо светлеет - мне кажется, от подавленной нежности; так и в его книгах вдруг прорываются человеческие чувства, и они ослепляют, как прогалины в темном лесу.

Когда закрылась сессия, итальянцы сказали, что я должен поехать в городок Альбано неподалеку от Рима. Городком я его называю но облику, а большинство его жителей виноделы; в Риме я часто пил светлое душистое вино с окрестных гор - «фраскати», «альбано», «джензано». (Есть вина, которые, как люди, не переносят перемещения, вина окрестностей Рима, вывезенные за границу или даже на север Италии, теряют и аромат и вкус.) Митинг был в сельском театре, похожем на сарай. Широкие двери были раскрыты, и часть людей стояла на улице. Потом меня повели а мэрию, угощали вином, произносили задушевные речи.

Поздно вечером я возвращался в Рим с секретарем посольства в большой машине, которая на узких улочках казалась особенно неповоротливой. За нами в маленьком «фиате» ехали два журналиста из «Унита». Я с утра ничего не ел и спросил советского товарища, знает ли он где-нибудь поблизости ресторан попроще. Секретарь растерялся: «Может быть, в вашей гостинице?... Я никогда не был в римском ресторане...» - «Вы что, здесь недавно?» - «Скоро год. Но мы ведь обедаем в нашей столовой». Мы остановились, и я спросил итальянских журналистов, где тут можно поужинать. Они ответили, что как раз на этой улице есть маленькая харчевня, они там несколько раз ужинали: хозяин - товарищ.

Ресторан был переполнен; посетители по виду были рабочими. Журналист сказал хозяину: «Покорми нас. Это русские товарищи...» Хозяин принес кувшин вина, маслины, помидоры, колбасу, маринованные артишоки и пошел на кухню воровать над макаронами. Ему хотелось поговорить с русскими товарищами, но он не мог никому передоверить приготовление сложного соуса к тончайшим, как нити, спагетти. Мы съели по большой миске. На столе появился жареный барашек. Посольский шофер, до этого не обронивший ни слова, вдруг восторженно сказал: «Вот как они едят!» - и широко заулыбался. Мы одолели и барашка. Хозяина то и дело подзывали посетители. Наконец он подсел к нам и, развернув утреннюю газету, сказал мне: «Я вас сразу узнал, не говорил, чтобы вас не стеснить. Да и все вас узнали...» Он попросил меня надписать фотографию в газете. Когда мы хотели заплатить, он рассердился: «Не нужно меня обижать!...» Он сказал посетителям: «Выпьем за писателя, за советский народ! Вино ставлю я». Люди подходили,

чокались, рассказывали, кто о партизанском отряде, кто о митинге на площади Сан-Джованно, кто о своих дочках, и все это было просто, сердечно. Когда в полночь мы вышли из ресторана, секретарь посольства сказал: «Кажется, я за три часа узнал больше про итальянцев, чем за год...» А водитель, все еще широко улыбаясь, пожал мне руку: «Вот они какие!...»

Два дня спустя один из сотрудников «Унита» повез меня во Фраскати - винодельческий городок неподалеку от Альбано: руководители Итальянской коммунистической партии пригласили меня пообедать с ними. Обедали мы в деревянной пристройке, где обычно справляют деревенские свадьбы. Некоторых из итальянских товарищей я встречал раньше - в Москве, в Париже или в Испании, других увидел впервые. Они удивили меня своей простотой, любовью к искусству, разговором, который заставлял порой забыть, что передо мной не писатели, не художники, а члены политбюро большой партии. Тольятти рассказал, что одному из наших кинороботников не понравился фильм «Похитители велосипедов», который меня привел в восторг: «Нет конца». Тольятти усмехался: «Но если, показав мост без перил и человека, который падает в воду, заставить тонущего произнести речь о необходимости перил, то никто не поверит ни тому, что оратор тонет, ни даже тому, что он упал в реку. Очень хорошо, что фильм кончается не прописной моралью, а по-человечески...» Слушая Тольятти, я думал о том, насколько он, да и другие товарищи связаны с итальянским народом, с его характером, культурой. Мы встали из-за стола и вышли в садик, там крестьяне, много женщин с детьми, поджидали Тольятти. Одна крестьянка подвела к нему пяток малышей: «Вот, погляди на моих...» Тольятти разговаривал с ними так же естественно, как со мной, В последующие годы я несколько раз беседовал с Пайетой, с Аликатой, часто встречался с Донини, в Движении сторонников мира работал с покойным Негарвилле, человеком большой чистоты и душевной тонкости. Это были живые люди, и думали они не по схеме, говорили не по шпаргалке.

Я рассказал о встрече с итальянскими товарищами. Мне хочется добавить, что и люди, по своим мыслям, по складу бесконечно от меня далекие, разговаривали со мной дружелюбно, с итальянской непосредственностью. Вспоминаю, как принимал меня в старом Палаццо Веккио мэр Флоренции, набожный католик Ля Пира. Мне

сразу показалось, что мы давно знакомы. Он пригласил меня в Фьезоле, там в трагтории я встретил сотрудников левой католической газеты; они расспрашивали о жизни в Советском Союзе, рассказывали о тосканских крестьянах; споры походили, скорее, на поиски себя вслух, чем на словесные поединки.

Мне везло: после 1949 года я еще несколько раз побывал в Италии - то заседание бюро Всемирного Совета Мира, то ассамблея Общества европейской культуры, то приглашение выступить с докладами в различных городах, то встреча «Круглого стола». Правда, поездки были недолгими, и приходилось дни просиживать в накуренных залах, но всякий раз я что-либо для себя открывал и все острее чувствовал близость Италии. Побывал я снова и в милой мне Флоренции, и в Венеции, где на улочках кошки спокойно пожирают рыбные отбросы, зная, что их не потревожит треск мотора, и даже в чудесной Лукке, опоясанной древними крепостными стенами,- там что ни дом, то музей, а живут в музейных домах живые страстные современники.

Впервые я увидел Италию полвека назад; многое, конечно, с той поры изменилось. На севере выросли огромные заводы; построили современные рабочие поселки; а туринский музей, кажется, не имеет равного себе во всей Европе и по освещению, и по развеске картин. Поднялся уровень жизни. Возросли тиражи книг - начали читать рабочие, даже крестьяне. Мир раздвинулся: исчез былой провинциализм. По знакомству с советской литературой Италия опередила другие страны Запада, переводят много, причем не случайно, а с отбором. По дорогам, где я когда-то шагал, встречая волов и осликов, несутся вереницы маленьких «фиатов», мотоциклов. Но характер народа, который меня поразил и покорило, когда я был зеленым юношей, остался тем же.

С некоторыми писателями я познакомился - с Витторини, Квазимодо, Павезе, Пазолини, другие, как, например, Пратолини или Кальвино, знакомы мне только по их книгам. Не знаю, на какое место нужно поставить современную итальянскую литературу, да и книга, которую я пишу, не требует отметок. Скажу одно: эта литература человечна. Один кибернетик мне говорил: «Лет через двадцать - тридцать мыслящие машины будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми». Я вполне допускаю, что в недалеком будущем

машины заменят не только халтурщиков, но и популяризаторов, эпигонов. Все же человеку придется исправлять проделанное самой совершенной машиной - ведь то, что машине покажется «ошибкой», может оказаться находкой, открытием, началом творчества.

Мне обидно, что только к концу моей жизни я увидел в миланской коллекции холсты замечательного художника - Моранди. Это главным образом натюрморты - бутылки, скромных три-четыре неярких тона; при всей их философской глубине, в них нет рассудочности, сухости - они взывают к миру эмоций. Моранди не только не жил в Париже, он там, кажется, ни разу не был, этим объясняется, что его холсты мало знают вне Италии. Я его никогда не видел, хотя он мой сверстник,- он жил уединенно в Болонье и писал бутылки. Летом 1964 года я поехал во Флоренцию на встречу «Круглого стола». Я надеялся: поеду потом в Болонью и увижу Моранди... А Моранди уже не было, он умер за месяц до того.

Итальянские фильмы перевернули кинематографию всего мира. Я познакомился с режиссерами; кроме Де Сика, узнал Феллини, Висконти, Де Сантиса, Антониони. Пожалуй, они все могли бы стать героями своих фильмов. Говорят, что неореализм победил правдивостью изображения, борьбой против театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все это справедливо, но есть еще одно свойство - итальянские фильмы искренни; а искренность отнюдь не считается обязательной даже для весьма честных и весьма одаренных художников.

Удивительно, как быстро вошли в мою жизнь итальянские друзья! Я думаю прежде всего о Карло Леви и Ренато Гуттузо. Я ведь познакомился с ними, когда мне было под шестьдесят, в этом возрасте слишком часто теряют друзей и неохотно обзаводятся новыми. Мы видимся редко - порой несколько дней в году, порой один день за несколько лет, но всегда говорим о вещах, нам равно близких и дорогих. Хотя они живут далеко, жизнью, непохожей на мою, да и поколение другое Карло много моложе меня, а Ренато мог бы быть моим сыном, я их понимаю, и они понимают меня, мне кажется, что мы кружимся вокруг Земли по той же орбите.

Во время одной из моих последних поездок в Италию я оказался в городке Рокка-ди-Папа над Римом. Автобус, взобравшись на гору, остановился на площади. Оттуда нужно было идти наверх. Узкие

улицы, белье на веревках, детвора. Мы подымались медленно, то и дело глядели вниз: виноградники, долины, где-то далеко - сизоватая пустота моря. На крутых улочках шла жизнь, женщины судачили, щепля фасоль. Прошел аббат, ветер вздувал черную сутану. На домике, похожем на древний форт, висела дощечка: местный комитет Итальянской компартии. На другом таком же доме была изображена лира: музыкальное училище. Наконец мы остановились на крохотной площади, откуда была видна широкая долина. Я думал сразу о многом, о важном и о пустяках. Будь это двадцать лет назад, я взбежал бы, а сейчас сердце колотится. В этом году много винограда. Странно, что я никогда здесь не был. Почему я не был в Мексике, в Сиаме? У слонов необычайные глаза. А здесь ослики - как в Испании. Хорошо бы прожить в таком городке хотя бы неделю! Неделя - это очень много, особенно когда человеку за семьдесят. Странно - время умирать, а я об этом не думаю, на сердце совсем другое. Неделя - это вечность, если есть покой. За обрывками мыслей или, вернее, за клочьями картин во мне было глубокое ощущение спокойствия, счастья, наверно, я отдыхал, хотя Фадеев и уверял, что я не умею отдыхать. Вдруг, оглянувшись, я увидел циферблат: через пятнадцать минут уйдет последний автобус, нужно бежать вниз. Я про себя проворчал: вот только дополз, и пожалуйста - вниз!... Слишком часто так бывало... Суеверно я повторял старым, оглохшим домам, ослику, вывескам «до свидания», короче, как говорят итальянцы, «чау!».

Вернусь к 4 ноября 1949 года. Я должен был на следующий день поехать в Сицилию - итальянцы предложили нам остаться еще неделю, и я выбрал Сицилию потому, что там никогда не был, а Гуттузо говорил: «Значит, ты не видел Италии...» Под вечер я зашел передохнуть в гостиницу и нашел записку: «Завтра мы вылетаем в Москву - есть указания. С нами поедет Жолио, мы должны приехать до праздников. Желаю вам хорошо провести последний вечер. А. Фадеев». Я не зашел в комнату, а побрел снова по городу - на площадь Навонны. Поднялся холодный ветер, и народу было меньше, чем обычно, а длинная площадь, залитая старинным светом фонарей, походила на танцевальный зал после разъезда гостей. Я глядел на струю фонтана, она взлетала и рассыпалась - как вчера, как много веков назад.

В пражской гостинице «Алькрон» в пять часов утра затрещал телефон. Я едва успел побриться. Фадеев сказал, что мы летим на специальном самолете, в Легнице через час нам дадут чай. На аэродроме чешка приговаривала: «Да вы не улетите, ведь такой туман, что не видно самолета...» Александр Александрович повторял: «Нужно лететь - мы должны сегодня быть в Москве».

Я сел в самолете рядом с Жолио: он сказал, что хочет со мною поговорить. Он начал: «С югославами было нелегко - некоторые члены комитета возражали...» Я вдруг уснул. А проснулся оттого, что Жолио-Кюри схватил меня за руку: «Смотрите!...» В маленькое оконце я увидел куны деревьев с последними редкими листьями - они были не внизу; а выше нас. Самолет резко развернулся: «Возвращаемся в Прагу- туман»...

На пражском аэродроме мы прошли в буфет. Рядом какие-то люди пили пиво и ели сосиски. Фадеев попытался позвонить в Комитет защиты мира, но никто не отвечал - рано, еще нет девяти. Я сказал Фадееву, что нужно заказать завтрак. Он рассердился: «У нас нет крон. Понимаете?...» Жолио-Кюри шепнул мне: «Как бы раздобыть чашечку кофе? Мне что-то не по себе...» Я сейчас же заказал кофе для всех, хлеб, масло, ветчину (последнюю для Фадеева). Александр Александрович пробовал запротестовать: «Вы с ума сошли! Вдруг мы не дозвонимся до чехов?...» Я махнул рукой. Жолио-Кюри выпил две чашки, съел булочку и вдруг с легкой улыбкой спросил: «Вы думаете иногда о смерти?...»

Пришли чехи. Мы долго сидели на аэродроме: туман держался. Все же мы долетели до Москвы.

«Я редко думаю о смерти, но когда думаю, то настойчиво, не пытаюсь уйти от ответа», - говорил мне Жолио-Кюри на пражском аэродроме. «Для человека невыносима мысль, что он исчезнет. Это не физический страх, а нечто более серьезное - неприятие исчезновения, пустоты. Мне кажется, что идея загробного мира рождена именно этим, и пока наука была в пеленках, люди тешили себя иллюзорными надеждами. Знание требует от человека мужества... Отсутствие загробной жизни вовсе не означает отказа от продления. Есть физическая связь поколений, она продиктована природой. Но есть и другая работа, творчество, любовь, то, что остается, когда исчезают и человек, и его имя, и даже кости...»

Эти слова я записал, ко Жолио выразил свою мысль куда лучше восемь лет спустя в эссе «Человеческие ценности науки»: «Не раз мне приводилось быть свидетелем ужасных разочарований, когда люди вдруг теряли веру. Но... Я хотел бы сказать - но, черт побери, почему загробная жизнь должна протекать в другом, потустороннем мире? Думая о смерти даже в раннем возрасте, я видел перед собой проблему глубоко человеческую и земную. Разве вечность не живая, осязаемая цепь, которая связывает нас с вещами и людьми, бывшими до нас? Если вы позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием. Подростком я как-то вечером сидел над уроками. Работая, я вдруг дотронулся рукой до оловянного подсвечника - очень старой семейной реликвии. Я перестал работать, охваченный волнением. Закрыв глаза, и видел картины, свидетелем которых, наверно, был старый подсвечник... Как спускались в погреб в день веселых именин, как сидели ночью у тела умершего. Мне казалось, что я чувствую тепло рук, которые в течение веков держали подсвечник, вижу лица... Конечно - это фантазия, но подсвечник помог увидеть тех, кого я не знал, увидеть их живыми, и я окончательно освободился от страха перед небытием. Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будь то дерево перил или каменная ступенька лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множества рук, камень с

выемками от шагов, люблю мой старый оловянный подсвечник. В них вечность...»

(Я начал рассказ о Жолио с разговора о смерти, а кажется, я не встречал человека более живого, чем он. Прошло немало времени с его кончины, но мне трудно себе представить, что его нет, часто я ловлю себя на мысли: жалко, что Жолио не приехал, он сказал бы, что делать...)

Разговор на пражском аэродроме имел продолжение. В 1955 году Жолио вернулся к той же теме. В Вене было расширенное заседание бюро Всемирного Совета. Жолио в своем докладе утверждал, что накопленных запасов ядерного оружия достаточно для уничтожения жизни на планете. Такая оценка некоторым показалась чересчур пессимистической («Рассуждения специалиста. С политической точки зрения это неправильно...»). Я приехал из Вены в Париж недели на две позднее, чем Жолио: ждал визу. Сразу же ко мне пришел секретарь Жолио - Роже Мейер: «Жолио говорит, что ему придется уйти с поста президента,- он не может поступиться убеждениями ученого...» Инцидент был быстро улажен, Жолио успокоился, но, когда мы встретились, он сразу сказал: «Поймите - это дело совести! Политика - высокая человеческая функция. Но если, несмотря на здравый смысл, на советские предложения, на все, что мы делаем, разразится катастрофа, я вас уверяю - некому будет рассуждать о политической бессмысленности происшедшего... Когда мне вручали в Стокгольме Нобелевскую премию, все было празднично. Я немного нарушил всеобщее благодушие... Я еще не отдавал себе отчета в силе атомной энергии и, конечно, не мог предвидеть Хиросимы, все же я закончил речь предостережением: осторожно! Силы, освобожденные человеком, огромны. Я вспомнил о новых звездах, которые вспыхивают и гибнут. Это было, скорее, образом, чем научной гипотезой... Смерть человека ужасна, но созданное им не исчезает - я убежден, что, несмотря на зигзаги истории, на провалы, несмотря на глупость, она объясняется младенчеством человечества: всего шесть тысяч лет, как оно начало думать, двести поколений,- да, несмотря на глупость, есть прогресс, движение вперед... Верующие считали, что разумные существа имеются только на Земле. Вряд ли... Но если вопреки всему произойдет атомная катастрофа... Что будет тогда? «Новая звезда»? Пустота? Одно поколение передает другому эстафету

- я повторяю ваши слова. Но кому мы тогда передадим созданное в течение шести тысяч лет? Вакуум... Вы мне сами говорили, что я - оптимист. Но я повторяю: осторожно!... Опаснее всего иллюзии. Человеку, который только что женился, нашел новую квартиру, трудно себе представить, что он не успеет расставить мебель, как от всего останется пыль... Виновата не наука, а неравномерное развитие человечества. У некоторых людей, у которых, увы, большая власть, нет ни моральных тормозов, ни элементарных познаний: они воображают, что освобождение атомной энергии - очередное изобретение, нечто вроде парового двигателя или мотора внутреннего сгорания...»

Нельзя отделить биографию Жолио-Кюри (так его называют в книгах и газетах), Жолио (так его называли люди, его знавшие), Фреда (так звали его друзья) от проблем, и ставших перед нами в связи с рождением новой физики. Утро новой эры человечества я увидел в вечер моей жизни. Конечно, открытия Эйнштейна поразили меня еще в начале двадцатых годов, хотя и их и плохо понимал. Хиросима меня потрясла размерами бедствия, но я не давал себе отчета в происшедшем. Атомная бомба меня возмутила оттого, что она была в тысячу или в десять тысяч раз сильнее обыкновенных бомб. Власть в Америке принадлежала не профессору Принстонского университета, который считался гениальным чудачком с длинными кудрями и с человеколюбием прошлого века, а вполне доброобразному современному человеку, стандартному политику, случайно оказавшемуся на посту президента.

Эйнштейна я слушал с благоговением, но пробыл я с ним всего несколько часов. А с Жолио я часто встречался в течение восьми лет. Я его полюбил - его ум, чувствительность художника, интуицию, воистину женскую, смелость, чистоту. Я его не только любил, я ему признателен - он помог мне понять то, что дотоле оставалось для меня закрытым. Его слова, да и его судьба позволили мне увидеть лицо новой эпохи. На гробом Жолио его друг Бернал сказал: «Трагедии Жолио была трагедией благородства...» Вечером Бернал добавил: «И трагедией науки...»

Иногда говорят о писателе, что он похож на свои книги. Может быть, и Жолио-Кюри походил на свои труды, не знаю - я слишком невежествен в современной физике, чтобы об этом судить. Но для меня Жолио по своей манере держаться, по разговору, по увлечениям,

словом, по душевной структуре,- никак не вязался с представлением об ученом, которое сложилось еще с детских лет: меньше всего он был узким специалистом, аскетом, рассеянным книжником. Впрочем, все рассуждения о прирожденных ученых, писателях, инженерах, музыкантах натянуты и произвольны. Жолио как-то сказал мне: «Я сам удивляюсь, почему я стал ученым? В школьные годы я мечтал стать профессиональным футболистом, мне прочили блестящее будущее. Вышло иначе... Вероятно, что-то притянуло меня к пауке. Я колебался - химия или физика? Очевидно, и здесь не было простой случайности. Не знаю, хватило ли бы у меня для химии усидчивости, терпения... В моем возрасте люди не только давно придали личные черты своей работе, их черты сложились в зависимости от того, что они делали. А меня и теперь удивляет, что я - ученый. Поверьте, с рыбаками Аркуэста я чувствую себя естественнее, чем на научных заседаниях...»

Вполне возможно, что Жолио не родился ученым, но он им стал и свой дар, свою творческую инициативу, свои силы вложил в науку. Он пережил счастье открытия, когда, но его словам, ему хотелось танцевать, кричать, хлопать в ладоши; он пережил и расплату. Говоря это, я думаю не о многих несправедливостях, связанных с его гражданским мужеством, а о них я все же должен упомянуть. Жолио создал атомный реактор «Зоэ», это было гордостью Франции. Год спустя глава французского правительства снял Жолио с поста верховного комиссара по атомной энергии: политики не могли простить большому ученому, что он стал коммунистом. (Расскажу об одном эпизоде, скорее смехотворном, чем трагическом. Когда шведский король в 1935 году вручил Жолио-Кюри Нобелевскую премию, все стокгольмские газеты писали о молодом французском ученом, а шведские коллеги восхищались им. Но вот Жолио снова приехал в Стокгольм в марте 1950 года - на сессию Постоянного комитета. Газеты молчали. На следующий день я увидел Жолио с чемоданом,- оказалось, его попросили освободить номер: не хотели держать в гостинице «красного».) Говоря о расплате, я думаю не об административных гонениях - они связаны не с открытием искусственной радиоактивности, а с политической ролью Жолио. Его мучило другое - он много раз повторял: «Простые люди начинают ненавидеть науку». Он понимал свою ответственность, говорил и в

публичных докладах, и в частных беседах о том, что атомная энергия может принести людям величайшее счастье - освободить их от подневольного труда - и она может погубить человечество. В лаборатории он чувствовал себя хозяином. Но, помимо научных открытий, существует использование этих открытий, и не ученые, а политики решили использовать величайшие открытия Эйнштейна, Резерфорда, Жолио-Кюри, Нильса Бора, Ферми, Гана для создания оружия массового уничтожения. «Доверие к науке поколеблено,- сказал мне Жолио во время одной из наших последних встреч,- люди видят только зло - стронций, лучевую болезнь, картину всеобщей гибели...»

Меня могут упрекнуть в преувеличении роли личности, но я пишу не исторический труд, а книгу воспоминаний и решусь признаться, что Движение сторонников мира для меня неотъемлемо от личных качеств Жолио, от его сознания своей ответственности как ядерного физика, от его умения объединить людей, различно мыслящих. Он часто говорил: «Это не враг, это противник»,- к врагам он причислил только людей, которые хотели войны, а противниками называл тех, кто не хотел примкнуть к движению, считая его прокоммунистическим, но пытался отстоять мир по-своему.

В начале пятидесятых годов климат был суровым: шла корейская война, взаимная ненависть достигла апогея. Но и в те годы я помню, как Жолио пытался защитить то итальянскую католичку Пьяджио, говорившую об ответственности двух сторон, то датчанку Аппель, возражавшую против нападков на политику Запада, то американского пастора Дарра,- Жолио говорил: «С ними можно и нужно спорить, но не здесь, не в движении за мир...»

Конечно, не будь на свете Жолио, наше движение все равно возникло бы, но мне кажется, что оно было бы уже, да и суше. Всё политика - и война, и борьба против войны, но люди, для которых политика - профессия, и в движении не могли освободиться от своих навыков, от словаря, от формул (именно поэтому Жолио особенно ценил участие в движении Ива Фаржа, в котором ничего не было от профессионального политика).

Движение сторонников мира отнимало у Жолио очень много времени. Однажды он признался мне: «Минутами я сомневаюсь... Близкие мне говорят: «Ты не можешь так продолжать...»

Действительно, почему я должен мирить голландских сторонников мира с индонезийскими? Почему ко мне приходят с рассказами о распрях в секретариате? Почему от меня требуют, чтобы я успокоил представителя Гондураса - на следующем конгрессе ему дадут слово не ночью, а днем... Все это могли бы сделать и другие. Мне хочется иметь время для научной работы. А вместе с тем я понимаю, что нельзя провести границу: то-то делаю я, то-то другие. Тем более что все привыкли обращаться ко мне, скажут: «Значит, движение теперь отходит на второй план». Люди, которые меня упрекают, правы - мое место в лаборатории, а не в комиссии, где люди спорят всю ночь, - сказать «потребовать» или «предложить». Там на месте политики - Лоран, Серени, Нении... Но я хочу, чтобы наше движение расширилось, только тогда мы сможем повлиять на политику Запада. Значит, и должен сидеть в комиссиях...»

Политические проблемы пятидесятых годов остаются и ныне актуальными, живы люди, работавшие вместе с Жолно-Кюри, и мне приходится о многом промолчать. Бывали большие трудности, бессонные ночи, политические распри, а порой и личная неприязнь, не всегда Жолио удавалось примирить людей, приободрить их. Однажды он сказал мне: «Х. меня упрекнул в чрезмерном оптимизме... Для того чтобы быть оптимистом, стоит только призадуматься над историей. Но бывает, что и товарищи-коммунисты удивляются моему оптимизму, вероятно, это связано с характером -- не только философия, - физиология...» А между тем я знаю, что Жолио порой переживал очень трудные для него недели, но он умел приободрить не только других - самого себя.

У него была внешность не кабинетного человека, а, скорее, спортсмена; он любил ходить на лыжах, был страстным рыболовом. На стенах его дома в Антонн красовались препарированные головы гигантских щук, которых он выловил. 18 марта 1950 года Жолио исполнилось пятьдесят лет; было это во время сессии Постоянного комитета. Шведские друзья вспомнили дату и на митинге поднесли ему подарок. Мы сидели рядом. Жолио сразу догадался: «Спиннинг!...» На его лице была ребяческая радость и любопытство. Он не решался при всех раскрыть пакет, нагнулся, отодрал кусочек бумаги и, восхищенный, шепнул мне: «Это какой-то особенный бамбук!...»

Летом 1951 года Жолио отдыхал под Москвой; однажды он приехал ко мне в Новый Иерусалим. Он был в хорошем настроении, шутил, перед обедом признался, что у него в Советском Союзе нашелся враг - какая-то травка, которую сыплют повсюду: в суп, на картошку, на мясо (оказалось, что его враг - укроп). После обеда он спросил, нету ли у вас самовара. Таковой оказался: года три назад мне его подарили на тульском заводе. Мы его ни разу не ставили. Начали разжигать щепки, они сгорали, не зажигая угля, или сразу гасли. Жолио дул в трубу изо всех сил. Наконец-то справились с самоваром. Жолио восхищался старыми ветлами, долго рассматривал скворечники и, уезжая, сказал: «Подумать, что мы даже не поговорили о бюро, о секретариате, о Рогге!... Вот это настоящий день мира!...»

А неделю спустя мы отправились на сессию бюро в Хельсинки. Жолио предоставили вагон-салон; с ним ехала Ирэн Жолио-Кюри. В Ленинграде Жолио попросил меня отвезти его в Эрмитаж. «Мне сказали, что там часть картин, которые я видел пятнадцать лет назад в московском Музее западной живописи...» В то время импрессионисты, не говоря уже о Матиссе и Пикассо, считались противопоказанными для посетителей музея, и ценнейшая коллекция хранилась в фондах; картины висели на щитах. Жолио восхищался, особенно ему нравились пейзажи Сислея, Моне, Писсарро. Когда мы уходили, он сказал: «Я как будто провел целое лето в деревне - другой человек...» Нагнувшись ко мне, он тихо добавил: «Нехорошо лишать такой радости советских людей...» И тотчас добавил: «Это ненадолго, я убежден».

В 1955 году Жолио серьезно заболел, его поместили в госпитале Сент-Антуан. (Он умер в том же госпитале три года спустя.) Это очень старое, мрачное здание. Жолио отвели отдельную маленькую комнату. Он рассказал, что врачи не уверены в диагнозе, но он наблюдает за собой, записывает, подружился с главным врачом. Потом, разумеется, он заговорил о разрядке - теперь как раз время попытаться расширить движение... Вдруг он взял холст, повернутый к стене, и, смущаясь, сказал: «Я здесь обречен на безделье и занялся живописью. Не судите слишком строго, я ведь никогда не учился, начинаю с азов...» На холсте был пейзаж, который он видел в окно: двор, несколько деревьев, стена дома. Я поглядел второй холст,

третий... Жолио спросил: «Очень плохо?...» Я ответил ему, что в его пейзажах есть чувство света, непосредственность, даже наивность, хотя рисунок довольно уверенный. Он сказал: «Забавы пятидесятичетырехлетнего ребенка...»

Весной 1956 года умерла от лейкемии Ирэн Жолио-Кюри. Для Жолио это было тяжелым ударом: они прожили и проработали вместе тридцать лет - в 1926 году молодой лаборант, работавший в Институте радия под руководством Мари Кюри, женился на ее дочери, ассистентке того же института. Они жили дружно, хотя были очень несхожими. Ирэн была сдержанной, молчаливой, и Жолио, обычно разговорчивый, в ее присутствии часто замолкал. Помню ночь, которую мы провели в вагоне-салоне. Ирэн вскоре ушла в купе, а Жолио остался. Он начал говорить об одиночестве, о своей «плебейской природе», о том, как порой человеку хочется вырваться из своей жизни: «Мы все машины, буксующие в колее...» В 1956 году Жолио приехал в Вену. Мы его встречали на вокзале. Вечером он сказал мне: «Ирэн умерла от той болезни, которую мы зовем профессиональной. Теперь мы стали осторожнее, а в тридцатые годы...» Он помолчал и тихо добавил: «Все это нелегко...» Год спустя я был у него в Антони. Он показал мне сад, изумительную стену вьющихся роз, последние тюльпаны. «Ирэн очень хорошо подбирала цвета тюльпанов. Прошлой весной они зацвели, а ее уже не было...» Несколько минут спустя он сказал: «Мною овладела торопливость - хочется успеть что-то сделать. Я не мнителен, но нельзя быть чересчур легкомысленным...»

Еще раньше - в 1956 году - он заговорил со мной о Сталине: «Многие наши интеллигенты после XX съезда заколебались. А мне кажется, что наше Дело шагнуло вперед. Я никогда не обманывался так, как некоторые другие,- о Сталине говорили как о полубоге. Помню, я сказал тогда Х.: «Осторожно! Мы не должны верить в непогрешимость, оставим это католикам. Я видел в Советском Союзе много изъянов они первые начали, не удивительно...» Весной 1958 года, когда он меня пригласил в Антони, он сказал: «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается. А сейчас поговорим о прошлом... Вы все понимаете? Я много думал и все же до конца не понял...»

Коммунистом он стал в очень страшное время - в 1942 году - и до смерти сохранял верность избранному пути. В его выборе сказались не только эмоции, героизм коммунистов в Сопротивлении, борьба против фашизма советского народа, но и логика, размышления ученого. Вспоминая Фадеева, Жолио сказал: «Однажды мы поспорили - вы помните, это было в Вене. - он уговаривал меня отказаться от моих слов, когда я утверждал, что война способна уничтожить жизнь на нашей планете, он повторял: «Мы знаем вас, как верного друга». Я ему ответил, что в дружбе хороша верность, а в политике, как и в науке, нужно не только верить друзьям, но и думать...»

У Жолио было лицо француза,- с тонкими, хорошо вырисованными чертами, да и в характере его было много национальных черт: он радовался порой с легкой печалью, много говорил, но очень редко проговаривался, рассуждая, всегда был точен, логичен.

В Антони я видел, как он возился с внуками - детьми Элен, и вспомнил стихи Гюго «Искусство быть дедом». В доме было много красивых вещей, за обедом хорошее вино, в кабинете фотографии друзей, во всем ясность, свет, радость. Я не знал, что вижу Жолио в последний раз.

На похороны я летел вместе с Л. В. Скобельцыным, который в тридцатые годы работал в лаборатории Жолио: мы знали двух разных людей, а любили одного.

После долгих переговоров между детьми Жолио и представителями правительства похороны разделили на два акта. Вернувшись в Москву, я писал: «Во дворе древней Сорбонны перед часовней XVII века, между памятниками Гюго и Пастера, был установлен катафалк... Стояли, как статуи, солдаты республиканской гвардии в архаических шлемах с конскими хвостами. Стояли министры и послы, академики и сенаторы. Стояли члены ученого совета Сорбонны в красных тогах, отороченных горностаем... А потом уехали министры, ушли гвардейцы. В предместье Парижа Со возле кладбища собрались друзья и товарищи Жолио, сторонники мира, студенты, слушавшие его лекции, рабочие, домашние хозяйки, лаборанты, служащие, простые люди Франции. День был грозовой, под ливнем шли и шли люди, многие плакали; рядом с парадными

тяжелыми венками лежали скромные цветы садов и палисадников Франции...»

Вечером некоторые члены бюро Всемирного Совета, приехавшие на похороны, собрались: нужно было обсудить, что делать дальше. Помню Бернала, Казанову, Спано, Изабеллу Блюм. Мы не могли говорить - слишком свежим было горе. Передо мной стоял живой Фред, и я не мог представить себе, что его больше нет. Да и сейчас, много лет спустя, я вижу его живым, и снова все возмущается: умер... Он говорил, что каждый человек оставляет на земле след, а память о нем трудно назвать следом - это, скорее, рана, рана и веха.

Движение за мир организовывало многолюдные конгрессы и митинги. В Риме двести тысяч человек проходили по улицам с зажженными факелами. Нас торжественно принимал президент Польши Берут, а в Дели Неру говорил нам о традиционном миролюбии Индии. Мы относили венки на могилу Ганди и в пещеры, где гестаповцы расстреливали итальянских патриотов. На Варшавском конгрессе мы увидели окровавленную рубашку парагвайского студента Алонсо, замученного полицейскими за то, что он отстаивал мир. Прилетев в Вену, один из делегатов Бразилии умер от инфаркта: не выдержал длинного перелета. На одном из конгрессов мы слышали стихи Назыма Хикмета, на другом пел Робсон, на третьем получитал-полунапевал поэму, прославлявшую братство, старый индийский сказитель. Мы слышали речи опытных парламентских ораторов - Пьера Кота и Нении, блистательные эссе Сартра, молитвы буддийских монахов. Порой наши собрания бывали бурными. В декабре 1956 года в Хельсинки бюро начало работать в девять часов утра, и только на следующий день в восемь часов утра мы пришли к соглашению - проспорили двадцать три часа подряд в душном, накуренном зале. Пять лет спустя мы обсуждали созыв Конгресса за разоружение; это вывело из себя китайских делегатов, и зал шведских кооператоров, привыкший к чинным обсуждениям годового оборота, превратился в поле боя.

Все же, оглядываясь назад, я с особенным волнением вспоминаю Стокгольмскую сессию в марте 1950 года. Внешне ничего примечательного не было. Приехало человек полтора. Заседали мы в подвальном зале ресторана (шутя мы говорили: «В катакомбах»). Шведские газеты не упоминали о сессии, и жители Стокгольма нами не интересовались. Да и не запомнились мне речи. Однако в истории нашего движения Стокгольмское воззвание заняло исключительное место. Мы понимали, что обращаемся к миллионам людей, что от успеха или неуспеха нашего призыва зависит многое, и когда Жолио-Кюри прочитал текст (кажется, самый короткий из всех, которые мы

когда-либо принимали), нас охватило волнение. Мы первыми поставили подписи под призывом.

За несколько месяцев до Стокгольмской сессии Советское правительство заявило, что оно было вынуждено обзавестись атомным оружием. Западная печать уверяла, что в ядерном вооружении Советский Союз никогда не догонит Америку. О третьей мировой войне говорили как о событии завтрашнего дня. Одна французская газета устроила анкету: «Что вы будете делать, если русские захватят Париж?» Западная печать называла Стокгольмское воззвание «тройанским конем». Журналисты спрашивали меня: не потому ли мы осудили атомную бомбу, что она тормозит захватнические планы Москвы? Перепуганным обывателям мерещились советские танки на Елисейских полях или на Пикадилли. Когда в Америке передали по радио скетч, посвященный воображаемому нападению, началась паника. Один американец рассказал нам, что в Сан-Франциско маленькая девочка, которой старший брат расписывал, как атомные бомбы уничтожат «красных», спросила: «А мы не можем уехать куда-нибудь, где нет неба?...» Взрослые рассуждали иначе: атомная бомба многим казалась защитой, спасением.

Датский журналист, радикал прошлого века Киркеби, с которым я познакомился еще в двадцатых годах, рассказал мне, что сомневался, должен ли поставить свою подпись под Стокгольмским воззванием: он ненавидел войну, но считал, что запрет атомного оружия выгоден одной стороне: «Я спросил мою жену: не кажется ли тебе, что это воззвание косит в одну сторону?» Она ответила: «Может быть. Но атомная бомба косится на наших детей». И она подписала...» Наверно, миллионы женщин и мужчин подписывали текст с таким же чувством.

Произошло чудо: обращение, которое мы приняли в подвальном зале стокгольмского ресторана, облетело мир. Полгода спустя в Варшаве я увидел француженок, итальянок, аргентинок, гречанок, которые обошли множество домов, стучались во все двери. Помню работницу типографии, итальянку, ее звали Фирмина, она собрала восемнадцать тысяч подписей, она рассказывала, как убеждала католичек, монахинь, женщин, боявшихся коммунистов, как дьявола. Бразильцы привезли ящики с листочками неграмотные крестьяне

ставили крестики. Пред-ставители Черной Африки показывали палки с зарубками вместо подписей.

Много лет спустя один из военных комментаторов Соединенных Штатов признал, что пятьсот миллионов подписей под Стокгольмским воззванием заставили призадуматься Трумэна, когда во время корейской войны встал вопрос об использовании атомных бомб. Конечно, весной 1950 года мы не могли этого предвидеть, но мы расходились из «катакомб» взволнованные.

Мы приняли воззвание 19 марта. Вечером меня пригласил на ужин левый социал-демократ, сенатор Брантинг. Все было по-шведски - радушно и немного торжественно. Хозяин предлагал тосты, а на столе трепетали тонкие свечи. Ненни говорил о Ватикане, об Атлантическом пакте. Приятель Брантинга Ялмар Мэр с кем-то спорил о «Скандинавском союзе». Кажется, я мог бы давно привыкнуть к таким вечерам, и все же стеснялся.

Меня посадили рядом с молодой женщиной, Лизлоттой Мэр. Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-русски: «Я училась в Москве...» Оказалось, что она родилась в Германии; когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, там Лизлотта встретила с Мэром. Мне сразу стало легче: училась в Москве,- значит, не чужой человек...

Брантинга я смутно помнил по Испании. В тридцатые годы о нем много писали - он обличал Геринга во время процесса Димитрова, организовывал помощь испанским республиканцам. Коллонтай мне рассказывала, что в годы войны он выступал против своих товарищей по партии, которые пытались откупиться от Гитлера уступками. Хотя я четверть века назад много ездил по Швеции, я плохо знал шведов, вернее, у меня было о них несколько абстрактное представление, наверное оставшееся еще от книг Стриндберга. Мне казалось, что чуть ли не любой швед выступает против несправедливости, пишет стихи о смерти и боится житейских пустяков. Потом и подружился с Брантингом, мы вместе работали над организацией встреч «Круглого стола». Мифический викинг был старым одиноким человеком; только в одном я оказался прав - он действительно писал стихи о смерти. Летом 1965 года он умер, и на минуту встали в памяти тридцатые годы.

Была еще по-прежнему холодная ночь. Я долго бродил по безлюдным улицам. Вместо голубей в Стокгольме - чайки. Им полагается летать над морем, но они, как голуби, предпочитают жить возле людей, в море они кружатся вокруг корабля, а в Стокгольме суетятся на бережных, беспокойные, крикливые. Ярко и холодно пылали фонари. В освещенных витринах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины. Старик прогуливал толстую таксу. Два матроса шли, пошатываясь, и что-то выкрикивали. Влюбленные целовались, прижавшись к столбу с афишами, под алым ветром Балтики. Длинные пустые улицы. В некоторых окнах свет - там мечтают, ссорятся, плачут, танцуют... Под утро в маленькой комнате гостиницы я записал: «Все дело в людях». Не помню, почему именно тогда я написал слова, которые подходят к любому дню любой жизни.

Шведские власти оказались терпимыми и гостеприимными. Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь. В Стокгольме (или в других шведских городах) происходили различные конгрессы, конференции, сессии Всемирного Совета, заседания бюро. Я выступал на митингах в Гетеборге, в Норчепинге. Шведские писатели меня пригласили в их клуб. Я делал доклады студентам Упсалы и Лунда; познакомился с некоторыми министрами, с учеными - Густавсоном и Мюрдалем, встречался с поэтами и журналистами. Швеция неизменно удивляет иностранцев. Эта страна - баловень судьбы: дважды мировые войны ее пощадили. Из сельской идиллической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультрасовременного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала двадцатых годов. Все здесь разумно - и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа, после того как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий, столько душевного разора, что диву даешься. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает засасывает и выводит из себя.

Я довольно часто встречаюсь с поэтом, романистом, эссеистом Артуром Лундквистом. Познакомились мы в 1950 году на Конгрессе Мира. Он сын батрака из Скании, и лицо у него, скорее, мягкое, лирическое, а в суждениях он непримирим и душевно сродни не букам, а шхерам. Он почти всегда путешествует, изъездил полмира, и

нет ни в его книгах, ни в его жизни даже тени уюта. С ранней молодости он боролся против эпигонов, против социального консерватизма, говорил (и говорит) о торжестве будущего - это оптимист, но на редкость печальный. Я не удивился, услышав по радио, что во время страшного землетрясения в Агадире Лундквист оказался там: по-моему, земля под ним всегда трясется, но ноги у него длинные и крепкие.

Я был с академиком Д. В. Скобельцыным в Стокгольме, когда Лундквисту вручали Ленинскую премию мира. Это совпало с напряженными днями в приступе «холодной войны»: за неделю до того шведские академики присудили Нобелевскую премию Пастернаку. Церемония вручения премии Лундквисту состоялась в Малом зале Концертного дома Стокгольма. На эстраду вышел человек во фраке и уныло объявил: «Музыкальной части не будет - в связи с событиями квартет распался...» (Оказалось, один из участников знаменитого квартета, «в связи с событиями», отказался играть.) На торжественном ужине - разумеется, со свечами - Лундквист встал, сказал: «В общем, писателям всегда плохо», - постоял, потом сел.

Почему же в Швеции много и «проклятых поэтов», и мрачных пропойц, и самоубийц? Не знаю, не хочу отделяться парадоксальными гипотезами. Верно одно: «Все дело в людях». А человеку, видимо, мало и артистически приготовленных селедок, и рая из пластмассы.

В середине пятидесятых годов, когда многое на свете оттаяло, Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время ежовщины. В школу норой приходил то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидела Москву в очень трудные годы, и, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве.

Мне хочется прервать рассказ о Стокгольме одной историей. Я должен ее рассказать, хотя она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной. Героя истории зовут Андре, у нас его звали Андреем, я не назову его фамилии, - может быть, огласка была бы ему неприятной. Накануне революции в Париже русский эмигрант, литератор, познакомился с молоденькой поэтессой русского происхождения. Родился Андре. Вскоре его отец уехал в Россию, а

поэтесса вышла замуж за скульптора, ставшего потом знаменитым. Отчим полюбил мальчика, баловал его. Однажды Андре увидел фильм «Броненосец «Потемкин». Он знал, что его отец в Москве, и решил, что должен уехать в Советскую Россию. Мальчика вписали в паспорт советского художника Штеренберга, и он попал в Москву - к отцу и молодой мачехе. Романтики он не увидел. Мачеха посылала его в очереди. Вскоре он с нею поссорился и ушел к беспризорным. Помню, как его мать, обливаясь слезами, показала мне письмо Андре, которое он написал ночью в аптеке, где прятался от мороза.

При облаве милиция поймала Андре и отвела его в родительский дом. Он учился в школе и подговорил двух товарищей убежать в Париж. У них были велосипеды. Андре украл револьвер. Ночью произошла перестрелка на турецкой границе; пограничники задержали беглецов. Мать Андре поехала к Ромену Роллану, а от него на Капри к Горькому. Времена еще были легкими, и Андре отправили в Болшево - в образцовую колонию. В 1934 году он приехал из Болшева в Москву, спрашивал меня про мать, про отчима. Я с ним проговорил час и понял, что судьба его будет трудной. В 1937 году его отца арестовали. Андре пошел во французское посольство и потребовал, чтобы его отправили в Париж. Никаких документов, подтверждающих, что он родился во Франции, у него не было. В тот же день его задержали и направили в концлагерь. Он отсидел свое, а когда его освободили, поехал в Москву и пошел во французское посольство. Его снова отправили в лагерь.

Кажется, в 1953 году он написал мне, а я написал о нем прокурору. В итоге Андре освободили. Я увидел уже не подростка, а человека с проседью, который забыл французский язык и не научился хорошо говорить по-русски, не имел профессии, жил то у профессора, то у инженера - товарищей по лагерям. Потом ему разрешили уехать во Францию.

В Париже он пришел ко мне. Он был хорошо одет, рассказал, что вначале ому докучали журналисты, узнавшие от посольства о его необычной судьбе, он отказался отвечать на их вопросы. Получил работу, сносно зарабатывает. Живет с матерью. Помолчав, он тихо сказал: «Но жить здесь неинтересно. Меня тянет назад в Советский Союз. Теперь это уж не глупые мечтания мальчишки, а трезвый вывод человека, которому пошел пятый десяток. Там я узнал настоящих

людей...» Когда я рассказал Лизлотте об Андре, она сказала: «Я его понимаю...»

Вернусь к городу, с которым связано и Движение сторонников мира, и многое в моей жизни. Это северный город - там холодно летом, а в декабре куцые дни. Хотя я прожил много лет в Париже, я человек севера. Я знаю, как трудно растопить лед человеческих отношений. На севере любят комнатные растения куда больше, чем в Париже. Да и человеческое тепло особенно ценят там, где люди много молчат и где они сжились с одиночеством.

«Все дело в людях»... В 1950 году мне было под шестьдесят. Конечно, я был много крепче, чем теперь,- мог проработать десять часов подряд, пройти, не останавливаясь, десять километров; но на душе у меня часто бывало смутно; я думал, что не живу, а доживаю, и душевную вялость приписывал возрасту. Я не мог не писать, но писать в то время было нелегко. Я говорю не о всех писателях - о себе. В писательском труде я зависел от злобы дня, от газет, от печального письма, рассказывающего про чужое горе, которому я бессилен помочь. В 1950 году я начал «Девятый вал», писал много, но без внутреннего огня. Меня выручило Движение сторонников мира: чистое и живое дело, хорошие люди. Может быть, и успех Стокгольмского воззвания в первую очередь объясняется людьми. Жолио-Кюри или Ива Фанжа знали миллионы. Но, вероятно, мало кому известная итальянка Фирмина обладала большим сердцем, если ей удалось убедить тысячи незнакомых людей.

Да, многое у меня связано со Стокгольмом. Именно в этом городе в тусклый зимний день, беседуя с Лизлоттой, я впервые подумал о книге, которую теперь дописываю. Не знаю, удалась она или нет, автору трудно сулить о своей работе, но это действительно моя книга, я пишу ее по внутренней необходимости, пишу искрение, без давней желчи, кото-ран не раз меня спасала, да и бея пайкового меда. Я помню, как мне пришло в голову ее написать: вдруг стало страшно, что умру и не расскажу о людях, которых знал, любил. Годы и жизнь пришли потом - оказалось невозможным рассказывать о других, умалчивая о себе. А когда я решил сесть за эту книгу, я не думал о своих надеждах и заблуждениях: передо мной встала вереница людей ушедших, но близких, теплых, живых.

В суеверном страхе я спрашивал себя: хватит ли сил, времени? В записной книжке среди пометок о заседании комиссии и черновиков резолюции я нашел стихи Тютчева о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства.

В январе 1963 года я был у Пикассо. Пабло вдруг вздумал меня наставлять: «Ты не в том возрасте, чтобы обязательно при всяком случае отстаивать правду. Вспомни молодого человека в Палестине, ему за это пробили руки гвоздями...» Я усмехнулся - Пабло старше меня на десять лет, но в нем больше страсти, даже неистовства, чем в любом юноше, он только то и делает, что отстаивает правду...

Конечно, теперь я хорошо знаю, что такое старость: мотор изнашивается. Я чувствую старость, но о ней почти не думаю. Дело не в возрасте: задолго до того, как приходит смерть, человек не раз душевно умирает и снова рождается,- казалось, костер догорел, под пеплом едва тлела головешка, но вот человеческое дыхание ее разожгло. Все дело в людях...

В начале 1950 года я написал заявление: для работы над романом «Девятый вал» мне необходимо поехать во Францию, расспросить о некоторых событиях послевоенных лет. Поездку мне разрешили, это был удачей; но вскоре я узнал, что французы не дают визы. Представитель министерства иностранных дел сообщил прессе: «Г-ну Эренбургу отказано в визе не потому, что он - коммунист, а потому, что есть все основания полагать, что он лично испытывает неприязнь к Франции».

Прочитав это во французской газете, я рассердился, а потом мне стало смешно. Сколько меня ругали за чрезмерную любовь к Франции! Как раз незадолго до этого я прочитал длинную статью критика, который доказывал, что в романе «Буря» я пытаюсь окружить ореолом даже «беспринципного буржуа Лансье»... И вот, извольте, видеть, Бидо выдает меня за врага Франции!

Тысяча девятьсот пятидесятый год был годом, когда «холодная война» ежечасно грозила перейти в горячую. Летом загрели пушки в Корее. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но обыватели закупают соль и мыло. Один старик объяснил мне: «Без соли не проживешь. А если придется умереть, нужно в чистой рубашке преставиться...» Весной и летом я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии - повсюду я видел испуг, ненависть, страх. События того времени еще хорошо памятливы, и я хочу рассказать о некоторых малозначительных эпизодах только для того, чтобы восстановить своеобразный климат конца сороковых - начала пятидесятых годов.

Трудно объяснить, почему я стал любимой мишенью антисоветских журналистов. Может быть, они преувеличивали мою роль, а может быть, их раздражало мое знакомство с жизнью Запада, не знаю, но писали обо мне часто и злобно. В Стокгольме один из французских делегатов дал мне газетку «Руж э нуар», в которой сообщалось, что я недавно избран в Верховный Совет, буду получать ежемесячно десять тысяч рублей и перееду в «дом в роскошном предместье Москвы, в так называемой «запретной зоне», где

проживают высшие сановники». Вслед за этим французский журналист спрашивал меня об «исчезнувших»: «Исчезла Тамара Мотылева, еще год назад вознесенная официальной критикой на небеса. Она лишилась всего, даже университетской кафедры, за то, что процитировала фразу Леона Блюма. Исчез Анатолий Софронов, на него обрушились молнии Кремля после того, как он осмелился обличить карьеризм. Исчез крупнейший романист Советского Союза Михаил Шолохов, который укрылся в деревушке на Волге...»

Во главе французской организации левых писателей тогда стоял Мартен-Шофье. Он написал письмо премьеру Бидо, которого знал по годам Сопrotивления, настаивал, чтобы мне выдали визу. Бидо не ответил. Мартен-Шофье опубликовал открытое письмо «Прощайте, Бидо!». Однако на Бидо больше не действовали никакие письма - ни закрытые, ни открытые.

Я решил попытать счастья в Бельгии и Швейцарии туда смогут приехать некоторые французские друзья. Бельгийцы дали визу на две недели, но тем временам это было крайним либерализмом. Общество дружбы «Бельгия СССР» устроило мои доклады в Брюсселе, в Антверпене, в Льеже. Народу повсюду было много, и аудитории были бурными: все тогда теряли спокойствие - и враги и друзья.

В Брюсселе меня пригласила к себе королева Елизавета, вдова короля Альберта, о котором много писали в годы первой мировой войны. Королева меня потрясла. Конечно, это была первая королева, с которой я разговаривал, но, будь она нетитулованной, все равно я изумился бы; ей было семьдесят четыре года, а она ходила быстро, как молоденькая девушка, водила машину, занималась скульптурой, изучала русский язык. Она поговорила со мной о «Буре», которую читала по-русски, показала свои работы, рассказывала о встречах с Роменом Ролланом, спрашивала, давно ли я был у Сталина, как поживают Оборин и Ойстрах. Насчет музыкантов я мог что-то сказать, а о Сталине промолчал: трудно было бы объяснить бельгийской королеве, что советскому писателю куда проще встретиться с нею, чем со Сталиным. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Она сказала, что текст ей кажется прекрасным. У нас нашлась общая страсть - садоводство, я сказал, что очень люблю туберозы, искал о Брюсселе луковицы, но не нашел. Месяца три спустя в Москве я получил из ВОКСа пакет с сопроводительным

письмом: «Прилагаемые луковицы переданы на ваше имя в посольство СССР в Бельгии королевой Елизаветой». В конце беседы королева сказала, что придет на мой доклад: «Я сяду в королевской ложе, обычно я сижу в партере, но газеты захотят промолчать о вашем докладе, а если я буду в королевской ложе, им придется написать...»

Королева действительно сидела в королевской ложе, и в газетах появились отчеты о моем докладе.

В Антверпене возле «Зала Рубенса» было много полицейских. Несмотря на безработицу, бастовали докеры; помимо экономических требований, они отказывались разгружать американские суда с оружием. Одному американскому судну пришлось ночью зайти в маленький порт Зее-Брюгге и там выгрузить оружие. Желая обескуражить забастовщиков, власти арестовали стачечный комитет и среди его членов депутата парламента, докера Франса ван ден Брандена. Забастовка, однако, продолжалась, а ван ден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконных действий полиции. Первого мая рабочие двинулись к тюрьме, требуя освобождения «нашего Франса». Мой доклад состоялся в тот самый день, когда ван ден Брандена освободили. Мы выпили в кафе за его здоровье, за мир. Кругом толпились рабочие. Ван ден Бранден, высокий, худой фламандец, говорил: «Можете быть уверены, в наш порт они не привезут оружия!...» Потом ван ден Бранден и его товарищи пошли в «Зал Рубенса» на мой доклад. Я говорил о Рублеве, о Пикассо, о единстве культуры, о Стокгольмском воззвании.

Вспоминая весну 1950 года, я думаю, что никто тогда не знал, чем все кончится. «Может быть, завтра начнется война» - это можно было услышать на любом перекрестке любого города. Пять послевоенных лет были бурными, пестрыми, противоречивыми. Германская Федеративная Республика была годовалым младенцем, да и НАТО еще барахтался в колыбели. Многим казалось, что можно изменить ход событий. В Брюссель приехал молодой француз, рабочий-металлист Раймонд Агасс: он хотел рассказать мне о драме города Ля Рошелль. Докеры Ля Рошелль отказались грузить суда с военным снаряжением, которые должны были уйти в Сайгон. Власти попытались разогнать докеров, найти «желтых». Тогда в порт двинулись рабочие. Агасса арестовали и предали суду. В день суда над зданием трибунала неожиданно взвился красный флаг. Агасс

восклидал: «На войну мы не будем работать! Не выйдет!» Рассказал он мне о событиях в салоне гостиницы «Палас», и дамы, дремавшие в креслах, испуганно убежали.

Две недели спустя в Женеве марсельцы рассказали мне, как судно «Эмнир Маршалл» металось по Средиземному морю - ни в одном порту его не хотели разгрузить. Ко мне приехал товарищ из Ниццы. Там должны были погрузить установки для управляемых снарядов. Военную технику стыдливо прикрыли ветками мимозы, но кто-то обнаружил закамуфлированные установки; завывла сирена, рабочие ринулись в порт.

Бог ты мой, сколько в этом было романтики! Раймонда Дьен отпраздновала в тюрьме день рождения - ей исполнился двадцать один год. Ей слали десятки тысяч поздравительных телеграмм. Что она сделала? Легла на рельсы, задержала на час или на два воинский состав. Но ее имя повторяли сотни миллионов людей, юноши и девушки повсюду вдохновлялись ее поступком.

Тогда еще не успел сложиться быт послевоенного Запада. В Лондоне в центре города чернели развалины. Пролетая над Германией, я видел скелеты разбомбленных городов. В Англии еще существовали продовольственные карточки. Европа жила бедно, тревожно, суматошно. Битва рабочих во Франции и в Италии была проиграна еще в 1947 году, но всем казалось, что битва продолжается. Пентагону, который вместе с некоторыми монополиями определял политику Америки, помогал всеобщий страх. Я убежден, что Сталин не хотел войны, однако его имя пугало не только буржуазию, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих рабочих Западной Европы. Французские газеты писали, что советские танки в течение нескольких дней смогут дойти до Дюнкерка и Бреста. Симона де Бовуар в своих воспоминаниях рассказывает, как писатели, встречаясь друг с другом, спрашивали: «Что вы собираетесь делать, когда советские войска приблизятся к Парижу,- уедете или останетесь в оккупированной Франции?» Камю говорил Сартру: «Вы должны уехать - они вас не только убьют, но и обесчестят...» Трагедия коммунистов была в их изоляции, связанной с подозрительностью соседей, со страхом перед нашествием, с разговорами о «пятой колонне». Антверпенских докеров не поддержали ни фламандские крестьяне, ни многие социалистические профсоюзы.

В Льеже мой доклад устроили в консерватории. Валлонцы - люди темпераментные, и после доклада меня не отпускали - я должен был расписываться на книгах, своих и чужих, на листочках из записных книжек, на членских билетах общества «Бельгия - СССР», на различных карточках. Вдруг чрезвычайно рослый любитель автографов, расталкивая всех, прорвался ко мне и протянул бумажку. Я чуть было не подписал ее, но человек зычно крикнул: «Ваши документы!» Оказалось, он сунул мне полицейское удостоверение: решил на всякий случай проверить, кто этот смутьян.

А в общем, бельгийские власти вели себя корректно. Правда, когда ректор Брюссельского университета попросил министра юстиции продлить мне визу на один день для того, чтобы я мог прочитать лекцию студентам о русской литературе, министр отказал. Но это было в нравах времени.

Бельгии жила лучше соседней Франции: в магазинах было не только больше товаров, но и больше покупателей. Бельгийцы объясняли: «Все дело в Америке...» Директор «Атомного центра» профессор Козенс рассказал мне, что бельгийские ученые, работающие над проблемами мирного использования атомной энергии, не имеют урана. Он посоветовал мне съездить в загородный музей Конго. Там я увидел кусок темного минерала, под которым значилось: «Уран, Катанга Шинколобве». Это было некоторым объяснением любви американцев к маленькой Бельгии.

Теперь, вспоминая музей и дощечку «Катанга», я думаю о другом: о драме, разыгравшейся десять лет спустя, о судьбе Лумумбы. Экспонаты стремились убедить посетителей музея в богатстве Конго и в духовной неполноценности его туземцев: благородные миссионеры, культурные колонизаторы и уродливые, дикие негры. Уран, золото, медь, олово, слоновая кость, каучук... Десять лет спусти к этим сокровищам можно было добавить реки человеческой крови.

Я познакомился с сенатором-социалистом Анри Ролленом. Он наговорил мне много неприятного о советской политике, а потом неожиданно сказал, что находит Стокгольмское воззвание разумным. Конечно, я тогда не мог себе представить, что Роллен станет одним из инициаторов встреч «Круглого стола», что я буду у него дома дружески разговаривать с ним о литературе, что на митинге в Брюсселе, где он будет председательствовать, после меня выступит

Жюль Мок и скажет: «Мой друг Эренбург предлагал...» Я говорил, что политика часто вмешивалась в человеческие отношения - рвались дружеские связи; бывало и наоборот - вчерашние недруги начинали благожелательно улыбаться. Я думал: такой-то очень изменился, а такой-то считал, что изменился Эренбург; наверно, мы все менялись, а больше всех менялось время.

Бельгия меня удивляла контрастами. Центр Брюсселя был освещен куда ярче Парижа, световые рекламы неистовствовали, как на Бродвее. Но стоило отойти в сторону - и в теплый вечер у старинных домов судачили старушки в чепцах. Люди читали в газетах ужасные предсказания об атомной войне, а потом работали, мирно калякали, пили пиво. В старых городах Фландрии сплетницы с помощью прикрепленных к окнам зеркалец видели, что происходит на улице, оставаясь невидимыми. Писатели, которые принимали меня в Пенклубе, сначала судорожно говорили о надвигающейся войне, спрашивали, не ждет ли их участь Ахматовой и Зощенко, а потом начинали спорить о Сартре, о Кафке, о Маяковском.

Я поехал в Остенде, чтобы повидать художника Пермеке. На побережье было много разрушенных зданий. Проезжая мимо Ля Панн, я вспомнил, как писал «Хуренито». Где же та гостиница?... Чернел кусок обугленной стены.

В Брюсселе я пошел к Элленсу. Он говорил, что кругом бестолочь, слепота, трудно разобраться. Я его удивил, сказав: «Самое трудное, что мы противоречим самим себе...»

Действительно, было много противоречивого не только в жизни Бельгии, но и в голове человека, размышлявшего над бельгийскими противоречиями. Я сидел в Брюсселе и читал статьи финансистов о дивидендах «Верхней Катанги», о том, как американский трест «Группа А - Б» купил миллион шестьсот тысяч акций у англичан и бельгийцев: злоба дня продолжала меня волновать. А попав на посмертную выставку Энсора, я погрузился в другую стихию - исчезли и уран, и Ван-Зееланд, и Ачесон. Я глядел на пустынные пейзажи, на шествие розовых масок, на одинокого извозчика, уснувшего навеки в эпоху Верлена и Малларме. Кажется, почти всю свою жизнь я жил одновременно в различных мирах, два человека сосуществовали, и порой далеко не мирно; в тот год я это чувствовал особенно остро.

Швейцарскую визу я попросил еще в Москве. В Брюсселе меня вызвали в посольство Швейцарии: визу мне дадут, но я должен подписать заявление: «Я, нижеподписавшийся, Илья Эренбург, обязуюсь во время моего пребывания в Швейцарии воздерживаться от какой-либо политической деятельности, в частности не выступать с докладами и не появляться на собраниях, как публичных, так и частных, также не устраивать пресс-конференций».

Я исправил текст и перед словом «собраниях» вставил «политических». Дипломат сказал, что запросит по телефону Берн. Я прождал добрый час. Наконец дипломат уныло мне сообщил, что я не должен показываться на собраниях не только политических, но и культурных, религиозных или литературных. Он добавил, что я могу посещать богослужения и ходить в кино.

Когда я приехал в Швейцарию, в Сен-Галлене шла конференция швейцарских писателей. Я получил приглашение, но власти мне напомнили, что я обещал не показываться на собраниях. Я не решился даже пойти на концерт чехословацкой музыки.

Нейтральная Швейцария была вовлечена в водоворот «холодной войны». В Цюрихе мне дали циркуляр биржевого агентства «Аффида»: «...Тот факт, что Россия теперь также обладает атомной бомбой, вызовет еще более быстрый рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «младенцами войны», то есть с акциями предприятий, которые во время второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы прилагаем краткое описание «Локхид эйркрафт корпорейшн», акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7 процента...» Я ознакомился также с размышлениями педагога, продиктованными учеником старшего класса сионской гимназии для упражнений в переводе с французского языка на немецкий: «...Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задушенных друзей, за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят похитить у нас нашу отчизну, они уже собрали солдат и подошли к предгорьям наших Альп...»

Разумеется, я встречал швейцарцев, равнодушных к акциям и ненавидевших ненависть; в Женеве дирижера Аисерме, в Базеле - теолога Барта, в Люцерне - художника Эрни. Мне хочется сейчас,

рассказать о замечательном эллинисте Андре Боннаре. С ним я познакомился на Парижском конгрессе. Теперь он пригласил меня к себе в Лозанну. Мы говорили о Микенах, о советской поэзии, о мире. Потом я прочитал его книги, и они помогли мне понять многое в культуре Эллады. Я встречал Боннара и позднее - побывал еще раз у него в Лозанне, беседовал с ним на различных конгрессах мира. Я пишу о нем в этой главе потому, что вечер его жизни тесно связан с «холодной войной». Он был на три года старше меня и принадлежал к последним гуманистам Запада. Никогда не занимавшийся политикой, он одним из первых примкнул к Движению сторонников мира. В 1952 году, когда он ехал на сессию Всемирного Совета, его задержали в Цюрихе и предъявили нелепейшее обвинение в разглашении государственной тайны. Судили его полтора года спустя и приговорили условно к пятнадцати дням тюремного заключения; приговор достаточно показывает вздорность обвинения - оправдать его судьи Берна все же не решились: боялись тем самым обвинить швейцарскую полицию.

Редко можно встретить такого бескорыстного, честнейшего и чистейшего человека, каким был Боннар. Он любил поэзию Древней Греции, ее памятники, жизненность ее искусства, любил студентов, которым читал лекции, любил мир. На суде он сказал: «Вы теперь должны вынести приговор. Это вопрос вашей совести. Моя совесть чиста... Здесь говорили о моем гуманизме, но гуманизм для меня не наука кабинетного ученого, а нечто другое - законы, определяющие жизнь. Я также хочу сказать, что неправильно пытались доказывать, что во мне гуманист подозрительно сосуществует с другой половиной с тем, кого слишком обобщенно называли «коммунистом». В действительности эллинизм для меня был долгой всепоглощающей школой. Пытаются отрезать переводчика «Антигоны» от сторонника мира, а на самом деле это тот же человек. Нет, господа судьи, я не существо с двойной жизнью, каким меня здесь изображали... Не думайте, что литература лишь для того, чтобы ее читали, она создается для того, чтобы ее воплощали в жизнь. Если бы она не учила искусству жить, она была бы только игрой и я никогда не посвятил бы ей свою жизнь...»

Страшная была эпоха, когда к книгам относились, как к бомбам, когда мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость,

Андре Боннара, и попытаться его замарать. А он после суда мягко улыбался и с надеждой глядел на детей: «Им будет легче...»

Я пробыл в Швейцарии десять дней: приезжали друзья из Парижа, Гренобля, Марселя, Лиона, Ниццы; я слушал, записывал, а вечерами сидел на террасе кафе, озеро мне казалось то притихшим на минуту морем, то искусственным бассейном, устроенным для почтенных англичанок или туристов из Оклахомы. Глядя на воду, я в тысячный раз думал о том, что жизнь - это очень странная пьеса - трагедия, которая сбивается на фарс, один актер плачет, другой почему-то смеется, и для того, чтобы принять происходящее на сцене, нужно, видимо, быть очень мудрым или круглым дураком. А обыкновенному человеку остается работать, читать газеты, смотреть на озеро, если таковое имеется, и не пытаться разгадать замысел чересчур сложного автора.

Приехала на несколько часов Дениз. Мы долго глядели друг на друга,- может быть, снова захотели понять, что с нами случилось. Потом я вдруг сказал: «Это было в другой жизни...» Она ответила «да» и улыбнулась смутной улыбкой - как когда-то.

Виза истекла. Я поехал в Берлин. Там «холодная война» была бытом. В Восточном Берлине на троицу проходила «встреча молодежи». Юноши и девушки в синих рубашках или блузках маршировали, пели песни, слушали речи ораторов. Все это происходило среди развалин. Одна сторона Потсдамерплатца принадлежала демократической республике, на другой стояли американские солдаты. Парни в синих рубашках запускали пачки листовок, на них была воспроизведена пикассовская голубка. В ответ летели апельсины, и какой-то бурш в клетчатой рубашке вопил: «Апельсинов-то у вас нет...»

Границу все время переходили люди - шли на работу, повидать родственников, купить что-либо. Я несколько раз отправлялся в Западный Берлин. Напротив «Романишес кафе», где я когда-то сживал с Моголи Надь, Маяковским, Вальтером Мерингом, Тувимом, была биржа - меняли «восточные» марки на «западные». Тем же занимались сотни менял в бараках или в отремонтированных нижних этажах разрушенных домов. Курс в то время был фантастическим - за одну «западную марку» требовали семь «восточных». Побриться стоило одну марку в обеих частях города.

Экономные бургеры западных секторов брились в восточном - у них оставалось после этого шесть марок. Хозяйки западных секторов покупали в восточном овощи, хозяйки восточного сектора несли домой в кошелках кофе, апельсины, бананы. Магазины на Потсдамерштрассе бойко торговали английской материей; в витринах красовались надписи: «Принимаем восточные марки»; а расчетливые бургеры Шарлоттенбурга несли шевиот портным на Александерплац - костюм обойдется втрое дешевле. На Курфюрстендаме танцевали самбу, пили рейнвейн, разглядывали полуголых визгливых певичек. А в Восточный Берлин любители отправлялись смотреть пьесу Брехта. В Западном Берлине было довольно много безработных, но американцы не жалели денег - перед ними был не город, а выставка капиталистического рая, безработным давали пособие - сто марок в месяц, и безработные говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим в Восточном Берлине: «Мы ничего не делаем и получаем семьсот ваших марок».

В восточном секторе было много книжных магазинов. На столбах красовались политические плакаты или афиши - «Разбойники» Шиллера, диспут «Нужно ли нам искусство». В Западном Берлине пестрели рекламы; маленькие магазины выставляли предметы роскоши. На Курфюрстендаме были переполнены рестораны, кафе, кабаре. Вывески напоминали о далеком прошлом: «Ликеры Маппе», «Ресторан Кемиинского». Мне было десять лет, когда я впервые ел у Ашингера сосиски. Все рухнуло: империя Вильгельма, Веймарская республика, третий рейх и вот передо мной сосиски Ашингера. Правда, помещение не то - закусочная в полуобвалившемся доме, но бургеры довольны: жизнь восстанавливается, старая, надышанная, хорошо знакомая.

Громкоговорители двух Берлинов с утра до ночи обличали друг друга. Это, как и многое другое, напоминало фронт. Печать Западного Берлина уверяла, будто «красные» устраивают «встречу молодежи», чтобы захватить весь город. Американцы, англичане, французы выставили орудия, танки. Но не было ни снарядов, ни пуль, только много листовок и немного апельсинов.

У войны свои законы, она неизменно обкрадывает духовный мир человека, упрощает его суждения, превращает своего в святого, а врага в плакатное чудовище. В этом «холодная война» напоминала все

войны. Если Москва или Нью-Йорк были тылом, то берлинцы жили на переднем крае. А писателю трудно ограничиться короткими лозунгами, иконописью или карикатурами.

В Восточном Берлине я встретился с Брехтом, с Анной Зегерс, с Арнольдом Цвейгом. Газеты Западного Берлина на них нападали, называли «продавшимися Москве», «карьеристами», «приспособленцами». Это было глупо - ведь любой житель Восточного Берлина мог перейти Потсдамерплатц и оказаться в том мире, который на Западе именовался «свободным», а подкупить было куда легче на «западные» марки, чем на «восточные». Анна Зегерс приехала в демократическую республику из Мексики, Брехт из Соединенных Штатов, Цвейг из Палестины. Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс. Помню долгий спор с одним из людей, которым чуждо, а может быть, и враждебно искусство. Мой собеседник уверял, что в романе Зегерс «Мертвые остаются молодыми» чувствуется симпатия к гитлеровцам, есть там даже антисемитские ноты; Цвейг - «полусоциист-полумистик», который смотрит одним глазом на Израиль, другим на Запад; что касается Брехта, то это «неисправимый формалист», упрямец, выступающий против реалистического изображения действительности, в его пьесах «нарочитая фантастика». Я возражал, говорил, что Цвейга никто не тащил из Палестины в Берлин, что Анна Зегерс не может быть антисемиткой - она еврейка, ее мать гитлеровцы убили в Освенциме, а насчет избытка нарочитой фантастики в Берлине лучше промолчать - этот город превосходит фантазию и Брехта, и По, и Гойи. Горячился, конечно, зря: есть люди, которые умеют говорить, но не слушать.

Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим, такое впечатление обманывало - он слушал, многое подмечал, порой усмехался, Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил,- не Парижа или Берлина, а некоей страны, которую я про себя называл «Брехтией». Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю,

что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека.

Вспоминаю последнюю встречу у Анны Зегерс. Это было осенью 1955 года, за несколько месяцев до его смерти. Анна спрашивала: «Кого из писателей реабилитировали после Бабея?...» Я ей привез старый лубок: Бова-королевич вызвал на поединок Смерть. Брехт попросил перевести текст и насторожился, я почувствовал знакомое мне беспокойство.

Один автор Западной Германии в книге, посвященной Брехту, говорит, будто поэт «хитрил», был «расчетлив» в своих решениях. А хитрость Брехта была хитростью ребенка и все его «расчеты» - просчетами поэта.

В Москву я вернулся в начале июня, рассказывал о поездке, о Берлине. Савич меня спросил: «Ну как, по-твоему, будет война?...» Я ответил: «Ни в коем случае». Еще раз я оказался плохим пророком: две недели спустя началась война в Корее, которая долго угрожала стать мировой.

Мы жили на даче возле Нового Иерусалима. Лето было на редкость дождливым, и я почти весь день писал газетные очерки, а по вечерам слушал радио. Хотел сесть за роман, когда позвонили: нужно ехать в Лондон на конференцию мира - вопреки ожиданиям, англичане дали визу.

На аэродроме меня встретили английские сторонники мира и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу. Номер был роскошный, с ванной, и я думал, что смогу как следует выспаться. В «Ивнинг ньюс» на первой странице я увидел статейку с заголовком «Почему впустили Илью?». Я считал, что англичане, скорее, чопорны, чем фамильярны, и заметка меня озадачила. Ночью меня то и дело будили какие-то крики; в полусне я смутно думал: почему англичане кричат ночью на улице? Раньше такого не было... Утром я узнал от директора гостиницы, что был невольной причиной шума. Один из участников фашистской организации Мосли принес портативную трибуну и начал меня проклинать: я организовал войну в Корее, приехал в Англию для подрывной работы и так далее. Поскольку Хартии вольностей гарантирует свободу слова, полицейские ограждали оратора. Директор гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались, и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу.

В посольстве мне сказали, что летом в Лондоне вообще трудно найти комнату, а теперь какой-то конгресс да еще большой футбольный матч. Просидев полдня на заседании и выступив (то есть убедив убежденных в том, что мир лучше войны), я отправился по указанному адресу. Это была третьеклассная грязная гостиница, меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не успел даже опомниться, как за мною пришли - в Вестминстерском дворце меня ждут депутаты-лейбористы.

Корейская война взволновала всех - люди боялись, что она может перейти в третью мировую войну. Английские газеты уверяли, что военные действия начала Северная Корея. До Кореи далеко, и лейбористы так же мало знали о том, что произошло 25 июня на 38-й

параллели, как я, но считали, что коммунисты - зачинщики. Правда, среди лейбористов не было единомыслия, и некоторые депутаты говорили, что если военные операции и начали войска Северной Кореи, то Ли Сын Ман все же не заслуживает ни уважения, ни поддержки. Однако таких было мало (помню двоих - Э. Хьюза и С. О. Дэвиса). Большинство возмущалось «корейскими сателлитами Москвы». Напоминало все это, скорее, допрос, чем беседу и продолжалось до девяти часов вечера.

В Лондоне ужинают рано, и депутаты поели до встречи. Э. Хьюз провел меня в ресторан парламента, угостил пивом. Когда мы вышли, все рестораны уже были закрыты. Я позвонил в посольство и сказал, что я и английский коммунист, любезно согласившийся быть моим переводчиком, испытываем нестерпимый голод. Мы поехали в посольство, нас угостили рижскими шпротами и крабами «чатка»; это был настоящий пир. Расплата последовала быстро. Когда в час ночи я в такси добрался до гостиницы, мне сказали, что номер мне сдали по ошибке. Туалетные вещи положили без меня в чемодан, который и красовался у швейцара. Я возмущался, но швейцару хотелось спать, и он ничего не отвечал. Пришлось вернуться в посольство, там все спали; дежурный сказал, что я могу лечь на диван, где обычно ожидают приема посетители, но ни постельного белья, ни подушки у него нет.

Утром за мной приехал Айвор Монтэгю, повез на собрание и вдруг неожиданно объявил, что нам пора ехать: назначена моя пресс-конференция. Я ответил, что не могу показаться перед журналистами в измятой рубашке, придется заохать в посольство. Лондон очень большой город, и Монтэгю ответил: «Это невозможно. Лучше купить рубашку». - «Но где я могу ее надеть?» - «В уборной». Когда мы подъехали к помещению, оказалось, что полтора десятка журналистов уже ждут меня. Монтэгю показал себя умелым полководцем: вместе с двумя сторонниками мира он закрыл путь в уборную и дал мне возможность переодеться.

Должен признаться, что после пресс-конференции мне снова пришлось переменить рубашку: зал был набит журналистами, и вели они себя настолько вызывающе, что меня бросало в пот. Я понимал, что должен быть спокойным для тех немногих, которые действительно интересовались моими ответами, однако это внешнее спокойствие

стоило сил. Я бывал на сотнях пресс-конференций, но ничего подобного не видел. Все время меня прерывали. Один журналист подбежал и крикнул: «Нечего выворачиваться. Отвечайте прямо - «да» или «нет»?»

На Трафальгар-сквер устроили митинг. Народу пришло много. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что присутствовало десять тысяч, ТАСС назвал цифру «двадцать», наверно, было тысяч пятнадцать. Я оглядел площадь, памятник адмиралу Нельсону, смутился, но быстро взял себя в руки и произнес речь. Сразу после этого пошел сильный дождь, толпа начала редеть. Когда митинг кончился, я закурил, у меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной маркой - серп и молот. Незнакомый журналист попросил подарить ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении был снабжен фотографией: «Спички, которыми Илья собираетсЯ поджечь Англию». В другой газете я прочитал: «Илье Эренбургу хочется написать новый роман «Падение Лондона».

Монтэгю нашел комнату в гостинице, где меня не беспокоили, - это было великим делом. Вообще Монтэгю много раз меня выручал. Познакомился я с ним в 1948 году на Вроцлаве ком конгрессе. С тех пор в течение пятнадцати лет я неизменно видел его на всех заседаниях и совещаниях сторонников мира; он не выступал с речами, но работал изо всех сил. Внешне он напоминает не благопристойного джентльмена, а одного из посетителей той «Ротонды», куда я ходил юношей; на нем множество пестрых свитеров и жилетов, которые на заседаниях он постепенно снимает. Биография его еще экзотичнее. Он рос в богатой семье. Его отец был лордом, либералом. Айвор в ранней молодости увлекся Октябрьской революцией, побывал в Москве; потом стал коммунистом. Я как-то с ним бродил по восточным, рабочим кварталам Лондона. Прохожие его узнавали, некоторые начинали беседу - он не раз поддерживал кандидатуру коммунистов в этом районе. В молодости он занимался зоологией и обогатил зоопарк Лондона различными зверьми. Из Ленинграда он повез в Лондон на советском пароходе медвежонок. На третий день медведь лег в каюте Монтэгю и проспал до Лондона. Команда призналась, что медвежонок всем надоел, бродил по судну, гадил, и матросы решили его напоить - отдали ему свою водку. Потом Айвор Монтэгю занялся кино; помогал Эйзенштейну в Мексике. Он продолжал работать над

проблемами кинематографии и телевидения. Есть у него еще одно увлечение, о котором нельзя промолчать, пинг-понг, он председатель всемирного объединения ревнителй этого спорта. Айвор любит искусство; он очень доверчив и вместе с тем упрям; словом, это человек, который мне всегда казался понятным, хотя рассуждает он путано, а по-французски говорит настолько своеобразно, что французские слова порой кажутся английскими. В 1950 году, когда положение коммунистов в Англии было очень трудным, Монтэгю спокойно беседовал с политическими противниками: его необычность, очевидно, многих обезоруживала.

Один известный английский писатель, который на пресс-конференции не присутствовал, но был в то время настроен против Советского Союза, сравнил меня с «большой немецкой овчаркой» и посоветовал поскорее убраться в Москву. Я не называю этого писателя - мы познакомились с ним позднее, а лет шесть или семь спустя он изменил свое отношение к сторонникам мира, а заодно и ко мне.

Хуже было с выступлением в английском парламенте одного из лейбористов. (Имени его я тоже не называю, я его потом не встречал, не знаю, что он теперь думает, и отношу инцидент, о котором хочу рассказать, к климату «холодной войны».) Сотрудники журнала «Нью стейтсмен» пригласили меня на ленч; там я с ним познакомился. Разговаривали мы долго три часа, переводил с французского на английский Монтэгю. Разговор шел, разумеется, о мире и войне. Я рассказал об интересной статье во французской газете «Ле монд» и сказал, что ни французский народ, ни английский, видимо, не хотят воевать, настроения простых людей сильно отличаются от речей политиков, да и от того, что пишут в газетах. После этого депутат выступил с речью в палате общин. Он сказал, что недавно обедал со мной. Один консерватор его прервал: как может английский депутат сесть за стол с Ильей Эренбургом? Депутат-лейборист ответил, что хотел узнать врага. После чего он заявил, будто я говорил ему, что англичане, как и французы, не способны воевать ни морально, ни физически. Он сравнил меня с Риббентропом, который докладывал Гитлеру, что англичане не окажут никакого сопротивления. Прочитав это, я написал письмо в «Тайме». Написал письмо и Монтэгю. Но всякие такого рода опровержения мало кого интересуют, дело было

сделано: Эренбург - это Риббентроп, немецкая овчарка, человек, который подготавливает нападение «красных» на Великобританию.

За полгода до этого правая французская газета писала: «Было бы глупым впустить к нам снова Илью Эренбурга. Мы слишком хорошо знаем этого молодчика. В красной России он играет ту же роль, что играл Фридрих Зибург в нацистской Германии, который, объясняясь в любви к Франции, был квартирмейстером вермахта. Автор «Бури» прокладывает дорогу сталинским легионам. Эренбург во Франции был бы еще одним агентом ГПУ. И каким! Он хорошо знает джунгли Парижа, вхож в различные круги общества, это любимчик эстетов и снобов, он стал бы главным звеном бесконечной цепи шпионажа».

Меня пригласил Английский совет мира - эта организация, объединяла дюжину пацифистских движений, лиг, обществ: и квакеров, и толстовцев, и противников воинской повинности. Среди моих собеседников я увидел Зиллиакуса, человека, с которым десять лет спустя подружился. Я сразу почувствовал недоверие, даже подозрительность - такое уж было время. Мы обсуждали возможность совместных действий для прекращения войны в Корее. Постепенно мне удалось смягчить неприязнь, разговор начинал принимать благоприятный характер. Испортила дело секретарша английского Комитета сторонников мира. Она подошла ко мне и шепотом спросила: «Может быть, вы устали? Я могу попросить, чтобы вам дали чашку чая...» Настроение собеседников изменилось; они не знали, что речь шла о чашке чая, и начали шептаться между собой: овчарка обернулась волком, на котором чепчик бабушки...

В субботу часов в пять, то есть именно в то время, когда все англичане, богатые и бедные, правые и левые, пьют чай, я подошел к зданию нашего посольства и увидел странную картину: толпа молодых людей, кинооператоры, полиция. Оказалось, за пять минут до того молодые приверженцы Мосли начали швырять камни в посольские окна; полиции тогда не было, но кинооператоры были своевременно предупреждены и засняли демонстрацию народного протеста против «красных», продолжающих агрессию в Корее. Посол Зарубин показал мне камни. Комнату подмели, убрали осколки стекла. Посол при мне позвонил министру иностранных дел Бенину, который уже отдыхал на даче, попросил о срочном приеме. Потом посол стал диктовать ноту протеста. Все это я видел впервые, и

Зарубин, заметив, что я увлечен происшедшим, предложил мне остаться, подождать его возвращения. После беседы с Бевином он сказал, что министр мялся, разумеется, осудил хулиганов, обещал принять меры и так далее...

Я побывал в Кембридже: Монтэгию повез меня к одному из крупнейших физиков - Дираку. Приняли нас хорошо. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Дирак сказал; что считает атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается. Пришел его сын, подросток, учившийся в колледже, и попросил меня надписать «Падение Парижа». Дирак сказал: «Вот это - новое поколение, он у меня красный...» Я ответил, что для «Дейли мейл» и сам Дирак «красный» - ведь ему не нравится «холодная война» и он с уважением говорит о Жолио-Кюри. Дирак рассмеялся. (Жолио-Кюри мне как-то рассказывал, что Дирак сделал важное открытие в квантовой механике, когда ему еще не было тридцати лет.) На два или три часа я забыл о «холодной войне», слушая интересного, своеобразного человека. После обеда Дирак осторожно спросил меня, что случилось с его другом Капицей, в газетах сообщали, будто он арестован. Как раз перед моим отъездом мне рассказали, что Капица (чем-то рассердивший Сталина) продолжает работать, и я ответил Дираку, что Капица на свободе, у него лаборатория. Я почувствовал, что Дирак и его жена хотят мне верить, но не решаются. Госпожа Дирак спросила, могу ли я взять несколько мотков шерсти для жены Капицы - она любит вязать. В меня впились четыре глаза. Я ответил, что охотно передам подарок. Сразу всем нам стало легче. Таково было время, и таковы были человеческие отношения...

В Лондоне я впервые по душам поговорил с Берналом. Он был и во Вроцлаве и в Париже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой подолгу беседовали, и я его полюбил. Он с виду похож на классического ученого - все забывает, все теряет, торчат непокорные волосы. На самом деле он все помнит и очень многое его волнует. Черчилль не раз прибегал к его советам во время войны, ему даже специально заказали военную фуражку - у него чересчур большая голова. Однажды он мне рассказал, как ему пришло в голову открытие, которое он сделал. Это было в тридцатые годы; делегация научных работников Англии приехала в Москву. Уезжали они с

Центрального аэродрома. Отлет задерживался из-за погоды, лил дождь. Зала для пассажиров не было. Бернал стоял под навесом, и здесь ему пришла в голову идея структуры воды. Он поделился об этом со своим попутчиком физиком Р. Фуллером. В самолете они рассказали об этом друзьям-коллегам. Те выслушали и сказали Берналу: «Сейчас же, когда прилетим, запишите это...»

Бернал тратил много времени, сил на движение за мир.

Я приведу отрывок из письма, написанного профессором Берналом в сентябре 1954 года (как автор письма указывает - в четыре часа утра): «Меня поместили в гостинице излишне роскошной. Мне дали апартаменты, щедро украшенные в хорошем академическом вкусе, с картинами, написанными настоящим маслом, я знаю, что они могли быть еще хуже этого. Чтобы помочь мне уснуть, напротив окна моей комнаты сверкает ярчайший фонарь, а под окном стоянка машин, и водители то заводят моторы, то громко беседуют: если бы я понимал язык, наверно, их разговор развлек бы меня. Для немногих дней, которые я смогу провести в Москве, выработана программа: турне по метро, улица Горького и в воскресенье осмотр архитектуры на Сельскохозяйственной выставке... Я в Москве в восьмой раз, в этом городе я знаю десяток умных, интересных людей, и вместо того, чтобы дать мне возможность поговорить с ними, когда на свете столько интересных событий, меня превращают в священную корову...»

Он очень живой человек: все его интересует. В письме, которое я процитировал, он вспоминает строчку Вийона: «От жажды умираю над ручьем». Однажды он мне рассказал о замечательном английском поэте начала XVII века Джоне Донне, стихи которого Хемингуэй взял эпиграфом для романа «По ком звонит колокол». В другой раз мы беседовали о Пикассо.

Как-то он приехал ко мне в Новый Иерусалим, мы пошли гулять, Бернал увидел возле одного домика груды камней, начал их разглядывать, некоторые клал в карман. Люба сказала: «Но это ведь кто-то привез - хотят, наверно, вымостить дорогу»... Бернал выбросил камни, потом снова начал их разглядывать и, виновато озираясь, три или четыре сунул в карман. Когда мы вернулись, он начал разбивать камни, показал мне один с отпечатком морской ракушки и сказал, что возьмет его в Лондон.

Я привез его в окрестности Волоколамска, где на берегу озера сохранился прекрасный монастырь XVI века. Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной государства, никто его не охраняет. В башне, где был заточен Василий Шуйский, мы увидели свинью; в храме с осыпающейся росписью сушилось белье. Был холодный, осенний день; машина забуксовала, нам пришлось пройти километр по вязкой глине, обувь то и дело застревала, и Бернал вытаскивал туфлю, поджав одну ногу, как аист. Потом он говорил, что это был чудесный день.

Я старался уйти от убийственного климата «холодной войны», то беседуя с Берналом, то бродя по набережным Темзы и вбирая в себя унылую красоту огромного живого города, то глядя в картинной галерее на пейзажи Тернера, который за полвека до французских импрессионистов начал современную живопись.

В вечерней газете я увидел статью «Когда же Илья уберется восвояси?». Это было в день моего отлета.

Я глядел в оконце самолета - мы летели низко над Лондоном: игрушечные кубики домов, красные точки автобусов, спортивные площадки, парки, машины - макет огромного города. Я вспомнил людей на митинге, улыбку Бернала, который в разговоре то и дело вздыбливает свои и без того вздыбленные волосы, вспомнил и крикуна под окном, журналистов, осколки оконных стекол...

Эта глава вышла чересчур длинной и пестрой, но я хотел рассказать о несуразности «холодной войны» и припомнил некоторых людей, которые тогда меня поразили человечностью, спокойствием, сопротивлением мнениям и настроениям, окружавшим их. Десять лет спустя в одной из комнат Вестминстерского дворца собралась конференция «Круглого стола»; не только лейбористы, но и консерваторы любезно беседовали с советскими делегатами. Да и многое другое, описанное в этой главе, мне самому теперь кажется далеким прошлым, хотя с тех пор прошло всего пятнадцать лет... Конечно, с нашей стороны тоже было много ненужного, чересчур резкого, несправедливого по отношению к тому или иному человеку. Но хорошо будет, если некоторые люди Запада задумаются и над своей ответственностью. Мою повесть я назвал «Оттепелью», я начал ее писать в конце 1953 года. Западным газетчикам название понравилось, они умиленно его повторяли, но в 1950 году они делали все, что

могли, для усиления крепчайших морозов, и об этом также не стоит забывать.

Я рассказал о том исступлении, которое охватило мир в 1950 году. Мне хочется проверить свою собственную ответственность. Конечно, я не мог быть ни спокойным, ни сдержанным в суждениях; я не наблюдал со стороны за «холодной войной», я в ней жил. Что я мог чувствовать, разглядывая номер «Кольерс», посвященный будущей войне против Советского Союза? Описав разрушение советских городов, «Кольерс» рисовал идиллические картины Москвы, оккупированной американцами: заводы будут проданы или сданы в аренду иностранным предпринимателям, театр Красной Армии переименуют в театр Нового Света, в нем будет идти модная американская комедия «Бездельники и женщины», крупная московская газета начнет печатать на первой полосе мемуары кинозвезды Дженни Джемс «Как я любила и разлюбила в Сараваке». Я отвечал резко, и поступать иначе не мог.

Это было в 1949 году, и тогда еще не понимал смятения, которое охватило интеллигенцию Запада, и порой бывал несправедлив. Я прочитал книгу английского философа Бертрана Рассела, в которой он отстаивал создание «всемирного правительства». Эта идея мне и теперь кажется неприемлемой: она привела бы к мировому господству капитализма, но глупо было представлять Рассела как апологета господствующего класса.

Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра, называл его «хлестким, рассудочным, салонным». Я прочитал перед этим его пьесу «Грязные руки» - талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Почему я назвал Сартра «салонным»? Я тогда его плохо знал, две встречи - перед войной и в 1946 году - носили случайный характер. Во Франции, да и в других странах Запада все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только студенты, но и дамы без профессии, без возраста, щебетавшие в различных гостиных и на приемах: «О, Сартр!...» Познакомившись с Сартром, я увидел человека умного, скромного, который тяготился своей славой, называл ее «дурацкой», - он хорошо знал, что многие,

говорившие о нем с благоговением или возмущением, не прочитали ни одной из его книг.

В нашу эпоху политика не удел специалистов, а нечто общеобязательное редко кто может от нее укрыться. Политическая линия Сартра может показаться необъяснимой - столько в ней петель. В 1948 году он считал себя представителем «третьей силы», думал, что находится где-то между пролетариатом и буржуазией, между Советским Союзом и Америкой. Однако «ничьей земли» не оказалось, и «Грязные руки» обернулись в оружие Америки и буржуазии.

На Вроцлаве ком конгрессе Фадеев обозвал Сартра «гиеной»; четыре года спустя я получил письмо от аббата Булье, который писал, что церковное начальство запретило ему участвовать в Движении сторонников мира: «Я не могу приехать на конгресс в Вену - вряд ли поп-расстрига представит большую ценность для Всемирного совета... Мы вам посылаем на этот раз Сартра. Мне обидно, что я не увижу, как Фадеев заключит в свои объятия гиену»...

В Вене Сартр был звездой: его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали.

С 1952 года по 1956-й Сартр защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной ассамблее в Хельсинки.

После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями - советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал.

Всё это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснение хочу сказать о некоторых свойствах Сартра,- подружившись с ним и с Симоной де Бовуар, я многое понял.

Сартр по любви, да и по таланту - писатель, но его творчество и восприятие жизни зачастую зависит от другой стороны его деятельности - от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил: «Мысль и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассекли на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа, строят предположения, не веря тому, что «другой» говорит, толкуют его слова и занимают позиции, исходя от предположении - так-то

поступит одна позиция, исходя от предположения - так-то поступит противник. Тогда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости «хочешь мира - готовься к войне», а это - триумф абстракции. Люди становятся абстрактными. Каждый - это «другой», то есть воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека - преобладают наименования, этикетки...»

Наряду со стремлением осмыслить происходящее в Сартре много обостренной чувствительности. Менее всего он наблюдает, он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком: я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра: «Это наш Тартарен...» Приведу диалог. Агроном спрашивает: «Интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова?» - «Боюсь ответить - я не специалист».- «Это мы понимаем, что они едят книги. Но, скажем, пятьдесят литров в день дает?» - «Кажется, таких коров выставляют на выставках».- «А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по пятидесяти литров в день». Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне: «Хороший этот француз, такой простой человек!...» В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась: «В общем, он прав - Сартр действительно наивен...» А Сартр стесненно улыбался.

Рассудочность, в которой я пятнадцать лет назад упрекнул Сартра, связана не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских второй половины прошлого века, по будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером: то, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами молчания, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью - словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года.

Поездки на Запад о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат «холодной войны»; я увидел, как легко увеличить число врагов, и тон моих статей стал мягче. «Нет на свете вопросов,

которые нельзя разрешить соглашением,- писал я в «Правде»,- мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей... Мы дорожим ценностями любой цивилизации - «восточной» и «западной», «северной» и «южной». Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят.- для всех найдется место под солнцем, а кто прав - рассудит будущее». В ноябре 1950 года на Втором конгрессе сторонников мира я говорил: «Я стою за мир - за мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой господина Трумэна и господина Ачесона... Планета одна, однако она довольно вместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатию к идеям хозяина этого дома, и чтобы никто не швырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе... Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы для мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам, нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси. Развитие культуры человечества невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов... Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие».

Теперь такие рассуждения - азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверие. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с читателями. (Несколько лет спустя положение изменилось. В «Литературной газете» была напечатана статья одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки. В запале (психологически понятном) он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету письмо - говорил, что в Америке есть своя - и значительная - культура, крупные ученые, замечательные писатели. Хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1957 году, а не в 1950-м...)

В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950-м после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло,

Стокгольме; потом на конгрессе в Варшаве; в 1951-м - сессия Всемирного Совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходят пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии, вопросы, которые, увы, все еще не стали историей,- гонка вооружений, рождение бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на Вокзальной площади, в Вене возле здания парламента. Секретариат Всемирного Совета помещался в Праге; там перед очередным конгрессом мне приходилось оставаться но несколько недель.

Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей; порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Элин Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе, кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с нею беседовал и убедил ее приехать на конгресс в Варшаву. (После этого были выборы, и ее не переизбрали в парламент.) Выступая в Варшаве, Элин Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила «представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю нал своими заблуждениями». Два года спустя она выступила на конгрессе в Вене; сказала, что я ей «открыл на многое глаза», но со многим в моей речи не согласилась: «Скажите, вы уверены, Илья Эренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх?...»

В Норвегии группа левых социалистов назначила мне свидание за городом. Денег на такси у меня не было, и я поехал в машине посольства. Шофер не знал окрестностей города. Я вылезал и спрашивал, но никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки. Я приехал с двухчасовым опозданием. Однако разговор был благоприятным. (Я рассказал об этой встрече, потому что несколько лет назад ее участники откололись от правящей партии и образовали новую.)

Бывали положения, когда мне приходилось краснеть. В Стокгольме секретарь Шведского Комитета мира Ценистрем, автор

превосходной книги о Пикассо, повел меня к одному из крупнейших врачей - я должен был убедить его подписать Стокгольмское воззвание. Нарядная горничная провела нас в гостиную, где ждали приема пациенты. Почему-то мне пришло в голову спросить Ценнстрема, знает ли профессор, о чем я собираюсь с ним беседовать. Ценнстрем ответил, что он просто назвал мою фамилию, вероятно, профессор назначил мне час как пациенту. Я бросился к выходу. Горничная пыталась меня остановить: «До вас только двое...» Я постыдно убежал.

Меня попросили показать один документ знаменитому датскому микробиологу Т. Мадесну. Ему тогда было восемьдесят два года. Он меня любезно принял, угостил хересом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский. Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись: «Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте - это может рассмешить студента-первокурсника...» Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел как на иголках и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек», - мне тогда пошел седьмой десяток и давненько никто меня так не называл.

Генеральным секретарем Всемирного Совета был Жан Лаффит - человек добродушный, который умел помирить спорщиков. Лаффит казался флегматичным, даже ленивым, но на деле был работягой. Его помощниками были китайский поэт Эми Сяо, американский пастор Дарр, бразилец Борсари, итальянский социалист Феноалтеа и П. В. Гуляев. Гуляев, присмотревшись к делу, показал себя тактичным и умным человеком; он сохранил лучшие черты поколения, которое вошло в жизнь в начале тридцатых годов, не обюрюкратился, да и не был напуган до смерти, хотя положение его было трудным. Когда Гуляев умер, все поняли, какую роль он играл в движении.

Секретариат помещался в большом доме на берегу Влтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками; работа была кропотливой. Прага в то время выглядела уныло. Иногда меня звал к себе Лаффит, угощал достопримечательным ужином: он родом из Дордони, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржетт,

может потягаться с премированными поварами. Мы не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились.

Иногда в воскресенье я ездил в Добриш - там в Доме писателей жил Жоржи Амаду с женой Зелией и маленьким сынишкой. Жоржи - живой, порывистый человек, такими мы представляем себе людей юга, а в Зелии мягкость и женственность уживаются с подлинным мужеством. Я с ними подружился. Жоржи и сиживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции, он легко приспособлялся к трудностям быта. В Добрише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дрдой. Амаду, худой, подвижный, черноволосый, мог сойти за одесского или марс-льского жулика, а грузный, веселый, норой с лукавством Дрда напоминал Швейка. За игрой они ругались по-чешски и по-португальски: «Шулер!», «Мошенник!», «Конокрад!»...

Амаду - коммунист и в течение двадцати лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупицы честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привезти несколько бразильцев различных направлений, и он не захотел выступить: «Пусть говорит они...»

Он начал писать рано, первый его роман вышел в свет, когда автору было двадцать два года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос - Северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы - в них сочетание жестокой правды с поэзией; это не литературная манера, а сущность Амаду - любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита, он плодал кору деревьев, колючие кактусы, а потом не выдержал - съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью.

Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне: «Я три раза фотографировал Жоржи Амаду, но только один раз одна газета взяла у меня фото...» Слава пришла к Жоржи после романа «Габриэлла». Флобер говорил о госпоже Бовари: «Эмма - это я». Некоторые удивлялись - уж очень не похож был холостой скептик с его иронией

на ветреную, влюбчивую провинциалку. А Габриэлла - это воистину Амаду, все люди, знающие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором.

Из друзей моей молодости мало кто остался - одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом, я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет, а это очень много.

Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии; ее называли, как дочь Пикассо, Излома (Голубка). Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок: он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал по Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас, одна из них попросила Гильена надписать книгу его стихов. Он сразу повеселел и, когда мы расставались, сказал: «Вот у меня оказались читательницы и в Париже!...»

Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает; может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала - он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуну. Во время гражданской войны Гильен был в Испании. Потом узнал тюрьмы Батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине:

Птица прилетела неживая,
прилетела с песенкой печальной.
Ах, Куба, тебя я знаю!
На крови растут твои пальмы,
слезы - вода голубая.

«Холодная война» была в разгаре, и это порой придавало нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде; однако за два месяца до назначенного срока

мы получили из Англии неутешительные вести: по всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помещение; забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь: Жолио-Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон, ехал он поездом, а через Ла-Манш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона: «Жолио не впустили»... На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много - где же Жолио: в Кале, в Булоне, в Гавре?... Мадемуазель Булонь (так называют телефонисток) была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Жолио-Кюри, и вскоре сообщила, что Жолио в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Жолио - он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарж, потом я. Это было своеобразное заседание по телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение: конгресс переносится в Варшаву.

Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Жолио, Фарж, Ненин, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен. Бывали и скучные заседания. Хотелось выступить всем, устраивали ночные заседания, под утро председатель боролся со сном, и оратор патетически восклицал перед пустым залом: «Мы не ослабим нашей бдительности!...»

Помню, в одни из тусклых дней я увидел Д. Д. Шостаковича; он сидел с наушниками; лицо его было очень мрачным. Я подошел к нему, он шепнул, что его оторвали от работы, и вот приходится слушать... Я сказал: «Да вы не слушайте, снимите наушники». Дмитрий Дмитриевич отказался: «Все знают, что я не владею иностранными языками, скажут -«неуважение к общественности»... На следующий день я снова увидел его с наушниками, но счастливым. Он объяснил: «Догадался - вынул вилку из штепселя... Теперь я ничего не слышу. Удивительно хорошо!...» Говорил он, как всегда, скороговоркой и походил на ребенка, которому удалось перехитрить взрослых.

Участие в Движении сторонников мира многим обошлось дорого: аббаты Б улье и Гаджеро лишились духовного звания, некоторые профессора - кафедр, а Изабелла Блюм - места в парламенте: бельгийские социалисты ее исключили из партии. Все свои силы она отдает борьбе за мир. Редко кто из молодых способен, как она, слетать

на несколько дней в Мексику, потом сразу отправиться в Индонезию, просидеть неделю на конгрессе, перебегая из одной комиссии в другую, кого-то уговаривая или успокаивая, выполняя любую неприметную работу, чтобы две недели спустя уехать в Японию. Ее отец был пастором, ее сын - коммунист, а она осталась партизанкой.

Пьера Кота я знал давно, мы познакомились в Париже в годы Народного фронта, встречались в Москве, вместе ездили в Тулу к летчикам «Нормандии», и все же присмотрелся я к нему только в то время, о котором рассказываю. Юрист, крупный политический деятель, который десятки лет просидел в парламенте, бывал министром, он по своей формации для меня человек другой стихии - птица для рыбы или рыба для птицы. Однако с ним я чувствовал себя легко, вероятно, потому, что он никогда не был ни охотником, ни рыболовом, любит искусство и, кроме политических установок, знает, что даже единомышленники не похожи друг на друга. Часто мы просиживали ночи над текстом заявления или рекомендации (мало кто потом вспоминал об этих текстах, но, бывало, люди часами спорили о прилагательном, как будто от одного слова зависела судьба человечества. В классических резолюциях часто попадаются слова «принимая во внимание». Пьер Кот умеет принять во внимание особенности того или иного человека; эта черта не так уж распространена среди политических деятелей. Он прекрасный оратор, но в его речах никогда нет того, что мы называем красноречьем - он точен, логичен, старается убедить того, с кем спорит. Много лет он был одним из руководителей радикал-социалистической партии, самой пестрой в мире, объединявшей людей различных взглядов, и вместе с тем я редко встречал на Западе настолько дисциплинированного политика. Он спорил, а потом, видя, что не смог убедить других, садился и писал резолюцию, выражавшую точку зрения большинства, причем выражал мнение тех, с кем спорил, убедительнее, чем это сделали бы они сами. У д'Астье очень длинное имя: Эммануэль д'Астье де ля Вижери. Сам он еще длиннее своего имени,- входя в любой зал, я его сразу вижу. Наружность у него старого французского аристократа, вместе с тем он похож на классического Дон-Кихота. Он образцовый дилетант - и в политике и в литературе. Он написал несколько хороших книг - это наполовину воспоминания, наполовину размышления; его книги нравятся, но

писатели, хваля их, не забывают, что д'Астье - дилетант. О политиках и говорить нечего: Дон-Кихот в парламенте или в редакции политической газеты - это не просто дилетант, а опасный путаник, за которым не уследить. Может быть, поэтому в Движении сторонников мира первого периода, где встречались люди разных толков и где энтузиазм перемежался рассуждениями о смысле жизни, а организационная работа самодеятельной дипломатией, д'Астье оказался на своем месте. В кабинете д'Астье я видел портреты его предков; но иронии судьбы все они были министрами внутренних дел различных режимов. Эммануэль не миновал наследственной болезни - его назначили министром внутренних дел в первом правительстве Свободной Франции. Во Франции еще находились немцы, и д'Астье правил только Корсикой. Вряд ли он был хорошим министром, но несколько лет спустя он показал себя хорошим сторонником мира. На каждом заседании бюро или президиума, на каждой сессии Всемирного Совета он говорил мне, что с него хватит бессмысленных дискуссий и ночных заседаний, все мы - догматики, а он не научился думать, никто из нас его больше не увидит ни в Праге, ни в Вене. Говорил он это почему-то мне, как будто я его завербовал и не отпускаю; подымался в свой номер гостиницы, прочитывал две страницы Монтеня или раскладывал два пасьянса, после чего возвращался на заседание успокоенный и садился за проект очередной резолюции. Он обидчив, как некоторые женщины, однако верен и своим идеям, и друзьям. Характер у него нелегкий, но я дорожу его дружбой - что ни говори, донкихотство в наше время дефицитный товар.

Я не могу сейчас говорить о Движении сторонников мира, как о прошлом: оно продолжается, и я в нем по-прежнему участвую. Я говорю о тех годах, когда оно было наиболее бурным, потому что тогда наиболее ощутимой была угроза атомной войны. Конечно, от Кореи далеко и до Лондона и до Нью-Йорка, но военные действия в Корее тревожили весь мир. Эта злосчастная страна была сожжена. Горели города и села, подожженные напалмом. Сначала войска Севера заняли почти всю Корею. Вмешалась Америка, ее солдаты подошли к границе Китая. Тогда вступили в бой китайские дивизии. Многие политические деятели и военные Соединенных Штатов настаивали на применении атомного оружия. Некоторые сенаторы

требовали, чтобы атомные бомбы были сброшены на Москву. Любой француз или итальянец знал, что Советский Союз уже обладает ядерным оружием и что его дом, его семья тоже могут быть уничтожены. Борьба за мир становилась делом всех.

Конечно, Движение сторонников мира знало и удачи и неудачи. Стокгольмское воззвание подписывали самые различные люди - Томас Манн и неграмотные жители Гвинеи, бразильские министры и шейхи мусульманских стран, Акр и Матисс и квакеры. Окрыленные успехом, мы предложили подписываться под обращением пяти великим державам: Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Китаю, Великобритании и Франции - пусть они заключат Пакт мира. Однако для простых людей это было абстрактной формулой - все помнили, сколько пактов о ненападении подписал Гитлер. А людям, разбиравшимся в международном положении. Пакт мира казался утопией - в 1951 году трудно было себе представить Трумэна и Мао Цзэдуна за круглым столом. Притом подписи дают один раз - это не ежегодное занятие; лучше не быть эпигонами ни в романах, ни в общественной деятельности. Напротив, требование прекращения военных действий в Корее нашло отклик повсюду.

Почему я отдавал (и отдаю) столько времени работе, которая не диктовалась ни призванием, ни ремеслом? Никто меня не заставлял взяться за это дело, никто не уговаривал его продолжать. Я сам назвался груздем, и ответить почему - трудно. Когда друзья меня спрашивали, будет ли война, я отвечал «нет», такой ответ объяснялся не столько трезвой оценкой происходившего, сколько желанием. Однако часто, проходя по улицам разных городов, я испытывал тревогу. Однажды в Вене мне показалось, что война идет рядом со мной, как я, заглядывает в освещенные окна. Порой я проклинал душные комнаты, где шли нескончаемые споры о третьей фразе седьмого абзаца; причем мне некому было поплакаться в жилетку, приходилось самому справляться с собой. Спор шел между груздем и кузовом, и ясно было, что победит кузов.

Оглядываясь назад, я об этом не жалею: что-то мы делали, что-то сделали. Через тридцать - сорок лет историк, который теперь учится читать, посвятит Движению сторонников мира, может быть, главу своей книги, а может быть, всего несколько строк. Не мне судить - я в этом человек пристрастный, следовательно, слепой.

В 1951 году мне исполнилось шестьдесят лет. Устроили юбилейный вечер в том самом зале Дома литераторов, где писателей прорабатывали, чествовали и хоронили. Воспоминаний было достаточно.

На вечере председательствовал А. А. Фадеев, с докладом выступил К. А. Федин. Представители различных издательств, журналов, газет, театров читали поздравительные адреса, похожие один на другой: «пламенный трибун», «отточенное перо», «неутомимый борец за мир», «книги, вошедшие в золотой фонд советской литературы»... На хорах толпилась молодежь. Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые высились предо мной, скверно пахли. Потом прочитали телеграммы от Всемирного Совета Мира, от Тувима, Незвала, Не руды, Амаду. В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались на любом торжестве, я сказал про то, что меня волновало: «Как каждый писатель, я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие И глубоко человеческие предшественники. Можно писать хуже, чем они, - таланты не распределяются ни в каком распределителе, - можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они... Я вспоминаю прекрасные слова Белинского о поэте: «Ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же как ему же принадлежит по праву преследование ложных неразумных основ общественности, искажающей человека». Борьба против тех ложных основ, о которых говорит Белинский, во имя человеческого достоинства - таков долг писателя, таково его назначение. Он не подбирает протоколы событий, не пишет переложение, не составляет опись существующего, он открывает сокровища человеческого сердца... Мне, как и многим моим современникам, не сразу открылась преемственность и универсальность человеческой культуры. Мы часто читаем историю по главам, не связывая этих глав, а порой география мешает нам как следует присмотреться к истории. Между тем бег с эстафетой

продолжается, и огонь Прометея переходит из рук в руки... Человек стареет, быстрее устает, реже загорается. Но для писателя нет старости: он живет неоткрытыми страстями, ненаписанными книгами, он молод до той минуты, когда его оторвет - на этот раз навсегда - от листа бумаги уже не люди, а смерть. Я сказал об этом потому, что мне хочется писать».

Секретариат Союза писателей решил по случаю юбилея издать пять томов моих сочинений. С этим изданием я намучился: почти на каждой странице произведения, много раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года,- я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях «День второй» и «Не переводя дыхания»: «В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц не коренных национальностей». Следовал список семнадцати фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести «День второй» и девяти фамилий (из ста семидесяти четырех) в «Не переводя дыхания». Я подумал: а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?

На полученный гонорар мы купили сруб в дачном кооперативе «НИЛ», что означает «наука, искусство, литература». Места не похожи на окрестности Москвы: мой домик расположен на холме с крутым склоном, внизу течет Малая Истра. Это ручеек, но в апреле, когда тают снега, она настолько разливается, что, обладая фантазией, можно назвать ее Нилом, тем паче что наша станция называется Ново-Иерусалим. Звенигородский уезд москвичи когда-то шутя называли «московской Швейцарией». Поселок получил имя от Ново-Иерусалимского монастыря, построенного по указу Никона в XVII веке. Немцы, уходя, взорвали колокольню и сильно разрушили собор; в 1950 году еще валялись на земле цветные изразцы - сплав Флоренции с Персией. Чехов жил в городишке Воскресенске (ныне Истра), работал в земской больнице, писал рассказы и отдыхал под старыми монастырскими деревьями. Я посадил сирень, жасмин, розы. Зимой позвонили из Истринского горсовета: «Ваша дача сгорела».

Получив деньги за следующие тома, мы начали ставить новый дом - кирпичный фундамент уцелел. В тесной московской квартире

былолюдно, беспокойно, и начиная с 1952 года мы большую часть времени проводили в Ново-Иерусалиме. Маленькие липы, которые я раздобыл на лесной даче Тимирязевки у профессора В. П. Тимофеева, повзрослели. Эту книгу я писал у окна; зимою все вокруг бело, а в августе лихорадочно горят цветы короткого северного лета.

Я был правдив, когда на юбилейном вечере сказал, что мне хочется писать. Мне хотелось рассказать о том, что я видел и чувствовал, - о горе, сомнениях, надежде. Конец сороковых и начало пятидесятых годов были, кажется, самым трудным временем и для нашей литературы, и для всего советского народа. Люди продолжали ожесточенно работать, отстраивали разрушенные города, строили заводы, прорывали каналы. Никогда народ слабый духом или отчаявшийся не смог бы сделать того, что было сделано после войны. Жилось плохо. Москва или Ленинград казались саратовцам раем, а в Энгельсе с завистью рассказывали о магазинах Саратова. Однако, когда я говорю о том, что время было трудным, я думаю не только, да и не столько о материальных лишениях. Люди, прошедшие от Волги до Шпрее, душевно не мирились с чиновничьей тупостью, иллюзорностью многозначных цифр, знакомыми словами «давайте не будем». Для стороннего наблюдателя казалось, что инициатива, творческая мысль, человеческие отношения скованы льдом, но под этим льдом текла живая вода глубоких чувств, несказанных слов, совести, сознания. Об этой реке мне и хотелось рассказать. А л сидел над романом об американском сенаторе, об интригах газетного агентства «Трапсок», о старости профессора Дюма, о том, как плулый портняжка Маккорн пел:

Говорит она ему:

Ты целуешь почему?

Ты не тот, и я не та,

Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я упоминал, что в 1917 - 1918 годы писал скверные стихи; мне тогда не было и тридцати. А «Девятый вал» написан шестидесятилетним человеком. Конечно, я мог бы сослаться на некоторых моих товарищей, которые тоже в те годы написали слабые книги, но писатель отвечает прежде всего за самого себя. Почему я жалею о том, что написал «Девятый вал»? Не потому, что некоторые исторические события описаны неправильно я судил по тем данным,

которые у меня тогда были, это - детали, и не в них дело. Начиная с двадцатых годов критики меня упрекали за то, что мои романы насыщены публицистикой. Они меня не убедили: я искал новую форму романа - не мог отделить судьбу человека от событий, которыми дышал эфемерный газетный лист. Никогда я не призывал других следовать моему примеру: писатели, как и все люди, бывают разными. Я принадлежу к авторам, которые тесно связаны с тем, что мы порой в сердцах называем «злостью дня» и что десять лет спустя иногда оказывается главой истории. «Хулио Хуренито», «День второй», «Падение Парижа», «Буря» рождены событиями, которые можно было в свое время назвать злободневными. Автор не судья своих книг - он часто добавляет к тому, что написано, то, что он хотел написать, и, может быть, упомянутые мною книги слабые, но они были рождены внутренней необходимостью. А почему я в 1950 году сел за «Девятый вал»? Я мог бы ответить: не ради денег, но это было бы отговоркой. Во время войны я не думал написать роман о войне: знал, что это невозможно. В 1950 году «холодная война» была ожесточенной, оставалось прославлять ее или проклинать, разжигать огонь или попытаться его погасить, но осмыслить происходящее, заглянуть в душу противника не мог никто. Статьи, которые я писал, могли быть удачными или плохими, справедливыми или несправедливыми, но я от них не отрекаюсь. А писать роман, да еще толстейший, было глупо. Я это смутно чувствовал, но меня соблазняло другое - показать наших людей. Я утешал себя надеждой, что смогу сказать толику правды.

Помню, я как-то сидел с Савичем, который прочитал написанные главы, и мы, то усмехаясь, то угрюмо, обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правды у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта и что в театре ставят скучные, бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то неизвестный зритель вовремя сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствия, то люди с ними

быстро справляются, а если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или проницательный друг. Действие моего романа протекает в десяти странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев «Бури», перешедший в «Девятый вал», Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне; в книге приведены короткие записи к задуманной книге, например: «Очень голая у нас любовь,- сказала Вера,- если убьют - ничего, а если выживем - нужно будет что-нибудь придумать»; другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную им книгу. А я написал плохой роман.

Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. («Литературная газета» опубликовала несколько приглашенный текст.) Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву: если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать. Эти слова суровый приговор «Девятому валу»: я мог бы его не написать.

А. А. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о «Девятом вале»; он кое-что критиковал, но говорил, что в целом роман «мощен, гуманистичен, в нем клочкотание народных сил, людской потоп». В то же самое время Арагон поставил «Девятый вал» рядом с «Падением Парижа» и «Бурей». Я все же не поверил добрым отзывам - я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного:

Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я недавно проглядел подшивки «Литературной газеты» за 1951 - 1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось «о невиданном расцвете творчества». Пестрели фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей: Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере. Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось, вспомнили, что в 1945 году у

Рыльского были «вредные стихи», вернулись снова к Первомайскому оказалось, что он одновременно и «космополит», и «буржуазный националист». Другой месяц был посвящен критику Гурвичу, написавшему статью о романе «Далеко от Москвы». А. А. Фадеев и А. А. Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую «Правда» назвала «рецидивом антипатриотических взглядов»... Редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский «полностью признал свою вину». Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах; только трудно теперь понять, в чем был состав преступления.

«Литературная газета» печатала некрологи: умерли Вишневский, А. Платонов, Павленко. Потом подоспели юбилеи - Гюго, Гоголя.

Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым. Поставили новый памятник на цоколе красовался образцовый оптимист. Обычно считается, что памятники великим людям ставит народ. На новом памятнике Гоголю написали: «Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза».

Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости: Гроссман написал роман о войне, в котором были прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года», впервые я увидел в литературе послевоенных подростков. Я прочитал «Районные будни» Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверно, я пропускаю многое - трудно припомнить, когда попала в руки та или иная книга.

В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже - косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Не рудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях,- богатырем, мифическим бояном. А Неруда понял Мартынова: «Настоящий поэт - перед его глазами второй мир - искусства...» Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология

становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась: несколько месяцев спустя вышла его книга.

Читали мне стихи и молодые - Винокуров, Межиров, Урин. Я написал в «Смене» о Винокурове - он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие, умные строки.

Приходил студент Литинстигута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло: его сослали на три года в дальнее сибирское село. Отец Манлеля - переплетчик, мать - врач, они посылали сыну толику денег. Поэт читал, думал, писал. Я его увидел возмужавшим; он рассказал, что решил уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят, поступил в горный техникум, стихи он продолжает писать, но не хочет зависеть от вкусов редакций; он прочитал мне вступление к поэме - писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов.

В Москве устроили совещание молодых писателей, мне поручили принять участие в одном из семинаров. Я прочитал десяток рукописей - повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, - что они знают жизнь, понимают людей; один признался: «Я сам знаю, что плохо... Но что тут делать - трудно писать роман в стол...»

Меня тянуло к новому поколению. В течение двух лет я руководил литературным кружком при Тимирязевской академии. Почти все участники кружка писали стихи. Я не рассчитывал сделать

из них поэтов, да это, по-моему, и невозможно. Но можно научить читать стихи, поднять эстетическую культуру, и я старался это выполнить. Мне было интересно разговаривать с двадцатилетними, почти все они были детьми колхозников или районных агрономов. Однажды меня провожал молоденький студент. Он вдруг спросил: «Почему в журналах не печатают стихов о любви? Мы читаем Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака. А кто теперь пишет так?...» В конце разговора он сказал: «Вот кончу академию, стихи, может быть, и научусь писать, а может быть, нет, но читать стихи буду всегда. Наверно, через пять лет начнут печатать и про любовь...» Год спустя Володя Кокляев утонул в пруду. В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать «Бурю», кто-то принес мне толстую рукопись - заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных «Кельнская яма». Я решил, что это фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной:

Кони шли ко дну и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.

Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался ее определить, говорил о народности, ссылаясь на Некрасова. За статью меня обругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе - его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне:

Эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен у штурмовавших небо.

Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно. Помогло, наверно, и то, что я подружился со Слуцким еще до «перекура».

Чужие стихи помогали мне - поэзия жила (порой, как некогда, устная). Однако та незримая река, о которой я говорил, была куда полноводнее в жизни.

В начале 1950 года меня выбрали депутатом в Совет Национальностей от одного из округов Риги. На предвыборных собраниях говорили по-латышски; девушки подносили мне цветы - белые каллы, будто сделанные из материи, и делали при этом книксен. Избиратели ко мне обращались редко: они жили в столице республики и с претензиями или жалобами шли к местным депутатам. Год спустя меня выбрали в Верховный Совет РСФСР от города Энгельса и прилегающих к нему районов. Тут-то я понял, что пост депутата не синекура.

До войны Энгельс был столицей Автономной республики немцев Поволжья. В городе, в деревнях жили почти исключительно новоселы. Люди не успели приспособиться к новой обстановке: украинцы мерзли зимой, русские проклинали суховеи. Я уже говорил, что в те годы страна, за исключением промышленных центров и некоторых областей с техническими культурами, жила, подтянув кушак. Саратов снабжался лучше Энгельса, но проехать туда поездом было нелегко: зимой дорога шла через Волгу, летом ходили пароходики, а весной и осенью жители Энгельса с тоской глядели на огни Саратова. Местные власти просили меня добиться перевода Энгельса в лучшую категорию по снабжению. Я пытался, но ничего не вышло. Зато я достал санитарные машины; министр меня принял, может быть из любопытства,- как-никак писатель, он говорил о литературе, а я твердо решил не уходить, пока не получу машин. Энгельс - длинный город, тротуаров местами не было, улицы плохо освещались. Я помог раздобыть автобусы. Все это требовало хождения по мукам, то есть по различным министерствам, долгих бесед, терпения. Помог я и библиотеке; в ней оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало. Я устроил обмен книгами, это тоже было не просто: требовались разрешения различных центров, подписи людей, к которым трудно было прорваться.

Счастливые не ходят ни к врачам, ни к депутатам. В воскресенье ко мне на прием записывались сотни обездоленных - один доказывал, что он с семьей не может больше жить на восьми квадратных метрах; другой жаловался, что его отца неправильно осудили; третьему не

давали работы по специальности. Я добился у прокурора пересмотра одного дела (десятки других моих просьб лежали без движения), раздобыл протез для военного инвалида, купил в Стокгольме лекарство для женщины, которое, по ее словам, спасло ее сынишку, добывал книги, семена. Все это было «малыми делами», но на час мне становилось легче, да и чувствовал я себя связанным с будничной жизнью тысяч людей.

Принимал я в горисполкоме, и приходившие говорили шепотом, часто просили не называть своих обидчиков: «Вы-то уедете, а они на мне выместят»... Несколько лет спустя жизнь изменилась, Я стал депутатом Даугавпилса, по-русски Двинска, города, разрушенного во время войны, где ютились люди различных национальностей, где тысячи женщин мечтали о трудоустройстве, где построили пединститут с чрезмерно роскошной лестницей, но предоставить жилплощадь профессорам не смогли. Там избиратели, приходя ко мне, бурно протестовали, не впускали в мою комнату сотрудников горсовета, говорили все и во весь голос. Но это было в 1955-м, а я рассказываю про 1952-й...

Я ездил по степи Заволжья, в селах меня засыпали просьбами, претензиями. В одном колхозе говорили, что им вырыли артезианские колодцы, деньги взяли, а воды нет; в другом жаловались - не могут достать строительный материал, а школа помещается в хате, где живут люди; в третьем молодежь возмущалась: «Из Энгельса обещали, что пришлют театр, а приехали три актера, исполняли отрывки из пьесы, да и пьеса скучная - звеньевая знает, как сеять, а председатель упирается. Это мы сами понимаем. Мы хотим, чтобы приехал настоящий театр». Один добавил: «Пусть привезут «Гамлета». Я в Саратове глядел, это такая диалектика, что целый месяц думал...»

В одном колхозе меня оставили ужинать, дали глазунью, брагу. Председательница сказала: «Вот вы помогите нам решить, мы с нею несколько вечеров проспорили...» «Она» оказалась бухгалтером, и она говорила: «По-моему, Сергей правильно поступил, что не взял в Москву Мадо. Я сюда приехала из-под Гжатска. Кажется, чего тут - страна та же, язык понятный, и то не могу себя унять, ночью вспомню избу - немец сжег - и реву, как дура... А привези француженку - ей и поговорить не с кем, иссохнет...» Председательница, энергичная

женщина с властным лицом, возражала: «Человеку нужно помечтать. Иногда проснешься - что-то приснилось хорошее, и злоба берет: почему нельзя сон с собой взять, с ним и в поле легче...»

Росло сознание людей. В степи в сельской школе малыши читали:
А он, мятежный, просит бури...

Они входили в жизнь с мечтой. Теперь им по двадцати лет, и, глядя на нашу думающую, требовательную, порой шумливую молодежь, я вспоминаю русого первоклассника, который декламировал Лермонтова. Наверно, у него спина чесалась - прорастали крылья. Школьницы седьмого класса ездили в Саратов, ходили в музей, думали о судьбе Чернышевского; одна рассказала мне: «Я в Саратове познакомилась с девочкой, она мне дала переписать стихи Есенина. Жеребенка жалко...»

Однажды в Энгельсе ко мне пришел человек лет пятидесяти, весь воскресный день он просидел в приемной, дожидаясь, когда придет его черед. Я попросил его сесть, но он стоя кричал: «Подумайте - на такой город, как Энгельс, всего пятнадцать!...» Я успел одуреть от сотни посетителей, спрашивал «чего», гадал - коек в одной из больниц, торговых точек? Наконец он объяснил. В связи с юбилеем Гюго Гослит объявил подписку на собрание его сочинений. Великий французский писатель не отличался лаконизмом, жил долго и написал много. Кому в Энгельсе может понадобится собрание его сочинений? Да их и не поместишь в комнате. А посетитель негодовал: «Люди собрались с вечера, и вот, извольте видеть, пятнадцать на весь город!...» Я обрадовался, что сразу могу удовлетворить просьбу хотя бы одного избирателя - как член юбилейного комитета, я имею право подписаться, буду посылать книги ему... Он покачал головой: «Мне не нужно - я был третьим, подписался. Я вам про город говорю. Обидно: Энгельс, большой город - и вдруг пятнадцать!...»

В другой раз пришел молодой рабочий, лицо у него было еще детски припухшее, он стеснялся, сбивчиво рассказал, что его послали на ремонт в Дом инвалидов, там при нем старая женщина жаловалась, что ей прописали специальные очки, а ей говорят: «Ничего, без очков обойдешься», она сорок два года проработала учительницей: «Вы подумайте, товарищ писатель, скольким она глаза открыла, а теперь и почитать не может. Я так считаю, что это безусловная несправедливость». В руках у него была книга, я спросил, что он

читает; он еще больше застенялся: «Я знал, что вас долго придется ждать...» Оказалось - учебник алгебры.

Нет, не зря сорок два года проработала учительница, не зря трудились и преподаватели, и библиотекари, и работники музеев, и актеры, и лекторы, и писатели. Народ думал, учился, рос. Маленький провинциальный город, бараки, деревни, занесенные снегом, покосившиеся домишки - все это казалось обездоленным и спящим, а жизнь бурлила, и если «Литературная газета» приукрашивала эту жизнь, одновременно обедняя ее, то в действительности люди жили хуже, но были крепче, духовно богаче, чем герои пьес, награждаемых премиями всех трех степеней.

Я увлекался садоводством, огородничеством. Посадил два конских каштана - один погиб, другой вырос и теперь весной цветет, как будто он в Киеве или в Париже. Я много сеял, это хорошее занятие: с книгой все неясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом - и две недели спустя покажутся зеленые точки, потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает, нельзя при этом думать об очередных неприятностях, нужно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно зацветут.

Иной читатель удивится: почему» после рассказа о людях Энгельса вдруг перешел на чудачества пожилого любителя растений? Не случайно. Многие за границей, да и некоторые юноши у нас не понимают, что жизнь народа продолжалась, не могла прорваться. Народ пережил много дурного, но он бодрствовал, чувствовал, строил. Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготовляющие весеннее цветение. Все это легко понять потом, а в 1951 году я часто доходил до отчаяния.

В 1950 году был образован Комитет для присуждения Сталинских премий «За укрепление мира», в него вошли Арагон, Го Можо, Андерсен-Нексе, Келлерман, Бернал, Домбовский, Садовяну, Неруда, Фадеев и я; председателем комитета стал Д. В. Скобельцын.

Среди награжденных в первый же год рядом с Жолио-Кюри была вдова Сунь Ятсена госпожа Сун Цинлин. В сентябре 1951 года я поехал в Китай вместе с Пабло Нерудой, чтобы вручить ей премию. С нами поехали жена Пабло, Делия, и Люба. До Иркутска мы ехали поездом - Пабло хотел хотя бы из окна вагона увидеть Сибирь. Мы остановились в Иркутске, встретились там с писателями. Неруле захотелось поглядеть на Байкал - он говорил, что мечтал об этом еще в молодости. Мы поехали на ихтиологическую станцию; нам показывали диковинных глубоководных рыб. Пабло потребовал, чтоб ему дали их попробовать. К счастью, в зажаренном виде трудно отличить виды рыб, и Неруда ел с аппетитом, конечно, не те диковины, которые плавали в аквариуме.

Вразрез с выбранным мною правилом я хочу написать о Пабло Неруде и о некоторых моих похождениях, связанных с ним; кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых: я боялся обидеть или причинить неприятности. Однако Пабло Неруда стал легендарной фигурой, о нем написаны десятки романтических книг. Я хочу рассказать о другом Пабло, которого видел не на сцене истории, а в обыкновенных комнатах: в Мадриде, в Париже, в Праге, в Москве, в Пекине, в Вене, в Сантьяго, в Исла-Негра.

Последняя часть этой книги может показаться чрезмерно печальной: старость, как издавна говорят, не радость, да и время - с 1945-го по 1953-й - вряд ли кто-нибудь назовет веселым. Я больше буду говорить о причудах Неруды, нежели о его замечательной поэзии,- мне хочется улыбнуться, вспоминая дни, проведенные с Пабло, может быть, со мною улыбнется и читатель.

Познакомился я с Нерудой в 1936 году в Мадриде. Обычно то время называют переломом в жизни и в творчестве поэта. Мне

кажется, что «переломы» редкая вещь. Неруде тогда было тридцать два года, характер его успел сложиться, писать стихи он начал рано и в одной из первых книг «Двадцать стихотворений о любви и одно об отчаянии» не только нашел себя, но и показал высокое мастерство; он писал тогда:

Облака, как белые платочки расставания,
ими размахивает путник-ветер,
и сердце ветра колотится
над нашим молчаньем любви.

Неруда и тридцать лет спустя писал о ветре, о любви, о разлуке. В 1936 году поэзия Неруды расширилась. Он был тогда чилийским консулом в Мадриде; к нему приходили друзья - Гарсиаа Лорка, Альберти, Эрнандес. Вдруг на город начали падать фашистские бомбы.

И по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Он написал тогда книгу стихов «Испания в сердце», я ее перевел на русский язык. Мы подружились, а вскоре расстались на десять лет.

В годы войны Неруда был консулом в Мехико. Я прочитал его стихи, посвященные Сталинграду. Потом мне прислали сборник моих военных статей, который вышел в Мексике с предисловием Неруды: Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. Тогда-то Нерула стал коммунистом. Вернувшись в Чили, он писал стихи, выступал на собраниях; о нем узнали рабочие Сантьяго и Вальпараисо.

Предстояли выборы президента. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Виделы, который клялся, что проведет аграрную реформу и защитит права рабочих. Неруда уговаривал избирателей голосовать за Виделу. Новый президент вскоре забыл свои обещания. Здесь-то началась эпопея Неруды, которая, наверно, известна всем читателям: он был обвинен в государственной измене и после этого, в начале 1948 года, явился на заседание сената, где публично обвинил в измене президента республики. Поэту пришлось скрываться. Он продолжал писать - работал над книгой «Всеобщая песнь». Я рассказывал, как он появился на Парижском конгрессе.

Неруда любит Уитмена не только потому, что многому у него научился, но и по внутреннему родству - это поэты одного

континента. О столь распространенной теме, как мир, Неруда писал иначе, чем европейские поэты:

Мир наступающему вечеру,
мир переправе, и мир вину,
мир словам, которые меня ищут
и которые в моей крови,
как очень старая песня.

Мир городу рано утром,
когда просыпается хлеб,
мир рубашке моего брата.

С тех пор Неруда написал десятки книг, изъездил десятки стран, узнал подлинную славу, однако он не изменился. Когда я его встречаю после нескольких лет разлуки, мы сразу начинаем говорить о сегодняшнем дне.

Я согласен с теми, которые говорят, что Неруда внешне напоминает статую Будды, если бы ее высек из камня древний инка. (Боги инков, однако, сердитые, а Пабло благодушен.) Хотя его биография изобилует бурными событиями, он любит, да и всегда любил, покейфовать, побеседовать о пустяках или подумать о серьезном. Он производит впечатление Будды флегматичного, даже ленивого, а написал столько, что диву даешься. Многие его стихи очень громкие, но разговаривает он тихо, и голос у него не трибуна, а, скорее, обиженного ребенка. Его друг, чилийский депутат Валтасар Кастро, хорошо показывает Пабло. Он рассказал мне, как в начале их знакомства Неруда позвонил, чтобы сообщить о счастливом разрешении какого-то спорного дела; будто издалека раздался голос, полный скорби: «Валтасар, победа!...»

Неруда - страстный коллекционер, собирает он различные вещи, но главным образом - огромные деревянные статуи, украшавшие носы парусных кораблей, и крохотные морские ракушки. В его доме в Исла-Негра на берегу Тихого океана - старинные компасы, песочные часы, морские карты. Китайский поэт Ай Цин, побывавший в этом доме, спросил Пабло, кем он себя считает - матросом или капитаном. Пабло ответил: «Я - капитан, но мое судно затонуло». Это было поэтической фантазией: никогда я не видел корабль Неруды не только тонущим, но потерявшим управление. В одном из музеев Китая Пабло увидел ракушку, которой у него не было. Он столько о ней говорил, что

радушные хозяева подарили ему редкий экспонат. Пабло голосом, полным при- скорбия, однако счастливо улыбаясь, часа два рассказывал мне о ценности полученной им ракушки. В Китае он покупал в игрушечных лавках тигров из папье-маше. Тигры были неопишимо свирепыми, и вместе с тем на них нельзя было глядеть без улыбки. (Мы тогда не знали, что десять лет спустя китайцы будут называть американский империализм «бумажным тигром».)

Неруда - человек чрезвычайно общительный. В Праге, когда бы я ни пришел к нему, в его комнате сидели или стояли люди: чилийские коммунисты, чешские поэты, разноязычные журналисты. В Сантьяго я и Люба жили в доме Пабло, и нам казалось, что мы живем на площади. Как-то я захотел днем переодеться, но от этой затеи пришлось отказаться: все время в комнату заглядывали почитательницы поэзии Неруды. Обедало у него ежедневно человек пятнадцать - двадцать. Однажды он тихо спросил меня: «Ты не знаешь, кто это - последний налево от тебя?..»

В Чили и поехал по просьбе Неруды летом 1954 года: я должен был вручить ему премию Мира. Я радовался, что увижу Латинскую Америку. Дипломатических отношений у нас с Чили не было, но визы дали мне и Любе. Я думал, что поездка будет идиллической. В то лето чилийцы праздновали пятидесятилетие Неруды. Да и «холодная война» шла на убыль. За два месяца до того в Париже я вручил премию Пьеру Коту, все было торжественно, пришли депутаты различных партий.

Я забывал, что до Чили далеко - мы летели из Стокгольма сорок восемь часов; это было в августе, а там была зима. В Чили еще стояла «холодная война». На аэродроме Сантьяго полицейские с любопытством, но вежливо повертели наши паспорта, таможенники взглянули на раскрытые чемоданы, и мы уже шли в зад, где нас ожидали Пабло, Делия и Жоржи Амаду, приехавший на юбилей, когда неожиданно появились настроенные воинственно чины особой полиции, почему-то именованной «международной». Они начали яростно выбрасывать наши вещи из чемоданов. Из моего портфеля забрали все; я попытался отстоять диплом, который должен был вручить Неруде, но один из полицейских, обладавший мускулатурой боксера, так стиснул мои руки, что я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Золотой медали, к счастью, не нашли - она была в сумке

Любы; попади она в руки начальника полиции, он ни за что не вернул бы ее: это был человек нечистый на руку, вскоре его арестовали за махинации с каракулевыми шкурками.

На аэродром приехал председатель парламента Валтасар Кастро, но перед «международной полицией» и он оказался бессильным. Неруда повез нас к себе, затопил камин, что делал редко, и начал рассказывать, какие чудесные вещи мы увидим в Чили.

На следующий день все газеты были заполнены моими фотографиями. Полиции сообщила, что и пытался провезти грампластинки с секретными инструкциями компартиям Чили и других стран Латинской Америки, шифрованные обозначения ячеек и пять миллионов песо. Последнее министерство юстиции тотчас опровергло, испугавшись, что ему придется вернуть деньги, которых полицейские не могли отобрать - их у меня не было. Не было и грампластинок ни с тайными инструкциями, ни с народными песнями. Шифрованными документами были объявлены записка с латинскими названиями некоторых растений я надеялся раздобыть семена на их родине, и французские кроссворды, которые и решал в самолете.

Началось нечто невообразимое. Однажды ночью дом Неруды закидали петардами, пожар быстро погасили. В другую ночь мы проснулись от криков. «Здесь даже выспаться не дадут», - сказала Люба и тотчас заснула. Утром мы узнали, что к дому подъехала установка с громкоговорителем, разбудившим всю улицу. Садовник Неруды увещевал: «Как вам не стыдно народ будить?...» Один из крикунов, говоривший по-испански, ответил: «Мы через пять минут кончим и уедем». В газетах я прочитал, что русские, специально прилетевшие из Нью-Йорка, предлагали мне «выбрать свободу» и улететь с ними в Соединенные Штаты, ибо «красные» не простит мне «Оттепели», что они взывали к Любе: «Спаси Илью и себя!»; что Люба хотела якобы спрыгнуть со второго этажа, но ее удержали «два гиганта-чекиста». Газеты напечатали все это, хотя Сантьяго небольшой город и дом Неруды известен всем, а он одноэтажный.

Стены города покрылись надписями: «Эренбург, убирайся домой!», «Чили - да, Россия - нет». Газеты сообщали, что я в Москве повесил много неповинных. «С Эренбургом приехала опытная чекистка, ее кличка «Люба». Наверно, большое впечатление на

читателей произвело сообщение, что Неруду русские называют «Епида» - так журналисты прочитали фамилию, напечатанную в дипломе и по-русски.

На неделю я стал самым популярным человеком в Сантьяго. Друзья советовали мне сидеть в бесте - фашисты хотели меня избить. Все же и уезжал в город (дом Неруды на окраине) иногда с Пабло, иногда с кем-нибудь из его приятелей. С Пабло я пошел в рабочий квартал. Охранял меня шофер, который час спустя взмолился: «Если мы пойдем дальше, у меня будет разрыв сердца...» Рабочие меня узнавали и кидались меня обнять, а шофер каждый раз пугался - уж не фашисты ли?...

Казалось, все потеряли голову. Только Пабло сохранял полное спокойствие, писал стихи, после обеда спал, рассказывал забавные истории. Он говорил, что, конечно, не ждал таких событий, однако ничего удивительного нет - янки распоряжаются тут, как у себя дома, вскоре это кончится, тогда я смогу снова приехать, он мне покажет Вальпараисо, юг Чили, и я пойму, что нет страны прекраснее.

Я связался по телефону с нашим послом в Аргентине и попросил его передать в Москву о моем положении. Дня три спустя Юнайтед Пресс сообщило, что московские газеты пишут о «самоуправстве чилийских властей». Чилийское правительство поняло, что переусердствовало. Кроме того, я с Нерудой отправился к послу Аргентины, которому после разрыва дипломатических отношений между Чили и Советским Союзом было поручено защищать интересы советских граждан. Мы были первыми, потревожившими посла; он признался, что запросит Буэнос-Айрес, сказал, что он поклонник поэзии Неруды, а на меня глядел с интересом, но и с опаской. Потом он сообщил Пабло, что был у престарелого президента Чили, который заинтересовался тем, что я хотел купить семена некоторых сортов бегонии, и сказал, что это может стать началом торговых отношений между двумя государствами.

Однажды в дом Неруды пришли двое посетителей. Пабло не было, а друзья, проводившие все время у Неруды, приняли их за незнакомых почитателей. Тогда пришедшие сказали, что хотят поговорить со мной, и показали полицейские удостоверения. Оказалось, они принесли мне диплом. Папка была в ужасном виде - газеты писали, что ее подвергали различным химическим анализам.

Когда Пабло вернулся, я показал ему диплом. Он улыбнулся и грустно сказал: «Я тебе говорил, что мы победим...»

Нужно было организовать церемонию вручения премии. Это было нелегко - фашисты грозились, что примут меры. Мы собрали военный совет - пришли и коммунисты, и Валтасар Кастро, и чилийские писатели, и, конечно же, Жоржи Амаду. Зал мы сняли в большой гостинице, но как обеспечить порядок? Мы решили, что центр города на один вечер оккупируют студенты. Однако коммунисты, подумав, решили, что этого мало, и к студентам добавили несколько тысяч рабочих.

Все прошло спокойно. Зал был набит. Выступали и писатели, и политические деятели разных партий. Один старый писатель, забыв, что чествуют Не руду, а не меня, начал медленно по-русски считать: «Один... Два... Три... Четыре...» Он хотел этим высказать свое уважение к русским. Я увидел, что Жоржи корчится, сдерживая смех, а Пабло слушал вполне серьезно. Потом он произнес вдохновенную речь. Известный актер продекламировал монолог Чехова «О вреде табака».

Накануне нашего отъезда я устроил ужин в честь лауреата. Среди приглашенных оказались два министра - юстиции и информации, первый за пять дней до того объявил, что меня будет судить чилийский суд, второй ежедневно снабжал прессу фантастическими историями. Было много вина, и министр юстиции, развеселившись, произнес тост - просил меня не смешивать правительство Чили с международной полицией.

(Посол Аргентины дал нам визы, и мы провели несколько дней в Буэнос-Айресе, где жили в то время наши давние друзья - Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон. Нас пригласили аргентинские писатели. Мы разговаривали стоя: нам объяснили, что сидеть нельзя - тогда прием может быть причислен к собраниям, а таковые строго запрещены. В последний день мы возвращались с прогулки, вместе с нами был секретарь посольства. Аргентинские друзья нам показали красивые окрестности города, и мы запоздали, а я обещал рассказать сотрудникам посольства о живописной истории, происшедшей со мной в Чили. Мы выскочили из машины, когда раздался грохот: напротив посольства - крутая улица, оттуда двое исчезнувших людей спустились на нашу машину «пикай». Посольскую машину

исковеркали, а мы остались невредимыми только потому, что, торопясь, действительно не вышли, а выскочили.)

Все это относится к 1954 году, но если откинуть некоторые живописные подробности, то это - картины «холодной войны», о которой я рассказывал в предшествующих главах. С тех пор прошло больше десяти лет, многое изменилось и в мире, и на родине Неруды. Недавно в Чили ездили советские писатели, и М. И. Алигер рассказывала, как их там радушно принимали.

Пабло Неруде в 1964 году исполнилось шестьдесят лет. Одно из его стихотворений называется «Прошу тишины», в нем он просит:

А теперь оставьте меня в покое.

А теперь обойдитесь-ка без меня...

Однако неделю или месяц спустя он снова кидается в море жизни. Он объясняет, почему смог выдержать горечь некоторых разуверений: когда тонули корабли, он снова брался за топор - он ведь кораблестроитель:

Моей религией те были корабли.

Нет выхода иного у меня, чем жить.

Я столько писал в этой книге о трагических судьбах писателей и художников, что должен был рассказать, хотя бы коротко и шутливо, о большом поэте, который счастлив. Конечно, Неруда знал и часы отчаяния и разочарования, и горести любви, и многое другое, без чего не обойтись, но никогда он не отрекался от жизни и жизнь не отрекалась от него. Он пошел против сильных мира, стал коммунистом, нашел друзей, следовательно - нашел и врагов, но ругали его только враги, никогда он не знал, что значит терпеть кровные обиды от своих. Он писал, о чем хотел и как хотел. Когда я переводил главу его книги, я наткнулся на один образ, которого не понял. Я спросил: «Пабло, почему и идейны голубые?»... Он долго мне объяснял, что как-то увидел индейцев под вечер на берегу озера, и они казались голубоватыми. «Но в поэме этого нет...» Он ответил: «Ты прав... Но пусть они останутся голубыми». Прав, конечно, был он.

Могут сказать: человеку везло и везет. Это ничего не объясняет. Нерула никогда не выбирал легкого пути, но на тяжелой дороге, когда вокруг него люди падали, плакали, проклинали свою судьбу, он видел

не низость, а благородство, не лопухи, а розы - так устроены его глаза, такое у него сердце.

Вот он загрустил; он пишет не о борьбе народа, не об Андах или вулканах, он разрешает себе пожаловаться:

Я очень устал от кур:

мы не знаем, что они думают,

они смотрят сухими глазами

и не придают нам значенья...

давай уставать хотя бы

раз или два а неделю,

оттого что дни зовутся всегда одинаково,

как блюда на столе...

Это не брюзжание старика, а шалости ребенка, и кончает Неруда стихотворение тем, что придут молодые, откроют зарю или окрестят заново поцелуи. Если ему и повезло, то в ту самую минуту, когда он появился на свет - дело не в благоприятных обстоятельствах, не в оптимистической философии, не в эгоизме, а в чудесной природе этого человека.

Мы пробыли в Китае немного больше месяца; кроме Пекина, побывали в Шанхае и в Ханчжоу, ездили в деревни, смотрели Великую стену, могилы династии Мин.

Для меня все было внове: я впервые увидел Азию. Правда, радушные хозяева порой нас чересчур опекали - говорили, что время еще беспокойное, повсюду со мной ходили переводчики. (Только раз в Ханчжоу мне удалось их перехитрить и одному побродить по городу.) Много времени отнимали различные приемы, банкеты, совещания, митинги. Впечатлений все же было немало. Однако я не решился ничего написать о Китае. Я увидел слишком мало для того, чтобы понять страну с древнейшей культурой, где только что победила революция, где новое переплеталось со старым; и вместе с тем я увидел достаточно, чтобы! понять, что я ничего не понимаю,- это меня удержало от поверхностных суждений.

В книге воспоминаний я рассказываю не о различных странах, а о своей жизни. Поездка в Китай была для меня школой: на старости лет я начал освобождаться от шор европейского воспитания. Теперь я не боюсь сбивчиво, да и, наверно, наивно рассказать о своих впечатлениях - никто их не примет за попытку дать картину Китая.

В Северной Америке, где я побывал до Китая, потом в Латинской Америке, в Индии, в Японии и, конечно же, в Китае многое меня удивляло. Путешественник прежде всего замечает то, что ему непонятно; так Бывало и со мной

В первый же день ко мне пришли китайские писатели. Они называли Меня «Эйленбо», и я долго не мог догадаться, что это загадочное слово означает «Эренбург». В китайском языке почти все слова состоят из одного слога, собственные имена - это два или три слова. Иностранные имена могут быть выражены словами лестными или обидными - в зависимости от отношения к человеку. «Эйленбо» свидетельствует о добрых чувствах, это значит «крепость любви». Фадеев по-китайски Фадефу, и Александр Александрович с гордостью мне говорил, что это означает «строгий закон». Некоторые звуки европейских языков, как, например, «р», в китайском отсутствуют.

Мне много говорили о знаменитом французском писателе Бальбо, удивлялись, что я его не знаю, пока наконец я не догадался, что речь идет о Барбюсе.

Грамота в Китае - сложная наука: для того чтобы читать газеты или книги с несложным словарем, нужно знать несколько тысяч иероглифов. Го Можо знает десять тысяч, он может написать все, но прочитать это «все» смогут далеко не все. В Шанхае нас повели в большую типографию. На стене были тысячи ящичков с иероглифами, и наборщики ловко взбирались по лесенкам, чтобы взять нужный иероглиф. После того как лист напечатан, значки плавят, отливают новые - раскладывать их по ящикам чересчур трудно. Наборщики - люди очень образованные, они знают больше иероглифов, чем средний читатель, а знание иероглифов - это знание понятий. Я удивлялся, что китайцы не переходят на звуковое письмо, как это сделали вьетнамцы и частично японцы. Мне объясняли, что тогда житель Кантона не сможет читать пекинские газеты или журналы. На севере чай «ча», на юге «тэ». а иероглиф, конечно, тот же. На заседаниях Всемирного Совета Мира я несколько раз видел, как пожилые вьетнамцы переписывались с китайцами и корейцами - разговаривать они не могли, но иероглифы понимали.

На следующий день после приезда нас пригласили в Комитет защиты мира, там мне показали чертежи, изображавшие различные фазы церемонии вручения премии. «Одно нам неясно,- сказали китайские друзья,- как вы вручите медаль госпоже Сун Цинлин - двумя руками или одной?» Я ответил, что это не имеет значения - могу одной, могу двумя. «Это имеет очень большое значение - нужно, чтобы вы поступили так, как это делается в Москве». Хотя Д. В. Скобельцын несколько раз при мне вручал премию, я не мог вспомнить, держал ли он диплом и медаль в одной руке или в двух. Обсуждение длилось долго. Китайцы куда серьезнее относятся к любой церемонии, чем европейцы, и существует множество правил приличия, которыми нельзя пренебрегать.

Две недели спустя мы были на приеме в честь второй годовщины провозглашения Народной республики. Нас выстроили в шеренгу и объяснили: «Вы подойдете к товарищу Мао Цзэдуну и поздравите его с праздником». Первой в шеренге оказалась Люба. Выйдя в зал, она

направилась к президиуму, где сидели члены правительства. Китайцы вовремя ее остановили - нужно было описать полукруг.

На нервном же банкете я обомлел - нам подавали различные блюда часа три, а блюд было не менее тридцати; их порядок для европейца загадочен: когда подали сладкое, я облегченно вздохнул, решив, что обеду приходит конец, но вслед за этим принесли рыбу, а в конце дали бульон и сухой рис. Еда в Китае изысканная, редко понимаешь, что ты ешь. Однажды нас угощала писательница Дин Лин. Одно блюдо мне особенно понравилось, и я спросил, что мы едим. Хозяйка не знала, позвала повара, который сделал небольшой доклад; переводчик, однако, не знал ни анатомии курицы, ни русских названий растений, и блюдо осталось для меня загадочным.

Один писатель сказал мне, что не мог встретиться со мной - его жена была тяжело больна, три дня назад она умерла; говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже; потом я вспомнил, что Эми Сюо мне говорил: «Когда у нас рассказывают о печальном событии, то улыбаются - это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться».

В Китае я впервые задумался об условностях, обычаях, правилах поведения. Почему европейцев изумляют нравы Азии? Мало ли у нас условностей? Европейцы, здороваясь, протягивают руку, и китаец, японец или индеец вынуждены пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, маншально целует ее руку. Англичанин, возмущившись проделками своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя зайти в дом, не сияв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским - ширма но позволяла войти прямо; это связано с преданием о том, что

черт идет напрямик; а по нашим представлениям черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет - того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается - нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем: если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы.

В 1951 году в Китае было много советских специалистов - инженеров, агрономов, врачей; они работали самоотверженно и вели себя скромно. Китайцы тогда ценили помощь, оказываемую им Советским Союзом, и принимали русских как желанных гостей. Однако различия в условиях порой и в те времена вмешивались в дружбу. Советские инженеры начали устанавливать оборудование одного из новых заводов; станки были рассчитаны на рост русских, которые несколько выше китайцев. Инженеры сказали, что дело легко исправить - они поставят перед станками подмости. Китайцы заулыбались, а потом заявили, что станки они установят сами. Они проделали тяжелейшую работу - вкопали машины в землю. Очевидно, в подмостках было нечто для них оскорбительное. Вспоминая этот случай, я часто думаю: сколько размолвок и обид рождается от случайностей, от того, что люди, которые чувствуют, переживают, да и думают сходно, привыкли к разным выражениям чувств, к веренице различных образов.

После церемонии вручения премии артисты пекинской классической оперы исполнили несколько сцен. Я впервые услышал китайскую музыку, она меня поразила; удивили и приемы актерской игры, содержание пьесы. Я сидел рядом с китайскими министрами, они наслаждались игрой, переживали происходящее на сцене. Потом я несколько раз был в театрах Пекина и Шанхая, начал понимать прелесть китайского спектакля. Его часто противопоставляют реализму - он сложен, как иероглифы, насыщен условными понятиями, но искусство немислимо без условностей: те, которые нам известны с детства, нас не удивляют. Нам кажется естественным, что

Борис Годунов, умный и не ронявший зря слова,- на сцене все время поет; что Ромео и Джульетта, умирая, танцуют; что колокольчик - это «дар Валдая», а бессонница - «парки бабье лепетанье». Я рассказывал, как меня когда-то рассмешил французский трагик Муне-Сюлли, который патетически завывал, играя Эдипа, - я тогда знал только такой театр, где все «всамделишное». А некоторых москвичей сместили постановки Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров в пьесе «Лес» был непривычной для них условностью. Когда я увидел Муне-Сюлли, мне было восемнадцать лет, а Мэй Ланьфана я впервые увидел в шестьдесят. Знаменитый актер исполнял роль влюбленной девушки, его сын - служанки: все актеры были мужчины. В опере Шанхая играли только женщины, они исполняли роли полководцев и бородатых мандаринов. Условности китайского театра меня удивляли потому, что я их не знал. Потом мне объяснили, что если актер трясет руками над головой,- значит, он испытывает страх; флажки на спине полководца обозначают, сколькими полками он командует; если он делает вид, что пьет чай,- значит, он начал переговоры с противником; красное лицо свидетельствует о порядочности персонажа, а белое - о его бесчестности и так далее. Каждый китаец, даже неграмотный, разбирается в иероглифах театра.

Мне во многом помог Н. Т. Федоренко - он был тогда советником нашего посольства. Он знает китайский язык, старую и новую литературу, его рассказы мне часто открывали глаза.

Китайские поэты мне говорили, что стихи нельзя слушать, их нужно читать - иероглиф рождает образ. Гийом Аполлинер одно время писал «каллиграммы»: стихотворение было чашей, крестом, башней; он обладал скудным материалом - латинским алфавитом, а стремился к тому, о чем говорили китайские поэты.

На одном из обедов мне подарили стихотворение. Я долго любовался красиво вычерченными иероглифами. Я думал, что автор - поэт, но он оказался директором Народного банка. В свое оправдание он сказал, что он - человек пожилой, а в старое время все должны были владеть версификацией. По содержанию его стихотворение было традиционно условным, но зрительно оно мне показалось куда выразительнее, чем «каллиграммы» одного из крупнейших поэтов XX века. Очевидно, мастерство связано с веками. Тютчев для меня

великий поэт, но стихи, которые он писал по- французски, могли бы быть написаны любым французским студентом.

Я видел в Пекине произведения старого художника Ци Байши; ему тогда было восемьдесят лет. Он рисовал в традиционной манере, но был талантливым художником - его лошади или белки мне показались очаровательными. Некоторые китайцы пожимали плечами: стоит ли повторять то, что было сделано много веков назад?... Действительно, Ци Байши не внес в живопись ничего нового, лошади или белки не изменились. А гениальный пейзажист XI века Го Си был не эпигоном, но новатором. Все же мне хочется взять под защиту доброго мастера Ци Байши. Когда некоторые китайцы начали писать огромные полотна, то эти художники выглядели не новаторами и не эпигонами, а неумелыми копиистами. (В Индии я увидел современную живопись, которая, не будучи подражанием французским мастерам и сохраняя национальный Характер, показывала мир по-другому, чем древние фрески Аджанты. Вероятно, нечто подобное произойдет когда-нибудь и в Китае.)

В старом китайском искусстве поражают не фантазия, не причуды, да и не дерзость художника, а необыкновенное терпение и безупречное мастерство. Это в характере народа. Я любовался в парках «деревьями любви» или «деревьями дружбы» - два дерева или пять срастаются в одно; для того чтобы подчинить человеку рост дерева, нужны и знание ботаники, и огромная настойчивость. В Китае я не нашел того, что в Европе мы называем народным искусством. В Пекине были сотни улиц, где ремесленники жили, работали и продавали свои изделия,- улица корзин, улица щеток, улица чайников для лечебных трав, улица театральных бород, улица игрушек - бумажных тигров, змеев, крохотных птиц и так далее. Все предметы обихода, привычные для китайцев, отличались красотой пропорций, пониманием материала, а подражания европейской утвари мне показались уродливыми.

Я увидел Китай, когда Народной республике было всего два года. В Шанхае еще имелись рикши, модницы прогуливались в парижских платьях, старики не расставались с традиционными длинными халатами. А в Пекине все мужчины и женщины были одеты в одинаковые синие костюмы - куртка, штаны. Многие закрывали рот и нос белыми повязками - эту моду принесли японцы, которые хотели

оградить себя от мельчайших песчинок, приносимых ветрами из пустыни Гоби. Торговали повсюду и всем - музейными древностями, конфетами, шелком, женьшенем.

Меня поражала дисциплинированность народа. Молодые китайцы обзавелись вечным пером. Когда я бывал на собраниях или митингах, все сидели, внимательно слушали и записывали. Мне пришлось не раз выступать, иногда я шутил (боялся, что слушатели устали), записывали и шутки. Доклады китайцев повсюду были длинными - четыре часа, пять. (Спектакли тоже для европейца непомерно длинны, иногда пьеса идет два вечера -начало и конец истории.)

В саду возле школы, в деревне под деревом, в бараке я видел небольшие собрания - двадцать - тридцать человек; там тоже слушали и записывали. Переводчик мне объяснил: «Это критика и самокритика». Вряд ли содержание таких собраний было традиционным: обсуждали, что студент скрыл свое социальное происхождение, что незамужняя работница забеременела, что слесарь опоздал в мастерскую, но форма была китайской - один длительно калялся, другие слушали и записывали.

Возле города Ханчжоу в идиллическом пейзаже я увидел могилу знаменитого полководца XII века Ио Фэя. Он отразил атаки племени чжурчжэней, потом был отозван в столицу Ханчжоу и казнен. Около его могилы на коленях стоят бронзовый человек, предавший героя, и его жена. Школьная экскурсия осматривала достопримечательности. Один подросток плюнул в лицо предателя, тотчас его товарищи сделали то же самое. Китаец, который показал нам могилу полководца, не очень разбирался в древней истории и не знал, кем были названные им чжурчжэни, но поведение школьников он одобрил и добавил: «Он предал восемьсот десять лет тому назад»... Китайцы, с которыми мне привелось встречаться, уделяли внимание датам, годовщинам, а доказывая что-либо, говорили «в-пятых», «в-шестых», «в-седьмых»...

В Китае буддизм, да и другие религии играли, скорее, второстепенную роль. Я заходил в пагоды, там блистали статуи толстого золоченого Будды, а вокруг суетились, продавая какие-то листочки, отнюдь не толстые монахи; верующие пили чай, некоторые спали. Место религии занимала упрощенная мораль конфуцианства:

будь честным, уважай начальство и чти предков. Кладбищ в деревнях, однако, не было, и крестьяне, обладавшие крохотным полем, похожим на пригородный садик, должны были уделять там место для могил дедов и прадедов.

В деревне неподалеку от Пекина мне рассказали, как один безземельный крестьянин не знал, где ему похоронить отца. Он молил на коленях помещика разрешить похоронить отца на помещичьей земле. Помещик продиктовал условия: за могилу бедняк должен будет проработать столько-то месяцев.

Народная республика первым делом провела аграрную реформу - покончила с феодализмом. Конечно, были среди помещиков люди богатые, но я побывал в некоторых помещичьих домах, по сравнению с которыми дом среднего датского крестьянина следует назвать дворцом.

Раздел помещичьих земель уничтожил несправедливость - это было первым шагом. Один юноша в Пекине мне говорил: «Скоро мы обгоним старшего брата в построении коммунистического общества» («старшим братом» китайцы тогда называли советский народ). А в деревнях я еще видел древнюю соху. Домики крестьян были крохотными; на низкой печи спала вся семья. Ели скудно - чашка риса, иногда сладковатая редька или листик капусты. Женщины в деревнях еще держались приниженно. Я видел босых крестьян, видел детей с язвами на голове. Пять лет спустя в Индии я понял, что все относительно - отощавшие крестьяне, падающие голодные коровы, на улицах Калькутты бездомные, умирающие, прокаженные. Таких ужасов в Китае не было, но уровень жизни большинства китайцев в 1951 году был куда ниже, чем в самых бедных районах Европы. Друзья, побывавшие в Китае несколько лет спустя, рассказывали, что многое изменилось: построили тысячи школ, больниц, родильных домов, яслей. Я видел раннее утро нового Китая: прививали всем оспу, учили грамоте детей и взрослых, сносили трущобы Шанхая. Многие страны Азии тогда глядели на Китай как на чудотворного пророка. Когда я был в Дели в 1956 году, туда приехала китайская делегация, трудно рассказать, с каким восторгом индийцы ее встретили.

Исторические пути Индии и Китая различны, и вместе с тем есть между ними много сходства. За триста лет до нашей эры города Индии были снабжены канализацией. В третьем веке до нашей эры

китайцы построили Великую стену, чтобы защитить страну от кочевников. Производство шелка китайцы начали за две тысячи лет до нашей эры; в пятом веке до нашей эры вырыли оросительные каналы, потом начали изготавливать бумагу. Китайцам принадлежит изобретение компаса, сейсмографа, фарфора, книгопечатания подвижным шрифтом (за четыреста лет до Гутенберга). Они изобрели порох и многое другое, о чем европейцы узнавали с большим запозданием от арабов. Правитель Индии Ашока в третьем веке до нашей эры сформулировал принципы мира, согласно которым он решил никогда не начинать войн. Когда мы защищали в Движении сторонников мира те же принципы, на нас многие нападали. Феодалные распри, вторжения, навязанные войны истощили два великих государства Азии как раз в то время, когда страны Западной Европы освоили порох, обзавелись артиллерией и военным флотом. Индию начали разбирать по кускам, львиную долю получили англичане. Китай продолжал существовать как государство, но ему предъявили ультиматумы, посылали на его территорию карательные экспедиции, навязывали кабальные договоры. Индия добилась независимости в 1950 году, причем осталась членом Великобританского содружества. Китай стал Народной республикой за год до того. Американцы создали «второй Китай» на острове Тайвань.

Каждый китаец помнит былые обиды. Стоит вспомнить хотя бы «опиумные войны», когда англичане, возмущившись запретом ввоза опиума в Китай, силой оружия добились продления права отравлять китайцев; это было в эпоху чартизма, роста тред-юнионов, в эпоху Диккенса, Теккерея, Тернера. Об этом я думал в Китае, потом в Индии. У народов Азии есть свои счета с обидчиками, есть счета, которые нелегко погасить.

Вернусь к 1951 году. Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличнее от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище - положили цветы на могилу Лу Синя. Там мы встретили знакомую китаянку: открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала - расплакалась. Мне рассказали историю несчастной любви. Поэт Ай Цин говорил мне о том, как трудно быть поэтом, и его слова напомнили мне некоторые страницы моей биографии. Я встретил

читателей моих романов. Все было проще и сложнее, чем это кажется туристу, который ищет экзотики.

Я влюбился в Индию, там было много людей, разговаривая с которыми я забывал, что это дети «страны чудес».

Год спустя в Японии я увидел, что та архитектура, о которой я мечтал в начале двадцатых годов, принадлежит японскому быту.

Эта глава моей книги может показаться статьей, вставленной в автобиографию, но я рассказываю о том, что меня волновало и волнует. Моя жизнь прошла на рубеже двух эпох. Октябрьская революция, революция в естественных науках, пробуждение народов Азии и Африки открывают новую эру. Много я понял в конце моей жизни. Теперь часто говорят о предстоящем освоении космоса, а я только к концу жизненного пути начал осваивать нашу планету.

В гимназии меня учили латыни, я знал ссоры удельных князей, проказы богов и богинь Древней Греции. Потом я хаотично прочитал много книг, бродил по музеям, понял величие Эллады, разгадал средневековое искусство, восхищался Возрождением. Но о странах Азии я в молодости судил по книгам европейцев да по некоторым произведениям древнего искусства. Книги, которые я брал, часто были случайными: Блаватская рассказывала о таинственной Индии, Киплинг писал о джунглях и об отважных белых, автор истории буддизма (книгу мне дал Волошин) восхищался нирваной. Потом я увидел Хокусаи и Утамаро, мастеров XVIII века, но ничего не знал о портретах Сэсю, который жил в XV веке. О современной Японии я судил по книге Пильняка, по модному в то время сатирическому роману посредственного французского автора да по безделкам, выставленным в витринах антикваров,- чайникам, веерам, ширмам. Я прочитал книгу Ромена Роллана о Ганди и его последователях, стихи Рабиндраната Тагора, две или три книги, в которых рассказывалось о зверствах англичан, о кастах, о голоде, о йогах, Когда в 1917 году я увидел «Сакунталу», которую играли в Камерном театре, я восхитился - я ничего не знал о Калидасе, и пьеса, написанная пятнадцать веков назад, показалась мне современной. В двадцатые годы журналы и газеты много писали о революционном Китае. Я знал про события в Кантоне, прочитал роман Мальро «Условия человеческого существования», французскую книгу о Конфуции. Я рассказываю о своем невежестве потому, что незнание Азии было общим грехом

европейцев, и оно позволяло образованному индийцу или китайцу относиться к интеллигенции Запада с некоторым презрением.

Два мира сосуществовали отнюдь не мирно, между ними была стена.

Киплинг писал, что Восток и Запад никогда не встретятся. Он родился в Бомбее, молодость провел в Азии, был хорошим поэтом, но, видя Индию, он ее не видел: на его глазах была повязка - идея превосходства Запада над Востоком.

Афоризм Киплинга мне кажется не только неверным, но и опасным - он нашел отклики повсюду. Теперь иные начинают поговаривать о превосходстве Востока над Западом. А Восток и Запад встречались, встречаются и, надеюсь, будут встречаться. Увидев японских художников XVIII века, я понял, чему у них научились мастера французского импрессионизма. Французские энциклопедисты изучали философов старого Китая. Английские филологи в середине XIX века многое почерпали из древнейшей индийской грамматики. Современный китайский театр произвел огромное впечатление в Париже и обогатил французских режиссеров.

У Востока и Запада общие истоки, и как бы ни были разнообразны рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет дальше.

Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности людей и народов, могут стать универсальными, а расизм или национализм (безразлично, от кого он исходит), с его утверждением приоритета и превосходства, неизбежно порождает вражду, разобщает народы, принижает культуру и в итоге становится всеобщим бедствием. Об этом я часто думал в годы, когда писал эту книгу, думаю и теперь, слушая по радио поучения некоторых китайских догматиков. Вряд ли заря новой эры будет идиллической, но мне не верится, что люди, уверенные в превосходстве своей крови, своей религии или в абсолютной правоте своего толкования того или иного учения, осмелятся от словесного расщепления своих спорных истин и чужих, столь же спорных заблуждений перейти к оружию, способному уничтожить не только все заблуждения, но и все истины.

В 1949 году я кончил одну из моих статей строками: «Думая о судьбе века, я вспоминаю стихи турецкого поэта Назыма Хикмета, озаглавленные «XX век».

– Нет, не страшит меня мой век,
мой жалкий,
мой великий век,

нет,

я не дезертир.
Я не жалею, что пришел
так рано в этот мир,
и века моего
я не стыжусь
и не страшусь,
я - сын его,
и этим я горжусь!

Это написал коммунист после двенадцати лет тюрьмы, зная, что его приговорили к двадцати восьми годам заключения и что V него болезнь сердца... Когда читаешь эти строки, что-то подступает к горлу, хочется пожать далекую руку, сказать: «Никогда рней не победят жизни, если есть у нас столько друзей, чистых, честных, смелых!..»

Назым Хикмет тогда еще сидел в турецкой тюрьме. Два года спустя я пожал его руку. В осенний вечер он позвал Любу и меня к себе. Жил он напротив «Правды», в квартире, которую ему отвели как гостю. Мы почти не, знали друг друга, но Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его волновало. (Он слишком часто говорил то, что думал; некоторых это злило, но в конце концов обезоруживало. Одни товарищ как-то сказал мне: «Но ведь это сказал Назым Хикмет, а с него взятки гладки...») В тот первый вечер, который мы провели

вместе, Назым признался, что многого не понимает. Началось со статуэтки: «Вы знаете, я не могу глядеть на нее. Это уродство, настоящее мещанство! Но ничего не поделаешь - квартира казенная, я здесь гость...» Он рассказал, что ему предоставили машину: «Утром выхожу, шофер спрашивает: «Куда поедем, начальник?» Я отвечаю: «Какой я начальник? Я - поэт, коммунист, сидел в турецкой тюрьме...» Он говорит: «Ну не начальник хозяин»... «Маяковский - гений», а я посмотрел стихи в журналах - при чем тут Маяковский?... Меня повели в театр. Как будто не было ни Мейерхольда, ни Таирова, ни Вахтангова...»

Это старая трагедия - человек на десятилетия выпадает из жизни и, возвратившись, многого не может понять. Есть старинные французские песни о солдате или матросе, который, приехав после долгой войны, не узнает своей жены, а жена принимает его за чужого. Можно заморозить сердца, как ягоды клубники, это вопрос сроков... Назыма арестовали в 1937 году, но не в Москве, а в Турции. Он не знал о гибели Мейерхольда, которого обожал, не знал, что поют вместо «ни царь, ни бог и ни герой» «нас вырастил Сталин», не знал, что картины, которыми он восхищался в музеях, спрятаны, он очень многого не знал.

В тюрьме он писал стихи о Сталине как о старшем товарище. Он говорил в 1951 году: «Я очень уважаю товарища Сталина, но я не могу читать, как его сравнивают с солнцем, это не только плохие стихи, это плохие чувства...» А в 1962 году Назым Хикмет написал:

Он был из камня, из бронзы, из гипса и бумаги,
от двух сантиметров до нескольких метров.

На всех площадях мы были под его сапогами,
под сапогами из камня, бронзы, гипса и бумаги...

Очутившись в Москве, он отвечал невпопад - плясал на похоронах и плакал на свадьбе.

Повсюду его встречали овациями - большой поэт, герой, просидевший тринадцать лет в тюрьме. Он говорил, отвечал на вопросы и восхищал молодежь своей прямоотой, искренностью. Порой наивность помогала ему быть мудрым. Впервые он приехал в Москву в 1921 году - ему тогда не было двадцати лет, а Советской республике четыре года. То была эпоха «памятника Третьему Интернационалу» Татлина, споров между футуристами и имажинистами,

мейерхольдовского «Великодушного рогоносца», эпоха голода и уличных карнавалов. Назым прожил у нас восемь лет, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, писал стихи и пьесы, уверовал, понял, закалился. Это был на редкость цельный человек. В своей поэтической автобиографии он говорил: «Одним знакомы виды трав, другим - виды рыб, а мне - виды разлуки. Одни знают наизусть имена звезд, а я- имена расставаний». (О том же когда-то говорил Осин Мандельштам: «Я изучил науку расставаний...») Жизнь Назыма была бурной и трудной, но если он знал все виды разлук, все имена расставаний, то никогда не изведал горечи разрыва: до конца жизни сохранил идеи, вкусы, привязанности юношеских лет.

Конечно, он повзрослел (слово «постарел» к нему не подходит), многое понял и за год до смерти писал: «Я разучился верить, я учусь понимать...» Но, учась понимать, он убеждался в правоте того, во что раньше верил. Еще при жизни Сталина мы как-то сидели вечером в пражской гостинице. Назым говорил: «Когда я спросил в Румынии, жив ли Мейерхольд, мне сказал один товарищ, что, кажется, умер, а другой, которого я спросил, сказал, что Мейерхольд живет на юге, кажется, в Крыму или возле Сочи, там климат лучше... Я никогда не отступлюсь от коммунизма - для меня это правда. Но зачем обманывать товарищей?»

В 1956-м, а может быть, в 1957-м Назым мне рассказал, что при «культе личности», незадолго до смерти Сталина, арестовали старого турецкого коммуниста, ветеринара, которому было под семьдесят, он умер в концлагере, а теперь посмертно реабилитирован. Назым говорил: «Я часто думаю о судьбе Н... Мне повезло - конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже было другим...»

Назым гордился, что однажды выступал вместе с Маяковским: «Это было, конечно, в Политехническом. Я очень боялся, а Маяковский мне сказал: «Ты, брат, не бойся, читай по-турецки, никто не поймет, и все будут аплодировать...» Он вспоминал выставки, театры и все удивлялся. «На улице Воровского,- рассказывал он,- я разговаривал с двумя молоденькими поэтами. Я им говорю, это Элюар замечательный поэт, а они улыбаются. Я их спрашиваю, что они думают о стихах Пабло Неруды, по-моему, это очень большое явление.

Опять улыбаются. Потом один говорит, что они против низкопоклонства. Я очень рассердился, говорю: «Элюар - коммунист, Неруда - коммунист». Это им безразлично. По-моему, они совсем не коммунисты».

Дед Назыма Хикмета был пашой, губернатором. Внук стал в молодости коммунистом и коммунистом умер. После XX съезда, когда некоторыми овладели недоумение, даже сомнения, он говорил: «По-моему, у всех сняли с сердца камень...» Вернувшись из поездки в Париж, он рассказывал: «Есть удивительные люди. Когда у людей язык отнимался, они верили, а когда сказали правду, заколебались. Коммунизм - это страсть, жизнь, но для таких людей он был минутным увлечением или привычной службой».

О том, что Назым был убежденным коммунистом и большим поэтом, известно всем, но люди, встречавшиеся с ним, знают также, что он был на редкость добрым, хорошим человеком. Однажды я ему рассказал, что Элюар, узнав об Орадуре, в первую минуту усомнился, действительно ли гитлеровцы собрали детей в школу и там их сожгли. Назым сказал: «Я его понимаю. У нас в Турции очень много диких людей, бывала страшная резня, кто-то рассказывал, что резали даже детей, и всегда мне казалось - может быть, выдумка, то есть преувеличивают...»

В Риме я разглядывал два тома его произведений: один иллюстрировал Гуттузо, другой - друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым просиял: он не хотел говорить о своих стихах, хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Амаду- всех не перечтешь. Об Элюаре он однажды мне сказал: «Удивительно, когда я читаю некоторые его стихи, мне кажется, что именно об этом, именно так я хотел написать...»

Почему-то все считают, что учителем Назыма Хикмета был Маяковский, а сам Назым не раз говорил, что Маяковский для него пример смелости, человеческого подвига, но поэтически он пошел по другой дороге. Он распрощался с рифмами, говорил, что поэзия отличается от музыки, сродни ей, но вместе с тем жаждет, скорее, звуков, чем звучания. От стремления продлить народную песню он перешел к созданию своей формы, к простоте и прозрачности. Я

слышал, как он читал по-турецки, я читал французские и русские переводы; конечно, этого мало, чтобы сулить о поэте, и все же мне кажется, как казалось самому Назыму, что ближе всего ему был Элюар.

Его любовь к левому искусству двадцатых годов связана с его природой, с его эстетикой. В поэзии он освободился от всех литературных школ, а в пьесах есть что-то архаическое - приемы театра, который исчез. Он очень любил живопись, говорил, что она труднейшее для восприятия искусство, что нелегко разгадать «сладость яблок Сезанна»: для этого необходима большая живописная культура. Бунтарь двадцатых годов в пятидесятые годы готов был яростно защищать любого советского художника, в котором чувствовал желание расстаться с академическим письмом.

Мы встретились в Риме; я пошел на вечер, где он читал свои стихи. В Риме он долго мне доказывал, что нельзя требовать от искусства доходчивости; иногда его стихи понятны каждому, иногда только людям, разбирающимся в поэзии, и он протестует, когда одних ставят выше других. «Нельзя доверять уход за всеми розами директору завода, изготавливающего розовое масло. Ведь каждый год выводят новые сорта, дело не только в масле, у розы цвет, запах. Некоторые люди - эстеты - хотят, чтобы розу поставили выше пшеницы или кукурузы, а для других розы - это крохотная цифра в большом бюджете...» Он вдруг остановился у окна цветочного магазина: «Посмотрите, пожалуйста, какие здесь розы!»...

Я знаю, как легко приходит к заключенному отчаяние. А Назым Хикмет просидел тринадцать лет в каменной клетке вдвоем с надеждой. В тюрьме он написал «Человеческую панораму» -эпопею турецкого народа. Дважды Назым объявлял голодовку,- связанный, продолжал бороться за человеческое достоинство.

Внешне он походил, скорее, на человека с севера, чем на турка,- очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно - в Москве и в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции он тосковал. Он покрыл диван турецкой материей; повел меня в ресторан «Баку»: «Здесь еда немножко похожа на нашу»; встречаясь на сессии Всемирного Совета Мира с турком, он не мог от него оторваться. Раз он сказал мне: «Прислали мои стихи на исландском языке. Удивительно!... А в Турции меня не печатают. Да и печатали бы, те,

для кого я пишу, не смогли бы все равно прочитать - неграмотные...»
В стихотворении «Завещание» он писал:

Если я умру на чужбине, товарищи,
похороните меня на деревенском кладбище Анатолии
рядом с батраком Османом, которого убил Хасан-бей...
Хорошо, если вырастет чинара,
а без камня и надписи я обойдусь...

В 1952 году мы все с тревогой спрашивали: «Как Назым?...» Он сам лотом писал: «С разорванным сердцем четыре месяца, лежа на спине, и ждал смерти». У него был сильный инфаркт. Его спасли, но с тех пор он жил в постоянном соседстве со смертью. Он весело разговаривал у меня на даче - он был прекрасным рассказчиком,- и вдруг его лицо покрылось крупной росой пота, В стихах он часто возвращался к мыслям о смерти:

Под дождем по московскому асфальту идет весна,
на своих топких зеленых ногах,
стиснутая шинами, моторами, кожей, тканями и камнями.
Сегодня утром
моя кардиограмма была плохая.
Та, которую ждут, придет неожиданно, придет одна,
не принеся с собой то, что ушло.
Концерт Чайковского играют под дождем.
Ты будешь подниматься без меня по лестнице...
С одной стороны - строчи стихи
один другого светлее,
с другой - беседуй со смертью,
что рядом с тобой стоит.

Когда праздновали его шестидесятилетие, был вечер для писателей в Доме литераторов и другой для читателей - в Политехническом; на последнем я председательствовал. Зал был переполнен, стояли, сидели на полу в проходах, и все глаза светились любовью к Назыму. Я тихо спросил его: «Устали?» Он виновато ответил: «Немножко... Но я очень счастливый...»

Он страстно любил жизнь, детей, стихи, птиц. Незадолго до смерти он писал:

Дадим шар земной детям, дадим хоть на день,
дадим, как раскрашенный шарик, пусть с ним играют.

Он продолжал радоваться, любить, полетел в далекую Танганьiku и оттуда писал письма в стихах о Черной Африке, о звездах, о борьбе, о своей любви.

В 1962 году он писал стихи своей любимой:

Я снял с себя идею смерти,
надел на себя
июньские листья бульваров...

Он умер ровно через год, в раннее утро раннего лета. Проснулся, пошел в переднюю за газетой и не вернулся - сел и умер.

Он лежал в гробу добрый и прекрасный. Старушка, всхлипывая, говорила девочке: «От разрыва сердца» - так в моей молодости называли инфаркт. А мы стояли у гроба, и кажется, у всех готово было разорваться сердце от короткой ужасающей мысли: нет больше Назыма!

Тысяча девятьсот пятьдесят второй год для меня начался с похорон. В последний день старого года умер М. М. Литвинов.

Максима Максимовича я встречал в разные годы и при различных обстоятельствах, бывал у него в Москве, когда он был наркомом и жил во флигеле парадного дома на Спиридоновке, встречал его в Париже, ужинал с ним в Женеве, где он выступал на заседании Лиги Наций, видел его в опале, провел у него вечер накануне его отъезда в Вашингтон, несколько раз разговаривал с ним в послевоенные годы. Я не могу сказать, что я его хорошо знал, он был человеком скорее молчаливым. Он сидел, слушал, порой усмеялся - то с легкой иронией, то благодушно, изредка подавал реплику, но ничего в нем не было от угрюмого молчальника, он любил посмеяться. Есть унылые оптимисты, а Литвинов был человеком веселым, но зачастую, особенно к концу своей жизни, с весьма мрачными мыслями.

Некоторые слова Максима Максимовича и запомнил, некоторые черты его разглядел и о них коротко расскажу. Он был крупным человеком, об этом можно судить хотя бы по тому, что во времена Сталина, когда любая инициатива вызывала подозрения, существовало понятие «дипломатов Литвинове кой школы».

Почти всех дипломатов этой «школы» я знал - одних лучше, других хуже. Они работали в трудное время, когда западные державы еще рассчитывали уничтожить молодую Советскую республику: угрозы, полицейские налеты на посольства, фальшивки были бытом. Я видел, как наши дипломаты убеждали, когда это было нужно, умело ссорили врагов или мирили колебавшихся сторонников мира, привлекали на нашу сторону дельцов и ученых, крупных промышленников и авторитетных писателей. Эта работа оставалась для рядовых советских людей неизвестной, а дипломаты отнюдь не были баловнями судьбы. Некоторые умерли до начала произвола: Красин, Довгалецкий, Кобецкий, Дивильковский. Другим повезло - Коллонтай, Суриц, Штейн умерли в своих кроватях. Воровского и Войкова убили антисоветские террористы. Майский, Рубинин,

Гнедин, претерпев мытарства, вернулись из тюрьмы или лагеря живыми. А многие погибли. Антонов-Овсеенко, Раковский, Крестинский, Сокольников, Розенберг, Гайкис, Марченко, Арнс, Гиршфельд, Аросев, Членов стали жертвами клеветы и беззакония (я назвал только некоторых).

Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Н. И. Вавилова и пощадил П. Л. Капицу? Почему, убив почти всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивного Максима Максимовича? Все это остается для меня загадочным. Да и сам Литвинов ждал другой развязки. Начиная с 1937 года и до своей последней болезни он клал на ночной столик револьвер - если позвонит ночью, не станет дожидаться последующего...

У Максима Максимовича была вполне миролюбивая внешность: толстый, добродушный, хороший семьянин. Да и досуги его были заполнены невинными развлечениями - за границей, когда выпадали два-три свободных часа, шел в кино, глядел мелодраматические фильмы, «страсти-мордасти». Он любил хорошо покушать, и приятно было на него глядеть, когда он ел - так восхищенно он макал молодой лучок в сметану, с таким вкусом жевал. Любил разглядывать большой атлас,- наверно, колесил по далеким незнакомым странам. Он любил жить. Однако этот добродушный человек умел полемизировать, и западные дипломаты поглядывали на него с опаской. Некоторые из его выступлений в Лиге Наций облетели мир. Жолио мне рассказывал, что выступление Литвинова, сказавшего, что нельзя договариваться с бандитами о том, в каком квартале города они могут безнаказанно разбойничать, помогло ему понять не только безнравственность, но глупость западной политики за несколько лет до Мюнхена. Л слова Литвинова о «неделимости мира» я слышал и после смерти Максима Максимовича на различных конгрессах и конференциях.

Литвинов с благоговением говорил о Ленине: «Такого не было и не будет». Ленин послал Максима Максимовича в Стокгольм в очень трудное время - в 1919 году, в разгар интервенции, говорил ему, что нужно попытаться найти на Западе разумных людей, учесть разногласия в лагере победителей, возмущение побежденных, рабочее

движение, аппетиты возможных концессионеров, авторитет ученых, писателей. Литвинов хорошо знал Запад, он прожил много лет в эмиграции, женился на англичанке. Он говорил о Ленине: «Это был человек, который понимал не только претензии русского крестьянина, но и психологию Ллойд-Джорджа или Вильсона...»

Литвинов был на три года старше Сталина. Максим Максимович о Сталине отзывался сдержанно, ценил его ум и только один раз, говоря о внешней политике, вздохнул: «Не знает Запада... Будь нашими противниками несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил...»

Характер у Литвинова был далеко не мягкий. Я. З. Суриц рассказал мне о сцене, свидетелем которой был. В 1936 году Сурица вызвали в Москву. На совещании Литвинов изложил свою точку зрения, Сталин с ним согласился, подошел и, положив руку на плечо Литвинова, сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Максим Максимович снял руку Сталина со своего плеча: «Ненадолго...»

В старой записной книжке я нашел слова Литвинова: «Тит славился жестокостью. Захватив власть, он казался римлянам великодушным, подхалимы его называли «прелестью рода человеческого». В тот самый год Везувий уничтожил Помпею и Геркуланум. Вполне возможно, что вулкан выполнял директивы нового императора: в Помпее было много влиятельных людей, а Геркуланум славился философами и художниками». Прочитав запись, я вспомнил, как, выйдя из дома, где тогда помещался Литературный музей, я увидел Литвинова и пошел проводить его. День был весенний. Максим Максимович говорил о том, что Трумэн умом не отличается, вспоминал Рузвельта. Я спросил, кого он считает самым крупным политиком, он ответил: «Конечно, Сталина». Потом он почему-то заговорил об истории Древнего Рима, написанной английским автором, и, посмеиваясь, сказал об императоре Тите. Вечером я записал его слова.

На заседании, когда Литвинова поносили и вывели из ЦК, он возмущенно спросил Сталина: «Что же, вы считаете меня врагом народа?» Выходя из зала, Сталин вынул трубку изо рта и ответил: «Не считаем».

Литвинова не арестовали, но Сталин отстранил его от работы, хотел уничтожить измором. Однако в то время это не удалось. I [осле

нападения Гитлера на Советский Союз Сталин вызвал Литвинова, дружески протянул руку и предложил поехать в Вашингтон. Еще в 1933 году Максим Максимович встречался с новым президентом Соединенных Штатов Рузвельтом, опять наладил дипломатические отношения. Когда я был в Америке, политические друзья Рузвельта мне рассказывали, что президент уважал Литвинова, часто приглашал его, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу.

В 1943 году, после Сталинградской победы, Литвинова отозвали в Москву. Он продолжал числиться заместителем министра иностранных дел, но вел незначительную работу. В 1947 году он стал пенсионером - не по своему желанию. Сталин, однако, распорядился, чтобы ему оставили квартиру и другие жизненные блага. Максиму Максимовичу пошел тогда восьмой десяток; он мог бы разглядывать атлас и вспоминать прошлое, но всю свою жизнь он проработал и не знал, как жить без дела, а жить он хотел и понимал, что, если он будет обречен на безделье, мотор заглохнет. Он написал Сталину, благодарил за внимание и просил дать ему работу. Жданов вызвал Максима Максимовича: «Вы писали товарищу Сталину. Мы хотим поставить вас во главе Комитета по делам искусств». Максим Максимович возмутился: «Я ничего в этом не понимаю. Да я и не думаю, что искусство можно декретировать...» Жданов рассердился: «Какую же работу вы имели в виду?» - «Чисто хозяйственную». Никакой работы ему не дали. Он начал составлять словарь синонимов, каждое утро ходил в Ленинскую библиотеку и все же томился от безделья. В кремлевской столовой почти каждый день он встречал Сурица, они отводили душу.

За несколько дней до смерти он лежал днем с закрытыми глазами; жена тихо спросила его: дремлет он или задумался? Он ответил: «Я вижу карту мира», - то, что называется «дипломатией», было для него творчеством, он мечтал, как предотвратить войну, сблизить народы и континенты, карта для него была тем, чем служат художнику тюбики с красками. Пенсионер поневоле умирал, как художник, полный творческих замыслов, без палитры, без кисти и без света.

В одной из комнат Министерства иностранных дел была гражданская панихида. Кто-то по бумажке прочитал речь. На Максиме Максимовиче был не парадный мундир, а обыкновенный костюм. Лицо его казалось непроницаемо спокойным, даже

благодушным. Ко мне подошла дочь Сурица, Лиля: «Папа сегодня скончался...»

Якова Захаровича два дня спустя привезли в тот же зал. Было несколько сотрудников министерства; кто-то прочитал речь. На немецком кладбище были снова мундиры мидовцев, снова речь по бумажке и венки из бумажных цветов.

С Сурицем я познакомился в Берлине в 1922 году на выставке советского искусства. Суриц внимательно глядел, иногда сердился, иногда любовался. Он приглашал меня приехать к нему в Осло, говорил, что там есть хорошие художники. Искусство он обожал, собирал картины, рисунки; у него были самые различные вещи - Роден и Левитан, Матисс и Коровин, Марке и Велла. Он их охотно показывал, кричал на меня, что я не понимаю значения «Мира искусства», недооцениваю Левитана, не хочу признать Грабаря.

Я мало знаю о прошлом Сурица. Однажды, рассказывая о гитлеровцах, он сказал: «Подумать, что я учился в Гейдельбергском университете! Да если бы мне тогда сказали, я не поверил бы... Мы часто говорим абстрактно. А может быть, слова меняют значение. «Одичание». Ну, что это для меня означало в те годы? Политический просчет. Или успех «Санина», оргии, «кошкодавы». А в Берлине я видел, как студенты тащили за бороду старика, он был в крови, а они пели...» Он был, кажется, первым советским послом: Ленин отправил его в Кабул в 1919 году, когда новый эмир Амануллахан прислал своих представителей в Москву с письмом к Ленину. Это было до рождения советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе, сам составил текст с упоминанием о признании полной независимости и суверенитета Афганистана. В Кабуле Суриц пробыл недолго, его назначили послом в Норвегию, а в Афганистан прибыл Раскольников.

История судит дипломатов, как полководцев, - по выигрышам или Проигрышам. А у каждого даже самого одаренного дипломата бывают свои Аустерлицы и свои Ватерлоо - многое зависит от ситуации. Когда Сурица послали в Анкару, Новая Турция с надеждой глядела на Москву. Яков Захарович понимал свое дело. Обыватели думают, что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и говорить, из хорошего сделать лучшее, если не предотвратить, то хотя бы

затормозить и смягчить плохое. Сурик завоевал доверие Кемалю, укрепил дружбу между двумя государствами. О Кемале Яков Захарович говорил с восхищением: «Большой ум! По сравнению с ним Даладые - невежественный провинциальный политик...»

Что мог делать Сурик в гитлеровском Берлине? Да только наблюдать и сообщать в Москву. Американский посол Додд, друг Рузвельта, в своем дневнике не раз отмечал дружеские беседы с Сурицем, а дочь Додда, Марта, говорила мне, что Яков Захарович был единственным дипломатом в Берлине, которому ее отец доверял.

Летом 1937 года, приехав из Испании в Париж, я в посольстве увидел Сурица. Он расспрашивал, есть ли надежда на перелом после Уэски; сказал: «Здесь все разворачивается отвратительно...». Потом он признавался, что после Берлина наслаждается «воздухом Парижа». В свободное время он ходил на выставки, рылся в лавках букинистов, завел знакомства с художниками.

(Его всегда тянуло к людям искусства. В Москве я встречал у него А. Н. Толстого, И. Э. Грабаря, А. Я. Таирова, А. Г. Коонен, В. Г. Дулову, многих других.)

Обстановка во Франции была неблагоприятной: Блюма сменил Шотан, мелкий политический комбинатор, которому казалось высотами искусства раздобыть в парламентском буфете несколько голосов для правительственного большинства. Народный фронт трещал. Буржуа, перепуганные забастовками, начали поглядывать на Гитлера с уважением, а то и с надеждой. Франция катилась к разгрому. Сурик пытался отсрочить развязку, он беседовал с Эррио, встречался с французским националистом, ненавидевшим третий рейх, Кериллисом, с журналистом Бюрэ, но у событий своя логика. Началась война, и малодушные правители Франции, не решавшиеся открыть огонь по противнику, потребовали отъезда Сурица из Парижа.

Я рассказал в предшествовавшей части книги, как в Куйбышеве в номере «Г ранд-отеля» Сурик хотел, чтобы я восхищался рисунком Родена. Он приютил меня на ночь и перед тем, как показать рисунок, три часа, задыхаясь от волнения, говорил о наших неудачах: «Конечно, пакт с Германией был необходимостью. Виноваты французы, англичане и, конечно, Бек. Но как Сталин использовал два года? Ужасно это выговорить - он верил в подпись Риббентропа. Он

подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил!...» Сурику казалось, что он говорит шепотом, но он кричал и успокоился, только когда вытащил из чемодана рисунок.

После войны его хотели послать в Японию; запротестовали врачи - не выдержит климата. Тогда нашли страну с климатом не более благоприятным,- Бразилию. Он пробыл там недолго - под давлением Вашингтона Бразилия порвала отношения с Советским Союзом.

Суриц вернулся в Москву. Он смотрел на холсты, читал, думал. Однажды он сказал мне строго: «Вы моложе меня на десять лет, но не мешает и вам о многом задуматься...»

У него были тонкие черты лица, борода клином, большие усы, которые он, волнуясь, пожевывал, косматые брови. В последние годы он страдал гипертонией и порой выходил из себя - говорил то, что думал. Приходил он неожиданно, рассеянно пил чай, молчал, а потом прорывалось- он мог говорить два часа подряд, не останавливаясь, что-то в нем клокотало. Начиналось почти всегда со слов: «Вчера мыс Максимом Максимовичем говорили...» Следовал негодующий монолог. Иногда Яков Захарович объяснял поступки Сталина «патологическим раздвоением личности». Старый революционер, интернационалист, типичный интеллигент, он не мог принять ни толкования «низкопоклонства» и «космополитизма», ни многих других событий койка сороковых годов. Я не пересказываю его историй о Сталине - они могут показаться разоблачениями, внешне расширить, а по существу сузить характер этой книги. Суриц многое объяснял характером Сталина, расхождением в нем самом теории и практики; может быть, он был прав; но сейчас мне хочется передать терзания старого, больного, душевно чистого человека, проработавшего всю свою жизнь для торжества идеи, в которую продолжал верить, и видящего то, чего он не мог принять. Раз он тихо выговорил: «Беда даже не в том, что он не знает, как живет народ, он не хочет этого знать - народ для него понятие, и только...»

Он уходил, а месяц или два спустя приходил - не мог дольше молчать и начинал: «Вечером мы с Максимом Максимовичем вспомнили Лозовского...»

Было только одно средство успокоить Якова Захаровича - повести его в комнату, где висели рисунки Матисса, пейзажи Фалька, холсты Шагала. Лицо его менялось, он чуть заметно улыбался. Я больше с

ним не спорил - не потому, что боялся взволновать его, нет, он меня обезоруживал своей любовью к искусству. Однажды, глядя на рисунок Матисса, он тихо сказал: «Жизнь - это тоже линия...» Когда Якова Захаровича хоронили, я вспомнил эти слова. До чего человеческая линия!... Рисунки остаются, внуки их легко расшифруют, может быть, заглянут и в старые книги. А кто в огромном клубке истории разыщет тонкую оборвавшуюся нить, дела и страсти исчезнувшего со сцены актера?

В конце февраля 1952 года праздновали юбилей Гюго. В Москву пригласили Поля Элюара и внука Виктора Гюго, художника Жана Юго. (Придется объяснить читателям, почему великий поэт не оставил детям в наследство буквы «г», - это относится к русской транскрипции. В прошлом столетии французские имена, начинавшиеся с немой согласной «h», снабжались «г» - Гюго, скульптор Гудон, город - Гавр; потом стали писать правильно - поэт Эредиа, композитор Онеггер, Эррио.)

Жан Юго - прелестный художник. Он иллюстрировал книгу Элюара «Париж еще дышал» прозрачными пейзажами города, мастерскими и в то же время простодушными. Юго привез а подарок нашим библиотекам редкие издания своего деда и, выступая на различных собраниях, говорил, что счастлив провести знаменательные дни в столице Советского Союза.

Хотя приглашения были посланы поздно, Жан Юго прибыл вовремя и присутствовал на научной сессии Института мировой литературы, с которой начались празднества. А Элюара не было. Я пошел на заседание, выслушал доклады и, вернувшись домой, увидел Элюара. Люба рассказала, что позвонили с аэродрома: «Прилетел француз, фамилия Элюар. Никто его не встретил. По-русски он не говорит, но называет фамилию товарища Эренбурга...» Люба попросила посадить его в такси, шофер должен довезти его до квартиры. Элюар пришел за десять минут до меня. Он рассказал, что его хотели отправить во французское посольство, тут он запротестовал, из всех его слов поняли только «Эренбург». Жена приедет через два дня - когда пришло приглашение, ее не было в Париже. Я сердился: почему никто не сообщил о его приезде? Он смеялся: «А зачем сообщать? Я и так добрался...»

Элюар был очень скромным. Один из участников Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что однажды к нему пришел высокий человек, сказал пароль и дал пакет с листовками. День был холодный, он предложил пришедшему посидеть возле печурки. «Вдруг я цонял, что видел это лицо в довоенном журнале. Я робко спросил: «Вы

поэт?» - «Да». Это был Элюар. Я не мог удержаться: «Вы не должны зря рисковать... Мог бы принести другой». Он удивился: «Почему «другой»? Все мы рискуем. А товарищи устали, набегались за день...» Ив Фарж ездил с Элюаром в партизанский район Греции летом 1949 года - за несколько месяцев до конца Соппротивления. Шли жестокие бои: люди уже защищали не гору Граммос, а человеческое достоинство. Фарж мне рассказывал, что иногда приходилось часами идти в гору. Ни разу Элюар не пожаловался, не попросил передохнуть, а когда Фарж ему говорил: «Посидим часок», - он возражал: «Пойдем с бойцами - зачем их задерживать?...» Однажды он выхватил у двух девушек тяжелый мешок, потащил его, не хотел отдавать. Я записал слова Фаржа: «Он, кажется, никогда не думал о том, что он большой поэт. Может быть, потому другие не могли об этом забыть».

Он выступил в Колонном зале, потом в клубе автомобильного завода. Мне он признался: «Самое трудное выйти на сцену, когда все на тебя смотрят...» Не успел кончиться юбилей Гюго, как начался юбилей Гоголя. Элюар выступил в Большом театре, еще где-то. Потом чествовали Федина, и Элюар его приветствовал. Потом он рассказывал в Доме литераторов о современной французской поэзии. Потом его пригласили студенты. Потом была пресс-конференция. Доминика говорила мне: «Поль очень волнуется, когда выступает...» Я просил уменьшить программу, но такие уж нравы: если юбилей - двадцать пять речей, если банкет - пятьдесят тостов, страна большая, людей много...

В одно утро Элюар пришел ко мне расстроенный, сказал, что с Жаном Юго приключилась неприятность: он стоял на Софийской набережной, неподалеку от дома английского посольства, и писал акварелью пейзаж Кремля. Подошел милиционер и отобрал альбом. «Жан никогда не занимался политикой, но к вам он чувствует симпатию. Он - председатель Французского юбилейного комитета, и вот уехал со мной в Москву. Досадно!... Может быть, ему вернут альбом?...»

Я позвонил Григорьяну, он мне ответил, что француз рисовал не только Кремль, но и здание Министерства обороны: «Это совершенно недопустимо...» Часа два или три спустя мне принесли из гостиницы книгу Элюара с иллюстрациями Юго, художник на первой странице акварелью нарисовал Кремль, я увидел «недопустимую» верхушку

здания Министерства обороны. Юго писал, что уезжает, посылает Любе и мне эту книжку на память о наших встречах. Акварель напоминала другие работы Юго - нежные и наивные: стены, купола, снег. Да из окна английского посольства можно все это сфотографировать, и, конечно, куда точнее! Я рассердился, снова позвонил Григорьяну, сказал все, что думал. Вечером Григорьян сообщил мне, что альбом решили вернуть Юго: «А к вам просьба - постарайтесь его успокоить». Скрепя сердце я пошел к Юго, долго мялся и наконец начал: «Произошло недоразумение...» Юго увел меня в ванную и там сказал: «Можете быть уверены, что во Франции я не скажу об этом ни слова...» В Париже в интервью он говорил, что очень доволен своей поездкой, его чудесно принимали и он увидел, как в Советском Союзе любят Гюго. Осенью 1954 года он написал мне, что работает над иллюстрациями к «Оттепели», которую публикует французский журнал «В защиту мира». Рисунки были лирическими: лесок, прогалины, влюбленные... Юго скорее почувствовал, чем понял, что многое в наших нравах изменилось.

Вернусь к Элюару. Мне хочется передать образ большого поэта, которого я встретил впервые сорок лет назад, но узнал и полюбил много позднее. Смутно помню молодого сюрреалиста, высокого, худого, с привлекательным лицом, с удивительно красивым голосом. Он ругал одного писателя, в те времена весьма почитаемого: «Это не человек, это хорек, который уверяет кур, что он их спасет от куриных хлопот...» Когда он негодовал, он густо краснел. В те годы я его плохо знал, и только недавно, прочитав его юношеские письма, понял, что у нас было много общих увлечений и сомнений, хотя он был на пять лет моложе меня. В ранней молодости он болел легкими, его послали в Швейцарию в санаторий. Там он познакомился с русской девушкой Галей и влюбился в нее. Началась война. Галя уехала в Москву. Поль служил в полевом госпитале, был отравлен газами. Он слал письма Гале, и в 1916 году она приехала в Париж, вскоре они поженились. С помощью Гали он перевел «Балаганчик» Блока. В одном из писем с фронта он просил мать послать его первую книжку стихов знакомой Гали - «известной русской поэтессе Марине Цветаевой».

Тысяча девятьсот тридцатый год мы с Любой встречали в Берлине у художника Георга Гросса. Среди приглашенных был Элюар. В то время в среде сюрреалистов шли горячие споры - прав или не

прав Арагон. Элюар оставался с непримиримыми, но по природе он был мягким, шутил, смеялся, хотя в те годы ему было очень трудно.

Четыре года спустя я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции». Статья была поверхностной, хлесткой. Меня разозлило, что сюрреалисты устраивают дискуссии о поле, характере и возможном поведении стеклянного шарика или лоскута бархата. А фашисты за Рейном жгут книги, убивают людей. Когда Элюар пришел на Антифашистский конгресс писателей, чтобы прочитать речь, написанную Бретоном, он со мной не поздоровался.

Летом 1937 года у книжного магазина на бульваре Сен-Жермен я разглядывал новинки. Кто-то стоял рядом, я поглядел - Элюар. Мы оба смутились. Он первый сказал: «Здравствуйте!... А Пикассо говорил мне, что вы в Испании...» Я ответил, что неделю назад был на Арагонском фронте. Он спросил, как там теперь. Я рассказывал, должно быть, нехотя, потому что он вдруг остановился: «Мне нужно в другую сторону...» Вспоминая эту неудавшуюся встречу, я думаю, как часто бывал глухим и слепым.

В годы войны я прочитал во французском журнале, выходившем в Лондоне, несколько стихотворений, которые меня потрясли человечностью и красотой. Подпись - Жан дю О - явно была псевдонимом. Мелькнула мысль: может быть, Элюар?... Вскоре после этого один из летчиков «Нормандии» прочитал мне те же стихи и еще другие: «Это Поля Элюара...»

Мы встретились летом 1946 года в Париже и обняли друг друга. Я знал по рассказам общих друзей, что в начале тридцатых годов в личной жизни Элюара произошли перемены: он женился на Нуш. Пикассо показывал мне ее портрет, она казалась красивой. Стихи Элюара стали менее мрачными. И вот я увидел Нуш, она оказалась не только красивой, но обаятельной, нежной, хрупкой и в то же время смелой. Мы просидели в темном кафе вечер. Поль и Нуш рассказывали о годах оккупации. Мы смеялись, шутили. Бог ты мой, каким светлым казалось нам тогда будущее!...

Приехала из Москвы Люба. Элюар нас позвал к себе. Мы добрый час разыскивали дом, где он жил. Он записал адрес в мою книжицу, а такого номера не оказалось. Мы ходили взад и вперед по длинной улице де ля Шапелль. Если мы нашли наконец дом, мрачный, темный, то только потому, что один из прохожих, которых мы спрашивали,

догадался: «Наверно, у вас старый адрес - часть улицы переименовали, поищите на улице Макс-Дормуа». Я ругал Элюара: почему он записал не ту улицу? Нуш смеялась: «Поль против нового названия. Он говорит, что мы жили и живем на улице де ля Шанелль. Вы понимаете - это ведь целый мир. Даже говорят так: «Человек - с улицы де ля Шапелль...»

Мы встретились с Элюаром два года спустя во Вроцлаве, по ночам разговаривали. Потом мы бродили по развалинам Варшавы. Иногда с нами был Пикассо, иногда мы беседовали вдвоем. Он изменился - сказалося пережитое: в конце 1946 года, когда он уехал на несколько дней в Швейцарию, скоропостижно скончалась Нуш. Друзья рассказывали мне, как тяжело он пережил потерю; а мне он сказал в одну из вроцлавских ночей: «Я стоял одной ногой в могиле...»

Потом был Парижский конгресс и снова длинные беседы. В Москве в феврале - марте 1952 года я видел его в последний раз. Если сложить все часы, проведенные с ним, получится мало, очень мало, но, видимо, у сердца свой хронометр; я потерял не только большого поэта- близкого друга, простого и необычайного, мягкого и мужественного, поэта любви, считавшегося малопонятным и ставшего своим для миллионов читателей.

Неужели никогда не перестанут взрослые, серьезные люди противопоставлять один период творчества поэта другому, рубить человека на куски, превращать его жизнь с поисками, потерями, надеждами, с ее непереносимой трагедией в шутовской экзамен, где экзаменатор бубнит: «Это было ошибкой... Теперь правильно... Опять неверно... Хорошо, что поняли... Пожалуй, дадим вам диплом...» Что за напасть и что за ограниченность! В 1925 году Элюару было тридцать лет, а в 1945-м пятьдесят. Дело не только в том, что поседели виски, руки начали дрожать, но разве человек, перед которым в тумане раскрывается даль, может понять, почувствовать то, что станет для него в конце жизненного пути не азбучными истинами, а своим опытом, слезами, потом, потерями? Да одни ли поэты меняются? Разве не меняется сама жизнь? Долгие годы сюрреализма для Элюара были не ошибкой, которую ему следует простить за последующее, они были годами его жизни, его поэзии, и, наверно, без них он не стал бы автором последних книг.

Юношей на фронте он начал стихотворение словами:

Меня покинула лазурь, и я развел огонь...

О том же он писал и в годы Соппротивления, и перед смертью: о ночи и огне. Он всегда писал о любви. Перед молодым фронтовиком была Галя, перед зрелым поэтом - Нуш, в последние годы - Доминика; но стихи Элюара не летопись сердечных событий, не прославление петрарковской Лауры или другой женщины - это стихи о любви, и любой любящий может их принять за выражение своих чувств. Поэтический гений - это не только исключительная сила слов, это исключительная глубина, острота чувствований, она позволяет «самовыражению» стать выражением современников, а порой и правнуков.

Однажды во Вроцлаве Элюар рассказал мне историю стихотворения «Свобода». Это стихотворение состоит из ряда четверостиший, каждое кончается словами «я пишу твоё имя»:

На моих разбитых укрытиях.

На моих рухнувших маяках,

На стене моего уныния

Я пишу твоё имя...

Элюар сказал, что писал эти стихи о Нуш, и кончал стихотворение словами:

Я родился для того, чтобы тебя узнать.

Чтобы назвать тебя по имени.

У него было поразительное свойство: этот якобы замкнутый, даже «герметический» поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. «Вдруг я понял,- рассказывал он,- что я должен кончить именем, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода». Это было о 1942 году, тогда у всех была одна возлюбленная.

Поэзия Элюара неизменно считалась трудной, о нем говорили как о «поэте для немногих». Но стихи Элюара летчики сбрасывали на города оккупированной Франции - стихи оказались убедительнее листовок, хотя Элюар ни в чем не поступился, ни к чему не приспособился - стихи военных лет так же «трудны», как написанные раньше или позднее. Еще раз было доказано, что понятие «доходчивости» условно, часто стихи подлинного поэта куда понятнее миллионам читателей, чем трезвые наставления литературного критика.

Сложность поэзии Элюара в ее сжатости, трудность в простоте. Его стихи почти непереводимы - они слишком зависят от облика слова, его звучания, связанных с ним ассоциаций. (Незвал, Альберти, Тувим, Назым Хикмет, Неруда читали его стихи в подлиннике, их любовь к человеку была связана с осязательностью, реальностью его поэзии.) Трудно объяснить, в чем сила стихов Элюара,- внешние приметы поэзии отсутствуют: нет ни рифмы, ни размера, ни редкостных эпитетов, ни пышности образа. В стихотворении «Габриэль Пери» он говорил:

Есть слова, которые помогают жить,
И это простые слова:
Слово «тепло» и слово «доверие»,
Слова «любовь», «справедливость» и слово «свобода».
Слово «ребенок» и слово «доброта»,
И некоторые названия фруктов и цветов,
Слово «мужество» и слово «открытие».
Слово «брат» и слово «товарищ».
И некоторые названия стран и деревень,
И некоторые имена друзей и женщин...

Стихи его кажутся зыбкими, невесомыми, как тень листвы или утренняя роса, и, однако, они остаются в памяти, стоят вдоль дороги жизни, как старые чинары или как каменные статуи.

Элюар очень любил живопись. Его книги, кроме Пикассо, иллюстрировали многие художники, непохожие один на другого - Макс Эрнст и Валентина Юго, Леже и Сальвадор Дали, Шагал и Кирико. Многие из художников, которые ему нравились, мне далеки, но я понимаю, что он видел в их работах: чертежи поэм, зримый мир своих сновидений. В стихах, однако, он не пытался словами вылепить форму или передать цвет - верил в магию слов и от нее не уклонялся ни к пластике, ни к красноречию.

Больше всего, больше всех Элюар любил Пикассо. Их дружба длилась четверть века, и ничто не могло ее подорвать или хотя бы остудить. Под «Герникой Пикассо» - стихи Элюара. Поль собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу «Пабло Пикассо». Внешне они казались людьми двух полюсов - чертом и младенцем, но это относится к характеристике экзаменаторов или классификаторов, которым чужда стихия искусства. Черт может быть добрым, даже

простодушным, а младенец побывал в аду и многое узнал. Наперекор видимости, наперекор законам возраста и ремесла, они были близкими феноменами, и когда Пикассо вспоминает: «Это Поль мне сказал», - его лицо становится таким нежным, что сжимается сердце.

Он был настолько хорошим и скромным человеком, что, кажется, личных врагов у него не было. В 1942 году он вошел во Французскую коммунистическую партию, остался верен ей до конца. Умер он еще в эпоху предельного ожесточения, и вот что поразительно сила его поэзии, ее человечность, великодушные обезоруживали политических противников. Правда, правительство пыталось запретить похоронное шествие, но это было механическим актом «холодной войны», поступком не живых людей, а электронной машины. Со дня смерти Элюара прошло много времени, а его влияние продолжает расти, о нем уже никто не спорит - его поэзия переросла и биографию и события.

Я все-таки не сказал, что всего удивительнее в его поэзии. Доброта. Можно быть большим поэтом, уметь страдать и уметь рассказывать о муках или о радости - глубоко, точно, но без доброты. Это уж не столь частое свойство и вообще людей, и в частности поэтов. Элюар не мог быть счастливым рядом с чужим несчастьем, и происходило это не от размышлений, а от природы человека. Когда он говорил о своем личном счастье, он говорил о счастье всех:

Мы идем вдвоем, взявшись за руки.
Нам кажется, что мы повсюду дома -
Под ласковым деревом, под черным небом,
Под всеми крышами, у всех каминов,
На пустой улице, на ярком солнце,
В смутных взглядах толпы.
Среди мудрых и безумных,
Среди детей и среди взрослых,
В любви нет ничего таинственного.
Мы здесь, все нас видят,
И влюбленным кажется. Что они у нас в гостях.

Это написано незадолго до смерти. Он шел с Доминикой, может быть, по холмам Дордони или в Москве по Пушкинской площади. Он хотел всех одарить. Он боролся, рисковал не раз жизнью - не оттого, что решил так поступать, а потому, что не мог иначе.

В один из последних московских вечеров Поль сидел у нас. Его руки дрожали больше обычного, но он шутил, потом замолк. Люба говорила с Доминикой. Вдруг он сказал мне: «Я вспоминаю молодого рабочего. Помните - он прорвался после вечера в комнату за сценой?... Он сказал: «Мне тоже хочется писать стихи, но и боюсь, что не выйдет. Голова все время набита словами, гудит, а писать боюсь...» Горько то, что задуманное всегда лучше, чем выполнение. Не только в поэзии - в жизни...»

Эти слова я записал. Прощаясь, мы думали, что встретимся в декабре в Вене. Я радовался, видя рядом с ним крепкую, милую, заботливую Доминику. Восемь месяцев спустя в холодное гуманное утро я услышал по радио: «Вчера скончался французский поэт Поль Элюар...» Доминика потом мне рассказала, что утром он прочитал газеты: Розен боргам, несправедливо осужденным в Америке, отказано в пересмотре дела. Поль сказал: «Только бы их спасли!...» Четверть часа спустя он познал Доминику: сердце перестало биться. Ему должно было исполниться пятьдесят семь лет. Я пишу, и мне кажется, что это случилось вчера. Ничего нет сильнее, чем то, что связывает людей, когда перевал позади и они спускаются вечером по темной крутой тропинке.

Когда я оглядываюсь назад, 1952 год мне кажется очень длинным и в то же время тусклым; вероятно, это связано с тем, как я тогда жил. В журнале печатался «Девятый вал», критики его хвалили; но я чувствовал, что книга не вышла, и ничего больше не писал. Перерывы между поездками, связанными с борьбой за мир и с работой депутата, оставляли достаточно времени, чтобы задуматься над своим писательским путем. В один из осенних дней я записал в книжечку: «Видимо, разумнее всего оставить работу писателя. Через три месяца мне будет шестьдесят два года, это не тот возраст, когда можно сидеть у моря и ждать погоды. Движение за мир - хоть здесь я могу что-нибудь сделать».

В октябре собрался XIX съезд партии. Сталин произнес в конце короткую яркую речь. О литературе упомянул в своем докладе Маленков; он жалел, что у нас нет Гоголей и Щедриных, и сказал, что идейные позиции писателя определяются тем, типичны его герои или нет. Один ленинградский писатель мне говорил: «Управдомов можно было высмеивать и до того, как вспомнили про Гоголя и Щедрина. А подымешься на ступеньку выше - скажут: «Нетипично». Интересно, каким путем будут устанавливать «типичность», - может быть, статистикой или шагистикой?»

Я просмотрел подшивку «Литературной газеты»; все выглядит идиллией. Газета отмечала, что в «Новом мире» напечатан роман Гроссмана «За правое дело», но критики о нем молчали. Они хвалили новый вариант «Молодой гвардии» Фадеева, одобрительно писали о романе Кочетова «Журбины». Газета сокрушалась, что недостаточно учтен «гениальный труд Сталина, произведший переворот в языкознании». Разоблачали «лженауку» кибернетику. Писателей ругали мягко, почти по-отечески. Праздновали юбилеи: Паустовскому и Федину исполнилось шестьдесят лет, Назыму Хикмету и Каверину пятьдесят. Устраивали вечера, подносили папки, обнимали и, разумеется, желали «новых творческих успехов». Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили. В одном из толстых журналов напечатали стихотворение Мартынова, редакцию за это поругали. Под

тусклыми, похожими одно на другое стихотворениями пестрели незнакомые имена молодых; теперь я заметил под одним из них подпись Е. Евтушенко. Когда перелистываешь еще не успевшие пожелтеть листы, кажется, что редакция не знала, чем их заполнить. Кончились радищевские дни, отмечали пятидесятилетие со дня смерти Золя, потом столетие со дня рождения Мамина-Сибиряка.

В апреле в Москве состоялось Международное экономическое совещание. Я познакомился с лордом Бойд-Орром, старым английским пацифистом, человеком большой культуры и чистых мыслей. Он мечтал о сотрудничестве двух миров, с восхищением говорил о Ганди, об Эйнштейне.

На совещание приехали, помимо экономистов, несколько крупных предпринимателей и довольно много средних или мелких, надеявшихся на советские заказы. Вспоминаю смешной эпизод. Из секретариата совещания мне позвонили. «Что значит французское сокращение АПТ?». Я не мог расшифровать, ломал себе голову. Потом мне переслали письмо: Апт оказался городом в Провансе, а письмо написал фабрикант охры Шовен. До войны, по словам Шовена, французские фабриканты продавали России ежегодно восемь тысяч тонн охры, и он решил приехать на экономическое совещание с надеждой возобновить экспорт охры. Шовен оказался живым симпатичным южанином, участником французского Движения сторонников мира и неисправимым фантазером. Его принимали а Комитете защиты мира на Кропоткинской. Он восхищался людьми, но, глядя на облупившийся фасад особняка, повторял: «Вам совершенно необходима охра!...» В Москву он привез образцы промышленности Апта - глазированные фрукты и лавандовую туалетную воду. Фрукты были вкусными, лаванда чудесно пахла, но ни эти товары, ни охра не соблазнили Министерство внешней торговли. У одного бельгийца купили партию дамских комбинаций, и он ликовал, а Шовен уехал с пустыми руками, но с сердцем, полным любви к нашему народу, писал мне письма, хотел, чтобы советские актеры приняли участие в карнавале Апта,- словом, оставался наивным мечтателем.

Жизнь шла своим ходом. Народ трудился. Строили новые заводы. Учителя учили грамоте малышам, которые теперь стали юношами, работают или учатся, думают, спорят. Подростки читали Толстого,

Чехова, Горького. На сцене тысячи театров ежевечерне Гамлет говорил о флейте и лжи, герои Чехова тосковали, а бессмертный Хлестаков врал, не зная передышки. В музеях всегда толпились посетители. Разговаривая с незнакомыми людьми, я видел, как выросло сознание так называемого «среднего человека».

В Праге осенью происходил процесс группы видных коммунистов. В «Литературной газете» их назвали «жабами у чистого родника», которые «мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях». Я никогда не увлекался идеями доктора Герцля, но не мог поверить, что сионисты жаждут превратить Чехословакию в свою вотчину. (Весной 1963 года Верховный суд Чехословацкой республики отменил приговор и реабилитировал осужденных.) Конечно, я не предвидел последующего, но пражский процесс заставил меня снова насторожиться.

Переговоры о перемирии в Корее начались еще весной 1951 года. После длительных споров стороны пришли к соглашению о шестидесяти пунктах договора. Спор продолжался об одном вопросе - порядке репатриации военнопленных. На Генеральной Ассамблее ООН Вышинский и Ачесои произносили длинные речи. Все понимали, что разрешить конфликт силой оружия невозможно, однако бои продолжались, причем они шли в районе, который, согласно одному из шестидесяти одобренных пунктов, должен был стать нейтральной зоной.

Шли бои и в Индокитае. «Холодная война» не затихала. Некоторые американские сенаторы называли операции в Корее «началом третьей мировой войны», говорили, что эта война будет длительной и должна кончиться «полным уничтожением коммунизма». Во Франции то и дело менялись правительства, вспыхивали забастовки, арестовывали коммунистов и профсоюзников. В Греции продолжались расправы. Я долго глядел на фотографию казненного Белоянниса; он держал в руке гвоздику и улыбался.

Год казался тихим и душным. Многие события последующих лет медленно созревали, но даже завзятые оптимисты предпочитали помалкивать.

Я был занят подготовкой Конгресса народов; дважды побывал в странах Скандинавии, ездил в Берлин, просидел несколько недель в Вене.

Жолио-Кюри и другие руководители движения хотели, чтобы Конгресс народов был шире и представительнее конгрессов сторонников мира. В письме к итальянскому либералу Нитти Жолио дал гарантии, что участники конгресса смогут свободно изложить свою точку зрения. Недоверие все же помешало многим колебавшимся приехать в Вену. Но если вспомнить обстановку конца 1952 года, то можно сказать, что конгресс удался. На нем выступили бывший канцлер Вирт, депутат католической партии Италии Терранова, итальянский депутат-республиканец Нитти, приверженцы Варгаса в Бразилии и Перона в Аргентине, члены индийской партии Конгресса, представитель партии большинства иранского парламента, некоторые английские тред-юнионисты, националисты из Марокко, тунисские друзья Бургибы, писатель Сартр, наблюдатель от организации сторонников «всемирного правительства» и пацифисты различных толков.

В отличие от Парижского и Варшавского конгрессов, ораторов, критиковавших политику Советского Союза, выслушали спокойно, многие даже аплодировали; в некоторых из таких речей говорилось о чрезмерно воинственном тоне Вышинского, об отказе от поисков компромисса, о подтексте пражского процесса. Мне запомнились выступления Элин Аппель, итальянской католички Пьяджио и шведского писателя Бломберга.

Конечно, как и в Варшаве, приветствуя некоторых ораторов, все вставали, на заключительном заседании пели, махали платочками и закрыли конгресс в три часа утра. Все же атмосфера была более деловой да и более миролюбивой, чем на Варшавском конгрессе. Вступительную речь произнес Жолио, он как бы дал тон ораторам. Впервые много говорилось о мирном сосуществовании, о культурных связях. Фадеев болел, и советской делегацией руководил Корнейчук, а он умеет улыбкой, дружеским словом, благожелательностью позолотить любую пилюлю (а наши пилюли подчас были очень горькими).

В тексте обращения к народам не было резких обвинений; он заключал требование немедленного прекращения военных действий,

признания за всеми народами права на независимость, необходимость всеобщего разоружения - словом, напоминал некоторые резолюции, единогласно одобренные Ассамблеей Объединенных Наций семь или восемь лет спустя.

После окончания конгресса был устроен ужин в большом зале, где смогли уместиться две тысячи человек. Было мало речей и много австрийского вина, легкого, но коварного. Все развеселились. Под утро кто-то прочитал, вернее, прокричал, только что полученный из Москвы список новых лауреатов премии «За укрепление мирах: «Ив Фарж, Китчлу, Поль Робсон...» Я аплодировал и вдруг услышал: «Илья Эренбург». Я, скорее, растерялся, чем обрадовался. Никогда мы не присуждали премий нашим. Да и почему мне, а не Фадееву или Корнейчуку?... Ко мне подходили, чокались, обнимали. Серен и сказал мне на ухо: «Хорошо, что он вам дал премию. Именно сейчас...» Я спросил, что значат его слова, но он не ответил.

Два дня спустя мы поехали поездом в Москву. Один вагон отвели Сун Цинлин и китайским делегатам, в двух других разместилась советская делегация и наши гости - Китчлу, Амаду, Эндикотт, Саломеа. Поезда в то время шли медленно. Выехав утром, мы только под вечер добрались до Будапешта. Денег у нас не было, а на дорогу нам ничего не дали, кроме цветов. Корнейчук, сидевший в соседнем купе, то говорил, что готов съесть своего соседа, то мечтал, как нас накормят в Будапеште, где поезд должен был простоять два часа. На вокзальном перроне мы увидели Ракоши и других важных товарищей, нас повели в правительственный зал. Корнейчук шептал: «Сейчас дадут гуляш...» Однако нам дали черный кофе и печенье. Корнейчук помялся, потом сказал: «Мы весь день ничего не ели»... Венгры засуетились: ресторана на вокзале не оказалось, полчаса спустя принесли сосиски, очень вкусные, но очень маленькие. Поели мы на следующее утро - на советской границе, где простояли часов пять. Два дня спустя я приехал в Москву. В дороге я несколько раз пытался расшифровать слова Серени,- может быть, он знает что-то?... Но чем больше я думал, тем меньше понимал и только нервно позевывал.

Пять дней спустя мы встречали Новый год с Ириной, Лидиными, Савичами. Я успел повидать некоторых друзей, спрашивал, какие новости. Рассказывали пустяки. На сердце у меня было смутно, я сам не знал почему.

Тринадцатого января газеты привезли в полдень. Я нехотя развернул «Правду». «К новому подъему нефтяной промышленности». «Упадок внешней торговли Франции». Вдруг на последней странице я увидел: «Арест группы врачей-вредителей». ТАСС сообщал, что арестована группа врачей, которые повинны в смерти Жданова и Щербакова, Они сознались, что собирались убить маршалов Василевского, Говорова, Конева и других. В газете было сказано, что большинство арестованных - агенты «международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», которые получали указания через врача Шимелиовича и «еврейского буржуазного националиста Михоэлса». В списке арестованных были известные медики - трое русских, шесть евреев.

Я поехал в Москву, пытался узнать, что приключилось. Одни говорили, что врачей начали арестовывать два месяца назад; другие, напротив, рассказывали, что был консилиум, пригласили врачей, лечивших Сталина, и потом арестовали. Все повторяли, что в больницах ад, многие больные смотрят на врачей, как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства. Агроном, тот, что беседовал с Сартром, проводил отпуск в Ялте. Он приехал до срока, рассказал мне, что его жена перепугалась: «Сегодня же уедем из санатория - нас здесь отравят»... Женщина-врач говорила: «Вчера пришлось весь день глотать пилюли, порошки, десять лекарств от десяти болезней - больные боялись, что я «заговорщица»...» На Тишинском рынке подвыпивший горлодер кричал: «Евреи хотели отравить Сталина!...»

Я говорил, что наш народ духовно вырос; но и мыслящий тростник порой перестает мыслить; можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу. Я никак не хочу всем приписывать того страха, о котором говорил. Последний холерный бунт был в 1893 году. Да и погромы исчезли с концом гражданской войны. Но если забраться в душевные дебри многих вполне разумных людей, то можно найти смутное недоверие, подозрительность. Конечно, такие не станут прислушиваться к разговорам молочниц на рынке. Однако о врачах-убийцах сообщили следственные органы. Вспомнили процесс в 1938-м; тогда выяснилось, что врачи убили Горького. Теперь они стали еще хитрее - ставят неправильный диагноз и лечением доводят больного до смерти. Я часто замечал у людей

вместе с преклонением перед медициной страх перед медиками - перед тем врачом, который их лечит: может ошибиться, недосмотреть... Если его завербовали враги, может убить и безнаказанно. А евреи?... Конечно, антисемитизм - предрассудок. «Глупо все валить на евреев. У нас работает Коган, хороший человек. Но ничего не скажешь - это не наши люди, у многих родственники в Америке. Дай живут они иначе, один тянется к другому, встретит, и о чем-то шепчутся...» Сообщение взывало к темному миру, я сказал бы, к подсознательному, если б это слово с легкой руки критиков не стало у нас признаком идеалистической философии.

Кто-то прибежал и тихо сказал мне: «Говорят, что Сталин болен. Ужас!...» Слух оказался вздорным: два дня спустя Сталин принял Сун Цинлин и Го Можо. Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии - церемония была назначена на 27 января: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках...» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать...»

Двадцать первого января, в день годовщины смерти В. И. Ленина, под его портретом в газетах был кощунственно опубликован указ о награждении орденом Ленина женщины-врача «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

На вручении мне премии выступали с приветственными речами Тихонов, Сурков, Арагон, Анна Зегерс, колумбийский писатель Саломеа. Потом полагалось выступить мне. Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира». Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремли я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды - про мужество многих и многих...» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной - к словам о

преследовании вставили «силы реакции»: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.

Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая «убийц в белых халатах». Во многих письмах говорилось: «русская женщина», «русская душа».

Однако самые неистовые толкования я прочитал во французской газете «Се суар», которую долго редактировал Жан-Ришар Блок. Эти статьи принадлежали перу видного журналиста Пьера Эрве, бывшего тогда коммунистом. Я понимаю, что французский коммунист мог поверить органам советского следствия и защищать их от политических врагов. Однако Эрве превзошел все и всех: его статьи напоминали фальшивку, изготовленную в годы второй империи, «Протоколы сионских мудрецов»; он доказывал, что козни «Джойнта» и арестованных врачей не локальное явление, а результат давнего заговора. Даже в те дни эти статьи меня удивили. А говорю я о них потому, что два года спустя, когда законность в нашей стране была восстановлена, Эрве порвал с коммунистической партией, выпустил книжку и даже прислал ее мне с трогательной надписью. В книжке среди прочего Эрве возмущался «делом врачей», не упоминая о своем личном вкладе.

Скажу откровенно, я предпочитаю горлодера с Тишинского рынка такому моралисту.

В «Правде» появилась резкая статья о романе Гроссмана. Тотчас и другие газеты обрушились на роман. Один сотрудник «Правды» рассказал мне, что статья напечатана по указанию Сталина. Не знаю, так ли это, но в те дни она выходила из рамок литературной критики.

События должны были развернуться дальше. Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось и Сталин не успел сделать того, что хотел. Конечно, эта история - глава моей биографии, но я считаю, что не настало время об этом говорить...

Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел - переводил Вийона. Вдруг

пришел сторож Иван Иванович: «По радио, значит, передавали, что Сталин заболел, паралич, положение тяжелое...»

Помню, как ехал в Москву. Было много снега. В сугробах тонули детишки. В голове вертелись слова: «Товарищ Сталин потерял сознание». Я хотел задуматься: что теперь будет со всеми нами? Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники: оцепенение

«В девять часов пятьдесят минут вечера...»

Медицинское заключение говорило о лейкоцитах, о коллапсе, о мерцательной аритмии. А мы давно забыли, что Сталин - человек. Он превратился во всемогущего и таинственного бога. И вот бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным.

Дом, в котором я живу, находится в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того чтобы пройти на одну из этих улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь, и, если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через пятьдесят шагов меня останавливали, и все начиналось сначала.

Траурный митинг писателей состоялся в Театре киноактера на улице Воровского. Все были подавлены, растеряны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверно, то, что и другие: «выиграл войну... отстаивал мир... ушел... скорбим... клянемся...»

На следующий день нас повезли в Колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал набальзамированный, торжественный- без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями.

Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. Рассказывали о задавленных на Трубной площади. Привезли отряды милиции из Ленинграда. Не думаю, чтобы история знала такие похороны.

Мне не было жалко бога, который скончался от инсульта в возрасте семидесяти трех лет, как будто он не бог, а обыкновенный смертный; но я испытывал страх: что теперь будет?... Я боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранить ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки; я

связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось «мудростью гениального вождя».

Я никогда не разговаривал со Сталиным (кроме телефонного разговора накануне войны, о котором писал). Я видел его издали на торжественных заседаниях, приемах или на сессиях Верховного Совета. Однажды я оказался рядом с ним, случилось это на приеме, когда в Москву приехал Мао Цзэдун. Меня удивило, что при входе контроль был строжайшим, как будто это не ресторан «Метрополь», а Кремль. Войдя в зал, я увидел, что народу очень много, и не стал пробиваться вперед. Зал оживленно гудел. Вдруг наступила тишина. Оглянувшись, я увидел Сталина. Он был не таким, как на портретах, старый человек небольшого роста с лицом как бы исколотым годами; низкий лоб, живые, острые глаза. Он с любопытством разглядывал зал, где, наверно, не был четверть века. Потом началась овация, и Сталина увели налево, где находились китайцы. Все произошло настолько быстро, что мне не удалось как следует его разглядеть.

Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как и все, называл его «хозяином». Древние евреи тоже не произносили имени бога. Вряд ли они любили Иегову: он был не только всемогущ, он был безжалостен и несправедлив, он наслал на праведного Иова все беды, убил его жену, детей, поразил его самого проказой, и все это только для того, чтобы показать, как заживо гниющий, брошенный всеми невинный человек будет на пепелище прославлять мудрость Иеговы. Бог бился об заклад с сатаной, и бог выиграл. Проиграл Иов.

В четвертой части этой книги я обещал читателям вернуться к Сталину, попытаться подвести итоги и найти причины наших заблуждений. Как многие поступки в моей жизни, это обещание было легкомысленным. Я не раз садился за эту главу, черкал, рвал написанное и наконец понял, что не смогу выполнить обещанное: конечно, теперь я знаю куда больше, чем в марте 1953 года, но я вижу, что знаю слишком мало для итогов и выводов, да и то, что мне известно, и зачастую не понимаю. Я не могу дать портрет Сталина - я его лично не знал; видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Напрасно я обещал выйти из рамок воспоминаний, заняться историей или философией. Ограничусь тем, что поделюсь с читателями своими

мыслями и чувствами в марте 1953 года, а если и выскажу некоторые размышления, то они будут связаны с характером работы писателя, которого больше всего волнуют судьбы человеческого сознания и совести.

Обожествление Сталина не произошло внезапно, оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал: по его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль, не соответствующую действительности; художники писали огромные полотна, посвященные канунам революции, Октябрю, первым годам Советской республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным; в газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина «гениальным» и «мудрейшим» предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смутили в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я - интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать.

Святой Петр для католиков - камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая, для меня он - герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в римском соборе, я забыл про все легенды: я глядел на ногу Петра - от поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительна. Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал «Хулио Хуренито», в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал:

Вера - очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я - человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ

Мертвого будит пера.
Я - человек, не труп.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел - билась земля,
Видел я небо в пепле,

Вере не верю я.

Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть, они называли свою часть «Батальоном Сталина». В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину, за Сталина!». Сколько писем итальянских и французских героев Сопротивления, написанных перед казнью, кончались словами: «Да здравствует Сталин!» К семидесятилетию Сталина одна французенка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в частности которых трудно усомниться,- Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал,- прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством.

Шла борьба, и места «над схваткой» не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком; говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форрестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе.

В тридцатые годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено: фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили «невмешательство», и только горсточка советских военных сражалась на стороне республиканцев. Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию: Чемберлен и Даладье надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась «странная война», правители Франции воевали не столько против рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной Армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что «красные» ослабят рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит «красных». Не успела кончиться вторая мировая война, как начали поговаривать о третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина.

Я не сразу разгадал роль «мудрейшего». Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие, я пытался обелить перед собой Сталина, приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, нравам.

Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о «головокружении от успехов», и о том, что «сын не отвечает за отца». После разгула «ежовщины» он публично сокрушался: в таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. Десять лет спустя, в разгар кампании против «космополитов», он осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. М. С. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаренце, говорил, что его не нужно трогать, а несколько месяцев спустя Чаренца арестовали и убили.

Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал: «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Роллан после встречи со Сталиным говорил: «Он удивительно человечен!...» Фейхтвангер считал себя скептиком, стреляным воробьем. Сталин, наверно, про себя посмеивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стреляный воробей поверил...

Суриц, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлер был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны - об этом мне говорили и военные и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных «врагов народа», почему-то поверил в подпись Риббентропа. Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся - не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову; потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в «братьев и сестер» бога. Однако он быстро собрался с духом, поразил Гопкинса своим

спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени - в газетах редко встречалось его имя. Культ был восстановлен сразу же после разгрома немцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе «гениального стратега».

Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел многое узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович предатели. С. М. Эйзенштейн рассказывал о своей встрече со Сталиным, который, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил: «Петруха недорубил...» Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра, я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина.

Меня упрекали за то, что и будто бы проповедовал «культ молчания», ставили мне в пример Льва Толстого, осудившего в статье, озаглавленной «Не могу молчать», царское правительство, которое вешало революционеров. Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью, и, рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признался, как трудно нам было порой молчать.

Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делалось в домах и в умах. Я пытался утешить себя: Сталин о многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молоденькой Наташе Столяровой, жене художника Шухаева, или о Семене Ляндресе,- если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве.

Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь «Последние новости» или «Тан» охотно опубликовали бы такую статью, даме если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранил зло, но он и не думал о защите царской России,- напротив, он хотел обличить ее злодеяния перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием, и в книге о прожигой жизни я не мог об этом умолчать.

Один из участников французского Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, в котором он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал товарищей, жег крестьянские дома, подозревал всех в измене или малодушии. «Я не мог об этом рассказать никому,- говорил он,- это значило бы нанести удар всему Сопротивлению, петеновцы за это ухватились бы...»

Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах. Да о чем тут говорить: пресечь преступлен им не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные. 30 июня 1956 гола было опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»; в нем были такие строки: «...Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же после смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями. Может возникнуть вопрос: почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? В сложившихся условиях этого нельзя было сделать». Далее документ говорит, что «Сталин повинен во многих беззакониях», но его авторитет был таков, что «всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества».

Вероятно, Сталин до конца своей жизни считал себя коммунистом, учеником и продолжателем Ленина, не только говорил, но и думал, что ведет народ к высокой цели и что для этого не нужно брезговать никакими средствами. Я но случайно вспомнил времена итальянского Возрождения. Макиавелли писал, что для создания сильного государства любые средства хороши - яд, доносы, убийства

из-за угла; он предлагал правителю сочетать в себе храбрость льва с хитростью лисицы, быть мудрым, как человек, и хищным, как зверь. Для Медичи или Борджии такие советы были, наверно, полезны, но для коммуниста они неприемлемы.

Старый спор о том, оправдывает ли цель средства, мне кажется абстрактным. Цель не указатель на дороге, а нечто вполне реальное, это действительность, не картины завтрашнего дня, а поступки сегодняшнего; цель предопределяет не только политическую стратегию, но и мораль. Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия, нельзя бороться за равенство, превратив народ в «колесики и винтики», а себя в мифическое божество. Средства всегда отражаются на цели, возвышают или деформируют ее. Мне кажется, что после XX и XXII съездов это стало ясным всем, кроме разве некоторых зарубежных догматиков, которые, говоря о чистоте своих риз, рядом с именем Ленина кощунственно ставят имя Сталина.

Как миллионы моих соотечественников, прочитав доклад Н. С. Хрущева на XX съезде, я почувствовал, что с моего сердца сняли камень. Хотя методы Сталина были оставлены сразу же после его смерти, наш народ, да и все человечество должны были узнать горькую правду - того требовали и разум и совесть. Мы узнали о заблуждениях прошлого. В этом прошлом много подвигов и побед советского народа, но, говоря о них, может быть, правильнее сказать не «благодари Сталину», а «несмотря на Сталина» - уж слишком часто он направлял свой государственный ум, свою редкостную волю на дела, которые противоречили тем идеям, на которые он ссылается, ранили совесть любого честного человека.

Вернусь к мартовским дням. На Мавзолее Ленина ночью приписали имя Сталина. На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил о бдительности «в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами», а Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам «охранять их права, записанные в Сталинской Конституции».

На следующий день Москва вернулась к обычной жизни. Я видел, как дворники усердно подметали улицу Горького, как шли люди на работу, как выгружали во дворе ящики, как мальчишки озорничали.

Все было знакомым, и я говорил себе: как неделю назад... Вот это и было неправдоподобным: Сталин умер, а жизнь продолжается.

Днем я дошел до Красной площади. Она была завалена венками; люди стояли, пытались прочесть надписи на лептах, потом молча уходили.

Я поехал с Фадеевым в «Советскую» гостиницу - там остановились друзья из Всемирного Совета, приехавшие на похороны. Глаза у Фаржа были печальные, но он сразу стал пас приободрять, говорил: «Все образуется», - таков был его характер: он должен был утешать других. Пенни меня обнял и в тревоге спросил: «Что же теперь будет? Это ужасно!...» В его глазах были слезы. Я сам не знал, что будет дальше, но пример Фаржа оказался заразительным, и я ответил: «Через неделю мы увидимся в Вене. Не нужно отчаиваться - все образуется...»

Я шел по улице Горького. Было холодно: зимний вечер. Вдруг я остановился - простая мысль пришла в голову: не знаю, будет хуже или лучше, но будет другое...

Венский конгресс выбрал комиссию, которая должна была передать пяти великим державам предложение вступить в переговоры о Пакте мира. В комиссию вошли Жолио-Кюри, Фарж, Пенни, Изабелла Блюм, японский сенатор Горо Хани, бразильский генерал Буксман, Тихонов, другие; включили и меня. Заседание комиссии было назначено на 16 марта.

Заседали мы два дня, решили отправить текст всем правительствам мира и приняли обращение к общественному мнению. Работали мы в павильоне парка, который сдавался для различных торжеств. Во время перерывов друзья уводили меня по дорожке куда-нибудь подальше и спрашивали: «Как у вас?…» Всех волновало, что будет теперь, когда нет Сталина. С Альп порой дул ледяной ветер, но кое-где уже зацветали подснежники и лиловые крокусы. Прошло десять дней, я успел о многом подумать и понял, что хуже, чем было, не будет, может быть, станет лучше. Из Москвы я уехал накануне сессии Верховного Совета, но в посольстве мне дали короткую речь Маленкова, я ее переводил друзьям; в речи не было ничего нового, однако я всех обнадеживал и хоть раз в жизни оказался хорошим пророком.

Самолет вылетал из Праги 20 марта, и мы вместе с Фаржами должны были добраться 19-го до Праги. Посол мне сказал, что даст машину до границы, а в другой поедет охрана: «Фаржу должны вручить Сталинскую премию, мы не можем его отпустить без охраны…» Мне сказали, что чешская машина будет нас ждать на границе. Рано утром мы двинулись в путь. Увидав машину с военными, Фарж удивился. «Ничего не поделаешь - вы теперь лауреат Сталинской премии.» Он засмеялся: «Но я не диктатор Никарагуа или Гондураса…»

Военная машина неслась впереди. Меня тревожило, что я не узнавал хорошо мне знакомого пейзажа. Я сказал водителю, чтобы он остановился, очевидно, мы поехали не по той дороге. Водитель гудел, но военная машина не останавливалась. Шофер меня успокаивал: «Как-нибудь доедем…» Конечно, мы доехали, но не к тому

пограничному пункту, где нас ожидала чешская машина. Советские товарищи сказали, что они спешат в Вену, и укатили. А мы остались в домике чешских пограничников, которые громко вздыхали. У них есть автомобиль, говорили они, но сегодня похороны Готвальда, и начальник уехал в Прагу. Я умолял достать машину. Пограничники куда-то звонили и продолжали вздыхать.

Часа два спустя приковыляла престарелая малолитражка, которая с великим трудом довезла нас до города Чешске Будейовице. Мы трижды меняли машины и наконец добрались до Праги. Во всех городах и селах у зажженных огней стояли в почетном карауле солдаты и местные жители. В Праге мы миновали южные кварталы, потом пошли пешком. Нас провели к Национальному музею. Похоронное шествие еще продолжалось. Вацлавская площадь была заполнена людьми. Все было, как в Москве,- саркофаг, венки. Булганин в мундире. Чжоу Эньлай, артиллерийские залпы. Люди стояли молча. Не было ни давки, ни плача.

Шесть дней спустя Иву Фаржу вручили в Кремле премию. Церемония успела сложиться, и речи присутствующих напоминали те, что я слышал не раз. В очень коротком приветствии я сказал о большом сердце Фаржа. Он меня обнял и шепнул: «Спасибо за Прованс»... (Он родился, учился, провел молодость в Провансе, там у него был домик «Ле Туретт».)

На следующий день Ив и его жена Фаржетт приехали к нам в Ново-Иерусалим. Они уже знали наш дом, но впервые увидели его в зимнее время: Фарж восхищался снегом, голубыми елями и пельменями с уксусом. Он был веселый, счастливый. Увидев краски и кисти Любы, попросил холст, засучил рукава и начал писать портрет. На следующий день они должны были вылететь в Тбилиси. Я ему рассказывал про древнюю архитектуру, про картины Пиросманашвили, про грузинские вина. Он радовался: «Отдохнем - год был нелегким...»

Это было в пятницу, а в понедельник утром мне позвонили из Москвы: «Высылаем машину - с Фаржем несчастье...» Я вошел в кабинет Григорьяна и увидел Фадеева; обычно он сидел выпрямившись, а теперь сгорбился. Григорьян сказал: «Пишите некролог». Зазвонил телефон, он взял трубку: «Еще жив?... Хорошо... Понятно...» Он снова повернулся к нам: «Пишите некролог». Я

возмутился: «О живом?...» Фадеев увел меня в соседнюю комнату, рассказал, что Фаржа повезли в Гори, устроили пышный ужин с тостами, а когда машина возвращалась в Тбилиси, она врезалась в грузовик, стоявший на дороге. Фарж сидел рядом с шофером, у него разбит череп. Другие невредимы, только жене Фаржа осколки чуть поранили лицо. «Нужно писать, Илья Григорьевич. Я вас понимаю, но что вы хотите от такого человека? Он перепуган - ему может влететь...» Я не ответил: думал о Фарже. Замолк и Александр Александрович. Часа два спустя кто-то вошел в комнату и тихо сказал: «Скончался...»

Помню страшное утро на Центральном аэродроме. Было холодно. Едва светало. В сером неровном свете я видел гроб, венки, глаза Фаржетт. Говорили речи: Лоран Казанова, Скобельцын, Тихонов. Когда настал мой черед, я с трудом выговорил несколько фраз: меня душили слезы. Вдруг я увидел в оконце машины Григорьяна; он, видимо, издали наблюдал за порядком. Он ступал, подняв воротник пальто - наверно, все еще боялся ответственности, маленький, черненький, но важный, похожий на сановного пигмея.

Фаржу было всего пятьдесят два года, но не в этом дело. Да и не в том, что без него наше движение как-то сразу стало суше.

Никогда не принимаешь смерть друга. Дело даже не в этом. Дружба наша была короткой. Я познакомился с ним ранней весной 1936 года в Гренобле. Мне говорили шахтеры Мюра: «Фарж напишет в газете...» Студенты повторяли: «Фарж-художник... Фарж-писатель...» Товарищ, который возил меня в Мюр, советовал: «Обязательно поговорите с Фаржем, таких, как он, мало...» Беседа не вышла; он все время зажигал гаснущую трубку, спрашивал, а я торопился: скоро поезд. Мы снова встретились летом 1946 года. Он с возмущением говорил о продажности, о нищете, о спекуляции его тогда назначили министром продовольствия, и он негодовал: «Люди гибли в маки, в гестапо, и это для того, чтобы создать республику черного рынка и сделать Гуэна президентом!...» Я понял, что он смелый человек, но разговор был коротким. Два года спустя я увидел его на Вроцлаве ком конгрессе. Мне понравилось его выступление: он говорил не так, как другие. Мы побеседовали, согласились друг с другом и ушли - каждый в свои житейские дебри. Только летом 1950 года в Праге, где мы готовили конгресс, мы провели Вместе несколько

дней, ходили в музей, вспоминали различные книги, рассказали один другому многое из того, что держишь про запас, а порой уносишь в могилу,- словом, подружились. И вот весной 1953 года Фарж бессмысленно погиб. Но и не в этом дело.

Дело в том, что в мире, где я встречал людей гениальных и бездарных, ярких и бледных, Фарж мне казался необычным. Киплинг говорил о коте, который ходит сам по себе. Я знал немало людей, жаждавших стать именно такими -независимыми, оригинальными котами. А Фарж, наоборот, хотел быть как все. Еще до войны он написал книгу о Джотто, в ней он говорил, что великий живописец XIV века считал себя не гением, а рядовым мастером, и выразил при этом мысли, чувства всех своих современников. Фарж говорил, что его дом - улица в любой стране, в любом городе, в любой деревне. У него было множество друзей. И вот при всем этом он был уникальным - котом, который действительно ходил сам по себе. В 1950 году, когда люди повсюду были выстроены - взводы, полки, армии, когда специализации стала законом - рабочий повторял годами один и тот же жест, ученый ничего не знал, кроме своей узкой области, когда любое слово воспринималось одними как закон, другими как ересь, когда даже завзятый оригинал боялся не попасть в тон моде,- Ив Фарж не входил ни в какую партию, подчас критиковал своих друзей и защищал своих противников, дружил с сотнями людей, различных по своему положению, враждовавших между собой, жил интересами и чаяниями всех, сохраняя при этом свой облик, делая то, что ему казалось правильным, увлекаясь тем, что его увлекало. Серьезные люди, слыша о нем, пожимали плечами, но, встретив его, пробыв с ним несколько часов, неожиданно для самих себя говорили: «Вот это человек!»...

Чего только он не делал! Еще школьником он увлекался живописью. У него было двадцать профессий. В Марокко он, служащий коммерческой фирмы, устраивал выставки своих холстов. Его судили: он организовал демонстрацию, когда казнили Сакко и Ванцетти. Он писал статьи против колониализма. Фаржетт мне рассказывала, как он написал портрет одного берберя, и тот, желая отблагодарить художника, застрелил орла, вынул еще горячее сердце и заставил Ива и Фаржетт съесть его сырым. Он вернулся во Францию, писал статьи для журнала Барбюса, потом уехал в Гренобль, стал

сотрудником провинциальной газеты, писал рассказы, восхищался выступлениями Литвинова, перебрался в Лион, заботился об испанских детях, выступал на социалистических конгрессах (тогда он еще был социалистом), требовал борьбы против фашизма и продолжал заниматься живописью.

Когда немцы оккупировали Францию, он один из первых стал организовывать Сопротивление. Итальянцы разыскивали «террориста Бонавантура» - Фарж сбрил усы, лохматые брови и обзавелся другим именем. Фаржетт арестовали, он делал все, что мог, чтобы ее спасти, и одновременно организовывал маки в горах Веркора, переправлял туда людей, оружие. Его разыскивало гестапо. Он работал с коммунистами и с голлистами, с Пьером Вийоном и с Омоном, с Бидо и с Ролем. Родился Национальный фронт, и Грегуар, заменивший Бонавантура, ездил из южной зоны в Париж, возвращался в Лион. Ранней весной сорок четвертого года Дебре передал Фаржу указ, которым он назначался комиссаром республики в районе Рона-Альпы. Он остался на своем посту и после освобождения Лиона, первое обращение к гражданам комиссара республики подписано: «Ив Фарж (Грегуар)».

Фарж мне рассказал, как в освобожденный Лион прилетел генерал де Голль: «Я ему сказал, что ужинать он будет с участниками Сопротивления. Он меня прервал: «Где местные власти?» Я ответил: «В тюрьме». Это ему, видимо, не понравилось...- Помолчав, он добавил: - А мне не понравился его тон...»

Год спустя Фарж попросил освободить его от обязанностей комиссара: война кончилась, а работа администратора была ему не по душе. Било отправил его в Бикини - представлять Францию на нервном испытании атомной бомбы. Фарж поехал и возмутился. В Америку пришла телеграмма из Парижа: Фаржу предлагают стать министром продовольствия. Разоренная Франция жила впроголодь. Фарж объявил войну черному рынку. Он явился на заседание национальной ассамблеи, и депутаты слышали нечто невероятное: Ив Фарж, министр продовольствия, обвинил вице-преьера Гуэна в том, что тот покровительствует крупным спекулянтам. На своем посту Фарж пробыл недолго. Он написал книгу «Хлеб коррупции». Гуэи возбудил судебное дело против бывшего министра. Одновременно один из парижских театров поставил пьесу Фаржа. Он продолжал писать пейзажи, организовал общество «Защитники свободы» - черновик

Движения сторонников мира. Вместе с Элюаром он отправился в Грецию. Писал рассказы. Выступал на собраниях, посвященных защите мира. В книге «Кровь коррупции» разоблачил организаторов войны в Индокитае. Поехал с Клодом Руа в Корею. С Жолио он познакомился еще в 1936 году в Гренобле, и они хорошо понимали друг друга. Фарж стал душой Всемирного Совета Мира.

Такой послушной список или, если угодно, такую трудовую книжку увидишь не часто. Но дело, пожалуй, не в этом, да и не в изумительной бескорыстности, которой отличался Фарж: ему были безразличны и титулы, и деньги, и слава. Дело в другом: у кота, который ходил сам по себе, были свои понятия о том, чем ему стоит заниматься и чем не стоит. В отличие от многих людей, с которыми меня сводила жизнь, Фарж не знал, что такое иерархия горя. В годы Соппротивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей, и когда ему говорили, что нужно быть осмотрительнее, что ему доверены важные задания, он отвечал: «А для меня это важно...» После освобождения он спас жизнь многих стрелочников Виши, хотя знал, что этим восстанавливает против себя некоторых товарищей; он говорил: «Правительство покрывает знатных мерзавцев и хочет отыгаться на судьбе ничтожных людишек». Рассказывая об этом, он говорил: «Тащили девушку, о которой говорили, что она спала с немецким солдатом, обрили ей голову, хотели раздеть. Я прибежал вовремя... Потом меня наставляли: «Конечно, вы правы, но это мелкое происшествие, а вы - комиссар республики...» У них все по графам. Вот если бы я вздумал отстаивать Петена - это показалось бы соответствующим моему положению...»

Я был переводчиком при одном тяжелом разговоре Фаржа с Фадеевым: Ив возмущался - на заседании бюро публично оскорбляли секретаря Совета Мира Дарра. (Я рассказывал, что американского пастора заподозрили в шпионаже, слухи пошли из Китая и дошли до Сталина.) Фарж говорил: «Я уйду из движения. Если у вас есть факты, расскажите мне. Но нельзя говорить о защите гуманизма и одновременно обижать ничего не понимающего человека...» Потом я сказал Фаржу: «Напрасно вы накинулись на Фадеева...» Он не дал мне договорить: «Вы думаете, что я этого не понимаю? Я

поддерживаю мирные предложения Сталина - я с ними согласен. Я возражаю на антисоветские статьи о вашей внутренней политике,- я не знаю, что у вас делается, но я знаю авторов статей - это растленные перья. Но с Дар-ром дело другое - я его знаю, и пока не докажут, что он в чем-либо виноват, я буду его защищать...»

Да, второго такого кота я не встречал.

Была в нем еще черта, которая меня всегда восхищала. Мы часто проводили вечера в Праге, и вот раз он мне начал рассказывать о Распае. Моя ранняя молодость прошла на бульваре Распай, но я не знал в точности, кем он был,- Герцен о нем упоминал как об одном из революционеров сорок восьмого года, а кто-то мне сказал, что Распай был ученым, химиком. Фарж обожал Прованс и знал историю множества провансальцев. Он начал мне рассказывать о Распае, который родился в городке Карпентрас. Ему было восемнадцать лет, когда его приговорили к смерти,- это были месяцы белого террора. Ему удалось скрыться. Он работал как ученый - без лаборатории, без инструментов; он открыл роль сахара в организме за сорок лет до Клода Бернара, значение микробов задолго до Пастера, но никто не хотел слушать о его открытиях: он слыл чудачком. В 1830 году он сражался на баррикадах за свободу. Новый король предложил ему службу. Распай отказался. Тогда король приказал его арестовать. В тюрьме он работал над книгой о химии. В мае 1848 года он вел рабочих, которые ворвались в зал, где заседало Учредительное собрание. Рабочие требовали права на труд. Распая приговорили к шести годам тюремного заключения. Он работал в тюрьме над книгой о биологии. Когда он вышел на свободу, ему пришлось эмигрировать в Бельгию. Он вернулся во Францию накануне франко-прусской войны, ткачи Лиона его выбрали в парламент. В 1874 году ему был восемьдесят один год, и его присудили к двум годам заключения за прославление Парижской коммуны. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет. Фарж мне рассказывал о нем с восхищением,- наверно, он чувствовал свое душевное родство с вечным мятежником, с социалистом утопического толка, с ученым, открытия которого проходили бесследно. Он повторял: «Это душевная щедрость Прованса!..»

Позднее, уже после смерти Фаржа, я нашел у Ламартина, который был умеренным либералом и противником Распая, такие

слова о нем: «Он заражал народ своим фанатизмом надежды, не примешивая к нему ненависти»... Вот почему я вспомнил сейчас рассказ Фаржа о Распае. Фанатизм Фаржу был чужд, но в одном его можно было назвать фанатиком - в надежде. Как бы ни была горька действительность, Фарж всегда надеялся, что правда восторжествует, и своей надеждой заражал других.

Шестого февраля 1934 года фашисты в Париже вышли на улицы. 9 февраля Фарж создал в Гренобле Комитет бдительности - с ним были два его друга. Трое... Комитет призвал жителей Гренобля прийти на демонстрацию. 11 февраля тридцать тысяч гренобльцев вышли защищать республику. В 1948 году Фарж пригласил бывших участников Сопротивления собраться и создать организацию, способную отстоять свободу и мир. Пришло очень мало людей. Фарж говорил, что у них нет денег на газету, даже на листовки, каждый должен говорить всюду, где может, и Фарж вложил столько надежды в свои слова, что вскоре маленькая группа людей превратилась в мощную силу - французских сторонников мира.

Говорят, что заразительны суеверия, страх, недоверие, злоба; это правда; но надежда тоже может стать заразительной. В те годы я не раз бывал подавлен, мрачен, опускались руки, и Фарж неизменно заражал меня своей надеждой. Я говорил, что в Вене обнадеживал других. Может быть, помогли мне не только мои размышления и подснежники, но также близость Фаржа, его слова, улыбка. Он был слишком добрым, чистым, душевно веселым, чтобы допустить победу низости и ала.

Даже в политических выступлениях он говорил не на газетном языке, а на человеческом. Это нравилось обыкновенным людям и зачастую сердило профессиональных политиков. Помню, в Праге летом 1951 года мы обсуждали, каким должно быть короткое воззвание в поддержку Конгресса народов. Предлагались фразы, тысячи раз встречавшиеся во всех газетах мира. Фарж вынул изо рта трубку и ошарашил всех: «Нужно начать с самого простого: «Так дальше не может продолжаться...» Некоторые запротестовали: «Мы обращаемся к взрослым, а не к детям...» После долгих споров приняли текст Фаржа, и обращение, расклеенное на стенах различных городов, останавливало прохожих, заставляло их задуматься.

Поразительно, что его любили самые разные люди, даже политические противники: жители городков и деревень в округе Апта (фабрикант охры Шовен не без помощи Фаржа стал сторонником мира), почтальоны, виноделы, учителя, рабочие, лавочники, министры бывшие, настоящие и будущие, художники, захолустные Демосфены и новые Распай, Фадеев и аббат Булье, Элюар и марсельские авантюристы,- у Ива были ключи ко всем сердцам.

Он недаром прозвал свою жену Фаржетт. Когда они поженились, Фаржетт была подростком. Он зарядил ее своей энергией, привил ей свою широту, заразил надеждой. Когда оккупанты посадили Фаржетт в тюрьму. Ив ей писал: «Я убежден, что мы сильны, потому что даже в разлуке опираемся друг на друга... Ни в коем случае не нужно отчаиваться, ничего еще не потеряно. И потом, то, что осталось, то, что останется навсегда,- это наша гордость: мы знаем, что мы оба выше страха»...

Нельзя сказать, что он любил искусство, как нельзя сказать, что люди любят воздух. Мы в Праге пошли с ним в музей; тогда в фондах, точнее, в подвальном помещении были свалены полотна французских импрессионистов, Сезанна, Боннара, Пикассо и заодно многие картины чешского художника XIX века Пуркине. Мы провели в подвале несколько часов. Когда мы вернулись в гостиницу, Фарж начал говорить о живописи. Он любил пейзажи импрессионистов и одновременно говорил: «Сезанн напомнил о значении формы...» Вдруг другим голосом он сказал: «Обидно!... Я убежден, что, если бы рабочим показать сад Боннара или семейный портрет Пуркине, они не дали бы вернуть их в подвал, абсолютно убежден. Послушайте, Илья, вы увидите, что очень скоро все эти холсты вернутся на свое место...» Так и в Москве перед огромной картиной, где был изображен Сталин в ноле, он сказал мне: «Я держу пари, что через год или два это уберут,- это обидно и для Сталина, и для русского поля, и для искусства...»

После смерти Фаржа я получил из Парижа пакет с семенами, на конверте было написано: «По поручению г. Ива Фаржа». Я посеял их поздно, в апреле, и вот перед самыми осенними заморозками зацвели красные мимюлюсы, звезды гаярдии, голубая ипомея, темная, как запекшаяся кровь, настурция. Они продержались неделю и почернели после морозного рассвета. Я глядел на них, когда писал первые

страницы «Оттепели». Я видел улыбку Фаржа, слышал его слова: «Все образуется...»

Я разговариваю с ним и теперь. Для старости мало одних утешений, да и надежда у человека, которому за семьдесят, уже не на свою удачу, а такая, какая была у Фаржа,- он мне однажды сказал: «При нас или после - в общем, это не так уж существенно...»

Я задумался: что осталось от Фаржа? Он никогда не отдавал достаточно времени ни живописи, ни литературе; его картины не повесят в музеях, его книги не станут переиздавать, историк упомянет о нем мимоходом: в серьезных трудах нет места для котов, которые ходили сами по себе. Через десять или двадцать лет умрут люди, которые с ним работали и сражались. Но, кажется, продление человека в другом - не в имени, а в тех изменениях, которые он произвел. Фарж что-то заронил в миллионы людей. Они могут забыть его имя, но они восприняли его урок, иначе разговаривали со своими детьми, и Фарж, может быть, сделал больше для роста сознания, совести, человечности, чем крупные политические деятели, большие ученые, прославленные художники.

Все это - рассуждения. Лучше закончить рассказ о Фарже скромным личным признанием: он помог мне освободиться от многого дурного, помог надеяться, любить, жить.

Четвертого апреля рано утром меня разбудил телефонный звонок. Савич голосом, который срывался от волнения, сказал: «Возьми «Правду»- сообщение о врачах...» Не знаю, сколько раз я перечитал короткое сообщение, напечатанное на второй странице. Я не знал никого из пятнадцати врачей, о которых шла речь, но я понимал, что случилось нечто необычайное. В сообщении говорилось, что врачей незаконно обвинили, что они ни в чем не повинны и что их признания получены «путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Это было напечатано в «Правде», передавалось по радио, это было сказано прямо, громко на весь мир.

Под сообщением о врачах была помещена статья, посвященная плодовым садам. Час спустя и увидел маленькую заметку под этой статьей: у женщины-врача, которую недавно наградили орденом Ленина за то, что она помогла разоблачить «убийц в белых халатах», орден отобрали.

Еще накануне мы позвали на дачу приехавшего из Киева С. Е. Головановского, обещали заехать за ним в гостиницу. Оказалось, он не видел газеты. Я начал рассказывать; кажется, я знал сообщение наизусть. Он не верил ни мне, ни Любе. Мы увидели наклеенную на стене газету. Головановский попросил: «Остановимся! Я должен сам прочитать...» Читал он долго. Читали и другие прохожие. Я вышел из машины. Пожилой человек громко сказал: «Вот оно как», и улыбнулся.

Два дня спустя в той же «Правде» была напечатана передовая; в ней рассказывалось, что во главе Министерства государственной безопасности стоял Игнатъев, снятый теперь с работы, и что следствием по делу врачей руководил Рюмин, ныне арестованный. «Правда» писала о том, что меня тревожило и раньше: «Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спяянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной

вражды. В этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс». Газета писала: «Только люди, потерявшие советский облик и человеческое достоинство, могли дойти до незаконных арестов советских граждан...» Первой моей мыслью было: удивительно - Берия выдает своих!... Я понял, что история начинает распутывать клубок, где чистое перепутано с нечистым, что дело не ограничится Рюминым. Прошел всего месяц со дня смерти Сталина, но что-то на свете переменялось.

Я хочу еще раз сказать молодым читателям моей книги, что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство, построил Магнитку и Кузнецк, рыл каналы, прокладывал дороги, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, учился, читал, духовно рос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века. Все это памятно любому советскому человеку, который жил и работал в то время. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы тогда ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать. Мы знали, что одновременно с большими делами, о которых сообщали газеты, делаются несправедливые, злые дела - о них люди говорили шепотом, и только с близкими друзьями. Говоря «мы», я имею в виду людей, с которыми дружил, - писателей, художников, некоторых старых большевиков, некоторых военных - может быть, сотню, может быть, две сотни; но мне думается, что такие же чувства испытывали очень многие советские люди. Почти у каждого был друг или товарищ, сослуживец или сосед, арестованный и пропавший без вести, в вину которого ему трудно было поверить. Люди молчали или шептались, и вдруг они заговорили - не озираясь испуганно по сторонам, не глядя на телефон, как на опасного врага, заговорили просто, по-человечески, с той добротой и совестью, которые всегда лежали в характере нашего народа. Это казалось чудом, и не раз в те апрельские дни я вспоминал Ленина, его благородство и душевную чистоту.

Я прерву размышления: просятся на бумагу неожиданные признания о прелести, о волшебстве апреля в наших местах, не избалованных теплом юга. Еще кое-где сереет снег, а видишь - начинается праздник: прорезают землю травинки, нежные звезды будущих одуванчиков, зацветают вербы, стрекочут налетевшие отовсюду птицы; шумливо, беспокойно и радостно - после долгих месяцев молчания, после холода, который сродни одиночеству, после искуса зимы. Может быть, я так чувствую потому, что в старости осень, а за нею зима мучительны, слишком они похожи на свое собственное увядание, на все то, что знакомо любому человеку, перевалившему за шестьдесят. А весна - это мир молодости, и есть ли что-нибудь слаще для старого человека, чем глядеть на ребятишек, которые ломают лед подмерзшей за ночь лужицы, чем слушать их крики, нестройные и милые, как птичья болтовня, чем увидеть под вечер робких влюбленных, которые как будто стыдятся своего счастья и держатся за руки, а еще холодно по вечерам, пальцы зябнут. Все это происходит именно в самом начале апреля, в дни перелома, когда на одной стороне улицы холодно и пусто, сосульки не двигаются с места, а на другой стороне солнце, гам, весна. Мой дом на северном склоне холма, и в начале апреля у нас горы снега, и все-таки он поддается, оседает, я его раскидываю, сбрасываю и всем своим существом чувствую, что жизнь побеждает. Если даже подумаешь на минуту, что у тебя все позади, остались считанные весны, все равно берет верх веселье, хочется смеяться, делать глупости, мечтать о будущем - не о куцем своем, а о будущем мира. Так переживаю я апрель в Подмосковье.

А тот апрель, о котором я рассказываю, был особенным. Он отогревал стариков, озорничал, как мальчишка, плакал первыми дождями и смеялся, когда снова показывалось солнце. Вероятно, я думал об этом апреле, когда осенью решил написать маленькую повесть и на листе бумаги сразу же поставил заглавие «Оттепель». Это слово, должно быть, многих ввело в заблуждение; некоторые критики говорили или писали, что мне нравится гниль, сырость. В толковом словаре Ушакова сказано так: «Оттепель - теплая погода во время зимы или при наступлении весны, вызывающая таяние снега, льда». Я думал не об оттепелях среди зимы, а о первой апрельской оттепели,

после которой бывают и легкий мороз, и ненастье, и яркое солнце,- о начале той весны, что должна была прийти.

Второго мая мы с Корнейчуком отправились в Стокгольм на бюро Всемирного Совета. У меня в кармане был первомайский номер «Правды» с моей статьей «Надежда»; в ней я писал: «Надежда этой весны связана не только с возобновлением переговоров в Пэньмыньчжоне... Советское правительство ясно сказало, что готово сотрудничать с правительствами других стран для того, чтобы обеспечить всеобщий мир... Все понимают, что пора монологов миновала, настает время диалога». Бюро собралось за полтора месяца до сессии. Все говорили о будущем бодро: идея переговоров, еще недавно считавшаяся утопией, теперь повторялась в речах государственных деятелей всех стран.

Помню, Лизлотта сказала мне, что я помолодел, вероятно, оттого, что многое в жизни начинало меняться; весна отогрела человека, слывшего неисправимым скептиком. Мы говорили о многом, и я сказал Лизлотте, что поговорка, существующая у многих народов об одной ласточке, которая не делает весны, попросту неумна. Конечно, если ласточка прилетит слишком рано, то она может испытать холод, голод, даже погибнуть, но все же прилетит она не осенью или зимой, а в самом начале замешкавшейся весны. Ласточки не делают времен года, но осенью они нас покидают, а весной возвращаются.

Сессия Всемирного Совета собралась в Будапеште в середине июня. Мы были полны надежд, но события в Берлине и казнь Розенбергов напомнили, что история не мчится по автостраде, а петляет по путаным тропинкам. Я не стану сейчас писать о немецких делах: не хочу переходить от воспоминаний к тому, что остается злобой сегодняшнего дня. Вспомню о казни Розенбергов. Она показалась всем не только постыдным поступком, но и политической бессмысленностью. За два месяца до этого Эйзенхауэр выступил с речью, в которой говорил, что атомная война была бы всеобщей катастрофой и что Америка хочет мира. Эта речь была напечатана в «Правде», и рядом помещен советский ответ. Казалось, что эпоха истерической нетерпимости Маккарти кончена. Дело Джилиуса и Этель Розенбергов длилось долго. Они жили в камерах, ожидая смерти, переписывались друг с другом, писали об их маленьких детях. Эти письма были опубликованы, и теперь я нашел вырезку из газеты

«Фигаро», которая обычно восхищалась Америкой. «Так могут говорить только люди с большим и чистым сердцем». Кардиналы и президент Франции, Томас Манн и Мартен дю Гар; Эррио и Мориак - все они просили Эйзенхауэра не казнить Розенбергов. Жизнь двух невинных людей оборвал вздорный политический акт, уступка крайним кругам, раздражение против европейских союзников, которые настаивали на переговорах с СССР. Жолио мне сказал: «Это ужасно, но не нужно падать духом. Сторонники политики силы могут затянуть дело, могут совершить еще много злого, но теперь ясно, что идея переговоров проникла во все слои общества, даже в южные штаты...»

(Жолио был прав: месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий к Индокитае.)

В Ново-Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, «О работе писателя». В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне: «... Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией? А классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь - зачем это написано? Как будто все есть, а чего-то не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не такими, как на самом деле...»

Моя статья была попыткой разобраться к психологии художественного творчества (потом я вернулся к тем же проблемам в очерках о Стендале и о Чехове). Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы; и упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года: «... Почему у нас в изобилии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых (увы, многочисленных) критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви... Мне могут сказать, что героика реконструкции не допускала других тем. Но Маяковский написал поэму «Про это» тоже не в заурядное время... Я могу продолжить

вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминание о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? (Обычно действие происходит в «погожий летний день», или в «душистый майский вечер», или в «ясное, бодрящее осеннее утро») Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека». Статья была напечатана в журнале «Знамя»; два члена редакционной коллегии Л. Скорино и А. Макаров меня как-то спросили, почему я все валю на критиков, я им посоветовал перечитать повесть о принце и нищем.

Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила: «Вы уже знаете?...» Она рассказала, что видала на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделю спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но, признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя: неужели все ограничится каким-то Рюминым? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине, все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям, но Берию все ненавидели, рассказывали о нем как о человеке, развращенном властью, жестоком и низком.

Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам, беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать,- это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал: «К сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии». Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие незначительные люди не могли подсказывать Сталину его государственный курс. Я снова перечитал передовую «Правды», посвященную аресту Берии: «Из неприязни ко всякому культу личности,- писал Маркс,- я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в

которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран,- я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом». Ясно было, что «культ личности» или «суеверное преклонение перед авторитетом» относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть XX съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач - начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет.

Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. «Нормализация рабочего дня» была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каждого человека могут быть свои привычки и свои странности. Но Сталин был не человеком, а богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множества людей. Министры боялись до двух-трех часов уйти с работы: Сталин может позвонить по вертушке. Министры задерживали начальников отделов, начальники - секретарей, секретари - машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям: он уходил на работу в двенадцать часов дня, возвращался в два часа ночи. Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятие «дни» и «ночи» исчезали, и вот в конце лета этому был положен конец.

В сентябре был Пленум ЦК. С докладом о сельском хозяйстве выступил Н. С. Хрущев. Я прочитал и перечитал доклад, он меня поразил. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно: все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему; а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот Хрущев подверг резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказал о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе корон теперь меньше, чем было в 1916 году в царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока, но

Хрущев сказал об этом правду. Тому, что люди называли «показухой», был нанесен удар, и это очень многих обрадовало.

Я сел за «Оттепель»-мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе, передать мое ощущение оттаивания, мои надежды. Об «Оттепели» много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказаться от недавнего прошлого, их сердили и упоминание о деле врачей, и осторожная ссылка на тридцатые годы, и особенно название повести. В печати «Оттепель» неизменно ругали, а на Втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В «Литературной газете» цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту «Оттепели».

Теперь я перечитал эту книгу. (Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955-м я совершил еще одну ошибку-написал вторую часть, бледную, а главное, художественно ненужную, которую теперь выключил из собрания сочинений.) Мне кажется, что в повести я передал душевный климат того памятного года. Сюжет, герои, в отличие от обычного, пришли как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся: пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Сабуров и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев сказал своей жене о Вере Шерер: «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач. А чересчур доверять им нельзя, это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты. Так что твоя Шерер зря расстраивалась...» Инженер Коротеев упрекает себя в двурушничестве: «Я часто думаю: «Это хорошо в книге, а не в жизни»... Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается?... Савченко куда цельнее, он не пережил ни тридцатых годов, ни войны, он большего требует - это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали...» В повести много разговоров об искусстве. В Сабурова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Р. Р. Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет «Оттепель», но она написана с любовью к героям, с желанием

показать, почему некоторые из них редут себя плохо. Халтурщик Володя чувствителен к искусству: увидев работы Сабурова, он понимает, что именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом, может быть, залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга, и Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается: «Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что и ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу. «Вера, вот и оттепель...» Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов.

Пять лет назад, когда я начал писать мои воспоминания, я сразу решил, что кончу их на том дне, когда сел за «Оттепель». Дойдя до этой главы, я убедился, что был прав: мне было труднее говорить о месяцах, породивших «Оттепель», о судьбе этой повести, чем о различных, куда более драматичных событиях предшествовавших лет. 1953 год - первая страница новой части не только моей жизни, но и жизни нашего народа. За ним последовали годы, богатые событиями, но они настолько близки, даже злободневны, что не вмешаются в историю прожитой жизни. (О некоторых из этих событий, а также о людях живых или умерших после 1953 года я все же написал.)

Пять лет я просидел над этой книгой. Было много радостного для меня в течение этих лет, были и тяжелые месяцы. К моему собственному удивлению, я переживал и счастье и горе еще острее, чем в молодости, но силы уменьшались, и если не скудела нежность, то в отвердевших сосудах текла старческая кровь. Я мог бы здесь написать слово «конец», но мне хочется еще раз оглянуться назад, попытаться осмыслить длинную жизнь обычного человека в необычное время и если не подвести итоги, то сделать некоторые частные выводы, поделиться с читателями моими сомнениями и моей надеждой.

Год назад один товарищ, работавший в архиве, переслал мне копию документа царской охранки: «Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи из Москвы от 17 ноября 1908 года к Сергею Николаевичу Шестакову в Киев». «...Из Полтавы я поехал через Смоленск в Москву. Здесь внешне прескверно: приходится таскаться по ночевкам, несмотря на множество знакомых, найти ночлег довольно трудно. Что касается до впечатлений, произведенных московскими делами вообще и нашими знакомыми в частности, то, как ни печальны дела, после юга они отрадны. Трудно сказать, лучше ли теперь положение, чем было весной, но, во всяком случае, не хуже. Многие убеждены, что партийный кризис подходит к концу. На состоявшейся на днях областной конференции было констатировано некоторое оживление работы, в особенности в Иваново-Вознесенске, Сормове и в Московском округе. На днях, как вы знаете из газет, Московский окружной комитет был арестован. Что касается тактических взглядов, то раньше всего расскажу о резолюции Московского комитета, принятой с некоторыми поправками на областной конференции. Основные ее положения таковы: общее международное осложнение классовых противоречий, конец некоторого оживления в российском капитализме, убудочное социал-реформаторство буржуазии, гнусность аграрной «реформы» правительства, невозможность успешной экономической борьбы - выход в политическое брожение, неизбежность революционного подъема, более пролетарский и более международный характер его. В качестве практических задач партия отмечает необходимость установления более тесных связей с пролетариатом Запада, создания крепкой нелегальной организации, желательность более строгого социалистического характера работы, а также необходимость воздействовать в более строгом стиле на фракцию. Эта последняя стала держать себя приличнее: приняла резолюцию о подчинении ЦК, и депутат Белоусов даже произнес речь по аграрному вопросу, написанную Лениным. Кроме того, она официально выступила с заявлением о своей несогласии с отклонившимися большевиками. Эти

последние встретили сочувствие у Плеханова, Мартова и Дана, которые заявили, что нелегальная работа теперь не только не полезна, но и вредна. Редакция «Голос социал-демократа», то есть кавказские меньшевики во главе с Костровым, с ними не согласна. Вот и все о партийных делах. 8-9 номера «Голоса с.-д.» в Москве нет, зато получили № 30 «Пролетария»...»

Читая, я не сразу понял, кто автор письма,- может быть, старый большевик, мой товарищ давних лет? А дойдя до адреса, вдруг вспомнил. В конце письма приписка: «По мнению ДП, автор настоящего письма поднадзорный Илья Григорьевич Эренбург». Департамент полиции не ошибся - это копия моего письма Вале Неймарку. Я перечитываю текст и дивлюсь не столько содержанию, сколько языку. Так иногда с трудом узнаешь себя на старой фотографии.

Давно уже нет в живых ни Вали Неймарка, ни социал-демократических депутатов Государственной думы, ни Х, который возмутил меня своими сентенциями об утилитарной сущности искусства. Жизнь прожита, и я могу только добавить, что есть линия, связующая письмо подростка с книгой старого писателя. Я не жалею ни о том, что в возрасте пятнадцати лет начал работать в подпольной большевистской организации, ни о том, что три года спустя, фанатично полюбив поэзию, перестал ходить на собрания, посещал еще несколько месяцев Школу социальных наук, но и это забросил, читал с утра до ночи стихи старых и новых поэтов, плядел холсты, слушал споры о кубизме и о «научной поэзии».

Однако даже в те годы я не мог забыть о том, что мне показалось в пятнадцать лет простой и единственной правдой, с волнением слушал рассказы людей, приезжавших из России, ходил в мае к Стене коммунаров, ненавидел мишуру и ложь мира денег. Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали два Эренбурга, они редко жили в мире, часто один ущемлял, даже топтал другого, это было не двуличием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства.

Критики редко стремятся понять писателя, у них другие задания - изредка (главным образом в юбилейные даты) они прославляют

автора, а чаще его поносят. Западные журналисты осуждали и осуждают меня за тенденциозность, политическое пристрастие, подчинение правды узкой идеологии, а то и административным директивам. Некоторые советские журналисты, напротив, утверждали и утверждают, что я страдаю избытком субъективизма и в то же время объективизма, не умею отделить новое сознание от хлама обветшалых чувств, вывожу нетипичных героев, покрываю формализм.

Я не стану защищать написанные мною произведения, о некоторых из них я отозвался в этой книге достаточно сурово; но сейчас я говорю не о моих литературных недостатках, а о прожитой жизни. «Люди, годы, жизнь» не роман, и я не мог переделать фабулу или изменить характер героя. Если я умолчал о некоторых событиях моей жизни, то о своих заблуждениях, о своем легкомыслии я говорил откровенно. В свое оправдание добавлю, что внутренние блуждания и противоречия пережили многие из моих современников; видимо, это было связано с эпохой.

Я сформировался на традициях, на идеях, на моральных нормах XIX века. Теперь многое мне самому кажется древней историей, а в 1909 году, когда я исписывал тетрадки скверными стихами, еще жили Толстой, Короленко, Франс, Стриндберг, Марк Твен, Джек Лондон, Блуа, Брандес, Синг, Жорес, Кропоткин, Бебель, Лафарг, Пеги, Верхарн, Роден, Дега, Мечников, Кох... Я не отрекаюсь ни от подростка, стриженного ежиком, который осуждал «отклонистов» и посмеивался над Надей Львовой за ее увлечение поэзией, ни от зеленого юноши, который, открыв существование Блока, Тютчева, Бодлера, возмутился разговорами о второстепенном и сугубо подсобном назначении искусства; теперь я понимаю обоих.

Увлечение революционной борьбой, работа в подпольной большевистской организации не были для меня случайными, они многое предопределили в моей жизни, и если они помешали мне получить среднее образование - вместо гимназии я проводил дни на явках, на собраниях, в рабочих общежитиях или в чайных, а потом в тюремной камере,- то многому они меня научили. Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 года, и старшие товарищи, прежде всего мой друг Николай, ученик Первой гимназии, и книги; но в выборе прежде всего сказались черты моего характера.

В 1917 году и не узнал того, за что боролся десять лет назад: в эмиграции я успел оторваться от жизни России и пережить увлечения различными ценностями, действительными и мнимыми, которые показались мне попираемыми. Два года спустя я понял свою ошибку. Некоторые друзья меня звали в Париж, но я поехал в Москву. Я сам привязал себя к той идее, которая казалась мне в начале крылатой гоголевской тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником,- в 1957 году я писал:

...В плухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей...
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

Я вложил в уста, вернее, и дневник одного из героев повести «День второй» многие из моих сомнений. Володя Сафонов повесился - это я пытался повесить самого себя. Я заставил себя о многом молчать: то были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют «культом личности», к добровольному молчанию примешивала и вынужденное.

Меня могли бы арестовать в годы произвола, как арестовали многих моих друзей. Я не знаю, с какими мыслями умер Бабель, он был одним из тех, молчание которых было связано не только с осторожностью, но и с верностью. Я мог бы умереть в послевоенные годы, до XX съезда, как умерли Таиров, Суриц, Тувим. Их тоже мучили злодеяния, совершаемые якобы в защиту идей, которые они разделяли и за которые чувствовали свою ответственность. Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад Н. С. Хрущева о культе личности.

Легче переменить политику, экономику, чем человеческое сознание. Я часто встречаю людей, которые не смогли освободиться от душевной скованности, страха, казуистики, оставшихся в них от предшествовавших лет. Однако растет поколение, не знавшее ни «бурных аплодисментов, переходящих в овацию», ни ночей, когда мы прислушивались к шуму на лестнице. Переход людей от религии к

научному сознанию длился очень долго, а подростков, родившихся в начале сороковых годов, за один день перевели от слепой веры к критическому мышлению. Остается еще раз поблагодарить людей, нашедших в себе достаточно силы и понявших, что разоблачить произвол - это значит укрепить идеи Октября. А для меня нет большей радости, чем слушать порой незрелые, но искренние и задорные высказывания наших юношей, едва вступающих в жизнь.

С годами я понял, что и моя любовь к искусству, и мои верность идее социализма связаны с одним - с судьбой культуры. Когда я начинал жить, культура была творчеством и достоянием немногих. У нас теперь в той или иной форме, в той или иной степени культура дошла почти до всех. В течение сорока лет люди читали, думали, и они духовно выросли. В годы, когда «Новый мир» печатал мои воспоминания, я получал множество писем: мои сверстники вспоминали свое прошлое, делились тревогами и надеждами, а молодые ставили вопросы, которые когда-то зря называли «проклятыми»; такие письма меня учили и вдохновляли.

В этой книге я часто писал о своих ошибках. Были ошибки и у других, были ошибки и у общества, их список длинен, о нем часто вспоминают не только наши противники, но и мои соотечественники.

В послевоенные годы я много бывал на Западе. Уровень жизни вырос по сравнению с довоенным, победил новый индустриальный стиль в архитектуре, в утвари, жизнь стала комфортабельней и беспокойней. Однако спокойствие исчезло не только из-за роста механизации, но также из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я видел, как рухнула Четвертая республика, как развалилась Британская империя. Только в Соединенных Штатах можно еще услышать апологию капитализма, а политики Западной Европы разговорами о плановой экономике, о частичной национализации, о повышении подоходных налогов пытаются уверить, что, даже стоя на месте, можно шагать в ногу с веком. Я думаю, что наши ошибки, и материальные и духовные, связаны с тем, что раннее утро не полдень и что, как уверяет французская поговорка, старость многого не может, а молодость многого не знает. По дорогам прошлого легко мчаться в превосходном и вполне современном «бьюике». А к будущему пробираешься с трудом, часто блуждаешь, и спросить, как лучше пройти, некого.

Мир очень изменился. Когда я начинал сознательную жизнь, самодурам или реакционерам ставили в вину отсутствие логики - картезианство еще было живым. Полвека истории, опыт каждого показали, что старая логика обанкротилась; безупречные гипотезы опровергались событиями; жизнь разворачивалась не по законам Декарта, а зачастую наперекор им. С помощью диалектики легко объяснить происшедшее. Но я сейчас думаю о другом: как должен поступить человек в своей личной жизни, если перед ним то, что не предвидели ни любимые им авторы, ни различные конференции или дискуссии?

Когда я был мальчиком, в русских, немецких или итальянских школах детей учили, что грех убивать, красть, оскорблять родителей, завидовать чужому счастью; школьники знали на память десять заповедей. Во французских школах после отделения церкви от государства ввели новый предмет - «мораль»-: десять заповедей были обновлены с помощью басен Лафонтена, а статьи уголовного кодекса украшены цитатами из Гюго. Дом строят не с крыши, и потомки будут говорить о середине XX века как об эпохе больших научных, социальных и технических открытий, но не как о времени гармоничного расцвета человека: в наши дни образование повсюду опережает воспитание, физика оставляет позади себя искусство, и люди, приближаясь к радиоактивным двигателям, не снабжены тормозами подлинной морали. Совесть - понятие отнюдь не религиозное, и Чехов, не будучи верующим, обладал (как и другие представители русской литературы XIX века) обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести; однако я выхожу за пределы и этой главы, и всей моей книги.

Я помню одного нашего лектора, который в 1932 году уверял, будто открытия Эйнштейна - попытка воскресить идеализм, даже мистику. Новая наука встретила много неожиданных препятствий: роды всегда трудны. За тридцать лет успехи ученых стали настолько очевидными, что изменилось сознание любого среднего человека. Наука XIX века теперь кажется тесной уютной квартирой. Вероятно, нечто подобное, хотя и в меньшей степени, переживали люди позднего Возрождения, поняв, что Земля не центр вселенной. По-новому встало перед нами понятие бесконечности. То, что казалось

абсолютно реальным, превращается в абстракцию, а вчерашняя абстракция становится реальностью.

Когда развитие физики и ее роль в создании ядерного оружия дошли до сознания политиков, военных, да и простых людей, все начали задумываться над возможностью уничтожения жизни на нашей планете. Есть два выхода - накапливать ядерное оружие или согласиться на всеобщее разоружение. Я продолжаю ездить на различные совещания или конференции сторонников мира, на встречи «Круглого стола». Скептики порой мне напоминают прошлое - и Гаагскую конференцию, и конгресс в Амстердаме, организованный перед второй мировой войной,- говорят о моей наивности. Наивны, пожалуй, скептики. Прежде разоружение было утопией идеалистов или лицемерием грабителей. Когда один тигр говорил другому, что нужно вырвать клыки и обстричь когти, они надеялись этим успокоить многомиллионные отары овец. Теперь тигры поняли, что атомная война не стратегические планы, не вопрос о том, у кого больше нефти, стали или даже урана, а мгновенное и всеобщее истребление. Разоружение стало реальной потребностью всех, и если продолжают споры о его осуществлении, то только потому, что традиции в международной политике куда крепче, чем в естествознании. Вопрос в одном: обгонят ли предостережения физиков рутину дипломатов и осознают ли различные правительства необходимость перейти от разговоров к делу до того, как вздорный случай вызовет катастрофу.

Жизнь полна противоречий. Есть люди, которые говорят о совместном освоении космоса, о полетах на Луну и одновременно готовы (к счастью, на словах) взорвать бедную передовую планету потому, что не могут договориться с другими людьми о статуте нескольких кварталов одного города. Тысячелетние навыки решать спор силой побуждают теперь различные государства обзавестись ядерным оружием. Если в моей молодости писали, что нельзя жить возле бочки пороха, то теперь мы живем возле бочек куда более опасных. Знание опередило сознание.

Во второй половине XX века искусству пришлось повсюду потесниться. Внешне оно распространилось: тиражи романов почти повсюду повысились, увеличилось число посетителей музеев и выставок, окрепло кино, родилось телевидение. Однако в частной

жизни множества людей роль искусства уменьшилась. Может быть, это произошло оттого, что язык искусства оказался опереженным резкими поворотами и в науке, и в социальной жизни. А может быть, эти повороты и привели к некоторому охлаждению к искусству - люди потеряли душевное спокойствие, восхищались искусственными спутниками, боялись ядерных бомб, тешились изобретениями, неистовствовали на спортивных состязаниях и мечтали о машинах, способных превращать полуфабрикаты в трапезы Лукулла.

Некоторые замечательные изобретения, как, например, телевидение, ежедневно поставляют эрзацы искусства. Люди реже идут в театр и вместо того, чтобы раскрыть книгу, садятся у телевизора. На экране мелькают бои в Конго и олимпиады, свадьбы королевы и похороны президента, балерины в пачках и дрессированные кошки, Гамлет и боксеры, концерт и светские скандалы. Все это рябит, дребезжит, грохочет, мяукает, стихи смешиваются с рекламами, а музыка с прогнозами погоды. Люди смотрят, тут же закусывают, сплетничают, ссорятся, восприятие постепенно притупляется.

Я помню, как в моем детстве все благоговейно говорили о Толстом, глядели на него, как на пророка. Когда Золя осудили за защиту Дрейфуса, взволновался весь мир. В годы первой мировой войны люди, которые продолжали думать, прислушивались к голосу Романа Роллана. В парижском театре зрители дрались из-за музыки Стравинского или декораций Пикассо. Теперь порой дерутся болельщики на футбольном матче.

Лет пять назад по моей вине в «Комсомольской правде» началась дискуссия: обречено ли искусство на смерть в «атомном веке». Один из наших кибернетиков высмеял молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством и, по его словам, вздыхают: «Ах, Блок! Ах, Бах!» Я прочитал тысячи писем, адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеи отмирания искусства; но у кибернетика нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэзии величие естествознания; их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом тургеневского Базарова.

Если бы эти люди оказались правы в своих прогнозах, то освоением космоса занялись бы неполноценные существа, обладающие нужными знаниями, но лишённые культуры чувств,

которые, наверно, мало чем отличались бы от мыслящих машин XXI века. Открытие огня, то есть способов его добывания, относится к началу каменного века. Десятки тысячелетий спустя Эсхил написал «Прикованного Прометея». Эта трагедия жива и теперь, она вдохновляет миллионы людей, усиливает в человеке чувство достоинства. Половое влечение свойственно даже мухам, но для того, чтобы оно стало любовью, потребовались тысячелетия искусства - от древних критян и Калидасы до Гёте, Стендаля, Толстого и дальше - до Аполлинера, Блока, Маяковского, Хемингуэя, Элюара, Пастернака.

Я думаю, что новое сознание, новые чувствования требуют от искусства нового языка. Людям, привыкшим к живописи Джотто, к стихам Рютбефа, Вийон, Рабле или Учелло показались падением искусства, а четыреста лет спустя для французов Второй империи, воспитанных на классицизме и романтизме, Мане, Дега, Бодлер, Флобер были варварами, попирающими красоту.

На ленинградском симпозиуме писателей, в котором участвовали литераторы из различных стран, кто-то сказал, что лучше быть продолжателями Толстого, Диккенса и Стендаля, чем Пруста, Кафки или Джойса. Я не думаю, что наше время оставляет художнику единственный выбор - чьим эпигоном он предпочитает быть.

Читателя не удивит, что столько места в книге воспоминаний я уделял искусству: это связано не только с моим ремеслом, но и с моим мироощущением,- я убежден, что нельзя идти вперед, шагая только одной ногой, и что без духовной красоты человека никакие социальные изменения, никакие научные открытия не принесут людям подлинного счастья. Ссылки на то, что и содержание и форма искусства диктуются обществом, при всей их правильности кажутся мне чересчур формальными. Конечно, Леонардо да Винчи или Микеланджело знали больше, чувствовали острее и глубже, чем их современники, и, конечно же, им приходилось считаться с меценатами, кардиналами, принцами, даже с наемными убийцами эпохи. Но, прославляемые или преследуемые, они были философами, открывателями, прокладывали путь в будущее. Их произведения нас потрясают и теперь, а история итальянских городов конца XV - начала XVI века нам кажется бурной, кровавой, но давно отшумевшей, да и мало привлекательной. Не был ли Стендаль проницательнее, глубже своих современников - подданных «добротного короля с зонтиком»? При

жизни «Красное и черное» прочитали несколько тысяч человек, из которых, может быть, только сотня-другая разгадала значение этой книги. Вот уж кто не был эпигоном! Стендаль вырос из своего века, но он его перерос. Его романы многих отталкивали, они порой сердили даже Бальзака и Гёте, которые смутно чувствовали силу Стендаля. А разве стихи Пушкина, «Герой нашего времени», «Мертвые души» - это только гениальное отображение России Николая Первого, концентрат идей и чувствований передовых дворян той эпохи?

Книга Винера о кибернетике показалась мне увлекательной, но я не начал отпевать искусство. Напротив, я понял, что в нашу эпоху все очень быстро меняется. Изменится, наверно, и литература или живопись. Хуже всего начать по-стариковски брюзжать, осуждать время и молодых - они, дескать, не могут ни мечтать, ни страдать, как их деды. Я во многом повинен, но только не в этом.

Повествование о своей жизни я оборвал на первой главе той части, которая для меня должна быть последней и о которой слишком трудно писать,- это сегодняшний день. С начала 1954 года, когда я дописал «Оттепель», прошло больше десяти лет. Я продолжал колесить по миру, читал книги новых авторов, встречался с друзьями, любил, терзался, надеялся.

Я жил, кажется, гуще, порой и острее, чем в молодости. Оказалось, что я не знал ни глубины некоторых чувств, ни голоса тишины, ни всей ценности последних солнечных дней поздней осени.

В начале 1963 года я провел два дня с Пикассо. Я глядел на его новые полотна «Похищение сабинянок». На композицию его толкнула картина Давида. Согласно древней легенде, римляне в поисках жен похитили сабинянок, а когда сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые «Герники», причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской и стоял замороженный и только ночью подумал: удивительно - ведь ему за восемьдесят!...

Я увидел много новых для меня стран Индию, Японию, Чили, Аргентину, мир для меня стал шире: ведь в молодости я знал только Европу да понаслышке Соединенные Штаты - полторы части света Вместо пяти. Я познакомился с некоторыми людьми, которые

показались мне значительными. Упомяну о беседе в Дели с Джавахарлалом Неру, который был для меня в политике тем, чем холсты Амриты Шер-Гил в живописи, органическим сплавом индийской национальной глубины с передовой мыслью Запада.

Впервые я побывал в Армении и влюбился в нее; своей розоватой сухостью она напомнила мне Кастилию, понравились люди, страстно любящие свою землю и вместе с тем не ограниченные провинциалы, а подлинные граждане мира. М. С. Сарьян писал мой портрет, вспоминал прошлое, яростно проклинал людей, безразличных к искусству, и я видел не старого мастера, а юношу, который впервые восхищается охрой и кобальтом. В 1965 году Мартиросу Сергеевичу исполнилось восемьдесят пять лет, и его старые полотна, спрятанные в фондах музеев, были показаны на выставке - константинопольские собаки, пальмы Египта, персианки. Сделали фильм, посвященный Сарьяну. Я написал текст. Я рассказал, как мешали живописцу делать живопись, как в 1948 году он снял свои лучшие холсты со стен - начал их резать.

Искусство продолжало меня радовать, открывало на многое глаза. Изобретение кинематографии - заслуга техники, но когда я увидел последние фильмы Феллини, Алена Рене, я понял, что кино начинает находить свой язык, что оно способно не только передать игру гениального мима Чаплина, реальность зримого, динамику событий, но и осветить духоту, темноту душевного мира человека не так, как это делали сиена, книга или холст.

Меня обрадовала своей точностью повесть Сэлинджера о подростке, да и многие другие книги, рассказы наших молодых - Казакова, Аксенова. Прочитав короткий и на первый взгляд традиционный рассказ Солженицына, я почувствовал себя богаче: автор иначе, чем Чехов, но с чеховской глубиной ввел в мой мир прекрасную русскую женщину, прожившую трудную жизнь.

За последние годы умерли Фальк, Незвал, Жолио, Ривера, Кончаловский, Пастернак, Леже, Заболоцкий, Хемингуэй, Назым Хикмет. Я чувствую, до чего поредел лес моей жизни, нежно и суеверно пляжу на живых друзьях, а вечером утешаюсь тенями подростков.

Я узнал К. Г. Паустовского,- прежде я очень редко встречался с ним, знал большого мастера, а увидел благородного, доброго и

смелого человека. Мы подружились на старости. Меня поддерживает сознание, что Константин Георгиевич жив, что завтра он, наверно, еще что-то скажет, что он мой ровесник и пережил многое из того, что написано в этой книге, что он не только высокий мастер и человек встревоженной совести, что весной 1963 года он пришел ко мне и поддержал меня в трудные дни.

Я полюбил Виктора Некрасова, крепкого, неуступчивого и чрезвычайно совестливого писателя, оказалось, что возраст не стена: есть и у старости свои окна и двери.

Я не разучился ни любить, ни надеяться, да уж теперь, видно, не разучусь. Конечно, старость вяжет человека - иссякают силы. Зато теперь у меня не только больше опыта, но и больше внутренней свободы.

Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал, что исповедуюсь на площади. Помогало мне сознание, что, рассказывая об умерших друзьях, особе, порой вставляя дорогое имя, я борюсь против забвения, пустоты, небытия, которые, по хорошим словам Жолио, противны человеческой природе.

Я знал, начиная эту книгу, что меня будут критиковать: одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю. В предисловии ко второму тому, написанному осенью 1963 года, я повторил: «Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что моя книга - рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никогда не претендую дать историю эпохи...»

Критиковали, да и будут критиковать не столько мою книгу, сколько мою жизнь. Но начать жизнь сызнова я не могу. Я не собирался никого поучать, не ставил себя в пример. Я слишком часто говорил о своем легкомыслии, признавался в своих ошибках, чтобы взяться за ампула старого резонера. Притом я сам с охотой послушал бы мудреца, способного дать ответ на многие вопросы, которые продолжают меня мучить. Мне хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, которых я встретил: это может помочь некоторым читателям кое над чем задуматься, кое-что понять.

Сейчас у меня слишком много желаний и, боюсь, недостаточно сил. Кончу признанием: я ненанижу равнодушные, занавески на окнах, жесткость и жестокость отъединения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего; я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом, мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догoreвал, не долюбил. Но таковы законы природы: зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает: «Завтра я...» А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои.

AN id=title>

1

Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.

А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лавалю, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас - что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно - он сыграл слишком видную роль в уничтожении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия.

Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще

продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX века, чем Хиросима, нельзя было придумать.

Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война - держались, а только спало напряжение - многие слепли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.

В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа - жили трудно, многие впроголодь, работали через силу, и все же не опускали рук.

В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи - забыл, начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат...» Я подумал, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется,- у него ведь второй аттестат, вторая зрелость... Мы слишком хороню помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали - и про себя и вслух.

Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался - не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно...» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж - тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллинн - там демобилизовался, а на дороге зашел ко мне «отвести душу».

Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились...» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бурю» только в январе 1946-го - долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться - мы все ею отравлены.

Прежде я мечтал: кончится - отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.

В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы - а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество - отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят в городской пейзаж.) Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом - то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины. Люди шутя говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть - люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.

Девятого июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал: «Это что, пустяки! Вот когда с Вороньей горы стреляли...»

В букинистических магазинах лежали груды редких книг - библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока; не знаю, у кого была книга до войны - у старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения.

Я увидел афишу: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом; надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо не понимая, почему на нее смотрят,- ведь она делала только то, что делали люди, и отделалась легко - одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать - маленькие, отошавшие дворняжки; их держали хозяйки -

тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком.

(Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках - «барские причуды». Я вспомнил, читая его письмо, не только о Каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю: моя книга - сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества; с таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке; то и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю об исландцах.)

На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей Урса и Куса: они принадлежали И. А. Груздеву, биографу Горького, одному из «серапионов». В начале блокады жена Груздева принесла хлеб - паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься.

В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи - здесь забавлялись наемники из «голубой дивизии». Вероятно, думали, что не сегодня завтра пройдут по улицам Ленинграда... Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в царскосельском парке:

Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни...

Статую Пушкина нашли в земле - ее успели закопать: нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки:

О, дайте вечность мне,- и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Нет, мена не может состояться, и не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид.

В Петергофе дворец был разрушен; говорили: «Отстроим»; я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубили три тысячи

старых деревьев.

Восьмого июля в город вошли его защитники - Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно.

Вечером Л. А. Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать:

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

Помолчав, он добавил: «Народ поумнел, это бесспорно...»

Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том, о сем. Берии присвоили маршальское звание. О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему, не может...» Ольга Федоровна рассмеялась: «А голос у вас неуверенный...»

Ко мне пришла девушка, сказала: «Вы, наверно, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне - для меня это память...» Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими: столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза, умер Васильев, умерла Надя, умерла сестра... Потом мое внимание привлекли записи: «Вчера всю ночь - «Анну Каренину», «Ночь напролет «Госпожа Бовари»...» Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил: «Как вы ухитрились читать ночью? Ведь света не было».- «Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью...» Я знаю мало слов, которые на меня сильнее подействовали, много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства - в них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу; героиня вела два списка: в один заносила то, что называла «преступлениями» революции, в другой - ее «благодеяния». О первом

списке в последние годы немало говорили, только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается «благодетелей», то они действительно связаны с ее природой. Если память мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии, училась в педагогическом институте, в начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению, связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты.

Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с нею легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя; умиляешься, пробуешь подтрунить над собой, нежность мешается с горечью.

Я вернулся в Москву, и сразу же захотелось уехать. Пришел П. И. Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского (в одной поэме Маяковского есть о нем: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут...»). Павел Ильич предложил устроить вечера, спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах, некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось.

Кострома мне понравилась - большие площади, Гостиный двор. Табачные ряды. Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. (Лавут умилился.) Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени - кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале.

Директор даже руками всплеснул: «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма».

После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился: «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая, по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал, начал во Львове, ходил в разведку, четыре ранения, последний раз под Будапештом, про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, это виноват он, он мне сам говорил, что нет толя, значит - нечего торопиться, но что скажешь: он тебе и генерал, и маршал, и господь бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не называйте - он меня в порошок сотрет, и про Кострому лучше не пишите, просто интересный факт человеческого устройства...»

В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью; на одном изразце под двумя деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость.

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину.
Не знаю, мало ль было сил.
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.
Писал о мужестве:
Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту -

Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту...

Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать:

...Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, визы.
То не ландшафт, не фон и не убранство,
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду - они останутся на страже,
Я начал говорить - они доскажут.

Стихи я писал, наверно, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет; они были напечатаны и журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией.

Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. Ничего не скажешь - моя молодость меня искала...

Ядвига работала в педагогическом институте, с нею жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась - и голос такой же, и глаза. Дочь, жених... Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверно, старость всех настигает врасплох.

Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу: дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали: «Скоро ли капитулирует Япония?», «Чей будет Триест - югославский или итальянский?», «Как вы относитесь к статье Александрова?», «Почему никто из писателей не написал «Войну и мир»?» На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад.

Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской - вот здесь стоял дом, где я родился,- груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война, звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал: скоро сяду за книгу,- значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, и сердце. Побывал у Тычины, Бажаиа, Голованивского, А. Кагана. На Подоле просидел

вечер у офицера - он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра, колбасу и долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну и не вернулись. «Почему их убили, а не меня?... Жена застряла в Киеве. В Бабьем Яру...» Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю - не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал.

В Москве ко мне пришел незнакомый человек, сказал: «Простите, что нагрязнул, к вам трудно дозвониться. Я болгарский коммунист Коларов»... У нас не работал лифт, и первое, что я подумал: ведь ему под семьдесят, как он взбирался? А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию, написать об этой стране. «Вас читают и на Западе...» Я сразу согласился.

Несколько дней спустя мне позвонил Г. Ф. Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей...» Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо, но я понимал, что это ни к чему,- ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию (это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия). Георгий Федорович ответил: «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету: «Вы ведь старый известинец...» Я зачем-то подумал вслух: «Конечно. Но я скорее собака, чем кошка, привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал в «Известиях», не осталось... Впрочем, это безразлично, в «Известия», так в «Известия»...» Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку.

В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я (не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию). Я

услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать, продаст там материю, купит муку, сало. Она студентка текстильного института, муж тоже студент - филолог. «Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то, что я крепкая, а у него открытый процесс, ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный...» И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой, неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по благу. Денег у нее мало - только на носильщика, могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась; я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью; прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо, вы - писатель, должны понять... А может быть, не стоит брать носильщика?...» (Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка: «Помните?...» Я сразу вспомнил. «Ну как - взяли носильщика?» Она засмеялась: «Нет, сама дотащила».)

Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. «Мы ее подобрали возле Барановичей, родителей немцы убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась. А жена пишет: «Привези». Жена у меня больная, ее четыре раза резали. Детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат - руку повредило. Ну, ничего как-нибудь устроюсь. Проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два... Девочка-то хорошая. Жена обрадуется... Девочка стеснялась, не раскрыла рта.

Я побродил по Одессе, она была печальной: много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе, она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном заброшенном доме - во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен: вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра.

Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады. Придется

диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверно, снова не додумаю...

Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумья, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад:

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом...

Вот это правда, слишком часто говорил о другом - не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выпляжу, скорее, мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать... Прежде мне казалось, что старость легка, естественна - постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы.

На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени - железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку (снова я чего-то не додумал, не дописал!). Я увидел на аэродроме огромную толпу: встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы.

Ко мне подошли секретарь посольства С. А. Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии, сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад, и теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и горбатого действительно исправит только могила.

Я был прав в своих опасениях: замелькали лица, города, страны. Для того, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое,- за четыре месяца я побывал в семи странах: Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете, ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед...» Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать - о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымалывал выходной день или, как школьник, убегал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как десять лет назад; но тогда все для меня было внове, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки.

Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина - его законная жена, а литература - любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой. Потом?... Потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как сотнями миллионов других людей, и походило это не на упреки ревливой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя.

Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По Библии, бог, приступив к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы, что касается

тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался расцезь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идилично. На открытии французского Учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торез. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден «Победы»; Георгиу Деж был всего-навсего министром путей сообщения.

Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-демократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер Дома писателей, «тузы и шишки»; большинство их быстро сошло со сцены - одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое.

Были и в 1945 году на Балканах партии или группы, открыто нападавшие на коалиционные правительства - в Румынии сторонники Маниу, и Болгарии - Петкова, в Югославии - Грола. Я встречался с некоторыми из них и понял, что они рассчитывают на обострение отношений между Советским Союзом и западными державами; им хотелось, чтобы твердь поскорее отделилась от хляби (или наоборот), и они не понимали, что мечтают о своей гибели.

Для того чтобы разъяснить положение читателям газеты, мне приходилось многое изучать, встречаться с румынскими помещиками, с болгарскими экспортёрами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят «джебел» это самый дорогой табак; американцы его примешивают к «Виргинии». Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар «джебел», поскольку болгарское правительство не признано Соединёнными Штатами. На Московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация: пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт.

Министров болгары нашли, только и они не пришлись по вкусу американцам. «Джебел» лежал непроданный.

За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастораль. Бирнс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умиленные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за «вечную дружбу».

Я был в румынской деревне Кошерени; разговаривал с крестьянами; они не знали, радоваться ли им аграрной реформе, боялись, что помещик КонстантINESКУ отберет землю назад, да еще выпорот за захват чужого добра. Я пошел к помещику; он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще неясное...» Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб.

В Будапеште в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил пятнадцать тысяч пенго, а средний заработок служащих составлял сто пятьдесят тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!...»

О войне трудно было забыть: она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединявший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомысленным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить: Буда, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спаса-Нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша, но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя возратить никакими планами. Я видел развалины Плоешти, Софии, Задара, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом

немецких городов. Бог ты мой, как разбитые дома похожи один на другой! Нужно было сосредоточиться, чтобы понять: это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск.

Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых, тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил, увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было четыреста тысяч, погибло восемьдесят пять тысяч.

Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран: «Подсвечники (свечей нет), масленки (нет масла), бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок (люди ходят в драной обуви, встречал босых)». В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила двести пятьдесят пенго. В Болгарии не было молока; прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали; местные власти говорили, что нет грузовиков - нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о «черном рынке», о баснословных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку - кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки (у нас их прозвали «авоськами»), кокетливо обшитые орденовыми ленточками - кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение.

Одни жили в оцепенении, выходя на улицу - пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло.

В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русс. Меня подняли и долго несли на руках: таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе: для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом, они раз десять обегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали.

В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на «Трубадура» и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Димо Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал, я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел, усталый, из машины после рытвин, ухабов - и сразу меня втокнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, театр был набит. На сцене танцевали; один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке, все начали аплодировать, кричать, я тоже зааплодировал, потом оказалось, что аплодируют мне, я уж не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный; мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам, и сейчас же начался очередной митинг.

Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей, понять характер стран, непохожих одна на другую.

Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранялся былой лоск, а в двухстах километрах от столицы, в угольном бассейне Жиу, многие жили, как звери,- в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка: навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканой одежде, волы задерживали министерский «кадиллак». Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотреамона, Бретона, Джойса. А в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице; крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха; 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына; они не понимали, почему была война, говорили: «Угнали в Россию, потом сказали, что убит...»

Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая согласно обычаю притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом. Пили цуйку - сливовую водку, пили из плоских деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов: про меня знали только, что я - русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость - это на счастье...»

В Румынии было много одаренных художников. Я запомнил полотна Изера, Паллады, Топицы. Один министр поспешно сказал мне: «Это, знаете, продукция прошлого, влияние Сезанна и других формалистов. У нас художники издавна были искалечены французской живописью...» Услышав, что холсты мне нравятся, он просиял: «Мне тоже нравится я ведь люблю живопись».

Красная Армия освободила многие страны, советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь «культом личности», сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргеzi. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе; потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было шестьдесят пять лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились: «декадент», «западник», «индивидуалист». Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргеzi; а когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргеzi!...»

Я познакомился с Михаилом Садовяну, мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе, вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на десять лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца сороковых годов;

люди, не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну - вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что, казалось, ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргези и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты; любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили -слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному,- кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мещанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей... Вторичный расцвет искусства придет лет через двадцать - тридцать, когда вырастут другие люди, с другими нормами. Но я не ропщу - хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта. Значит, придет время и для искусства...» Садовяну был членом Комитета по премиям «За укрепление мира». Каждый год он приезжал в Москву, и хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году, в возрасте восьмидесяти лет.

Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный - никакой «души нараспашку», страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел «читалище» библиотеку; крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые - даже стихи.

На софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Мате Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский, с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли: война началась задано до наступления Красной Армии.

Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей

Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мною откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Абрешков, и молодой художник Альших - племянник Паскина. На любви к Илие Бешкову сходились все: для людей, опасавшихся искусства, он был полезен - рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал; умел выпить; играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа, не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству.

Среди старшего поколения писателей я запомнил Елина Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту, и если не завязнешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней, это не проза, газета...» Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мною сидел рядом чиновник, приставленный к литературе, он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно. Вроде вашей Ахматовой...» Это было в 1945-м, а не в 1946-м, и я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младеном Исаевым.

Я поехал в Бояну - посмотреть фрески XIII века. Историки искусств долго не замечали славянского Возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Бояны или Охрида так же отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады; у южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а, скорее, почтальоном.

(В конце сороковых годов, когда, по указанию Сталина, у нас культивировалась «самобытность», вспомнили даже князя Юрия Долгорукого, но не великого живописца начала XV века Андрея Рублева. Однажды на приеме я разговаривал с К. Е. Ворошиловым. К нему подошел художник, чьи полотна (или копии полотен) висели тогда во всех официальных местах, и, услышав, что я назвал Рублева, усмехнулся: «Он иконки любит...»)

Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопле я увидел фрески XI - XIII веков. Эта живопись на сто - двести лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского Возрождения было только раннее утро - в конце XIV столетия турки захватили Болгарию и Сербию.

Югославия в ту осень переживала гордость освобождения; люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своеобразную страну или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, в соперницу Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую, нарядную Люблян, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию? Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты.

Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Луберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским; порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков; в Словении с ее высоким культурным уровнем книга была окружена заботой.

С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо, молчал или пытался смягчить тон спора, курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства: не на лаве - на горе. Мы с ним погодки, и я всегда с восхищением, даже завистью думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира; встретились как друзья; потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском побережье.

Другой крупный писатель Югославии - Крлежа. Я увидел знакомое: о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно.

В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке: «Не узнаете?...» Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца: судьба занесла его в Дубровник, он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко.

Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XVI веке: каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить семьдесят пять оливковых деревьев,- олива живет долго, триста - четыреста лет,- и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не рая в моих мыслях я возвращался к этому закону.

Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома.

Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали:

Этот мир - тиран даже для тирана.

И он вдвойне тяжек для благородных сердец.

Море воюет с берегом, зной с морозом.

Ветер с ветром, зверь со зверем,

Народ с народом, человек с человеком...

Я трясся в машине и повторял горькие слова: война не хотела оставить меня в покое.

В Братиславе, потом в Праге я встретил старых друзей; многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лацо Новомеский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое - «Деветсил» и «Дав», шутили, пили вино...

Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил: «Что с Мейерхольдом?» Я ответил: «Плохо...» Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты» - у меня в голове все путалось: пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народне дивадло», увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарска. Копецкий вздыхал: «Формализм», а потом он подарил мне натюрморт Филлы; Незвал неистовствовал: «Это не формализм, это революция!...» Галас печально улыбался. Сейферт молчал.

В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие «формалистические», что я удивился - отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.

Меня повезли в замок Добрит, который отдали писателям. Все было парадно и натянуто. Назвал шепнул: «В «Куманове» было веселее. Ничего не поделаешь чехам не к лицу роскошь. А писателям не к лицу почет...»

Был прием в Граде; я увидел Бенеша, он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого...»

Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти - Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились - их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать.

Мы поехали в Терезин, где погибли сто пятьдесят тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась...

Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий»: «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился и потому, что хотел повидать суд, и потому, что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. (Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к

этому чувству примешивалось другое - отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности.)

В Белграде дули холодные ветры. Я подумал, что еду на север - декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто, они иронически улыбались: может быть, думали, что возьму и не заплачу. (Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед.) А может быть, и вправду пальто не было, мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники - в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной лавчонке я разговорился, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной - уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Эренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто...» Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски; все жестикулировали, кричали. Я наконец спросил, о чем они говорят. «Очень просто: мы говорим, что Илья Эренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя если начать читать список убитых, то на это потребуется десять лет. Он говорит, что пальто нигде нет. То есть у какого-нибудь министра, наверно, два пальто, но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит, но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей...»

Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны: развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно - дорога была забита: американские части уходили из Западной Чехии.

А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе: он не только разрушил города, убил миллионы людей, он отравил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я

вспомнил, как дрались два старика - венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что оплатят за все «проклятым венграм». В Скопле все улицы были пол номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопле небольшой город; прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивые, Гитлер вас проморгал!...» Я видел на руках судетских немцев белые повязки - знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации: «Плюнули в душу.»

Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга; никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги...» Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять... Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался: «Дурак стоит на дороге и стреляет...» Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили.

Развалины - не скажешь, что город. «А куда нам ехать?...» Я задумался: ночь, никого не найдешь... Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?...» Он улыбнулся: «Вы здорово воевали»,- и, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать, он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет...» Мы с чехом выкурили полпачки. Наконец стало невтерпех, хотелось спать. Мы встали. Американец снова улыбнулся: «Майор немного опоздал... Но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу: «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся - майор скоро придет...» Солдат зевнул и сказал: «Пошли! А майор не придет, он в гостинице в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем, неинтересно. Интересно другое - когда меня наконец-то отправят домой?... Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора...»

В большом холле нюрнбергского «Гранд-отеля» толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В баре подавали коктейли; певица с большим декольте пела американские песни (слышался немецкий акцент); танцевали. Бар был, а крыши не было; лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже, я взбирался наверх то по стремянке, то по доскам.

Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками; пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки; прошел трамвай, город жил, но какой-то ирреальной, растерянной жизнью. На уцелевшем заводе изготавливали портсигары с надписью «На память о Международном трибунале»: американские солдаты обожали сувениры.

Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран; большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в «Гранд-отеле» и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде; каждый брал поднос, и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба.

Трибунал заседал в здании окружного суда; на стене была роспись - Адам, Ева, змий. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров; но в коридорах отопление не действовало. Шел снег; все кашляли, чихали.

Я как-то стал вспоминать: что у меня связано с Нюрнбергом? Прежде всего пряники: когда мы еще жили на Хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге; денег у меня не было, я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре, но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня

пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал - стоял часами, плядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, «Железную деву»; сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба:

Но путь науки строгой
Я в юности отверг
И вольною дорогой
Пришел я в Нюрнберг...
Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча!

Прошло еще двадцать пять лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги: на ветру бился паук свастики; фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, и вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге...

Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды. А в то время читали документы: убиты в застенках триста тысяч, шестьсот тысяч, шесть миллионов...

По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным; в его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом - все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но Кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных рассказал, что Геринг меня узнал; оказалось, что они меня разглядывали, как я их.

Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия; целое заседание

было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слова и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон.

Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану - не хотел смотреть; другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел: Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой - понял, что его ждет?

Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями: присоединение Австрии «планом Отто», захват Чехословакии - «зеленым планом», захват Югославии - «Маритой», уничтожение Польши - «делом Гиммлера», предполагавшееся нападение на Гибралтар - «предприятием Феликс», вторжение в Советский Союз - «планом Барбароссы». Около пятидесяти миллионов убитых и двадцать заурядных злодеев - нет, это не умещалось в сознании!

Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного и у него ослабела память, но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона, я таких видал не раз, на все отвечал, как рядовой вермахта: «Выполнял приказ»; а когда опасили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами: «Это досадное недоразумение». Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что он занимался исключительно «переселением»: «Я был всего-навсего административным карликом». Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом; канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул,

что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь,- я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знаток считал себя Альфред Розенберг, он собирал редкие русские книги; был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами, отдал, например, приказ «за три часа или два до акции (так назывались массовые убийства) вырывать у евреев золотые зубы».

Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любит красоту; перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: «Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами...» Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину...»

Я глядел на них и видел одно - страх. Одно дело - убить миллион людей, это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт; другое - чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя - Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре - Зейсс-Инкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права, другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний, третьи валили на соседа по скамье, и все - на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на

других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали.

«Вы человек современный, то есть хладнокровный»,- сказал Гитлер Нейрату. Пожалуй, эти слова многое объясняют. На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне «современно» - и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр, предприятие, если угодно, гигантский трест.

Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал - мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?...» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться: состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли.

Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных, отчаявшихся крестьян, вспоминал «синюю бороду» Ландрю, сумасшедшего Горгулова - там мы видели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге,- кровавая бухгалтерия, и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал: они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается «достоевщина» и начинается ужасающий мир роботов.

Полночи я проговорил с Андре Виоллис, умной и благородной женщиной. Виоллис рассказывала о печали Франции - ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле - в комнатах было очень холодно; шумел джаз. А я спрашивал: «Что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен, задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают...» Виоллис отвечала: «Я об этом часто думала еще до войны... Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная

структура Франка ничем не отличается от самого жестокого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей - сатрап не обладал газовыми камерами».

Процесс длился долго - десять месяцев; очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее - до процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову, но и это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой - от несоизмеримости преступлений и преступников.

Я не раз думал, сидя в нюрнбергском зале: до чего это страшно! Ведь весь мир знал: есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество, и вместе с тем он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильини - он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев «Ротонды». Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели: «Гитлер сказал...» «Геринг не согласен...» «Риббентроп предлагает...»? От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчур, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников!...

В холле «Гранд-отеля» американский журналист (забыл его фамилию) говорил мне: «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства...» Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что, будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и

конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки.

Обо всем этом я думал, возвращаясь в «виллисе» домой - мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелищ Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал:

И долго буду тем любезен я народу.

Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Я вспомнил статью Марины Цветаевой - рассказ о Дантесе. Вначале он не чувствовал никакого раскаяния: убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь - победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим.

Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали; было это в разрушенной Орше. Я поглядел на них - и на душе стало как-то спокойней.

В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело, с друзьями. Война не хотела меня отпускать, о ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским; подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды», Гехман, позвал меня на свадьбу; собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались, Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетие Кончаловского; Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля, в годовщину смерти Толстого, Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху; все вокруг напоминало об Алексее Николаевиче, и даже горе било живым, теплым.

Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе то в Политехническом, то на заводах, то у военных.

Однажды я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлехс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре местечек. Костюмы сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу, Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми, и вдруг мне стало страшно - вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи «Фрейлехс». Михоэлс и Зускин выходили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре один будет убит на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?...

Как-то пришел ко мне еврейский поэт А. Г. Суцкевер. (С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал оттуда, партизанил; его вывезли на «Большую землю».) Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей.

Я продолжал встречаться с иностранцами - в записной книжке пометки: завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андворда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не

сразу понял, что все переменялось. Мне запомнился сметной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии, он был литератором и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал; там был накрыт стол для ужина - колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое - Ф. Кельин, испанский писатель Арконада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов в десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех.

В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля, впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально: газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английский и американский обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше: вспоминать прошедшее или думать о будущем.

Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы: путевые очерки «Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». (Два года спустя книжку изъяли из библиотек - в ней четыре раза упоминалось имя маршала Тито.) А стихи смущали издательство: «Чересчур пессимистично...» (Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал: «Лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово - очень уж мрачно...») «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло.

В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали «За доблестный труд», среди награжденных был и Б. Л. Пастернак; он сказал мне, что скоро в Политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал М. М. Зощенко. В начале апреля в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна

была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого не люблю... А главное, у нас этого не любят...»

Я стал ее успокаивать - теперь не тридцать седьмой... Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики.

В самом начале января я сел за «Бурю» и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все не решался написать первую страницу. А писал я не отрываясь и до апреля успел написать треть романа - две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это - кануны войны; писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев - честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео - было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы: рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца.

Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы; кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части - случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж: «Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет...» (слово «скрипучих» убрали). Лео говорит Осипу: «Вы и живете для будущего...» После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали» - это зачеркнули... В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете - у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого...», выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой...» О каких «неприятностях» идет речь - стало непонятным. Прерываю список «опечаток».

Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым - на конференцию редакторов газет. Я сказал В. М. Молотову, что начал писать роман, частично его действие протекает во Франции и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже; он ответил: «Не имею возражений».

Я хочу в этой главе досказать о «Буре», и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомним о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей.

Это было в конце августа во французском городке Вуврэ, близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля Башеллери, где долго жил Анатолий Франс; повез нас туда внук писателя, Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом - я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино вуврэ. Питом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба - прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение: «Из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко». Я взволновался и все же цеплялся за надежду - может быть, это очередная газетная утка? (Люба потом долго издевалась над моей наивностью.)

В Париже я прежде всего побежал в посольство, попросил газеты и увидел, что телеграмма французского агентства была не выдумкой. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, я узнал подробности. На этот раз гром грянул среди ясного неба: в конце июня утвердили новую редакционную коллегия журнала «Звезда», включили в нее М. М. Зощенко; в июльском номере журнала «Знамя» была помещена вполне благожелательная статья о поэзии Анны Ахматовой. А в середине августа опубликовали постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое на восемь лет определили судьбы нашей литературы.

Н. С. Тихонов рассказывал, как Сталин вызвал руководителей Союза и заявил, что Ахматова и Зощенко - «враги». А. А. Жданов выступил в Ленинграде перед писателями. Он говорил о М. М. Зощенко: «пошляк», «пакостничество и ерничество», «пасквилянт», «бессовестный литературный хулиган»; об А. А. Ахматовой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». Удивительно было многое. Жданов, например, сказал: «Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки», - что от них осталось в нашей родной русской, советской

литературе?» Видимо, никто не решился ему объяснить, что «бубновый валет» объединял не писателей, а художников, среди которых был будущий академик Кончаловский, что за месяц до доклада Жданова все газеты умиленно говорили о поэзии Блока (исполнилось двадцать пять лет со дня его смерти) и что Блок, как и Брюсов, причислили себя к символистам, что «желтую кофту» придумал и воспел не кто иной, как Маяковский, объявленный Сталиным «лучшим, талантливейшим поэтом эпохи». (Одну ошибку Жданов все же успел исправить - доклад напечатали полтора месяца спустя. В напечатанном тексте есть такая фраза: «И у акмеистов и у «серапионовых братьев» общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма». В своем выступлении Жданов принял за одно лицо знаменитого немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которого любил Маркс и который скончался в 1822 году, и мало кому известного эпигона Бальмонта, русского поэта Виктора Гофмана, родившегося в 1844 году.) После доклада Жданова Анну Ахматову и М. М. Зощенко исключили из Союза писателей.

Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться, а все напоминало прежнее - собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами: обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л. И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова.

Начала выходить газета «Культура и жизнь», ее статьи выглядели как обвинительные заключения. Зощенко и Ахматова изображались главными врагами, о них говорили и писали куда резче, чем о Черчилле, призывавшем показать русским военную мощь англосаксов, или чем о некоторых американских сенаторах, уже поговаривавших о «превентивной войне».

Тогда же и в докладе Жданова, и в статьях, ему посвященных, впервые была объявлена «борьба с низкопоклонством перед Западом».

А. А. Жданова я помнил по Первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству - и еще в 1934 году поручил направить писателей на путь истинный, но тогда

мы слушали и не пугались. Снова я увидел Жданова в 1947 году - он пригласил пять или шесть литераторов, среди них и меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания - Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что в связи с очередным постановлением на этот раз о музыке - Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное - это мелодия, которую можно напевать. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. А. А. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение - умер Жданов! Сойдите вниз, мы в ресторане...»

С М. М. Зощенко я встречался очень редко; как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды, в начале пятидесятых годов, я его встретил на Пушкинском бульваре; он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда печальная и величественная; читала Горация. Несчастья рушились на нее, как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость восторжествовала: Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить Международную премию, и в Оксфорд, где ей дали «докторскую мантию».

Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач - меня окружили видения военных лет, я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного, вероятно, события были чересчур свежи, и я не все смог осмыслить. Однако некоторые герои романа - Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей - мне дороги. Я кончил роман в июне 1947 года.

О книге было много споров. Некоторые читатели обижались: почему французы выглядят героичнее, чем советские люди? Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда

освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи - был разгар кампании против «низкопоклонства». Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»: «...Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Эренбург... Просто либеральные буржуа не понимают и клеветуют на советский строй. Они видели в нашей стране только альперов и лабазовых, дилетантов влаховых и земских деятелей крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть... Но ведь тов. Эренбург - не либеральный буржуа... При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские... Да и полно! Русский ли Сергей Влахов? И Советский ли Союз его родина?...»

Таких критиков сердило описание первых месяцев войны, хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным...» А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера.

Роман печатался в «Новом мире»; редактировал его тогда К. М. Симонов; он мне писал: «Тревог нет. По-моему, все в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее исступленных обличителей «низкопоклонства».

Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по Сталинским премиям, домалывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. «Сталин спросил, почему «Бурю» выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом, нет настоящих героев. Сталин возразил: «А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом, так в жизни бывает... А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем, обыкновенные люди становятся героями...» Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить», - и громко засмеялся.

Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть В. Пановой «Кружилиха», ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я - нет...» Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм: помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной, польской гражданки, которая писала, как над нею издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть...

Из книг, вышедших в свет с 1946-го по 1954-й, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных славословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника.

Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Для писателя это были годы запечатанных уст, и я хорошо понимаю К. Г. Паустовского, который недавно возмущался людьми, утверждающими, что «культ личности» никак не ущемил нашей литературы.

Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного «юга»:

Да разве им хоть так, хоть вкратце.
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи.
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.

А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены.
Мы видели, уже не видя.

Глаза зеленые весны.

А «Буря» остается для меня слабым, приглушенным эхом суровых, но чистых лет.

Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым; Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись - мотор оказался неисправным, в Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Бидл Смита - «холодная война» еще не успела стать бытом.

Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмешались в гармонию, и Магдебург казался холстом «ташиста» - беспорядочные мазки. М. Р. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения: «Сейчас налетят журналисты. Вам легко - вы привыкли, а и никогда не разговаривал с иностранцами...»

На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день; цвели каштаны; мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест: рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас - на этом перекрестке прошла моя молодость! Я хотел грустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли Муссиаки; я жадно слушал их рассказы о голах оккупации, о Сопротивлении, об общих друзьях.

Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим - и квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу, нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал

взволнованный Фотинекий, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат: русские - победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цадкииа, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое; даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал: «Неужели это было всего шесть лет назад?...»

Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине - до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня... А я часто думала, как вам в России?...» Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками: «Бедный мосье Эренбург, вы не знаете, что у нас делается! Ничего нельзя найти...» Все же она приготовила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в вине, на устрицы он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал: «Я немного прогуляюсь и вернусь через четверть часа...» Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии.

Посол Богомоллов устроил пресс-конференцию: я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал: Арагон, Эльза Триоле, Шамсои, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блек, Марсель Кашен, Эмиль Бюре.

Мы должны были уехать семнадцатого, но нас вернули с аэродрома: зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался: еще один день в Париже! Генерал волновался: завтра должна начаться конференция, опаздываем.

Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи - вот чего мне не хватало: серой воды на холсте, толики искусства!

На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость: мы сделали две посадки. В Северной Ирландии было зелено, нам дали ужин, я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей, и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали; я поглядел на

часы в ресторане - по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая - американская.

Когда рассвело, я увидел большой город - Бостон. Небоскребы рвались к самолету; я понял, что мы действительно перелетели через океан.

Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих (Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «вундефул» и «ай лав Америка»). Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные...»

Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста - владельцы и редакторы различных газет; на каждом была бирка с фамилией и названием газеты. М. Р. Галактионов представлял «Правду», К. М. Симонов - «Красную звезду», я «Известия».

У меня сохранилось удостоверение: «Предъявитель сего Эренбург Илья Григорьевич является членом редколлегии газеты «Известия Советов Депутатов трудящихся СССР» (читатель легко догадается, насколько это соответствовало истине). Хоть за редактора меня не выдали, и на том спасибо!... Впрочем, в перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?»

Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы, тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной; а теперь ограничили передвижение и цензура неистовствует. Мне пришлось отвечать, я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался: почему русские долго тянут с визами? Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне: «Я не выдаю виз. Я давал бы всем - мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не

поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой (он походил на буржуа с плаката) встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне; я увидел на его лице ужас: «Отвечайте! Вы привыкли...» Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки»... Американцам понравилась прямота ответа, и на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне «смесь цинизма и откровенности». Мы зашли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!...»